



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все примечания, комментарии и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

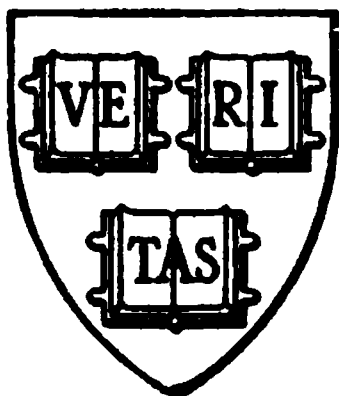
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

SLAV 4100.31



Harvard College Library

FROM

MICHAEL KARPOVICH

SLAV 4100.31



Harvard College Library

FROM

MICHAEL KARPOVICH

изд. 0
2

Васильев
Александр

ИЗЪ ИСТОРИИ
НАШЕГО
ЛИТЕРАТУРНАГО И ОБЩЕСТВЕННАГО
РАЗВИТІЯ.

МОНОГРАФІИ И КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

А. П. ПЯТКОВСКАГО.

Въ двухъ томахъ.

Томъ I.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІА Р. ГОЛІКЕ, ПО ЛИНГОВЪ, № 22.
1876.

Slav 4100.31

HARVARD COLLEGE LIBRARY
CITY OF
MICHAEL K. ROVICH
Jul 7. 1936

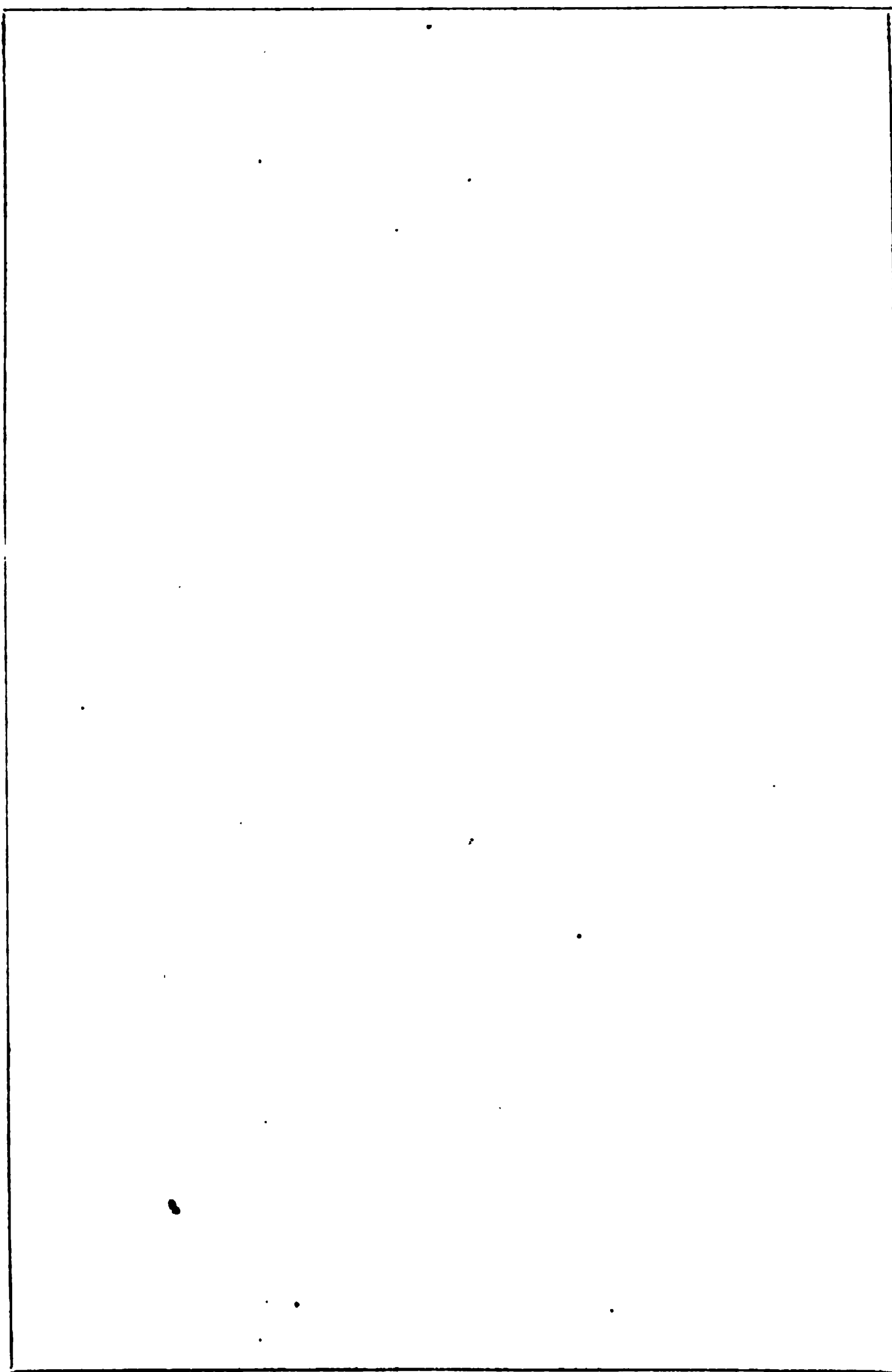
Е
Текстъ набранъ по 11 листъ и отпечатанъ по 8 листъ въ Типографіи
К. Плотникова, по Лиговскѣ, № 22.

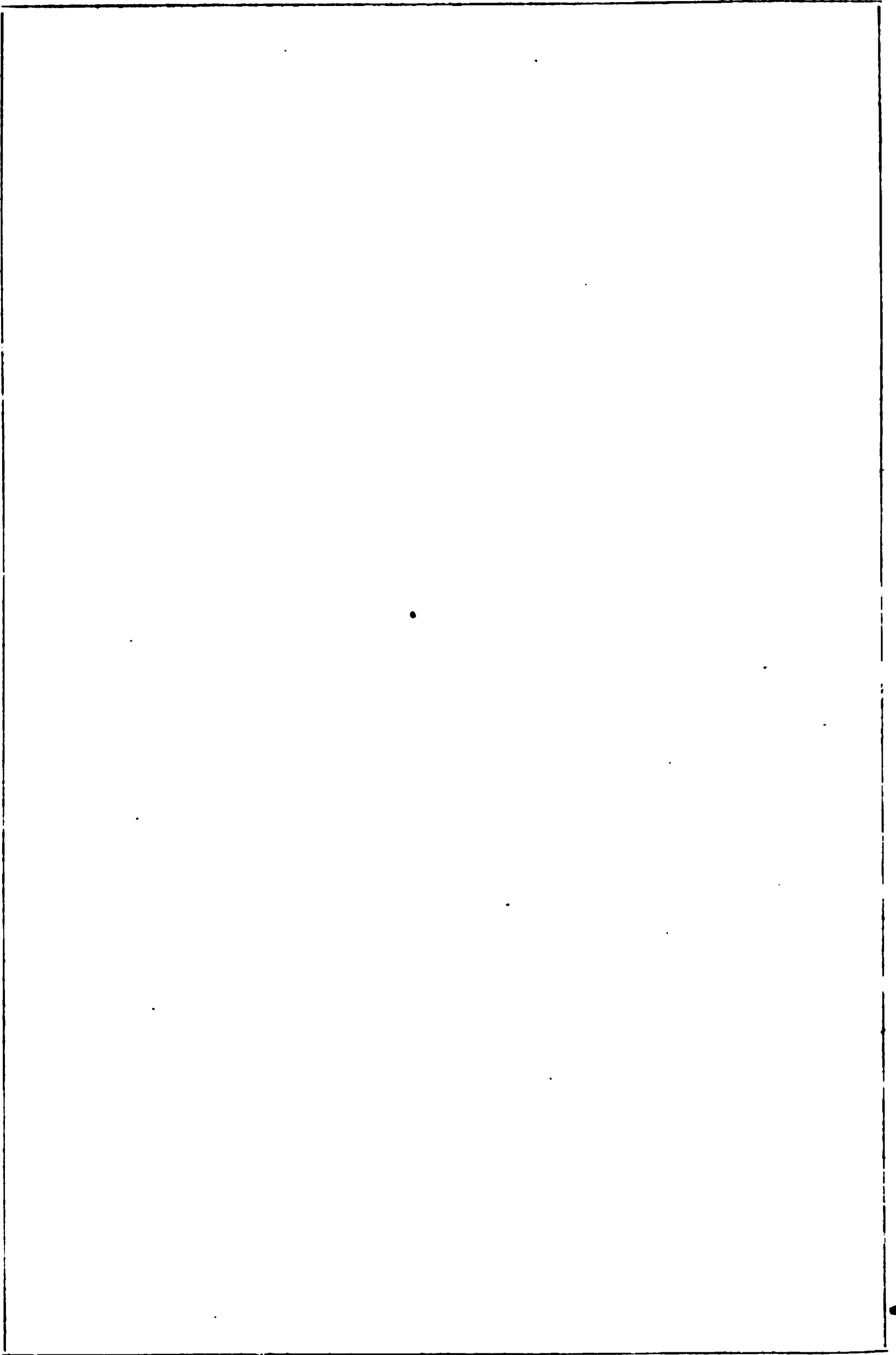
56-224
46

ОГЛАВЛЕНІЕ

перваго тома.

	СТРАН.
Предисловіе	1.
1. О жизни и сочиненіяхъ Фонъ-Визина. I—II. . .	3.
2. Осъмнадцатый вѣкъ въ русской исторіи. I—IV. .	73.
3. Наши классики въ характеристикахъ г. Галахова. I—VII.	143.
4. О новѣйшемъ преподаваніи русской литературы и др. предметовъ. I—II	255.
5. Новая передѣлка карамзинской теоріи. I—II. . .	282.
6. Опытъ философской разработки русской исторіи. I—IV.	301.
7. Идея гражданскаго брака въ русскомъ расколѣ. I—II.	339.
8. Цензурный проэктъ Магницкаго. I—IV. . .	364—407.





ІСЛОВІЄ.

ю въ этомъ изданіи, уже были, въ разныхъ журналахъ, и вымоихъ продолжительныхъ заературой. Взятыя вмѣстѣ, онѣ, нію, представляютъ довольно тематичности, очеркъ развитія ственной жизни въ новый перотъ причина, почему я рѣшился читателямъ, заинтересованнымъ й разрабатывается, болѣе или агаемой на судъ ихъ книгъ.

Авторъ.

3 г.

ЖЪ-ВИЗИНА.

вита и поступлені
мъ для представ.
визива. Поступлен
мстръ И. П. Ела
ъ Бригадира при д
ъ въ придворной сѣ
лужба при гр. Н
мествіа. «Недоро
ннъ и Екатерина

И-й. Проектъ сан
родумъ». Препат
ечерь Фонъ-Визин

ій, хотя и со
ки его были вл
мляхъ, а потом
о въ царствов
іей, баронъ Пе
ію, Танъ-Оуси
Денясомъ, сдѣла
ожъ свою нѣмец
Михайловича вв
овѣданіе и назн
потомки плѣни
гы своей нѣмец
али писать сле

ю фамиліей, и это соединеніе удерживается, и
погими до настоящаго времени. Отецъ Ден
Іванъ Андреевичъ, служилъ въ ревизіонъ-
наблюдательномъ комитетѣ въ Москвѣ по какому-то

а назидательныя исторіи, въ родѣ
Іосифа Прекраснаго и извлекалъ
воихъ молодыхъ слушателей. Слѣдуя
еще рано записалъ своего Дениса въ
'54 г.): но будущій авторъ «Брига-
дѣйствительныхъ тягостей военной
ителеей не было у Дениса Ивановича,
риходилась не по средствамъ его от-
кази при московскомъ университетѣ,
едлилъ помѣстить туда своихъ см-
шаго впоследствии директоромъ это-
ченіе въ новооткрытой гимназіи шло
или въ классы, а если и ходили, то
ю мало. Преподаватель Чернявскій,
лъ смертную чашу; учитель ла-
й, воспитанникъ петербургской ака-
ду мѣсяцевъ не являлся на уроки,
мали къ нему для освидѣтельств-
и или пропалъ изъ дому, или былъ
рено, что при подобныхъ настав-
имназіи производились такъ, какъ
онъ - Визинъ въ его мемуарахъ:
орить онъ, дѣлалось приготовленіе:
танъ, на коемъ было пять пуговицъ,
ивленный сею странностью, спросилъ
уговицы мои вамъ кажутся смѣшны,
уть стражи вашей и моей чести, ибо
тъ склоненій, а на камзолѣ четыре
лжалъ онъ, ударяя по столу рукою,

извольте слушать всё, что говорить стану. Ког спрашивать о какомъ нибудь имени, какого скло приѣчайте, за которую пуговицу я возьмусь; если то смѣло отвѣчайте: втораго склоненія. Съ спря ступайте, смотря на мои камзольныя пуговицы, ошибки не сдѣлаете ¹⁾. Вслѣдствіе догадливос экзаменъ изъ латинскаго языка сошелъ съ рукъ бл Менѣе удаченъ былъ экзаменъ изъ географіи, и ни одинъ изъ учениковъ не отвѣтилъ точно на впадаетъ Волга? Кто говорилъ: въ Черное, кто море; Фонъ-Визинъ поступилъ откровеннѣе и прямо сказалъ: не знаю. Но несмотря на недостатокъ трудолюбивыхъ преподавателей, Фонъ-Визинъ учился, сравнительно съ другими, хорошо и успѣлъ вынести изъ гимназіи кое-какія познанія въ латинскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, а также въ словесныхъ наукахъ. Начальство отличало его, какъ способнѣйшаго ученика, то награждая медалью, то поручая произнести рѣчь на торжественномъ актѣ, на тему «щедрости и прозорливости Ея Императорскаго Величества, всещедрой музѣ основательницы и покровительницы». Въ 1758 г. Иванъ Ивановичъ Мелиссино, тогдашній директоръ университета, задумалъ съѣздить въ Петербургъ для личныхъ объясненій съ кураторомъ—Иваномъ Ивановичемъ Шуваловымъ и взялъ съ собою на показъ десять лучшихъ воспитанниковъ гимназіи. Въ этомъ числѣ были: Яковъ Булгаковъ, Денисъ Фонъ-Визинъ и Григорій Потемкинъ. Въ Петербургѣ Фонъ-Визинъ

¹⁾ Этимологіи латинскаго языка обучали три преподавателя: Константинъ, Анничъ и Фразинъ. Кто изъ нихъ распорядился такъ остроумно—рѣшить нельзя.

говорить по французски, сталъ по-
прочемъ Фонъ-Визинъ скоро застави
ми остротами, а чтобъ не подвергаться
шнію, рѣшился самъ выучиться францу-
сти и исполнилъ въ два года, по воз-
апрѣля 1759 г., въ день коронаціи
Фонъ-Визинъ, вмѣстѣ съ другими восп-
веденъ въ студенты, при торжественно
вскихъ сановниковъ. Съ тѣхъ поръ
енно университетскій курсъ, по ф-
который, одинъ изъ всѣхъ трехъ
культетъ: медицинскій и юридическій
давателями. Между профессорами
тний въ свое время Рейхель, авторъ
государствъ» и издатель журнала: «С-
еній». Рейхель обратилъ вниманіе на
пателя и помѣстилъ въ своемъ жур-
ния статьи: 1) О зеркалахъ древнихъ
3) О приращеніи рисовальнаго худо-
и существъ стихотворства. По рекоменда-
профессоровъ, Фонъ-Визинъ добылъ
аго книгопродавца—перевести басни
къ (1761 г.) и получилъ, вмѣсто гов-
50 рублей иностранныхъ книгъ. Кни-
гу отзыву Фонъ-Визина, были «соби-
ны скверными эстампами. Онъ развра-
мутили душу». Рѣзкій переходъ отъ
внѣшній патріархальной семьи къ распу-
тъ вредное вліяніе на организмъ юн-



.

.

— — — — —

— — — — —



.

не будучи
ивалъ еще
ющее на-
и Дидро,
сскій, до-
енеалогію
и читалъ
и волте-
острыхъ
нгиі. Это
корное въ
ьныхъ бе-
ю смерт-
и адскихъ
ржку про-
его проч-
оконться;
ніемъ, не
противо-
природною
влялся въ
заходила
сколькихъ
держки въ
лась ему
вѣе заго-
вмъ осно-
нутренней
бесѣдъ, и

писомъ Ивановичемъ Фонъ-Визи-
о изъ бѣлорусскаго его помѣстья,
ановича познакомить его со мною.
цо, какъ и онъ меня. Назначень
шесть часовъ пополудни прѣхалъ
въ первый разъ, я вздрогнулъ и
сть и нищету человѣческую. Онъ
ержавина, поддерживаемый двумя
пущенными изъ Шкловскаго ка-
авшими съ нимъ изъ Бѣлоруссін.
одною рукою; равно и одна нога
ны были параличомъ; говорилъ съ
ждое слово произносилъ голосомъ
большіе глаза его быстро свер-
и на меня, взглядъ привелъ меня
замѣшкался. Онъ приступилъ ко
къ сочиненіяхъ: знаю ли я Недо-
аніе къ Шумилову, Лису-
его «Похвального слова Марку
какъ я нахожу ихъ? — Казалось,
ни хотѣлъ съ перваго раза вывѣ-
и характера. Наконецъ спросилъ
ніи: что я думаю о «Душень-
, произведеній нашей поэзіи», от-
одтвердилъ онъ съ выразительною
изинъ сказалъ хозяину, что онъ
«Гофмейстеръ¹⁾»; хозяинъ и
ъ, что эта самая пьеса названа впослед-
жетъ быть такъ, а можетъ быть и иначе.

хозяйка, изъяснили же.

накъ одному
однимъ духо
иваніемъ голо
силу тѣхъ выр
тъ ума не о
тѣла. Несмо
ъ насъ не оде
лъ въ деревнѣ
ора, городска
аго почитател
наете лучшею
вовагъ почти
доѣхавъ до М
одыхъ стихоте
еня роились и
алъ траги
входитъ авто
твѣй и оговор
го въ новомъ
и читать. Онъ
етъ самая не
я добровольн
герония, или

въ-Визинъ, род
ги Дениса Ялано
линскаго уѣзда);
и бумагами И. С.
неапечатанныхъ

—
дл

кт

ъ

гъ

в л

и

нст

—
грн

обл

онс

усс

и н

зго

лкт

лх

ост

чт

нл

ол

с л

мс

д с

ор

но

а въ лирикѣ, эпосѣ и драмѣ; про-

момъ въ обѣихъ передовыхъ странахъ Европы много содействовала его усиленію. Для этой борьбы понадобились чины свѣдѣнія и разумные доводы; но разъ допустивъ, нельзя уже было остановиться на первомъ шагѣ, и естественное теченіе мыслей увлекало все дальше и дальше этотъ заманчивомъ пути. Гукеръ (въ концѣ XIV-го столѣтія) обращался отъ преданій къ суду разума, хотя и признавалъ, что разумъ отдѣльныхъ лицъ долженъ иногда преклоняться предъ авторитетами; Чиллингвортъ въ своемъ сочиненіи: *Religion of protestants* (1637 г.) не извѣдалъ уже никакихъ исключеній, которыя ограничивали права разума. Въ то же время Бэконъ Веруламскій (1561—1626), въ борьбѣ съ схоластикой, поставилъ высшимъ принципомъ наблюденіе и опытъ естествознанія, за что и названъ былъ отцомъ новѣйшей философіи.

цинической рѣзкостью (батиссъ, монашескъ и паго принципа ихъ существъ Essays замѣчательный смъ философіи житейскаго (esse) построилъ уже цѣлогической примѣся: «И, надъ притязаніями и гся практическою релязанностей жизни.» Пракъ и прогрессиста въ рзвитіа конфессіональной овамъ Бокля) великій раей философской систем

зума, какъ исходнаго пункта всѣхъ человѣческихъ познаній, съ замѣчательной твердостью высказалъ слѣдующее основное положеніе своей школы: «если мы хотимъ узнать всѣ истины, которыя можемъ знать, то прежде всего должны свободиться отъ предразсудковъ и поставить себѣ цѣлью пергнуть до новаго испытанія все, что мы приняли прежде. ть почему мы должны выводить наши мнѣнія изъ насъ ихъ. Мы не должны произносить сужденія о предметѣ, котораго не понимаемъ ясно и точно, ибо такое сужденіе, не и правильное, есть только случайность; оно лишено рчнаго основанія, на которомъ могло бы опираться.»

Дальнѣйшее развитіе свободныхъ идей досталось на долю анціи, находившейся еще подъ «старымъ правленіемъ» (ancien régime) въ то время, когда Англія пользовалась уже вѣнительно свободными учрежденіями. Этотъ гнетъ извнѣ

исли .
сь уже
кри-
мысли
менія
послѣ-
менія
дствіи
і, от-
ность
менно
теръ,
атуры
мфле-
аль и
грѣча-
нглій-
умѣль
стнутъ
стояль
имѣль
благо-
офъ и
елями
умѣ-
анціи:
фран-
книга
сталъ

1 —

чаѣ упорнаго сопротивленія и упрямства. скаго воспитанія, направленныя исключителенію тѣла, вѣлагаются Локкомъ съ вѣнностью опытнаго врача. Обученіе въ собственномъ смыслѣ поставлено Локкомъ въ самыя тѣсныя границы. «Вы удивляетесь,—пишетъ онъ въ своей книгѣ,—что я говорю о познаніяхъ въ самомъ концѣ, а удивитесь еще болѣе, если я вамъ скажу, что я считаю ихъ самымъ маловажнымъ дѣломъ... Воспитатель долженъ помнить, что его обязанность не состоитъ въ томъ, чтобы учить своего воспитанника всему, что человѣкъ можетъ знать, а скорѣе, чтобы возбудить въ немъ любовь и уваженіе ко всему достойному познанія и сообщить ему надлежащее руководство въ приобрѣтенію познаній и дальнѣйшему образованію себя, если онъ будетъ имѣть въ тому охоту». Мысль Локка, отчасти вѣрная въ томъ отношеніи, что не слѣдуетъ загромождать умъ ребенка массою непереваренныхъ фактовъ, можетъ подвергнуться серьезному возраженію въ томъ смыслѣ, что нельзя «возбудить въ ребенкѣ любовь къ наукѣ», сообщая изъ нея только маловажныя свѣдѣнія, т. е. клочки и верхушки, связанные между собою одною предвзятою идеею. По теоріи Локка, знаніе и нравственное развитіе не имѣютъ одно съ другимъ ничего общаго; тогда какъ, на самомъ дѣлѣ, сумма познаній человѣка оказываетъ несравненно сильнѣйшее вліяніе на его нравственную сторону, чѣмъ

Е

Т

С

Т

рія Локка, попавъ во Францію, под-
льному измѣненію. Локкѣ, отставивъ
оспитанія, считаетъ приученіе и даже
знія довольно дѣйствительными вос-
ми; онъ не возстаєтъ прямо противъ
їй и офіціальной нравственности,
примиряєтъ съ собою всѣхъ враговъ
ота. Руссо, въ своемъ *Эмилі* (1762
кое постороннее вліяніе на духовную
то Локкѣ называетъ систематическимъ
їйскому порядку и извѣстному образу
жизни сенекаго філософа является нрав-
дного человека надъ другимъ. Руссо
тъ, что при такомъ насиліи воспитан-
«манежную лошадь», что его натуру
утъ на всѣ лады». Къ воспитанію
основной взглядъ, что все выходитъ

прекраснымъ изъ рука природы и обезображивается подъ
вліяніємъ «предразсудковъ, авторитета и дурнаго примѣра». Увлекаясь страстнымъ порывомъ къ лучшему, геніальный
мечтатель осудилъ всю европейскую цивилизацію за то, что
она служила, во многихъ случаяхъ, только лоскомъ для при-
режяго невѣжества и алчныхъ инстинктовъ. Эти

неразборчивыя нападки на всю европейск
ея случайныя и временныя направленія, и
менъ Монтэня, который доказывалъ, что
нѣживаютъ нравы, ослабляя мужество и бо
тверждагъ свою мысль примѣромъ могу
время Турецкой имперіи, въ которой цѣ
жіе и презирались науки. Но такую пар
нельзя было доказать логическимъ и хо
потому и проповѣдь Монтэня не имѣл
Руссо же своимъ стремительнымъ красно
собой многія пылкія головы и впечатлите
примѣненіи къ педагогикѣ эта мысль с
услугу, эмансипировавъ до возможныхъ и
воспитаемаго; слабая сторона ея заключа
она не давала никакого регулятора для н
нія дѣла, ибо нельзя считать опорною т
нія свойства дѣтской природы, изолиро
окружающаго.

Вліяніе «освободительной литературы»
всю Европу было громадно. Не только чи
зависимые мыслители, но даже могущест
ихъ министры увлеклись новыми идеями,
много добра человѣческимъ обществамъ
Іосифъ II, Леопольдъ Тосканскій, Помба
Аранда въ Испаніи, старались согласо
съ духомъ новыхъ началъ, проповѣдуем
публицистами. Имя Вольтера окружено б
обыкновеннымъ: его Ферней сдѣлался ли
ромъ, къ которому отправляемы были поч

и у насъ за
въ Москвѣ
ихъ дѣвицъ
ъ такое же
.765 г.); пр
училище для
интеллигентно
всѣхъ значи
внѣмъ матер
родныя учил
или двукла
томцевъ вос
, что въ го
лено: дворян
лованнымъ с
, вольными
третій чинъ
потало объ
ли средняго
наполнить
русскаго общ
лу, интеллиг
тъ: 1) не дв
художествах
ъ; 2) не дво
ь и училищъ
тъ. Желаніе
лицахъ внут
которымъ уч



1

2



1

2

4,000 лошадей; но Разумовскій
ей понадобится 23,000 (!), и ихъ
съ обывателей. Каждый старшина
я продовольствія двора, цѣлый
вина воложскаго 2 ведра, крым-
8, курчатъ 50, поросятъ 8, утокъ
йной 10 ведръ, муки пшеничной
о кіевляне были вознаграждены,
ъ Кіевъ, слѣдующимъ зрѣли
академіи ожидали Елизаве
ь боговъ, героевъ и даже
ъ помощью машинъ, част
еннаго изобрѣтенія, произ
явленія. Такъ, между пр
исный старикъ въ богатой д
ной и жезломъ. Онъ предст
; онъ привѣтствовалъ госуд
приглашалъ ее въ городъ
народъ». Эти роскошныя
вообще весь блескъ пете
ивлялись даже французы, п
въ Версали,—конечно, не
положеніемъ страны. Сявозъ
ость, нѣтъ-нѣтъ, да и прост

ожа

«фа

овни

и,

ини

ице

иъ добрій, не глазуи съ мене,
опецъ передалъ царское повелѣ-
обращась въ путь-дорогу съ сво-
черьми, внучкомъ и внучками,
Въ Петербургѣ старуху прежде
и и нарядили въ модное платье,
деревенскіе» костюмы запреща-
иаскарадахъ. Потомъ повезли ее
что она должна пасть на колѣна
ростая корчемница вступила въ
гилась передъ большимъ зерка-
ы; не выдавъ ничего подобного
не разглядѣла своей фигуры и,
цу, поспѣшила пасть на колѣни.
зались Наталья Демьяновнѣ, и—
она, въ первый же пріѣздъ свой
ована въ статсъ-дамы. Ея млад-
ьевичъ, и всѣ внуки и внучки
(Дараганы) приняты одинъ за
и старшаго Разумовскаго. Съ

лучный человекъ съ отгѣнкомъ
знавался черезчуръ и былъ до-
шій (хотя нѣкоторыя просьбы
не въ руки, а просовывать въ
къ умиленію мы еще тутъ не
вбу сослужилъ Разумовскій оте-

насъ съ замѣчательной личностью своего друга и товарища

чальника и уже вкусилъ «обращеніе въ большомъ свѣтѣ» со всѣми его удобствами, а также и съ его растлѣвающими вліяніями. Но служебные успѣхи не плѣняли его, и, бросивъ начатую карьеру, онъ поѣхалъ за границу учиться, на казенный счетъ, вмѣстѣ съ Радищевымъ, Кутузовымъ и др. Съ молодыми людьми отправились, для наблюденія за ними и для нравственного ихъ назиданія, два лица: нѣкто Бокумъ, ихъ наставникъ или «гофмейстеръ», и инокъ Павелъ. Оба они не внушали къ себѣ никакого уваженія въ воспитанникахъ. Первый изъ нихъ, т. е. Бокумъ, обращался со взрослою молодежью, какъ со школьниками, дурно кормилъ ихъ и наконецъ такъ ожесточилъ противъ себя, что они въ Лейпцигѣ устроили противъ него домашнюю революцію. Объ умственныхъ способностяхъ Бокума и о степени вліянія, какое онъ могъ имѣть на воспитанниковъ,—даетъ полное понятіе слѣдующій анекдотъ. Пріѣхалъ въ Лейпцигъ русскій генералъ-поручикъ съ своимъ шуриномъ, гвардейскимъ офицеромъ, большимъ насмѣшникомъ, который любилъ выскивать «глупцовъ» и потѣшаться надъ ними. «Совершенно такового глупца—пишетъ Радищевъ—нашелъ онъ въ нашемъ гофмейстерѣ. Онъ, пользуясь пристрастіемъ его къ хвастовству, вывелъ его, по пословицѣ, на свѣжую воду. До того времени не вѣдали мы, что гофмейстеръ нашъ за похвалу себѣ вмѣнялъ прослыть богатыремъ... Помянутый гвардіи офицеръ, подстрекая самолюбіе Бокума, довелъ его до того, что онъ, для доказательства своихъ тѣлесныхъ силъ, выпивалъ, по его приказаніямъ, разомъ по нѣсколькимъ бутылкамъ воды или пива, давалъ себя толкать многимъ лакеямъ вдругъ, упираясь противъ ихъ усилія совлечь его

мѣста, а снмъ приказано было не жалѣть своихъ толч-
лъ. Онъ его заставлялъ ворочать всякія тяжести, поднимать
лья, столы, платя ему за то, не умѣруя и не скрывая
его смѣха: Ну, Бокумъ! Бокумъ доведенъ былъ до
о, что согласился вытерпѣвать удары довольно сильнаго
етрическаго орудія». Въ то время, какъ Бокумъ занимался
ичными опытами надъ своими тѣлесными силами, иной Па-
къ съ немѣлшимъ успѣхомъ дѣйствовалъ на религіозныя
вства юношей. Найдя ихъ всѣхъ недостаточно твердыми
религін, онъ началъ ихъ исправленіе съ того, что заставлялъ
тъ при утреннихъ и вечернихъ молитвахъ. «Если вспомнить
говорить по прошествіи многихъ лѣтъ, уже пожилой въ
время авторъ біографіи—сколь нестройный, несогласный
пужный у насъ былъ всегда концертъ, то и теперь еще улыб-
шся. Иной тянулъ очень низко, иной высоко, иной тонко,
ой звонко, иной черезчуръ кудряво, и наконецъ устроен-
е на приученіе ко благоговѣнію превратилось постепенно
шутку и посмѣхалище». Кромѣ того, иной Павелъ
лъ самъ чрезвычайно смѣшливъ и, чтобы не разсмѣяться во
емя богослуженія, онъ всегда совершалъ его съ зажму-
рными глазами. Эта черта была живо подмѣчена и по-
ла поводъ къ такой сценѣ: «Икона, передъ которой со-
ршался нашъ молитвенный наѣвъ, стояла въ верху
ольно пространныаго стола, на которомъ раскладены ле-
ли наши шапки, шляпы, муфты, перчатки. М. У. (Ми-
илъ Ушаковъ) взялъ легонько одну изъ перчатокъ, на сто-
лежавшихъ, и согнувъ персты ея образомъ смѣшнаго жу-
ша, положилъ оную возвышенно, прямо предъ поющаго на-
его духовника. При дѣланіи поясныхъ поклоновъ, раство-

рилъ онъ зажмурившіеся глаза свои — и первая представилась ему сложенная перчатка. Не могъ онъ воздержаться, захохоталъ громко, и мы всѣ за нимъ. Отецъ Павелъ, не привыкнувъ еще къ нашимъ проказамъ, обрѣталъ въ нихъ болѣе нежели простыя и юношескія шутки. Оборотясь, наименовалъ онъ насъ богоотступниками, непотребными и пр., сдѣлавшаго же вину смѣха называлъ, не грамматикально можетъ быть, мошенникомъ, да и того хуже. При первыхъ же словахъ, М. У., будучи же весьма вспыльчивъ, восколебался и столь же смѣшнымъ дѣяніемъ, какъ сей неприличными словами, представили намъ позорище, какого ни на какомъ театрѣ за рубль купить не можно. М. У., схвативъ висящую на стѣнѣ шпагу и привѣсивъ ее къ бедрѣ своей, бодро приступилъ къ чернецу; показывая ему эфесъ съ темлякомъ, говорилъ ему, немного занкаясь отъ природы: «забылъ развѣ, батюшка, что я кирасирскій офицеръ». Въ такомъ вкусѣ было продолженіе сего дѣйствія, которое для насъ кончилось смѣхомъ, для М. У. мнимою побѣдою, а для отца Павла отъитіемъ съ негодованіемъ въ свою комнату». Бокумъ съ первой же встрѣчи возненавидѣлъ Федора Ушакова «за твердость мыслей и вольное оныхъ изреченіе». Но Ушаковъ мало этимъ огорчался и скоро нашелъ себѣ другое утѣшеніе. Въ Европѣ шла въ это время горячая, талантливая борьба литературы съ общественными предразсудками и устарѣвшими политическими порядками. Ушаковъ увлекся ею, сталъ изучать корифеевъ этой литературы, и его философское развитіе пошло быстро. Онъ пишетъ большое сочиненіе о смертной казни, въ которомъ отвергаетъ ее рядомъ рациональныхъ доводовъ, задается серьезными психологиче-

ими вопросами: о происхожденіи душевныхъ способностей, необходимости страстей, о добродѣтели, при чемъ ставится разрѣшать ихъ логическимъ путемъ, а не «велегласными словами метафизики». Замѣчательно, что съ книгой лѣвца «О разумѣ» его познакомилъ одинъ русскій саванникъ, который, въ бытность свою въ Лейпцигѣ, сблизился съ Ушаковымъ, проводилъ съ нимъ въ разговорахъ много вечера и даже обѣщалъ ему свое покровительство. Вернувшись въ Петербургъ, этотъ «жестянный покровитель ености» однако одумался и не отвѣчалъ уже на письма своего заграничнаго друга. «Или ему низко было — размышляеть радищевъ — вступить въ переписку съ неравнымъ ему соименіемъ; или благодарить надлежитъ за то наукамъ, что, ели обиталища ихъ, различіе состояній нечувствительно и ровь природнаго равенства не тягчить, и для того въ Лейпцигѣ О. обходился съ Федоромъ Васильевичемъ, какъ равнымъ себѣ. И по истинѣ равенъ онъ былъ тебѣ, мразя душа, силами разума, но далеко превъшалъ тебя до-стою сердца». Ушакову не суждено было вернуться въ Россію (и, можетъ быть, къ его счастью, такъ-какъ его легко гла бы постигнуть участь Радищева): онъ умеръ за границей отъ тяжелой болѣзни, усиленной непрерывными трудами и умственнымъ напряженіемъ. Но и въ дверяхъ могилы не потерялъ философскаго спокойствія духа и предупредилъ доктора: «не мни, что, возвѣщая мнѣ смерть, растрепишь меня безвременно». Передъ смертью онъ обратился къ Радищеву съ этими простыми, но трогательными словами: «Прости теперь въ послѣдній разъ; помни, что я тебя любилъ; помни, что нужно въ жизни имѣть прави-

ло, чтобы онъ былъ блаженнымъ, и что должно быть твердо въ мысляхъ, чтобы умирать безтрепетно». «Слезы и рыданіе—заканчиваетъ авторъ свой рассказъ—были ему въ отвѣтъ, но слова его громко раздались въ моей душѣ и неизгладимою чертою ознаменовались на памяти. Поживутъ они всецѣло, доколѣ дыханіе въ груди моей не исчезнетъ, и не охладѣетъ въ жилахъ кровь. Дажь небо, да мысль присутственна мнѣ будетъ въ преддверіи гроба и да возмогу важное сынамъ моимъ оставить наслѣдіе—послѣднее завѣщаніе умирающаго вождя моей юности». И Радищевъ доказалъ всею своею жизнью, что онъ не забылъ честнаго завѣщанія друга... «Житіе Ушакова» появилось въ печати, безъ имени автора, годомъ раньше извѣстнаго «Путешествія». Тонъ его нѣсколько сдержаннѣе послѣдняго сочиненія; но и здѣсь видно уже, сколько справедливой горечи накопѣло въ душѣ Радищева, и какъ вѣрно понималъ онъ болѣзнь стороны тогдашняго общества. «Чтобы быть употреблену съ похвалою въ дѣлахъ министерскихъ—замѣчаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ—надобенъ умъ, а честности мало. Коварство, пронырство, искусство выскочить и низиться по обстоятельствамъ могутъ сдѣлать отличнаго министра, но добраго гражданина николи». Переходя въ частности къ русскимъ начальникамъ, онъ говоритъ про нихъ: «каждый начальникъ мыслить, что, пользуясь удѣломъ власти безпредѣльной, онъ такой же властитель въ частномъ, какъ государь въ общемъ. И сіе столь справедливо, что нерѣдко правиломъ пріемлется, что противорѣчіе власти начальника есть оскорбленіе верховной власти. Мысль несчастная, тысячи любящихъ отечество гражданъ заключающая въ темницу и предающая

смерти, тѣснящая духъ и разумъ, и на мѣстѣ величія
орящая робость, рабство и замѣшательство, подъ ли-
ою устройства и покоя». Въ этому же сильному
у авторъ дѣлаетъ еще слѣдующее примѣчаніе: «Съ вѣ-
ностью, корень сего правила о непрекословномъ пови-
ніи найти можемъ въ воинскихъ законоположеніяхъ и
мѣшеніи гражданскихъ чиновниковъ съ военными. Боль-
часть у насъ начальниковъ, въ гражданскомъ званіи,
ли обращеніе свое въ службѣ отечеству съ военного со-
ніа и, привыкнувъ давать подчиненнымъ своимъ при-
, на которые возраженія не терпитъ воинское повин-
, вступаютъ въ гражданскую службу съ пріобрѣтенными
военной мыслями. Имъ кажется вездѣ строй; кричатъ въ
: на караулъ! и опредѣленіе нерѣдко подписываетъ на-
, Не види никакого выхода изъ этого заколдованнаго
а, Радищевъ успокоивался наконецъ на слѣдующемъ
ленномъ соображеніи: «Человѣкъ много можетъ сносить
ятностей, удрученій и оскорбленій. Довозательствомъ
служать всѣ единоначальства. Гладъ, жажда, скорбь,
нца, узы и самая смерть мало его трогаютъ. Не доводи
только до крайности. Но сего-то притѣснители частные
ще, по счастію человечества, не разумѣютъ и, прости-
повсемѣстную тяготу,—предѣлъ она, на коемъ от-
ніе бодрственную возносятъ главу, зрятъ
ка въ отдаленности, хождая воскрай гибели, покрытой
птельною для человѣка мглою. Не вѣдаютъ мучители—
вдъ Господи, да въ невѣдѣніи своемъ пребудутъ ослѣп-
ными навсегда!—не вѣдаютъ, что составляющее неснос-
печаль сему — другому не причиняетъ ниже единаго

скорбнаго мгновенія, да и наоборотъ то, что въ одномъ сердцѣ ни малѣйшаго не произведетъ содроганія, во стѣ (т. е. сотнѣ) другихъ родитъ отчаяніе и изступленіе. Пробуди благое невѣдѣніе всецѣло, пробуди нерушимо до скончанія вѣка: въ тебѣ почилъ сохранность страждущаго общества» (см. II т., стр. 308—309). Пугачевскій бунтъ могъ уже служить въ то время историческимъ подтвержденіемъ этой мысли объ отчаяніи и изступленіи, которыя, наконецъ, «возносятъ бодрственную главѣ, служа единственнымъ признакомъ жизни въ «страждущемъ обществѣ»...

Въ государственной сферѣ было двѣ крупныхъ попытки измѣнить теченіе дѣлъ. Первая изъ нихъ вышла изъ среды вельможъ, окружавшихъ тронъ, и относится къ царствованію Анны Іоанновны. Свѣдѣнія о ней мы находимъ въ «Письмахъ о Россіи *) дука де-Лиріи», испанскаго посланника, прибывшаго въ Петербургъ при Петрѣ II, отъ имени короля Филиппа V (см. II и III томы Осьмнадцатаго вѣка).

Дукъ де-Лирія попалъ въ Россію по чистому недоразумѣнію и, во все время своего посольства, плакался на свою судьбу, на русскій морозъ, истребившій у него запасъ токайскаго вина, на русскихъ варваровъ, «хитрыхъ и лукавыхъ», какъ никто въ мірѣ, и наконецъ на испанское казначейство, которое съ такою аккуратностію высылало

*) Существуютъ еще Записки дука Лирійскаго, которыя были переведены въ 1845 г., съ французскаго языка, г. Языковымъ. Но этотъ переводъ неполонъ; кромѣ того, французскія записки дука, написанныя послѣ, представляютъ многія обстоятельства въ смягченномъ видѣ, тогда какъ въ своихъ депешахъ и письмахъ (на испанскомъ языкѣ) онъ записываетъ ихъ по свѣжимъ впечатлѣніямъ, по только что полученнымъ извѣстіямъ. Переводъ этихъ писемъ принадлежитъ г. Кустодіеву.

свои платежи, что бѣдный посланникъ принужденъ былъ въ закладъ даже свой орденъ Золотого Руна. Недомѣніе, привлекая дука съ гостепріимнаго юга на сѣверъ, состояло въ томъ, что Филиппъ V, заключивъ союзъ съ Австріей противъ Англіи, надѣялся, на случай войны, воспользоваться русскими кораблями и ими сопить морское могущество англичанъ. Надежда эта, сама себѣ призрачная, потому что русскій флотъ вовсе не былъ въ состояніи выдержать борьбу съ англійскимъ, парализовалась совершенно тѣмъ обстоятельствомъ, что, во время анничества дука, политическія отношенія радикально смѣнились, и Англія сдѣлалась изъ враговъ союзницей России. Кромѣ того, при Петрѣ II русскій дворъ выражалъ намѣреніе навсегда остаться въ Москвѣ, а тогда—говоритъ самъ дукъ де-Лирія — «я не далъ бы и четырехъ жезловъ за его союзъ, и пускай его себѣ возится съ персами и татарами: вѣдь государствамъ Европы тогда онъ не можетъ сдѣлать ни добра, ни зла». Но если путешествіе не принесло пользы его странѣ, то въ его письмахъ и разсказахъ къ испанскому правительству сохранилось зато много интересныхъ фактовъ о положеніи дѣлъ въ Россіи и въ отношеніи придворныхъ партій въ царствованіе Петра II и въ началѣ царствованія Анны Іоанновны. Положеніе при Петрѣ II дукъ де-Лирія представляетъ въ слѣдующихъ чертахъ: «Чтобы лучше понять настоящее положеніе нашего двора, нужно знать, что здѣсь существуютъ двѣ партіи. Первая—царская, къ которой принадлежатъ всѣ тѣ люди, которые желаютъ выгнать отсюда всѣхъ иностранцевъ. Она подраздѣляется на двѣ: одну составляютъ Голи-

цны, другую — Долгорукіе. Вторая партія есть партія великой княжны, царской сестры, и къ ней принадлежатъ: баронъ Остерманъ, графъ Левенвольдъ и всѣ иностранцы. Цѣль послѣдней партіи состоитъ въ томъ, чтобы поддержать себя противъ русскихъ милостію и покровительствомъ великой княжны (Натали Алексѣевны), которую царь пока весьма много уважаетъ. Левенвольда ненавидятъ не только русскіе, но и всѣ честные люди... Но больше всѣхъ царь довѣряетъ принцессѣ Елизаветѣ, своей теткѣ, которая отличается необыкновенною красотою; я думаю, что его расположеніе къ ней имѣетъ весь характеръ любви. Впрочемъ, она ведетъ себя благоразумно и осторожно; она уважаетъ Остермана и живетъ съ нимъ въ согласіи. Его величество также любитъ молодаго князя Долгорукаго, который, какъ молодой человѣкъ, угождаетъ ему во всемъ. Принцесса Елизавета, такимъ образомъ, нѣсколько отстраняется отъ царя, и нѣтъ сомнѣнія, если Долгорукій сдѣлается полнымъ фаворитомъ, принцессѣ и Остерману грозитъ гибель. Дѣлаютъ всевозможное, чтобы отстранить этого Долгорукаго (Ивана Алексѣевича), но пока безъ успѣха. Онъ, — сынъ князя Долгорукаго, втораго воспитателя царя, служитъ камергеромъ и пользуется такою довѣренностью, что не оставляетъ царя ни на минуту, даже спитъ съ нимъ въ одной комнатѣ. Отецъ его, въ свою очередь, старается доставлять царю разныя удовольствія. Они удалили бы уже Остермана, если бы русскіе вельможи были между собою въ согласіи. Голицыны и Долгорукіе — первые и сильнѣйшіе изъ всѣхъ русскихъ бояръ; но съ нѣкотораго времени они во враждѣ между собою: если одна сторона указываетъ для ка-

нибудь важнаго поста одного изъ своихъ друзей, дру-
инкакъ не хочетъ уступить». Въ другихъ депешахъ онъ
тъ характеристику всѣхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ.
ольшую симпатію высказываетъ онъ къ великой княжнѣ
ѣ Алексѣевнѣ, вѣроятно, въ благодарность за ту
ржку, которую находили въ ней иностранцы. «Добро-
тельность, умъ, благородство, разсудительность, любовь
иностранцамъ»—вотъ ея отличительныя качества. Всего
отзывается онъ о принцессѣ Елизаветѣ, хотя впослед-
разойдась съ Остерманомъ, значительно смягчаетъ о
свои отзывы. Характеръ Елизаветы, по его мнѣнію,
шенно противоположенъ характеру великой княгини На-
. «Красота ея физическая—говоритъ онъ—это чудо
(villa), грація ея неописанна, но она лжива, безнрав-
на и крайне честолюбива. Еще при жизни своей матери
отѣла быть преемницей престола предпочтительно предъ
ящимъ царемъ, но какъ божественная правда не вос-
на этого, то она задумала взойти на тронъ, выйдя
жъ за своего племянника; но и этого не могла
ься, во-первыхъ, потому, что своимъ дурнымъ поведе-
она потеряла благоволеніе царя. Послѣ всего этого
ь она живетъ, скрывая свои мысли, заискивая у всѣхъ
це, а особенно у старыхъ русскихъ, которые чувствуютъ
оскорбленными въ своихъ обычаяхъ». Успѣхи Голицы-
при дворѣ тревожатъ дука еще больше, чѣмъ вліяніе
ты Елизаветы; онъ думаетъ, что если эта фамилія вой-
окончательно въ милость у царя, то въ правительствѣ
ойдетъ совершенная революція, и «всѣ иностранцы
ны считать себя погибшими, потому что Голицыны всѣ

вообще ненавидятъ ихъ». Но значеніе Голицыныхъ предвидится только въ перспективѣ; въ настоящемъ же растеть чрезмѣрная власть дома Долгорукихъ, которые «управляютъ всѣмъ и съ крайнимъ произволомъ». Говоря порознь о князьяхъ Долгорукихъ, дукъ де-Лирія относится довольно снисходительно къ самому фавориту и признаетъ въ немъ даже умъ и «отвращеніе къ придворнымъ интригамъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сообщаетъ, что въ приближенномъ семействѣ нѣтъ внутренняго согласія, такъ что отецъ фаворита завидуетъ успѣхамъ сына, а родная сестра его, нареченная невѣста Петра, «ненавидитъ брата и поклялась погубить его». Къ этимъ извѣстіямъ, которыя могли бы показаться странными и невѣроятными, дукъ де-Лирія прибавляетъ, что въ Россіи «никто не хочетъ знать никакого закона: каждый добивается своей цѣли, а для достиженія ея пожертвуетъ отцомъ, матерью, дѣтьми, родными и друзьями» (Т. II, стр. 157). Объ Остерманѣ, стоявшемъ во главѣ иностранной партіи, де-Лирія говоритъ, какъ о самомъ способномъ и опытномъ русскомъ министрѣ, хотя, въ откровенныя минуты, и замѣчаетъ, что это—человѣкъ безъ религіи и правилъ. Изъ всѣхъ этихъ данныхъ возникла и развивалась придворная борьба, подъ перекрестнымъ огнемъ которой пришлось стоять испанскому посланнику, сондируя тамъ и сямъ, обращаясь то къ тому, то къ другому, и попадая ежеминутно, по его выраженію, «на подводные камни.» Русская партія, въ которой многіе члены желали возстановленія допетровской старины, включая сюда и патріаршество, переселила царя въ Москву, чтобы удобнѣе окружить его тамъ соотвѣтствующими вліяніями; иностранцы же, въ томъ числѣ и де-Лирія, усили-

вались возвратить его въ Петербургъ, гдѣ самая почва подсказывала другія мысли и направляла иначе политику. Работая въ пользу своей цѣли, послѣдніе не затрудняются даже подлогомъ, и дукъ де-Лирія, вдвоемъ съ австрійскимъ посланникомъ графомъ Вратиславскимъ, преспокойно дѣлають къ пиесу принца Евгенія приписку собственнаго сочиненія, въ которой говорится, что австрійскій цезарь проситъ настойчиво хлопотать о возвращеніи двора въ Петербургъ (стр. 125). Самъ царь сначала высказывается противъ жизни въ Москвѣ, гдѣ ему докучаютъ наставленіями и постоянной опекой (стр. 45); но мало-по-малу онъ такъ подчиняется Долгорукимъ, преимущественно отцу фаворита, князю Алексѣю, что толки о Петербургѣ стихають, и наконецъ де-Лирія долженъ признаться самому себѣ, что «надежда на возвращеніе въ Петербургъ исчезла совершенно, и нѣтъ никакихъ способовъ убѣдить тѣхъ, которые бы своимъ вліяніемъ могли подѣйствовать на предпріятіе этого путешествія». Это случилось вскорѣ по смерти великой княжны, покровительницы иностранцевъ. Овладѣвъ царемъ, Долгорукіе удалили отъ него Елизавету, къ которой присватался-было, но безуспѣшно, князь Иванъ. Вслѣдъ затѣмъ отецъ фаворита сталъ подготавливать женитьбу царя на княжнѣ Долгорукой, и успѣлъ бы въ этомъ, еслибы замыслы его не прервала смерть Петра, здоровьемъ котораго слишкомъ неосторожно рисковалъ увлекшійся временщикъ. Въ этотъ періодъ жизни Петра, несчастный мальчикъ-государь, каждое утро, едва одѣвшись, садился въ сани и ѣхалъ въ подмосковную съ княземъ Алексѣемъ Долгорукимъ, который изобрѣталъ для него все новыя и новыя потѣхи, не желая

выпускать изъ своихъ рукъ и удаляя по возможности отъ Елизаветы и Остермана. Фаворитъ не одобрялъ дѣйствій отца, но по слабости характера не рѣшался противостать имъ. Государственныя дѣла, всѣми заброшенныя, приходили окончательно въ упадокъ. «Что касается здѣшняго управленія — пишетъ дукъ де-Лирія — все идетъ дурно: царь не занимается дѣлами, да и не думаетъ заниматься; денегъ никому не платятъ, и Богъ знаетъ, до чего дойдутъ финансы его царскаго величества; каждый воруетъ, сколько можетъ. Всѣ члены верховнаго совѣта нездоровы, и потому этотъ трибуналъ, душа здѣшняго управленія, вовсе не собирается. Всѣ подчиненныя вѣдомства тоже остановили свои дѣла. Жалобъ бездна; каждый дѣлаетъ то, что ему набредетъ на умъ». Наконецъ, совершилось обрученіе царя съ нелюбимою имъ невѣстою. При этомъ приняты были всѣ мѣры на случай безпорядка или сопротивленія недовольныхъ: цѣлый батальонъ гвардіи (въ 1,200 человѣкъ) держалъ караулъ во дворцѣ; сто гренадеръ, подъ командою фаворита, вошли въ залу, гдѣ производилась церемонія, съ заряженными ружьями. Счастье было «такъ близко, такъ возможно». Но вдругъ, чрезъ полтора мѣсяца, Петръ умираетъ, не вступивши въ законный бракъ, къ ужасу Долгорукихъ, на половину породнившихся съ нимъ. Надлежало замѣстить вакантный престолъ — и тогда-то зародилась въ нѣкоторыхъ умахъ мысль о политической реформѣ, упомянутая нами. Прежде всего на виду стояли: сынъ герцога Голштинскаго, — имѣвшій наибольшее право на престолъ, еслибы онъ переходилъ легальнымъ порядкомъ, — и принцесса Елизавета, у которой, уже въ то время, были свои сторонники. Дукъ де-Лирія

минаетъ также, въ числѣ кандидатовъ на тронъ, царь-бабку Петра и князю Долгоруку, невесту покойнаго. Но случилось то, чего онъ вовсе не ожидалъ, а именно на престолъ была призвана Анна Іоанновна, дочь номинально-царствовавшего Іоанна Алексѣевича, никогда и не ставшая о русской коронѣ. Что за странный поворотъ та, и какъ объяснить его? Многіе наши историки, повѣовавшіе объ этомъ событіи, объясняютъ его не больше, чѣмъ коварствомъ царедворцевъ, которые добивались своихъ личныхъ выгодъ, и потому предложили тронъ герцогинѣ Голландской, ограничивъ предварительно ея власть. Безъ личнаго, личнаго интереса, болѣе или менѣе широко понимая, руководить всѣми дѣйствіями смертныхъ, но однимъ извѣстіемъ на нихъ врядъ-ли исчерпывается смыслъ какого-то имъ было политическаго событія. Можно думать, что Анна Іоанновна, разрывая подписанные ею пункты, также забывала своихъ личныхъ интересовъ; слѣдовательно, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ мотивъ дѣйствія будетъ совершенно одинаковъ. Но отъ этой общей побудительной причины перейдемъ къ дальнѣйшимъ соображеніямъ. Насколько члены верховнаго совѣта, ограничивая власть избираемой ими государыни, имѣли въ виду интересы страны, и, пожалуй, на сколько государственные интересы совпадали съ ихъ личными выгодами? Пересмотрѣвъ внимательно всѣ документы, относящіеся къ этому дѣлу, мы не рѣшимся сказать, чтобы государственные интересы тутъ совершенно отсутствовали, и чтобы реформаторы руководились исключительно своими личными расчетами. Они, правда, понимали государственные интересы слишкомъ узко и хотѣли ограничить предста-

вительство однимъ сословіемъ, то-есть сравнительно-ничтожнымъ кружкомъ народа; но въ то время, въ цѣлой Европѣ, народныя массы нигдѣ не призывались еще къ политической жизни, и, такимъ образомъ, грѣхъ нашихъ верховниковъ иѣтъ за себя, по крайней мѣрѣ, *circonstances atténuantes*. Говорятъ еще, что верховники, избирая на извѣстныхъ условіяхъ Анну Іоанновну, желали уничтожить Петровы преобразованія и отодвинуть Россію ко временамъ Гостомысла; но и это предположеніе падаетъ само собою, въ виду того, что съ такою цѣлью сообразнѣе было бы—возвести на престолъ бабу Петра II-го, которую дукъ де-Лирія упоминаетъ въ числѣ претендентовъ. Люди, распоряжавшіеся трономъ, могли сдѣлать это такъ же свободно, какъ и предлагая корону герцогинѣ Курляндской. Но дѣло въ томъ, что партія тупыхъ и невѣжественныхъ ретроградовъ была не причемъ въ моментъ избранія Анны. Кредитъ Ивана и Алексѣя Долгорукихъ упалъ сейчасъ же по смерти царя (этимъ объясняется и паденіе кандидатуры царской невѣсты), и главнымъ дѣятелемъ въ сношеніяхъ съ Анною Іоанновною становится князь Василій Лукичъ Долгорукій, бывшій русскимъ посланникомъ въ Швеціи, Польшѣ, Даніи и Франціи—человѣкъ безспорно умный и образованный. Пребываніе въ этихъ странахъ (стр. 62), вѣроятно, внушило ему тѣ новыя понятія о государственной власти, которыя онъ вознамѣрился приложить къ своему отечеству; а потому нельзя и допустить, чтобы онъ, достигнувъ успѣха, оправдалъ опасенія де-Лиріи и сталъ безъ толку «выгонять всѣхъ иностранцевъ» изъ Россіи. Вѣрнѣе, что онъ своимъ вліяніемъ удержалъ бы отъ такой затѣи своихъ родичей и союзниковъ,

пришла имъ въ голову. Поочистить же Россію ихъ продажныхъ авантюристовъ, дѣйствительно,

По депешамъ дука де-Лиріи можно прослѣ-

аткій періодъ преобразовательныхъ стремленій

1. «Во первыхъ, хотять — пишеть дукъ въ

31-го января нов. ст. 1730 г. — чтобы она

Бурляндская) не выходила замужъ, во вто-

ею руководствовалъ совѣтъ, назначаемый на-

казахъ дука, какъ и всѣхъ политическихъ лю-

ени, одинъ только высшій классъ слытъ подѣ

ціи.) Идея та, чтобы считать царицу ли-

му они отдають корону какъ бы на храненіе,

мженіе ея жизни составить свой планъ управ-

ущее время. Они имѣють три идеи объ управ-

торыхъ еще не согласились: первая — слѣдо-

у Англіи, въ которой король ничего не можетъ

парламента. Вторая — взять примѣръ съ управ-

и, имѣя выборнаго монарха, котораго бы руки

республикой. И третья — учредить республику

тѣ безъ монарха. Какой изъ этихъ трехъ идей

слѣдовать — еще неизвѣстно» (стр. 30, III т.).

пешѣ отъ 6-го февраля того же года, дукъ

Планъ управленія, которое хотять установить

етъ у ея царскаго величества всякую власть.

тъ имѣть никакой власти надъ войскомъ, кото-

распоряжаться фельдмаршалы, давая во всемъ

зному совѣту, и царица будетъ имѣть въ своемъ

только ту гвардію, которая будетъ на дѣй-

службѣ во дворцѣ; она не будетъ имѣть ни

никакого налога. 5) Не может предоставлять
значительной должности. 6) Не может объ-
сентенции, и никакого наказания кому либо изъ
безъ формального процесса. 7) Не может кон-



склонились въ
сетъ и дворянст
ической жизни,
гѣя остановиться
рицеры гвардіи
ѣта) открыто п
бами одного и
тиранія котор

овой заставляли писать протестъ,
цной старушкѣ, которая ставила
, и сатанѣ. «Неизвѣстно еще, гдѣ
на предусмотрительная старушка.
вѣроломную толпу: 9-го мая (но-
нѣ былъ сдѣланъ оберъ-камерге-
чались и все ужасы бирюзовщи-
говскія событія пошли въ прокъ:
ими людьми, дѣйствительно, нечего

патрица Еватерина, сильно отличается отъ глухой пс
Аннинскаго царствованія. Это было время, когда филосо
скія идеи, выработанныя новымъ направленіемъ умовъ,
чали уже переходить изъ теоріи въ практику, осуществ
ясь вначалѣ руками самихъ привилегированныхъ сос
вій, противъ которыхъ онѣ были направлены; когда силы
государя занисывались въ ряды философовъ, выставяя
своемъ политическомъ знамени: освобожденіе отъ предр
судковъ, ограниченіе власти духовенства, религіозную т
яимость, развитіе просвѣщенія въ народѣ, смягченіе на
завій, равенство передъ закономъ, и проч. и проч.; ко
либерализмъ мысли считался обязательнымъ для кажд
просвѣщеннаго челоука, переходя нерѣдко въ *sensible*
déclamatoire—особенную болѣзнь вѣка. Еще въ дѣтствѣ

когда она жила съ своей матерью въ Гамбур
нбургъ замѣчалъ у нея «философское распо
позднѣ эта умственная пытливость разви
чительно подъ вліяніемъ чтенія Бейля, М

съмнадц. вѣка») и, какъ покорная ученица, выслуши-
тъ его план
бужая, впро-
ражаются въ
внп. Словомъ,
омною власть
ино, чѣмъ въ
отечественны
отъ злоупот
государством
ода и слышат
едставителей.
и контролиро

При выборѣ депутатовъ, сами правительственныя лица со-
бѣтуютъ выбирать не знатныхъ, а людей, знающихъ нужды
народа. Право выбора дается по очень немыслимому цензу,
что рѣзко отличаетъ Екатерининскую мѣру отъ конститу-
ціонно-аристократическихъ попытокъ князя Долгорукаго.
Всѣ депутаты остаются довольны мудрыми словами «Наказа»
и безтрепетно высказываютъ свои предложенія, а маршалъ
Бибииковъ, съ достоинствомъ, какъ настоящій президентъ
парламента, руководитъ преніями собранія. (Всѣ эти пренія
напечатаны въ IV томѣ «Сборника Русс. Истор. Обще-
ства» изданія, представляющаго большой интересъ для
науки.) Но есть, однако, и недовольные комиссіей. Лиф-
ляндскіе и эстляндскіе депутаты, боясь за ненаруши-
мость своихъ «привилегій», желаютъ устранить себя отъ
засѣданій комиссій. Тогда Екатерина пишетъ громовое
письмо къ князю Вяземскому: «Велите, кому вы забла-
горазсудите, подать голосъ, составленный изъ слѣдующихъ
мотивовъ. Что онъ (то-есть будущій авторъ «голоса») съ
великимъ удивленіемъ услышалъ торжественное предохра-
неніе (устраненіе) господъ лифляндскихъ депутатовъ, для
того, что, какъ бы то ни были совершенны ихъ узаконе-
нія теперешнія,—не выведены изъ такихъ человѣко-
любивыхъ правилъ, какъ въ «Наказѣ» ея величества пред-
назначено для составленія законовъ... Если же противу ком-

едохранились, то онъ почи-
ествовали сами противъ себя:
депутатами во всѣхъ частныхъ
проекты. Если же въ сихъ
сти себѣ приличныя и кои
огутъ, какъ въ томъ ихъ при-
ступаютъ, то неизвѣстно по ка-
ляндскіе законы лучше были,
а тѣхъ нельзя; ибо наши пра-
мо, а они правилъ показывать
и нѣтъ ихъ узаконеніа
ами и варварствами. И
ебѣ, торжественно они
тобы насъ смертію ваз-
окъ, мы просимъ, чтобы
еды наши суды никогда
торжественно предохраняемъ
ихъ узаконеній» (т. III, стр.
ставила, въ то время, Екате-
«Наказа» и какъ презрительно
противодѣйствію злонамѣрен-
къ велѣлъ вамъ—говоритъ она

совершенно непринужденно,
ихъ важнѣйшихъ вопросовъ
крѣпостное право, котораго
во всѣ поры русской жизни,
иисіи, и Екатерина сочув-
ствовавшимъ, справедливымъ

приговорахъ. Извѣстны также ея саркастическіе отвѣты Су-
марокову, вздумавшему вступить за безчеловѣчное право.
Много лѣтъ спустя, въ письмѣ, которое г. Бартеневъ отно-
ситъ къ 1775 г., Екатерина, воснувшись одного неглаго-
сатскаго указа, пишетъ слѣдующее: «Я всячески разли-
чить стараюсь преступленія и наказанія, а сенатъ конфон-
дируетъ (смѣшиваетъ) убійство съ обороной хозяина и
хочетъ, чтобы смертоубійцы сравнены были съ оборони-
телями; но великая разница между убіеніемъ, знаніемъ о
убіеніи и препятствіемъ или не препятствіемъ убіенію. Про-
рочествовать можно, что если за жизнь одного помѣщика
въ отвѣтъ и въ наказаніе будутъ истреблять цѣлыя деревни,
то бунтъ всѣхъ крѣпостныхъ крестьянъ воспослѣдуетъ. По-
ложеніе помѣщичьихъ крестьянъ таково критиче-
ское, что окромѣ тишины и челоуѣколюбивыми
учрежденіями ничѣмъ избѣгнуть не можно. Генераль-
наго освобожденія неоснаго и жестокаго не вос-

коненіи не будутъ взаты мѣры къ пресѣченію сихъ опасныхъ слѣдствій. Ибо, если мы не согласимся на уменьшеніе жестокости и умѣреніе человѣческому роду нестерпимаго положенія, то и противъ нашей воли сами оную возьмутъ рано или поздно. Ваше сіятельство (письмо адресовано къ князю Вяземскому, генералъ-прокурору сената) изъ сихъ строкъ можете сдѣлать такое употребленіе, какъ вы сами для пользы имперіи заблагоразсудите. Ибо не безнужно, чтобъ не я одна сіе только чувствовала, но и другіе оглянулись въ своихъ предубѣжденіяхъ» (т. III, стр. 390—91). Кажется, нельзя рѣшительнѣе заклеить владѣніе живою собственностью и благоразумнѣе предвидѣть могущія произойти отъ того послѣдствія!

И все-таки крестьяне не были освобождены, и все-таки наша политическая жизнь, обновленная на короткій срокъ, повлеклась по прежнему руслу, усѣянному «подводными камнями», о которыхъ говорилъ дукъ де-Лирія. Въ концѣ царствованія Екатерины, мы видимъ ее даже въ прямой враждѣ съ принципами, выражаемыми въ «Наказѣ». *L'égalité*—говоритъ *monstre, qui veut être roi*. Бытіи, взволновавшихъ понятныхъ особъ, мы замѣчаемъ ную двойственность, какую-то редъ логическими выводами довь. Еще отстаивая въ теоріи на практикѣ «образцечестной и откровенной политикѣ

мъ, которое создала для нея судьба. Гранить всецѣло уваженіе къ человѣку, да ее окружала толпа низкихъ льстецовъ, авшихъ и готовыхъ «отважно жертвовать только сорвать улыбку съ ея устъ. Въ г-жѣ Жоффренъ (напечатанномъ въ Русскаго Историческаго Общества) то, что ей даже не съ кѣмъ похвалиться придворные, при ея появленіи въ видѣ медузиной головы». Одинокое изъ другихъ писемъ, умъ и умную бесѣду о серьезныхъ вещахъ ней и не унижаясь до нуля. Собственному выраженію, «кричагого обычая; но современемъ она, въ. Не мудрено было, наконецъ, въ и наукѣ, когда въ русскомъ о одна наука — «наука страсти азона». Были, правда, въ Россіи ученые (поэты плодились даже) но походили ли они сколько ни дѣятелей литературы и науки, къ себѣ уваженіе Екатерины: агрима», самъ смотрѣлъ на свою

въ одиноко въ русскомъ обществѣ, что объ его ссылкѣ
калѣли немногіе, а Державинъ даже сочинилъ такой ку-
тецъ:

Бада твоя въ Москву со истинною сходна,
Не встаетъ лишь держа, смѣла и сумасбродна.
Я слышу, на коней лицакъ кричатъ: вырь-вырь!
Знать, русскій Мирабо, побѣхалъ ты въ Сибирь.

Политическія реформы Екатерины тормозились противъ ея
и въ значительной степени. Она сочувствовала народу, ко-
мѣ расплачивался и своими боками, и своею сумою (ибо де-
шевого кошелька не было) за такое положеніе дѣлъ, желала
она въ душѣ помочь угнетеннымъ, но между ею и на-
комъ создавалась вѣками цѣлая непроницаемая стѣна. Если
Сумароковъ, одинъ изъ представителей русской интел-
генціи,—какова бы она тамъ ни была—съ благороднымъ
разновѣніемъ защищалъ крѣпостное право, то можно пред-
ставить себѣ, какъ взидало на этотъ предметъ большинство
ссскихъ помѣщиковъ. Всѣ эти обстоятельства служатъ если
къ оправданію, то, по крайней мѣрѣ, къ объясненію той не-
спешности и непоследовательности, какая обнаружи-
ется въ политической программѣ Екатерины; но ея за-
дача—изданіе «Наказа»—принадлежитъ лично ей, и не-
многіе русскіе въ состояніи были, какъ слѣдуетъ, понимать
мысль этого великаго законодательнаго акта. Изданіе «На-
каза» можно назвать самымъ крупнымъ и утѣшительнымъ

навсегда отчеканенными по казенному образцу. , что еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, слѣ-
ю въ періодъ паденія Зеленецкаго и временнаго
и прогрессивныхъ идей, появились у насъ послѣдо-
одинъ за другимъ, и вдобавокъ одинъ хуже дру-
учебныхъ курса русской литературы,—гг. Петра-
ульфа и Петрова, — изъ которыхъ послѣдній учеб-
гигнулъ, къ удивленію нашему, четвертаго или пя-
нія, мирно расходясь по рукамъ нашей учащейся
... Съ тѣхъ поръ, къ ихъ числу присоединились
е уступающіи имъ по достоинству, издѣлія Кирич-
Тимоѣева, Буракова e tutti quanti, и усердные
оры, конечно, вправѣ надѣяться, что судьба улыб-
ь такъ же, какъ улыбалась уже она ихъ достой-
дшественникамъ.—Этотъ печальный наплывъ и еще
чальный успѣхъ дешевыхъ компиляцій доказываютъ
о если появленіе подобныхъ книгъ строго осуждаетъ
въ сознаніи развитой части русскаго общества —
немногочисленныхъ кружкахъ его, для которыхъ
а безслѣдно дѣятельность лучшихъ нашихъ кри-
— то, съ другой стороны, у насъ существуютъ
держатся причины, позволяющія смотрѣть на исто-
ратуры, какъ на случайный и безцѣльный сбродъ
именъ, цифръ и названій литературныхъ произве-
ожно сказать даже больше: по нѣкоторымъ призна-
е рѣзче и рѣзче обнаруживающимся въ нашемъ
мірѣ, позволительно думать, что въ то время,
печати будутъ вырабатываться новыя, болѣе зрѣ-
правильные взгляды на исторію литературы, какъ

науку и какъ предметъ школьнаго обученія,—въ педагогической сферѣ движеніе пойдетъ совершенно противоположнымъ путемъ, и не впередъ, а назадъ, къ допотопнымъ формациямъ Зеленецкаго, Греча и Кошанскаго. На эту мысль наводятъ насъ, по крайней мѣрѣ, послѣднія программы гимназій министерства народнаго просвѣщенія, въ которыхъ, рядомъ съ торжествомъ классицизма и языкоученія съ его внѣшней, формально-грамматической стороны, идетъ поразительное оскудѣніе въ количествѣ и качествѣ собственно литературныхъ произведеній, обязательно разбираемыхъ преподавателямъ въ классѣ. Замѣчается желаніе—ограничить курсъ литературы однимъ знакомствомъ съ фабулой художественнаго произведенія и, пожалуй, съ такъ-называемыми «эстетическими красотами» его, отбросить въ сторону общественный смыслъ разбираемаго сочиненія, ту неразрывную историческую связь, которая соединяетъ его съ умственной жизнью извѣстной эпохи, съ идеалами и стремленіями нашихъ предковъ, наконецъ — стѣснить, почти выбросить со-всѣмъ оцѣнку сатирическихъ произведеній, при которой невозможно было бы преподавателю удержаться на своихъ эстетическихъ ходуляхъ, но пришлось бы спуститься въ самый центръ описываемой жизни и войти въ разбирательство различныхъ умственныхъ направленій и житейскихъ событій. А этого-то именно и не нужно; это-то и составляетъ запретный плодъ, ведущій прямо, по мнѣнію опытныхъ людей, къ педагогическому грѣхопадению. «Къ чему—говорятъ эти опытные люди—вносить страстность и раздраженіе въ незлобивое сердце юношей? Зачѣмъ поднимать въ ихъ умѣ тревожные вопросы, на которые ихъ легко можетъ

натолкнуть излишняя словоохотливость учителя?» Опытнымъ людямъ, повидимому, не приходитъ въ голову, что умственная работа начинается въ ученикахъ не потому только, что этого хочется или не хочется учителю, не потому, что это нравится или не нравится начальству, но въ силу другихъ, болѣе существенныхъ законовъ человѣческой природы, и что вѣрнѣйшее средство отдѣлаться отъ всѣхъ мучительныхъ вопросовъ — это пойти имъ на встрѣчу, овладѣть ими при помощи знанія и трезвой мысли. Если школа не захочетъ помочь своему ученику въ его трудной психической работѣ, то послѣдній найдетъ, конечно, возможность удовлетворить иначе своимъ естественнымъ стремленіямъ; но обманутый или грубо оттолкнутый своими наставниками, онъ уже непремѣнно потеряетъ къ нимъ все прежнее довѣріе и уваженіе. Славный результатъ для послѣдователей теоріи: *tant pis, tant mieux*, къ которымъ, впрочемъ, опытные люди едва ли причисляютъ себя! При такомъ мнимо-безстрастномъ и мнимо-объективномъ направленіи (подъ этой кажущейся безстрастностью и объективностью скрываются, въ сущности, самыя пылкія вожделѣнія и самая злокачественная тенденціозность, направленныя къ охранѣ всего отжившаго и гнилаго), при такомъ ясномъ и нисколько не скрываемомъ желаніи парализовать всякую живую струю въ учебномъ дѣлѣ, обративъ его, по прежнему, въ сухую, ни къ чему не ведущую схоластику, — взгляды Бѣлинскаго на цѣль и значеніе исторіи литературы, а также и его талантливныя, меткія характеристики русскихъ писателей, стали казаться подозрительными и вольнодумными въ глазахъ черезчуръ ревностныхъ блюстителей критическаго благочинія и бла-

гоустройства. Къ сожалѣнію, эти ревнители получили сильную поддержку, на которую, въ началѣ 60-хъ годовъ, они никакъ не могли бы рассчитывать. На помощь имъ пришелъ ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщенія, который, въ одномъ своемъ отзывѣ, по поводу втораго изданія хрестоматіи г. Филонова, положилъ слѣдующую, весьма любопытную и заслуживающую особеннаго вниманія, резолюцію. «Такъ какъ—пишетъ неизвѣстный рецензентъ—при второмъ изданіи составитель (то есть составитель хрестоматіи, г. Филоновъ) сдѣлалъ нѣкоторыя перемѣны въ пользу внутренняго достоинства своей книги, то мы считаемъ обязанностью указать: въ чемъ именно заключается произведенное имъ улучшеніе. Учебникъ, главнѣйшимъ образомъ, улучшается очищеніемъ его отъ яркихъ педагогическихъ недосмотровъ. Г. Филоновъ, не оставивъ безъ вниманія высказанныхъ ему замѣчаній, исключилъ изъ своей книги многое, что могло только запутывать и учителя, и учащихся... Остались только (какъ жаль!!) слова Бѣлинскаго о трагическомъ и слова Арбузова о значеніи хоровъ греческой трагедіи, выписанныя изъ его стихотвореній 1856 г. Г. Филоновъ поступилъ бы еще лучше, еслибы сужденія этихъ лицъ замѣнилъ сужденіями другихъ авторитетовъ менѣе сомнительнаго качества... Не встрѣчается больше толкованіе мѣта о Прометѣѣ, находившееся въ 3-мъ томѣ, выписанное изъ сочиненій Бѣлинскаго. Но, къ сожалѣнію, въ темахъ все-таки осталась задача: «показать заслуги Прометея». (Замѣтимъ въ скобкахъ, что эта тема совершенно необходима, если

только учитель прочиталъ въ классѣ тотъ отрывокъ, къ которому она относится. Прометей самъ говоритъ о своихъ заслугахъ человѣчеству; слѣдовательно, не разъяснить ихъ и было бы, дѣйствительно, «яркимъ педагогическимъ недосмотромъ»). «Какимъ образомъ—гнѣвно вопрошаетъ рецензентъ — и въ какомъ классѣ гимназіи будутъ рѣшать эту тему ученики? (Какимъ образомъ? объ этомъ могъ бы догадаться самъ рецензентъ, прочтя «Прикованнаго Прометея», а въ какомъ классѣ?—это вопросъ, не стоящій отвѣта, такъ какъ рецензенту, безъ сомнѣнія, извѣстно: въ какихъ именно классахъ гимназіи проходятся теорія и исторія словесности.) За то другихъ темъ, столь же трудныхъ или, по крайней мѣрѣ, странныхъ, находившихся въ прежнемъ изданіи: — на примѣръ, характеръ дѣятельности «знаменитаго критика Бѣлинскаго» на основаніи стихотворенія Некрасова «Памяти пріятеля», характеристика Капрала на основаніи пѣсни Беранже — въ новомъ изданіи нѣтъ, и прекрасно». (См. «Сборникъ мнѣній ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія объ учебныхъ руководствахъ и пособіяхъ, одобренныхъ для гимназій». Спб. 1869 г.)

Читатель, вѣроятно, согласится съ нами, что эта резолюція сама заслуживаетъ быть помѣщенной въ какой нибудь хрестоматіи, какъ образчикъ педагогическихъ взглядовъ нашего времени... Читая ее, не знаешь, чему болѣе удивляться:—благодушной ли уступчивости г. Филонова, готоваго выбросить лучшія страницы изъ своей книги «въ пользу внутренняго ея достоинства», или неумытной строгости ученаго комитета, который ставитъ на одну доску

Бѣлинскаго и Арбузова (ужь не тотъ ли это г. Арбузовъ, который прославился на мировомъ судѣ изобрѣтеніемъ новой клички ангелиста?), для котораго авторитетъ Бѣлинскаго есть «авторитетъ сомнительнаго качества», и который, хладнокровною рукою, вычеркиваетъ изъ книги всякое упоминаніе этого неприличнаго имени? Мы не станемъ, конечно, оскорблять неумѣстной защитой великую тѣнь геніальнаго критика, достаточно вынесшаго въ своей жизни, достаточно перестрадавшаго въ душѣ за всю тупость и косность современнаго ему поколѣнія. Мы не намѣрены также разъяснять, по этому поводу, огромныхъ заслугъ писателя, создавшаго въ Россіи истинно-европейскую, раціональную критику и публицистику, оцѣнившаго впервые, но съ поразительной вѣрностью, таланты: Пушкина, Гоголя, Кольцова, Лермонтова, Герцена, Гончарова, Тургенева, Достоевскаго и др. Тѣмъ не менѣе, мы дали себѣ трудъ заглянуть въ адресъ-календарь, чтобы узнать съ точностью: какіе-такіе Лессинги засѣдаютъ въ этомъ комитетѣ, что для нихъ даже и Бѣлинскій (какъ Наполеонъ для расходившагося прапорщика въ извѣстномъ стихотвореніи Давыдова) есть нѣчто «въ родѣ бородавки». По справкѣ оказалось *), что ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщенія состоитъ, подъ предсѣдательствомъ г. Фойгта, изъ гг. членовъ: Благовѣщенскаго, Штейнмана, Чебышева, Ходнева, Георгіевскаго, Весселя—и Галахова, къ которымъ поступаютъ на разсмотрѣніе всѣ учебныя книги и руководства, предназначенныя для класснаго употребленія въ низшихъ и

*) Статья писана въ 1870 г.

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Кому изъ гг. членовъ принадлежитъ цитированный нами отзывъ—на это нѣтъ указаній въ печатномъ сборникѣ ихъ мнѣній; но, во всякомъ случаѣ, его невозможно приписывать ни гг. Штейнману и Благовѣщенскому — специалистамъ по древнимъ литературамъ, ни г. Чебышеву — математику, ни г. Ходневу — химику. Затѣмъ остаются гг. Георгіевскій, Вессель и Галаховъ, изъ которыхъ первый написалъ, кажется, магистерскую диссертацию по предмету политической исторіи, второй извѣстенъ своимъ быстрымъ перерожденіемъ изъ педагога-реалиста въ педагога-классика и, вѣроятно, является судьей по вопросамъ педагогики и дидактики; слѣдовательно, хрестоматіи, служащія пособіемъ къ изученію теоріи и исторіи словесности, должны находиться въ исключительномъ вѣдѣніи г. Галахова, какъ единственнаго лица въ комитетѣ, пріобрѣвшаго извѣстность именно по этимъ отраслямъ знанія. Впрочемъ, предоставляемъ самому г. Галахову категорически опровергнуть или подтвердить наши предположенія. Если же такого отвѣта не воспослѣдуетъ, то, по пословицѣ: «молчаніе есть знакъ согласія», г. Галаховъ долженъ считаться отнынѣ творцомъ приведеннаго отзыва.—Какъ бы то ни было, но и ученый комитетъ, выпустившій подъ своимъ именемъ и на своей нравственной отвѣтственности такую странную резолюцію, дѣлается поневолѣ солидарнымъ съ ней, и мы, на основаніи одного этого факта (другихъ фактовъ мы повуда не приводимъ), можемъ уже составить себѣ понятіе о характерѣ вліянія, какое оказываетъ почтенный трибуналъ на нашу учебную литературу послѣдняго времени. Не только Бѣлин-

скій трактується имъ съ полнѣйшимъ пренебреженіемъ, предъ его судомъ заподозрѣнъ въ неблагонамѣренности даже классикъ Эсхилъ, котораго «Прометей» можетъ внушить вольнодумныя мысли юношеству, побудить къ неповиновенію и къ открытому бунту противъ властей предержащихъ. Въ самомъ дѣлѣ — наглый бунтъ враждуетъ съ Юпитеромъ, который составляетъ для него, такъ сказать, ближайшее и непосредственное начальство; прикованный къ скалѣ за свою строптивость (въ педагогикѣ эта мѣра соотвѣтствуетъ тѣлесному наказанію или «энергическимъ мотивамъ жизни» г. Юркевича), онъ все-таки не унимается, но гремитъ своими цѣпями и посылаетъ проклятія къ небу; наконецъ, непослушаніе этого тѣлесно-наказаннаго буяна соблазняетъ даже скромныхъ океанидъ, получившихъ образованіе въ строгомъ интернатѣ, на самомъ днѣ моря. Чтò тутъ хорошаго съ точки зрѣнія людей, смотрящихъ на литературу, какъ на обширную управу благочинія, гдѣ не должно быть мѣста никакимъ нарушеніямъ разъ заведеннаго порядка, гдѣ добродѣтель должна торжествовать, а порокъ предаваться унынію? Если ужъ гоголевскій генераль, въ «Театральномъ Разъѣздѣ», утверждалъ не безъ основанія, что юный канцеляристъ, побывавшій въ театрѣ на «Ревизорѣ», на другой же день согрѣбитъ своему столоначальнику, то кольми паче подобный результатъ можетъ получиться вслѣдствіе прилежнаго чтенія мальчиками «Прикованнаго Прометея». Прилично ли говорить о «заслугахъ Прометея», когда, наоборотъ, слѣдуетъ указать и осудить его порочную гордыню? «Старый капракъ» Беранже, отвѣтившій офицеру оскорбленіемъ на оскорбленіе, также, и по тѣмъ же причинамъ, не годится въ руководи-

тели юношамъ. Идя дальше по этому пути и возлагая на прокрустово ложе всѣхъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей, мы дойдемъ, наконецъ, до того, что единственнымъ безспорнымъ матеріаломъ для помѣщенія въ христоматіи—явятся, въ нашихъ глазахъ, нравственные вирши Бориса Ѳедорова и нравственные повѣствованія г-жи Зонтагъ. Ни Гоголю, мастерски изображавшему, по его словамъ, «все бѣдность да бѣдность, да несовершенства человеческой жизни», ни Грибоѣдову и Лермонтову, отрицавшимъ еще прямѣе и рѣзче господствовавшій строй вещей и понятій, не найдется мѣста даже на оберткѣ образцовой христоматіи... Мудрено ли, послѣ этого, что составители новѣйшихъ учебниковъ по исторіи литературы просто не знаютъ, какъ имъ быть съ нашими писателями, начиная съ Пушкина. До Пушкина еще туда-сюда, и дѣло идетъ у нихъ какъ по маслу: за «Россіаду» Хераскова уже никто нынѣ не ломаетъ копій; «уязвленіе» Державина не грозитъ серьезной опасностью; въ разборѣ одъ Ломоносова почти невозможно обмолвиться какимъ-нибудь неосторожнымъ словомъ. Но Пушкинъ, Грибоѣдовъ, даже отчасти Карамзинъ, составляютъ западню, въ которую уловляются неопытные умы; говоря о нихъ, придется волей-неволей коснуться такихъ вещей, которыя и теперь не утратили своей пикантности, и теперь продолжаютъ волновать и ссорить наши микроскопическія общественныя партіи. Попробуй-ка тутъ сказать что-нибудь лишнее или произвести фигуру умолчанія тамъ, гдѣ этого не полагается! И вотъ, во избѣжаніе бѣды, г. Кирпичниковъ доводитъ исторію литературы только до Пушкина, а чтобы пробѣлъ этотъ не показался стран-

нимъ, то заявляетъ въ своемъ предисловіи: «Въ настоящее время взглядъ на этихъ (то-есть на новыхъ) писателей еще не установился или, лучше сказать, существуетъ нѣсколько самыхъ разнородныхъ взглядовъ, а учебникъ никогда не долженъ обращаться въ полемическую статью. Кромѣ того, ходъ идей новаго времени, по самой его близости къ намъ, неясенъ, и вмѣсто исторіи литературы здѣсь можетъ существовать только критика. Имѣя въ виду составить учебникъ, мы исключили изъ нашей книги все сомнительное, неясное, всѣ предположенія и мнѣнія, и оставили только факты».

Едва-ли возможно выразить яснѣе и наивнѣе ту панику, которая обуяла гг. преподавателей по отношенію къ литературнымъ вопросамъ сколько-нибудь живаго и реального характера. **Ф а к т ы** и **ф а к т ы** изъ жизни писателя (родился, моги, тамъ-то, умеръ тогда-то, написалъ то-то)—вотъ надежная броня, могущая приукрыть душу преподавателя отъ всякаго провицательнаго усмотрѣнія; прочь мнѣнія, предположенія, критическія попытки: они не доведутъ до добра. Нѣтъ спора, что, при подобныхъ обстоятельствахъ, трудъ составленія учебника чрезвычайно сокращается, ибо не идетъ далѣе «царя Гороха», но есть основаніе думать, что у насъ не совсѣмъ еще перевелись люди, для которыхъ это насильственное самовоздержаніе и самоограниченіе тяжелѣе и противнѣе самаго обременительнаго труда... Невыгодныя условія отразились и на послѣднемъ сочиненіи г. Стоюнина: «Руководство для историческаго изученія замѣчательнѣйшихъ произведеній русской литературы», въ которомъ авторъ, по какимъ-то особеннымъ соображеніямъ, остановился на Жуков-

скомъ, а біографическія (замѣтьте: только біографическія) свѣдѣнія о Пушкинѣ, Грибоѣдовѣ, Гоголѣ, Лермонтовѣ и Кольцовѣ перенесъ въ курсъ теоріи словесности. «Лучшія произведенія писателей новѣйшаго періода—говоритъ г. Стоюнинъ въ своемъ объясненіи—не вошли сюда, такъ-какъ они изучаются въ теоретическомъ курсѣ, и малое время, назначенное въ учебныхъ заведеніяхъ для изученія литературы, не позволяетъ внести ихъ также въ курсъ историческій». Но,—можно возразить на это,—въ теоретическомъ же курсѣ приходится знакомить съ лѣтописью, съ духовною проповѣдью, съ историческими записками современниковъ, и преподаватель имѣетъ полное право разобрать съ этою цѣлью лѣтопись Нестора, какую-нибудь проповѣдь Серапіона и «Исторію великаго князя московскаго», написанную Курбскимъ:—почему бы, въ такомъ случаѣ, не отнести въ теоретическій курсъ «біографическія свѣдѣнія» о Несторѣ, Серапіонѣ и кн. Курбскомъ? Между тѣмъ г. Стоюнинъ не дѣлаетъ этого, не исключаетъ названныхъ лицъ изъ исторіи литературы, но, напротивъ, отводитъ въ ней почетное мѣсто на ряду съ Кирилломъ Туровскимъ, Аѳанасіемъ Никитинымъ, Максимомъ Грекомъ и другими подвижниками нашей древней, полудуховной или совсѣмъ духовной литературы. За что жъ такая немилость постигла именно «новѣйшихъ писателей»? при чемъ можно еще спросить: справедливо ли Пушкина, Грибоѣдова и др. называть новѣйшими писателями, когда со смерти ихъ прошелъ уже не одинъ десятокъ лѣтъ?! Какъ же назвать, наконецъ, Тургенева, Островскаго, Гончарова?—этихъ, дѣйствительно, новѣйшихъ писателей, которыхъ произведенія также вошли во всѣ возможные хрестоматіи и, до новаго распоряженія, еще

не выброшены оттуда, хотя, быть может, и имъ, вслѣдъ за Бѣлинскимъ, угрожаетъ тотъ же педагогическій остракизмъ. Очевидно, что у г. Стоюнина были какія-то другія, болѣе сильныя причины, побудившія его урѣзать, безъ существенной надобности, свой историческій курсъ. Догадка наша подтверждается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что г. Стоюнинъ не удовлетворяется въ теоретическомъ курсѣ одними біографическими свѣдѣніями о новыхъ писателяхъ, но пробуетъ изрѣдка отгнать и извѣстныя стороны ихъ таланта. Конечно, онъ дѣлаетъ это слегка, какъ бы урывками, приурочивая критическую оцѣнку къ различнымъ моментамъ въ жизни писателя (напримѣръ, на стран. 155, 170, 171 и др.), но такой пріемъ или, лучше сказать, такая склонность автора показываетъ, что ему гораздо болѣе была бы по душѣ прямая и откровенная постановка вопроса объ историческомъ значеніи литературныхъ дѣятелей. Должно прибавить, что, судя по нѣкоторымъ частямъ его труда, г. Стоюнинъ могъ бы выполнить съ тактомъ и умѣньемъ подобную задачу, почему и самый учебникъ только выигралъ бы въ полнотѣ и законченности.

Что же касается до «малаго времени, назначеннаго для изученія литературы въ учебныхъ заведеніяхъ» — то здѣсь г. Стоюнинъ совершенно правъ и можетъ сослаться, въ подтвержденіе своихъ словъ, на любую учебную программу за послѣдніе годы. Большая часть времени въ гимназіяхъ поглощается, дѣйствительно, классическими языками, и мы надѣемся, что недалеко уже отстоитъ у насъ та радостная минута, когда о каждомъ россійскомъ гимназистѣ можно будетъ выразиться стихами Батюшкова:

Подъ сѣвернымъ родился небомъ,
Но будто въ Аттікѣ рожденъ.

Эллада и Римъ такъ сильно заняли насъ, что намъ некогда думать о дикой Скиѣн, которая, мимоходомъ сказать, отъ такого пренебреженія можетъ одичать еще больше.

II.

По всѣмъ этимъ даннымъ, нельзя не признать, что новый трудъ г. Галахова появляется какъ нельзя болѣе своевременно и заслуживаетъ внимательнаго и отчетливаго разбора. Къ сожалѣнію, хотя этого труда вышелъ уже второй томъ, но и первый томъ его, изданный въ 1863 году, не вызвалъ, сколько помнится, ни одной обстоятельной критики; замѣчанія ограничивались стереотипными похвалами трудолюбію г. Галахова, да кос-какими второстепенными указаніями чисто библіографическаго свойства. Теперь интересъ труда г. Галахова еще болѣе увеличился, такъ какъ въ промежутокъ времени отъ 1863 г. до нашихъ дней произошло много важныхъ перемѣнъ и во взглядахъ литературы на этотъ предметъ, и въ настроеніи учебной администраціи. При изданіи перваго тома своей исторіи словесности, авторъ предназначалъ ее для класснаго употребленія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и съ этою цѣлью ввелъ въ нее два шрифта, крупный и мелкій, печатая первымъ существенныя части учебнаго курса, а вторымъ—менѣ значительныя подробности, которыя могутъ быть опускаемы по

соображенію учителя. Исторію словесности г. Галаховъ опредѣлялъ самымъ широкимъ образомъ, какъ изложеніе постепеннаго развитія литературы отъ ея начала до настоящаго времени въ связи съ общественною жизнью. «Словесность—говорилъ онъ—принимаемая въ значеніи литературы, обнимаетъ всѣ словесныя произведенія, изображающія жизнь и характеръ народа. Такъ какъ это изображеніе преимущественно является въ краснорѣчіи и поэзи, то исторія краснорѣчія и поэзи занимаетъ главнѣйшее, но не единственное мѣсто въ исторіи литературы. Всѣ другія сочиненія, несмотря на то, что въ нихъ преобладаютъ или научныя, или практическія цѣли, также разсматриваются исторіею литературы по отношенію ихъ къ народной жизни и народному характеру, или по вліянію на развитіе краснорѣчія и поэзи, или по изящной формѣ, въ которую облечено ихъ содержаніе. Такимъ образомъ, объемъ литературы есть объемъ всѣхъ отраслей духовной дѣятельности, выражаемыхъ словомъ... Литература состоитъ въ тѣсной связи съ жизнью народа, какъ внѣшней, такъ и внутренней. Въ ней выражаются и факты общественнаго быта, и сознаніе этихъ фактовъ... Отношеніе литературныхъ произведеній къ общественной жизни двоякаго рода: въ однихъ видно прямое выраженіе дѣйствительности съ ея мѣстными и временными отличіями; въ другихъ раскрывается духовное настроеніе эпохи, идеи и потребности общества, общественное сознаніе, хотя при этомъ можетъ и не быть прямого указанія на дѣйствительность, вѣрнаго воспроизведенія событій и характеровъ. Исторія литературы обязана разъяснить оба отноше-

нія. Чѣмъ сильнѣе въ словесномъ произведеніи выразилось направленіе жизни, чѣмъ яснѣе въ немъ раскрылась какая нибудь сторона народнаго духа, тѣмъ оно значительнѣе. Важность его, въ этомъ смыслѣ, опредѣляется не столько литературнымъ достоинствомъ, сколько степенью отношенія къ общественной жизни». Чтобы не оставить никакого недоразумѣнія насчетъ смысла употребляемыхъ имъ словъ: «общество» и «общественная жизнь», г. Галаховъ присовокупилъ особое примѣчаніе, въ которомъ говоритъ, что общество состоитъ изъ разнообразныхъ круговъ большаго или меньшаго объема, и словесное выраженіе духа каждаго изъ нихъ принадлежитъ къ литературѣ, — «потому что дѣло здѣсь не въ величинѣ круга, а въ томъ, что этотъ кругъ дѣйствительно существуетъ и что онъ своимъ появленіемъ и бытіемъ обязанъ историческому развитію». «Авторъ по своему образованію — продолжаетъ развивать эту мысль г. Галаховъ — можетъ принадлежать къ лучшей, избранной части общества; можетъ и возвышаться надъ цѣлымъ обществомъ, сознавая такія потребности жизни, которыя другимъ не являются даже въ видѣ темныхъ предчувствій. Если онъ въ твореніяхъ своихъ представитъ образъ этого избраннаго, хотя и малочисленнаго общества, или изобразитъ свои идеальныя стремленія, то его творенія займутъ законное мѣсто въ литературѣ, какъ выраженіе того, что въ большей или меньшей степени выработалось развитіемъ гражданственности, ходомъ исторіи» (Т. I, стр. 1—2). Придавая такое огромное значеніе развитію общественныхъ понятій и выработкѣ

общественныхъ идеаловъ, начиная съ ихъ первой ячейки, то-есть съ зарожденія ихъ въ сознаниі избраннаго, интеллигентнаго кружка или даже въ смѣломъ, далеко опережающемъ толпу, порывѣ мыслящей единицы,—авторъ естественно долженъ былъ обратить особенное вниманіе на цивилизующую силу литературы, на тѣ ея стороны, которыми она соприкасается ближайшимъ образомъ и съ умственной жизнью цѣлой эпохи, и съ исторически-сложившимся общественнымъ бытомъ извѣстнаго народа. «Согласно двумъ сторонамъ словесныхъ произведеній—извѣщалъ насъ г. Галаховъ еще въ своемъ «предисловіи»--послѣднія разсматриваются мною съ двухъ точекъ зрѣнія: исторической и литературной. Читатель увидить, что книга моя даетъ перевѣсъ первой точкѣ зрѣнія, особенно въ новомъ періодѣ словесности, которымъ я больше занимался. Критика историческая, опредѣляющая дѣятельность автора по ея отношенію ко времени, въ которое она имѣла мѣсто, гораздо любопытнѣе и плодотворнѣе. Главное ея вниманіе обращено на взаимодѣйствіе литературы и современной эпохи: она показываетъ—какъ эта эпоха отражается въ литературѣ, и какъ литература, въ свою очередь, дѣйствуетъ на понятія эпохи. Въ словесныхъ произведеніяхъ она по преимуществу цѣнитъ ихъ образовательную силу, тѣ понятія и убѣжденія, которыя были ими вносимы въ оборотъ жизни, и посредствомъ которыхъ возвышался умственный уровень общества. Авторское достоинство измѣряетъ она не одною степенью литературнаго искусства, но качествомъ образа мыслей, который сообщаетъ сочиненіямъ извѣстное направленіе. Она требуетъ, чтобы явленія слова, удовлетво-

рая эстетическому чувству, въ то же время содѣйствовали распространенію идей истины и правды, чтобы художественная форма соединялась въ нихъ съ просвѣтительнымъ содержаніемъ. На основаніи этого я далъ больше простора изложенію отечественной литературы двухъ послѣднихъ столѣтій: въ это время виднѣе, чѣмъ когда-либо, она была орудіемъ культуры, усвоивая и передавая русскому обществу начала западно-европейской цивилизаціи». Нельзя не согласиться съ справедливостью этихъ взглядовъ, высказанныхъ г. Галаховымъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ: съ научной точки зрѣнія противъ нихъ едва ли что можно возразить, и еслибы покойный Бѣлинскій, столь гонимый нынѣ ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія, возсталъ какимъ-нибудь чудомъ изъ своей страдальческой могилы, онъ навѣрно утѣшился бы тѣмъ, что его дѣятельность полезно повліяла на современныхъ писателей и установила надолго надлежащій отправной пунктъ въ литературной критикѣ. Онъ ли не преслѣдовалъ, всю свою жизнь, тѣхъ бездарныхъ риторовъ, которые обратили поэзію, по выраженію Веневитинова, въ «орудіе умственнаго безсилія»; онъ ли не хлопоталъ о томъ, чтобы русская публика перестала видѣть въ поэтическомъ одушевленіи какое-то «нравственное опьяненіе, какъ бы отъ приѣма опиума или дѣйствія виннаго хмѣля, изступленіе чувствъ, горячку страсти, которыя заставляютъ непризваннаго поэта изображать предметы въ какомъ-то безумномъ круженіи, выражаться дикими, натянутыми фразами» и пр. (см. Сочиненія Бѣлинскаго, т. IV, стр. 249); не онъ ли же представилъ первый опытъ критической исторіи русской

литературы (см. въ VIII томѣ разборъ сочиненій Пушкина), гдѣ достоинство писателей опредѣляется именно суммою полезныхъ идей, внесенныхъ ими въ общественное обращеніе? «Неистощимость и разнообразіе всякой поэзіи—почасть Бѣлинскій въ 1840 г.—зависать отъ объема ея содержанія, и чѣмъ глубже, шире, универсальнѣе идеи, одушевляющія поэта и составляющія наѳось его жизни, тѣмъ, естественно, разнообразнѣе и многочисленнѣе его произведенія: тучная, богатая растительными силами почва не истощается одною богатою жатвою, а сухая и песчаная не дастъ и одной порядочной жатвы.» «Чѣмъ выше поэтъ—говорилъ онъ въ томъ же году, опредѣляя отношеніе литературы къ общественной жизни—тѣмъ больше принадлежитъ онъ обществу, среди котораго родился, тѣмъ яснѣе связано развитіе, направленіе и даже характеръ его таланта съ историческимъ развитіемъ общества... Литература есть сознаніе народа: въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражается его духъ и жизнь; въ ней, какъ въ фокусѣ, видно назначеніе народа, мѣсто, занимаемое имъ въ великомъ семействѣ человѣческаго рода, моментъ всемірно-историческаго развитія человѣческаго духа, который онъ выражаетъ своимъ существованіемъ. Источникомъ литературы народа можетъ быть не какое-нибудь внѣшнее побужденіе или внѣшній толчокъ, но только міросозерцаніе народа... Міросозерцаніе есть источникъ и основа литературы; это фонъ, на которомъ рисуются ея картины, канва, по которой вышиваются ея узоры» (т. VIII, стр. 15; т. IV, стр. 206 и 281). Эти мысли, заимствованныя нами съ первыхъ раскрывшихся страницъ сочиненій Бѣлинскаго, развивались имъ

гѣдовательно со времени переѣзда въ Петербургъ, и знаменитый критикъ соблазнялся иногда эстетическою шностью, забывая или снисходительно прощая, ради ея, цость внутренняго содержанія, то эти промахи показываютъ только, что и онъ былъ сыномъ своего времени и могъ отрѣшиться вполне отъ узкихъ эстетическихъ дидцій тогдашняго образованнаго общества. Но чѣмъ ьше, тѣмъ больше укрѣплялся Бѣлинскій въ своемъ инстическомъ взглядѣ на литературу, и въ статьяхъ, исанныхъ имъ въ послѣдніе годы его жизни, не рѣшается уже никакихъ намѣренныхъ или ненамѣренныхъ уступокъ господствовавшимъ предразсудкамъ. Внутренній смыслъ художественнаго произведенія, міросозерцанія автора, идеи, на которыя наводитъ подборъ поэтическихъ картинъ—вотъ на что устремлялась, въ этотъ періодъ, критическая проницательность Бѣлинскаго. Въ разборѣ сочиненій Пушкина, благоговѣя предъ эстетическою красотою его поэзіи, Бѣлинскій пользовался уже всякимъ случаемъ перейти отъ художественной оцѣнки къ разсмотрѣнію иныхъ сторонъ общественной жизни, коснуться такъ или иначе, если не прямо,—что не всегда было удобно,—то хоть снмъ-нибудь замаскированнымъ намекомъ, тѣхъ вопросовъ интересовъ цивилизаціи, которые затрогивались художественнымъ изображеніемъ; въ томъ же разборѣ онъ рѣдѣлицъ и слабую сторону пушкинской поэзіи—ея теогическій индифферентизмъ, а позднѣе даже высокомерное небреженіе ко всѣмъ задачамъ и вопросамъ, насильственно врывающимся въ міръ спокойнаго, отвлеченнаго орчества. «Такъ какъ поэзія Пушкина—говоритъ Бѣлин-

скій—заключается преимущественно въ поэтическомъ созерцаніи міра и такъ-какъ она безусловно признаетъ его настоящее положеніе если не всегда утѣшительнымъ, то всегда необходимо разумнымъ, поэтому она отличается характеромъ болѣе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, высказывается болѣе какъ чувство или какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностью, муза Пушкина умѣетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ, какъ бы признавая ихъ роковую неизбежность и ненося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія. Такой взглядъ на міръ вытекаетъ уже изъ самой природы Пушкина; этому взгляду обязанъ онъ изящною елейностью, кротостью, глубиною и возвышенностью своей поэзіи, и въ этомъ же взглядѣ заключаются недостатки его поэзіи. Какъ бы то ни было, но по своему возрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора миновала уже совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, бѣдѣзненные вопросы настоящаго» (т. VIII, стр. 397—98).

Мы—повторяемъ это—не имѣемъ здѣсь въ виду входить

въ историческую оцѣнку замѣчательной дѣятельности Бѣлинскаго; но всѣ эти извлеченія понадобились намъ единственно затѣмъ, чтобы читатель самъ убѣдился: до какой степени не новы взгляды, изложенные г. Галаховымъ въ первомъ томѣ его книги, и какъ близко повторяютъ они то, что высказано Бѣлинскимъ за тридцать лѣтъ до нашего времени. «Просвѣтительное содержаніе» литературы, на которое такъ сильно налегаетъ г. Галаховъ, жертвуя ему даже эстетической формой, «направленіе жизни» и «идеальныя стремленія» развитыхъ личностей, отражающіяся въ литературной сферѣ—все это не больше, какъ прозрачная перефразировка «народнаго міросозерцанія» и «универсальныхъ идей» Бѣлинскаго. Сущность дѣла, т.-е. отношеніе къ предмету—у обоихъ авторовъ одно и то же, а такъ какъ г. Галаховъ, безъ сомнѣнія, хорошо знакомъ съ сочиненіями Бѣлинскаго, то одинаковость взглядовъ, на сей разъ, не объясняется французской пословицей, что «прекрасные умы встрѣчаются-де въ своихъ мысляхъ»... Само собою разумѣется, что мы нисколько не осуждаемъ г. Галахова за такія заимствованія, и даже радуемся тому, что его книга благополучно избѣжала рецензій ученаго комитета: не всякому писателю суждено внести въ литературу что нибудь свое, оригинальное; хорошо, если мысли, завѣщанныя первоклассными дѣятелями, воспринимаются и пропагандируются дѣятелями второстепенными... Сожалѣть можно только объ одномъ: г. Галаховъ, усвоивъ себѣ вѣрный, раціональный взглядъ на исторію литературы, не справился, какъ слѣдуетъ, съ его педагогическимъ приложеніемъ, упустивъ изъ виду, что одно дѣло — развивать теоретическія воззрѣнія

предъ взрослыми читателями, и другое дѣло—вводить ихъ въ сознаніе юношей, примѣнительно въ потребностямъ и складу неполнѣ зрѣлаго мышленія. Тутъ обнаружилось, что г. Галаховъ очень плохой педагогъ, и что книга его, назначенная служить учебникомъ въ гимназіяхъ, по сухости слога и обилію ненужныхъ подробностей, можетъ быть осилена развѣ только любознательными студентами старшихъ курсовъ университета. Гимназистъ же очутится въ ней, какъ въ лѣсу, и запутается въ массѣ фактовъ, характеристикъ, дѣленій и подраздѣленій всякаго рода. Различіе шрифтовъ, сдѣланное съ цѣлью облегчить занятія учениковъ, нисколько не помогаетъ этой трудности, такъ какъ шрифтъ крупный ежеминутно, измѣнительнымъ образомъ, похищаетъ цѣлыя страницы у шрифта мелкаго. Но, не смотря на этотъ существенный педагогическій недостатокъ, мы все-таки предпочитаемъ прежняго г. Галахова нынѣшнему рецензенту ученаго комитета—и вотъ по какой причинѣ. Г. Галаховъ погрѣшалъ, правда, противъ объема и характера учебнаго курса, но онъ не отрицалъ педагогической важности самого предмета, который въ нашихъ школахъ служитъ главнымъ звеномъ, соединяющимъ учебное дѣло съ интересами общественной жизни; ему не казалось нелѣпымъ и предосудительнымъ—возбуждать въ ученикахъ критическую способность, приучая ихъ задумываться надъ сложными явленіями индивидуальной психологіи и общественнаго организма; его не пугало стремленіе учителя захватывать въ своихъ урокахъ какъ можно больше живаго матеріала, полезно занимающаго умственныя силы класса и нѣсколько разнообразяющаго монотонную схоластику отвлеченнаго преподаванія.

Въ этомъ случаѣ онъ, какъ мы видѣли, даже хваталъ черезъ край, углубляясь въ тонкости, врядъ ли доступныя для мало развитаго ума; но важно то, что при такой постановкѣ учебнаго предмета, не пропадало совсѣмъ образовательное его значеніе, и отъ искусства преподавателя зависѣло—воспользоваться имъ, направить все дѣло въ дурную или въ хорошую сторону. Теперь же, въ очень короткіи сроки, исторія литературы признана предметомъ ехиднымъ и крайне-опаснымъ въ рукахъ вольнодумства, а ученики поглупѣли настолько, что не могутъ взять въ толкъ самаго простенькаго стихотворенія, самой нехитрой прозаической статейки! То заставляли ихъ толковать о высшихъ вопросахъ цивилизаціи, при чемъ учитель выходилъ дальше, чѣмъ слѣдовало, изъ рамокъ разбираемаго произведенія, то считаютъ ихъ такими кретинами, что даже вопросъ о «заслугахъ Прометея» становится для нихъ непосильнымъ бременемъ. Впрочемъ, касательно учениковъ, нынѣшній тонъ обыкновенно раздваивается: иногда они представляются «скорбными главой» юношами, которые, по недостатку смысла, не въ силахъ слѣдить за объясненіями учителя; иногда же они рассматриваются, какъ бомбы, начиненныя порохомъ:—прикоснись только къ нимъ зажженнымъ фитилемъ, они сейчасъ вспыхнутъ и произведутъ страшный взрывъ. Но что за фатальныя событія произошли въ Россіи? какіе громадныя успѣхи сдѣлало у насъ якобинство? и нужно ли стѣснять и задерживать шаги просвѣщенія только потому, что два-три ученика (на семьдесятъ-то милліоновъ народу!) поняли какъ нибудь превратно фразу учителя? Напротивъ, въ учебномъ-то мірѣ и господствуютъ по преиму-

ществу тишь да гладь, да Божья благодать, такъ что грамматика Алябьева была, въ послѣднее время, едва-ли не единственнымъ «краснымъ призракомъ» педагогическаго вольнодумства. Эти быстрые переходы отъ одной крайности къ другой, эти внезапные скачки то впередъ, то назадъ, смотря потому, откуда подулъ вѣтеръ, наводятъ насъ на очень печальныя размышленія... И не однихъ насъ. Не такъ давно г. Ушинскій,—котораго, вѣроятно, никто не упрекнетъ въ излишнемъ пессимизмѣ,—наблюдая надъ тѣмъ же фактомъ, не поскупился на энергическія выраженія, чтобы заклеить весь вредъ, происходящій отъ такой неустойчивости системъ для правильныхъ успѣховъ народнаго образованія въ Россіи. «Вотъ уже около 20-ти лѣтъ — пишеть онъ въ одномъ специально-педагогическомъ журналѣ,—какъ мы болѣе или менѣе вращаемся въ кругу административныхъ распоряженій по дѣлу образованія. И какихъ только переменъ въ этихъ направленіяхъ не насмотрѣлись мы! Почти не проходило, не то что одного пятилѣтія, но даже двухъ - трехъ лѣтъ, чтобы выдерживалось одно и то же направленіе, а направленіе, только что принятое съ возложеніемъ на него великихъ ожиданій, не смѣнялось новымъ, которое, по большей части, съ ужасомъ смотрѣло на прежнее, и опять подавало новыя великія надежды. Эта комедія направленій была довольно длинна и пестра, чтобы наконецъ не опротивѣть окончательно всякому мыслящему человѣку, не забывающему, при крикахъ сегодняшняго торжества, точно такихъ же криковъ торжества вчерашняго. Не дай Боже, чтобы эта бесплодная игра въ направленіе была приложена и къ дѣлу народной школы, къ

только что этому начинающемуся дѣлу, и отъ котораго, по нашему твердому убѣжденію, зависитъ вся будущность Россіи. Если мы начнемъ и нашу народную школу также водить по разнымъ направленіямъ, то не быть пути и изъ этого великаго дѣла; оно не подвинется ни на шагъ впередъ, и тогда въ какія-нибудь сорокъ или пятьдесятъ лѣтъ мы можемъ стать въ болѣе отсталое положеніе въ отношеніи образованныхъ государствъ Европы, чѣмъ то, въ которомъ стояли при началѣ реформы Петра Великаго; а отсталость на современномъ языкѣ, есть нищенство, безсиліе, зависимость, экономическое и политическое ничтожество». (Народн. Школа, 1870 года, № 5-й). Все это очень справедливо, и «комедія направленій», распространяясь сверху до низу, можетъ повлечь за собой трагедію всеобщаго помраченія и быстрого упадка нашихъ высшихъ, среднихъ и низшихъ школъ.

Итакъ мы оставимъ въ сторонѣ педагогическіе недостатки, которые дѣлаютъ книгу г. Галахова неудовлетворительнымъ учебникомъ для среднихъ школъ, и рассмотримъ ее съ чисто-научной точки зрѣнія, какъ сводъ извѣстныхъ понятій и взглядовъ на историческое развитіе русской литературы. При этомъ мы займемся преимущественно, почти исключительно, вторымъ томомъ «Исторіи русской словесности», обращаясь къ первому тому лишь настолько, насколько это нужно для пониманія общаго плана всего сочиненія, а также и для полноты характеристикъ новыхъ писателей, дѣятельности которыхъ посвященъ второй (еще неоконченный) томъ труда г. Галахова. Предпочтеніе, оказываемое нами новымъ писателямъ, объясняется, вопервыхъ, тѣмъ, что толки о древней литературѣ представляютъ немного

интереса для современныхъ читателей, а, воторыхъ, и тѣмъ, что мы вообще больше согласны съ г. Галаховымъ въ его отзывахъ о Максимѣ Грекѣ, Ломоносовѣ и даже о писателяхъ Екатерининскаго времени, чѣмъ въ мнѣніяхъ о Карамзинѣ, Жуковскомъ и другихъ дѣятеляхъ новаго періода русской словесности. Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы говорить о предметахъ, слишкомъ отдаленныхъ отъ насъ, или повторять мнѣнія, болѣе или менѣе установившіяся въ литературной критикѣ, мы коснемся лицъ и вопросовъ, донинѣ не потерявшихъ нѣкотораго, хотя не особенно близкаго, отношенія къ современности, и оцѣниваемыхъ различно, смотря по различію литературныхъ и общественныхъ симпатій самихъ рецензентовъ.

Приглядываясь съ этой точки зрѣнія къ «Исторіи русской словесности», мы находимъ прежде всего, что авторъ не соблюлъ, въ продолженіи своего труда, тѣхъ обѣщаній, которыя далъ намъ въ предисловіи къ первому тому. Онъ обѣщаль, — какъ помнитъ читатель, — разсматривать литературныя явленія въ связи съ общественными условіями, вызвавшими ихъ къ жизни, подвергать ихъ преимущественно исторической критикѣ, указывая взаимодѣйствіе между культурными и политическими фактами съ одной стороны и отраженіемъ ихъ въ народномъ сознаніи, въ литературѣ, съ другой. Такъ онъ и поступалъ, когда рѣчь шла, напримѣръ, о произведеніяхъ такъ-называемаго народного «двоевѣрія», о схоластикѣ кіевскихъ ученыхъ, о реформѣ Петра Великаго и наконецъ о литературныхъ памятникахъ Екатерининскаго вѣка. Говоря о Прокоповичѣ и Кантемирѣ — этихъ наиболѣе выдающихся пропагандистахъ идей реформы —

г. Галаховъ вдавался подробно въ отчетъ о двухъ направленіяхъ, боровшихся при Петрѣ, изъ которыхъ первое опиралось на традицію и грубое невѣжество старины, а другое на силу науки и, главнымъ образомъ, на личную волю просвѣщеннаго монарха. Еще болѣе распространялся онъ о преобразовательныхъ намѣреніяхъ Екатерины II, о движеніи мысли въ литературѣ, возникшемъ подъ вліяніемъ и покровительствомъ высшей власти, о типахъ, выхваченныхъ прямо изъ общественной жизни и осмѣянныхъ сатирою. Но переходя во второмъ томѣ къ эпохѣ Александра I, г. Галаховъ мгновенно отбрасываетъ этотъ обычный приѣмъ: не считаетъ болѣе нужнымъ обращаться отъ литературы къ общественной жизни — съ тѣмъ, чтобы найти правильную разгадку и оцѣнку умственныхъ направленій, волновавшихся на поверхности общества, и обходитъ молчаніемъ — насколько не вынужденнымъ при нынѣшнихъ условіяхъ прессы — весьма крупныя факты какъ въ самой литературѣ, такъ и въ политической обстановкѣ того времени. Такое умолчаніе, затушевывая многія существенныя стороны дѣла, лишаетъ и остальные факты надлежащаго освѣщенія, такъ что благоразумный читатель, для котораго не составляютъ секрета опущенныя данныя, долженъ сначала возстановить ихъ въ своемъ воображеніи, а уже потомъ — произносить свой судъ надъ литературными дѣятелями Александровскаго періода. Безъ этой необходимой коррекціи онъ рискуетъ заблудиться и попасть въ большой просакъ. Александровское время было временемъ довольно сильнаго умственнаго броженія въ образованныхъ кругахъ русскаго общества, и необходимо знать: чьи именно интересы представлялъ и

защищалъ такой-то писатель, въ чью руку дѣйствовалъ онъ, — чтобы судить безпристрастно о «просвѣтительномъ содержаніи» его сочиненій. Г. Галаховъ распорядился бы гораздо лучше, еслибы, не помѣщая въ видѣ образцоваго отрывка передовой статьи Московскихъ Вѣдомостей ¹⁾ (см. Дополненія ко II тому, стр. III), онъ сберегъ побольше мѣста для историческихъ разъясненій той незавидной роли, которую разыгралъ Карамзинъ въ общемъ походѣ на Сперанскаго...

III.

Карамзинымъ кончается первый томъ «Исторіи русской словесности» и имъ же начинается второй ея томъ, наполненный, почти на цѣлую треть, подробной характеристикой этого писателя. Слишкомъ сто страницъ посвятилъ г. Галаховъ этому любопытному предмету, и можно бы надѣяться, что послѣ такого тщательнаго разсмотрѣнія (мы уже не хо-

¹⁾ Статья эта написана г. Катковымъ въ 1856 г., въ то время, когда ему приходилось плохо, и онъ задумалъ притянуть Карамзина къ участи въ своихъ подвигахъ. Здѣсь Карамзинъ рисуется красками, какими хотѣлось бы г. Каткову изобразить себя самого. А г. Галаховъ, не разобравъ въ чемъ дѣло, и смѣшавъ такимъ образомъ Карамзина съ Катковымъ (ошибка непростительная для панегириста Карамзина!), принявъ статью за настоящую историческую характеристику. Совѣтуемъ г. Галахову, если ужъ статья такъ понравилась ему, перемѣстить ее въ свою христоматію, какъ образецъ ловкаго самовосхваленія новѣйшаго Нарциса. Г. Катковъ не Прометей, и ученый комитетъ не вооружится противъ него.

тимъ и вспоминать, что, по плану автора, всю эту сотню страницъ должны были поглотить и переработать семнадцатилѣтніе гимназисты!), послѣ такой мелочной обработки деталей, — и личность, и литературныя заслуги Карамзина освѣтятся передъ нами со всѣхъ своихъ наиболее рельефныхъ, выдающихся сторонъ. Но отдавая полную справедливость той добросовѣстности, съ которою г. Галаховъ изучилъ сочиненія Карамзина, также какъ и многихъ другихъ его современниковъ, нельзя не сказать однако, что въ разбираемой нами книгѣ встрѣчаются важные пропуски и невѣрныя толкованія, затемняющія истинный смыслъ дѣла. Главное же, что въ особенности непріятно поражаетъ читателя, это — панегиристическій тонъ г. Галахова, его черезчуръ замѣтное желаніе выгородить и возвеличить Карамзина даже въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится касаться не совсѣмъ благовидныхъ мыслей пресловутаго историка государства Россійскаго. Чтобы нашъ приговоръ не показался рѣзкимъ и неосновательнымъ, мы намѣрены сначала представить *in extenso* всѣ мнѣнія и выводы г. Галахова, а затѣмъ, заручившись хорошими данными для спора, выскажемъ и наше собственное воззрѣніе на Карамзина, которое во многомъ пойдетъ въ разрѣзъ съ преувеличенными похвалами снисходительной критики. Отъ Карамзина мы перейдемъ, такимъ же порядкомъ, къ Жуковскому и Крылову.

Въ образованіи характера Карамзина и его взглядовъ на вещи участвовали, по мнѣнію г. Галахова, различныя силы и обстоятельства. Первое мѣсто принадлежитъ природѣ, надѣлившей его рѣдкой чувствительностью, которая обнаруживалась въ

немъ съ дѣтства и не покидала до смерти. Въ юношествѣ онъ былъ чувствителенъ какъ младенецъ; на склонѣ лѣтъ любилъ предаваться меланхоліи и, читая романы, нерѣдко плакалъ. «Онъ не стыдился—говоритъ г. Галаховъ—своего врожденного дара, хотя и придавалъ ему иногда патологическое значеніе» (стр. 2). Преобладающая склонность природы развилась потомъ подъ вліяніемъ романовъ сентиментальнаго содержанія. Вторымъ періодомъ образованія Карамзина надобно считать его ученіе въ пансіонѣ московскаго профессора Шадена, гдѣ онъ обучался иностраннымъ языкамъ, слушалъ уроки нравственной философіи, которую преподавалъ самъ Шаденъ, и вмѣстѣ съ другими пансіонерами посѣщалъ лекціи университетскихъ профессоровъ. По выходѣ изъ пансіона, Карамзинъ, чувствуя неудовлетворительность своихъ познаній, намѣревался довершить свое образованіе за границей, въ лейпцигскомъ университетѣ; но судьба столкнула его съ Новиковымъ, и въ масонскомъ кружкѣ прошелъ третій, весьма важный періодъ умственнаго развитія Карамзина. О масонствѣ г. Галаховъ говорилъ много въ концѣ своего перваго тома и, для выясненія этого вліянія, мы обратимся нѣсколько назадъ. «Масонское общество, по словамъ автора, не могло возбуждать сочувствія въ послѣдователяхъ той философіи, которая, во имя разума, какъ своего краеугольнаго камня, отвергала все, несовмѣстимое съ его положеніями, которая стремилась къ положительному и естественному, разумѣя подъ «тайною» единственно явленія, еще не поддавшіяся изслѣдованію науки или сужденію здраваго смысла.... Прочитавъ книгу (С. Мартена): «О заблужденіяхъ и истинѣ», Вольтеръ пи-

саль Даламберу: «Je ne crois pas qu'on ait jamais rien imprimé de plus absurde, de plus obscur, de plus fou et de plus sot». Мнѣніе Вольтера раздѣляла и Екатерина II, сама воспитанная на скептической философіи XVIII вѣка; она не уважала людей, отвергавшихъ «школьную мудрость», то есть всю европейскую науку, вѣрившихъ въ таинства алхиміи и астрологін. «Помню—писала она Циммерману—что въ 1740 году головы менѣе всего философскія хотѣли быть философами; по крайней мѣрѣ, въ такомъ случаѣ разсудокъ и общій смыслъ (*sens commun*) не теряли своей силы. Но сіи новыя заблужденія принудили у насъ сдурачиться такимъ людямъ, которые прежде сего не были дураками». Къ чувству неуваженія присоединилось у нея въ послѣдствіи недо- вѣріе, возбужденное таинственными сходками масоновъ и, всего болѣе, ихъ сношеніями съ наслѣдникомъ престола. Это послѣднее подозрѣніе и боязнь какой-нибудь политической манифестаціи въ пользу Павла Петровича были, впрочемъ, ни на чемъ не основаны: масоны прилагали свои заботы къ внутреннему совершенствованію человѣка, а о политическихъ вопросахъ нисколько и не думали, считая ихъ пустяками, не заслуживающими вниманія «свободнаго каменщика». На самомъ дѣлѣ это были кротчайшіе люди, смиреннѣйшіе вѣрноподданные, простиравшіе свой политическій индифферентизмъ гораздо далѣе той границы, какая, вообще, можетъ быть желательна для самаго осторожнаго правительства. При полномъ равнодушіи къ государственной жизни и политическимъ направленіямъ, масоны отличались благотворительностью и тонко-развитымъ гуманнымъ чувствомъ: — въ этомъ заключалась ихъ сильная, симпатиче-

ская сторона, которая и привлекала къ нимъ расположеніе общества. Вліяніе масонства на Карамзина очерчивается довольно неопредѣленно г. Галаховымъ. Мы узнаемъ, что Карамзинъ былъ членомъ новиковскаго кружка, что онъ работалъ въ новиковскихъ изданіяхъ (перевелъ драму «Аркадскій памятникъ» для «Дѣтскаго чтенія» и пр. и пр.), но главной черты этого вліянія г. Галаховъ, какъ намъ кажется, не уловилъ вовсе. Единственнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ служатъ у него слѣдующія загадочныя строки: «Дѣйствительность вліянія, произведеннаго на Карамзина обществомъ Новикова, не подлежитъ сомнѣнію. Существенная его польза состояла въ прочномъ закалѣ мысли, державшейся на серьезныхъ занятіяхъ (на чтеніи «Химической псалтири» и «Магазина свободно-каменьщическаго?»), на обсужденіи предметовъ, которые по своей важности (какъ напримѣръ рецептъ для дѣланія золота?) всегда обращаютъ на себя вниманіе даровитой любознательности. Въ тотъ періодъ жизни, когда умъ, большею частію, истощаетъ свои силы на трудахъ маловажныхъ или безъ надежнаго руководства переходитъ отъ одной дѣятельности къ другой, останавливаясь на каждой поверхностно и ни къ одной не привязываясь искренно, — въ этотъ самый періодъ Карамзину была указана достойная сфера человѣческаго знанія (какая?). Карамзинъ охотно вошелъ въ нее и непраздно оставался въ ней, хотя потомъ и сдѣлался ея отщепенцемъ, такъ какъ она рѣшительно не подходила ни къ характеру его чувства (почему же? элементъ чувства, а именно любви къ ближнему, былъ самой почтенной стороною масонства), ни къ складу его познавательной способности (но вѣдь выше

было сказано, что въ масонствѣ-то и закалилась мысль Карамзина?), не любившей ни въ чемъ темноты» (т. II, стр. 5). Затѣмъ слѣдуетъ поѣздка Карамзина за границу, во время которой онъ освободился (по нашему мнѣнію, несовсѣмъ) отъ масонскаго вліянія и подчинился на время взглядамъ французской философіи XVIII вѣка. Руссо сдѣлался его кумиромъ, хотя,—замѣтимъ мы отъ себя,—революціонная логика этого мыслителя была какъ-то очень своеобразно и сентиментально понята русскимъ прозелитомъ. Новое настроеніе выразилось въ «Письмахъ русскаго путешественника» и нѣкоторыхъ другихъ прозаическихъ разсужденіяхъ и стихотворныхъ думахъ Карамзина. Г. Галаховъ останавливается со вниманіемъ на первомъ произведеніи, и уже здѣсь начинается его особенное пристрастіе къ Карамзину. Дѣло въ томъ, что нѣкоторые критики, сравнивая письма изъ-за границы Фонъ-Визина и Карамзина, справедливо замѣчали, что Фонъ-Визинъ гораздо глубже взглянулъ на политическое состояніе французскаго общества и еще за нѣсколько лѣтъ до революціи предвидѣлъ неизбежность тяжелаго кризиса, тогда какъ Карамзинъ, стоя въ самомъ центрѣ всколыхнувшихся страстей, говоритъ о нихъ нехотя и мелькомъ, словно о бездѣлицѣ. На это замѣчаніе г. Галаховъ возражаетъ, что такое сравненіе неумѣстно, ибо письма Карамзина адресовались къ семейству Плещеевыхъ, имѣли совершенно интимный характеръ, и потому странно было бы требовать отъ нихъ глубокомысленнаго, серьезнаго содержанія. «Объяснять молчаніе Карамзина о французской революціи — говоритъ онъ — тѣмъ, что Карамзинъ не замѣчалъ или не понималъ ее, такъ же стран-

но, какъ, напริมѣръ, маловажность его, долголѣтней переписки съ братомъ объяснять тѣмъ, что онъ, въ теченіе всего этого времени, не обращалъ своей мысли ни на что серьезное. Мудрецы литературной механики могли бы проще открыть ларчикъ. Ни съ семействомъ Плещеевыхъ, ни съ братомъ своимъ Карамзинъ не имѣлъ намѣренія войти въ сужденія о важныхъ матеріяхъ — вотъ и все. Важное держалъ онъ про себя, а съ иными знакомыми и родными бесѣдовалъ о неважномъ» (стр. 10). Но тутъ есть одно обстоятельство, за которое не преминуть ухватиться «мудрецы литературной механики»: вѣдь долголѣтняя переписка съ братомъ не назначалась Карамзинымъ для печати и, слѣдовательно, важность или неважность ея не можетъ быть вопросомъ для публики; письма же къ Плещеевымъ, литературно обработанныя, появились въ журналѣ, — стало быть, авторъ находилъ содержаніе ихъ вполне значительнымъ для того, чтобы заинтересовать имъ всѣхъ образованныхъ читателей. Тутъ дѣло мѣняется, и критики получаютъ полное право сравнивать письма Карамзина и Фонъ-Визина, если еще только поклонники послѣдняго не вступятся за него, ссылаясь на то, что къ частной перепискѣ Фонъ-Визина, напечатанной послѣ его смерти и безъ его желанія, невозможно прилагать тотъ же строгій критерій, какъ къ литературному произведенію Карамзина. Г. Галахову будетъ стоять немалого труда уговорить ихъ на податливость и, въ концѣ концовъ, онъ вмѣсто того, чтобы защитить Карамзина, самъ же подведетъ его подъ обухъ. А между тѣмъ вся эта бѣда произошла прямо отъ недосмотра: почтенный авторъ не замѣтилъ, что Карамзинъ

умалчиваетъ о революціи не потому, чтобы онъ считалъ именно Плещеевыхъ неспособными къ такой серьезной бесѣдѣ и «держалъ про себя» (по выраженію г. Галахова) свои мысли о такихъ серьезныхъ вещахъ. Причина кроется здѣсь гораздо глубже и на нее намекаетъ, — но только въ другомъ мѣстѣ и по совершенно другому поводу, — самъ г. Галаховъ. Это — тотъ политическій индифферентизмъ, то глубокое равнодушіе къ «бреннымъ формамъ» государственной жизни, съ которымъ Карамзинъ смотрѣлъ въ юности на французскую революцію, а въ старости — на конституціонное движеніе, вызванное наполеоновскими войнами. Эту черту унаслѣдовалъ онъ отъ масонскихъ кружковъ, и ее, конечно, не могла стереть, изгладить изъ его души недолговременная, платоническая любовь къ республикѣ.

Новое настроеніе, овладѣвшее Карамзинымъ со времени поѣздки за границу, г. Галаховъ характеризуетъ именемъ оптимизма и сближаетъ его съ воззрѣніями, выраженными Вольтеромъ въ «Разсужденіи о человѣкѣ». Сущность этой доктрины состоитъ въ слѣдующемъ. Природа — любящая мать всего живущаго: она дала намъ чувства для того, чтобы улаживать ихъ, дала разсудокъ, чтобы выбирать лучшія наслажденія, вложила въ насъ страсти, необходимыя для дѣятельности въ физическомъ и нравственномъ мірѣ. Страсти въ своихъ границахъ благотѣльны, внѣ границъ пагубны, и разсудокъ долженъ ограничивать ихъ. Человѣку даны свобода и право выбора: отъ него зависитъ, разнуздавъ свои страсти, погибнуть въ заблужденіяхъ, или, слѣдуя мудрымъ законамъ природы, сдѣлаться творцомъ своего благополучія, то есть привести страсти въ истинное равновѣсіе и образо-

вать вкусъ для истинныхъ наслажденій. *Каждый можетъ достигнуть такого счастья, и истинныя удовольствія равняютъ людей. Но это равенство счастья состоитъ не въ равной суммѣ благъ, данныхъ каждому человѣку, а въ равенствѣ чувства, съ которымъ наслаждается каждый данною ему долею блага. «Быть счастливымъ — говоритъ Филалетъ въ «Разговорѣ о счастьи» — есть быть вѣрнымъ исполнителемъ естественныхъ мудрыхъ законовъ; а такъ какъ эти законы основаны на общемъ добрѣ, то быть счастливымъ есть быть добрымъ». Эта радужная доктрина, въ основѣ которой лежало то же предвзятое отношеніе къ природѣ, какъ и въ масонствѣ, господствовала въ Европѣ задолго до поѣздки Карамзина; но, не устоявъ предъ напоромъ раціонализма и истинно-философской пытливости, была уже давно осмѣяна Вольтеромъ въ его Кандидѣ (1759 г.). Ходячая формула оптимизма: «все идетъ къ лучшему въ этомъ наилучшемъ изъ міровъ» получила сильнѣйшій ударъ отъ руки того же писателя, который самъ нѣкогда исповѣдовалъ ее. Тѣмъ не менѣе она пришлась какъ разъ впору умственному развитію Карамзина, и въ особенности совпала съ личнымъ расположеніемъ его духа. «Карамзинъ — говоритъ г. Галаховъ — несмотря на свою молодость, пользовался рѣдкою литературною извѣстностію, занималъ счастливое положеніе въ свѣтѣ, видѣлъ искреннее уваженіе къ себѣ и привязанность многихъ. Завѣтныя желанія его исполнились: онъ совершилъ путешествіе за границу; по возвращеніи, посвятилъ себя литературѣ, согласно наклонностямъ сердца и убѣжденію просвѣщеннаго гражданина; въ обществѣ знакомыхъ нашель онъ удовлетвореніе и дружбы, и любви. Все въ немъ и во-

кругъ него устроилось хорошо и пріятно; будущее могло обѣщать еще лучшее и пріятнѣйшее» (стр. 23). Къ этому времени относятся и всѣ свободолюбивыя стремленія Карамзина: его сочувствіе къ республиканской Швейцаріи (г. Галаховъ утверждаетъ даже, что Карамзинъ всегда «по чувству склонялся къ республикѣ»), его уваженіе къ дѣятелямъ конца XVIII вѣка и къ гуманно-космополитической цивилизаціи вообще; наконецъ, его сострадательный взглядъ на крѣпостное иго крестьянъ. «Конецъ нашего вѣка—говорилъ онъ тогда — почитали мы концомъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества, и думали, что въ немъ послѣдуетъ важное, общее соединеніе теоріи съ практикою, умозрѣнія съ дѣятельностію; что люди, увѣрясь въ изящности законовъ чистаго разума, начнутъ исполнять ихъ во всей точности, и подъ сѣнію мира, въ кровѣ тишины и спокойствія, наслаждаться истинными благами жизни». Осымнадцатый вѣкъ не подтвердилъ оптимистическихъ надеждъ Карамзина; оказалось, что изъ феодальнаго лѣса нельзя выбраться, не поваливъ сотни—другой деревьевъ и не расчистивъ такимъ образомъ дальнѣйшаго пути; свобода, реализуясь въ дѣйствительности, не могла рассчитывать на одни «изящные законы разума», и ей понадобились для того иныя, болѣе грубыя средства, взятые изъ грубой дѣйствительности. Это обстоятельство оттолкнуло Карамзина и внушило ему какой-то суевѣрный страхъ ко всѣмъ народнымъ движеніямъ. «Вѣкъ просвѣщенія—воскликнулъ онъ—не узнаю тебя! въ крови и пламени не узнаю тебя! среди убійствъ и разрушеній не узнаю тебя!» Переставъ узнавать свои же идеи въ той суровой формѣ, въ которой воплощались онѣ въ поли-

тическомъ быту, Карамзинъ скоро почувствовалъ къ нимъ полнѣйшую антипатію, и завелъ свои опасенія даже такъ далеко, что и въ людяхъ, окружавшихъ Александра Павловича, началъ видѣть Грегуаровъ, Карно и проч. и проч. (стр. 113). Идеи же ихъ казались ему «саранчею, вылѣзшею изъ сѣмянъ революціи». Сочувствіе къ освобожденію крестьянъ скоро замѣнилось у Карамзина защитою рабства: вмѣсто умѣреннаго оброка, который онъ наложилъ-было на своихъ крестьянъ, руководясь либеральнымъ образомъ мыслей, онъ ввелъ снова барщину, которую «требовала истинная филантропія» (стр. 35). Философскій оптимизмъ колеблется и уступаетъ мѣсто другому, противоположному воззрѣнію: отъ убѣжденія, что «жизнь есть первое счастье», что «въ мірѣ все прекрасно», Карамзинъ переходитъ къ убѣжденію, что «здѣшній міръ есть училище терпѣнія», что «вездѣ и во всемъ окружаютъ насъ недостатки». Поводомъ къ такой перемѣнѣ въ мысляхъ послужила для Карамзина потеря первой его супруги — обстоятельство чисто-личнаго свойства, въ противоположность тому общественному бѣдствію, которое, внушивъ поэму: «Разрушеніе Лиссабона», съ тѣмъ вмѣстѣ побудило Вольтера отказаться отъ своего прежняго образа мыслей. Этотъ личный мотивъ, всегда служившій у Карамзина сильнѣйшимъ двигателемъ его внутренней жизни, кажется «любопытнымъ» г. Галахову, но онъ и характеристиченъ—слѣдовало бы прибавить къ этому. «Замѣтимъ—продолжаетъ авторъ — что перемѣна воззрѣній, произведенная печальными обстоятельствами жизни, не противорѣчила постоянно доброму настроенію души Карамзина... Ни благодушіе его не пострадало отъ новаго взгляда; ни

новый взглядъ не потревожилъ благодушной его природы... Несчастія могли усилить въ немъ меланхолію, къ которой онъ имѣлъ естественную склонность, но не могли поколебать вѣру въ совершенствованіе человѣка, въ неизбежное торжество добрыхъ началъ надъ злыми. Пессимистомъ онъ не могъ быть, и никогда не былъ: всю жизнь свою онъ былъ оптимистомъ. Всегда и вездѣ сопровождало его утѣшеніе; только онъ прибѣгалъ за нимъ не къ системѣ Попа, а къ религіи, не къ ученію деистовъ, а къ ученію собственно христіанскому». Но это окончательное отступленіе отъ деизма произошло уже гораздо позднѣе; къ концу же перваго періода литературной дѣятельности Карамзина, убѣжденія его формулируются въ такомъ видѣ: «По своему взгляду на міровое устройство, онъ былъ оптимистъ, усвоившій нѣкоторыя положенія деизма. По своимъ понятіямъ объ основахъ и способахъ науки, онъ, въ противоположность мистико-масонамъ, требовалъ раціональности, которая, въ области знанія, допускаетъ лишь то, что можетъ быть изслѣдовано и воспринято умомъ, а не другими способностями духа. По понятіямъ о судьбѣ человѣчества, онъ былъ убѣжденъ въ предопредѣленномъ и, слѣдовательно, непреложномъ его совершенствованіи. Поступательный ходъ человѣческаго развитія измѣрялъ онъ поступательнымъ, спокойнымъ ходомъ просвѣщенія, разливаемого по всѣмъ классамъ, и доброй нравственности, его дѣйствіемъ образуемой. Только при этихъ двухъ условіяхъ (просвѣщенія и нравственности) законы и учрежденія могутъ приносить пользу; безъ нихъ же какъ тѣ, такъ и другіе, несмотря на либеральный просторъ свой, теряютъ значеніе и остаются втунѣ.

Государственныя преобразованія должны совершаться мирнымъ путемъ, обходя всякіе поводы къ потрясеніямъ и насильственнымъ мѣрамъ, и относясь съ уваженіемъ къ исторіи народа. Европеизмъ, какъ высшая ступень человѣческаго развитія, служитъ неизбѣжнымъ, единственнымъ образцомъ для каждаго народа, выступающаго на историческое поприще: отсюда благоговѣніе предъ геніемъ Петра и оправданіе его реформы. Любовь къ добру и человѣчеству есть душа правленія, животворная его сила. Наилучшую его форму представляетъ монархія, надежнѣйшимъ способомъ устранивающая и внѣшнее величіе государства, и внутреннее благосостояніе гражданъ. Отношенія между добрымъ, человѣколюбивымъ монархомъ и его подданными должны быть обязательнымъ примѣромъ для отношеній между помѣщиками и крестьянами, своего рода уставомъ крѣпостнаго состоянія» (стр. 141). Мудрено сформулировать мягче, эластичнѣе и благовиднѣе сущность общественной философіи Карамзина. Тутъ есть и «просвѣщеніе, разливаемое по всѣмъ классамъ народа», и «государственныя преобразованія» и проч. и проч. Но когда мы вспомнимъ, что это просвѣщеніе мирилось съ крѣпостнымъ состояніемъ народа, что это «непреложное совершенствованіе» не должно было касаться самыхъ существенныхъ основъ гражданскаго и политическаго быта (въ этомъ послѣднемъ случаѣ совершенствованіе называлось уже «насильственными мѣрами»), когда мы вникнемъ, наконецъ, въ печальный смыслъ послѣднихъ строкъ этого *profession de foi*, то наше сочувствіе къ Карамзину замѣтно умалится. Къ тому же, и въ этой умѣренной про-

граммъ скоро произошло измѣненіе; изъ нея улетучилось «благоговѣніе передъ геніемъ Петра», «оправданіе его реформы», и идеаломъ Карамзина становится Іоаннъ III, который «не обгонялъ умомъ настоящаго порядка вещей, не дѣйствовалъ воображеніемъ и не терялся мыслями въ возможностяхъ будущаго». При такомъ условіи «непреложное совершенствованіе» человѣческаго рода должно уже было пойти такими микроскопическими шагами, что, въ сравненіи съ ними, и ползаніе черепахи могло бы показаться орлинымъ полетомъ.

IV.

Всѣ перемѣны и превращенія, совершавшіяся довольно быстро въ образѣ мыслей Карамзина, г. Галаховъ великодушно беретъ подъ свою защиту и, не объясняя ихъ коренными недостатками въ мышленіи этого писателя, заботится только о томъ, чтобы навязать читателю убѣжденіе, что все это хорошо, справедливо, послѣдовательно, и что Карамзину даже невозможно было придти къ какимъ-нибудь другимъ выводамъ. Словомъ, оптимизмъ Карамзина заразилъ и его адвоката, г. Галахова. При этомъ авторъ «Исторіи русской словесности» не изображаетъ факты и мнѣнія объективно, какъ онъ это думаетъ, «ставя тѣ и другія среди современныхъ имъ данныхъ и не перемѣщая въ сферу данныхъ позднѣйшей эпохи» (стр. 36): — совсѣмъ не такой смыслъ имѣютъ его горячія апологіи въ честь воз-

любленнаго публициста-историка, въ дѣятельности котораго онъ видитъ не просто литературный фактъ, обладающій хорошими и дурными сторонами, но какъ бы нѣкій «священный» завѣтъ для потомства, обязаннаго относиться къ этому завѣту не иначе, какъ съ чувствомъ умиленія и благоговѣнія. Не разбирая въ подробности воззрѣній Карамзина на французскій переворотъ XVIII столѣтія, замѣтимъ, что г. Галаховъ напрасно затушевываетъ приличными выраженіями настоящія мысли Карамзина, напрасно старается провести разграничительную черту между реформой и революціей съ цѣлью доказать, что сочувствія нашего историка не исключали перемѣнъ и улучшеній въ политическомъ строѣ государства; на дѣлѣ оказывается, что эта черта существуетъ только въ воображеніи г. Галахова, Карамзинъ же постоянно переступалъ ее, трактуя, какъ революціонныя дѣйствія, ведущія къ гибели отечества, самыя полезныя попытки общественныхъ реформъ. Напуганный революціонными событіями, которыя, по словамъ г. Галахова, «относились къ ученіямъ XVIII вѣка, какъ крайній выводъ къ первоначальной посылкѣ», Карамзинъ скоро отказался отъ своихъ мимолетныхъ симпатій къ этимъ ученіямъ, и шагнулъ въ другую крайность даже не консервативнаго, а чисто ретрограднаго свойства. Прежде онъ мечталъ о «соединеніи теоріи (то есть теоріи французскихъ энциклопедистовъ) съ практикой», а впослѣдствіи началъ преслѣдовать самую эту теорію, не разбирая уже формы, въ какой воплощалась она въ дѣйствительности. Г. Галаховъ не ограничился тѣмъ, что отмѣтилъ этотъ переходъ, но пожелалъ объяснить его рациональнымъ образомъ, къ выгодѣ Карамзина. Такъ же благо-

видно представляет намъ авторъ отступленіе Карамзина отъ своего первоначальнаго взгляда на крѣпостное состояніе крестьянъ. Причиной этого отступленія былъ, дескать, собственный опытъ филантропическаго помѣщика: онъ обложилъ крестьянъ умѣреннымъ оброкомъ, предоставивъ имъ самимъ распоряжаться собственными дѣлами, а они, въ награду за эту милость, спились съ кругу, раззорились въ пухъ и наконецъ разочаровали барина въ его либерализмъ. Затянувъ послѣ того бразды правленія, онъ увидѣлъ плоды своего домостроительства: «прежде» крестьяне лѣнились, пили и терпѣли во всемъ недостатокъ; теперь они сдѣлались рачительными, трезвыми и зажиточными». Послѣ такого опыта Карамзинъ, по мнѣнію г. Галахова, естественно пришелъ къ выводу, что «связь народа съ его главою, основанная на любви и признательности, должна скрѣплять и отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ» (стр. 35). При этомъ г. Галаховъ, хотя и не рѣшается прямо, изъ преданности къ Карамзину, перейти въ лагерь крѣпостниковъ (крѣпостное право нынѣ отмѣнено, и говорить противъ него можно); но придумываетъ однако всевозможныя средства—смягчить и облагородить крѣпостническія тенденціи автора «Бѣдной Лизы». Первый пріемъ его защиты состоитъ въ томъ, что Карамзинъ честно и искренно измѣнилъ свои прежнія понятія; никакія нечистыя побужденія не имѣли здѣсь мѣста, и кто станетъ предполагать ихъ,—«тотъ выкажетъ или узкость историческаго пониманія, которая не въ силахъ оцѣнивать разновременныя явленія, каждое въ средѣ своихъ условій, или предосудительную подозрительность, которая во всѣхъ и каждомъ чувствуетъ свое соб-

ственное больное мѣсто». «Какъ будто при двухъ различныхъ убѣжденіяхъ—патетически восклицаетъ г. Галаховъ—вся честность принадлежитъ одному и вся безчестность непременно стоитъ на сторонѣ другаго! какъ будто они оба не могутъ быть честны или безчестны!» Мы не будемъ пускаться въ объясненія, насколько тысяча душъ, принадлежавшая Карамзину, могла predisposing его къ отстаиванью крѣпостнаго права, и много ли, мало-ли эгоистическаго интереса сквозить въ тѣхъ его письмахъ, въ которыхъ онъ, на примѣръ, жалуется на невзносъ оброка крестьянами, на худое ихъ послушаніе, бранить своихъ дворовыхъ людей, отправленныхъ имъ въ полицію для наказанія, и рѣшается даже просить у государя «военнаго чело-вѣка, чтобы послать его въ имѣнье и образумить крестьянъ» (См. «Письма Карамзина къ И. И. Дмитріеву», стр. 278, 375 и 396). Для біографа Карамзина все это, конечно, факты любопытные и, къ тому же, совершенно опущенные изъ виду г. Галаховымъ; но для насъ важнѣе знать не степень личной честности и искренности Карамзина, а степень его умственной силы и публицистическаго такта. На эти вопросы г. Галаховъ не отвѣчаетъ прямо, а пользуется уловкою. Именно онъ доказываетъ, что Карамзинъ и на этомъ пунктѣ стоялъ въ уровень съ лучшими мыслителями, что, подобно ему, смотрѣли на крестьянскій вопросъ Лопухинъ, Державинъ и ... и Жанъ-Жакъ Руссо. Сопоставленіе именъ Державина и Руссо вызываетъ невольную улыбку, но мы постараемся воздержаться отъ нея и будемъ говорить серьезно. Что Гавріиль Романовичъ Державинъ, объяснявшій французскую революцію «развращеніемъ философовъ» (въ

томъ числѣ и Руссо) и «лишнею царскою добротою», смотрѣлъ и на крестьянскій вопросъ одинаково съ Карамзинымъ—это не подлежитъ сомнѣнію и спору; что Лопухинъ, какъ масонъ, не возвысился въ этомъ случаѣ надъ догмой своего ученія, гласившаго, что для нравственнаго совершенствованія ничтожны всѣ, хотя бы самыя стѣснительныя, общественныя и государственныя формы,—это тоже неудивительно; но чтобы авторъ *Contrat social*, при всей своей парадоксальности, выходилъ изъ одного принципа съ Карамзинымъ,—въ этомъ позволительно усомниться, тѣмъ болѣе, что г. Галаховъ беретъ изъ его сочиненій только небольшую цитату, лишенную всякой связи съ общимъ смысломъ философіи Руссо. Женевского оракула спросили когда-то: нужно ли освобождать крестьянъ? и онъ отвѣчалъ на это: «Освобождайте! освобожденіе крестьянъ есть дѣло прекрасное и великое, но вмѣстѣ смѣлое и опасное; приступать къ нему нужно не кое-какъ, но съ соблюденіемъ извѣстныхъ предосторожностей». Предосторожности, указанныя Руссо и состоявшія въ томъ, что общественный голосъ, строго провѣряемый, долженъ назначать къ свободѣ только тѣхъ крестьянъ, которые отличились своимъ поведеніемъ, добрыми нравами и достаточнымъ образованіемъ, при чемъ даръ свободы вручается имъ торжественно, съ подобающею церемоніею,—эти предосторожности, невыполнимыя практически и даже ошибочныя по своему замыслу, могли подвергнуться самымъ основательнымъ возраженіямъ; но отсюда еще нельзя заключать, чтобы Руссо, сторонникъ безграничнаго развитія личности, признавалъ, какъ нормальный фактъ, угнетеніе и порабощеніе одного человѣка другимъ. Такой

мысли нѣтъ у Руссо въ цитатѣ, приведенной г. Галаховымъ, тогда какъ Карамзинъ, отступившись отъ своего сочувствія къ ученіямъ XVIII-го вѣка, признавалъ крѣпостное право столь же неизбѣжнымъ и законнымъ явленіемъ, какъ монархическое устройство государства. «Связь народа съ его главою (т. е. съ монархомъ) — какъ сказано выше — должна скрѣплять и отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ». Категорическое это утвержденіе едва-ли можетъ быть поставлено рядомъ съ искусственными «предосторожностями» Руссо. Да и вообще Карамзинъ не разъ высказывался въ томъ смыслѣ, что безумно возставать противъ соціальныхъ перегородокъ и соціального зла, проистекающаго изъ неравенства общественныхъ положеній, изъ деспотизма власти и богатства, изъ господства грубой силы надъ правомъ и разумомъ. «Основаніе гражданскихъ обществъ — писалъ онъ въ послѣдніе годы своей жизни — неизмѣнно: можете низъ поставить наверху, но будетъ всегда низъ и верхъ, воля и неволя, богатство и бѣдность, удовольствіе и страданіе. Для существа нравственнаго нѣтъ блага безъ свободы; но эту свободу даетъ не государь, не парламентъ, а каждый изъ насъ самому себѣ съ помощью божьею. Свободу мы должны завоевать въ своемъ сердцѣ миромъ совѣсти и довѣренностью къ Провидѣнію» (Неиздан. сочин., стр. 195). Итакъ, должно «завоевывать свободу въ своемъ сердцѣ», не вооружаясь противъ внѣшнихъ условій, мѣшающихъ выйти наружу этому свободному чувству; ну, а затѣмъ, все можетъ остаться по старому — и крѣпостное право, и лихоимство судей, и гнетъ бюрократія. Мало того: всякая попытка искоренить вѣковое наследственное зло, разрушить обвет-

шавшія общественныя формы, является по этому взгляду, какъ бы кощунствомъ надъ Провидѣніемъ, которое не даромъ же установило тотъ или другой порядокъ и сберегло обломки различныхъ историческихъ эпохъ. Это археологическое почтеніе къ старинѣ въ особенности развилось у Карамзина съ тѣхъ поръ, какъ онъ получилъ титулъ «исторіографа» Россійской Имперіи и погрузился съ особеннымъ усердіемъ въ изученіе той жизни, въ которой свободныя традиціи были вырваны съ корнемъ московскими князьями, а политическій застой возведенъ ими же на степень непреложнаго догмата. Отсюда почерпнулъ исторіографъ и новыя аргументы для своей вражды къ преобразованіямъ, и свѣжее негодованіе противъ всѣхъ реформаторовъ вообще. Негодованіе это излилось бурнымъ потокомъ въ извѣстной «Запискѣ о древней и новой Россіи». «Всякая новость въ государственномъ порядкѣ—писалъ Карамзинъ—есть зло, къ коему надобно прибѣгать только по необходимости, ибо мы болѣе уважаемъ то, что давно уважаемъ, и все дѣлаемъ лучше отъ привычки... Мудрые законодатели, принужденные измѣнять уставы политическіе, старались какъ можно менѣе отходить отъ старыхъ... Требуемъ болѣе мудрости охранительной, нежели творческой... Гораздо легче отмѣнить новое, нежели старое. Новости ведутъ къ новостямъ и благопріятствуютъ необузданностямъ произвола» (стр. 101). Вотъ вѣнецъ политической мудрости Карамзина, предъ которою умиляется г. Галаховъ и заставляетъ насъ умиляться также; вотъ послѣднее слово того умственного поворота, который, начавшись съ отвращенія къ революціи и пройдя недолгій путь туманнаго поклоненія европеизму, какъ

«высшей ступени человеческого развитія», ударился подъ конецъ въ глухія дебри азіатскаго застою и неподвижности. Въ странѣ, преисполненной всяческаго старовѣрства и грубыхъ, окаменѣлыхъ предразсудковъ, Карамзинъ толковалъ о превосходствѣ «охранительной» силы предъ силою творческою и организующею; народу, задыхавшемуся подъ тяжестью вѣковаго гнета, онъ рекомендовалъ—избѣгать «новостей въ государственномъ порядкѣ» и страшиться «необузданностей произвола». Какъ много во всемъ этомъ умственной зрѣлости, публицистическаго такта и здраваго пониманія настоящихъ потребностей эпохи!

Съ такимъ-то образомъ мыслей, съ такими симпатіями и антипатіями, вошелъ Карамзинъ въ кругъ высшаго русскаго общества, въ которомъ, подъ прямымъ вліяніемъ самого государя, составила довольно сильная фракція людей честныхъ и образованныхъ, готовыхъ на важныя уступки либеральнымъ стремленіямъ вѣка. Какое положеніе занялъ въ этомъ обществѣ Карамзинъ? какъ отнесся онъ къ борьбѣ идей, происходившей въ правительствѣ и отчасти въ литературныхъ кружкахъ? Чью программу взялся онъ поддерживать и на что устремилъ стрѣлы своей діалектики? Въ 1811 г., при личномъ знакомствѣ съ Александромъ Павловичемъ, онъ дебютируетъ «Запиской о древней и новой Россіи», изъ которой мы привели уже такую характеристическую цитату. Цѣль записки состояла въ томъ, чтобы подорвать кредитъ Сперанскаго и внушить государю, отличавшемуся своей подозрительностью, недоувѣріе и даже опасеніе ко всѣмъ преобразовательнымъ мѣрамъ, предложеннымъ его умнымъ и энергическимъ совѣтникомъ. «Рѣзкая, хотя и благонамѣ-

ренная, критика того, что было совершено въ Россіи въ первое десятилѣтіе XIX вѣка, не понравилась государю», говоритъ г. Галаховъ. Но Карамзинъ не унывалъ и настойчиво продолжалъ свою агитацію, поддерживаемый всѣми ретроградными элементами въ правительствѣ. Когда онъ, въ 1816 г., пріѣхалъ въ Петербургъ съ первыми томами своей исторіи, либералы отъ него отшатнулись, а враги Сперанскаго встрѣтили его дружески, какъ стараго союзника; самъ графъ Аракчеевъ обласкалъ его и замолвилъ за него слово государю, — то вѣское слово, которое имѣло рѣшительное вліяніе какъ на ускореніе печатанія исторіи, такъ и на награду, данную ея автору. «Литераторы и правительственные лица — читаемъ мы у г. Галахова — съ разными чувствами встрѣтили москвича, который хотя не имѣлъ никакого участія въ администраціи, но понималъ, что дѣлалось въ Россіи и судилъ о томъ откровенно, съ извѣстной точки зрѣнія. Если многіе изъ первыхъ видѣли въ немъ либеральнаго нововводителя, то нѣкоторые между вторыми разумѣли его, какъ сторонника антилиберальныхъ идей въ политикѣ. Самого Сперанскаго, противъ котораго главнѣйшимъ образомъ направлена «Записка о древней и новой Россіи», не было въ столицѣ, но были другіе, на глаза которыхъ реформаторъ въ словесности отсталъ отъ вѣка по своимъ понятіямъ о реформахъ государственныхъ». Откуда вышли эти разные чувства, съ которыми Карамзинъ былъ встрѣченъ въ Петербургѣ? справедливо ли упрекали его въ отсталости понятій о реформахъ государственныхъ? — на все это г. Галаховъ отвѣчаетъ весьма уклончиво и опять-таки старается представить дѣло въ благопріятномъ свѣтѣ

для Карамзина. Прежде всего онъ пробуетъ уравнивать нападки Карамзина на Сперанскаго съ тѣми осужденіями, которыя находилъ самъ Карамзинъ въ лагерѣ доносчиковъ, подобныхъ Кутузову:—если Карамзинъ возставалъ противъ тогдашнихъ реформаторовъ за то, что они стремились слишкомъ далеко впередъ, то, съ другой стороны, въ русскомъ обществѣ встрѣчалось не мало лицъ, полагавшихъ, что и самого Карамзина слѣдуетъ, для пользы отечества, осадить нѣсколько назадъ. Шишковъ съ компаніей увѣряли, напримеръ, что реформа литературнаго слога, произведенная Карамзинымъ и его послѣдователями, скрывала подъ собою неблагонамѣренное направленіе мысли и чувства; различіе между языками славянскимъ и русскимъ, установленное этою реформою, объяснялось суровымъ славянофиломъ, какъ результатъ злостнаго желанія отдѣлить духовныя книги отъ свѣтскихъ и привлечь умъ и сердце читателей къ однимъ свѣтскимъ писаніямъ, гдѣ столько разставлено сѣтей къ «помраченію ума и уловленію нравственности». «Языкъ— провозглашалъ Шишковъ, цѣлясь въ своихъ противниковъ— есть душа народа, зеркало нравовъ, показатель просвѣщенія, неумолчный проповѣдникъ дѣлъ. Возвышается народъ,— возвышается языкъ; благонравенъ народъ,—благонравенъ языкъ. Никогда безбожникъ не можетъ говорить языкомъ Давида: слава небесъ не открывается ползающему въ землѣ червю. Никогда развратный не можетъ говорить языкомъ Соломона: свѣтъ мудрости не озаряетъ утопающаго въ страстяхъ и порокахъ... Гдѣ нѣтъ въ сердцахъ вѣры, тамъ нѣтъ въ языкѣ благочестія. Гдѣ ученіе основано на мракѣ лжеумствованій, тамъ въ языкѣ не воз-

сіяетъ истина; тамъ въ наглыхъ и невѣжественныхъ писаніяхъ господствуетъ одинъ только развратъ и ложь» (стр. 76). Это обращеніе *ad hominem* — приемъ донинѣ весьма употребительный между нашими «патріотическими» публицистами—высказывалось, по крайней мѣрѣ, гласно, въ печати, и допускало публичное же возраженіе со стороны обвиняемыхъ лицъ; но не всѣ враги Карамзина довольствовались этимъ не вполне надежнымъ средствомъ вредить ему. Между ними же нашелся одинъ, а именно Кутузовъ, кураторъ московскаго университета, который, при каждомъ возвышеніи Карамзина, громилъ еще его негласными доносами, адресованными то къ тому, то къ другому изъ высокопоставленныхъ лицъ. Такъ напримѣръ, по случаю пожалованія Карамзину ордена Владиміра 3-й степени въ 1810 году, Кутузовъ, возмущенный до глубины души этимъ отличіемъ, писалъ къ министру народнаго просвѣщенія, графу А. К. Разумовскому: «Не могу равнодушно глядѣть на распространяющееся у насъ уваженіе къ сочиненіямъ г. Карамзина. Вы знаете, что оныя исполнены вольнодумческаго и якобинческаго яда... Карамзинъ явно (!!) проповѣдуетъ безбожіе и безначаліе. Не орденъ ему надобно бы дать, давно бы пора его запереть... Ваше есть дѣло открыть государю глаза и показать Карамзина во всей его гнусной наготѣ, яко врага Божія и яко орудіе тьмы» (Письма К-на къ Дмитріеву). По выраженію: «вы знаете», употребленному Кутузовымъ въ этомъ доносѣ, можно думать, что и графъ Разумовскій, преклонявшій, какъ извѣстно, свой слухъ къ внушеніямъ извѣстнаго клерикала и обскуранта Жозефа де-Местра, былъ тоже не прочь подмѣтить

въ сочиненіяхъ Карамзина разныя «сумнительныя мѣста». Отсюда видно, что Карамзинъ, уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ, отказавшись отъ своихъ либеральныхъ стремленій, все еще возбуждалъ противъ себя подозрительность невѣжества кое-какими приемами мысли и оборотами рѣчи, сохранившимися у него отъ прежнихъ вліяній, и еслибы г. Галаховъ ограничился указаніемъ превосходства Карамзина надъ Кутузовымъ, Шишковымъ и другими подобными же дѣятелями, то мы ни на одну минуту не стали бы противорѣчить ему и почли бы несправедливымъ охлаждать его симпатію, совершенно законную въ этихъ предѣлахъ. Мы сказали бы: да, Карамзинъ, какъ реформаторъ слога, какъ издатель журналовъ, пріучившихъ публику къ этого рода чтенію, наконецъ, какъ человѣкъ, европейски-образованный, стоялъ цѣлою головою выше тупыхъ неучей и злонамѣренныхъ доносчиковъ, способныхъ задушить самую невинную мысль и затравить ни за что, ни про что кротчайшаго въ мірѣ индивидуума: защитникъ золотой середины, онъ не одобрялъ, на примѣръ, ни «министерства затмѣнія», руководимаго Шишковымъ, ни страшныхъ военныхъ поселеній, заведенныхъ Аракчеевымъ, ни губительной цензуры, стоявшей, по его выраженію, «какъ черный медвѣдь», на дорогѣ писателя; въ немъ нашлось столько трезвости мысли и стойкости убѣжденій, чтобы не поддаться мистическому повѣтрію, которое во второй половинѣ царствованія Александра Павловича, повѣяло у насъ сильнѣе и вреднѣе, чѣмъ при своемъ появленіи, въ послѣдней четверти XVIII столѣтія. Всего этого, однако, слишкомъ недостаточно для того, чтобы посадить Карамзина на такомъ высокомъ пьедесталѣ, какой усили-

вается создать ему г. Галаховъ. Дальше этой золотой середины Карамзинъ никогда не пошелъ, и коль скоро поднималась рѣчь не о палліативныхъ только средствахъ къ ограниченію зла, а о совершенномъ его искорененіи путемъ широкихъ и послѣдовательныхъ реформъ, то онъ сейчасъ же начиналъ защищать *statu quo*, обнаруживая свои точки соприкосновенія съ наиболѣе отсталыми партіями въ обществѣ и правительствѣ. Такъ дѣйствовалъ онъ по отношенію къ Сперанскому и вообще ко всѣмъ либеральнымъ представителямъ тогдашней администраціи, оказывая вольную или невольную услугу тому самому мракобѣсію, противъ излишествъ котораго онъ же впослѣдствіи поднималъ свой голосъ—конечно, лишь при удобномъ случаѣ и, большею частію, по секрету. На этомъ основаніи баронъ Корфъ имѣлъ полное право сказать о Карамзинѣ, что «современная публика нашла въ его запискѣ (о древней и новой Россіи) свое собственное темное не удовольствіе, облеченное въ форму изящной рѣчи», и что записка эта «представляетъ собою итогъ толковъ тогдашней консервативной оппозиціи и тѣхъ массъ, которыя, обветшавъ, требовали обновленія». Онъ же полагаетъ, что изъ сужденій Карамзина о Сперанскомъ «впослѣдствіи образовались важнѣйшія обвиненія противъ государственнаго секретаря и, частію, самыя пружины, употребленныя къ его низверженію» («Жизнь графа Сперанскаго», томъ I, стр. 132, 142—3). Г. Галахову извѣстны факты, изложенные въ книгѣ барона Корфа, и онъ даже соглашается, повидимому, съ нѣкоторыми мнѣніями біографа Сперанскаго; но его собственные выводы мало выигрываютъ отъ этого, а историческая критика остается, попрежнему,

одностороннею и пристрастною въ пользу одного изъ обсуждаемыхъ направлений. Баронъ Корфъ, напримѣръ, называетъ Карамзина органомъ «консервативной оппозиціи» и темнаго неудовольствія «обветшавшихъ массъ», а г. Галаховъ беретъ изъ этой характеристики только одно первое слово и объявляетъ, что оно справедливо, такъ-какъ Карамзинъ выражалъ, дѣйствительно, «консервативное мнѣніе о работахъ Сперанскаго» (стр. 100). Дальнѣйшія же поясненія онъ опускаетъ совсѣмъ, и выходитъ, какъ-будто бы баронъ Корфъ говоритъ то же самое, что и г. Галаховъ. Между тѣмъ разница въ ихъ мнѣніяхъ слишкомъ замѣтна, и въ то время, какъ г. Галаховъ признаетъ Карамзина «консерваторомъ въ разумномъ смыслѣ этого слова» (стр. 99), баронъ Корфъ иронически замѣчаетъ: «чего именно желалъ Карамзинъ, то остается, по крайней мѣрѣ, для насъ неразгаданнымъ... въ запискѣ только критика новаго, но нѣтъ ни критики стараго, ни окончательнаго вывода, въ которомъ выразилось бы положительное заключеніе сочинителя». Для г. Галахова, напротивъ, совершенно понятно, чего хотѣлъ Карамзинъ: онъ хотѣлъ, изволите видѣть, «утвердить систему государственныхъ улучшеній на историческомъ подножіи, т. е. допускалъ поступательное движеніе народа впередъ не иначе, какъ на условіяхъ прошедшей и настоящей его жизни, на соображеніяхъ съ дѣйствительными его потребностями». Опять туманныя фразы, отводящія глаза читателю; опять шифрованная грамота, въ которой невозможно подобрать ключа! Какъ можетъ совершиться поступательное движеніе при сохраненіи всѣхъ условій настоящей жизни? Кто сказалъ г. Галахову, что дѣйствительныя

потребности народа, быть можетъ, неясно имъ сознаваема, были поняты Сперанскимъ хуже, чѣмъ Карамзинымъ? Впрочемъ, скажемъ спасибо автору и за то уже, что онъ не рѣшился перенести цѣликомъ въ свою исторію словесности тѣхъ рѣзкихъ филиппикъ противъ русскаго либерализма, которыми онъ украсилъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, свою статью, написанную по поводу столѣтней годовщины рожденія Карамзина. «Своими сочувствіями — писалъ тогда г. Галаховъ—Карамзинъ стоялъ по ту сторону революціи, не допуская внутренней связи между нею и вѣкомъ просвѣщенія, то есть XVIII вѣкомъ до 1789 г.; либералы, напротивъ, стояли по эту сторону революціи съ такими мнѣніями и требованіями, которыя Карамзинъ уподоблялъ саранчѣ, вышедшей изъ оставленныхъ ею (то-есть революціею) сѣмянъ. Согласіе между нимъ и ими оказывалось невозможнымъ... Карамзина трудно было сбить на этомъ пунктѣ, потому что, надобно сказать правду, онъ былъ умнѣе либералистовъ и не въ примѣръ ихъ здравомысленнѣе... Независимо отъ разногласія въ мнѣніяхъ, либералисты представляли для Карамзина еще другую слабую сторону. Онъ умѣлъ бы почтить противоположный образъ мыслей, если бы эти мысли относились къ искреннимъ убѣжденіямъ, если бы онѣ были не только сознательно восприняты умомъ, ищущимъ истины, но и прочно приняты сердцемъ, желающимъ употребить истину на служеніе людямъ... Въ либералистахъ, какъ видно, онъ не замѣчалъ требуемой имъ нравственной состоятельности» («Журн. Министер. Народн. Просвѣщ.» 1867 г., № 1). Отдѣлавъ гуртомъ всѣхъ «либералистовъ» за недостатокъ здра-

вомыслия и искренности убѣжденій, г. Галаховъ одобрялъ Карамзина за его презрительный отзывъ о статьяхъ Кунцины и находилъ похвальнымъ его равнодушіе къ такимъ капитальнымъ литературнымъ явленіямъ, какимъ была, въ свое время, книга Н. Тургенева: «Опытъ теоріи налоговъ». О Сперанскомъ г. Галаховъ не говорилъ прямо; но такъ-какъ, по его словамъ, «организаціонныя работы Сперанскаго производились въ томъ же либеральномъ направленіи», то, понятно, что и послѣдній подпадалъ, наряду съ Кунцинымъ и Тургеневымъ, огульному осужденію г. Галахова. Нынѣ г. Галаховъ не такъ строгъ къ нашимъ политическимъ теоретикамъ александровскаго времени и, обвиняя ихъ (словами Карамзина) «въ излишнемъ уваженіи формъ государственности,» въ ущербъ духу, наполняющему эти формы, съ тѣмъ вмѣстѣ считаетъ и Карамзина несвободнымъ отъ упрека въ излишнемъ пренебреженіи къ государственному строю, въ излишней увѣренности, что индивидуальное развитіе возможно и безъ хорошихъ учрежденій. Но упрекъ, мимоходомъ брошенный, не нарушаетъ общаго хвалебнаго тона книги, и г. Галаховъ, даже, высказывая его, пользуется случаемъ сослаться на одну цитату, отрывъ изъ «Исторіи государства Россійскаго» (103). Что же касается до этого послѣдняго произведенія, то, въ разборѣ его, г. Галаховъ находитъ множество поводовъ отнестись сочувственно къ образу мыслей Карамзина. «Исторію государства руссійскаго» онъ разсматриваетъ въ связи съ «Запиской о древней и новой Россіи», и уже по этому одному обстоятельству можно предвидѣть, какъ снисходительно отнесется онъ къ ея недостаткамъ и какъ старательно выставитъ впередъ

всѣ ея достоинства, даже очень спорныя и сомнительныя. Исторію Карамзина, такъ же какъ и его «Записку», г. Галаховъ признаетъ сочиненіемъ тенденціознымъ, то-есть имѣющимъ цѣлью не только познакомить насъ съ событіями минувшаго, но и расположить ихъ по личному идеалу историка, навести читателя, преднамѣренною ихъ группировкою, на практическіе выводы, приложимые къ современной жизни. Рассказывая историческія происшествія, слѣдя за возникновеніемъ и развитіемъ Московскаго государства, Карамзинъ всегда имѣетъ въ виду вопросы, возбужденные современностью, и нерѣдко выходитъ самъ изъ-за кулисъ повѣствованія, чтобы провести какую-нибудь параллель или выдвинуть начало, ему любезное. Въ своемъ предисловіи къ «Исторіи» Карамзинъ пишетъ: «должно знать, какъ искони мятежныя страсти волновали мятежное общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала ихъ бурныя стремленія, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастье». Хотя въ этихъ строкахъ нѣтъ прямого указанія на французскую революцію, но, по мнѣнію г. Галахова, оно безспорно подразумевается, тѣмъ болѣе, что позднѣе, въ характеристикѣ Іоанна Грознаго, Карамзинъ выискалъ-таки случай упомянуть прямо о «дикихъ страстяхъ», свирѣпствовавшихъ во время французской революціи. «Исторія», на ряду съ «Запиской», отстаиваетъ крѣпостное право, и Карамзинъ не только не осуждаетъ Годунова за прикрѣпленіе крестьянъ къ землѣ, но еще, напротивъ, видитъ въ этомъ законѣ добродѣтельное желаніе утвердить между владѣльцами и сельскими работниками «союзъ неизмѣнный, какъ бы семействен-

ный, основанный на единствѣ выгодъ, на благосостояніи обществъ». Въ «Запискѣ» Карамзинъ нападалъ на Сперанскаго за его разрушительныя стремленія, за его намѣренія—пошатнуть или, по крайней мѣрѣ, видоизмѣнить установившійся вѣками строй государственной жизни; въ «Исторіи» онъ идеализируетъ и этотъ строй, и типъ власти, способствовавшій его установленію. Соотвѣтственно этому коренному началу построень и весь планъ «Исторіи государства Россійскаго». Немудрено, что, при такомъ взглядѣ на развитіе нашей исторической жизни, Карамзинъ проглядѣлъ участіе въ ней народа, который всегда представляется у него тупою и безличною массою, только напрасно мѣшающею грандіозному шествію государственнаго идеала. Не будь этого народа, этой темной толпы, ни на что не нужной,—и Россійская исторія получила бы еще болѣе величія и назидательности, сосредоточившись безраздѣльно въ біографіяхъ двухъ-трехъ лицъ, заправлявшихъ ея судьбами. Г. Галаховъ самъ замѣчаетъ, что такой историческій взглядъ противорѣчитъ въ концѣ всѣмъ современнымъ требованіямъ науки; но, какъ усердный адвокатъ, онъ старается перемѣстить центръ тяжести возраженій на ту точку, на которой они были бы менѣе серьезны и опасны для историка государства Россійскаго. «Карамзина—говоритъ онъ—упрекали въ томъ, что онъ изображеніе внутренней жизни народа не вставлялъ въ самый рассказъ, а помѣщалъ его въ отдѣльныя главы, примыкая ихъ, какъ бы дополненіе, къ концу каждаго періода,—упрекъ, по моему, незаслуженный, отзывающійся педантизмомъ. Не все ли равно, гдѣ бы ни стояло описаніе внутренняго быта, лишь бы оно было

надлежащее?» Какъ будто упреки Карамзину касаются, дѣйствительно, только выбора мѣста для описанія внутренней жизни народа, а не того, что эта жизнь совершенно пренебрежена имъ и разсматривается, какъ лишній, механическій придатокъ къ исторіи государства. Какъ будто въ этомъ мѣстѣ заключается вся сила, и нужно только переплести нѣсколько иначе главы Карамзинскаго труда, то-есть поставить первыя послѣдними и послѣднія первыми, чтобы легкомысленные упреки упали сами собою. Главная же суть обвиненія—бездущность идеала писателя и невѣрность историческихъ характеристикъ, искаженныхъ, съ умысломъ или безъ умысла, ради предвзятой узкой теоріи—оставляется г. Галаховымъ совсѣмъ безъ отвѣта. «Не наше—говорить онъ—дѣло объяснять, вѣрны ли въ историческомъ смыслѣ характеристики лицъ у Карамзина, то-есть согласны ли онѣ съ дѣйствительными ихъ образами въ лѣтописяхъ и иныхъ памятникахъ»; не его же дѣло опредѣлить и степень «просвѣтительнаго содержанія» въ самомъ идеалѣ Карамзина. Устранивъ себя отъ прямого сужденія объ этихъ предметахъ, обязательнаго для историка просвѣтительныхъ идей, г. Галаховъ не уберется, однако, отъ слѣдующей патріотической тирады: «какъ бы ни отзывалась критика о научномъ значеніи «Исторіи государства Россійскаго»—но по важности и благородству идеаловъ (?), по искусству, съ какимъ они проведены, по силѣ патріотическаго чувства, равно по искусству постройки и красотѣ внѣшней формы, трудъ Карамзина есть твердый памятникъ, воздвигнутый во славу родной земли и въ свою собственную славу: онъ будетъ говорить потомству о своемъ

творцѣ до тѣхъ поръ, пока, выражаясь словами поэта, «есть у насъ отечество!» (стр. 110). Громко, но неубѣдительно.

V.

Мы пишемъ не курсъ литературы, а рецензію на книгу, и находимся, слѣдовательно, въ нѣкоторой невольной зависимости отъ ея автора. О чемъ онъ говоритъ подробно и доказательно, о томъ мы должны упоминать лишь вскользь съ единственной цѣлью—не пройти молчаніемъ хорошихъ сторонъ разбираемаго труда; но то, что упущено авторомъ изъ виду или истолковано неправильнымъ образомъ, то и должно составить предметъ нашего особеннаго вниманія. По этимъ соображеніямъ, мы не распространялись о качествахъ литературнаго слога Карамзина, о борьбѣ, возникшей изъ-за него между поклонниками славянщины и адептами новой литературной школы, между «Бесѣдой» и «Арзамасомъ»; мы не останавливались также на спеціальныхъ особенностяхъ того сентиментальнаго направленія, которое, появившись до Карамзина, достигло при немъ наибольшаго развитія; подробное разсмотрѣніе журнальной дѣятельности Карамзина также не входило въ наши расчеты. Всѣмъ этимъ занялся старательно г. Галаховъ, и его объясненія, по скольку они касаются второстепенныхъ сторонъ дѣла и поддерживаются обширной начитанностью автора, могутъ быть признаны удовлетворительными. Изъ этихъ объясненій видно довольно ясно: какое измѣненіе внесено Карамзинымъ въ строй русскаго языка, откуда занесены къ намъ первыя сѣ-

мена сентиментализма въ драмѣ и въ повѣсти, и въ какомъ духѣ относились журналы Карамзина къ политическимъ событіямъ въ Европѣ и къ дѣятельности правительства въ нашемъ отечествѣ. Знакомство съ литературою предмета обнаружено въ достаточной степени; цитатъ разнаго сорта—множество. Но начитанность не замѣняетъ таланта, и узкость понятій еще ярче сквозитъ между фактическими знаніями. Покуда рѣчь идетъ о слогѣ карамзинистовъ и шишковистовъ, г. Галаховъ совершенно на своемъ мѣстѣ; содержаніе «Марѣи Посадницы» и разныхъ статей, помѣщенныхъ въ «Московскомъ журналѣ» и въ «Вѣстникѣ Европы», онъ изучилъ также весьма изрядно; о крайностяхъ сентиментализма, проявившагося, съ легкой руки Карамзина, въ русскихъ чувствительныхъ путешествіяхъ, онъ подаетъ мнѣнія далеко не безъосновательныя. Когда же автору приходится высказывать приговоръ надъ сущностью взглядовъ, выражаемыхъ изящнымъ слогомъ, надъ общественнымъ значеніемъ литературной роли Карамзина, — онъ постоянно хитритъ, перетолковываетъ свои же данныя, впадаетъ въ дилеммы вмѣсто критики и преднамѣренно умалчиваетъ обо всемъ, что могло бы бросить иной свѣтъ на вопросы, имъ обсуждаемые. Образчики всего этого мы представляли уже выше нашимъ читателямъ; но мы исполнили бы только половину нашей задачи, еслибы, рядомъ съ радужнымъ изображеніемъ Карамзина, не поставили его настоящей исторической обливѣ въ томъ видѣ, въ какомъ рисуется онъ по историческимъ свѣдѣніямъ и по собственнымъ сочиненіямъ этого писателя. При этомъ мы воспользуемся и фактами, приведенными у г. Галахова, но сгруппируемъ ихъ нѣсколько иначе, подъ дру-

гимъ угломъ зрѣнія, и дополнимъ тѣми необходимыми комментаріями, которыхъ не пожелалъ дать намъ авторъ «Исторіи русской словесности».

Литературная дѣятельность Карамзина началась въ осьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, и первый періодъ ея прошелъ подъ вліяніемъ того мистицизма, который появился въ Европѣ, какъ противодѣйствіе сильно распространявшемуся ученію французскихъ энциклопедистовъ. Этотъ мистицизмъ, извѣстный подъ именемъ масонства, имѣлъ нѣкоторое сродство съ деистической философіей, и масоны, такъ же какъ и деисты, послѣдователи Локка, стремились осуществить въ практической жизни «религію разума», или «натуральную религію», чуждую догматизма и конфессіональной розни. Но это тожество основнаго принципа касалось только сферы религіозныхъ вопросовъ, да и тутъ еще масонство прихватило, съ теченіемъ времени, столько наносныхъ элементовъ, что, благодаря имъ, «естественная религія» обратилась въ какой-то своеобразный культъ, замѣнившій старую обрядность новыми манипуляціями. Въ вопросахъ же науки и политической жизни масонство отошло еще дальше отъ своего первоначальнаго источника, — и въ то время, какъ деисты раціональнаго толка расширяли область научной критики и проповѣдовали политическую свободу, европейскіе мистики пытались воскресить элевзинскія таинства въ наукѣ и относились съ пренебреженіемъ къ правильному развитію гражданскихъ и политическихъ формъ. Только немногія фракціи масонскаго ордена примкнули къ политической оппозиціи и организовали изъ себя тайныя общества, имѣвшія цѣлью преобразование государственнаго строя; эти-

то уклоненія и возбудили въ правительствахъ недовѣріе къ масонскимъ ложамъ вообще. Въ русскомъ масонствѣ не было совсѣмъ политически-оппозиціоннаго характера, который проникнулъ отчасти въ западныя масонскія ложи, и наши мистики, погружаясь съ большою охотою въ отысканіе философскаго камня, мало интересовались недостатками общественной организаціи, какъ бы ни были они крупны и возмутительны для человѣческаго чувства. Нравственное совершенствованіе, которое озабочивало собой русскихъ масоновъ, могло уживаться, по ихъ мнѣнію, со всякой общественной формой, со всякимъ политическимъ устройствомъ; поэтому дѣятельность ихъ ограничивалась филантропическими подвигами, — правда, весьма почтенными, но слишкомъ недостаточными, чтобы произвести серьезное измѣненіе къ лучшему, — да пропагандой «наравоученія и высокомыслія», въ противоположность «низкому любомудрію» новѣйшихъ философовъ. «Развратъ въ наукахъ — твердили масоны — происходитъ отъ незнанія источника, изъ котораго онѣ проистекли, и отъ незнанія предмета, куда онѣ текутъ. Науки суть плодъ созрѣвшаго бессмертнаго человѣческаго духа. Если человѣкъ цѣлую жизнь упражняется въ томъ же, въ чемъ и животныя, то наука разума не только ему бесполезна, но и пагубна. Когда же человѣкъ имѣетъ главною своею цѣлію совершенство духа, состоящее въ познаніи бессмертныхъ истинъ, то наука разума приноситъ ему пользу». Подъ этимъ «упражненіемъ въ томъ же, въ чемъ упражняются и животныя», масоны разумѣли послѣдованіе той философской школы, которая не проклинала человѣческихъ страстей и склонностей, но, признавая ихъ за благодѣтельный даръ

природы, учила не искоренять ихъ, а только сдерживать въ извѣстныхъ границахъ и направлять къ хорошимъ цѣлямъ.

Что же касается до политическихъ преобразованій, то они вовсе исключались изъ программы «Дружескаго Общества». Лопухинъ, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ членовъ этого кружка, объясняя разницу между русскимъ и западно-европейскимъ масонствомъ, прямо говоритъ: «нашего общества предметъ былъ добродѣтель и стараніе, исправляя себя, достигать ея совершенства при сердечномъ убѣжденіи въ совершенномъ ея въ насъ недостаткѣ; а система наша — что Христосъ начало и конецъ всякаго блаженства». Тайныя же политическія общества, по мнѣнію Лопухина, основаны на томъ, чтобы—«отвергать Христа, а обществъ оныхъ предметъ: заговоръ буйства, побуждаемаго глупымъ стремленіемъ къ необузданности и неестественному равенству». Въ своемъ масонскомъ катихизисѣ Лопухинъ предписываетъ правовѣрному масону чтить правительство и «во всякомъ страхѣ повиноваться ему, не только доброму и кроткому, но и строптивому». Нельзя рѣзче осудить всѣ реформаторскія попытки, выходящія изъ среды самого общества, помимо или противъ желанія вліятельныхъ лицъ; нельзя выразить болѣе терпѣливой готовности сносить ошибки и притѣсненія силы. Масоны не только чуждались политическихъ замысловъ, но и ихъ религіозное вольнодумство, — противъ котораго не совсѣмъ безъ основанія витѣйствовали хранители ортодоксіи, — будучи въ сущности отрицаніемъ конфессіональных распрей, прекрасно уживалось, однако, съ формальнымъ, исключительнымъ догматизмомъ господствующаго вѣроученія. Фи-

лантропическое настроеніе масоновъ также не было настолько сильно, чтобы оттолкнуть ихъ отъ самаго негуманнаго учрежденія—крѣпостнаго права,—и тотъ же Лопухинъ, желая видѣть крестьянъ благоденствующими, съ тѣмъ вмѣстѣ, отстаивалъ крѣпостное право, нужное, по его мнѣнію, «для обузданія народа». Пробывъ около трехъ лѣтъ въ новиковскомъ кружкѣ, Карамзинъ надолго сохранилъ въ себѣ нѣкоторыя черты его вліянія. Отъ природы склонный къ меланхоліи и самоуглубленію, одаренный сильной фантазіей и чувствительностью, болѣзненно развившейся отъ чтенія сентиментальной беллетристики, Карамзинъ легко поддался ученію, которое требовало отъ человѣка внутренней работы надъ самимъ собою, сулило въ отдаленной перспективѣ возвращеніе золотого вѣка и, узаконяя гуманный взглядъ на человѣческую личность, не смущало однако своихъ адептовъ необходимостью опасной борьбы противъ учрежденій, противорѣчащихъ этому гуманному взгляду. Словомъ, всѣ выдающіяся стороны натуры Карамзина находили себѣ удовлетвореніе въ «Дружескомъ Обществѣ»; умственное же развитіе его, видимо, не возмущалось крайнимъ невѣжествомъ людей, отрицавшихъ всѣ новѣйшія пріобрѣтенія науки. Между тѣмъ первыя впечатлѣнія молодости сильно ложатся на воспріимчивую душу—и вотъ мы замѣчаемъ, что, даже отрѣшившись впоследствии отъ мистическихъ бредней своихъ бывшихъ друзей, Карамзинъ навсегда остался масономъ по многимъ существеннымъ пунктамъ своихъ политическихъ и нравственныхъ убѣжденій. Уваженіе къ личности человѣка, независимо отъ ея соціальнаго вѣса и значенія, твердое сознаніе, что и внѣ государственной службы, одною частвою

дѣятельностью, можно принести пользу обществу, полнѣйшая вѣротерпимость, блистательно проявившаяся у Лопухина во время производства имъ слѣдствія надъ духоборцами — все это хорошія черты масонскаго вліянія, и ими Карамзинъ обязанъ своему трехлѣтнему пребыванію въ кругу людей, отличавшихся своею общественною благотворительностью и гуманностью личнаго характера, пренебрегавшихъ чинами и почестями, и смотрѣвшихъ безъ фанатизма на различіе религіозныхъ понятій и исповѣданій. Уже много лѣтъ спустя по выходѣ изъ масонскаго общества, Карамзинъ отзывается равнодушно о чиновничьей карьерѣ и, не выражая къ ней никакой зависти, остается вполне доволенъ своимъ скромнымъ, но независимымъ призваніемъ литератора. Въ одномъ стихотвореніи, написанномъ, вскорѣ по возвращеніи изъ-за границы, Карамзинъ говоритъ:

Прости! твой другъ умретъ тебя достойнымъ,
Послушнымъ истинѣ, въ душѣ своей покойнымъ.
Не скажутъ вѣкъ объ немъ, чтобъ онъ чиновъ искалъ,
Чтобъ знатымъ подлецамъ когда-нибудь ласкалъ.

(Соч. Карамзина, изд. 1848 г., стр. 49).

И тотъ же взглядъ высказываетъ онъ черезъ шесть лѣтъ въ письмѣ къ И. И. Дмитріеву изъ Москвы. «Видно—пишетъ онъ своему другу, который, вѣроятно, жаловался на бавихъ-нибудь «знатныхъ подлецовъ» — что приказныя хлопоты не свойственны душѣ твоей, когда онѣ такъ тревожатъ и гнетутъ ее. Слѣдственно, дорого платишь ты за свое оберъ-прокурорство. (Дмитріевъ служилъ тогда оберъ-прокуроромъ въ сенатѣ.) Для такихъ упражненій надобно имѣть самую холодную и песчаную душу: иначе бѣдная пропадетъ съ грусти. Лѣнивый верблюдъ проходитъ благопо-

лучно по мертвой степи Каменистой Аравіи; гордый, пламенный конь томится, сохнет и умирает среди песчаныхъ ея морей» (Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 96). Въ бытность свою при дворѣ онъ выражался не менѣе рѣзко объ интригахъ и проискахъ, происходившихъ предъ его глазами: «Мнѣ гадки — писалъ онъ къ тому же лицу — и низкіе честолюбцы, и низкіе корыстолюбцы. Дворъ не возвыситъ меня. Люблю только любить государя. Къ нему не лѣзу и не полѣзу» (Ibid. стр. 248). Свою литературную профессію Карамзинъ ставилъ чрезвычайно высоко и не давалъ ее въ обиду передъ чиновническими притязаніями: талантливый писатель могъ быть, по его мнѣнію, столько же полезенъ отечеству, какъ и самый важный государственный сановникъ. Говоря въ одномъ своемъ стихотвореніи о вліяніи изящныхъ искусствъ на развитіе человѣческихъ обществъ, онъ слѣдующимъ образомъ характеризуетъ значеніе поэтовъ и художниковъ, которыхъ называетъ любимцами Феба:

Они безъ власти, безъ короны,
Даютъ умомъ своимъ законы;
Ихъ кисть, рѣзецъ, струна и гласъ
Играютъ нѣжными душами,
Улыбкой, вздохами, слезами,
И чувства возвышаютъ въ насъ.

(Соч. Карамзина, стр. 143).

Это довѣріе къ умственной власти, высказанное еще въ концѣ прошлаго столѣтія, заслуживаетъ, конечно, всякой похвалы, и примѣръ Карамзина, доказавшаго возможность прочнаго положенія, пріобрѣтеннаго одними литературными заслугами, не прошелъ безслѣдно для русскаго общества. Въ его лицѣ литература и наука впервые поднялись на ту высоту, на которую прежде ставились у насъ только круп-

ный чинъ или знатное происхожденіе; не имѣя никакого громкаго титула, ни значительнаго оффиціальнаго мѣста, русскій историкъ входилъ, «не стыдясъ», въ высшій кругъ генераловъ и министровъ, и «смотрѣлъ имъ смѣло въ глаза». По этой причинѣ Николай Тургеневъ, современникъ Карамзина, далеко не раздѣлявшій его взглядовъ на вещи, относился къ нему съ уваженіемъ и называлъ его «литераторомъ въ самомъ широкомъ и прекрасномъ значеніи этого слова» (*La Russie et les Russes*, I, стр. 325). Карамзинъ, по увѣренію Тургенева, никогда и не хотѣлъ быть ничѣмъ другимъ: императоръ Александръ предлагалъ ему нѣсколько разъ портфель министра народнаго просвѣщенія, но чуждый тщеславія писатель постоянно отказывался отъ этой чести, довольствуясь званіемъ исторіографа и личнымъ расположеніемъ государя. Отсутствіе фанатизма и разумная терпимость ко всѣмъ религіознымъ убѣжденіямъ также должны быть поставлены въ заслугу Карамзину; усвоивъ себѣ этотъ взглядъ въ масонскомъ обществѣ, онъ никогда уже не отказывался отъ него и выхвалялъ Вольтера преимущественно за то, что «онъ распространилъ взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ, и наиболѣе посрамилъ гнусное лжевѣріе, которому еще въ началѣ XVIII вѣка приносились кровавыя жертвы въ Европѣ». Не забудемъ упомянуть и о филантропическихъ чувствахъ Карамзина, объ его готовности помочь человѣку въ бѣдѣ или въ опасности (извѣстно, что его ходатайство спасло Пушкина отъ монастырскаго заключенія), о той благосклонной мягкости въ житейскихъ отношеніяхъ, которую Карамзинъ требовалъ отъ cadaго, считая ее «цвѣтомъ общежитія, своего

рода добродѣтелью, слѣдствіемъ утонченнаго человѣколюбія, которое поставляетъ себѣ въ обязанность и малыми знаками, и ласковымъ словомъ, привѣтливымъ взоромъ—оказывать ближнему благорасположеніе». Не преувеличивая важности этихъ житейскихъ добродѣтелей,—притомъ же ограниченныхъ въ своемъ дѣйствіи только кружкомъ лицъ, близкихъ къ Карамзину и принадлежавшихъ къ одному съ нимъ общественному слою, — можно однако сказать, что онѣ составляли утѣшительное явленіе въ той средѣ, гдѣ грубость нравовъ пустила глубокіе корни, гдѣ гуманное обращеніе съ людьми казалось ненужною поблажкою, а въ официальныхъ сферахъ—даже «бездѣйствіемъ власти», забывающей свое прямое назначеніе вселять повсюду страхъ и трепетъ.

Но этими хорошими сторонами не исчерпывалось вліяніе масонства на Карамзина. Проповѣдуя любовь къ ближнимъ, масоны нисколько не цѣнили тѣхъ общественныхъ учрежденій, которыя могли бы гарантировать людямъ торжество справедливости и человѣколюбія; выставляя «нравственное совершенствованіе», какъ альфу и омегу своего ученія, они не понимали: въ какой тѣсной связи находится это совершенствованіе какъ съ умственнымъ развитіемъ отдѣльнаго человека, такъ и съ политическимъ прогрессомъ цѣлаго общества. Это непониманіе перешло къ Карамзину и застѣло въ немъ плотно,—такъ плотно, что ни заграничная поѣздка, ни разнообразное чтеніе, ни событія, проходившія предъ его умственнымъ взоромъ, не прояснили этого тумана, не разбили этого камня преткновенія.

Если мы прибавимъ къ этому крайнюю слабость отвѣченнаго мышленія вообще и даже какую-то боязнь предъ

строгой логической последовательностью, не допускающей ни бездоказательных посылок, ни трансцендентальных полу-рѣшеній и quasi-отвѣтовъ на вопросы,—то мы найдемъ ключъ къ разгадкѣ всего нравственнаго содержанія личности Карамзина. Мы поймемъ тогда, почему Карамзинъ, разставшись съ масонами и вступивъ на точку зрѣнія философскаго деизма, ограничился мелковатымъ восхваленіемъ всего сущаго и не пошелъ дальше по дорогѣ, проложенной другими деистами: этому помѣшала метафизическая завваска, заимствованная отъ масоновъ и постоянно бродившая въ душѣ у Карамзина. Теорія благотворности страстей, которую проповѣдовалъ Карамзинъ въ отпоръ масонской доктринѣ, вызвавшей къ ихъ аскетическому умерщвленію,—составляла, конечно, значительный шагъ впередъ; но фикція «мудрой и любящей природы», лежавшая въ основаніи этой теоріи, не была, уже и въ то время, послѣднимъ словомъ въ раціональномъ развитіи европейской мысли. Лучшимъ доказательствомъ того, какъ узко и ограниченно понималъ Карамзинъ европейскихъ авторитетовъ, служить его извѣстное увлеченіе Ж.-Жакомъ Руссо. «Чувствительный и добродушный философъ», стоявшій тверже другихъ на своей абсолютно-моральной точкѣ зрѣнія, былъ, понятнымъ образомъ, ближе и симпатичнѣе Карамзину, который любилъ цитировать его изреченія. Но вѣдь не эта чувствительность придавала обаяніе пламенной проповѣди Руссо: она была только формой, подъ которой скрывалось глубоко-полемическое и страстно-отрицательное отношеніе ко всѣмъ общественнымъ порядкамъ, тяготившимъ сознаніе развитыхъ людей. Естественныя права человѣка, отнятыя у него деспотическимъ воспитаніемъ,

извращенной цивилизаціей и несправедливымъ общественнымъ устройствомъ—вотъ всегдашняя цѣль стремленій Руссо, вотъ движущій стимулъ его литературной дѣятельности. Но эта полемическая струя, этотъ рѣзкій и горячій протестъ не оставили никакого слѣда въ холодно-резонерскомъ и чуждомъ всякой страстности умственномъ темпераментѣ Карамзина, и изъ всей философіи Руссо на виду остались, въ «Письмахъ русскаго путешественника», только безпрестанные гимны пастушескому быту, да еще метафизическія размышленія на тему: «кто засыпаетъ на рукахъ отца, тотъ не заботится о своемъ пробужденіи». Соціальная сторона ученія Руссо улетучилась цѣликомъ въ сентиментальной передѣлкѣ Карамзина. Здѣсь уже, кромѣ общей слабости теоретическаго развитія Карамзина, дѣйствовала и другая, болѣе частная и спеціальная причина, — а именно тотъ недостатокъ общественнаго, политическаго смысла, на который мы указывали выше. Въ своей оптимистической доктринѣ, составлявшей крайній предѣлъ его либерализма, Карамзинъ утверждалъ, что «равенство счастья состоитъ не въ равной суммѣ благъ, данныхъ каждому человѣку, а въ равенствѣ чувства, съ которымъ наслаждается каждый данною ему долею блага». При такой постановкѣ вопроса, заботы о лучшемъ распредѣленіи общественныхъ благъ, которыя составляютъ сущность всякаго политическаго движенія, уже изгонялись изъ круга интересовъ образованной личности, и хотя молодость Карамзина, а также настроеніе среды, его окружавшей, парализировали вначалѣ полное примѣненіе этой эгоистической теоріи; но можно было предвидѣть, что она, со временемъ, возьметъ таки свое, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше будетъ оттал-

живать Карамзина отъ господствовавшихъ стремленій его эпохи. По стихотвореніямъ Карамзина нетрудно прослѣдить, какъ умственный темпераментъ, подкрѣпленный масонскимъ вліаніемъ, постепенно бралъ въ немъ перевѣсъ надъ мимолетными увлеченіями молодости. Въ одномъ стихотвореніи, относящемся къ 1793 году, Карамзинъ рассказываетъ, что и онъ «обольщался мечтами», любилъ горячо людей, какъ своихъ братьевъ, желалъ имъ добра всею душою и даже готовъ былъ «пожертвовать для ихъ счастія своею кровью». Но—продолжаетъ онъ—

... время, опытъ разрушаюгъ
Воздушный замокъ юныхъ лѣтъ;
Красы волшебства исчезаютъ,
Тенерь иной я вижу свѣтъ,—
И вижу ясно, что съ Платономъ
Республикъ намъ не учредить,
Съ Питтакомъ, Оалесомъ, Зенономъ
Сердце жестокихъ не смягчить.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Гордецъ не любитъ наставленья,
Глупецъ не терпитъ просвѣщенья—
Итакъ, лампаду угасимъ,
Желая доброй ночи имъ.

Затѣмъ, отыскивая поддержку и утѣшеніе въ жизни, Карамзинъ говоритъ, что нужно «построить себѣ тихій кровъ, куда бы злые и невѣжды не нашли дороги», и въ этомъ кровѣ наслаждаться любовью и дружбой. Личное и, пожалуй, семейное счастіе становится идеаломъ Карамзина, и ему приноситъ онъ въ жертву свои «волшебныя мечты» и «воздушныя замки юныхъ лѣтъ». Понятно послѣ этого, почему личныя и семейныя обстоятельства отражаются такъ сильно въ исторіи умственной жизни Карамзина. Когда (по словамъ г. Галахова)

«вокругъ него все устроилось хорошо и пріятно, а будущее могло обѣщать еще лучшее и пріятнѣйшее», — Карамзинъ исповѣдовалъ радужную доктрину оптимизма; умерла у него жена—и міръ, изъ прекраснаго храма, воздвигнутаго любящею матерью-природой, обратился въ «училище терпѣнія» и въ безобразную кучу недостатковъ всякаго рода. Попавши разъ на этотъ путь личнаго и семейнаго эгоизма, предпочтя всему на свѣтѣ филистерское счастье по пословицѣ: «моя хата съ краю, ничего не знаю», Карамзинъ естественно не ограничился однимъ лишь безмолвнымъ отстраненіемъ себя отъ тревогъ и опасностей общественной пропаганды. Сначала онъ намѣревался только «угасить» свою собственную лампаду, чтобы не разгнѣвать какихъ-то глупцовъ, не терпящихъ свѣта; но это—первая стадія въ развитіи филистерскаго идеала. Затѣмъ начинается вторая. За усталостью и опасеніемъ непріятностей неизбѣжно слѣдуетъ желаніе успокоиться совершенно, заткнуть себѣ уши отъ тревожнаго шума, набѣгающаго извнѣ, уединиться навсегда въ пріятной и хорошо обогрѣтой семейной раковинѣ. Но общественныя движенія и катастрофы нарушаютъ этотъ привольный и теплый покой; они назойливо врываются въ самое святилище домашняго очага и требуютъ жертвъ, волненій, борьбы. Въ семейной раковинѣ раздаются шумъ и гулъ происходящей снаружи битвы; побѣдители оглашаютъ воздухъ грозными криками, побѣжденные молятъ о пощадѣ. Личное счастье филистера ежеминутно подвергается ставкѣ, и банкометъ—судьба можетъ холодно провозгласить: «ваша карта убита; негодно-ль другую?» Какое-жъ тутъ спокойствіе, какая «тихая жизнь»? И вотъ филистеръ начинаетъ съ озлобленіемъ смотрѣть на этихъ волнующихся

людей, которые бѣгаютъ и шумятъ вокругъ его жилища, не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, что онъ, филистеръ, уже надѣлъ свой ночной колпакъ и, прочтя молитву на сонъ грядущій, уткнулъ голову въ подушки. Въ концѣ концовъ филистеръ восклицаетъ:

Въ правленьяхъ новое опасно.

А безначаліе ужасно.

Какъ трудно общество создать!

Оно устроилось вѣками;

Гораздо легче разрушать

Безумцу съ дерзкими руками.

Не вымышляйте новыхъ бѣдъ:

Въ семь міръ совершенства нѣтъ!

(Соч. К—на, т. I, стр. 253).

Подозрительность филистера усиливается послѣ этого до *plus ultra*: среди бѣла дня ему мерещатся привидѣнія; легкій стукъ за дверью, шорохъ подъ окномъ кажутся предвѣстіемъ грабежа и насилія. «Нѣтъ, ужь пусть лучше все идетъ по старому—шепчетъ онъ про себя, смежая очи,—и если я останусь безъ политической свободы, о которой, по правдѣ сказать, я никогда серьезно не заботился, зато мой носовой платокъ несомнѣнно останется въ карманѣ». И съ этими тихими мыслями засыпаетъ...

Идеаль семейнаго счастія, гармоническаго сліянія двухъ «любящихъ душъ», конечно, имѣетъ свою цѣну, если онъ не идетъ въ разрѣзъ съ понятіемъ объ общественной солидарности, о взаимности интересовъ, связывающихъ въ одно цѣлое разнообразныя человѣческія ассоціаціи; въ такомъ видѣ идеаль этотъ существуетъ у всѣхъ образованныхъ націй и воспѣвается поэтами, у которыхъ преданность общему благу не враждуетъ съ ихъ личными привязанностями. Семья,—кружокъ близ-

нихъ и единомыслящихъ людей,—является тогда какъ бы азиатомъ, въ которомъ вырабатываются новыя силы, выходящія потомъ на общественную арену. Но другое дѣло, когда семья является замѣною общества, когда она, подобно трясинѣ, засасываетъ въ себя цѣлаго человѣка, убиваетъ въ немъ всякую энергію, суживаетъ кругозоръ его понятій, дѣлаетъ мелкимъ и трусливымъ эгоистомъ, готовымъ отдать все, поступиться самыми завѣтными стремленіями за чечевичную похлебку у домашняго очага. Проповѣдовать такой идеалъ, и притомъ въ обществѣ молодомъ, разрозненномъ и неусвоившемъ себѣ даже первыхъ понятій о соціальной связи, значило—не двигать его впередъ, а оставлять, по малой мѣрѣ, на одной и той же точкѣ развитія.

Философія квіэтизма, эгоистическаго равнодушія къ интересамъ ближняго такъ сродна и присуща всякому дурно-организованному обществу, что ее слѣдовало бы, кажется, не поощрять и поддерживать посредствомъ искусной замаскировки вредныхъ ея сторонъ, а, напротивъ того, изгонять и преслѣдовать всѣми возможными средствами. Карамзинъ же поступалъ какъ разъ наоборотъ, и не только способствовалъ общественному усыпленію своими радужно-сентиментально-патріотическими иллюзіями, но, не довольствуясь этимъ, вошелъ, наконецъ, въ открытую борьбу съ зачинавшимся умственнымъ движеніемъ противоположнаго свойства.

Это новое направленіе, противъ котораго возсталъ Карамзинъ всѣми остатками своей угасавшей энергіи, всѣмъ запасомъ своего литературнаго таланта, нисколько не угрожало существующему политическому устройству общества, оставляло его даже по виду неизмѣненнымъ, но вносило въ него въ

сущности идеи иного лучшего порядка, которые могли бы, при добросовѣстномъ выполненіи, значительно умѣрить дурныя послѣдствія старыхъ традицій. Отсюда пошли толки объ «основныхъ законахъ» страны, о «государственныхъ сословіяхъ» или учрежденіяхъ, призванныхъ выражать законныя требованія націи. Еслибы Карамзинъ не отставалъ отъ развитія своего вѣка, еслибы онъ усвоилъ себѣ глубоко и искренно ту теорію, которую нѣкогда хотѣлъ «примѣнить къ практикѣ», то для него въ этихъ новыхъ стремленіяхъ не нашлось бы ничего ужаснаго и анархическаго. Люди желали воспользоваться грозными уроками исторіи, надѣялись устранить своими комбинаціями возможность повторенія народныхъ вспышекъ, шумъ которыхъ еще стоялъ, такъ сказать, въ воздухѣ. Этотъ политическій либерализмъ не миновалъ и Россіи, и даже пользовался, въ первой половинѣ царствованія Александра Павловича, сильною поддержкою въ высшихъ сферахъ русскаго правительства. Извѣстны слова, сказанныя самимъ Александромъ г-жѣ Сталь. Подъ руководствомъ государя и по его настоянію составлялся у насъ огромный проектъ, долженствовавшій обновить всю нашу политическую жизнь «отъ волостнаго правленія до кабинета государева». Въ этомъ проектѣ Сперанскій, касаясь смѣшенія и путаницы въ нашихъ гражданскихъ законахъ, а также смутнаго недовольства общества, проистекающаго изъ такого положенія дѣлъ, спрашивалъ: «Но гдѣ средства улучшить эти законы, ввести въ нихъ желаемый порядокъ, когда мы не имѣемъ законовъ политическихъ? Къ чему служатъ законы, опредѣляющіе права собственности каждаго, когда сама эта собственность не имѣетъ никакого

прочнаго и опредѣленнаго основанія? Къ чему гражданскіе законы, когда ихъ таблицы могутъ каждый день разбиться? Жалуются на безпорядокъ въ финансахъ; но можно ли устроить хорошо финансы тамъ, гдѣ нѣтъ публичнаго кредита, гдѣ не существуетъ никакого политическаго учрежденія, которое могло бы обезпечивать его прочность? Жалуются на медленность, съ какой распространяются просвѣщеніе, промышленность; но гдѣ принципъ, который могъ бы оживотворить ихъ? Къ чему стараться просвѣщать раба, если просвѣщеніе не должно имѣть на него другого дѣйствія, кромѣ того, что оно заставитъ его еще болѣе почувствовать тягость своего положенія? Наконецъ, это общее недовольство, эта наклонность все критиковать суть ничто иное, какъ выраженіе скуки отъ нынѣшняго порядка вещей... Умы находятся въ тягостномъ безпокойствѣ; а это безпокойство можно объяснить только полнымъ измѣненіемъ, происшедшимъ въ мнѣніяхъ, только желаніемъ другого управленія, желаніемъ, пожалуй, неопредѣленнымъ, но тѣмъ не менѣе живымъ. Все это доказываетъ, что существующая система управленія не соотвѣтствуетъ болѣе состоянію общественнаго мнѣнія, и что пришло время замѣнить эту систему другою». О крѣпостномъ правѣ Сперанскій выражался такимъ образомъ: «Какія бы трудности ни могло представить освобожденіе (крестьянъ), крѣпостное право есть вещь, столь противорѣчащая здравому смыслу, что его нельзя считать иначе, какъ временнымъ зломъ, которое неминуемо должно имѣть свой конецъ». Сторонникамъ мысли, что крестьянъ нельзя освобождать, не давши имъ напередъ просвѣщенія, Сперанскій возражалъ рѣзко и основательно:

«Что такое образованіе, знаніе для народа несвободнаго, какъ не средство живѣе почувствовать бѣдственность своего положенія, источникъ волненій, которыя могутъ только способствовать къ большему его порабощенію, или могутъ навлечь на страну ужасы безначалія. Изъ челоуѣколюбія столько же, сколько изъ политики, слѣдуетъ оставить рабовъ въ невѣжествѣ, если не хотятъ дать имъ свободы». Идеи, выраженные Сперанскимъ, не составляли секрета для читающей русской публики: онѣ находили отголосокъ въ нашей литературѣ того времени, и сила этого отголоска напрасно уменьшается, съ заднею цѣлью, нѣкоторыми историками русской мысли. Конечно, цензурныя условія не позволяли этимъ идеямъ высказываться въ печати такъ же широко и опредѣленно, какъ высказывались онѣ въ законодательномъ проектѣ Сперанскаго; но читающая публика, безъ сомнѣнія, совершенно ясно понимала, на какіе именно вопросы намекается въ подцензурной прессѣ. Въ 1818 году (22-го марта) С. С. Уваровъ произнесъ рѣчь въ торжественномъ собраніи главнаго педагогическаго института, въ которой коснулся политическаго направленія того времени. «По примѣру Европы—говоритъ онъ—мы начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ. Политическая свобода, по словамъ знаменитаго оратора нашего вѣка, есть послѣдній и прекраснѣйшій даръ Бога; но сей даръ пріобрѣтается медленно, сохраняется неусыпною твердостью; онъ сопряженъ съ большими жертвами, съ большими утратами. Въ опасностяхъ, въ буряхъ, сопровождающихъ политическую свободу, находится вѣрнѣйшій признакъ всѣхъ великихъ и полезныхъ явленій одушевленнаго и бездушнаго міра, и мы должны, по совѣту того же оратора, или не стра-

шиться опасностей, или вовсе отказаться отъ сихъ великихъ даровъ природы». Разбирая эту рѣчь, извѣстный профессоръ А. П. Куницынъ останавливается, между прочимъ, на фразѣ: «мы начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ» и говоритъ: «Конечно, такъ; но мы давно о нихъ помышляли: никогда не были они чужды російскому народу. Вѣча, боярскія думы, третейскій и совѣстный судъ, разбирательство дѣлъ при посредничествѣ присяжныхъ, равныхъ званіемъ подсудимому, были еще въ древности существенными принадлежностями образа правленія въ нашемъ отечествѣ. Въ важныхъ происшествіяхъ государства обыкновенно всѣ сословія принимали участіе и дѣйствовали единодушно. Отраженіе нашествія враговъ, постановленіе общихъ законовъ, избраніе достойнаго поколѣнія для занятія російскаго престола обыкновенно составляли предметъ совѣщанія и согласнаго рѣшенія всѣхъ государственныхъ чиносостояній. Иностранные народы прежде насъ дали непремѣнныя формы государственному правленію, но не позже ихъ мы о томъ помышляли» («Сынъ Отеч.» 1818 г., т. XXIII). Въ томъ же 1818 году, черезъ нѣсколько дней послѣ рѣчи гр. Уварова, произнесена была въ Варшавѣ самимъ императоромъ Александромъ другая рѣчь, еще болѣе замѣчательная, еще болѣе надѣлавшая шуму въ русскомъ обществѣ. «Образованіе, существовавшее въ вашемъ краѣ—говорилъ Александръ польскимъ депутатамъ—дозволяло мнѣ ввести немедленно то, что я вамъ даровалъ, руководствуясь правилами законосвободныхъ учрежденій, бывшихъ предметомъ моихъ помышлений, и которыхъ спасительное вліяніе надѣюсь я, при помощи Божіей, распространить и на всѣ страны, Провидѣ-

ніемъ попеченію моему ввѣренныя. Такимъ образомъ вы мнѣ подали средства явить моему отечеству то, что я уже съ давнихъ лѣтъ ему приуготовляю, и чѣмъ оно воспользуется, когда начала столь важнаго дѣла достигнутъ надлежащей зрѣлости. Вы призваны дать великій примѣръ Европѣ, устремляющей на васъ свои взоры. Докажите своимъ современникамъ, что законно-свободныя постановленія, коихъ священныя начала смѣшиваютъ съ разрушительнымъ ученіемъ, угрожавшимъ въ наше время бѣдственнымъ паденіемъ общественному устройству, не суть мечта опасная; но что, напротивъ, таковыя постановленія, когда приводятся въ исполненіе по правотѣ сердца и направляются съ чистымъ намѣреніемъ къ достиженію полезной и спасительной для человѣчества цѣли, то совершенно согласуются съ порядкомъ, и общимъ содѣйствіемъ утверждаютъ истинное благосостояніе народовъ. Вамъ предлежитъ нынѣ явить на опытѣ сію великую и спасительную истину». (См. «Духъ журналовъ 1818 г.» № 14). «Варшавскія рѣчи—писалъ по этому поводу Карамзинъ къ Дмитріеву—сильно отозвались въ молодыхъ сердцахъ; спятъ и видятъ конституцію; судятъ, рядятъ; начинаютъ и писать—въ Сынѣ Отечества, въ разборѣ рѣчи Уварова; иное уже вышло, другое готовится. И смѣшно, и жалко! Но будетъ, чему быть. Знаю, что государь ревностно желаетъ добра; все зависитъ отъ Провидѣнія—и слава Богу! Не перестаю наслаждаться своимъ образомъ мыслей или, лучше сказать, сердечнымъ удостовѣреніемъ, что мы такъ, а Богъ по своему. Въ сей системѣ какой покой для ума зрителей, т. е. для нашей братіи! Пусть молодежь ярится: мы улыбаемся. «(Письмо К-на къ Дмитріеву,

стр. 236—7.) Но молодежь не переставала яриться. и не находила особеннаго наслажденія въ «спокойной системѣ» Карамзина; даже другъ его, князь Петръ Андреевичъ Вяземскій, бывшій тогда въ Варшавѣ, «пылалъ свободомысліемъ» (ibid. стр. 253) и при томъ такъ честно и искренно, что потерялъ изъ-за этого мѣсто по службѣ, будучи приглашенъ удалиться изъ польской столицы. Русскіе журналы перепечатали рѣчь государя. Куницынъ разобралъ ее въ «Сынѣ Отечества», въ особой статьѣ. «Ужасы революціи—говоритъ онъ—миновались; умы начинаютъ дѣйствовать свободно; причины сего политическаго переворота открываются. Несчастія Франціи произошли не отъ того, что она желала свободнаго, неизбѣимаго постановленія, но отъ стремленія учредить образъ правленія ей несвойственный и для всякаго европейскаго народа неудобный». Дальше доказывалось, что рѣспубликанскій образъ правленія, испробованный Франціею, могъ быть уместенъ только въ древнихъ государствахъ—городахъ, которыхъ ограниченныя территоріи дозволяли всѣмъ жителямъ свободно собираться на площадяхъ для совѣщанія о дѣлахъ общественныхъ; жители же новѣйшихъ государствъ не имѣютъ этого удобства по большому пространству, ихъ раздѣляющему. Кромѣ того, въ древнихъ республикахъ существовали рабы, которые исполняли разныя хозяйственныя работы, занимались ремеслами и даже изящными искусствами и, такимъ образомъ, обеспечивали свободнымъ гражданамъ досугъ по-рѣшать исключительно государственные вопросы. «Потому—продолжалъ Куницынъ—граждане древнихъ республикъ могли проводить время на публичныхъ площадяхъ, въ слушаніи ораторовъ, въ преніяхъ о постановленіи и отмѣнѣ законовъ,

въ обличеніи и судѣ безпорядочныхъ чиновниковъ. Когда и сихъ дѣлъ не доставало, то они переходили къ воинскимъ упражненіямъ и публичнымъ играмъ. Нынѣ другія времена, другіе обычаи. Городская и сельская промышленность, по причинѣ вліянія на общее благосостояніе, возшла на степень уваженія, ей приличную. Люди свободнаго состоянія считаютъ прибыточные упражненія похвальными, а праздность и безпечность о дѣлахъ хозяйственныхъ постыднымъ препровожденіемъ времени. Граждане древнихъ республикъ полагали свободу въ томъ, чтобы повиноваться тѣмъ только законамъ, которые они сами постановили или допустили; жители новѣйшихъ государствъ не желаютъ сего права, крайне для нихъ убыточнаго по причинѣ многотрудныхъ и нескончаемыхъ государственныхъ занятій. Нынѣ мирный гражданинъ желаетъ только того, чтобы законы были для него справедливы, чтобы никакая сила не могла тѣснить лица его ненаказанно, чтобы никто не воспользовался его собственностью безъ замѣны и вознагражденія, чтобы никто, кромѣ закона, не смѣлъ остановить его дѣятельность и учинить труды его бесполезными, а ожиданія тщетными. Потому жители выѣшнихъ государствъ, вопреки духу древнихъ республиканцевъ, не желая сами быть законодателями, хотятъ только имѣть при лицѣ верховнаго властителя своихъ представителей, которые бы его, яко отца народа, извѣщали о нуждахъ общественныхъ, умоляли о принятіи мѣръ противъ золъ, существующихъ въ обществѣ, и съ благонадежностью могли испрашивать у его правосудія законовъ, для всѣхъ равно благодѣтельныхъ. Слѣдовательно, желанія новѣйшихъ народовъ стремятся только къ тому, чтобы верховная власть

имѣла всю возможность къ открытію общественныхъ безпорядковъ и всю силу, потребную къ прекращенію оныхъ. Таковое устроеніе государствъ служитъ залогомъ безопасности подданныхъ и величія трона. Сочетавая волю верховнаго властителя съ волею общею, оно совокупляетъ ихъ неразрывными узами. Никому не можетъ оно внушить опасенія, ибо оставляетъ каждого на своемъ мѣстѣ и со всѣми правами, каковыя только въ обществѣ благоустроенномъ допущены быть могутъ» («Сынъ Отеч.», 1818 г., № XVIII). «Духъ журналовъ», опираясь на мысли, усиленные авторитетомъ самого императора, печаталъ цѣлкомъ, въ томъ же году, баварскую конституцію съ такимъ примѣчаніемъ отъ редакціи: «1818 годъ останется навсегда незабвеннымъ въ лѣтописяхъ Баваріи: въ семъ году баварцы получили отъ короля своего государственное уложеніе (конституцію), на правилахъ законной свободы, политической и гражданской, основанное. Актъ сей есть толикой важности, что мы нужнымъ считаемъ сообщить оный вполнѣ». Въ слѣдующемъ же году, въ первой своей книжкѣ, «Духъ журналовъ» откликнулся на жгучій вопросъ еще рѣшительнѣе, въ статьѣ подъ громкимъ заглавіемъ: «Чего требуетъ духъ времени? Чего желаютъ народы?» «Народы — отвѣчаетъ авторъ на этотъ вопросъ — желаютъ владычества законовъ — коренныхъ, неизмѣнныхъ, опредѣляющихъ права и обязанности каждого, равно обязательныхъ и для властей, и для подвластныхъ, при которыхъ самовластіе мѣста имѣть не можетъ, и которыхъ столь же невозможно было бы испровергнуть, какъ и уклониться отъ нихъ. Спросите всѣ христіанскіе народы, во всѣхъ частяхъ свѣта: они другого

желанія не имѣютъ. Сіе одно имѣли въ виду въ продолжительныхъ войнахъ; для сего проливали кровь, терпѣли столько бѣдствій, перенесли неслыханныя тягости,—чтобы дѣти ихъ, внуки и правнуки блаженствовали подъ сѣнію владычества законовъ. Вотъ духъ времени, цѣль всеобщихъ желаній, не всѣми ясно понимаемая, но истинная, единственная цѣль... Сами государи восчувствовали необходимость поставить владычество законовъ на незыблемомъ основаніи, они сами одинъ передъ другимъ ревнуютъ (особенной-то ревности, впрочемъ, не было замѣтно) даровать народамъ своимъ сей залогъ отеческаго о нихъ попеченія, сей памятникъ мудрости своей и надежнѣйшее ручательство будущаго ихъ благоденствія—государственное уложеніе. Но уложеніе на бумагѣ есть только мертвая буква: оно также можетъ быть устранено, перетолковано, брошено, какъ тысячи другихъ узаконеній. Чтобъ оно было всегда въ силѣ, для сего необходимо нужно дать ему самостоятельное бытіе и учредить при немъ блюстителей. Многочисленными опытами доказано, что всякое сословіе, подъ вліяніемъ правительства состоящее, не можетъ быть надежнымъ охранителемъ государственнаго уложенія. Природные блюстители онаго суть народные представители. Они суть вѣрные охранители его неприкосновенности, преслѣдователи нарушителей его, совѣтники государей и соучастники въ законодательствѣ; безъ нихъ никакой новый законъ не можетъ быть изданъ, никакой налогъ наложенъ, никакое важное предпріятіе предпринято. Чрезъ нихъ народъ имѣетъ свой голосъ, который есть тогда по истинѣ гласъ Божій; при нихъ личность и собственность каждаго останется неприкосновенною, при нихъ никакое

злоупотребленіе власти не укромется, никакое нарушеніе правъ не останется безнаказаннымъ; при нихъ правосудіе недреманно, сильный не смѣетъ положить на вѣсы руки своей, нижé богатый—злата, чтобы наклонить ихъ къ обвиненію невиннаго: все тогда дѣлается гласно и предъ очами всѣхъ, ибо правда и доброе дѣло не имѣютъ нужды скрываться въ тайнѣ. Такое устройство сильно укрѣпляетъ духъ народный и ускоряетъ преуспѣяніе всего истинно полезнаго. А что всего важнѣе: вся машина государственнаго управленія, сообразно потребностямъ времени, легко поправляется и совершенствуется безъ внезапныхъ потрясеній, никогда не препинается въ ходѣ, но всякій разъ, когда нужно, заводится вновь и идетъ всегда ровно, единообразно и благоустройно. И вотъ чего требуетъ духъ времени, чего желаютъ народы—и въ чемъ сами государи предупреждаютъ ихъ желанія». Кромѣ общихъ политическихъ вопросовъ, въ русской журналистикѣ обсуждались довольно свободно и нѣкоторыя частныя явленія нашей государственной жизни. Крѣпостное право,—не смотря на перемежающуюся строгость цензуры или, лучше сказать, благодаря тому, что эта строгость не всегда поддерживалась съ одинаковымъ рвеніемъ,—подвергалось не разъ открытому нападенію, которое сильно разбочивало собой защитниковъ рабства. Органомъ этихъ дебатовъ служили попеременно различныя изданія. Такъ, напри-мѣръ, «Духъ журналовъ» далъ у себя мѣсто статьѣ Правдина (быть можетъ, псевдонимъ какого-нибудь вліятельнаго лица), въ которой сравнивается положеніе крестьянъ въ Россіи и за границей, и отсюда дѣлаются разные, благопріятныя для крѣпостнаго права, выводы. Правдинъ на-

ходить, что крѣпостное состояніе русскихъ крестьянъ обезпечиваетъ имъ, по крайней мѣрѣ, кусокъ насущнаго хлѣба, тогда какъ заграничные пролетаріи, принужденные скитаться отъ одного землевладѣльца къ другому, умираютъ съ голоду, впадаютъ въ преступленія или выселяются толпами въ Америку и Россію. Всѣ эти разсужденія пересыпаются возгласами о челоѣколюбіи русскихъ помѣщиковъ, объ ихъ отеческой нѣжности къ своимъ крестьянамъ и пр. и пр. Апологія крѣпостничества не осталась безъ возраженія, и въ «Сынѣ Отечества» появилась противъ нея рѣзкая статья, гдѣ всѣ доводы Правдина разбирались поодиночкѣ, сопровождаемые остроумнымъ глумленіемъ надъ этимъ доморощеннымъ философомъ.

«Первое важнѣйшее право иностраннаго крестьянина—читаемъ въ «Сынѣ Отечества»—состоитъ въ томъ, что онъ самъ себѣ принадлежитъ и не переходитъ изъ рукъ въ руки посредствомъ мѣны, продажи, дара, наслѣдства и другихъ сдѣлокъ, но всегда остается своимъ господиномъ, и сіе право такъ драгоцѣнно, что, еслибы захотѣли присвоить и продать частно или съ аукціона самого сочинителя Правдина, то бы онъ вѣрно на сію перемѣну состоянія не согласился, хотя бы покупатель самому ему равенъ былъ въ челоѣколюбіи. Хорошо тамъ, гдѣ насъ нѣтъ; легко проповѣдовать благополучіе неволи на чужой счетъ и рекомендовать оную другимъ, какъ райское состояніе, а самому навсегда оставаться при худой свободѣ. Второе важное право иностраннаго крестьянина состоитъ въ томъ, что сына его никто не возьметъ невольно въ личное услуженіе, какъ-то въ конюхи, лакеи, псари и т. п. Дочь его также не бу-

дѣтъ взята въ кухарки, поломойки, горничныя и проч., но останется при родителяхъ своихъ до замужства, а потомъ вступить въ бракъ только по собственной склонности и по родительскому благословенію. Словомъ сказать, бракъ сей совершится по точному смыслу постановленій церкви, а не такъ, какъ онъ происходитъ часто между крѣпостными: парню приказываютъ жениться на такой-то дѣвкѣ, а сей-непремѣнно за него выйти, а если кто изъ нихъ окажется преслушнымъ, тотъ непремѣнно будетъ наказанъ. Третье важное право иностраннаго крестьянина состоитъ въ томъ, что онъ занимается дѣлами, къ его пользѣ относящимися, по собственному усмотрѣнію: нанимаетъ землю у кого хочетъ и такую, какая ему надобна; платитъ за нее оброкъ, на какой самъ добровольно согласится. За то всѣ плоды его трудолюбія принадлежатъ ему неотъемлемо. Работу исправляетъ онъ по собственному побужденію, а не по наказу, и трудится прилежно, имѣя несомнѣнную надежду улучшить свое состояніе. Никто не накажетъ его произвольно и пристрастно, ибо никто не имѣетъ къ тому ни права, ни побужденія». Далѣе авторъ доказываетъ, что экономическое положеніе иностранныхъ крестьянъ нельзя и сравнивать съ бытомъ нашихъ ободранныхъ крѣпостныхъ, что количество преступленій, падающихъ въ Западной Европѣ на низшій классъ, кажется намъ громаднымъ только потому, что у насъ все шито да крыто, тогда какъ тамъ судъ производится публично и процессы печатаются въ газетахъ; переселеніе же крестьянъ въ Америку и въ наше «благословенное отечество» объясняется не свободою, а другими причинами, неимѣющими съ нею ничего общаго. «Знаетъ

ли г. Правдинъ—продолжаетъ его оппонентъ—откуда переселились въ Россію колонисты? Изъ Баваріи, гдѣ феодальныя права помѣщиковъ на крестьянъ, живущихъ въ ихъ помѣстьяхъ, еще отчасти не уничтожены, гдѣ правительство, по географическому положенію своей страны, принимаетъ великое участіе въ политическихъ связяхъ Европы. Какая война между Франціей и Германіей не обращалась въ тягость Баварскому королевству? Къ тому же переселились къ намъ баварцы не католическаго, но лютеранскаго закона, слѣдовательно люди, исповѣдующіе не господствующую религію въ Баваріи. Правда, что правительство не преслѣдуетъ ихъ, какъ Юліанъ Богоотступникъ христіанъ преслѣдовалъ, но ихъ тѣснитъ духъ партій и ненависть католиковъ. Потому не свобода гонитъ ихъ въ Россію, а притѣсненія; не она виновна въ ихъ бѣдности, а другія причины. Свобода вѣроисповѣданія привела къ намъ гернгутеровъ нѣмецкихъ и шотландскихъ. Къ намъ переселились также въ разныя времена жители Эльзаса. Пусть г. авторъ вспомнитъ, каково было состояніе сей страны со-временъ Людовика XIV и по 1818 годъ. Ихъ участь была такая же, каковую терпятъ молдаване, валахи и сербы со временъ Петра I. Здѣсь же надобно припомнить, что иностранные крестьяне приходятъ къ намъ не для того, чтобы поступать въ крѣпостные, но чтобы свободно заниматься земледѣліемъ и пріобрѣтать по-сильный достатокъ для себя, а не для другихъ. Пусть любопытный прочитаетъ манифесты объ иностранныхъ поселенцахъ, изданные императрицею Екатериною II и благополучно царствующимъ императоромъ. Въ правахъ, предоставленныхъ симъ иностранцамъ, найдетъ онъ также причину ихъ

благосостоянія. Если они, какъ увѣряетъ авторъ, бѣжали отъ свободы, то почему до сихъ поръ не подали еще просьбы объ укрѣпленіи ихъ за какимъ-либо благодѣтельнымъ помѣщикомъ? Нѣкоторыя колоніи существуютъ уже 30 и 40 лѣтъ въ Россіи и до сихъ поръ еще не увѣрились въ преимуществѣ закрѣпощенія передъ свободою. Пусть же г. авторъ напишетъ объявленіе въ иностранныхъ газетахъ о намѣреніи укрѣпить за собою нѣсколько душъ крестьянъ и пригласитъ желающихъ воспользоваться симъ случаемъ поступить къ нему въ собственность. Но онъ долженъ изъяснить притомъ всѣ права свои и обязанности крестьянъ — посмотримъ, много ли явится къ нему желающихъ?» («Сынъ Отеч.» 1818 г., № 17). Въ другихъ случаяхъ, тотъ же «Духъ журналовъ», съ которымъ полемизировалъ «Сынъ Отечества» по крестьянскому вопросу, относился сочувственно къ несчастному положенію низшихъ классовъ, какъ, напримѣръ, въ статьяхъ: о сохранныхъ кассахъ (1819 г., № 2), о винномъ откупѣ (1817 г., № 3) и пр. Самый вопросъ о крѣпостномъ правѣ былъ возбужденъ редакціею этого журнала въ видѣ письма отъ посторонняго лица и оставленъ открытымъ для обсужденія. Вообще говоря, крестьянскій вопросъ постоянно затрогивался въ нашей литературѣ, во все время царствованія Александра Павловича, начиная съ книги Пнина и кончая статьей, напечатанной въ «Историческомъ журналѣ» за 1820 годъ, и мыслящіе люди находили возможность, хоть изрѣдка, урывками, взглянуть на этотъ предметъ тѣмъ же прямымъ и просвѣщеннымъ взглядомъ, какимъ смотрѣли они на различныя формы политическаго устройства. Одновременно съ журнальными статьями, трактовавшими о представи-

тельномъ правленіи, крѣпостномъ правѣ, свободѣ печати и гласномъ судопроизводствѣ, появились у насъ два замѣчательныя ученныя изслѣдованія, которыя обратили бы на себя вниманіе даже въ болѣе богатыхъ европейскихъ литературахъ. Мы разумѣемъ «Естественное право» Куницына и «Опытъ теоріи налоговъ» Н. И. Тургенева. Въ первой изъ этихъ книгъ талантливый авторъ, слѣдую ученію Руссо и Канта, рассматривалъ государственный союзъ, какъ свободный договоръ, заключаемый между верховной властью и ея подданными, и съ большою логической силой и смѣлостью примѣнялъ этотъ основной принципъ ко всѣмъ рѣшительно проявленіямъ государственной жизни. «Если исполнитель закона—говоритъ Куницынъ—поставляетъ на мѣсто онаго свою волю, то подданные имѣютъ право ему противиться; ибо кто требуетъ не того, что законы повелѣваютъ, тотъ незаконно присвоиваетъ себѣ власть законодателя. Власть можетъ быть передана только по согласію всѣхъ членовъ общества, ибо въ договорѣ соединенія нѣтъ условія, обязывающаго частнаго члена повиноваться произволу другихъ... Всѣ подданные одинъ другому равны, но равенство состоитъ въ томъ, что всѣ они равно могутъ быть принуждаемы властителемъ соблюдать взаимныя права, ибо властитель обязанъ защищать права всѣхъ членовъ государства равною силою. Слѣдовательно, пенаказанность одного, строжайшее наказаніе другого въ одинаковыхъ случаяхъ и за равныя преступленія не могутъ быть допущены по началамъ права. Равенство нарушается, когда одному предоставлена свобода пріобрѣтать такое право, которое воспрещено другимъ. Если не противно цѣли общества, когда одинъ кто либо распола-

гаеть извѣстнымъ правомъ, то и другой на томъ же основаніи располагать онымъ можетъ». (Право естеств. Ч. II, стр. 65, 78, 108). Предоставляя властямъ право собирать свѣдѣнія объ имуществѣ, силахъ и поступкахъ подданныхъ, авторъ прибавляетъ: «Но властитель не можетъ употреблять для того средства, несовмѣстныя съ свободою и честью гражданъ, ибо, по договору подданства, граждане передали властителю право охранять всѣ свои права, слѣдовательно также и право на честь. Ни одинъ изъ подданныхъ не можетъ принять такого порученія, которое противно свободѣ его согражданъ, ибо, по договору соединенія, граждане обѣщали не нарушать взаимныхъ правъ. Посему каждый соглядатель есть врагъ общества, ибо онъ нарушаетъ свободу частныхъ людей, которую граждане государства обязались защищать совокупными силами. Итакъ, освѣдомленіе о поведеніи подданныхъ не должно нарушать частной свободы». Когда же найдутся основательныя причины подозрѣвать извѣстное лицо въ опасномъ намѣреніи, то и «тутъ самое подозрѣніе должно составлять актъ законный, судьбою совершенный, ибо, по договору подданства, каждый обязался отвѣчать за свои дѣйствія закону, а не частному произволу. Изысканіе подозрѣнія, падающаго на какое либо лицо, состоитъ только въ точномъ разсмотрѣніи причинъ, къ оправданію или обличенію онаго служащихъ; слѣдовательно никакое насиліе причинено оному быть не можетъ. Подозрѣваемый въ преступленіи не есть еще преступникъ дѣйствительный. Слѣдовательно пытка и всякое истязаніе суть дѣйствія незаконныя» (стр. 88—91). Обязательность этихъ правилъ, помянуію автора, не должна нарушаться ради, такъ называемыхъ, государственныхъ причинъ

(raisons d'état)—«которыми въ практикѣ прикрываются несправедливые поступки и которыя не могутъ быть допущены правомъ естественнымъ. Сіи темныя выраженія употребляются для отвращенія соблазна, который необходимо происходитъ въ народѣ отъ созерцанія неправоты, публичною властію причиняемой или допускаемой.» Вторую книгу, т. е. сочиненіе Тургенева, Куницынъ же съ восторгомъ привѣтствовалъ, какъ предвѣстіе новаго фазиса въ развитіи русской литературы. «Просвѣщеніе Россіи—писалъ въ своемъ разборѣ чуткій и умный рецензентъ—несмотря на мѣстныя обстоятельства, распространяется по тѣмъ же правиламъ, по которымъ оно распространялось въ другихъ государствахъ. Петръ I, воинъ и зиждитель, хотѣлъ укоренить въ Россіи прежде науки математическія и физическія; но вмѣсто оныхъ большаго совершенства донинѣ у насъ достигли науки словесныя. Намъ такъ же, какъ и другимъ народамъ, надлежало написать множество стиховъ, сочинить и перевести съ иностранныхъ языковъ множество романовъ — въ чемъ и нынѣ рачительно упражняемся—надлежало прежде долго обучаться всему у другихъ народовъ, и потомъ уже могли мы получить смѣлость писать о предметахъ важныхъ и общепользныхъ. Такимъ образомъ, съ начала текущаго столѣтія, мы занялись, съ большимъ прилежаніемъ и успѣхами, науками точными... Мы имѣемъ, наконецъ, отечественныхъ сочинителей по части сельскаго хозяйства, математики и физики, по части законовѣдѣнія теоретическаго и практическаго, по части управленія государства вообще. Исторія и статистика російскаго государства нынѣ обрабатываются не одними иностранцами, но и природными россиянами... Нау-

ка финансовъ есть новая вѣтвь образованія въ нашемъ отечествѣ. До перевода сочиненія гр. Верри мы ничего на русскомъ языкѣ не читали о государственномъ хозяйствѣ; до перевода творенія Адама Смита мы ничего не могли знать о налогахъ изъ русскихъ сочиненій, и искусство опредѣлять и собирать подати почитали непринадлежащимъ къ кругу свѣдѣній частнаго человѣка. То, что непосредственно насъ касается, почитали мы дѣломъ чуждымъ и отдаленнымъ отъ нашихъ выгодъ; то, что составляетъ общій предметъ нашего вниманія, мы признавали собственностью нѣкотораго только класса людей. Нынѣ другое получаемъ понятіе о финансахъ: дѣло общее становится предметомъ общаго разсужденія». Мы не станемъ распространяться о томъ значеніи, какое имѣла, въ свое время, книга Тургенева; достаточно сказать, что онъ первый заговорилъ объ источникахъ государственныхъ доходовъ, о распредѣленіи налоговъ «между всѣми гражданами въ одинаковой соразмѣрности, безъ исключеній, вредныхъ для общества», объ ихъ опредѣленности, которая должна быть независима отъ власти собирателей (стр. 32—34), о собираніи налоговъ въ удобнѣйшую для плательщика пору, при чемъ авторъ находилъ не только бесполезными, но и противными цѣли тѣлесныя наказанія, а также аресты и тюремныя заключенія, на томъ основаніи, что «если плательщикъ не имѣетъ средствъ удовлетворить требованіе казны, то чрезъ понесенное наказаніе не сдѣлается къ тому способнѣе; если же онъ имѣетъ собственность, то, въ крайнемъ случаѣ, она только можетъ подлежать продажѣ и вычету налога» (стр. 232—34). Онъ говорилъ также о налогѣ съ наслѣдства, о бумажныхъ деньгахъ, какъ о налогѣ, и—

по справедливому замѣчанію Куницына — «изложилъ свои мысли такъ ясно и подробно, что книга его можетъ быть полезна и для тѣхъ, которые, безъ предварительнаго наставленія, сами собою хотятъ пріобрѣсти свѣдѣнія объ этой важной части государственнаго управленія («Сынъ От.» 1818 г., № 50 и 51). Тотъ же Тургеневъ стоялъ, какъ извѣстно, за освобожденіе крестьянъ съ землею, и этою мѣрою подѣлалъ въ корнѣ возраженіе сторонниковъ рабства, что крестьяне, внезапно освобожденные и не имѣющіе никакой собственности, останутся безъ куска хлѣба...

VI.

Мы не хотимъ преувеличивать важности направленія, вкратцѣ очерченнаго нами; но не имѣемъ также никакихъ причинъ ослаблять и унижать его значеніе въ пользу тенденцій, лишенныхъ всякаго достоинства и проникнутыхъ духомъ вражды или недовѣрія ко всему молодому, новому, свѣжему, только что зачинавшемуся въ общественной жизни. Конечно, либерализмъ русской литературы 20-хъ годовъ не отличался особенной глубиною и рѣшительностью; конечно, можно возразить многое, и съ теоретической, и съ практической стороны, противъ различныхъ мѣръ, предложенныхъ въ законодательномъ проектѣ Сперанскаго; но, во первыхъ, не слѣдуетъ забывать, что наша литература не могла высказываться вполне ясно и опредѣленно, и движеніе, происходившее въ обществѣ, только до нѣкоторой степени прорывалось въ печати; во вторыхъ, всѣ эти возраженія законны и убѣдительны вовсе не съ той точки зрѣнія, на какой стояли

наши «классическіе» писатели въ родѣ Карамзина. Сперанскому можно было возразить, что его государственной реформѣ должна была предшествовать реформа крестьянская; защитникамъ освобожденія крестьянъ полезно было напомнить (какъ то и дѣлалъ Н. И. Тургеневъ), что личная свобода должна основываться на свободѣ экономической; но развѣ то самое говорили Карамзинъ и его союзники? Развѣ они устраняли недостатки проектируемыхъ реформъ, а не отпихивали ихъ цѣликомъ во имя нелѣпыхъ понятій объ интересахъ государства и правахъ личности? Развѣ все послѣдующее развитіе русской мысли приближалось къ идеаламъ Карамзина, а не отходило отъ нихъ на болѣе и болѣе значительное разстояніе? Развѣ, наконецъ, великое слово, разрѣшившее въ наши дни крѣпостныя узы народа и давшее ему равный для всѣхъ гласный судъ—развѣ это слово находится въ болѣе гармоніи со взглядами Карамзина, чѣмъ съ идеями Сперанскаго, Тургенева и Кунцына? Нѣтъ и нѣтъ! Въ томъ-то и сила, что Карамзинъ порицалъ современныя ему явленія, какъ человѣкъ отсталый и безъ толку раздраженный, не умѣя ни спорить логически, ни понимать надлежащимъ образомъ возраженія своихъ противниковъ. А противниками этими были всѣ передовые люди русскаго общества. Борьба Карамзина со Сперанскимъ уже показала, чего можно ожидать отъ сентиментальнаго панегириста «Марѣ Посадницы». Самъ Сперанскій, возвратясь изъ ссылки, избѣгалъ даже встрѣчи съ Карамзинымъ. «Сперанскій холоденъ со мною какъ ледъ—писалъ въ 1821 г. историкъ государства російскаго—едва говорить, и то уже въ случаѣ необходимости; къ намъ не

ходить, и я къ нему не хожу» (Письма къ Дмитріеву, стр. 313). Да и что могъ чувствовать Сперанскій, кромѣ неуваженія, къ одному изъ представителей ретроградской партіи, отъ противодѣйствія которой пали въ прахъ всѣ его лучшія надежды и стремленія? Не съ бѣльшимъ уваженіемъ отнесся къ Карамзину, по выходѣ его исторіи, и молодой Пушкинъ. Недовольство людей, считавшихъ непригодными историческіе взгляды Карамзина, не могло свободно выражаться въ тогдашней прессѣ, но изъ записки Н. Муравьева, напечатанной г. Погодинымъ, видно, въ чемъ состояло это недовольство и какія именно мысли знаменитаго «предисловія» вызывали сильнѣйшую оппозицію въ либеральной части русскаго общества. Карамзинъ, напримѣръ, писалъ въ своемъ предисловіи, что «исторія представляетъ намъ, какъ благотворная власть обуздывала бурное стремленіе мятежныхъ страстей». А Муравьевъ замѣчалъ на это: «Согласимся, что сіи примѣры рѣдки. Обыкновенно страстямъ противятся другія-же страсти; борьба начинается, способности душевныя и умственныя съ обѣихъ сторонъ пріобрѣтаютъ наибольшую силу. Наконецъ, противники утомляются, познаютъ общую выгоду, и примиреніе заключается благоразумною опытностью. Вообще весьма трудно малому числу людей быть выше страстей народовъ, къ которымъ принадлежатъ они сами, быть благоразумнѣе вѣка и удерживать стремленіе цѣлыхъ обществъ. Слабы соображенія наши противъ естественнаго хода вещей. И даже тогда, когда мы воображаемъ, что дѣйствуемъ по собственному произволу, и тогда мы повинемся прошедшему—дополняемъ то, что сдѣлано, то, чего требу-

етъ отъ насъ общее мнѣніе... Вообще, отъ самыхъ первыхъ временъ одни и тѣ же явленія. Отъ времени до времени рождаются новыя понятія, новыя мысли; онѣ долго маются, созрѣваютъ, потомъ быстро распространяются и производятъ долговременныя явленія, за которыми слѣдуетъ новый порядокъ вещей, новая нравственная система». Здѣсь, какъ видитъ читатель, столкнулись два совершенно противоположные взгляда на вещи: Карамзинъ видѣлъ въ исторіи два ряда явленій, не имѣющихъ между собою ничего общаго — съ одной стороны мятежныя страсти народовъ, а съ другой благотворныя дѣйствія власти;—Муравьевъ же полагалъ, что мятежныя страсти господствуютъ какъ на той, такъ и на другой сторонѣ, и задача правительствъ состоитъ не въ томъ только, чтобы «обуздывать» желанія народа, но въ томъ, чтобы сообразоваться съ «общимъ мнѣніемъ» и дѣлать своевременныя уступки новымъ понятіямъ. Далѣе Карамзинъ требуетъ, чтобы изученіе исторіи «мирло насъ съ несовершенствомъ видимаго порядка вещей, какъ съ обыкновеннымъ явленіемъ во всѣхъ вѣкахъ»; а Муравьевъ говоритъ: «Конечно, несовершенство есть неразлучный товарищъ всего земнаго: но исторія должна-ли только мнить насъ съ несовершенствомъ, должна ли погружать насъ въ нравственный сонъ квіэтизма? Въ томъ ли состоитъ гражданская добродѣтель, которую народное бытописаніе воспламенять обязано? Не миръ, но брань вѣчная должна существовать между зломъ и благомъ; добродѣтельные граждане должны быть въ вѣчномъ союзѣ противъ заблужденій и пороковъ. Не примиреніе наше съ несовершенствомъ, не удовлетвореніе суетнаго любопытства,

не пища чувствительности, не забавы праздности составляют предметъ исторіи. Она возжигаетъ соревнованіе вѣковъ, пробуждаетъ душевныя силы наши и устремляетъ къ тому совершенству, которое суждено на землѣ. Священными устами исторіи праотцы взываютъ къ намъ: «не посрамите земли русскія». Несовершенство видимаго порядка вещей есть, безъ сомнѣнія, обыкновенное явленіе во всѣхъ вѣкахъ, но есть различіе между несовершенствами. Кто сравнитъ несовершенства вѣка Фабриціевъ или Антониновъ съ несовершенствами вѣка Нерона или гнуснаго Геліогабала, когда честь, жизнь и самые нравы гражданъ зависѣли отъ произвола развращеннаго отрока, когда владыки міра, римляне, уподоблялись безсмысленнымъ тварямъ?» Точно также остался неудовлетворенъ «предисловіемъ» Карамзина извѣстный Лелевель, напечатавшій свой разборъ въ «Сѣверномъ Архивѣ» за 1822 годъ (№ 23); а черезъ нѣсколько лѣтъ по смерти Карамзина Н. А. Полевой рискнулъ, наконецъ, высказать прямое и откровенное мнѣніе о всей литературной дѣятельности сошедшаго съ поприща писателя. «Хронологическій взглядъ на литературное поприще Карамзина—писалъ онъ — показываетъ намъ, что онъ былъ литераторъ, философъ, историкъ прошедшаго вѣка; прежняго, не нашего поколѣнія. Это весьма важно для насъ во всѣхъ отношеніяхъ, ибо симъ вѣрно оцѣняются достоинства Карамзина, его заслуги и слава... Онъ былъ, безъ сомнѣнія, первый литераторъ своего народа въ концѣ прошедшаго столѣтія, былъ, можетъ быть, самый просвѣщенный изъ русскихъ, современныхъ ему, писателей. Между тѣмъ вѣкъ двигался съ неслыханною до того времени быстротою. Ни-

когда не было открыто, изъяснено, обдуманно столь много, какъ въ Европѣ въ послѣднія 25 лѣтъ. Все измѣнилось и въ политическомъ, и въ литературномъ мѣрѣ. Философія, теорія словесности, поэзія, исторія, знанія политическія — все преобразовалось. Но когда начался сей новый періодъ измѣненій, Карамзинъ уже кончилъ свои подвиги вообще въ литературѣ; онъ не былъ дѣйствующимъ лицомъ; одна мысль занимала его — исторія отечества... Безъ него развилась новая русская поэзія, началось изученіе философіи, исторіи, политическихъ знаній сообразно новымъ идеямъ, новымъ понятіямъ нѣмцевъ, англичанъ и французовъ, перекаленныхъ (*retrempés*, какъ они сами говорятъ) въ страшной бурѣ, и обновленныхъ на новую жизнь». Объ исторіи Карамзина Полевой отзывался слѣдующимъ образомъ: «Жизнь Россіи остается для читателя неизвѣстною, хотя его утомляютъ подробностями неважными, ничтожными, занимаютъ, трогаютъ картинами великими, ужасными, выводятъ передъ нимъ толпу людей, до излишества огромную. Карамзинъ нигдѣ не представляетъ вамъ духа народнаго, не изображаетъ многочисленныхъ переходовъ его отъ варяжскаго феодализма до деспотическаго правленія Іоанна и до самобытнаго возрожденія при Мининѣ. Вы видите стройную, продолжительную галерею портретовъ, поставленныхъ въ одинакія рамки, нарисованныхъ не съ натуры, но по волѣ художника, и одѣтыхъ также по его волѣ. Это—лѣтопись, написанная мастерски, а не исторія» («Моск. Телегр.» 1829 года, № 12).

Бѣлинскій, отдавая справедливость многимъ заслугамъ Карамзина, уже просто подтрунивалъ надъ людьми, ко-

торне «живуть памятью сердца и не могут выйти изъ убѣжденія, что Карамзинъ былъ великій геній, и что его творенія вѣчны и равно свѣжи для настоящаго и будущаго, какъ они были для прошедшаго» (т. VIII, стр. 139). А г. Галаховъ до сихъ поръ не хочетъ знать этихъ отзывовъ и, воскуривъ фиміамъ, священнодѣйствуетъ по старинному на могилѣ Карамзина, какъ будто бы вокругъ него стоятъ князья Шаликовы, Макаровы и другіе сверстники автора «Бѣдной Лизы», какъ будто бы въ цѣлой подлунной не произошло ничего новаго послѣ бесѣды Филалета съ Мелодоромъ...

Время и мѣсто не позволяютъ намъ останавливаться на Жуковскомъ и Крыловѣ съ тою же подробностью, съ какою остановились мы на Карамзинѣ; но все сказанное нами относится въ полной мѣрѣ къ Жуковскому и отчасти къ Крылову. Жуковскій — при всѣхъ симпатичныхъ сторонахъ своей личности и своего таланта — не лучше Карамзина понималъ духъ вѣка, не съ бѣльшимъ сочувствіемъ относился къ нему, и его литературная карьера только тѣмъ отличается отъ карамзинской, что онъ началъ съ того, чѣмъ кончилъ Карамзинъ. У послѣдняго былъ короткій періодъ увлеченія свободной философіей; онъ идеализировалъ Маріу Посадницу, увлекался швейцарской республикой и уважалъ даже Робеспьера; Жуковскій же прямо началъ съ идеализаціи кроткихъ семейныхъ добродѣтелей, съ проповѣди общественнаго застоя, и никогда не сворачивалъ съ этой дороги. Въ началѣ своей дѣятельности онъ пѣлъ:

Друзья, любите сѣнь родительскаго крова!

Гдѣ-жъ счастье, какъ не здѣсь, на лонѣ тишины,

Съ забвеніемъ суетъ, съ безпечностью свободы?

О, блага чистня, о, сладкій даръ природы!

Гдѣ вы, мои поля? Гдѣ вы, любовь весны?
Страна, гдѣ я разцвѣлъ въ тѣни уединенія,
Гдѣ сладость тайная во грудь мою лилась и пр. и пр.

А въ концѣ поприща, пройдя безучастно среди умствен-
ныхъ тревогъ и волненій александровскаго времени, онъ
успокоился въ томъ же семейномъ кругу, который воспѣ-
валъ съ юныхъ лѣтъ:

И нынѣ тихо, безъ волненія льется
Потокъ моей уединенной жизни.
Смотря въ лицо подруги, данной Богомъ,
На освященіе сердца моего,
Смотря, какъ спитъ сномъ ангела на лонѣ
У матери младенецъ мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тотъ покой,
Котораго такъ жадно здѣсь мы ищемъ...

Даже издавая журналъ, Жуковскій вносилъ въ свою про-
грамму такую обязанность: «имѣй въ виду семейство, въ
которомъ со временемъ, на самомъ дѣлѣ, ты могъ бы испол-
нить всѣ лучшія мечты, озаряющія твою душу въ часы уеди-
неннаго размышленія; симъ сладостнымъ ожиданіемъ разсѣ-
вай скуку временнаго одиночества, воображая, что дѣйствуешь
въ глазахъ избраннаго, достойнаго любви, привязаннаго къ
тебѣ существа» (соч. Ж-го. Изд. 1869 г. Т. VI.). Къ обще-
ственнымъ движеніямъ, въ попыткамъ политическихъ реформъ
Жуковскій относился съ такою же беспощадной строгостью,
какъ и Карамзинъ. Такъ, въ одномъ своемъ письмѣ, онъ по-
рицаетъ происшествія 1848 года въ Германіи; въ другомъ
прозаическомъ очеркѣ, по поводу того же возникновенія пред-
ставительныхъ правительствъ въ Германіи, Жуковскій про-
рочитъ: «представительная система сама себя въ своемъ раз-
витіи уничтожить, уступивъ, наконецъ, мѣсто чистой монар-
хіи, опирающейся на государственные штаты». У насъ, до

сихъ поръ, считаютъ Карамзина родоначальникомъ сентиментальнаго направленія, а Жуковскаго — представителемъ романтизма въ русской литературѣ; но если мы перестанемъ гоняться за словами, то увидимъ, что въ стремленіяхъ и идеалахъ обоихъ этихъ писателей существуетъ полнѣйшая солидарность, слегка оттъняемая нѣкоторыми личными свойствами ихъ характеровъ. У Жуковскаго больше теплоты и сердечности, у Карамзина — холодности и резонерства; Жуковскій, какъ мистикъ и мечтатель, больше тянется къ облакамъ, Карамзинъ же гораздо положительнѣе его. Но чуть лишь Жуковскій вступилъ въ земную юдолю, — онъ смотритъ на все глазами Карамзина. Семейный кружокъ является для него такъ же, какъ и для Карамзина, апоэозой земнаго счастья; патріархальныя условія общественной жизни кажутся ему такою же точно святыней, до которой не должна касаться ничья продерзостная рука. Обоихъ писателей можно назвать одинаково проповѣдниками общественнаго квіэтизма (черта, усмотрѣнная въ Карамзинѣ Муравьевымъ) и узенькаго благополучія въ домашней сферѣ. Съ словомъ же «романтизмъ» нужно обращаться крайне осторожно, такъ-какъ оно производило въ оны дни такую же путаницу въ умахъ, какую производитъ, въ наше время, пресловутая кличка нигилизма. Подъ романтизмомъ понимали вообще уклоненіе отъ старыхъ школьныхъ правилъ, выработанныхъ псевдоклассическими шитиками, и этимъ отрицательнымъ названіемъ, которое, собственно говоря, ничего не опредѣляло, окрестили людей различнаго направленія, сходящихся въ противодѣйствіи мерзляковской риторикѣ. Такимъ образомъ, подъ это названіе подошли и Жуковскій, и Пушкинъ, и Веневити-

новъ, и Рылѣевъ, хотя каждый изъ нихъ вносилъ въ литературу совершенно особые элементы, весьма мало похожіе одинъ на другой. Какое сходство, напримѣръ, между «добрымъ и счастливымъ человѣкомъ» Жуковскаго, который ищетъ «лучшихъ наслажденій и драгоцѣнныхъ наградъ въ нѣдрѣ семейства», и тѣмъ вѣчно-тревожнымъ, самоотверженнымъ общественнымъ дѣятелемъ, который сказалъ о себѣ:

Еще отъ самой колыбели
Къ свободѣ страсть жила во мнѣ;
Мнѣ мать и сестры пѣсни пѣли
О незабвенной старинѣ!

Столь же мало общаго между Теономъ, усѣвшимся мирно у гроба своей возлюбленной въ ожиданіи будущей съ нею встрѣчи, и пушкинскимъ Алеко, который мечется изъ шатра въ шатеръ подъ вліяніемъ байроновскаго скептицизма и разочарованія. Веневитиновъ стоитъ также особнякомъ въ этой группѣ, съ своимъ разностороннимъ образованіемъ, съ своей философскою пытливостью, наложившей рѣзкій отпечатокъ на всю его поэзію. А между тѣмъ всѣ названныя лица зачислялись современниками подъ одно общее знамя романтизма.—Г. Галаховъ, возвеличивая Карамзина, не упустилъ случая умилиться и предъ Жуковскимъ, и это, но крайней мѣрѣ, послѣдовательно съ его стороны. «Нетрудно оспаривать — говоритъ онъ — положеніе автора, ставящаго семейство на первомъ планѣ, впереди отечества и всего рода человѣческаго; но онъ думалъ такъ, и его мнѣніе имѣло для него силу искренняго убѣжденія. Кто усвоивалъ его образъ мыслей, тому было ясно, что семейство дѣйствительно заключаетъ въ себѣ всѣ особенности идеала, достойнаго сдѣлаться цѣлью исканій всякаго».

Ну а тѣ, кто не усвоилъ себѣ этого образа мыслей—что же вы объ нихъ-то умалчиваете, г. Галаховъ? правы они или нѣтъ, и трудно ли ихъ оспаривать? Впрочемъ г. Галаховъ не умалчиваетъ о нихъ и черезъ двѣ страницы даже вступаетъ съ ними въ полемику. «Обвиняютъ Жуковского — такъ возвращается онъ à ses moutons,—что своими заоблачными идеями, своимъ стремленіемъ къ незримому и таинственному, онъ наводилъ на современныхъ читателей, преимущественно на молодежь, праздную мечтательность, созерцательную косность, не только не пригодную, но даже вредную для дѣятельной жизни. Нужно было укрѣплять наши силы въ виду борьбы, предстоящей каждому человѣку въ обществѣ—укоряли его—а онъ разслаблялъ насъ. Но такое обвиненіе, если оно и справедливо (?) падаетъ не на одного Жуковского, а на многихъ поэтовъ-идеалистовъ христіанскаго міра. Одно изъ двухъ: или надобно доказать внутреннюю несостоятельность поэтического идеализма вообще (что невозможно), или видя въ немъ не случайное и фальшивое явленіе и признавъ за нимъ *sa raison d'être*, признать съ тѣмъ вмѣстѣ, что онъ настраивалъ сердца къ благороднымъ и возвышеннымъ движеніямъ, которымъ не было причины оставаться безплодными и въ семействѣ, и въ обществѣ. Идеализмъ есть не только необходимая стадія въ развитіи поэзіи, но и необходимая, существенная ея принадлежность, безъ различія времени и народовъ. А если ужъ каждому поэту непремѣнно слѣдуетъ быть Тиртеемъ борьбы въ жизни и для жизни, то притязательные критики могутъ успокоиться: Жуковскій также проповѣдовалъ войну—войну души съ нечистыми помыслами и дѣяніями» и пр. Здѣсь

г. Галаховъ начинаетъ уже иронизировать; но надъ кѣмъ или надъ чѣмъ иронизируетъ онъ? Что идеализмъ Жуковского отрывалъ умы людей отъ дѣйствительной жизни, что онъ нашептывалъ имъ пренебреженіе къ общественнымъ связямъ и обязанностямъ, ставя выше всего любовь къ женщинѣ, а, по смерти ея, «стремленіе въ оный таинственный свѣтъ», куда никто не знаетъ дороги; что онъ тормозилъ довольно долго склонность къ реальному мышленію — въ этомъ едва ли возможно сомнѣваться. Какимъ же чудомъ этотъ идеализмъ сдѣлался «необходимой, существенной принадлежностью поэзіи, безъ различія времени и народовъ»? Не смѣшиваетъ ли, попросту, авторъ творческую идеализацію, дѣйствительно необходимую поэту для осмысливанія и комбинированія наблюдаемыхъ фактовъ, съ идеализмомъ, какъ нравственною системою, слишкомъ извѣстной по своимъ характеристическимъ признакамъ? Если такъ, то пусть онъ посмѣется надъ самимъ собою, а не надъ «притязательными критиками», которые, по всей вѣроятности, лучше его понимаютъ эту разницу.

VII.

До сихъ поръ мы одобряли автора за «последовательность» въ хвалебномъ настроеніи его пера; но теперь пришла минута, когда мы должны сильно ограничить или даже совсѣмъ отобрать назадъ и этотъ комплиментъ. Въ отношеніи къ Жуковскому г. Галаховъ стоитъ еще твердо и не даетъ его въ обиду разнымъ придирчивымъ критикамъ; но вотъ

зашла рѣчь о Крыловѣ—и картина быстро мѣняется. Г. Галаховъ забываетъ вдругъ всѣ уловки и извороты, всѣ *circumstances atténuantes*, которыми любилъ угостить читателя во славу своихъ любимцевъ; онъ самъ дѣлается, на этотъ разъ, строгъ и притязателенъ, и пробуетъ на бѣдномъ баснописцѣ всю мощь своего критическаго анализа. Мы бы собственно ничего не возразили противъ такой требовательности, еслибы она примѣнялась равномерно ко всѣмъ богамъ русскаго олимпа; но, обрушиваясь въ частности на одного Крылова, она побуждаетъ невольно вступить за него—по крайней мѣрѣ, «для сравненія его съ сверстниками». Крыловъ, напримѣръ, осуждалъ, подобно Карамзину, либерализмъ александровской эпохи, называлъ ослами, забравшимися на Парнасъ, первыхъ совѣтниковъ государя, и даже—по мнѣнію г. Кеневича—не пощадилъ и Сперанскаго въ баснѣ: «Орелъ и паукъ», представивъ его въ видѣ паука, который «безъ ума и трудовъ» взлетѣлъ высоко на орлиномъ хвостѣ. Последнее толкованіе г. Кеневича, правда, подвергается сомнѣнію, но общій неодобрительный тонъ Крылова по отношенію къ современному ему политическому свободомыслию не нуждается въ доказательствахъ. Казалось бы, что г. Галахову, потратившему немало краснорѣчія на защиту Карамзина, слѣдовало также отстаивать и Крылова—и, пожалуй, отстаивать съ бѣльшимъ азартомъ, такъ-какъ аллегорическія картинки дѣдушки-баснописца легче поддаются объясненію въ ту или другую сторону. Такъ мы и ждали, но — какъ сказано — обманулись. За Сперанскаго г. Галаховъ стоитъ горой; къ свободѣ мысли изъявляетъ платоническое влеченіе и за недостатокъ этого влеченія въ

Крыловъ обзываетъ его—словами Сперанскаго—«порядочнымъ невѣждой». Онъ даже ссорится, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, съ г. Кеневичемъ за его несправимое пристрастіе къ своему идеалу—Крылову. Вотъ, наприимѣръ, какому разбору подвергаетъ г. Галаховъ басню Крылова «Водолазы»:

«Съ какой стороны ни судить о притчѣ—пишетъ нашъ строгій критикъ—она оказывается несостоятельною, построенною на такомъ сравненіи, которое, по французской поговоркѣ, ничего не доказываетъ. Алчность къ приобрѣтенію матеріальныхъ богатствъ нельзя уподоблять жадѣ умственныхъ изслѣдованій, глубинѣ знанія. Въ стремленіи къ истинѣ умъ не можетъ остановиться на серединѣ. Врожденная, совершенно законная пытливость духа влечетъ человѣка нескончаемо и безгранично, хотя бы за это влеченіе онъ жертвовалъ жизнью (боже, какой паѳосъ!) или навсегда утрачивалъ счастье, какъ юноша въ Шиллеровомъ стихотвореніи: «Покрытый истуканъ въ Саисѣ». Эта пытливость есть столько же прирожденное намъ свойство, сколько и необходимое условіе нашего совершенствованія, почему и нельзя сказать, будто водолазъ Крылова «погибаетъ оттого, что рѣшился на дѣло, противное природѣ человѣка». (Это сказано г. Кеневичемъ въ одномъ изъ его безчисленныхъ и на половину не нужныхъ примѣчаній). Если же на притчу смотрѣть по отношенію ко времени ея появленія, то ее, по малой мѣрѣ, слѣдуетъ назвать несвоевременною и неумѣстною. Мы и теперь еще не можемъ похвалиться успѣхами въ любомудріи: если любомудріе—зло, то оно и теперь у насъ въ большомъ недостаткѣ, а не въ большомъ излишкѣ. Разумѣется,

и предки наши, въ первую половину царствованія Александра I-го, не до такой степени погружались въ знанія, чтобы слѣдовало удерживать ихъ рвеніе; напротивъ, было бы благоразумнѣе и патріотичнѣе возбуждать въ нихъ охоту къ умственнымъ трудамъ, которымъ очень немногіе посвящали свое время. Мнѣніе, что Крыловъ, по существующему отличію своего таланта, во всему относился не иначе, какъ критически (это опять мнѣніе г. Кеневича), можетъ оправдывать другаго писателя, а не нашего, который такъ высоко цѣнилъ правоучительные выводы, и цѣлью авторской дѣятельности ставилъ пользу согражданъ. Такой писатель, и при выборѣ предметовъ для сатиры, и въ самой сатирѣ, обязанъ руководствоваться не естественнымъ позывомъ таланта, но и взглядомъ на литературу, имъ же самымъ высказаннымъ. Въ неумѣнѣ на первыхъ порахъ приняться за хорошее дѣло или въ неловкости, съ какою принимаются за него новички, и въ происходящихъ отсюда комическихъ сценахъ, онъ не дозволить себѣ видѣть уже крайность зла и не замѣчать начала добра: иначе сатира нанесетъ вредъ самымъ уважительнымъ стремленіямъ общества. Настроеніе сатирика сообщится читателямъ, которые, ради нелѣпостей и неудачъ, обнаруживаемыхъ при вступленіи въ неизвѣданныя дотолѣ области, сочтутъ и послѣднія нелѣпостью. Къ числу такихъ областей принадлежала въ нашемъ обществѣ наука» (стр. 311—12). Въ другомъ мѣстѣ, разобравъ еще нѣкоторыя басни Крылова, направленные противъ вольнодумства и философіи («Сочинитель и разбойникъ»; «Огородникъ и философъ» и др.), г. Галаховъ снова настойчиво замѣчаетъ: «Общественное

значеніе литературныхъ произведеній опредѣляется какъ подборомъ ихъ предметовъ, такъ и взглядами, въ нихъ выражаемыми. И предметы, и взгляды пріобрѣтають бѣльшую или меньшую важность, смотря по ихъ отношенію къ мѣсту и времени. Чтѣ хорошо и вѣстати въ одну эпоху, то непригодно и даже вредно для другой. Съ этой точки зрѣнія, басни Крылова, о которыхъ мы говорили, подлежатъ осужденію. Дѣйствительно баснописецъ долженъ былъ подумать: чѣмъ болѣе страдало современное ему русское общество—привычкою ли видѣть то, чего нельзя не видѣть, что по величинѣ своей бросается въ глаза каждому (см. басню «Любопытный»), или неумѣньемъ замѣчать такіа вещи, которыа, кромѣ глазъ, требуютъ умственного зрѣнія и вниманія? поклоненіемъ ли навыку, державшему легіоны въ крѣпостной у себя зависимости, или педантическимъ стремленіемъ замѣстить безсознательный навыкъ сознательнымъ образомъ мыслей,—желаніемъ, которое заявляли единицы и десятки? довѣріемъ ли къ наукѣ и страстію рыться и погибать въ ея глубинахъ или, наоборотъ, мелкимъ плаваніемъ по знанію?... Развивалась ли на виду у баснописца литература съ безнравственнымъ направленіемъ? гдѣ сочинители, отравлявшіе ядомъ своихъ твореній общество, или философы—наставники, заражавшіе ядовитымъ ученіемъ юношество? Если отвѣты на эти вопросы легки и ясны, то непонятна случайность, по которой человекъ такого ума и таланта, какъ Крыловъ, обходилъ большинство явленій наиболѣе тяжкихъ, будто ихъ вовсе не существовало, и выбиралъ предметомъ своей сатиры меньшинство противоположныхъ явленій, какъ

будто въ нихъ сосредоточивалась вся сила народнаго зла?... Почему и какъ баснописецъ преслѣдовалъ мошекъ и букашекъ и не замѣчалъ слона?» Отсюда г. Галаховъ дѣлаетъ выводъ, что образованіе баснописца было мелко и ограничено, что онъ чувствовалъ полнѣйшее равнодушіе къ знанію независимо отъ ближайшихъ и практическихъ въ немъ надобностей, что онъ не имѣлъ никакого положительнаго образа мыслей, и его «идеалъ заключался въ покоѣ безстрастія». Говоря откровенно, мы находимъ такой приговоръ слишкомъ рѣзкимъ и одностороннимъ, такъ-какъ трезвый и практическій умъ Крылова нерѣдко указывалъ ему на дѣйствительно-важные недостатки русскаго общества (вспомнимъ басни: «Свинья⁹ подъ дубомъ», «Рыбьи пляски», «Мірская сходка», «Листы и корни», «Слонъ на воеводствѣ»); но въ примѣненіи къ разобраннымъ баснямъ критическій приѣмъ г. Галахова совершенно вѣренъ. Мы недоумѣваемъ только: почему г. Галаховъ опрокинулся съ такой строгостью на Крылова, у котораго вредное вліяніе одной басни часто парализировалось несомнѣнно хорошимъ вліяніемъ другой, и не испробовалъ своего критическаго приѣма на всей дѣятельности Карамзина, начиная съ «Записки о древней и новой Россіи»? Поживы ему было бы гораздо больше, и онъ могъ бы закидать своего излюбленнаго писателя такими вопросами: «неужели въ русскомъ обществѣ alexандровскаго времени политическій либерализмъ былъ самою зловредною чертою, наиболѣе заслуживающей полемики? неужели въ немъ не было никакого другаго, болѣе сильнаго и живучаго зла? считались ли у насъ тысячами люди, интересовавшіеся общественными событіями, или,

наоборотъ, нашу инерцію, нашу безпечность въ этомъ отношеніи нужно было будить героическими средствами? гдѣ скрывались, наконецъ, наши Дантоны и Мараты, которыми Карамзинъ стращалъ пугливый народъ?» и пр. и пр. Если бы г. Галаховъ захотѣлъ быть справедливымъ, то на эти вопросы онъ отвѣтилъ бы еще рѣзче, чѣмъ на вопросы, заданные имъ скромному баснописцу, который уже тѣмъ выше Карамзина, что, по собственному выраженію, «не пускался въ открытое море», чувствуя недостаточность своихъ силъ, и не брался служить для цѣлаго государства мужемъ разума и совѣта.

О НОВѢЙШЕМЪ ПРЕПОДАВАНІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХЪ ПРЕДМЕТОВЪ.

(О преподаваніи русской литературы. Соч. Владиміра Стоюнина.
Курсъ общей педагогикѣ, г. Юркевича).

I.

Преподаваніе теоріи и исторіи словесности представляется, до сихъ поръ, крайне неудовлетворительнымъ въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Это хорошо извѣстно всѣмъ практическимъ педагогамъ, всѣмъ лицамъ, сколько-нибудь заинтересованнымъ въ этомъ дѣлѣ. Объясненія для этого факта представляются различныя. Иные, напр., относя все къ личности преподавателя, умѣющаго или неумѣющаго осмыслить и изложить свой учебный предметъ, склонны находить причину явленія въ плохой подготовкѣ учителей, изъ которыхъ далеко не всѣ прошли «серьезную филологическую школу», то-есть, воспитали себя на чтеніи и изученіи классическихъ авторовъ. Повидимому съ цѣлью помочь этой бѣдѣ, основанъ здѣсь историко-филологическій институтъ, питомцы котораго должны будутъ преподавать намъ образцы надлежащаго пониманія задачъ и требованій современной науки въ ея примѣненіи къ педагогическимъ условіямъ среднихъ общеобразовательныхъ школъ... Мы желаемъ всякихъ успѣховъ новому разсаднику филологическихъ познаній въ Рос-

сія; но думаемъ, что дѣятельность его врядъ ли принесетъ замѣтную пользу, если ко времени перваго выпуска его «дорогихъ» слушателей (несомнѣнно, что они стоятъ казнѣ очень дорого, такъ-какъ въ институтѣ сорсѣмъ нѣтъ своекоштныхъ воспитанниковъ, и классическую древность признано полезнымъ изучать только на казенный счетъ),—если къ этому великому дню не измѣнятся нисколько господствующіе нынѣ взгляды на преподаваніе словесныхъ наукъ. Личность преподавателя, его познанія и педагогическій тактъ, безъ сомнѣнія, много значатъ для успѣха преподаванія; но самая-то личность несетъ на себѣ вліяніе общихъ условій, которыя не всегда удобно и не всегда возможно устранить. Какъ ни будь свѣдущъ и талантливъ преподаватель, но если его свяжутъ по рукамъ и по ногамъ обязательной программой, односторонней и схоластической,—то врядъ ли онъ можетъ выпутаться совершенно невредимо изъ этихъ крѣпкихъ тенетъ, врядъ ли не загубить въ нихъ большую часть своихъ познаній и горячаго рвенія къ дѣлу. Къ сожалѣнію, въ нашихъ вліятельныхъ педагогическихъ сферахъ, откуда излетаютъ всевозможные «проекты» и программы,—все, повидимому, съ цѣлью усовершенствовать,—никакъ не можетъ установиться и окрѣпнуть правильный взглядъ на задачу и объемъ преподаванія словесности. Въ былые дни мы изучали «по Зеленецкому» всѣ роды и виды поэзіи и прозы, всѣ риторическія украшенія рѣчи; обогащали свою память бездною тонкихъ, отвлеченныхъ опредѣленій романа, драмы, комедіи и пр., не прочтя толкомъ ни одного порядочнаго автора; бойко сдавали, наконецъ, свой выпускной экзаменъ и, уже много лѣтъ спустя, при первомъ запросѣ на дѣйстви-

тельные познанія, на серьезную критическую оцѣнку литературнаго произведенія, убѣждались, что зазубрить по книжкѣ теоретическое опредѣленіе—не значитъ еще умѣть приѣнить его къ живому литературному образцу. Такъ научались мы по Зеленецкому теоріи словесности. По тому же курсу (но по другой книжкѣ) знакомились мы съ прогрессивнымъ движеніемъ русской литературы. Тутъ узнавали мы имена и отчества почти всѣхъ сочинителей, когда либо воздѣлывавшихъ вертоградъ російской словесности, запоминали годъ ихъ рожденія и смерти, чины и знаки отлічія, полученные ими (буде сочинители состояли въ государственной службѣ), заучивали неукоснительно всѣ заглавія никогда не прочтенныхъ нами поэмъ, драмъ, и, въ заключеніе всего, начинивъ себя различными фразами о сентиментальности Карамзина, народности Пушкина и юморъ Гоголя, получали право сказать, что мы-де знаемъ исторію русской литературы. Схоластика Зеленецкаго рухнула и, послѣ нѣсколькихъ попытокъ раціональнаго веденія дѣла, мы снова пришли къ другой, не менѣе вредной крайности. Многіе педагоги (и притомъ изъ вліятельныхъ), осудивъ Зеленецкаго за обиліе отвлеченной мудрости, вообразили, что теорія и исторія словесности не могутъ быть ничѣмъ инымъ, какъ звонкими, безсодержательными фразами, нисколько непонятными для учениковъ; ссылаясь на плохой результатъ обученія «по Зеленецкому», они стали увѣрять, что вообще критика литературныхъ произведеній съ выводомъ изъ нея основныхъ теоретическихъ различій (т.-е. того, что составляетъ въ здоровомъ преподаваніи теорію словесности) недоступна ученику средняго учебнаго заведенія—такъ точно,

какъ і
степен
рін сл
другой
курса,
вне пе
Какъ
спеціа
гѣе св
ныхъ
ихъ н
ціонал
выраж
сторое
рін ру
ширит
сжать
ныхъ
колич
шихъ
изъ ф
доросл
ставни
и сову
реній
и «Кл
всѣмъ
и т. д
Нс

руживаютъ попытку обойтись совсѣмъ безъ теоріи и исторіи литературы, ограничившись одними лингвистическими упражненіями,—въ нашей педагогической литературѣ разрабатываются съ большимъ толкомъ новые методы преподаванія обоихъ изгоняемыхъ предметовъ. Одному изъ нихъ посвящена полезная книга г. Водовозова: «Словесность въ образцахъ и разборахъ, съ объясненіемъ общихъ свойствъ сочиненія и главныхъ родовъ поэзіи и прозы». Здѣсь авторъ сдѣлалъ довольно удачный опытъ—выводить главнѣйшія правила, такъ-называемой, теоріи словесности изъ внимательнаго критическаго разбора самихъ литературныхъ произведеній, устраняя всѣ схоластическіе приемы, донинѣ употреблявшіеся при этомъ случаѣ. Такъ, на примѣръ, г. Водовозовъ сличаетъ весьма подробно «Капитанскую дочку» съ историческимъ описаніемъ пугачевского бунта и затѣмъ, уже послѣ долгихъ объясненій и выводовъ, приступаетъ къ характеристикѣ поэзіи вообще. Также точно, родовыя свойства эпоса, отличительныя черты народнаго творчества, общія свойства драмы, трагическое и комическое въ искусствѣ—исслѣдуются у автора чисто-индуктивнымъ путемъ, и теоретическія обобщенія даются имъ, какъ результатъ точнаго и дробнаго анализа. Свойства образнаго слога (то, что въ старыхъ риторикахъ называлось тропами и фигурами) указывались г. Водовозовымъ тоже на примѣрахъ, и притомъ безъ лишняго употребленія терминовъ. Въ своемъ критическомъ разборѣ литературныхъ произведеній авторъ книги такъ мало окупился на анализъ всѣхъ, даже незначительныхъ подробностей, такъ добросовѣстно углублялся во всѣ изгибы поэтической мысли, что вызвалъ справедливый упрекъ

въ излишествѣ мелочныхъ критическихъ наблюдений и въ недостаткѣ синтеза, то-есть обобщающихъ выводовъ. Тѣмъ не менѣе книга его составляетъ приобрѣтеніе для педагогической литературы. Въ такомъ видѣ теорія словесности не перестаетъ быть пугаломъ для учениковъ и дѣлается средствомъ для полезныхъ умственныхъ занятій, естественнымъ продолженіемъ и завершеніемъ высшаго грамматическаго курса. Отъ изученія языка, какъ формы, въ которой выражается человѣческая мысль, такъ просто и необходимо перейти къ анализу самой этой мысли, къ отысканію тѣхъ общихъ правилъ, по которымъ создаются литературныя произведенія и обогащаютъ языкъ новыми образами, выраженіями и оборотами рѣчи. Сколько бы ни говорили педанты о томъ, что подобная критическая работа приходится будто бы не по силамъ учениковъ въ старшихъ классахъ гимназій, педагогическій опытъ всегда будетъ свидѣтельствовать противное и покажетъ яснымъ образомъ, что за этимъ соболѣзнованіемъ о слабыхъ силахъ юношей скрываются какія-нибудь другія, болѣе искреннія и болѣе внушительныя соображенія въ родѣ тѣхъ, которыя высказаны были довольно откровенно въ одномъ отчетѣ о преподаваніи словесности въ гимназіяхъ ~~здѣш-~~няго учебнаго округа. Въ этомъ отчетѣ говорилось, напри-мѣръ (и, помнится, именно по поводу преподаванія г. Водозова), что ученики не должны-де критически относиться къ самому Карамзину, что такое отношеніе разовьетъ въ нихъ гордость, фразерство, самоувѣренныя претензіи и т. п., тогда какъ въ ихъ нѣжномъ возрастѣ полезнѣе внимать безпре-кословно хвалебнымъ характеристикамъ, которыя услышатъ они съ кафедры учителя (конечно, вельми благонамѣреннаго)

и прочтутъ въ учебникахъ (конечно, одобренныхъ начальствомъ). При такомъ оригинальномъ взглядѣ на значеніе критическаго анализа въ воспитаніи, преподаваніе словесности можетъ, дѣйствительно, превратиться въ пустую, самодовольную, недопускающую возраженій, догматику съ одной стороны и въ бессмысленное заучиванье фразъ учителя или учебника—съ другой. Такого рода словесность, дѣйствительно, бесполезна, и мы за нее не стоимъ.... Но зачѣмъ же сваливать свою вину на другихъ и обвинять въ подготовленіи фразеровъ именно тѣхъ людей, которые, развивая въ ученикахъ способность критической оцѣнки предметовъ, тѣмъ самымъ отучаютъ ихъ отъ рабскаго, неосмысленнаго повторенія чужихъ фразъ? Зачѣмъ отказываться отъ логическихъ послѣдствій своего собственнаго мнѣнія? Il faut avoir courage de son opinion, messieurs...

Если книга г. Водовозова полезна для рациональнаго преподаванія теоріи словесности, то книга г. Стоюнина, заглавіе которой приведено выше, въ той же мѣрѣ полезна для преподаванія исторіи русской литературы. Она выдержала уже нѣсколько изданій и вполне заслуживаетъ своего успѣха, такъ-какъ, несмотря на нѣкоторые чувствительные недостатки, она представляетъ единственный или, по крайней-мѣрѣ, лучший образчикъ примѣненія литературнаго курса къ потребностямъ среднихъ учебныхъ заведеній. Г. Стоюнинъ не имѣлъ въ виду написать цѣлый курсъ исторіи русской литературы въ строгой связи и послѣдовательности; цѣль его была преимущественно педагогическая, а именно онъ вознамѣрился, по поводу нѣкоторыхъ книгъ, общеупотребительныхъ въ преподаваніи русской словесности (какъ-то: «Исто-

ріи словесности» г. Галахова и хрестоматій гг. Буслаева и Филонова), изложить свои мысли о томъ, чѣмъ должна быть исторія литературы въ гимназическомъ курсѣ, какъ нужно готовить учениковъ къ ея слушанію и на какія именно стороны литературныхъ произведеній, древнихъ и новыхъ, слѣдуетъ обращать вниманіе при классномъ разборѣ. Такимъ образомъ книга г. Стоюнина распадается на нѣсколько частей, недостаточно спаянныхъ между собою. Прежде всего авторъ опредѣляетъ педагогическую цѣль въ преподаваніи словесности (разумѣя здѣсь какъ теорію, такъ и исторію предмета) и указываетъ средства, какими можетъ быть достигнута эта цѣль; далѣе онъ обращается къ книгѣ г. Водозова и высказываетъ свое мнѣніе, вполне добросовѣстное, о степени ея педагогической пригодности; затѣмъ переходитъ собственно къ исторіи литературы и останавливается подробно, въ связи съ разбираемыми имъ книгами, на самыхъ важныхъ моментахъ въ развитіи русской литературы— на тѣхъ моментахъ, на которыхъ долженъ сосредоточиваться, по его мнѣнію, весь интересъ и смыслъ преподаванія. Въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ авторъ обращаетъ всего больше вниманія на развитіе народныхъ «идеаловъ», понимая подъ этимъ словомъ образное представленіе народа о политической власти, о религіозныхъ, общественныхъ и семейныхъ обязанностяхъ человѣка. Здѣсь мы находимъ вѣрное пониманіе многихъ, весьма важныхъ литературныхъ вопросовъ; кромѣ того, встрѣчается нѣсколько сдержанныхъ, но вѣскихъ и справедливыхъ возраженій г. Галахову. Только уже въ 21-й главѣ своей книги авторъ представляетъ образцы разборовъ по теоріи словесности, хотя эти разборы были бы умѣстнѣе въ началѣ

книги: вѣдь теорія словесности должна предшествовать исторіи, а не наоборотъ. Изъ этого краткаго перечня содержанія главъ видно, что книга г. Стоюнина страдаетъ недостаткомъ правильнаго и опредѣленнаго плана. Авторъ желалъ совмѣстить въ своемъ трудѣ, по малой мѣрѣ, три разнородныя задачи: во первыхъ, написать критическій разборъ на нѣсколько книгъ (гг. Галахова, Водовозова, Буслаева и Филонова); во вторыхъ, представить пробный курсъ по теоріи словесности и, наконецъ, третьихъ, прослѣдить всѣ главнѣйшіе моменты въ развитіи русской литературы и общества. Между тѣмъ для каждой изъ этихъ задачъ, чтобы исчерпать ее вполне, понадобилось бы написать особую книгу, какъ это и сдѣлалъ г. Водовозовъ исключительно для теоріи словесности. Вслѣдствіе этой разрозненности плана г. Стоюнинъ не успѣлъ высказать вполне своихъ взглядовъ на развитіе русской литературы, такъ-какъ первый томъ «Исторіи словесности» Галахова, на который онъ писалъ свой разборъ, доведенъ только до появленія Карамзина, и это обстоятельство стѣснило, замѣтно, г. Стоюнина, ограничившагося обязанностью рецензента. По той же причинѣ, курсъ теоріи словесности, вошедшій въ книгу въ видѣ пробныхъ уроковъ, оказался черезчуръ сжатъ и не представляетъ отвѣта на многіе крупные теоретическіе вопросы, неизбежно являющіеся при оцѣнкѣ литературныхъ произведеній. Г. Стоюнинъ, пожалуй, возразитъ намъ, что онъ считаетъ теорію и исторію словесности однимъ предметомъ, а потому и говоритъ объ нихъ въ одной книгѣ; но этимъ возраженіемъ врядъ-ли возможно удовлетвориться. Какъ бы ни были шатки теоретическія основанія литератур-

ной критики, составляющія то, что называется на учебномъ языкѣ «теоріей словесности», какъ бы мало ни соотвѣтствовала современная эстетика названію науки (мы не будемъ спорить съ г. Стоюнинымъ, что такого названія она нѣкуда и не заслуживаетъ); но несомнѣнно, однако, то, что, приступая къ чтенію и оцѣнкѣ литературныхъ произведеній, необходимо установить эстетическія начала въ томъ или другомъ видѣ, примѣняясь, конечно, къ потребностямъ и пониманію учениковъ. Итакъ, одно дѣло—изучать литературу съ цѣлью: указать общіе признаки, по которымъ словесныя произведенія группируются подъ рубрики драмы, эпоса и лирики, а также найти критическія требованія, одинаково приложимыя къ цѣлому роду произведеній, и другое дѣло—коснуться спеціально исторіи литературы своего только народа, чтобы показать существенныя черты народнаго духа и постепенное измѣненіе народныхъ идеаловъ. Въ первомъ случаѣ возможно, и даже должно, заимствовать подходящіе примѣры и доказательства изъ всѣхъ европейскихъ литературъ; во второмъ случаѣ преподаватель ограниченъ исторіей одного народа, и чѣмъ больше захватить онъ въ свой курсъ реальныхъ, бытовыхъ и историческихъ чертъ, тѣмъ полезнѣе будетъ онъ для своихъ учениковъ. Выяснять критическія начала, растолковывать ходячіе литературные термины тутъ уже поздно: это дѣло должно быть сдѣлано ранѣе. Нужно только сравнить двѣ половины книги г. Стоюнина — историческую и эстетическую, — чтобы увидѣть, что и самъ онъ преслѣдуетъ въ обоихъ случаяхъ разныя цѣли.—При всемъ томъ книга г. Стоюнина заключаетъ въ себѣ много хорошихъ сторонъ: сюда относимъ мы всѣ педагогическія разсужденія его,

обнаруживающія въ немъ опытнаго и здравомыслящаго педагога, и большую часть его историко-литературныхъ взглядовъ, за исключеніемъ, напимѣръ, преувеличенныхъ похвалъ Кантемиру, изъ всѣхъ сатиръ котораго только одна сатира «Къ уму моему» заслуживаетъ, на нашъ взглядъ, разбора съ учениками, да и то не сама по себѣ, а какъ удобный предлогъ для характеристики петровскаго времени. Педагогическая цѣль преподаванія словесности опредѣлена у г. Стоюнина совершенно правильно, и съ этимъ опредѣленіемъ стоитъ познакомить нашихъ читателей. По мнѣнію г. Стоюнина, каждый преподаватель долженъ найти въ своемъ учебномъ предметѣ три живыя силы, которыя благотвѣтельно дѣйствовали бы на учащихся: 1) онъ долженъ сообщать имъ истинныя познанія, касающіяся природы и чело-вѣка; 2) развивать ихъ и 3) приучать къ труду. Примѣняя эти требованія къ преподавателямъ словесности, авторъ находитъ, что только немногіе изъ нихъ удовлетворяютъ всѣмъ нужнымъ условіямъ, большинство же гонится за однимъ изъ нихъ, забывая остальные. «Есть такіе преподаватели—пишетъ г. Стоюнинъ—которые исключительно заботятся о количествѣ знаній; чѣмъ больше, тѣмъ лучше—говорятъ они—и, дѣйствительно, передаютъ много фактовъ и даже разсужденій, рассчитывая на силу памяти, которая на извѣстное время можетъ удержать все переданное. Про ихъ учениковъ можно сказать, что они выучили предметъ, но нельзя сказать, что они правильно развивались на этомъ предметѣ, а тѣмъ болѣе, что они разумно надъ нимъ работали и слѣдственно привыкали къ труду. Они только учили на память, считая это занятіе утомительнымъ трудомъ, къ

которому трудно почувствовать расположение. Есть другіе преподаватели, которые на первомъ планѣ ставятъ развитіе, и основываютъ его на занимательности или интересности передаваемыхъ познаній. Необходимо овладѣть вниманіемъ ученика—говорятъ они,—чтобы онъ слушалъ васъ съ большимъ интересомъ; только при такомъ условіи онъ безъ всякаго труда, легко и скоро, будетъ запоминать ваши уроки и, конечно, будетъ развиваться вашими бесѣдами съ нимъ. Такіе преподаватели, дѣйствительно, рассказываютъ чрезвычайно интересно. Ученики слушаютъ ихъ очень внимательно, спрашиваютъ ихъ съ удовольствіемъ, а они еще съ большимъ удовольствіемъ распространяются въ подробностяхъ на ихъ разспросы. Все это очень хорошо, потому что въ такихъ бесѣдахъ много жизни, есть живая связь между наставниками и учениками; но нѣтъ одного очень важнаго обстоятельства: заботясь о всевозможныхъ облегченіяхъ, наставникъ нисколько не думаетъ о трудѣ. Его ученики легко воспринимаютъ все, что онъ имъ рассказываетъ, показываетъ и объясняетъ; такъ какъ онъ знаетъ во всемъ мѣру, то они не утомляются, а всегда бодры, свѣжи и радуютъ его, пересказывая его рассказы и объясненія, убѣждая при этомъ, что любознательность дѣйствительно возбуждена въ нихъ. И это хорошо; но тутъ мы видимъ только страдательное, пассивное воспринятіе. Онъ доставляетъ ученику большое удовольствіе, раскрывая ему новый міръ, сообщая много новыхъ понятій; самому ему (ученику) трудиться не надъ чѣмъ. А между тѣмъ, впереди ждетъ его жизнь, главное значеніе которой должно быть въ трудѣ. Если воспитаніе готовить человѣка для жизни, то большая ошибка со стороны воспитателя не обращать вниманія

манія на возбужденіе труда, не заставляют трудиться такъ, чтобы ученикъ увидѣлъ, наконецъ, въ трудѣ нравственную пользу, независимо отъ матеріальной, чтобы трудъ сталъ его потребностью». Наконецъ, есть третій сортъ педагоговъ, которые, вообразивъ, по словамъ г. Стоюнина, что «мука и трудъ одно и то же, съ намѣреніемъ дѣлаютъ разныя трудности, лишь бы только помучить ученика надъ работою». Г. Стоюнинъ совершенно правъ въ теоретическомъ опредѣленіи достоинствъ педагога; но такъ-какъ совершенства на землѣ нѣтъ (что давно извѣстно даже не учившимся въ семинаріи), то мы думаемъ, что изъ всѣхъ представленныхъ имъ односторонностей самая терпимая и—скажемъ больше—самая желательная при настоящихъ условіяхъ, это, именно, вторая односторонность. Пусть существуетъ «живая связь между наставниками и учениками», пусть ученики слушаютъ съ наслажденіемъ учителя и, такъ сказать, влюбляются въ науку въ его разсказахъ; положимъ, что это будетъ «пассивный трудъ», какъ выражается г. Стоюнинъ, и самостоятельной умственной работы, въ которой должна пріучать школа, здѣсь не окажется; но добрыя сѣмена все-таки западутъ въ молодую душу, и если ученикъ не попадетъ потомъ въ особенно душную атмосферу, то принесутъ непременно хорошіе плоды. Любви и привычки къ усидчивому труду они не дали, но не поселили, по крайней мѣрѣ, отвращенія къ нему, и мальчикъ, выходя изъ школы, не вспомнитъ съ ненавистью своихъ наставниковъ и не броситъ съ озлобленіемъ въ печку свои книги и тетради. Такой результатъ былъ бы еще очень сносенъ; но у насъ, къ сожалѣнію, сталъ развиваться въ послѣднее время третій сортъ педагоговъ, которые «дѣлаютъ различныя трудно-

сти, чтобы только помучить ученика надъ работою»; иначе чѣмъ же бы объяснить непомѣрное усиленіе въ гимназіяхъ латыни и греческаго языка, противъ котораго начинаютъ уже протестовать разумнѣйшіе изъ «классиковъ»? Чтобы сообщить при изученіи словесности истинныя познанія ученикамъ и дать имъ при этомъ удобный матеріалъ для самостоятельной разработки по вопросамъ, указаннымъ преподавателемъ, г. Стоюнинъ дѣлаетъ строгій выборъ произведеній, полезныхъ для чтенія въ классѣ. «Въ каждой литературѣ—говоритъ онъ—есть столько прекрасныхъ произведеній, что нѣтъ возможности перечитать въ классѣ ихъ всѣ, слѣдственно, необходимо опредѣлить, чего держаться при выборѣ ихъ для чтенія и изученія въ классѣ, а съ этимъ вмѣстѣ и обсудить достоинство тѣхъ познаній, которыя будутъ сообщать они. Разумѣется, эстетическимъ и народнымъ произведеніямъ литературы должно дать предпочтеніе передъ всѣми прочими уже потому, что они развиваютъ эстетическое чувство; это въ педагогическомъ дѣлѣ есть ихъ спеціальность, такъ-какъ всѣ другіе учебные предметы не имѣютъ въ виду этой стороны развитія. Впрочемъ, указывая на изящныя произведенія, мы никакъ не хотимъ ограничиться одною эстетикой, чтобы носиться въ заоблачномъ мірѣ безусловно и вѣчно прекраснаго и восхищаться одними возвышенными идеалами. Нѣтъ, здѣсь мы имѣемъ въ виду еще другія условія. Каждое истинно-эстетическое произведеніе отражаетъ въ себѣ жизнь, дѣйствительность, съ которою связывается много нравственныхъ, общественныхъ и другихъ вопросовъ. Разбирая такое произведеніе, мы необходимо должны подробно обсудить его содержаніе, безъ чего

невозможна даже и одна эстетическая оцѣнка, слѣдственно, должны имѣть дѣло съ разнообразными вопросами жизни: коснемся ли разбора фактовъ, или личностей и ихъ характеровъ, или отношенія ихъ между собою, или идеаловъ самого поэта и пр., все будетъ наводить насъ на вопросы близкіе и интересные каждому, вопросы житейскіе, а съ ними вмѣстѣ будутъ разъясняться и самыя понятія — нравственныя, семейныя, общественныя; — понятія, которыя у учениковъ обыкновенно бывають слишкомъ туманны, неопредѣленны и сбивчивы, такъ-какъ имъ рѣдко приходится задумываться надъ ними. Въ этомъ туманѣ они нерѣдко остаются и по выходѣ изъ школы, а иной и всю жизнь... Умъ ученика, безпрестанно возбуждаемый вопросами, близкими къ жизни и, слѣдовательно, живо интересующими, а не отвлеченными, не будетъ принимать пассивно познанія, а напротивъ, самъ будетъ пріобрѣтать ихъ изъ наблюденія надъ даннымъ матеріаломъ. Заботиться только о томъ, чтобы ученикъ умѣлъ пересказать одно содержаніе литературнаго произведенія — значитъ, хлопотать о знаніяхъ бесполезныхъ. Они займутъ свое мѣсто въ памяти, но не объяснятъ ни природы, ни жизни, ни человѣка». Подвергая такой всесторонней критической оцѣнкѣ читаемыя въ классѣ произведенія, г. Стоюнинъ невольно встрѣтился съ моднымъ нынѣ вопросомъ: будетъ ли полезно развивать въ ученикахъ критическій анализъ, и не поведетъ ли это къ фразерству, нигилизму и неповиновенію старшимъ? Съ своей обычной сдержанностью (переходящей иногда въ уклончивость) онъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ слѣдующимъ образомъ: «Нѣкоторыхъ педагоговъ пугаетъ слово: критическое изученіе предмета, чего мы рѣшительно не понимаемъ.

Вѣроятно, подѣ именемъ критики мы разумѣемъ совсѣмъ не то, что они. Обстоятельно обсудить съ учениками прочитанное сочиненіе, найти въ немъ отвѣты на многіе вопросы, которые изъ него вытекаютъ, указать на достоинства и, вмѣстѣ съ тѣмъ, доказать, почему они считаются достоинствами, и равнымъ образомъ замѣтить недостатки: неужели это можетъ развивать въ ученикѣ фразерство и самонадѣянность, какъ иные предполагаютъ? Намъ кажется, напротивъ, такіе приемы передадутъ ученику нѣсколько критическихъ приемовъ, которые не позволятъ ему судить о сочиненіи вкривъ и вкосъ, а приучатъ вникать въ дѣло и убѣдятъ, что нельзя произносить своего рѣшительнаго суда безъ многихъ опредѣленныхъ доказательствъ. Фразерство развиваетъ не критика, а голословныя сужденія безъ всякихъ данныхъ, общія характеристики предметовъ, съ которыми ученикъ не успѣлъ познакомиться, когда его заставляютъ высказывать свой судъ, не давъ возможности собрать наблюденія. Но неужели же это критика? По нашему мнѣнію, критика есть судъ, на основаніи многихъ собранныхъ признаковъ. Приучать собирать признаки и строго обсуживать ихъ, значитъ, приучать къ строгому мышленію и къ осторожному суду. Тамъ фразерства быть не можетъ, гдѣ судъ составляютъ выводы изъ опредѣленныхъ данныхъ; могутъ быть ошибки, но ошибки еще далеко не фразерство. Мы даже не знаемъ, какимъ образомъ можно избѣжать критики, еслибы даже ограничиться объяснительнымъ чтеніемъ съ полнѣйшимъ усвоеніемъ содержанія произведенія. Вѣдь можетъ случиться, что ученикъ будетъ несогласенъ съ тою или другою мыслью изучаемаго сочиненія или ему не понравится какая-либо сцена и даже

цѣлое произведеніе? Что же тутъ будетъ дѣлать учитель, опасующійся критики? Заставить вѣрить на слово, что эта мысль вѣрна, а эта сцена прекрасна? Что же это за педагогическое средство убѣждать? И такъ, по нашему мнѣнію, критики нечего бояться при изученіи литературнаго произведенія: она часто бываетъ неизбежна, вызываемая самими учениками, и всегда полезна, потому что не допускаетъ никакихъ голословныхъ опредѣленій».

Еслибы нѣсколько лѣтъ тому назадъ подобное сомнѣніе въ пользѣ критическаго начала было высказано въ литературѣ, то врядъ ли нашлись бы даже охотники возражать на него: до такой степени оно показалось бы страннымъ, нелѣпымъ и незаслуживающимъ опроверженія. Но теперь, при измѣнившихся обстоятельствахъ, мы рекомендуемъ отвѣтъ г. Стоюнина всѣмъ педагогамъ, которыхъ смущаетъ не гамлетовскій, а молчалинскій вопросъ: «Да можно-ль смѣть свое сужденіе имѣть?» Надѣмся, что такихъ педагоговъ наберется достаточное количество, и, слѣдовательно, мы не безъ пользы привели мнѣніе почтеннаго автора.

II.

Что молчалинскій вопросъ дѣйствительно смущаетъ нашихъ педагоговъ, и что есть между ними такіе теоретики, которые весьма категорически запрещаютъ имѣть «свое сужденіе»,—въ этомъ можно вполне убѣдиться, прочтя «Курсъ общей педагогики» г. Юркевича. Прежде всего, эта книга наводитъ насъ невольно на одно сравненіе...

Изъ послѣдняго романа Виктора Гюго (*L'homme qui rit*)

многіе русскіе читатели узнали впервые, что въ XVII-мъ вѣкѣ существовало и даже процвѣтало въ Европѣ цѣлое общество людей, занимавшихся спеціально — не избіеніемъ, но изуродованіемъ младенцевъ, смотря по надобностямъ султановъ, палъ, англійскихъ лордовъ и тому подобныхъ заказчиковъ человѣческаго тѣла. Одному нужны были карлики, другому — вѣчно-смѣющіеся люди съ застывшею улыбкою на обезображенномъ лицѣ, третій искалъ человѣческаго горла, способнаго кричать по пѣтушьи (обычай, долго существовавшій при англійскомъ дворѣ), четвертый, наконецъ, нуждался въ евнухахъ для охраненія цѣломудрія своихъ женъ — и всѣмъ этимъ многоразличнымъ потребностямъ удовлетворяло знаменитое братство. «Требованіе на уродовъ» — говоритъ Гюго (не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести его подлинныя слова) — положило начало особенному искусству. Были воспитатели или, вѣрнѣе, образователи карликовъ. Брали ребенка и дѣлали изъ него недоноска; брали лицо и дѣлали изъ него мордочку. Останавливали ростъ, ломали человѣческій образъ. Искусственное производство уродливостей имѣло свои правила; это была цѣлая наука. Представьте себѣ искусство сохранять натуральныя формы человѣческаго тѣла и исправлять ихъ, если онѣ повреждены, въ обратномъ смыслѣ. Тамъ, гдѣ Богъ далъ прямой глазъ, искусство замѣняло его косиною; тамъ, гдѣ Богъ далъ гармонію, это искусство вносило уродство... Нѣкоторые анатомисты того времени умѣли очень удачно стереть съ человѣческаго образа божественный отпечатокъ... Дѣтопокупатели (по испански: компрахикосы) обладали талантомъ обезображивать, и этотъ талантъ служилъ имъ рекомендаціей для политики. Обезобразить гораздо

да, желѣзная

уже средство чрезвычайное. Нельзя населить
ныни масками, между тѣмъ какъ изуродова
бѣгаютъ по улицамъ безъ всякаго стѣсненія; и
новую маску можно сорвать, тѣлесную—нельзя.
замаскировать вашимъ же собственнымъ лицо
остроумная вещь. Дѣтопокупатели обдѣлывали
китайцы обдѣлываютъ дерево. У нихъ были
искусства, у нихъ были станки. Утрачен
Изъ ихъ рукъ выходило что-то невзрачное, к
Они съ такимъ умѣньемъ, съ такимъ умомъ о
ленькое существо, что даже родной отецъ не мо
Иногда они не трогали спиннаго хребта и оста
мнѣ, но преображали лицо. Они, такъ сказат
ребенка его мѣтку, какъ спариваютъ мѣтку с
топокупатели не только отнимали физиономію у
у него отнимали и память. Ребенокъ вовсе
что подвергся изуродованію. Эта странная х.

но і

ѳ онъ

ачень

или.

ей, и

адій,

поро

оляте

может

искус

это

и ему власть. На соборѣ, избраншемъ
86 духовныхъ лицъ, 38 бояръ и
ихъ поземельныхъ владѣльцевъ, 23
крестьянина! Естественно, что

это крестьянство и было принесено въ жертву правящимъ
классамъ. Только въ 1601 году, усомнившись въ надежности
прежней поддержки, Борисъ вздумалъ—да и то нерѣшитель-
но—опереться на народъ, дозволивъ переходъ крестьянъ изъ
имѣній мелкопомѣстныхъ. Но эта полумѣра, удержавъ въ силѣ
прежнее запрещеніе крестьянамъ переходить изъ имѣній круп-
ныхъ владѣльцевъ, какъ-то: бояръ, монастырей и самого ца-
ря,—не принесла пользы Борису: крестьяне были недовольны
ею, потому что конкуренція однихъ мелкопомѣстныхъ между
собою не могла довести аренду земли до слишкомъ низкаго
уровня, какъ могла бы это сдѣлать конкуренція мелкихъ
владѣльцевъ съ боярами; дѣти же боярскія, которыхъ новый
указъ задѣлъ чувствительно по карману, конечно, отнеслись
къ нему съ затаенною злобою. Быть крестьянъ мало вы-

только просьбами о помѣстьяхъ, съ предательскими совѣтами о томъ, какъ подавить возстаніе въ непокорной части народа. Бояринъ Михайлъ Салтыковъ, — глава приверженцевъ Владислава, — поссорился съ Гонсѣвскимъ, представителемъ королевича, за то, что послѣдній допустилъ въ думу торговаго мужика Андропова, скоро получившаго огромный вѣсъ и значеніе; всѣ другіе бояре обидѣлись вмѣстѣ съ Салтыковымъ. «Эта единодушная борьба бояръ—иронически замѣчаетъ г. Хлѣбниковъ—борьба противъ одного только мужика, достигшаго власти, уже ясно обнаруживаетъ, какъ эгоистически смотрѣло это сословіе на государство».

II.

Ироническое замѣчаніе г. Хлѣбникова совершенно вѣрно, и мы не имѣемъ ни малѣйшаго желанія вступаться за гражданскія доблести того сословія, которое, не имѣя ни одного изъ благихъ свойствъ западно-европейской аристократіи, сосредоточило въ себѣ исключительно дурныя ея стороны. Но не слѣдуетъ забывать, что, съ возвышеніемъ Москвы, эти дурныя стороны не только не исчезли, но сообщились самой центральной власти, которая также (за исключеніемъ Минина) не пускала въ свою верховную думу торговыхъ мужиковъ. При избраніи Миханла Ѳедоровича боярская партія опять разыграла свою роль, и мы имѣемъ извѣстіе, что юный царь, вступая на тронъ, былъ также ограниченъ въ своихъ правахъ, относительно боярскаго класса, какъ и Василій Шуйскій. «Во все царствованіе Миханла—говоритъ г. Хлѣбниковъ—принадлежность всѣхъ

важнѣйшихъ государственныхъ должностей знатымъ родамъ не была оспариваема». Какъ мало даже земскія услуги государству значили передъ важностью длиннаго ряда предковъ—это видно уже по тому факту, что знаменитый Пожарскій, очистившій Михаилу дорогу къ трону, былъ выданъ головой за мѣстническій споръ съ знатымъ родомъ Салтыковыхъ. Мининъ, попавши въ боярскую думу, повидимому, былъ совершенно затертъ въ ней: онъ словно въ воду канулъ съ своимъ умомъ и желѣзною волей, поставившей на ноги, въ критическую минуту, всю Россію. Крестьянамъ и посадскимъ людямъ не стало легче отъ усиленія центральной власти и при Алексѣѣ Михайловичѣ. Въ 1646 г. посланы были писцы, чтобы переписать всѣхъ живущихъ крестьянъ, и было постановлено, что бѣгле брестьяне, принятыя къмъ нибудь послѣ этой описи, будутъ отобраны и возвращены старымъ помѣщикамъ со всѣмъ своимъ имуществомъ, и, кромѣ того, на нихъ же взыщутся государевы и помѣщичьи подати за всѣ годы, которые они провели въ бѣгахъ. Въ 1647 г. десятилѣтній срокъ для отыскиванія бѣглыхъ былъ измѣненъ въ пятнадцатилѣтній; наконецъ, на земскомъ соборѣ 1649 г. срокъ сыска совсѣмъ отмѣненъ, и крестьянинъ окончательно прикрѣплялся къ землѣ. Какъ быстро падало въ «царскій періодъ» русской исторіи благосостояніе крестьянскаго населенія—это нетрудно вывести изъ сличенія слѣдующихъ фактовъ. Въ XVI-мъ столѣтіи, такъ называемые черносошныя (т. е. тягловые государственные) крестьяне испытывали самую прискорбную участь: при незначительности дохода (простиравшагося среднимъ числомъ отъ 2 до 4 рублей въ годъ) на нихъ лежали громадною тяжестью государственныя

и общественныя повинности. Всѣ подати и повинности этого времени можно раздѣлить на три разряда. Къ первому разряду относятся повинности, предназначенныя на защиту государства: городовое дѣло, т. е., строеніе городскихъ стѣнъ и башенъ; пищальные деньги, (на покупку оружія, на содержаніе ратныхъ людей); посошная служба, т. е. выставленіе рекрута; зелейное дѣло, т. е. приготовленіе пороха; засѣчное дѣло—устройство засѣкъ, чтобы помѣшать вступленію непріятелей. Ко второму разряду повинностей принадлежатъ сборы на содержаніе областного управленія: жалованье чиновникамъ мѣстнаго управленія и судебныя пошлины; дѣячія писчія пошлины, приметь или прибавка къ ямскимъ доходамъ, кромѣ содержанія самого яма и ямщиковъ, подмога ямскимъ охотникамъ; сюда же относится натуральная повинность—строеніе и починка мостовъ. Третій разрядъ—это подати, употребляемыя на содержаніе двора: оброкъ съ поженъ, поплужная пошлина, соколій оброкъ, поминочные черные соболи. Эти налоги, по снисходительному расчисленію г. Хлѣбникова, обходились въ 1555 г. не менѣе 3 р. съ черной обжи (обжа равнялась 15-ти десятинамъ); слѣдовательно, крестьянинъ, владѣвшій обыкновенно одною третью обжи, т.-е. пятью десятинами, уплачивалъ отъ $\frac{3}{4}$ до 1 рубля налоговъ, что равнялось, по крайней мѣрѣ, половинѣ его дохода. Натуральныя повинности, отвлекавшія крестьянина отъ его собственнаго дѣла, совсѣмъ не входятъ въ этотъ расчетъ. Понятно, что черносозные крестьяне, обираемые донагами и заваленные непосильной работою, рвались, что ни есть мочи, съ своихъ черныхъ земель въ имѣнья монастырскія и боярскія; ихъ судьбѣ могли

позавидовать только крестьяне, жившіе на землях дѣтей боярскихъ, которымъ приходилось еще хуже (стр. 50—51). Въ XVII-мъ же столѣтіи эта картина мѣняется: помѣщичьи крестьяне приближаются, мало по малу, къ положенію холоповъ, такъ что въ 1647 г. совершается продажа крестьянъ безъ земли, и правительство не обращаетъ на это вниманія, явно показывая, что крестьяне столько же приврѣпляются къ землѣ, сколько и къ личности землевладѣльца. Но это покуда исключительные факты; въ концѣ же царствованія Алексѣя Михайловича (въ 1675 г.) правительство разрѣшаетъ формально продажу крестьянъ порознь, какъ вьючнаго скота (стр. 273). Съ перемѣной обстоятельствъ, быть черносотенныхъ крестьянъ, не утратившихъ ни личной свободы, ни общиннаго самоуправленія, дѣлается даже предметомъ зависти для крѣпостныхъ.

Таково было у насъ положеніе сельскаго класса; но и городское населеніе было поставлено отнюдь не въ лучшія условія. Торговля стѣснялась для посадскихъ людей: вопервыхъ, откупами, къ которымъ московское правительство было очень склонно, создавая монополію даже изъ торговли квасомъ, сусломъ, овсяною трухою и пр., вовторыхъ — конкуренціей иностранныхъ капиталистовъ, стрѣльцовъ и другихъ лицъ, которыя, не платя тяжелыхъ податей и не исправляя городскихъ службъ, могли, съ выгодой для себя, соперничать съ отягощенными посадскими. Городская служба, которую несли посадскіе по сбору и продажѣ монополизированныхъ товаровъ, была въ высшей степени тяжела для нихъ. Всѣ торговныя пошлины или отдавались на откупъ, или собирались на вѣру, т.-е. сами горожане выбирали лицъ,

которыя бы вѣзали пошлыны и отдавали въ казну. Трудно сказать, какой порядокъ вещей былъ болѣе обременителенъ для горожанъ. При отдачѣ на откупъ случались удивительныя безпорядки, благодаря произволу откупщиковъ, и несмотря на вмѣшательство цѣловальниковъ, обязанныхъ смотрѣть, чтобы монополистъ не бралъ пошлынъ выше определенныхъ грамотами. При отдачѣ таможенныхъ сборовъ на вѣру, городу также было не легче, потому что за недоборъ отвѣчали сначала сборщики, а потомъ и всѣ ихъ избиратели. Такъ, на примѣръ, въ 1618 г. съ бѣлоозерцевъ взыскивались таможенные недоборныя деньги съ такой безпощадной строгостью, что «многіе лутчіе (люди) съ правожовъ разбѣглися безвѣстно съ женами и съ дѣтьми, покиня дома свои пусты». Одинъ сборщикъ податей даже хвастался тѣмъ, что онъ «царскіе доходы правилъ нещадно — поби-валъ на смерть». Кромѣ городскихъ службъ, посадскіе люди отбывали еще разныя, чрезвычайныя и обыкновенныя налоги: уплачивали извѣстную часть имущества, вносили оброкъ, полоняночныя деньги (на выкупъ плѣнныхъ) и пр. Во все время царствованія Михаила и Алексѣя Михайловича посадскіе, доведенные до окончательнаго раззоренія, старались удрать изъ своихъ посадовъ и «заложиться» за влостей, за монастыри — словомъ, всюду; шли даже въ кабалныя холопы. Всякій выходъ посадскихъ, всякій «обѣленный» (т.-е. свободный отъ податей) дворъ ложился новой тягостью на остальныхъ посадскихъ, такъ-какъ правительство и не думало убавлять службъ, если горожанъ становилось меньше. Пришлось, наконецъ, угрожать посадскимъ смертною казнью за оставленіе посада! (стр. 292).

Принципъ крѣпостнаго права проведенъ былъ послѣдовательно во всѣхъ сферахъ русской жизни: крестьяне прикрѣплялись къ землѣ или, вѣрнѣе сказать, къ ея владѣльцу, городскіе жители—къ городу, высшіе классы—ко двору. «Для личности—такъ заключаетъ г. Хлѣбниковъ свою характеристику «царскаго періода»—не существовало никакого обезпеченія въ судѣ, въ случаѣ преступленій или проступковъ, кромѣ важной гарантіи (?), заключавшейся въ мягкости характера двухъ благочестивыхъ царей (т.-е. Михаила и Алексѣя). Отъ наказанія кнутомъ и батогами обычай и законъ началъ освобождать бояръ и думныхъ людей, но всѣ другіе подвергались ему за всякія преступленія... Отсутствие законнаго суда, обезпечивающаго личность, заставляло людей прибѣгать къ лицемерію, къ двуличности и пр. Боязнь произвола сильныхъ заставляла людей прятать деньги и жить въ грязныхъ и дымныхъ лачугахъ, спать на скамьяхъ безъ постелей, носить грязное платье и бѣлье; все это дѣлалось съ тою цѣлью, чтобы не подать подозрѣнія въ богатствѣ» (стр. 249). Корыстолюбивое духовенство, овладѣвъ огромными богатствами, не содѣйствовало нисколько умственному и нравственному развитію народа; напротивъ, оно старалось освободиться отъ всякихъ обязательныхъ отношеній къ государству и, по возможности, устраивало себѣ рай въ здѣшней жизни. Всегда раболѣпное передъ свѣтскою властью, которая распоряжалась мірскими благами, духовенство наше, за немногими исключеніями, вступалось ревнивѣе всего за свои матеріальные интересы. Когда же оно пробовало выйти изъ сферы матеріальныхъ расчетовъ въ широкую область государственной жизни, его сочувствія

принадлежали застою и косности, а не движенію, не прогрессу.

Читатель видитъ, что картина, нарисованная нами по матеріаламъ г. Хлѣбникова, не отличается привлекательностью, и нужно имѣть «нарочито-острое» воображеніе, чтобы представить себѣ что-нибудь худшее. Тѣмъ не менѣе, г. Хлѣбниковъ стоитъ на томъ, что безъ благодѣтельной помощи московской централизаціи, мы просто сгинули бы со свѣту съ нашими старыми вѣчами и городскими республиками. Тутъ есть, очевидно, какое-то крупное недоразумѣніе, какая-то недомолвка, которую слѣдуетъ найти и указать автору. Постараемся сдѣлать это кратко, такъ-какъ картина, изображенная выше, краснорѣчиво говоритъ сама за себя и избавляетъ насъ отъ пространныхъ объясненій.

Географическія условія, способствующія, по мнѣнію г. Хлѣбникова, развитію деспотизма, существовали у насъ и прежде, въ эпоху напр. Владиміра Мономаха; границы были также мало обезпечены отъ нападеній враговъ: съ юга—половцевъ; съ запада—нѣмцевъ, поляковъ и венгровъ; но отчего же Владиміръ Мономахъ, по характеру своей власти и дѣятельности, такъ мало похожъ на царя опричниковъ? Возьмите «Поученіе» Владиміра Мономаха. Вы видите, что дѣятельный князь бѣольшую часть своей жизни провелъ въ походахъ; но онъ находилъ время и совѣщаться съ дружиною, и заботиться о своемъ собственномъ образованіи. Человѣческій образъ «излюбленнаго князя» русской земли просвѣчиваетъ въ каждой строкѣ его поученія: онъ совѣтуетъ заботиться о бѣдныхъ, защищать слабыхъ, водить дружбу съ иностранными гостями, исполнять по духу, а не по бук-

вѣ, предписанія религіи. Есть ли тутъ сходство съ дикою бранью, изливаемой Іоанномъ Грознымъ на князя Курбскаго—за то только, что строптивый воевода отказался «принять вѣнецъ мученическій?» Могла ли вмѣститься въ головѣ Мономаха несчастная мысль—сдѣлаться мучителемъ своего народа, да и потерпѣлъ ли бы самый народъ такого мучителя? Новгородцы не менѣе кіевлянъ вынуждены были заботиться объ отраженіи непріятеля и слѣдовательно—по теоріи г. Хлѣбникова—у нихъ прежде всего должна бы развиться сильная диктатура; но это не мѣшало новгородцамъ ежеминутно изгонять своихъ князей: одного за то, что «не блюдетъ смердъ», другого за то, что овладѣваетъ частною и общественною собственностью, а также «выводитъ иноземцевъ», поселившихся въ городѣ, и т. д. Отсюда видно, что географическія условія и необходимость самозащиты далеко еще не ведутъ къ водворенію опричнины. Такъ же мало повела бы къ этому идея объединенія Россіи, еслибы народъ имѣлъ полный просторъ и свободу—выбрать для этой идеи соотвѣтствующую форму. Общерусскій патріотизмъ, сознаніе единства и нераздѣльности русской земли, пробивается уже сильной струей въ «Словѣ о полку Игоревѣ»; то же сознаніе, безъ всякой примѣси вѣрнопостническихъ замысловъ, видимъ мы въ дѣйствіяхъ лучшихъ князей удѣльно-вѣчеваго періода, — и странно утверждать, что единственнымъ исходомъ для русскаго патріотизма была именно московская централизація, закрѣпостившая народъ сверху до низу, лишившая его и политическихъ правъ, и сознанія необходимости пользоваться ими. Поголовныя народныя вѣча—сколько бы ни говорили противъ нихъ узкіе защитники порядка quand

еще—имѣли ту неоспоримую заслугу, что, привлекая каждаго къ участию въ политической и общественной жизни, и строго соблюдали интересы народа и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ороняли въ немъ здоровое понятіе о связи личныхъ, индивидуальных правъ и выгодъ съ правами и выгодами цѣлаго гражданскаго общества. Московская централизація только сплутировала въ свою пользу хорошіе результаты обогащенія и заселенія Руси, добытые прежней свободной жизнью рода. Г. Хлѣбниковъ самъ говоритъ: «Образованіе удѣловъ, раздробивши Россію на маленькія независимыя области, не давало возможности всеобщаго и одновременнаго прикрепленія крестьянъ, а частные законы въ отдѣльных княжествахъ повели бы за собою ихъ обезлюдѣніе, такъ-какъ сѣди воспользовались бы ими, чтобы сманить прикрепленныхъ крестьянъ. Земель было много, а работниковъ мало, потому всѣ удѣльные князья не только не старались задержать крестьянъ, но каждый непрерывно старался давать льготы крестьянамъ, переманеннымъ изъ другихъ удѣловъ» (стр. 46). Въ другомъ мѣстѣ г. Хлѣбниковъ признаетъ, что раздѣленіе государства на множество зависимыхъ владѣній было всегда «очень полезно для развитія городовъ» (стр. 70). Такимъ образомъ, отправляясь съ собственныхъ словъ г. Хлѣбникова, легко доказать, что и нашъ удѣльно-вѣчевой періодъ способствовалъ благостоянію крестьянъ и развитію городовъ, то онъ сослужилъ имъ однимъ огромную службу Россіи, и его дѣло только было испорчено послѣдующею правительственною системою. Торговое богатство Новгорода, его умственное и политическое развитіе, весьма высокое сравнительно съ Москвою —

это факты, которые невозможно отрицать или заподозривать: по свидѣтельству всѣхъ историческихъ документовъ новгородцы были богаче, честнѣе, нравственнѣе и умственноразвитѣе москвичей. При болѣе благопріятныхъ историческихъ условіяхъ, новгородское устройство могло бы распространиться по всей Россіи, соединивъ ее не крѣпостными цѣлями, но вольною, общенародною связью политическихъ, торговыхъ и промышленныхъ интересовъ. Г. Хлѣбниковъ напрасно измышляетъ: какую именно форму выбралъ бы для себя свободный союзъ русскихъ земель?—вопросъ этотъ уже разрѣшенъ самой исторіей Новгорода, и отдѣленіе Пскова, а также вятской общины отъ своей метрополіи показываетъ намъ, что опредѣленіе правильныхъ политическихъ отношеній между первенствующимъ городомъ и его колоніями вовсе не представляло непреодолимыхъ трудностей. Правда, что зависть между Псковомъ и Новгородомъ всегда существовала; но съ другой стороны они живо чувствовали солидарность своихъ политическихъ стремленій, и не даромъ у нихъ сложилась пословица: «душа на Волховѣ, сердце на Великой». Что же касается до экономической безурядицы, которую г. Хлѣбниковъ приводитъ въ числѣ главныхъ причинъ возвышенія центральной власти, — то изъ его собственнаго изложенія видно, что наше всеобщее раззореніе было не причиной, а слѣдствіемъ московскаго деспотизма.

Итакъ, по нашему мнѣнію, удѣльно-вѣчевой порядокъ палъ не вслѣдствіе своей внутренней несостоятельности и не потому, чтобы на смѣну его шелъ новый, болѣе совершенный политическій режимъ, но по другой причинѣ, которая пришла извнѣ и раздавила въ зародышѣ начатки свободной

политической жизни. Эту причину указывает мелькомъ г. Хлѣбниковъ, но не останавливается на ней съ должнымъ вниманіемъ и явно желаетъ навязать вѣчевому устройству то зло, которое не имѣетъ съ нимъ никакой органической связи. Татарское иго—вотъ пропасть, лежащая между Владиміромъ Мономахомъ и Иваномъ Грознымъ, и въ этой пропасти погибли и вѣча, и новгородская свобода, и естественное развитіе русскаго народа.

ОПЫТЪ ФИЛОСОФСКОЙ РАЗРАБОТКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ.

(«Соціально-педагогическія условія умственнаго развитія русскаго народа». Соч. Аеанасія Щапова. С.-Петербургъ. Изданіе Н. Полякова. 1870 г.).

I.

Между современными изслѣдователями русской исторіи Г. Щаповъ занимаетъ совершенно особое мѣсто, рѣзко отличаясь, по складу мысли и направленію своей дѣятельности, какъ отъ московскихъ теоретиковъ, подгоняющихъ всѣ факты подъ идею государственнаго интереса и государственной цѣлости, такъ и отъ петербургскихъ анекдотистовъ, которые не задаются въ своихъ трудахъ ужь ровно никакою идеею и тискаютъ въ печатныя статьи нисколько не осмысленныя матеріалы, отрытыя гдѣ-нибудь въ казенныхъ архивахъ или въ частныхъ запискахъ. Г. Щаповъ уже давно обратилъ на себя вниманіе именно своею способностью—отыскивать въ грудѣ разрозненныхъ фактовъ одну, обобщающую ихъ, идею; смотрѣть не поверхностно, но осмысленно и глубоко въ самую, такъ-сказать, подпочву развѣтвляющихся историческихъ событій, не обманываясь ихъ призрачною внѣшностью или выпуклой художественной стороною, и не ограничиваясь при этомъ какимъ-нибудь узенькимъ традиціоннымъ міровоззрѣніемъ, пропитаннымъ старовѣрствомъ, при полномъ отсутствіи истинно-научнаго, критическаго анализа. Въ такомъ,

по крайней мѣрѣ, духъ были написаны всѣ его послѣднія статьи, въ которыхъ авторъ, отрѣшившись отъ своихъ прежнихъ, нѣсколько мистическихъ и преувеличенныхъ восхищеній нашимъ земскимъ, народнымъ геніемъ, сталъ на спокойную точку зрѣнія раціоналиста-историка, относящагося съ одинаковымъ безпристрастіемъ и къ прогрессивной роли правительства (въ тѣхъ случаяхъ, когда таковая роль дѣйствительно выпадала на его долю), и къ повальному «недоумству» народной массы, легко объясняемому ея безправнымъ состояніемъ и долговременной умственной забитостью. Исторія русскаго интеллекта, русской мыслящей силы, двигавшейся впередъ сквозь тысячи препятствій, полагаемыхъ ей какъ природой и климатомъ страны, такъ и всей соціально-воспитывающей обстановкой, возникшей изъ осложненныхъ физическихъ и психологическихъ причинъ—вотъ главная задача послѣднихъ работъ г. Щапова. При выполненіи этой задачи г. Щаповъ пользуется пріемами и методомъ, уже указанными Боклемъ въ его «Исторія цивилизаціи Англіи»; но заимствуя у Бокля тѣ положенія, которыя одинаково примѣнимы къ исторіи умственного развитія всѣхъ народовъ, онъ видоизмѣняетъ или ограничиваетъ другіе боклевскіе тезисы, которые варьируются такъ или иначе, смотря по особымъ, характернымъ условіямъ исторической жизни каждаго народа. Такъ, напримѣръ, ставя на первый планъ, подобно Боклю, вліяніе природы на образованіе народнаго характера и признавая, вмѣстѣ съ нимъ, развитіе скептицизма начальнымъ шагомъ въ пріобрѣтеніи истинныхъ познаній, г. Щаповъ не могъ, въ виду великаго прогрессивнаго значенія петровской реформы, отнестись съ боклевской строгостью ко

всѣмъ рѣшительно проявленіямъ правительственной инициативы, хотя и не забылъ отмѣтить яркими красками дурныя послѣдствія господствовавшей у насъ государственной опеки и регламентаціи. Также точно—и по той же причинѣ—значенію личности Петра отведено у г. Щапова гораздо болѣе мѣста, чѣмъ сколько предоставляет его Бокль другимъ, подобнымъ же, вліятельнымъ лицамъ западноевропейской исторіи. Все это показываетъ намъ, что г. Щаповъ занимается не просто пересадкою къ намъ готовыхъ воззрѣній передовыхъ европейскихъ писателей; но что онъ, сознательно вооружившись новымъ научнымъ методомъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, настолько изучилъ свой фактическій матеріалъ, что его выводы не предшествуютъ фактамъ, не навязываются имъ со стороны, но свободно вытекаютъ изъ нихъ, какъ болѣе или менѣе правильное, логическое заключеніе.

Книга г. Щапова—представляетъ собой, кажется, первую у насъ попытку обозрѣть въ связномъ, философски-обдуманномъ очеркѣ всю сумму общественно-воспитательныхъ, или соціально-педагогическихъ вліяній, подъ которыми суждено было развиваться русской мысли отъ основанія государства вплоть до нашихъ дней. Вліяніе природы, т.-е. физическихъ условій страны, на характеръ и склонности русскаго народа указывается здѣсь только мимоходомъ; главнѣйшимъ же образомъ г. Щаповъ рассматриваетъ въ своей книгѣ ту соціальную обстановку, которая, въ формѣ религіозныхъ представленій и государственныхъ «мѣропріятій», могущественно дѣйствовала на складъ, силу и направленіе русской мысли. Странно было бы требовать, чтобы въ этомъ едва-ли не первомъ опытѣ почтенный авторъ избѣжалъ всякихъ ошибокъ, упущеній или

же недостатковъ въ самомъ планѣ работы: подобныя требованія были бы равносильны фантастическому желанію—видѣть такую науку выходящей вполне обработанною изъ головы одного человѣка; но, несмотря на то, что г. Шаповъ даетъ поводъ возразить себѣ по многимъ пунктамъ, мы все-таки должны признать его трудъ весьма замѣчательнымъ вкладомъ въ современную русско-историческую литературу.

II.

Мы передадимъ сначала въ общихъ чертахъ содержаніе книги г. Шапова, а затѣмъ укажемъ тѣ ея мѣста, которыя, по нашему мнѣнію, требуютъ выясненія, дополненій или же переработки въ извѣстномъ смыслѣ.

Сравнивая, въ началѣ своего труда, исторію умственного развитія въ Россіи и въ Европѣ, г. Шаповъ говоритъ, что, то время, какъ въ Европѣ теоретическая мысль и философская самостоятельность развивались генеративно-поглодательно и образовали, наконецъ, въ XV вѣкѣ, цѣлую школу свободныхъ мыслителей, служившую выражениемъ (по словамъ Гизо) умственной революціи,—въ исторіи умственного развитія русскаго народа не замѣтно было послѣдовательнаго, философскаго изощренія мыслительной силы, и потому много вѣковъ совсѣмъ не было особаго класса, который посвятилъ бы себя культурѣ мысли. Племена, вошедшія въ составъ русскаго народа при основаніи государства, стояли еще на самой низкой, примитивной степени

своего интеллектуальнаго развитія. Краніологическія дованія послѣдняго времени показываютъ, что къ бы племени ни принадлежало, напริมѣръ, московсканное поколѣніе, въ средѣ котораго зарождалось свое государство, во всякомъ случаѣ краніологическое развитіе его не показываетъ присутствія сколько-нибудь ботанной способности мышленія. Сжатый черепъ, д и узкій, сильное развитіе затылочной его части, низк влснутый лобъ, малый личной уголъ—вотъ краніоскія черты этого племени, весьма напоминающія харстическія формы череповъ каменнаго вѣка и басковъ. Такое племя, очевидно, не могло само собою, собственн интеллектуальными силами, начать могучую умственную дѣятельность; во главѣ его не могъ выдвинуться стоятельный мыслящій и руководящій классъ. Оно демо должно было подчиниться, во первыхъ, интеллектуальному вліянію и господству скандинаво-германскихъ, скихъ князей и дружинниковъ, имѣвшихъ больше ности умственно развиться при условіи обширныхъ м походовъ, морской торговли и пр., во вторыхъ, интеллектуальному перевѣсу византійской церковно-учительной хин, сильной и вліятельной, если не физико-математическимъ ученіемъ Аристотелѣй, Эвклидовъ, Архимедовъ, то д кой Златоустовъ, Назіанзиновъ, Дамаскиныхъ и пр. ствительно, если мы, послѣ разсмотрѣнія череповъ, немъ въ доисторическій, мнѳологическій періодъ с русскаго интеллекта, то не найдемъ въ немъ ни ярныхъ зачатковъ высшаго разсудочнаго процесса, вѣне не могли еще возвыситься, силою отвѣченна

щевъ
регу-
10—
на-
рить:
Я не
интеллектуальное, не научно-мыслительное развитие русского
народа, а одно нравственно-религиозное воспитание. Все
главное ея назначеніе состояло въ развитіи грековосточнаго
христіанскаго умонастроенія, греко-восточной христіанской
вѣры и нравственности. Поэтому въ программу ея не вхо-
ня,
мы-
нते.
эри-
уся,
ное
чала
бла-
ью>.
гамн
тво-
убо-
за-

интеллектуальное, не научно-мыслительное развитие русского
народа, а одно нравственно-религиозное воспитание. Все
главное ея назначеніе состояло въ развитіи грековосточнаго
христіанскаго умонастроенія, греко-восточной христіанской
вѣры и нравственности. Поэтому въ программу ея не вхо-

И сама не питалась жизнью; облеченная въ отвлеченныя, сухія формы, она существовала отдѣльно, почти не касаясь живыхъ, современныхъ интересовъ общества. Утонченная діалектика въ области богословія, искусственныя и пустыя умозрѣнія въ философіи, декламація вмѣсто истиннаго краснорѣчія—вотъ что, болѣе всего, составляло ученныя занятія византійскихъ грековъ». При такой выродившейся, жалкой наукѣ, Византія, очевидно, не могла возбудить въ русскомъ народѣ развитія научной мыслительности. Въ самомъ христіанскомъ ученіи Византія, въ длинный періодъ схоластико-догматическихъ словопреній, почти нисколько не развивала умственно-образовательныхъ идей христіанства о человѣкѣ, объ общественныхъ отношеніяхъ, о началахъ любви и братства и т. п. Въ это время она только выработала и твердо, неподвижно установила догматъ о трехъ ипостасяхъ божества, о поклоненіи св. иконамъ, о почитаніи Богородицы и святыхъ, и разработала въ восточномъ духѣ церковную архитектуру, церковное богослуженіе, церковное пѣніе и церковную обрядность. Все это Византія передала и Россіи.

скихъ, но и классическихъ научныхъ идей. Такъ, напри-
мѣръ, въ аббатствѣ Кройландскомъ, въ концѣ XI вѣка,
было до 3,000 книгъ и въ томъ числѣ множество сочиненій
римскихъ классиковъ; въ аббатствѣ Гластонберійскомъ би-
бліотека заключала въ себѣ, въ 1248 году, 400 томовъ, и
между ними, бѣльшею частію, встрѣчались древне-классиче-
скія произведенія. Въ нашихъ же монастыряхъ, въ массѣ
библейскихъ, святоотеческихъ и богослужебныхъ книгъ (какъ,
напримѣръ, въ Соловецкомъ, Сергіевомъ, Кирилло-Бѣлозер-
скомъ и другихъ книгохранилищахъ) не находилось иногда
ни одной древне-греческой или римской рукописи. Наконецъ,
если такія рукописи попадали къ намъ и переводились на
русскій языкъ, то и тутъ предпочтеніе оказывалось авто-
рамъ въ родѣ, напримѣръ, Козьми Индикоплавта, который,
въ своей «Книгѣ міра», доказывалъ, что земля четырехугольна,
небо, въ видѣ полукруга, прикрѣплено къ краямъ ея, и что
окрестъ всей земли океанъ. «Такимъ образомъ—говоритъ
г. Щаповъ въ заключеніе своей характеристики византий-
скаго вліянія—классицизмъ не былъ историческимъ нача-
ломъ интеллектуальнаго развитія въ Россіи, каковымъ былъ
на Западѣ. Онъ не былъ у насъ, какъ на Западѣ, предва-

скупом на дары,—народъ вашъ естественно, въ периодъ своего

того, чтобы въ умахъ русскихъ развить способность и возбудить любовь къ математическому и естественно-научному мышленію и знанію, надобно было, вопервыхъ, явиться во главѣ русскаго народа генію, образовавшемуся подъ вліяніемъ западнаго разума, и энергично предпринять систематическое ученіе молодыхъ поколѣній математикѣ и естественнымъ наукамъ; во вторыхъ, необходимо было начинать, такъ сказать, съ азбуки математики и естествознанія и все, относящееся къ этимъ наукамъ, начиная съ ариѳметики и кончая астрономіей, заимствовать на Западѣ, гдѣ геніи Коперниковъ, Декартовъ, Кеплеровъ, Ньютоновъ и Лейбницевъ давно обогатили естественныя и математическія науки великими открытіями и воспитали уже цѣлыя поколѣнія естествоиспытателей и математиковъ. И вотъ Петръ-Великій является первымъ нововводителемъ въ дѣлѣ реального, естественно-научнаго воспитанія и развитія молодыхъ поколѣній въ Россіи... Желая просвѣтить народъ рабочій, практический, Петръ-Великій и съ Запада заимствовалъ такія реальныя, математическія и естественныя науки, которыя преимущественно возбуждаютъ и воспитываютъ реалистическое умонастроеніе и относятся прямо или косвенно къ реальнымъ, физическимъ работамъ народа, къ народному и государственному хозяйству. На естествознаніе онъ больше смотрѣлъ съ утилитарной точки зрѣнія. Петръ-Великій основалъ въ Россіи первыя свѣтскія училища съ реально-

соціальныя раны заживуть сами собою
каго умственного сна и безъ всякаго
просвѣщенія. Они проповѣдовали объ

Не разсуждай, не хлопочи:

Безумство ищетъ, глупости

Дневныя раны сномъ лечи,

А завтра быть тому, что

Вовторыхъ, успѣшности государст

вствовали непостоянныя, измѣнчивыя

правительствѣ, хроническія реакціи, слишкомъ памятливыя
въ исторіи русской мысли. Если бы ровно и послѣдова-
тельно развивались у насъ только такія попеченія правитель-
ства, какъ напримѣръ, заботы Петра о распространеніи евро-
пейскихъ наукъ или мѣры Александра Павловича къ развитію
просвѣщенія въ первую половину его царствованія, то, безъ
сомнѣнія, и мысль русская развивалась бы также непрерывно-
послѣдовательно, безъ остановокъ и болѣзненныхъ кризисовъ.
Но въ томъ-то и бѣда, что въ историческомъ развитіи пра-
вительственной опеки не было правильнаго, прогрессивнаго
движенія, а, напротивъ, часто выпадали продолжительные
періоды застоя и суровой реакціи. Такъ, напримѣръ, съ
конца XVIII-го столѣтія, т.-е. со времени французской ре-

собранные нашей, положимъ,
 лукой, дали, однако, возможн
 нигу, а мы думаемъ, что п
 полезно, чѣмъ какой-нибудь

внй курсъ геогнозін или механики. Умственное развитіе до
 гается не однимъ изученіемъ матеріальной природы, не
 нимъ обращеніемъ съ микроскопомъ и ретортою; къ
 ведетъ не менѣе прочнымъ образомъ изученіе услові
 законовъ индивидуально-психологической и общественной
 жизни — словомъ, того, что составляетъ предметъ
 хологическихъ, ,соціальныхъ наукъ. Недаромъ Контъ
 ставилъ соціологію, или науку о проявленіяхъ личн
 въ обществѣ, на верхней ступени человѣческаго позна
 такъ-какъ знаніе ея подразумѣваетъ собой знані
 ство съ низшими отраслями наукъ, но далеко не
 черпывается имъ. Мы не споримъ, что современ
 философія, исторія, юриспруденція, психологія, эстетика
 удовлетворяютъ требованіямъ точной, раціональной крити
 но онѣ еще менѣе будутъ удовлетворять имъ, если мы
 оставимъ окончательно въ забросѣ и ограничимъ н
 умственную дѣятельность одними огородами, фабрикам
 лабораторіями. Хорошіе садовники и минералогіи, ни
 какомъ случаѣ, не замѣнятъ намъ людей съ хорошимъ
 ніемъ и пониманіемъ общественной жизни. Скажемъ, на
 нецъ, что авторъ, придавая большое значеніе прир

ва

есе

та

тиковъ, тоже вышедшихъ изъ народа
тъ, тяжелыхъ условій русской жизни.
ти, по виду, разрозненные факты, об-
эскій путь, и ненормальныя отъ него
— вотъ прямая обязанность писате-
лѣй умъ не ограничивается въ исторіи
вою или курьезной стороною. Надо
въ послѣднее время, благодаря сравни-
віямъ русской прессы, исторія раскола
пна критической обработкѣ; но мы все-
тъ утверждать, чтобы въ нашей лите-
ончательно даже крупнѣйшіе фазисы
ліи на Руси. Объ иныхъ вопросахъ не
другихъ говорится — но двусмысленно
аго взгляда на расколъ еще не вы-
матеріаловъ для него накопилось уже
ніе г. Нильскаго, лежащее передъ на-
етъ литературы раскола никакими по-
осъ, взятый имъ, такъ интересенъ самъ
сухомъ изложеніи, преисполненномъ
аемыхъ цитатъ, онъ можетъ расшеве-
читателя. Какъ сложилась семейная
расколъ? Какія формы выработала она
отъ традиціонной почвы?—вопроша-
ѣчается на это пространнѣе тракта-
акты говорятъ гораздо краснорѣчивѣе
ній. Мы воспользуемся прежде этими
ажемъ нѣсколько словъ объ отношеніи
цмету.

Извѣстно, что на первыхъ порахъ литургическихъ преобразованій Никонскому постановленію 1666—7 года, боясь, не имѣли въ виду устроить свою службу на какихъ нибудь новыхъ началахъ, но старались «древлее благочестіе», удерживая божию ту церковную практику, которую считали правильною, предшественники Никона. Сами же боялись съ своей стороны, что расколъ дѣло совершенно такъ же, какъ каконитское въ Египтѣ. Иона (и даже самъ патріархъ Михаилъ Федоровичъ, во время своего «Потребника»). Ученыхъ справщиковъ и казанію Ионы, потребовали къ отвѣту, и заперли въ тюрьму единственно въ томъ, что въ «Потребникѣ» не было въ молитвѣ водоосвященія: «пріиди, Господи, Духомъ твоимъ и огнемъ». Отсюда и возникли обвиненія, что они — «Духа святого яко огонь есть». За это одного изъ споровниковъ, архимандрита Діонисія, отказавшагося допустить «дымъ на палатяхъ», морили въ кандалахъ на площади, гдѣ народъ бросалъ въ него грязью, какъ еретика. Страданія мнимыхъ казненныхъ цѣлый годъ и кончились, только по повелѣнію іерусалимскаго патріарха Теофила, бывшаго въ Москву для сбора милостыни, для Филарета, уже патріарха, въ нѣкую «палату огня». (См. «Русскіе исповѣдники и

1

внихъ, обря-
тивъ церков-
нъ епископъ,
: время, по-
архію; но и
тельно, сто-
но, угрожала
и безъ цер-
и однажды
мъ быть въ
свѣтъ Павла
о сектѣ, въ
ь оправданіе
вершая надъ
Коломенскій
ія благодати
поповцы же,
«оскудѣнія
архіерей за-
іе съ право-
торныя таян-

ства, какъ напр., крещеніе и покаяніе, самимъ мірянамъ.
На сторонѣ безпоповцевъ стоитъ и такой авторитетъ, какъ
знаменитый протопопъ Аввакумъ, который внушалъ рас-
кольникамъ непримиримую ненависть къ новопоставленному
духовенству. «А съ водою какъ онъ (т.-е. никоніанскій

былъ при этомъ соблюденъ, и
прятать концы своихъ люб
торныя секты (какъ напр. стефановщина) мало об
иманія даже на соблюденіе этого декорума, и—по
интереснымъ у самого г. Нильскаго—ихъ наставники
жили «въ кельяхъ на уединеніи съ зазорными лю
ховными дочерьми». И такое явленіе нисколько
льно: формальное благочестіе древней Руси, пе
нымъ такъ умиляются наши любители старины,
того и не могло скрывать подъ собою, кромѣ
разнузданности, плохо замаскированной лицеѣр
дами. Извѣстенъ напр. обычай нашихъ предковъ
ать образа въ комнатѣ, приготовляясь въ нѣко
ѣховному дѣлу... Лики угодниковъ не видѣли
овѣсть грѣшника была успокоена. Счастливыя ис
разумѣется, встрѣчались всегда, но они не нѣмѣ
го характера нашего религіознаго благочестія,
саго, односторонняго, поглощеннаго одною внѣш
обрядностью. Кромѣ того, на помощь нравственной

Щють у него вся сирадь и зѣло дурна, огнемъ пышетъ
рта, а изъ ноздрей и изъ ушей пламя сирадное исхо-
дитъ. А въ 1669 г., по всему пространству необъятной
раскольники, бросивъ всѣ свои обычныя занятія, со-
бравшись семействами изъ домовъ въ лѣса и пустыни, и
собравшись толпами, постятся, молятся, приносятъ
другу покаяніе въ грѣхахъ, приобщаются старинны-
ми и, надѣвъ чистыя рубахи и саваны, ложатся въ
уже приготовленные гробы. Изъ этихъ гробовъ, въ
нихъ трубы архангела, раздаются заунывный напѣвъ:

Дремаю гробъ сосновый
Радъ меня строень;
Въ немъ буду лежать.
Труба гласа ждати.
Ангелы вострубить,
Изъ гробовъ возбуждять.
Я хотя и грѣшенъ,
Пойду къ Богу на судъ и пр. и пр.

На сей разъ ангелы однако не вострубили, и при-
шествіе антихриста откладывалось потомъ на различные
сроки. Такъ, напримѣръ, его ожидали въ 1691 г., затѣмъ въ
1702 г. Этотъ послѣдній срокъ, начавшихся реформъ Петра Великаго, казавшихся бол-
ею неправославными, антихристіанскими, представля-
лъ того вѣроятнымъ, что мысль о наступленіи царства
христового въ началѣ XVIII-го вѣка сдѣлалась досто-
верною не только раскольниковъ, но и многихъ изъ правосла-
вныхъ. Проповѣдь Талицкаго, возвѣщавшаго близкое разру-
шеніе міра, выслушивалась, съ одинаковымъ страхомъ, ка-
кимъ народомъ, такъ и высшими лицами изъ духов-
наго и боярскаго вѣдомства. Вслѣдствіе этого безпоповщинскіе учителя,

каго милосердія» раскольничьихъ перекрещивателей, хотя бы они раскаявались и «св. таинъ причаститися желали истинно», подвергавшее кнуту всѣхъ перекрещивавшихся у

мученій. Менѣе фанатическіе ревнители старались бѣгствомъ въ сосѣднія страны — въ Іцію, Турцію, Пруссію и на Кавказъ. При этомъ бѣгствѣ положено было основаніе знамен Вѣтѣ на землѣ пана Халецкаго, и «мнози т прославляемая мѣста». Яростные же фанаты «нашествіе мучителей и ихъ наѣздъ съ оружіемъ», сжигали себя сами, цѣлыми массами, д царствія небеснаго. Въ 1687 г. раскольники 2,700 человекъ, сожглись въ Палеостровскомъ въ томъ же монастырѣ въ 1689 г. сгорѣло кольниковъ. Въ 1693 г., въ одной деревнѣ губерніи, сожглось до 800 раскольниковъ, а донесенію іеромонаха Игнатія св. Дмитрію Родномъ его приходѣ—«сожглось душъ обоюдного возраста 1,920, кромѣ нныхъ окрестныхъ ремень, въ коихъ безчисленное множество народа такъ что «наполняшеся воздухъ, отъ труповъ смрадной вони на многи дни». Св. Дмитрій какъ извѣстно, не ослабно наблюдать за ра Вообщее, вслѣдствіе узаконенія 1684 г., у насъ одна тысяча народа. Въ такое суровое время когда было думать объ утѣхахъ семейной жизни бракъ, естественно, устранялся на задній планъ щинская секта,—рѣшившаяся принимать къ себѣ новъ «новаго поставленія», при помощи которыхъ бы безпрепятственно совершать браки,—даже и валась, въ это время, отъ семейной жизни првой грозой смертной казни или мучительныхъ

всенародно объявлялъ, что онъ «совѣсти человѣка» приневоливать не желаетъ и охотно предоставляетъ дому христіанину, на его отвѣтственность, пешихъ оженствѣ души своей», и общалъ при этомъ «крѣпко трѣть, чтобы никто, какъ въ своемъ публичномъ, такъ частномъ отправленіи богослуженія, обезпокоенъ не бы». Въ томъ же году случилось Петру переходить изъ Арханска въ Повѣнецъ черезъ извѣстную рѣку Выгъ (по имени которой названа безпоповщинская Выговская пустыня), и было доложено, что на этой рѣкѣ живутъ расколы «Пускай живутъ!»—отвѣчалъ онъ по свидѣтельству исто Выговской пустыни—и поѣхалъ смирно, яко отецъ отецъ благоутробнѣйшій». Вскорѣ послѣ этого (въ 1705 г.) Пцезъ черезъ своего любимца Меншикова, входитъ даже въ прсношенія съ обитателями «пустыни»—бывшей главнымъ тономъ тогдашней безпоповщины—и, въ награду за согныхъ работать на повѣнецкихъ заводахъ, даетъ имъ уваправо на открытое, свободное отправленіе богослуженія старопечатнымъ книгамъ. Поручая въ 1706 г. Пцеззаняться обращеніемъ раскольниковъ въ Нижегородской беріи, Петръ внушалъ ему: «съ противниками церкви кротостію и разумомъ поступать, по апостолу: быхъ бконнымъ, яко беззаконенъ, да беззаконныхъ приобрбыхъ всѣмъ вся да всяко нѣкіе спасу—а не такъ, кнниѣ, жестокими словами и отчужденіемъ». Въ 1708 г., когда Карлъ XII вступилъ въ Малороссію достигъ стародубскаго края, нѣкоторые изъ стародубс раскольниковъ нанали на непріятеля, нѣсколько сотенъ били, а живыхъ привели плѣнниками къ государю, быв

а въ Стародубѣ. За такой патріотизмъ Петръ тогда же приказалъ переписать всѣхъ стародубскихъ раскольниковъ вердилъ ихъ лично за собою «съ тѣмъ, чтобъ впредь ни никто не могъ владѣть». Въ 1714 г. Петръ торжественно даруетъ раскольникамъ право, наравнѣ со всѣми иными подданными, жить въ селеніяхъ и городахъ «безо всякаго сомнѣнія и страха», лишь бы только они объявляли о въ приказѣ церковныхъ дѣлъ и записывались въ пла-тъ двойнаго оклада. Дальше, указами 1719, 1720 и 1722 въ, позволено было раскольникамъ не ходить на исповѣданіе, вѣнчаться не у церкви, носить бороду и платье стариннаго покроя, съ условіемъ только платить за всѣ эти льготы отдѣленную денежную пеню. Всѣми этими мѣрами Петръ доказалъ, что, не видя серьезной опасности въ религіозномъ расколѣ, раскольниковъ съ государственной церковью, подводитъ его подъ разрядъ обыкновенныхъ полицейскихъ провинностей, за которыя достаточно брать, въ видѣ штрафа, усиленный подушный окладъ. Штрафъ же этотъ обращенъ на заведеніе флота, на прорытіе каналовъ, на устройство школъ и тому подобныя потребности реформы. Только къ концу своего царствованія, убѣдившись изъ дѣла Платона Алексѣя и многихъ другихъ частныхъ случаевъ, раскольники ведутъ подкопъ—не противъ одной лишь церковной обрядности, но и противъ всѣхъ европейскихъ нововведеній, Петръ причислилъ раскольниковъ дѣла «къ злобнымъ» и снова обратился, хотя далеко не съ прежнею жестокостію—къ тому уголовному арсеналу, который былъ у него подъ руками. Лично раздраженный и лично извѣданный раскольниками, спасая отъ разрушенія свое

любимое дѣло, Петръ забылъ уже тутъ свою прежнюю умѣренность и просвѣщенные взгляды на расколъ. Тѣмъ не менѣе, раскольники, въ царствованіе Петра, чувствовали себя гораздо спокойнѣе и безопаснѣе, чѣмъ прежде, а главный пріютъ безпоповщины — Выговская пустыня, гдѣ умный и хитрый настоятель Андрей Денисовъ успѣлъ убѣдить своихъ единовѣрцевъ въ возможности соединенія истиннаго христіанства съ подданствомъ Петру, — разбогатѣлъ до такой степени, что обитатели его, нѣкогда сами терпѣвшіе голодъ, нашли возможнымъ помогать изъ своихъ средствъ не только раскольникамъ, бывшимъ въ зависимости отъ монастыря, но и постороннимъ лицамъ, разумѣется, съ тайною цѣлью привлечь ихъ въ свои ряды. Фанатизмъ Выговскихъ скитовъ, выражавшійся прежде въ открытой враждѣ къ власти и въ покушеніяхъ къ самосожигательству, сталъ теперь, мало-по-малу, слабѣть, а вслѣдъ затѣмъ началъ колебаться и ихъ прежній аскетизмъ. Проповѣдники суроваго житія, проводившіе прежде сами строгую жизнь, — теперь, среди всеобщаго изобилія и довольства, стали позволять себѣ такіа утѣхи въ жизни, которыя ясно показывали, что ревнители иноческаго подвижничества далеко не прочь и отъ наслажденія благами міра сего. «Пустынныя плоды чрева инокинъ» приносились все чаще и чаще, и самъ Андрей Денисовъ, доказывавшій необходимость безбрачной жизни, началъ снисходительнѣе смотрѣть на брачное сожитіе раскольниковъ, видя въ немъ средство избавиться отъ переменнаго разврата. Если прибавить къ этому, что ученіе о близкой кончинѣ міра, также служившее препятствіемъ къ брачнымъ союзамъ, хотя и продолжало существовать въ Выгов-

скомъ скиту, но уже только въ одной теоріи, и плохо мирясь съ спокойнымъ, обеспеченнымъ положеніемъ раскольниковъ, — то мы легко поймемъ, что удовольствія правильно-организованной семейной жизни снова стали рисоваться въ воображеніи людей, отдохнувшихъ отъ преслѣдованій. Къ тому же, въ ихъ средѣ уже перевелись тѣ выходцы изъ разныхъ монастырей, которые хотѣли весь раскольниковскій міръ превратить въ одну громадную монастырскую общину. Тогда-то и обнаружилось въ безпоповщинскомъ расколѣ сильное движеніе въ пользу брака, которое повело сначала къ литературной полемикѣ, а потомъ и къ распаденію самаго раскола на двѣ враждебныя партіи. Первымъ раскольниковомъ, признавшимъ, что бракъ, заключенный въ православной церкви, слѣдуетъ считать законнымъ и не расторгать, — былъ Θεодосій Васильевъ, который вздумалъ, въ концѣ XVII вѣка, основать отдѣльное раскольниковское общество, съ тѣмъ, чтобы самому стать во главѣ его. Съ этою цѣлью Θεодосій оставилъ Новгородъ, убѣждалъ со всею семьей въ Польшу и здѣсь положилъ основаніе особому раскольниковскому толку, получившему, по его имени, названіе еедосѣвщины. Своимъ ученіемъ о бракѣ Θεодосій сталъ въ противорѣчіе съ своими прежними единомышленниками — поморцами, и это дало поводъ къ спорамъ между ними, окончившимся не въ пользу брака. Θεодосій, какъ видно, слишкомъ слабо мотивировалъ свое уклоненіе отъ прежнихъ взглядовъ, и потому, хотя онъ самъ устоялъ до конца жизни въ своемъ противорѣчій, но послѣдователи его, замѣтивъ недостаточность его доказательствъ, признали нужнымъ, вскорѣ послѣ его смерти, разводить всѣхъ повѣнчанныхъ до перехода въ расколъ — «на чистое житіе». Го-

раздо стойче и рѣшительнѣе была поддержка, оказанная браку Иваномъ Алексѣевымъ—однимъ изъ стародубскихъ раскольниковъ, попавшимъ въ упомянутую нами переписку при Петрѣ. Это былъ весьма умный и энергическій человѣкъ, очень начитанный и наблюдательный, не закрывавшій глазъ на недостатки своего общества. Наставниковъ еедосѣвскихъ онъ безъ церемоніи сравнивалъ за ихъ невѣжество и умственную слѣпоту, съ «нѣкими нетопырями темными, кои зрящихъ истинно досаждаютъ», и открыто нападалъ на тотъ безшабашный развратъ, которому предавались эти наставники, прикрытые благовидной ширмой иноческаго житія. Долго думая надъ вопросами о бракѣ, Алексѣевъ пришелъ къ тому заключенію, что вынужденное безбрачіе безпоповцевъ имѣло нѣкогда историческое оправданіе—въ отсутствіи правильнаго священства и въ строгомъ аскетизмѣ первоначальныхъ безпоповцевъ, жившихъ, по стеченію неблагоприятныхъ обстоятельствъ, въ лѣсахъ и пустыняхъ;—но что теперь второе изъ этихъ условій замѣнилось полнѣйшей физической разнузданностью, а о чистотѣ нравовъ нѣтъ и помину. Что же касается до перваго условія, которое Алексѣевъ, какъ вѣрный раскольникъ, обязывался признавать съ прежней рѣзкостью, — то онъ постарался обойти его совсѣмъ въ этомъ вопросѣ, доказывая, что священникъ есть только простой свидѣтель при совершеніи брака и что самый бракъ есть тайна, но не въ смыслѣ таинства, какъ понимаетъ его православная церковь—таинства, въ которомъ чрезъ пресвитерское вѣнчаніе и благословеніе сообщается брачующимся особенная благодать св. Духа,—а въ смыслѣ таинственного значенія супружеской любви, какъ образа любви Христа

въ церкви. Продолжая развивать свой взглядъ на бракъ, Алексѣевъ говорилъ, что бракъ установленъ самимъ Богомъ еще при созданіи первыхъ людей, что основаніемъ его служитъ благословеніе, данное Богомъ Адаму и Евѣ, а чрезъ нихъ и всѣмъ ихъ потомкамъ, и что поэтому, для заключенія брака, не требуется особенная благодать, исходящая отъ іерея, но должны быть соблюдены только слѣдующія три правила: во первыхъ, согласіе вѣнчающихся на бракъ, при взаимной любви; во вторыхъ, «общенародное» выраженіе этого согласія передъ свидѣтелями (къ числу которыхъ принадлежитъ и священникъ); наконецъ, третьихъ — согласіе родителей, необходимое для того, чтобы выразить въ немъ законную родительскую власть надъ дѣтьми, и также, чтобъ не допустить въ бракъ какихъ либо злоупотребленій, напримѣръ, близкаго родства, дурнаго выбора жениха или невѣсты и пр. Но что же послѣ этого значитъ церковное вѣнчаніе брака, принятое во всѣхъ христіанскихъ церквяхъ? Это, по словамъ Алексѣева, не больше, какъ «общенародный христіанскій обычай», неимѣющій прямаго отношенія къ существу брака; введено же церковью вѣнчаніе для того, чтобы имъ отличить законное сопряженіе брачующихся лицъ отъ блуднаго сожитія, въ соотвѣтствіе «нѣкоему чину», употреблявшемуся при заключеніи браковъ еще въ ветхомъ завѣтѣ между іудеями, и «общенародному обычаю», существовавшему въ древности въ разныхъ формахъ и существующему донынѣ между язычниками. Отсюда Алексѣевъ дѣлаетъ выводъ, что, при неимѣніи православнаго священства, можно вѣнчаться и въ церкви еретической. Христіанскій общенародный обычай чрезъ это будетъ соблюденъ, а благодать, необходимая

для брака, которой еретики не имѣютъ, зависитъ не отъ вѣнчанія, а отъ первоначальнаго Божія благословенія. «Очевидно — присовокупляетъ г. Нильскій — что Алексѣевъ смотритъ на бракъ съ естественной, а не съ христіанской точки зрѣнія, и разумѣетъ собственно бракъ, такъ-называемый, гражданскій» (стр. 122). Для подкрѣпленія этого гражданского брака, Алексѣевъ заимствовалъ свои аргументы и изъ большаго катихизиса, и изъ Кормчей книги, и изъ церковной исторіи, причемъ выказалъ замѣчательную богословскую эрудицію и ловкую діалектику, съ которой не всегда удачно борется г. экстраординарный профессоръ духовной академіи. Прежде всего Алексѣевъ выбралъ изъ большаго катихизиса и изъ Кормчей книги такіа опредѣленія брака, въ которыхъ — по словамъ г. Нильскаго — «повидимому, подается та мысль, что единственнымъ основаніемъ брака служитъ первоначальное Божіе благословеніе, данное въ лицѣ Адама и Евы всѣхъ ихъ потомкамъ, и затѣмъ — взаимное согласіе желающихъ вступить въ бракъ, выраженное словами передъ свидѣтелемъ». Такъ, напримѣръ, въ большомъ катихизисѣ, на вопросъ: что есть бракъ? дается такой отвѣтъ: «бракъ есть тайна, ею же женихъ и невѣста отъ чистыя любви своея въ сердцѣ своемъ усердно себѣ изволятъ и согласіе между собою, и обѣтъ сотворять, яко произволительно, по благословенію Божію, въ общее и нераздѣльное житіе сопрягаются: якоже Адамъ и Ева прежде паденія и безплотскаго смѣшенія правъ и истинный бракъ имѣста»; а на вопросъ: «кто есть дѣйственникъ тайны брака?» говорится, что это — во первыхъ, Богъ, сказавшій: «раститесь и множитесь», а во вторыхъ, сами брачующіеся, давшіе другъ

другу обѣты вѣрности. Объ участіи священника не упоминается совсѣмъ. Въ Кормчей же книгѣ сказано: «форма, или образъ совершенія брака, суть слова совокупляющихся, изволеніе ихъ внутреннее предъ іереемъ извѣщающая», и это выраженіе: предъ іереемъ привело Алексѣева къ той мысли, что священникъ, участвующій въ заключеніи брака, есть не больше, какъ одинъ изъ свидѣтелей взаимнаго согласія жениха и невѣсты на вступленіе въ брачный союзъ, но отнюдь не совершитель этого священнодѣйствія. Даже, изучая библейскую и «многія другія исторіи», Алексѣевъ замѣтилъ, что было время, когда браки заключались въ обществѣ человѣческомъ безъ всякаго «священнословія», т.-е. безъ всякаго внѣшняго обряда, по одному взаимному согласію лицъ, желавшихъ вступить въ бракъ, съ дозволенія родителей брачившихся. Такъ, по словамъ Алексѣева, — «по Адамъ сущіи народы на единомъ любовномъ основаніи брака начало и конецъ творяху: начало сего — благохотѣніе взаимное, конецъ же — слова общаго хотѣнія родителей жениха и невѣсты и самихъ жениха и невѣсты». Такъ заключались браки въ «естественномъ законѣ, даже до закона писаннаго», и не только между язычниками, но и между іудеями. Въ примѣръ подобныхъ браковъ между послѣдними Алексѣевъ указываетъ на бракъ Исаака съ Ревеккою. Въ послѣдствіи времени, говоритъ Алексѣевъ, у язычниковъ браки стали совершаться въ капищахъ, у іудеевъ же установился обрядъ приведенія брачующихся въ храмъ. Но такъ-какъ этотъ обрядъ явился уже въ законѣ писанномъ, а браки заключались прежде и считались законными, то очевидно — говоритъ раскольничій учитель — что заключеніе браковъ въ храмахъ и капи-

цахъ было учреждено не потому, чтобы безъ этого брачныя сопряженія не имѣли законности и силы, но единственно для того, чтобы, кромѣ согласія родителей, а также жениха и невѣсты, дать мѣсто еще и «согласію общенародному» и тѣмъ, съ одной стороны, сдѣлать бракъ формально болѣе твердымъ, а съ другой—предохранить вступившихъ въ него отъ разнаго рода нареканій, показавъ всѣмъ и каждому, что они начали свое сожитіе не «яко тати», какъ дѣлають блудники, а «подобательнымъ путемъ», т.-е. открыто, черезъ бракъ. Переходя затѣмъ въ исторіи новозавѣтной, Алексѣевъ и въ ней нашелъ основанія думать, что церковное вѣнчаніе не имѣетъ существеннаго значенія для брака. Такъ онъ говоритъ, что и въ церкви христіанской «первѣе быше бракъ, сему же послѣдоваша церковное дѣйство», и въ подтвержденіе своихъ словъ указываетъ на книгу Діонисія Ареопагита «о церковномъ священноначаліи», изъ которой будто бы видно, что при апостолахъ не было еще обычая совершать браки въ церкви, такъ-какъ Діонисій, перечисляя разныя таинства, не говоритъ ничего о вѣнчаніи брака. Алексѣевъ ссылается также и на другое обстоятельство изъ практики первенствующей церкви,—именно на то, что, при обращеніи язычниковъ къ вѣрѣ христовой, церковь совершала надъ ними крещеніе, миропомазаніе и др. таинства, но никогда не совершала надъ ними брака, если они находились до обращенія въ брачномъ сожитіи, а позволяла имъ жить по прежнему, какъ мужу и женѣ. Точно также, продолжаетъ Алексѣевъ, поступала церковь и съ еретиками, и притомъ не только съ такими, которыхъ принимали чрезъ одно отреченіе отъ ереси, но и съ такими, надъ которыми, при пріе-

мѣ ихъ, совершалось крещеніе. Наконецъ, Алексѣевъ указываетъ на то, что церковь православная никогда не пересѣивала лицъ православныхъ же, но вступавшихъ въ бракъ, по какимъ либо обстоятельствамъ, въ церквахъ еретическихъ. Всѣ эти разсужденія, вкратцѣ приведенныя нами, быть можетъ, ошибочны съ догматической точки зрѣнія; но они имѣютъ огромную важность для историка, наглядно показывая, что нашъ расколъ — по крайней мѣрѣ, въ лицѣ наиболее развитыхъ его представителей — не удовольствовался однимъ формализмомъ и религіозною казуистикой, но затронулъ, въ нѣкоторыхъ себѣтахъ, весьма крупныя вопросы, имѣющіе ближайшее отношеніе къ общественной жизни. Стоитъ замѣтить, что простой раскольникъ-крестьянинъ, не бывшій ни въ какихъ школахъ и академіяхъ, одною силою умственной пытливости, дошелъ до того, что могъ совершенно перенести вопросъ о бракѣ съ церковной на гражданскую почву, то-есть сдѣлать изъ брака тотъ общественный договоръ, который только очень недавно въ Европѣ пріобрѣлъ положеніе равноправное съ церковной формою брака. Врядъ-ли послѣ этого можно отрицать въ расколѣ присутствіе дѣятельной мысли и внутреннее прогрессивное движеніе, только замедляемое внѣшними препятствіями.

Доводы Алексѣева въ пользу брака нашли себѣ много приверженцевъ и служатъ до настоящаго времени опорною точкой для поморцевъ, вступающихъ въ бракъ. Но еедосѣевцы отвергнули ихъ, какъ еретичество, забывъ, что, въ такомъ случаѣ, самъ основатель ихъ секты былъ упорнымъ еретикомъ. Роли перемѣнились: поморцы, прежде нападав-

шіе на бракъ, сдѣлались его сторонниками, а еедосѣвцы, которымъ приличнѣе было бы, съ самаго начала, не противиться этому нововведенію, стали озлобленно нападать на «новоженовъ», рѣшавшихся войти хоть на полчаса, для совершенія брака, въ православную церковь. Началась ожесточенная борьба, продолжавшаяся довольно открыто въ царствованіе Екатерины и Александра, такъ-какъ въ это время, — особенно при Александрѣ, — расколъ пользовался уже значительнѣйшими, противъ прежняго, послабленіями и льготами. На сторонѣ брака, какъ гражданскаго обряда, который возможно совершать даже и при отсутствіи священника, стояли: Емельяновъ, одинъ изъ настоятелей покровской часовни въ Москвѣ, и Павелъ Любопытный, извѣстный раскольничій писатель. Противъ брака вооружались: знаменитый основатель преображенскаго московскаго кладбища, купецъ Ковылинъ, названный «отличнымъ бракоборцемъ», и бѣглый заводскій крестьянинъ, Гнусинъ, — «семиименная особа» (по выраженію Павла Любопытнаго), разгуливавшая по Россіи подъ семью различными именами. Аргументы Алексѣева въ защиту брака дополнялись и развивались его послѣдователями — и въ этой переработкѣ раскольничій бракъ сдѣлался окончательно гражданскимъ актомъ, такъ что въ Покровской часовнѣ, гдѣ совершались подобные браки, вошло даже въ обычай составлять особые свадебные контракты, подписываемые женихомъ и невѣстой (стр. 339). .

Нельзя не поблагодарить г. Нильскаго за трудолюбивое собраніе всѣхъ этихъ свѣдѣній, бросающихъ новый свѣтъ на исторію нашего раскола; но нельзя не указать также и

на пристрастный тонъ, съ которымъ относится онъ къ нѣ-
которымъ мнѣніямъ и даже къ фактамъ, имъ излагаемымъ.
Такъ, напимѣръ, ему очень хочется доказать, что расколь-
ничьи гражданскіе браки никогда не признавались на-
шимъ правительствомъ законными, а между тѣмъ изъ его
доказательствъ выходитъ только то, что правительство часто
колебалось въ своемъ взглядѣ на этотъ вопросъ, и что св.
синодъ нерѣдко пользовался случаемъ, чтобы расторгать
такіе браки. Но въ дѣлѣ, приведенномъ у Павла Любопыт-
наго (стр. 343), а именно въ дѣлѣ раскольника Мони-
на, женившагося по обряду поморской церкви, митрополитъ
Платонъ, а за нимъ и весь святѣйшій синодъ, рѣшили этотъ
вопросъ въ пользу Мони-на. Въ другой разъ тульская духов-
ная консисторія привлекла къ отвѣтственности одного без-
поповца за его бракъ, но св. синодъ, принявъ во вниманіе
гражданскія узаконенія, на которыя сослался отвѣтчикъ,
приказалъ преслѣдованіе это прекратить (стр. 403). Стало
быть, были гражданскіе законы, служившіе, такъ-сказать,
щитомъ для раскольниковъ. Они, дѣйствительно, приводятся
у самого г. Нильскаго. Первый законъ, на который ссыла-
лись раскольники, изданъ Петромъ въ 1719 г. и упомянутъ
Екатериной II въ 1762 г. при вызовѣ бѣглыхъ расколь-
никовъ изъ-за границы; онъ состоитъ въ томъ, что расколь-
ничьи браки, совершенные «не у церкви, безъ вѣчныхъ
памятей» — не расторгались, но только оплачивались извѣ-
стнымъ штрафомъ такъ же, какъ, напимѣръ, ношеніе бороды.
Второй законъ — это высочайше утвержденное мнѣніе госу-
дарственнаго совѣта (по дѣлу поручика Шелковникова о
разводѣ его съ женою), въ которомъ говорится: «для охра-

ненія твердости брачныхъ союзовъ постановить правиломъ, чтобы никакія въ гражданскомъ управленіи мѣста и лица не допускали и не утверждали между супругами обязательствъ и другихъ актовъ, въ коихъ будетъ заключаться условіе жить имъ въ разлученіи или какое либо другое произвольное ихъ желаніе, клонящееся къ разрыву супружескаго союза». Постановленіе это распространялось «на всѣ христіанскія исповѣданія, т.-е. какъ на тѣ, въ коихъ брачный союзъ почитается таинствомъ, такъ и на тѣ, въ коихъ онъ принимается за гражданскій актъ». Раскольники сейчасъ же причислили свои браки къ числу гражданскихъ актовъ, допускаемыхъ закономъ, и министерство внутреннихъ дѣлъ, повидимому, согласилось съ этою ихъ претензіею. По крайней мѣрѣ, въ томъ же 1819 г., министерство внутреннихъ дѣлъ не утвердило тѣхъ положеній комитета войска донскаго, которыми браки раскольниковъ, совершенные внѣ церкви, признавались недѣйствительными, а совершители такихъ браковъ предавались суду наравнѣ съ учителями раскола. Положенія эти были найдены «противными правиламъ кротости и служащими, съ одной стороны, поводомъ къ ожесточенію раскольниковъ, а съ другой — побужденіемъ прибѣгать къ средствамъ обмана и подлога» (стр. 405). Такая резолюція министерства показываетъ, что не одинъ московскій магистратъ смотрѣлъ на «брачную книгу» Покровской часовни, какъ на оффиціальныи документъ, подтверждающій раскольничьи браки, но что этого же взгляда придерживались и разумные люди въ нашемъ высшемъ правительствѣ.

ЦЕНЗУРНЫЙ ПРОЕКТЪ МАГНИЦКАГО.

(Изъ исторіи цензуры въ Россіи).

I.

Русская литература,—за небольшимъ исключеніемъ книгъ, издаваемыхъ университетами и учеными обществами на ихъ собственной отвѣтственности,—находилась нѣсколько десятиковъ лѣтъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ администраціи, и только съ ея дозволенія, выраженнаго красными чернилами цензора, могла бряцать на лирахъ, философствовать о природѣ и размышлять о предметахъ «общественнаго благоустройства». Это прямое вліяніе и руководство официальныхъ стражей надъ печатнымъ словомъ бывало по временамъ довольно снисходительно въ свободѣ мысли, допуская ее на столько, на сколько требовала развитая часть самого общества; но гораздо чаще оно же ложилось тяжкимъ гнетомъ надъ развитіемъ литературы, произвольно стѣсняя, урѣзывая и даже подавляя совсѣмъ тревожную мысль, неумѣвшую подладиться къ существующимъ требованіямъ. Легко понять, какъ безгранично было въ послѣднемъ случаѣ давленіе цензуры и какъ больно отражалось оно въ сознаніи мыслящихъ писателей, искренно убѣжденныхъ и дорожившихъ правильнымъ, неискаженнымъ выраженіемъ своей мысли. Тогда цѣлыя отрасли литературы становились невозможными,

такъ-какъ въ нихъ самовластно распоряжалось «благоусмотрѣніе» цензора, навязывая писателю не только казенныя, рутинныя мысли, но и казенный способъ ихъ выраженія. Была ли возможность, напримѣръ, при такихъ условіяхъ, развить стройную философскую систему, освѣтить правильнымъ взглядомъ рядъ историческихъ фактовъ, оцѣнить всестороннимъ образомъ какое-нибудь крупное явленіе современной общественной жизни? Философія и исторія могли существовать только въ жалкомъ видѣ; публицистика становилась почти совсѣмъ невозможною. Конечно, велика изобрѣтательность человѣческаго ума, и за недостаткомъ прямыхъ путей для выраженія мыслей существуютъ еще пути окольные; но въ этихъ уловкахъ и стремленіяхъ обойти цензурныя рифы, тратилось задаромъ много силъ, а результатъ все-таки выходилъ неудовлетворительный. Литература мельчала и начинала удаляться отъ серьезныхъ вопросовъ, предпочитая бесѣдовать съ любителями о погодѣ, лунѣ и дѣвѣ; вмѣсто философскаго направленія, въ ней появлялось ребяческое легкомысліе или трусливое двоедушіе; самый языкъ ея становился блѣднымъ, темнымъ, лишеннымъ красокъ, силы и энергіи. Въ серьезныхъ сочиненіяхъ установилась особая, условная азбука, и публика научилась читать не только по строкамъ, но и между строками, понимая нѣкоторыя выраженія въ обратномъ смыслѣ, разумѣя подъ одними предметами другіе. Такъ, напримѣръ, Турція и Австрія (меттерниховскаго закала) постоянно, въ теченіе долгаго времени, отдувались за Россію. Въ публицистическихъ статьяхъ появились уклончивыя приемы, состоявшіе въ неясныхъ намекахъ, въ нѣкоторомъ, такъ-сказать киваньѣ и подмигиваньѣ читателю; мимоходомъ вставлялись

фразы и даже страницы, повидимому, противорѣчившія основной мысли, но которыя понаторѣлый читатель безошибочно объяснялъ «обстоятельствами, отъ редакціи независящими». Упадокъ литературы подѣ вліяніемъ строгаго административнаго надзора былъ уже давно замѣчаемъ мыслящими людьми, хотя, по особымъ обстоятельствамъ, замѣчанія эти и не могли, до послѣдняго времени, попадать въ русскую печать.

«Истинные сыны отечества—писалъ въ 1801 г. въ негласной запискѣ одинъ образованный человѣкъ того времени, видѣвшій, что и правительство благопріятствовало свободѣ печати,—ждутъ уничтоженія цензуры, какъ послѣдняго оплота, удерживающаго ходъ просвѣщенія тяжкими оковами и связывающаго истину рабскими узами. Свобода писать въ настоящемъ философскомъ вѣкѣ не можетъ казаться путемъ въ развращенію и вреду государства. Цензура нужна была въ прошедшихъ столѣтіяхъ, нужна была фанатизму невѣжества, покрывавшаго Европу густымъ мракомъ, когда варварскіе законы государственные, догматы невѣжествомъ искаженной вѣры и деспотизмъ самый безчеловѣчный утѣсняли свободу людей, и когда мыслить — было преступленіе... Словесность наша всегда была подѣ гнетомъ цензуры. Столѣтъ, какъ она составляетъ отдѣлъ въ исторіи ума человѣческаго и его произведеній: мы имѣемъ много хорошихъ поэтовъ, прозаиковъ, видимъ на нашемъ языкѣ сочиненія математическія, физическія и др., но философіи — нѣтъ и слѣда! Можетъ быть, скажутъ, что у насъ есть переводы философскихъ твореній. Это правда, но всѣ наши переводы содержатъ только отрывки своихъ подлинниковъ: рука цензора

сзумѣла убить ихъ духъ... Цензоръ и простой гражданинъ смотрять на книги неодинаково. Простой просвѣщенный гражданинъ видитъ въ общихъ философскихъ положеніяхъ истины или заблужденія, однѣ признаетъ полезными, другія вредными, но вредными болѣе для самого писателя, показывающаго слабость своихъ умственныхъ способностей. Цензоръ же, напротивъ того, въ самыхъ важныхъ и общихъ истинахъ, чуждыхъ всякихъ частныхъ и личностей, видитъ опасность и расположенъ толковать ихъ въ худую сторону, увлекаясь или честолюбіемъ, или своеправіемъ, или боязнью потерять свое мѣсто». Отражая ходячій упрекъ, что свобода печати произвела будто бы французскую революцію, неизвѣстный авторъ высказывалъ слѣдующую, замѣчательно вѣрную мысль: «Если Сена послужила могилою для цѣлыхъ семействъ, бросившихся въ нее отъ голода; если улицы Парижа наполнены были день и ночь грабителями и убійцами; если кредитъ окончательно упалъ и во всемъ былъ страшный недостатокъ, то писатели въ этомъ отнюдь неповинны. Если я спокоенъ и счастливъ, говори мнѣ философъ, что угодно, я не пожертвую своимъ настоящимъ благосостояніемъ для неизвѣстнаго будущаго: такъ думаетъ народъ» *. Голосъ анонимнаго автора, такъ горячо вступившагося за свободу печатнаго слова, не былъ одинокимъ въ русскомъ обществѣ: недовольство цензурными порядками, не ограничиваясь негласнымъ ихъ

* Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ Россіи въ царствованіе Александра I. М. Сухомлинова, стр. 19—20.

порицаніємъ, проскальзывало, хотя изрѣдка, и въ печатныя книги, сквозь стѣснительныя рогатки, мѣшавшія откровенному обсужденію этого щекотливаго вопроса. Такъ, наприимѣръ, Радищевъ говорилъ въ своей извѣстной книгѣ: «Теперь свобода имѣть всякому орудія печатанія; но то, что печатать можно, состоитъ подъ опекою. Цензура сдѣлана нянькою разсудка, остроумія, воображенія, всего великаго и изящнаго. Но гдѣ есть няньки, то слѣдуетъ, что есть ребята, которыя ходятъ на помочахъ, отчего у нихъ бываютъ нерѣдко кривыя ноги. Гдѣ есть опекуны, слѣдуетъ, что есть малолѣтніе, незрѣлые разумы, которые собою править не могутъ. Если же всегда пребудутъ няньки и опекуны, то ребенокъ долженъ ходить на помочахъ, и совершенный на возрастѣ будетъ калѣка». Здѣсь же рассказывается случай, какъ въ управу благочинія (занимавшуюся тогда цензурованіемъ книгъ) принесенъ былъ для пропуска переводъ романа: «переводчикъ, слѣдуя автору, назвалъ любовь лукавымъ богомъ; мундирный цензоръ, исполненный духа благочестія, почернилъ сіе выраженіе, говоря: неприлично божеству называться лукавымъ». Еще замѣчательнѣй осужденіе цензуры, произнесенное Пнинымъ—уже по выходѣ перваго цензурнаго устава — въ «Журналѣ Россійской Словесности» (1805 г.). Статья его имѣетъ форму діалога между сочинителемъ и цензоромъ, и названа авторомъ — вѣроятно, для успокоенія совѣсти лица, пропускавшаго ее — «переводомъ съ манчжурскаго». Сочинитель приноситъ къ цензору рукопись подъ заглавіемъ: «Истина», прося разсмотрѣть и дозволить ее къ печати. Цензоръ поражается прежде всего дерзкимъ заглавіемъ, и, углубившись въ чтеніе тетради, нахо-

дѣтъ въ ней подозрительныя мысли въ такомъ родѣ: «не отнимайте ничего другъ у друга, просвѣщайте другъ друга, храните справедливость другъ къ другу» и т. п. Остановившись на нѣкоторыхъ, наиболѣе сомнительныхъ мѣстахъ, цензоръ требуетъ ихъ исключенія, и между нимъ и авторомъ завязывается назидательный споръ. «Вы — говоритъ авторъ своему литературному стражу—отнимая душу у моей «Истины», лишаете всѣхъ ея красотъ, хотите, чтобы я согласился, въ угожденіе вамъ, обезобразить ее, сдѣлавъ ее нелѣпою? Нѣтъ, г. цензоръ, ваше требованіе безчеловѣчно: виновать ли я, что истина моя вамъ не нравится, и вы не понимаете ее?... Познаніе истины ведетъ къ благополучію. Лишать человѣка сего познанія, значитъ, препятствовать ему въ его благополучіи, значитъ, лишать его способовъ сдѣлаться счастливымъ. Если можно не позволить одну истину, то должно уже не позволять никакой, ибо истины между собою составляютъ непрерывную цѣпь. Исключить изъ нихъ одну—значитъ, отнять изъ цѣпи звено и его разрушить. Притомъ же истинно великій мужъ не опасается слушать истину, не требуетъ, чтобъ ему слѣпо вѣрили, но желаетъ, чтобъ его понимали». При этомъ авторъ отстаиваетъ свое право, какъ совершеннолѣтняго, «отвѣчать самому за свой образъ мыслей и за дѣла свои». «Я уже не дитя—говоритъ онъ—и не имѣю нужды въ дядькѣ». Кромѣ того, по мнѣнію автора, цензорская подпись недѣйствительна даже и для того, чтобы успокоить литературнаго дѣятеля насчетъ судьбы его книги. «Ваше засвидѣтельствованіе—замѣчаетъ онъ цензору—можно назвать ничего не значущимъ, ибо опытъ показываетъ, что оно ни-

сколько не обезпечиваетъ ни книги, ни автора». Подъ этимъ опытомъ авторъ діалога, безъ сомнѣнія, подразумѣвалъ несчастную судьбу книги Радищева, пропущенной полицейскою цензурой, а также запрещеніе своего собственнаго этюда: «Опытъ о просвѣщеніи», дозволеннаго гражданскимъ губернаторомъ и остановленнаго въ продажѣ цензурнымъ комитетомъ. Дальнѣйшая исторія русской прессы могла бы представить на этотъ случай много, не менѣе сильныхъ, примѣровъ... Наконецъ, Пнинъ указываетъ и на принципъ собственности, попираемый произволомъ административнаго лица. «Моя истина—защищается выведенный имъ писатель—стоила мнѣ величайшихъ трудовъ: я не щадилъ для нея моего здоровья, просиживалъ дни и ночи—словомъ, книга моя есть моя собственность. А стѣснять собственность никогда не должно, ибо чрезъ сіе нарушается справедливость и порядокъ» *). Но на всѣ эти резоны цензоръ отвѣчаетъ холодною фразой: «я не позволяю, и, следовательно, это непозволительно», такъ что автору остается только одно, не слишкомъ большое утѣшеніе, что его «истина пребудетъ неизмѣнно въ его сердцѣ, исполненномъ любви къ человѣчеству, которое не имѣетъ нужды ни въ какихъ свидѣтельствахъ, кромѣ собственной своей совѣсти».

Всѣ приведенные примѣры показываютъ намъ, что подчиненное положеніе русской литературы никогда не принималось ею безропотно и не удовлетворяло вполне дѣйствительному захвату русской мысли; напротивъ того, стѣснительныя рѣмки, насильственно сѣуживавшія наше литера-

*) Журн. Россійской Словесности 1805 г. № 12.

турное развитіе, вызывали по временамъ, насколько это было возможно, рѣзкіе протесты, удачно мотивированные съ различныхъ точекъ зрѣнія. Права разсудка, науки, литературной собственности, необходимость нести каждому юридическую отвѣтственность за себя—все это противопоставлялось произвольной опеке, налагавшей цѣпи на интеллектуальную жизнь развитыхъ личностей, лишавшей ихъ свободного слова для выраженія насущныхъ потребностей или неполнивъ еще сознанныхъ, но вѣрныхъ инстинктовъ цѣлаго общества. Скрытая по необходимости, но упорная борьба съ этой опекой становилась задачей передовыхъ писателей, и хотя много зрѣлыхъ мыслей и обдуманныхъ произведеній погибало цѣликомъ въ неравномъ бою, но тѣмъ не менѣе и цензурныя рамки, переполненные до краевъ литературнымъ содержаніемъ, раздвигались до нѣкоторой степени, уступая давленію, ежедневно повторяющихся, настоячивыхъ попытокъ. Извѣстно, напримѣръ, что «Мертвыя Души», потерпѣвъ крушеніе въ одной цензурной инстанціи, пробили-таки себѣ дорогу въ печать, впрочемъ, съ измѣненіемъ главы о капитанѣ Копѣйкинѣ. Въ послѣдніе годы существованія предварительной цензуры или, правильнѣе сказать, незадолго до введенія новаго закона о печати (такъ-какъ предварительная цензура не отмѣнена этимъ закономъ окончательно, и продолжаетъ дѣйствовать въ ограниченныхъ размѣрахъ)—въ эти тревожные годы возникновенія разныхъ «вопросовъ», напоръ литературныхъ силъ и, соответствовавшая ему, невольная уступчивость административнаго контроля чувствовались уже въ такой сильной степени, что понадобилось регулировать иначе самыя отношенія прессы къ администра-

ціи. Словомъ, понадобилось (какъ это и выражено въ законѣ 6-го апрѣля) «облегчить» незавидную участь литературы, то есть дать ей нѣкоторыя права въ обсужденіи общественныхъ вопросовъ, въ пропагандѣ теоретическихъ мнѣній, а затѣмъ перенести отвѣтственность за все напечатанное-съ цензоровъ на авторовъ и редакторовъ періодическихъ изданій.

Этотъ тяжелый путь, пройденный нашею литературою,—тяжелый въ особенности для періодической прессы, какъ такой ея вѣтви, которая соприкасается ближайшимъ образомъ съ общественными интересами, а также и со всѣми случайными колебаніями въ правительственныхъ намѣреніяхъ,—путь, усыпанный далеко не розами и отразившійся на самыхъ свойствахъ нашего печатнаго слова, знакомъ по слухамъ русской публикѣ; но знакомство это едва-ли не ограничивается, до сихъ поръ, нѣсколькими анекдотами о цензорахъ, преимущественно сороковыхъ годовъ, которые, страшась повсюду либерализма, вымарывали изъ корректуръ, въ кухонныхъ книгахъ, выраженія въ родѣ «вольнаго духа». Довольно распространены также анекдоты о цензорѣ Красовскомъ, который, въ двадцатыхъ годахъ, творилъ невозбранно чудеса въ русской литературѣ.

Конечно, и эти анекдотическія подробности не лишены своего значенія, показывая до какихъ геркулесовыхъ столбовъ могла доходить придирчивость усерднаго цензора; но не поставленные въ связь съ дѣйствовавшимъ законодательствомъ и со взглядами высшаго правительства, онѣ получаютъ характеръ отрывочный и невразумительный, тогда какъ, на самомъ дѣлѣ, наиболѣе курьезныя цензурныя запрещенія всегда совпадали или съ буквой закона о печати,

или съ настроеніемъ, господствовавшемъ въ правительственныхъ сферахъ. Въ равной мѣрѣ и развитіе литературы, объемъ и сила идей, въ ней выражаемыхъ, находились въ тѣсной зависимости отъ тѣхъ ограниченій, которыя налагались на нее цензурной практикой. Определить точнѣе эту зависимость, выяснить на фактахъ взаимодѣйствіе между интенсивностью мысли (каково бы ни было ея относительное значеніе) и упругостію преградъ, для нея поставленныхъ,—принадлежитъ настоящему времени, когда многіе цензурные документы, обнародованные самимъ правительствомъ или найденные въ архивахъ частными изыскателями, проливаютъ новый свѣтъ на ту затаенную борьбу литературы съ репрессіею, которая то затихала, то поднималась съ новою силою въ предѣлахъ цензурнаго вѣдомства. Исслѣдованіе этого предмета составить, со временемъ, любопытный отдѣлъ въ исторіи русской литературы и, быть можетъ, повѣстовать изъ нея формулярные списки авторовъ, сшитые на бѣлую нитку и пересыпанные эстетическими разглагольствіями о величіи державинскаго стиха и сладости карамзинской прозы... Будемъ ждать; а пока да познакомимъ нашихъ читателей съ однимъ важнымъ моментомъ въ исторіи цензурныхъ постановленій. Но прежде, чѣмъ перейти собственно къ предмету нашей статьи, т.-е. къ цензурному проекту Магницкаго, мы должны объяснить происхожденіе предварительной цензуры и характеръ ея въ началѣ царствованія Александра I-го. Это сопоставленіе начала и конца «цензурнаго періода» представитъ контрастъ, не лишенный занимательности.

II.

Наше правительство, съ тѣхъ поръ, какъ появился на Руси первый печатный станокъ, никогда не отказывало себѣ въ правѣ наблюдать за содержаніемъ выпускаемыхъ книгъ, соображаясь съ собственными видами и намѣреніями. Правильнѣе сказать, печатный станокъ введенъ въ Россію правительствомъ, чтобы прекратить распространеніе въ народѣ рукописей священнаго писанія, искаженныхъ по невѣжеству или небрежности переписчиковъ. Такимъ образомъ, первыя печатныя книги входили у насъ въ обращеніе по приказанію царя Іоанна IV, а само общество не только не пользовалось типографскимъ искусствомъ, но даже смотрѣло на него, какъ на орудіе нечистой силы. Преслѣдованіе и истребленіе книгъ по ихъ напечатаніи началось гораздо позже, а именно со времени богословскихъ распрей между кievскимъ и московскимъ духовенствомъ; при этомъ сочиненія кievскихъ ученыхъ, зараженные латинскою ересью, предавались сожженію. О преслѣдованіи свѣтской литературы не могло быть и рѣчи. Чисто-свѣтская литература началась у насъ при Петрѣ I-мъ, и опять таки по инициативѣ самого государя, которому приходилось еще развивать въ нашемъ грамотномъ людѣ охоту къ чтенію подобныхъ книгъ. Наиболѣе развитые люди этого царствованія, способные къ литературной работѣ, раздѣляли вполне стремленія преобразователя и, при такой полной солидарности правительства съ мыслящею частію общества, для репрессивныхъ мѣръ не

представлялось никакого достаточного повода. Разногласіе это встрѣчается только во второй половинѣ екатерининскаго правленія, когда въ русскомъ обществѣ появилась уже нѣкоторая самодѣятельность мысли, не всегда отвѣчавшая, по своему характеру, желаніямъ правительства. Сначала Новиковъ, а потомъ Радищевъ возбуждаютъ противъ себя гоненія властей, заподозрившихъ въ ихъ литературныхъ трудахъ сокровенную и притомъ враждебную для правительства политическую цѣль. Новиковъ и всѣ масоны подозрѣвались въ тайныхъ связяхъ съ наследникомъ престола; книга-же Радищева была принята Екатериною, какъ сигналъ для какого-то, впрочемъ несостоявшагося, политическаго бунта въ духѣ французской революціи. На этотъ разъ печатный станокъ былъ признанъ средствомъ, столько же удобнымъ для поддержки правительственныхъ плановъ, какъ и для противодѣйствія имъ. Отсюда начинается стремленіе правительства замѣнить ненадежный полицейскій контроль надъ напечатанными уже книгами—системой предварительнаго просмотра и одобренія рукописей, предназначенныхъ къ напечатанію. Такъ напр. въ 1802 г.,—т.-е. въ то время, когда дѣйствовалъ указъ о «свидѣтельствѣ печатныхъ книгъ», а уставъ предварительной цензуры не былъ еще составленъ,—на дѣлѣ уже господствовалъ обычай представлять рукописи для предварительнаго просмотра, и нѣкто Августъ Видманъ жаловался министру на запрещеніе петербургской цензурой представленнаго такимъ порядкомъ сочиненія. Это первое запрещеніе предварительно-просмотрѣнной книги было мотивировано тѣмъ, что «ему (т.-е. Видману) не слѣдуетъ писать о таковыхъ матеріяхъ и что сіе принадле-

жить однимъ знатнымъ особамъ». (Истор. свѣд. о ценз. стр. 12). Также точно въ 1803 г. Новосильцевъ препровождалъ къ гр. Завадовскому (первому министру народного просвѣщенія) сообщенную ему рукопись подъ названіемъ «Траянъ и Александръ», прося — «приказать разсмотрѣть оную цензурѣ для одобренія къ напечатанію». Повидимому, авторы и издатели, напуганные прежними арестами и конфискаціями отпечатанныхъ книгъ, сами предпочли — искать предварительнаго одобренія, чтобы сколько нибудь застраховать себя отъ бѣды. «Обстоятельство это — справедливо замѣчаетъ авторъ исторической записки о цензурѣ въ Россіи, изданной въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ въ 1862 г. — не покажется удивительнымъ, если сообразить, что лишь при извѣстной силѣ общественнаго мнѣнія и при извѣстныхъ условіяхъ юридическаго развитія государства, такъ называемая карательная система цензуры представляетъ для писателя достаточныя гарантіи; послѣдствія, къ которымъ приводитъ предварительное цензурованіе, мудрено было въ то время предвидѣть, и многимъ, если не всѣмъ, безопаснѣе должно было казаться: знать напередъ мнѣніе правительства о своемъ сочиненіи, нежели рисковать, что оно будетъ конфисковано, и самъ авторъ подвергнется преслѣдованію». Наконецъ, въ 1804 г., вышелъ первый уставъ предварительной цензуры. Обстоятельства, при которыхъ возникъ онъ, были весьма благопріятны для развитія литературы. Молодой императоръ, окруженный либеральными совѣтниками, составлявшими, вчетверомъ, такъ-называемый *comité du salut public*, готовъ былъ на всевозможныя уступки въ пользу свободы мысли

и слова. Когда вопросъ о печати былъ поставленъ на очередь для обсужденія, то одинъ изъ членовъ этого интимнаго комитета, Н. Н. Новосильцевъ, попечитель петербургскаго учебнаго округа, предложилъ ввести у насъ датскій уставъ о свободномъ книгопечатаніи, и главное правленіе училищъ сильно склонялось на сторону этого проекта. Датскій уставъ, который, при нѣкоторыхъ перемѣнахъ, казался Новосильцеву достаточной гарантіей для свободы слова, равно какъ достаточной охраной противъ злоупотребленій ею, былъ изданъ королемъ Христіаномъ VII (1766—1808) подъ вліяніемъ графа Струэнзе, извѣстнаго поклонника либеральныхъ идей, и сопровождался манифестомъ слѣдующаго содержанія: «Находя въ высшей степени вреднымъ для безпристрастнаго изслѣдованія истины и открытія закоренѣлыхъ предразсудковъ и заблужденій—запрещеніе гражданамъ, одушевленнымъ любовью къ отечеству и общему благу, свободно высказывать свои убѣжденія и обличать злоупотребленія и предразсудки, мы рѣшились дать неограниченную свободу книгопечатанію и окончательно уничтожить всякаго рода цензуру». Это рѣшеніе датскаго короля привело, въ свое время, въ восторгъ всѣхъ европейскихъ писателей, и Вольтеръ откликнулся на него хвалебнымъ посланіемъ, въ которомъ краснорѣчиво доказывалъ, что печать никогда не приносила вреда для общества и что если въ народѣ составлялись заговоры и разыгрывались мятежи, то не вслѣдствіе появленія той или другой книги, а вслѣдствіе иныхъ, болѣе существенныхъ политическихъ причинъ. Но съ паденіемъ Струэнзе, поднявшаго противъ себя своими энергическими мѣрами множество тайныхъ и явныхъ враговъ, измѣнилось и либеральное на-

строение датскаго правительства. Различныя новыя постановленія были направлены къ тому, чтобы ограничить свободу слова и дать правительству болѣе средствъ бороться съ оппозиціонной печатью. Признавалось нужнымъ выдѣлить и опредѣлить особый разрядъ преступленій по дѣламъ печати, причемъ вниманіе суда должно было обращаться не только на фактическую часть книги, но также на ея духъ и направленіе. Причины такой строгости объясняются въ манифестѣ короля отъ 1799 г. Отсюда узнаемъ мы, что «книгопечатаніе сдѣлалось, къ несчастію, орудіемъ страстей самыхъ низкихъ и произвело слѣдствія самыя пагубныя какъ для общественнаго спокойствія, такъ и для безопасности частной», что нѣкоторые «злоумышленные люди съ соблазнительною и достойною кары дерзостью ежедневно нападаютъ на все, что во всякомъ благоустроенномъ государствѣ должно быть драгоцѣнно и священно для цѣлаго общества (?), не перестаютъ распространять самыя ложныя понятія о вещахъ и стараются разсѣвать неправильныя мнѣнія о предметахъ самыхъ важныхъ для человѣка и гражданина, чрезъ что малосвѣдущая и неполнѣ образованная часть народа, особенно же неопытное юношество, можетъ удобно развращаться и впадать въ заблужденіе». «Нѣтъ сомнѣнія—говорилось далѣе—что развратъ сей можно было бы всего надежнѣе предупредить, подвергнувъ разсмотрѣнію правительства всѣ книги, назначаемыя къ печати. Но какъ этому сопутствуетъ принужденіе, непріятное всякому благомыслящему и просвѣщенному человѣку, желающему быть полезнымъ чрезъ сообщеніе другимъ своихъ свѣдѣній, то мы и не желаемъ употребить подобное средство. Въсто же сего вознамѣрились

мы опредѣлить и утвердить положительнымъ закономъ, сколько возможно, предѣлы свободнаго книгопечатанія, назначивъ также и соразмѣрное наказаніе для тѣхъ, которые дерзнутъ преступать наши отеческія и благонамѣренныя повелѣнія». Законъ, возникшій по такимъ соображеніямъ, отличался далеко не отеческой строгостью и особенно преслѣдовалъ анонимныя сочиненія, признавая ихъ «вопіющимъ зломъ, безнравственнымъ орудіемъ для оскорбленія священнѣйшихъ правъ гражданина». Вслѣдствіе этого, на каждой печатной книгѣ требовалось выставленіе именъ: автора, издателя и типографщика. Въ числѣ самостоятельныхъ преступленій печати, кромѣ клеветъ, ложныхъ извѣстій, оскорбительныхъ или неприличныхъ выраженій, поименовывались и такія, въ преслѣдованіи которыхъ судья уже явнымъ образомъ переставалъ быть судьей и становился послушнымъ орудіемъ въ рукахъ административной власти: до такой степени произвольно и субъективно было здѣсь опредѣленіе «преступности» печатнаго слова. Сюда относятся: «насмѣшки надъ государственными учрежденіями, возбужденіе ненависти противъ своего правительства, презрительныя отзывы о дружественныхъ державахъ, невыгодныя слухи о королѣ» и пр. Между тѣмъ, за каждое изъ такихъ неясныхъ, но тягучихъ преступленій виновные авторы подвергались весьма чувствительнымъ наказаніямъ, начиная отъ срочнаго тюремнаго заключенія и кончая вѣчной каторжной работой въ цѣляхъ. Авторъ же книги, «заключающей въ себѣ совѣты и внушенія произвести перемѣну въ правленіи, установленномъ государственными законами, и сдѣлать возмущеніе противъ короля, повиненъ былъ

смертной казни». Представляя въ главное правленіе училищъ переводъ датскаго манифеста, Новосильцевъ считалъ невозможнымъ переносить его цѣликомъ на нашу почву и предложилъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, свои видоизмѣненія — съ цѣлю смягчить суровость датскихъ постановленій и сдѣлать удобнымъ примѣненіе ихъ къ Россіи. Вотъ пункты, предложенныя имъ:

1) Требованіе датскаго правительства—печатать имя каждаго автора и переводчика—особенно тягостно для молодыхъ литераторовъ, впервые выступающихъ на поприще словесности и изъ скромности скрывающихъ свои имена. Можно бы предоставить свободу печатать книги и безъ означенія имени автора или переводчика. Для отвращенія же злоупотребленій не бесполезно средство, отчасти принимаемое датскимъ законодательствомъ, хотя и по другому поводу. Если кто либо изъ сочинителей или переводчиковъ пожелаетъ, чтобы имя его не было поставлено на издаваемой книгѣ, въ такомъ случаѣ двое или трое изъ гражданъ, имѣющихъ гдѣ либо постоянное пребываніе, должны дать типографщику письменное обязательство въ томъ, что въ случаѣ надобности они объявятъ имя автора.

2) Взысканія за нарушеніе цензурныхъ правилъ, принятыя въ Даніи и несоотвѣтствующія русскимъ законамъ и обычаямъ, должны быть замѣнены другими, сообразными съ русскимъ законодательствомъ.

3) Датскимъ постановленіемъ требуется, чтобы одинъ экземпляръ каждаго періодическаго изданія, журнала, газеты и каждой книги, до выпуска въ свѣтъ, былъ представляемъ копенгагенскому полицеймейстеру. Если полицеймей-

стеръ найдетъ въ книгѣ что либо предосудительное или неблагопристойное, то немедленно долженъ запретить ея продажу, опечатать всѣ экземпляры и препроводить задержанную книгу въ королевскую канцелярію. Въ Россіи право конфискаціи подозрительныхъ книгъ удобнѣе предоставить не полиціи, а университетамъ и академіямъ, съ тѣмъ чтобы они, увѣдомивъ мѣстное начальство, представляли мнѣнія свои, вмѣстѣ съ экземпляромъ книги, въ главное правленіе училищъ.

4) Обвиняемый въ сочиненіи или изданіи предосудительной книги обыкновеннымъ ли порядкомъ долженъ быть судимъ или же нужно учредить особый родъ суда и разбирательства? Если дѣла печати предоставить обыкновеннымъ судамъ, въ которыхъ часто засѣдаютъ чиновники, не имѣющіе научныхъ познаній, то могутъ произойти пагубныя для подсудимыхъ писателей слѣдствія, для отвращенія которыхъ слѣдовало бы учредить особый родъ суда. Главное правленіе училищъ составить списокъ государственныхъ чиновниковъ, имѣющихъ требуемыя свѣдѣнія и пользующихся уваженіемъ въ обществѣ. Въ случаѣ обвиненія въ изданіи вредной книги правленіе назначить изъ помѣщенныхъ въ списокъ лицъ определенное число (четыре, шесть или восемь) посредниковъ, живущихъ въ томъ городѣ, гдѣ находится обвиняемый. Для скорѣйшаго теченія дѣлъ и для избѣжанія переписки можно предоставить и университетамъ право назначить посредниковъ изъ лицъ, внесенныхъ въ списокъ въ главномъ правленіи. Если обвиняемый будетъ оправданъ посредниками, то онъ освобождается отъ всякаго суда, а книга его отъ запрещенія и конфискаціи; обвинитель же под-

вергается възысканію на основаніи законовъ.

5) Постановленіе о свободномъ книгопечатаніи не должно касаться цензуры книгъ духовныхъ, наблюденіе за которыми вполнѣ предоставлено св. синоду.

Нельзя не замѣтить, съ перваго разу, того доброжелательства и уваженія къ печатному слову, которое выражается въ предложенныхъ Новосильцевымъ перемѣнахъ. Личность писателя и судьба его мнѣній гарантируются особымъ судомъ, составленнымъ изъ лицъ по выбору главнаго правленія училищъ (которое, въ то время, было расположено покровительствовать литературѣ); право конфискаціи подозрительныхъ книгъ переходитъ отъ полиціи къ университетамъ; наконецъ, и самъ обвинитель приглашается быть осмотрительнѣе, такъ-какъ, въ случаѣ несправедливаго обвиненія, онъ отвѣчаетъ передъ судомъ. Но проекту Новосильцева не суждено было перейти въ практику, хотя соображенія, выставленныя противъ него, показываютъ, что и противоположное мнѣніе руководствовалось отнюдь не враждебнымъ чувствомъ къ литературѣ. Озерецковскій и Фусъ—также члены главнаго правленія училищъ,—которымъ предоставлено было окончательное рѣшеніе вопроса: какой цензурный порядокъ болѣе соотвѣтствуетъ нашей странѣ, нашли, что учрежденіе предварительной цензуры будетъ цѣлесообразнѣе, во-первыхъ, потому что «предохранить совершенно общество отъ злоупотребленія свободой слова», а во-вторыхъ потому, что «предохранить самую литературу отъ давленія пристрастныхъ и некомпетентныхъ судовъ». На 4-й пунктъ Новосильцевскихъ предложеній Озерецковскій и Фусъ возражаютъ

такимъ образомъ: «великое неудобство было бы предавать авторовъ обыкновенному суду; но чрезвычайно затруднительно также и выборъ посредниковъ, вполне способныхъ оцѣнить степень виновности писателя, проникнутыхъ истинно либеральными мыслями и чуждыхъ пристрастія и всякаго рода предразсудковъ. Какъ бы ни разграничивали преступленія и постепенность наказаній,—тонкость и неувидимость оттѣнковъ въ нарушеніи закона, различіе въ воззрѣніи и требовательности судей, способъ толкованія намековъ и мѣсть, имѣющихъ двойной смыслъ и т. п., дѣлаютъ въ высшей степени затруднительнымъ приговоръ надъ книгами и авторами». Съ другой стороны, Озерецковскій и Фусъ не скрывали неудобствъ и стѣсненій предварительной цензуры: «сочиненіе — говорили они — исполненное полезнѣйшихъ истинъ, но поражающихъ своею новизною и смѣлостью, можетъ подвергнуться запрещенію мнительнаго и робкаго цензора». Но чтобы оградить литературу отъ такой робости официальныхъ ея стражей, они считали достаточнымъ составить «подробныя наставленія цензорамъ въ духѣ терпимости и любви къ просвѣщенію». — Эти возраженія, сдѣланныя составителями перваго цензурнаго устава противъ свободной печати, не могутъ быть объясняемы какимъ либо скрытымъ нерасположеніемъ къ литературѣ: напротивъ Фусъ, въ самыя горькія времена цензурнаго террора, былъ единственнымъ, хотя и не особенно энергическимъ защитникомъ русской печати. Вѣрнѣе думать, что оба члена главнаго правленія училищъ желали пользы литературѣ и въ самомъ дѣлѣ смущались и отступали передъ мыслью — подвергать авторовъ уголовной

вре-
изнече-
бному
вмало
ъ дѣ-
судъ,
особъ
мъ,—
щевъ-
ствъ-
визур-
пре-
ра —
и не-
внхъ)
а л а-
о ч
и
цені
юя

ида
новы
ебова
льны
анію]
у съ
і тон'
по і
ой мс
сторс
въ в
аго об
Самы
ніе с
і оцѣ
ыхъ

ицвал
учены
еніем
рераб
мног
ежал
ыхъ
ри в
дарст
прост
авны
ѣнію,

въ два раза читалъ въ
мнѣніе, въ коемъ ра
мжна быть учреждена
нованіе», что безъ этого
и неопредѣленно
игахъ всегда будутъ по
нныя худости, служащія
распространенію заблужде
профессорахъ петербургс
тъ не въ якобинствѣ, за
(въ родѣ того, наприм
ледѣльцевъ есть великая
я») — Шишковъ вспоми
ался своею прозорливості
ессорами — писалъ онъ
о я не безъ основанія
что способы къ искоре
чѣмъ долѣе росли. Учи

учась сами думать и писать обо всемъ свободно,
ше сказать, разсуждать и умствовать дерзко, не сом
ни съ какими общими правилами, ниже съ нрав
вѣры, тому же научаютъ и учениковъ своихъ». С
противъ этого зла, Шишковъ опять выставлялъ «бл
ную и наблюдающую свою должность цензуру».
была, какъ видно, любимымъ конькомъ суроваго с
ла, и ея слабостью готовъ онъ былъ объяснить и

зурі

поз

очі

ѣли

ри і

от

жос

ідія

вня

хств

и

ъ д

[и]

исл

или

гавл

ебо

сь і

тот

гъ

был

икая

схл

[до

ман

ь т

ос

изв

Обществен

**ИЗЪ ИСТОРИИ
НАШЕГО
ЛИТЕРАТУРНАГО И ОБЩЕСТВЕННАГО
РАЗВИТІЯ.**

МОНОГРАФІИ И КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

А. П. ПЯТКОВСКАГО.

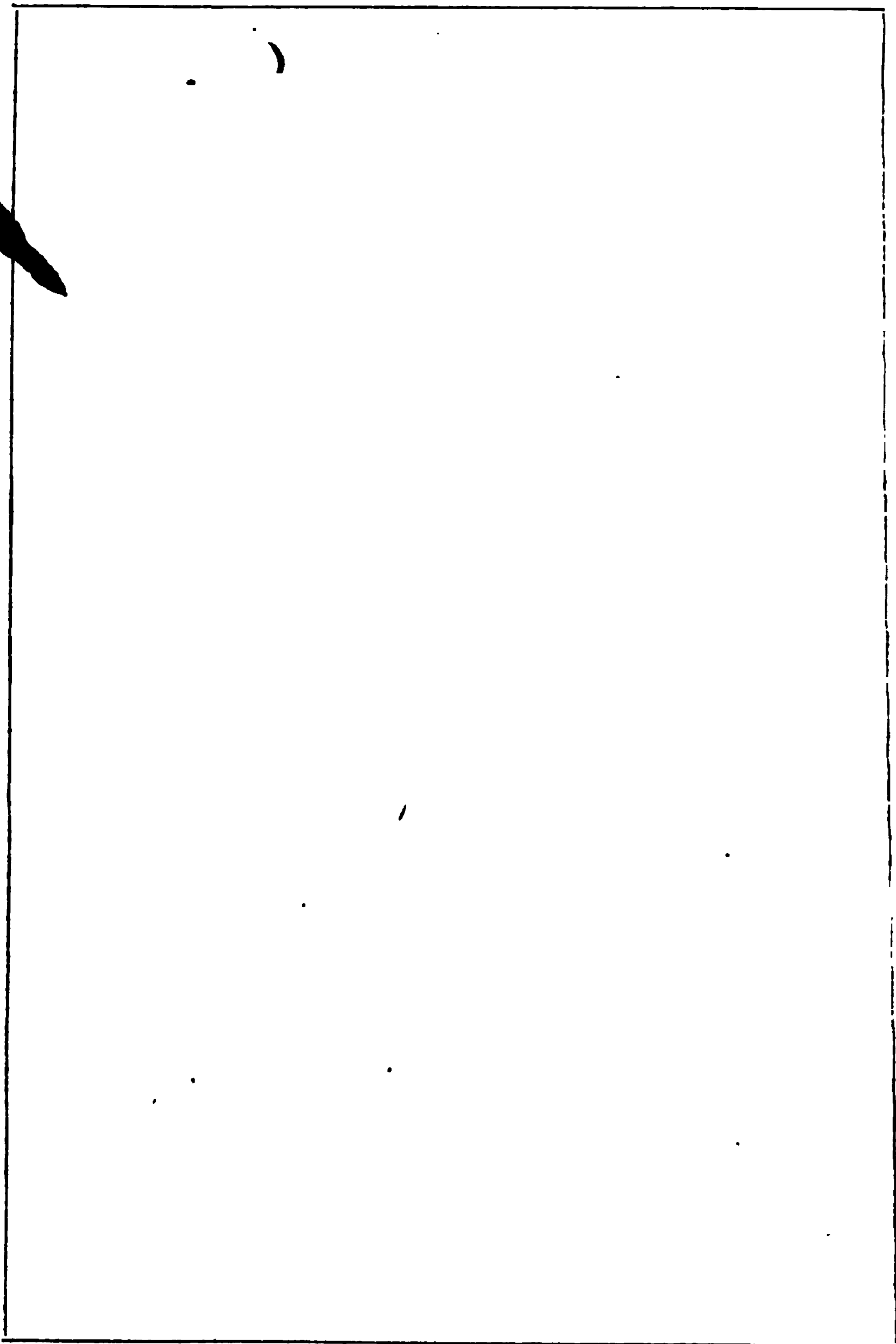
Въ двухъ томахъ.

Томъ II.



**САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Р. Голике, по Лиговъ, № 22.
1876.**

Handwritten marks and scribbles at the top of the page.



ОГЛАВЛЕНИЕ

второго тома.

СТРАН.

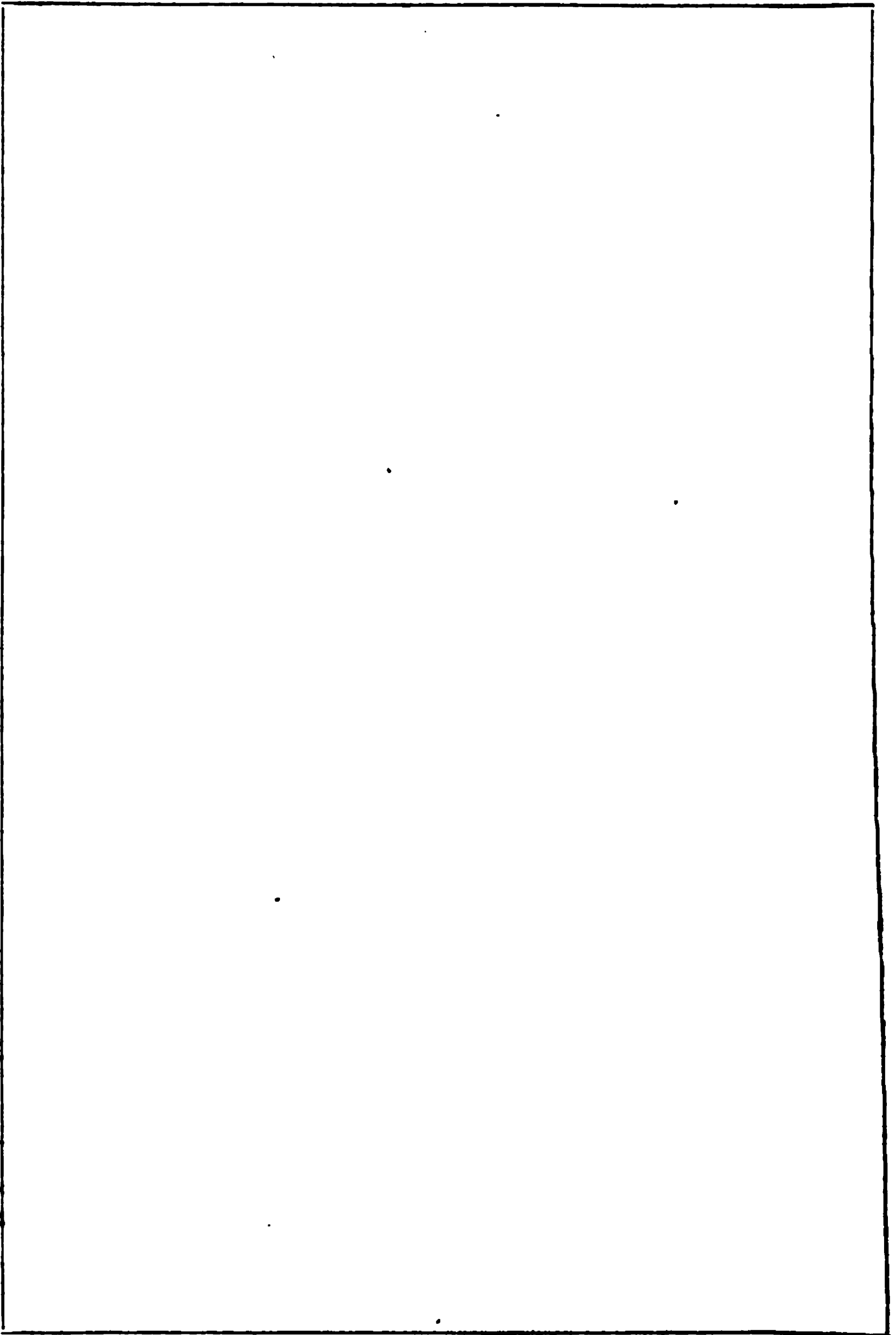
1). Очерки изъ исторіи русской журналистики:

Главы I — II (отъ Петра I до Александра I;
1703—1801 г. г.) 1—74.

Главы III — X (первая половина царствованія
Александра I; 1801—12 г. г.). 74—257.

Гл. XI — XII (вторая половина того же царст-
вованія; 1812—20 г. г.). 257—316.

2). Журнальный триумvirатъ (изъ исто-
ріи русской журналистики 30-хъ годовъ) . 316—362.



ОРИН РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

I.

ие прессы.—Русская типограф
и книгъ политическаго содержа
ихъ журналовъ; полемика Гюй
юновичъ.—Значеніе древнихъ
и 1703 г.; ихъ содержаніе и
Россія XVIII-го столѣтія
ругъ европейскихъ державъ
буты, всѣ матеріальныя и
своей цивилизаціи. Самъ
лъ это очень хорошо и с
ежде всего, тѣ практич
урме, въ видѣ военнаго,
и такъ необходимы внов
зіи ладъ государству, с
ми сосѣдями. Заведены

вахъ мы намѣрены представить
налисты, —начиная съ того
зваться печатью для своихъ гос
ловинной царствованія Алекса
кнымъ наложить на эту печ
ибліографическія подробности
неинтересныя совсѣмъ не во
втія, опредѣляющей всѣ на
гъ слѣдить внимательно и ук
боромъ фактовъ. Статьи «Журн
колженіемъ очеркомъ.

завить, что мы сдѣлали значи
дополненія къ прежнему пет

А

отъ, инженерно
въ послѣдую
уже богата не
одной техниче
малась и крѣп.
гѣнія, руково
же обратилъ в
эю для своихъ
ь, выпускавшій
каго содержані
овныхъ произв
омогать дѣлу
ній и политиче
ри Петрѣ по

менно образом
политическую пр
го личные взгля
ажность, и наш
и тѣхъ общих
тное время, вс
ва.

Яну Тессингу
дана была по
сольству (русск
завелъ въ Амс
мныя и морскі
и математическ
и всякія ратны

были на его сторонѣ, т. е. ейскую читающую публику, хо, какъ это обыкновенно, тамъ происходитъ много и вслѣдствіе распоряженій безъ исключенія, отличны т. д. Чтобы имѣть такіе же времена достаточнымъ и журналистовъ и писателей, касати о Россіи въ извѣстныхъ видахъ правительства. А

Россію изъ европейскихъ журналистовъ и писателей во всѣхъ государствахъ — и это было спеціально Гюйссена. Послѣ Петра у насъ не томъ, что будутъ писать о Россіи за границей нашего агента по этой части предали забвѣ когда фонъ-Гавенъ (датск. путешественникъ 17) былъ въ Россіи, — вынужденнымъ нашелся написать подробной запискѣ, гдѣ не пропущено ни о литературнаго путешествія барона въ Германию Россіи. Этотъ Гюйссенъ, первый офф

—
слѣ
фор
любн
нть
176
а кр
агеб
рыш
і те
арен
воин
и эт
ъ, і
инну
ня
, сл
о у
ую
ть і
і ро
сти

Внѣ изъ Россіи на гамбургскомъ кораблѣ. |

странцамъ не вѣрить обѣ
и не ѣхать въ Россію,
будутъ обращаться съ ни
мъ авторъ рассказывает
не только съ простыми
сами иностранныхъ держ
родѣ: «польскій генерал
пожалованъ отъ царя
Кирхена царь передъ
и, плюнувъ ему въ глаз
анъ Форбусъ былъ на
мъ генералъ изъ русскіхъ

хочу ошельмовать тебя!» далъ ему пощечину
злостно поступаетъ съ нѣмками, а пото
ихъ нѣмецкимъ офицерамъ... полковникъ Ро
бы наказанъ внудомъ, еслибъ его жена б
не вмѣшалась въ дѣло». Насколько вѣрны
— разбирать не наше дѣло; но ихъ ловкій
ный выборъ, дѣйствительно, могъ отбить о
девъ, вообще восо смотрѣвшихъ на Россію
парю на службу. Брошюра Нейгебауэра бы
Пруссіи и Саксоніи; шведы же старались
ее всѣми способами. Тогда-то Гюйссенъ напи
прямо говорить о «гофмейстерѣ» Нейгеба
его въ надменныхъ замашкахъ, въ желаніи с
въ плохомъ обученіи наследника, и опро
приводимые въ «Письмѣ нѣмецкаго офице
разомъ, Гюйссенъ защищаетъ Меншиков
удто бы обвиненій Нейгебауэра

ля «Данилыча» новую |
ней литовской фамиліи
барономъ Ланге, исто|
жору Нейгебауэра съ Царствствомъ, уластвовавшіи за-
Петра совѣтуетъ своему земляку радоваться, что
получно убрался восвояси, ибо «въ другихъ госу-
его засадили бы въ бастилію или другую какую
на многіе годы, не спрашивая, что онъ сдѣ-
рн аго, какъ это дѣлается и съ высокими мини-
оторые, не смотря на прежнія свои вѣрныя служ-
бли счастія поправиться государю или его прибли-
. Досаду на Нейгебауэра за подробное описаніе
нія батоговъ и не имѣя въ запасѣ никакихъ суще-
возраженій, Гюйссенъ съ насмѣшкою говоритъ:
думать, что авторъ часто видѣлъ все это своими
увеселялъ свои нѣжныя чувства подобными спек-
По всей справедливости можно пожелать таковыхъ
, какъ заслуженную награду, всѣмъ пасквилянтамъ,
тѣмъ изъ нихъ, которые нападаютъ грубыми обра-
ронованныхъ особъ». Въ другихъ мѣстахъ своей діа-
йссенъ называетъ Нейгебауэра «архи-шельмою (egz-
похитителемъ чести и клеветникомъ». Нейгебауэръ не
изъ долгу и, въ отвѣтъ на пространное обличеніе,
«Kurtze Gegenantwort auf des szaarischen Pas-
, гдѣ онъ снова возвращается въ Меншикову и
въ весьма недвусмысленно причину его возвышенія
комъ дворѣ. На грубые выходки Нейгебауэръ также
гся: «Что же негодяй—говоритъ онъ—намаралъ о
гофмейстера въ Москвѣ, то это не заслуживаетъ

и, потому что основу для своих
только въ своемъ воровскомъ

—
ЧТ
[АЛ]
ВНТ
[ХЪ
ХО,
Ъ]
ДЕО
ЗАЕ
ЭНН
[АЛ
ТЬ
КОН
, ЗА
ИИ]
[АС
ЭТЬ
ОНЕ
МУ
ТО
ВЪЧ
У П
СКА
ВНЧ
ВНД
ОМ.
, Н
СЕК
ЬНО
ОЙ:
—

дѣлѣ царевича Алексі
въ томъ же году (1718
цѣ царевичемъ; въ немъ
въ верховной власти, «
, о «грѣхѣ, въ Россіи

Противниковъ верховной власти ораторы
сколько группъ: одни изъ нихъ—«своб
бо, яко свободу приобрѣте намъ Христос
ники панства и теократіи; третьи, након
цы, кои тайнымъ образомъ льстиміи яв
чаемъ», думаютъ, что все «якоже есть
цѣхъ, мерзость есть передъ Богомъ». Э
ва», свидѣтельствомъ апостоловъ и прим
рѣи, опровергаетъ такихъ мерзослов
что и всякій «чистосердечный человѣкъ п
о властехъ», какъ о явленіи, происшедш
просто человѣческаго или отъ превозмог
богѣе достается тутъ «невѣждамъ, кои
писанія, да такъ, какъ то летаютъ пруз
ное окрыляемое, но что чревище велик
и не по жѣрѣ тѣла, взойметъ полет
на землю падаетъ: тако и они суще кн
латые, покушаются богословствовать, а

ихъ проповѣдахъ Прокоповичъ явился истинно искуснымъ ораторомъ, умѣвшимъ дѣйствовать на умы слушателей и излагать съ церковной катедры политическую программу. То въ духовномъ «Регламентѣ» и въ «Первомъ ученіи отроковъ» онъ также усердно служилъ реформѣ, какъ администраторъ и народный наставникъ. Въ предисловіи къ «Ученію отроковъ» Прокоповичъ нападалъ такъ же, какъ и въ своихъ проповѣдахъ, на тѣхъ «чужеземъ книгъ, которые обращаютъ свое искусство въ орудіе злобы и дерзаютъ уничижать шезельныя, истинно-богословскія ученія». Эти нападки вызвали даже противъ автора доносъ извѣстнаго въ свое время ревнителя благочестія, Марселя Родиверскаго, который находилъ въ «Ученіи отроковъ» несогласія съ православіемъ «прикрашныя мѣста». Въ «Регламентѣ» мы тоже встрѣчаемъ совершенно-полюническія тирады, касающіяся ханжества и религіознаго формализма «инимыхъ мудрецовъ». Съ полнымъ самоотрицаніемъ нападалъ Прокоповичъ на недостатки и притязанія своего сословія. и въ «Розыскѣ историческомъ» снова подвергнулъ осужденію попытку духовенства создать теократическое государство въ государствѣ...

Изъ немногаго сказаннаго нами достаточно ясно, что печать петровскихъ временъ была только служебнымъ органомъ государственной власти и даже не изъясняла попытокъ уклониться отъ своего офіціального характера. Сила реформы и смѣлость преобразователя еще держали умы лучшихъ людей въ искренней зависимости отъ видовъ правительства. Случай съ Бужинскимъ, выкинувшимъ самое рѣзкое мѣсто въ своемъ переводѣ, доказываетъ, что Петръ Великій предоставлялъ печати больше свободы, чѣмъ даже

искали его литературные сотрудники. Обь инициативъ общества, даже обь отдѣльныхъ порывахъ далеко шагнувшей личной мысли, тутъ не можетъ быть и рѣчи. Въ числѣ разныхъ европейскихъ изобрѣтеній, печать пригодилаь у насъ для политической реформы—и кругъ ея дѣятельности былъ опредѣленъ самой этой задачей.

Не ограничиваясь изданіемъ книгъ и брошюръ съ учено-политическимъ содержаніемъ, Петръ I положилъ начало и нашей періодической литературѣ. Еще за границей Петръ видѣлъ, какое значеніе имѣютъ періодическіе листки, сообщающіе публикѣ различныя извѣстія изъ жизни своего и чужихъ государствъ; онъ пожелалъ завести нѣчто подобное у себя, чтобы имѣть возможность распространять быстрѣйшимъ образомъ полезныя свѣдѣнія и знакомить всѣхъ интересующихся русскихъ съ ходомъ какъ нашихъ, такъ и западно-европейскихъ дѣлъ. Съ этой цѣлью онъ замѣнилъ газетами прежніе куранты. Что такое куранты—слѣдуетъ объяснить. — И до Петра Великаго предки наши не оставались въ совершенномъ невѣжествѣ насчетъ того, что происходило за предѣлами ихъ собственнаго отечества. Великокняжескіе и царскіе гонцы отправлявшіеся по дѣламъ государства въ Грецію, Польшу, Германію и въ другія мѣста, привозили оттуда разныя свѣдѣнія о состояніи тамошнихъ дѣлъ. Съ послами отправлялись подьячіе, цѣловальники, крестовые попы и «люди» по словъ. Всѣ они, по возвращеніи своемъ въ Россію, въ кругу родныхъ и друзей, рассказывали о томъ, что они видѣли или слышали въ чужихъ земляхъ. Эти заграничныя вѣсти, изустно или письменно распространяемыя въ народѣ, гла-сили, напр. что «отъ Рима до Кольскаго острога

нѣтъ нигдѣ благочестія», что у королей и грандуковъ— «стоны аспидныя, писаны золотомъ травы», что «кирки или мечети зѣло стройны», что «въ Амстердамѣ безъ мѣры людно, а трехъ вещей нѣтъ: хлѣба, воды и дровъ». Немного дошло до насъ образчиковъ подобныхъ вѣдомостей (въ «путешествіяхъ русскихъ людей въ чужія земли», изъ которыхъ одни изданы въ свѣтъ, другія же остаются въ рукописяхъ); но нельзя сомнѣваться, что эти домашнія записки нерѣдко велись и въ давнее время. Съ 1621 г. вѣдомости изъ-за границы становятся извѣстными подъ именемъ курантовъ *). Куранты содержали въ себѣ свѣдѣнія о разныхъ въ Европѣ военныхъ дѣйствіяхъ и мирныхъ постановленіяхъ. Составленіемъ этихъ курантовъ занимались въ Посольскомъ Приказѣ: тамъ, изъ донесеній отъ разныхъ заграничныхъ агентовъ, дѣлали нужныя извлеченія; а впоследствии, когда стали появляться въ Россіи печатныя иностранныя вѣдомости (съ 1631 г.), то переводили изъ нихъ любопытнѣйшія статьи, текстъ переписывали на нѣсколькихъ листахъ склеенной бумаги (столбцами) и въ обычной формѣ свитковъ представляли эти куранты для прочтенія царю и нѣкоторымъ приближеннымъ людямъ. Посредствомъ этого рода вѣдомостей Посольскій Приказъ слѣдилъ изо дня въ день за ходомъ современной политики. Кильбургеръ говоритъ: «по приходѣ почтъ, газеты тотчасъ посылаются въ замокъ (Кремль), въ Посольскій Приказъ, и тамъ распечатываются, для того чтобъ ни одинъ

*) Отъ слова *currere* — текущій, бѣгушій. Слово это употреблялось для означенія передаваемыхъ вѣстей. Предполагали, что куранты введены въ употребленіе Ордынымъ—Нащокинымъ. но этотъ послѣдній управлялъ посольскимъ приказомъ при Алексѣѣ Михайловичѣ, а куранты появились гораздо ранѣе.

частный человек не узналъ прежде двора того, что происходитъ внутри государства и заграницей, а болѣе для того, чтобы каждый остерегался писать чтонибудь не позволимтельное и для государства вредное. Съ почтою еженедѣльно получаютъ всѣ голландскія, гамбургскія, кенигсбергскія и др., какъ печатныя, такъ и письменныя вѣдомости. Онѣ всегда переводятся на русскій языкъ и читаются царю». Это продолжалось до конца 1702 г., когда (16 декабря) послѣдовало именное повелѣніе Петра I-го, о печатаніи газетъ, слѣдующаго содержанія: «Великій Государь указалъ — по вѣдомостямъ о воинскихъ и о всякихъ дѣлахъ, которыя надлежатъ для объявленія московскаго и окрестнаго государствъ людямъ, печатать куранты, а, для печатанія тѣхъ курантовъ, вѣдомости, въ которыхъ приказахъ о чемъ нынѣ какія есть и впредь будутъ, присылать изъ тѣхъ приказовъ въ монастырскій приказъ». (Полн. Собр. Зак. IV, 1921).

Первый номеръ этихъ «Вѣдомостей» появился въ Москвѣ 2 января 1703 г., но еще раньше указъ царя былъ исполненъ (27 декабря 1702 г.), напечатаніемъ Юрнала о Нотебургѣ *). Относительно появленія петровскихъ вѣдомостей было высказано много библиографическихъ неточностей и противорѣчій: академикъ Георги говорилъ, что онѣ «воспріяли свое начало въ 1708 г., Сопиковъ — что онѣ стали

*) Юрналъ, или подневная роспись, что въ мимошедшую осаду подъ крѣпостью Нотебургомъ чинилось сентября съ 26 числа въ 1702 г. Подробное же названіе петровскихъ «Вѣдомостей» было слѣдующее: «Вѣдомости о военныхъ и иныхъ дѣлахъ, достойныхъ знанія и памяти, случившихся въ московскомъ государствѣ и въ иныхъ окрестныхъ странахъ».

нашъ въ Голландіи, присылалъ царю, какъ отдѣльные нумера газетъ, издававшихся въ этой странѣ, такъ и любопытныя выписки изъ газетъ, выходившихъ въ другихъ государствахъ. Все это, вполнѣ или въ экстрактѣ, помѣщалось въ вѣдомостяхъ, и въ нѣкоторыхъ номерахъ, въ оглавленіи иностранныхъ извѣстій, напечатано крупнымъ шрифтомъ: «Вѣдомости изъ Гага.» Кто занимался, ближайшимъ образомъ, редакціей «Вѣдомостей» — съ точностью неизвѣстно; думаютъ, что это былъ графъ Ѳ. А. Головинъ. Но Петръ I и самъ часто отмѣчалъ для перевода статьи изъ иностранныхъ газетъ и вообще пристально слѣдилъ за ходомъ этого дѣла, прочитывая даже корректуру перваго номера. Можно сказать, поэтому, что великій преобразователь Россіи былъ также и ея первымъ журналистомъ.

Чтобы читатели могли наглядно познакомиться съ характеромъ и содержаніемъ петровскихъ вѣдомостей, мы приводимъ здѣсь, въ сокращеніи, первый ихъ номеръ, состоявшій изъ двухъ листковъ. При этомъ, для удобства чтенія, мы нѣсколько измѣняемъ сбивчивую орфографію подлинника:

«Вѣдомости.»

На Москвѣ вновѣ нынѣ пушекъ мѣдныхъ, гоубицъ и мартировъ вылито 400. Тѣ пушки ядромъ, по 24, по 18 и по 12 фунтовъ; гоубицы бомбомъ пудовыя и полупудовыя; мартиры бомбомъ девяти, трехъ и дву-пудовыя и меньше. И еще много формъ готовыхъ, великихъ и среднихъ, къ литью пушекъ, гоубицъ и мартировъ. А мѣди нынѣ на пушечномъ дворѣ, которая приготовлена къ новому литью, болѣе 40,000 пудъ лежитъ.

Повелѣніемъ его величества московскія школы умножаются, и 45 человѣкъ слушаютъ философію и уже діалектику окончили.

Въ математической штурманской школѣ болѣе 300 человѣкъ учатся и добръ науку приемятъ.

На Москвѣ, ноября съ 24 числа по 24 декабря, родилось мужскаго и женскаго полу 386 человѣкъ.

Изъ Персиды пишутъ: индѣйскій царь послалъ въ дарахъ великому Государю нашему слона и иныхъ вещей не мало. Изъ града Шемахи отпущенъ онъ въ Астрахань сухимъ путемъ.

Изъ Казани пишутъ: на рѣкѣ Соку нашли много нефти и мѣдной руды; изъ той руды мѣдь выплавили изрядну, отчего чають не малую быть прибыль московскому государству.

Изъ Сибири пишутъ: въ китайскомъ государствѣ езуитовъ весьма не стали любить за ихъ лукавство, а иные изъ нихъ и смертію казнены.

Изъ Олонца пишутъ: города Олонца попъ Иванъ Окуловъ, собравъ охотниковъ пѣшихъ съ тысячу человѣкъ, ходилъ за рубежъ въ свѣйскую границу и разбилъ свѣйскіе—ругозенскую и гиппонскую, и сумерскую, и керисурскую заставы. А на тѣхъ заставахъ шведовъ побилъ многое число... и соловскую мызу сжегъ, и около соловской многіе мызы и деревни, дворовъ съ тысячу, пожегъ же...

Изъ Львова пишутъ, декабря въ 14 день: силы казацкіе подъ полковникомъ Самусемъ ежедневно умножаются; вырубя въ Немировѣ коменданта, съ своими ратными людьми городъ овладѣли, и уже намѣренъ есть Бѣлую церковь добывать, и чають, что и тѣмъ городкомъ овладѣть, какъ Палей съ нимъ соединится съ своими войсками...

Изъ Ніена, въ ингерманландской землѣ, октября въ 16 день. Мы здѣсь живемъ въ бѣдномъ постановленіи, понеже Москва въ здѣшной землѣ не добро поступаетъ, и для того многіе люди отъ страха отселѣ выбурекъ ¹⁾ и въ еіняндскую землю уходятъ, взявъ лучшіе пожитки съ собою.

Крѣпость Орѣшекъ — высокая, кругомъ глубокою водою объятая, — въ 40 верстахъ отселѣ, крѣпко отъ московскихъ войскъ осажена, и уже болѣе 4000 выстрѣловъ изъ пушекъ, вдругъ по 20 выстрѣловъ, было, и уже болѣе 1500 бомбъ выброшено, но по сіе время не великій убытокъ учинили, а еще много трудовъ имѣти будутъ, покаместъ ту крѣпость овладѣютъ...

Изъ Амстердама, ноября въ 10 день. Отъ Архангельскаго города пишутъ, сентября въ 20 день, что какъ его Царское величество войска свои въ различныхъ корабляхъ на Бѣлое море запровадилъ, оттолѣ далѣе пошелъ и корабли паки назадъ къ Архангельскому городу прислалъ, и обрѣтаются тамо 15,000 человекъ солдатъ, и на новой крѣпости, на Двинкѣ нарѣченной, ежедневно 600 человекъ работаютъ ²⁾.

На Москвѣ 1703 г., генваря во 2 день.»

Читатель видитъ, что содержаніе петровскихъ «Вѣдомостей» было, по преимуществу, фактическое; политическихъ взглядовъ, намековъ, даже выразительнаго подбора фактовъ мы почти не встрѣчаемъ. Только въ польскихъ дѣлахъ, которыя всегда сильно интересовали Петра, можно заподозрить этотъ

¹⁾ Т. е. въ Выборгъ.

²⁾ Получивъ извѣстіе, что шведы готовятся напасть на Архангельскъ, Петръ укрѣпилъ устье Двины батареями, а на взморьѣ заложилъ новую крѣпость, назвавъ ее «Двинкою».

предназначенный выборъ извѣстій. Тутъ описывались довольно подробно стычки поляковъ съ саксонскими войсками, волненія на сеймахъ и пр. и пр. «Польша—говорится въ одномъ номерѣ» Вѣдомостей—отъ шведовъ, саксонцевъ и польскихъ (т. е. своихъ собственныхъ) войскъ и казаковъ досажденіе пріемлетъ». Въ другомъ мѣстѣ находимъ: «на сеймѣ стали противность чинить, и паки всѣ разошлись, ничего не договорясь». Есть даже насмѣшливый каламбуръ: «указы о люблинскомъ сеймѣ объявлены здѣсь (въ Варшавѣ), но не всѣмъ любимы стали» *).

Въ «Вѣдомостяхъ» нѣтъ еще правильнаго раздѣленія извѣстій по рубрикамъ: политическія новости чередуются съ разными явленіями природы; ничтожное событіе стоитъ рядомъ съ крупнымъ и даже излагается подробнѣе его. Такъ напр., вслѣдъ за политическими извѣстіями изъ Парижа (Вѣдом. 1724 г.) попадаетъ новость: «Одна бѣдная жонка родила дочь съ четырьмя руками, съ четырьмя ногами, съ двумя фундаментами и пр. Послѣ смерти потрошили ее и нашли въ тѣлѣ два сердца, два легкіе, два пузыря и четыре почки». Редакція «Вѣдомостей», желая распространить свое изданіе въ возможно большемъ кругу читателей, очевидно рассчитывала, что запасъ новыхъ и разнообразныхъ свѣдѣній, сообщаемыхъ ею, расшевелитъ апатію грамотныхъ людей и возбудитъ въ нихъ интересъ къ тому, что совершалось за предѣлами ихъ домашняго очага. Для достиженія этой цѣли полезны были и курьезы, въ родѣ приведеннаго, весьма интересовавшіе тогдашнюю публи-

*) См. Вѣдомости 1708 г. № 18.

ку. Политическія разсужденія Петръ вполнѣ предоставлялъ книгамъ и брошюрамъ, а вѣдомости предназначалъ для скорѣйшаго распространенія извѣстій о европейскихъ дѣлахъ и о своихъ собственныхъ распоряженіяхъ:

Съ теченіемъ времени, измѣнялись и совершенствовались петровскія вѣдомости. Усовершенствованіе началось съ внѣшней стороны: гражданскій шрифтъ вытѣснилъ (съ 1717 г.) прежній церковнославянскій; въ 1711 г. появляется, въ первый разъ, на вѣдомостяхъ виньетка съ изображеніемъ Невы, а въ 1723 г. всѣ послѣдніе 19 номеровъ вышли съ такими же виньетками, рѣзанными на деревѣ. Чтеніе вѣдомостей распространялось, мало по малу, въ разныхъ классахъ народа; но какъ географическія свѣдѣнія были у насъ очень скудны да и то заключались въ тѣсномъ кругу высшаго сословія или лицъ, получившихъ образованіе въ духовныхъ училищахъ,—то, чтобы сдѣлать газету доступнѣе разумѣнію каждаго читателя, редація, съ конца 1723 г., стала помѣщать въ газетныхъ номерахъ краткія свѣдѣнія о замѣчательнѣйшихъ мѣстахъ въ разныхъ странахъ свѣта. Напр. «Версалія — село и забавный домъ короля французскаго, близко Парижа»; «Гага—въ Голландіи городъ или, лучше сказать, село самое хорошее, порядочно строенное и увеселительнѣйшее во всей Европѣ» и т. п. Въ 1725 г. пять послѣднихъ номеровъ озаглавлены уже такъ: «Россійскія Вѣдомости»; номера отмѣчаются цифрами, чего прежде не было. Послѣ смерти Петра I-го изданіе его вѣдомостей продолжалось по 1728-ой годъ. Въ этомъ же году, въ силу регламента, Академія наукъ стала издавать (со 2-го января) свою газету подъ названіемъ «С. Петербургскихъ Вѣдомостей»,

и печатать ее въ академической типографіи. Нелишнимъ будетъ замѣтить, что эти «академическія» вѣдомости не могутъ считаться въ журнальномъ смыслѣ (какъ хотѣлось нѣкоторымъ) продолженіемъ «Россійскихъ Вѣдомостей», ибо въ такомъ случаѣ и «Московскія Вѣдомости» могутъ претендовать (и дѣйствительно претендовали) на эту честь, — даже съ болѣею основательностью, такъ какъ на нѣкоторыхъ нумерахъ петровской газеты (1703 г.) стоитъ почти тоже заглавіе: «вѣдомости московскіе». Но тогда, — чего добраго! — и «Русскія Вѣдомости», нынѣ издающіяся въ Москвѣ, потянутся за ними... Итакъ, москвичамъ полезно помнить, что ихъ университетская газета издается только съ 1756 г., а редакція «Петербургскихъ Вѣдомостей» тоже должна знать, что названіе, форматъ и, отчасти, характеръ этого изданія совершенно отличаютъ его отъ прежнихъ вѣдомостей, и слѣдовательно генеалогія его не восходитъ раньше 1728 г. Значитъ, напрасно обѣ почтенныя газеты стали бы гоняться за древностью лѣтъ и оспаривать другъ у друга пальму библіографическаго первенства...

II.

Герардъ — Фридрихъ Миллеръ, какъ редакторъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» и «Историческихъ примѣчаній» къ нимъ. Борьба съ суевѣріемъ. Политическая сторона въ газетѣ. Вопросъ о правѣ частныхъ людей обсуждать политическія событія. Взглядъ Ломоносова на призваніе журналистики. «Ежемѣсячныя сочиненія». Характеръ тогдашней сатиры. Развѣтїе журналистики при императрицѣ Екатеринѣ II-й и репрессивныя мѣры противъ нея. «Политическій журналъ». Мѣры имп. Павла I.

С.-Петербургскія (академическія) вѣдомости выходили дважды въ недѣлю (дни выхода измѣнялись въ разные года) съ историческими, генеалогическими и географическими примѣчаніями *), тѣ и другія въ 4^о, иногда съ чертежами предметовъ по части астрономіи, механики и пр. Редакторомъ С.-Петерб. Вѣдомостей (съ 1728 до половины 1730 г.) и «Историческихъ примѣчаній» къ нимъ сдѣлался извѣстный академикъ Миллеръ, о которомъ мы считаемъ себя вправѣ поговорить нѣсколько подробнѣе, какъ о первомъ русскомъ журналистѣ, чуждомъ исключительно—оффиціальнаго характера петровской прессы.

Герардъ-Фридрихъ Миллеръ родился 18 окт. 1705 г. въ Герфордѣ, маленькомъ вестфальскомъ городкѣ. Отецъ его занималъ должность директора въ Герфордской гимназіи.

*) Эти «примѣчанія» продолжались по 1742 г.

По словамъ Бюшинга (біографа Миллера), въ Герфордѣ сохранилось преданіе, что во время проѣзда Петра В. черезъ этотъ городъ, любопытный мальчикъ выбѣжалъ къ нему на встрѣчу безъ башмаковъ, которые спряталъ его отецъ, желая удержать его дома. Этотъ случай былъ растолкованъ друзьями его семейства, какъ предзнаменованіе предстоявшей ему поѣздки въ Россію. Въ 1722 г., семнадцати лѣтъ отъ роду, Миллеръ поступилъ уже въ Рингельскій университетъ, изъ котораго черезъ годъ перешелъ въ Лейпцигскій. Здѣсь главными его наставниками были профессора Готшедъ и Менкенъ, изъ которыхъ послѣдній доставилъ ему мѣсто въ Россіи. Менкенъ былъ корреспондентомъ только что учрежденной въ то время С.-Петербургской Академіи Наукъ, и по просьбѣ Блюментроста (перваго президента Академіи), вызывавшаго ученыхъ изъ-за границы, рекомендовалъ ему Миллера на мѣсто адъюнкта по исторической кафедрѣ. Такимъ образомъ Миллеръ, съ согласія своего отца, отправился въ Петербургъ, куда и прибылъ 5 ноября 1725 г. По первоначальному плану, Академія Наукъ была не только академіей, въ нынѣшнемъ ея значеніи, но и первымъ въ Россіи высшимъ учебнымъ заведеніемъ. Миллеръ, немедленно по пріѣздѣ, сталъ преподавать въ высшихъ классахъ академической гимназіи латинскій языкъ, исторію и географію. Обязанность эту онъ исправлялъ постоянно въ теченіи 1726 и 1727 г. Трудолюбіе и добросовѣстность отличали собой всю ученую карьеру Миллера. Не смотря на разныя житейскія невзгоды, на разныя канцелярскія каверзы, которыми запутывалъ его (начиная съ 1739 г.) его недругъ Шумахеръ, этотъ честный человѣкъ

шелъ неуклонно по своей дорогѣ и обогатилъ нашу литературу огромною массою историческихъ, географическихъ и статистическихъ свѣдѣній, собранныхъ имъ—какъ во время десятилѣтняго странствованія по Сибири (съ 1733 — до 1744 г.), вмѣстѣ съ Гмелинымъ и Делилемъ, такъ и во время управленія московскимъ архивомъ иностранной коллегіи (съ 1766 г. до самой смерти Миллера, въ 1793 г.). Нельзя сказать, чтобы Миллеръ равнялся, по природной даровитости, съ другимъ своимъ соотечественникомъ, Шлецеромъ, или съ нашимъ «поморцемъ» Ломоносовымъ, но онъ, во всякомъ случаѣ, употребилъ свои способности самымъ полезнымъ образомъ и сдѣлалъ все, что можно было требовать отъ ученаго съ его размѣромъ умственныхъ силъ. Достоинно сожалѣнія, что болѣе даровитый Ломоносовъ, по своему взгляду на разработку русской исторіи, стоялъ гораздо ниже этого ученаго нѣмца и ожесточенно преслѣдовалъ его за обидное будто бы для русскихъ мнѣніе о скандинавскомъ происхожденіи нашихъ первыхъ князей. При этомъ Ломоносовъ,—какъ гонитель Миллера,—оказывался даже въ одной фалангѣ съ ненавистнымъ Шумахеромъ, который насолилъ, кажется, въ равной степени обоимъ академикамъ...

Журнальная дѣятельность Миллера началась съ 1728 г., когда онъ принялъ на себя редакцію С.-Петербургскихъ Вѣдомостей и сталъ выдавать къ нимъ особое прибавленіе подъ вышеприведеннымъ названіемъ. Начиная это прибавленіе къ «Вѣдомостямъ», Миллеръ желалъ преимущественно испытать, какъ будетъ оно встрѣчено читателями. Успѣхъ превзошелъ его ожиданія: публика съ охотою читала его листки, и многіе члены Академіи поддерживали его

своимъ сотрудничествомъ *). Въ 1729 г., въ «Письмѣ къ благосклонному читателю», Миллеръ самъ объявилъ, что до его примѣчаній «нашлись многіе охотники», и онъ, вслѣдствіе этого, нашелся вынужденнымъ участить срокъ ихъ выпуска. Съ этого времени «Примѣчанія» выходили не только на русскомъ, но и на нѣмецкомъ языкахъ, по полу-листу въ каждый почтовый день. Если попадались въ «Вѣдомостяхъ» фразы, непонятныя для читателей, то Миллеръ дѣлалъ на нихъ свои примѣчанія—сначала только историческаго и географическаго содержанія; но въ 1729 г. было уже извѣщено: «Мы (т. е. редакція) намѣрены такъ распространить примѣчанія, что не токмо, какъ въ прочемъ обыкновенно, новую политическую исторію, генеалогію и географію изъяснять, но и о всемъ прочемъ наше мнѣніе объявлять будемъ. Такжеже не оставимъ, при данномъ случаѣ, изъ разныхъ частей натуральной, церковной и ученой исторіи многое прибавлять». Эти примѣчанія, зародышъ которыхъ мы находимъ въ петровскихъ вѣдомостяхъ 1723 г., (въ объясненіи географическихъ именъ) Миллеръ черпалъ, преимущественно изъ иностранныхъ періодическихъ изданій, какъ напр. изъ англійскихъ—«Зрителя» и «Опекуна». Характеръ примѣчаній былъ чисто академическій: публикъ, не имѣвшей въ рукахъ почти никакихъ учебныхъ пособій, но уже приученной Петромъ къ чтенію вѣдомостей, Миллеръ предлагалъ свѣдѣнія по самымъ разнообразнымъ предметамъ и тѣмъ подготавливалъ ее къ сознательному воспріятію читаннаго. Въ «письмѣ къ благосклонному

*) Успѣхъ «примѣчаній» доказывается, между прочимъ, тѣмъ, что въ 1765 г., въ Москвѣ, они были напечатаны вторымъ изданіемъ.

читателю», о которомъ мы сейчасъ упомянули (Примѣч. 1729 г. № 1), Миллеръ разсказалъ вкратцѣ исторію возникновенія вѣдомостей въ Европѣ, причемъ отдалъ «итальянцамъ первое благодареніе за вымышленіе такъ пріятнаго и полезнаго дѣла». Развиваясь въ Европѣ, — у французовъ, голландцевъ и нѣмцевъ, — «сія мода, напоследокъ, въ здѣшнія сѣверныя провинціи произошла». Строка «Вѣдомостей» о римскихъ кардиналахъ вызвала слѣдующее примѣчаніе: «Кардинальскій чинъ зѣло отъ древнихъ временъ въ римской церкви въ употребленіи былъ. Нынѣ разумѣются подъ симъ званіемъ знатнѣйшія папскаго духовнаго чина особы, которыхъ коллегіумъ въ 70-ти особахъ состоитъ, которое число не всегда въ комплектѣ... они требуютъ рангъ въ равенствѣ съ королями и князьями и имѣютъ совершенное первенство предъ ихъ посланниками и титулъ еминенціи (свѣлости)». Далѣе разсказывается самый обрядъ избранія кардиналовъ. Въ примѣчаніяхъ видна забота и о насущной пользѣ читателей: въ статьѣ о «моровомъ повѣтріи» (примѣч. 1729 г. № X) объясняются причины, симптомы и врачеваніе этой болѣзни; говоря о камнѣ изъ бестѣ, — находимомъ у насъ въ Сибири, — изъ котораго выдѣлывалось не сгораемое полотно, Миллеръ также имѣлъ въ виду возможность практическихъ результатовъ. Не забывалъ онъ нападать на суевѣрія, господствовавшія въ русскомъ обществѣ. Такъ напр. извѣстіе о появленіи кометы въ Анконѣ было имъ комментировано слѣдующимъ образомъ: «При семъ случаѣ намѣрены мы о кометахъ и протчихъ небесныхъ знакахъ нѣчто упомянуть, дабы чрезъ то благочестнаго читателя, которому таковыя бы необыч-

ныя видѣнія соблазнію быть могли, изъ сомнѣнія вывести. Комета есть чрезвычайная звѣзда на небеси, которая свое собственное движеніе имѣетъ и токмо въ нѣкоторыя времена видима бываетъ. Она является, почитай всегда, или съ краткимъ, или съ долгимъ, свѣтлымъ хвостомъ, о чемъ слѣдующій резонъ дается: понеже кометы обыкновенно вокругъ мгловатыхъ кругомъ окружены бывають, въ которомъ отъ онаго назадъ сіяющіе лучи солнечные на противу стоящей сторонѣ зѣло явно и ясно видѣть можно... Изъ сего описанія, которое въ примѣчаніяхъ знатнѣйшихъ астрономовъ подтверждается, выразумѣть можно, что кометы—натуральныя, отъ Бога сотворенныя, твари суть, которыми, по учрежденіямъ ихъ движенія, въ нѣкоторыя времена, конечно, являтися надлежитъ, и тако онны никоимъ образомъ за признаки несчастія сочтены быть не могутъ, хотя временемъ незапно учинилось, что какое несчастливое посѣщеніе на земли въ тое же время приключилось, какъ комета на небеси видима была.—Приключались часто злыя и несчастливныя времена безъ явленія кометъ, а напротивъ того примѣчено, что при явленіи разныхъ кометъ болѣе счастливыхъ, какъ несчастливыхъ случаевъ приключилось (?). И тако не надлежитъ о таковыхъ, хотя чрезвычайныхъ, звѣздахъ какіе сумнѣнія имѣть, ниже оный хвостъ, какъ простой народъ разсуждаетъ, за метлу какую признавать, яко бы Богъ оную при наказаніи какой земли употреблять хотѣлъ... Изъ Анконы увѣдомлено нынѣ, что пять дней по явленіи оной кометы, еще другая звѣзда въ образѣ креста видима была, и потомъ молодой чело-

вѣкъ, на лошади сидящій, на шляпѣ перо имѣя, усмотрѣвъ. И можетъ быть, что въ облакахъ или на небеси нѣкоторые ясные лучи разныхъ видовъ являлись, и тако онымъ (т. е. наблюдателямъ) отъ премѣненія оныхъ (лучей) такія фигуры въ мысли показались» ¹⁾. Конечно, Миллеръ не былъ особенно бдителенъ въ преслѣдованіи разныхъ суевѣрій и нерѣдко печаталъ, безъ всякой оговорки, извѣстія въ такомъ родѣ, что «нѣкоторая дамская персона имѣла, на сихъ дняхъ, съ духомъ нѣкотораго кавалера особый случай»... (т. е. свиданіе съ умершимъ) ²⁾. Нѣкоторые иностранныя слова въ «Примѣчаніяхъ» объясняются: при словѣ *фабула* ставится въ скобкахъ—«басня», при словѣ *матерія*—«вещество и т. п.

Что касается С.-Петербур. Вѣдомостей, издававшихся подъ редакціей Миллера, то онѣ въ одномъ только отношеніи измѣнились,—и прибавимъ, къ худшему,—противъ петровскихъ вѣдомостей: извѣстія о нашихъ внутреннихъ дѣлахъ сообщались въ нихъ крайне скудныя, и, большею частію, припечатывались въ концѣ газетнаго нумера. (Такъ продолжалось вплоть до 1758 г.). Въ этихъ скудныхъ извѣстіяхъ говорилось только о разныхъ торжествахъ, смотрахъ и чинопроизводствахъ. Иногда появляются замѣтки о погодѣ, напр. «воздухъ въ здѣшнихъ околичностяхъ (въ окрестностяхъ Петербурга) уже такъ легокъ и пріятенъ сталъ, какъ только оный пожеланъ быть можетъ. 27 дня сего мѣсяца (марта) прошелъ ледъ рѣки Невы, и уже на оной на судахъ ѣздитъ

¹⁾ «Примѣч.» 1728 г. № 2.

²⁾ «Примѣч.» 1728 г. № 5.

можно» ¹⁾. Но иностранныя извѣстія были, по прежнему, обильны и разнообразны, хотя также слѣдовали одно за другимъ, безъ всякаго раздѣленія ихъ по родамъ и по степени важности. Приведемъ образчики подобныхъ извѣстій:

«Изъ Рима, ноябрю отъ 29 дня. Графъ фонъ-Ламбергъ имѣетъ, яко цесарскій посланникъ, сюды прибыть. Нѣкоторый церковный служитель здѣшняго собора Свѣтъ-Іоанна фонъ-Латерана взять подъ караулъ, понеже онъ кости звѣрей за мощи святыхъ продавалъ и чрезъ нѣкоторые вымышленные буллы другихъ обманывать вспомоществовалъ». (1728 г. № 1).

«Изъ Дублина, въ Ирландіи, отъ 9 дня декабря. Сего дня начался парламентъ, а нижній совѣтъ выбралъ господина Вильгельма Конолла въ ихъ шпехеры (предлагатели о дѣлахъ ²⁾). Вицерой, Милордъ Картеретъ, былъ въ верховномъ совѣтѣ и говорилъ предъ обѣма Парламентами слѣдующую рѣчь» ³⁾. (Затѣмъ приводится самая рѣчь. Приводились также рѣчи англійскаго короля къ своему парламенту).

«Изъ Лондона, отъ 1 дня генваря. Здѣсь еще сумнѣваются о счастливомъ успѣшествованіи трактатовъ между нашимъ и Гишпанскимъ дворами ⁴⁾, ибо хотя слухъ вездѣ разсѣянъ былъ, что король Гишпанскій прелиминарные артикулы къ предбудущему общему миру подтвердилъ, то однакожъ извѣстны мы здѣсь, что сіе токмо подъ нѣкоторыми кондиціями учинилось, которые нашему двору отъ Гишпаніи предложены». (id. № 6).

¹⁾ «Прим». 1768 г. № 2.

²⁾ Примѣчаніе редакціи Петерб. вѣдомостей.

³⁾ «Прим». 1728 г. № 3.

⁴⁾ Здѣсь говорится о Суассонскихъ конференціяхъ.

«Изъ Рима, отъ 14 дня февраля. Во вторникъ къ вечеру окончены карневальскія увеселенія, ко удовольствію всякаго, при пусканіи лошадей въ запуски въ Алкорзѣ. (Сія есть одна изъ красивѣйшихъ улицъ здѣсь, гдѣ варварскіе ¹⁾ лошади въ запуски бѣгаютъ, и знатнѣйшіе особы въ Воскресные и праздничные дни гуляютъ»). ²⁾ (id. № 21).

«Изъ Штрасбурга пишутъ, что нѣкоторая особа женскаго полу, не бывъ за мужемъ, въ 60 году отъ рожденія ея, 23 дня прошлаго мѣсяца февраля умерла, у которой нижняя часть чрева отъ времени до времени великая стала, которая однакожъ весьма никакой болѣзни не чувствовала, и какъ тамошніе медики, хотя они при лѣченіи ея всякіе лѣкарства употребляли, ей никакой пользы учинить не могли, то стали они оную по смерти ея анатомировать, дабы имъ причину такой необыкновенной болѣзни открыть, и нашли внутри чрева ея великую змѣю». ³⁾ (id № 22).

При передачѣ политическихъ извѣстій, Миллеръ не позволялъ себѣ быть ихъ судьей и держался только фактовъ, которые почерпалъ изъ самыхъ достовѣрныхъ иностранныхъ газетъ. Какъ смотрѣли въ то время на участіе «непризванныхъ лицъ» въ рѣшеніи политическихъ вопросовъ—покажетъ намъ «копія съ письма изъ Амстердама», напечатанная въ № 88 С.-Петербур. Вѣдомостей за 1728 г. Здѣсь идетъ рѣчь объ одной юмористической статьѣ или брошюрѣ, — напечатанной, какъ видно, во Франціи, — гдѣ «мирныя дѣла»

¹⁾ Т. е. варварскія.

²⁾ Миллеръ, и въ самомъ текстѣ С.-Петербур. Вѣдомостей, часто дѣлалъ подобныя объясненія.

³⁾ Вѣроятно—солитеръ?

(т. е. конференціи въ Суассонѣ) «представлены, яко картеная (карточная) игра, и 20 и большее число персонъ въ одной квадриллѣ представляются». По словамъ корреспондента, это «безобразное ума разсужденіе принято у многихъ за благо», и онъ очень беспокоится, чтобы эта насмѣшка и въ Петербургѣ «не была такимъ же образомъ принята». Коснувшись вообще права частныхъ лицъ обсуждать политическія дѣла, корреспондентъ отзывается такъ: «Воинскихъ и мирныхъ дѣлъ основательно разсуждать суть, по моему мнѣнію, токмо тѣ достойны, которые случаи имѣютъ съ знатными министрами обходиться и которые о ихъ тайныхъ дѣлахъ извѣстны. Нѣкоторые принуждены скорлупами довольствоваться вмѣсто того, что сіи ядра находятъ; и когда такой, который сіе счастье не имѣетъ, думаетъ, что онъ подлинно прицѣлилъ, то находится часто, что онъ въ средину цѣли не потрафилъ.»

«Что есть страннѣе—продолжаетъ нашъ авторъ—яко то, когда кто дѣйствительныя и важныя дѣла смѣшно изображаетъ? Что худшѣе, яко то, когда кто 20 и большее число персонъ въ одной квадриллѣ представляетъ? что есть обыкновеннымъ правиламъ въ разсужденіи противнѣе, яко то, когда кто склоненіямъ нрава (т. е. своей прихоти) надъ мудростью власть даетъ и въ самомъ началѣ измѣняетъ, къ какой партіи онъ склоняется? и что напоследокъ безразумнѣе, яко то, когда кто такіе персоны въ игру (т. е. въ игру картежную) вмѣняетъ, которые до оной весьма не касаются».

«Разсудите сами—заключаетъ корреспондентъ—ежели сіе жесточайшаго разсмотрѣнія не стоить. Я оное письмо того ради къ вамъ посылаю, дабы вы со мною о слабости изда-

теля сожалѣли... Воздержность издателя да защищается такъ, какъ можетъ; такъ именуемое благое разсужденіе, которымъ французскій народъ хвалится (статья появилась во Франціи) изъ него не узнавается, или, ежели оно отъ прежнихъ временъ такъ изъ порядка вышло, то-бъ хорошо было, когда-бъ особливое собраніе учредить, котораго члены постарались бы, чтобъ оно въ прежнее состояніе, чисто и безъ фальши, привести. Но находится мало таковыхъ людей въ свѣтѣ, которые основательнаго и добраго разсужденія суть.

Итакъ, по мнѣнію амстердамскаго корреспондента—лица, повидимому принадлежавшаго къ вліятельному кругу,—сообщеніе публикѣ политическихъ извѣстій лежитъ на обязанности свѣдущихъ людей, близкихъ къ министрамъ, и нужно даже учредить «особливое собраніе», которое бы имѣло своей спеціальной задачей: заботиться о приведеніи этихъ извѣстій «въ чистоту и безъ фальши»,—если ужъ они разъ искажены несвѣдущею рукою.

Подобный же немудреный взглядъ на журналистику, какъ на офиціальныи отчетъ о дѣятельности офиціальныи собраній, высказываетъ и Ломоносовъ, не возвысившійся въ этомъ случаѣ надъ уровнемъ обыденныхъ возрѣній. Разница состоитъ только въ томъ, что Ломоносовъ совсѣмъ даже изгоняетъ современную политику изъ круга журнальныхъ обсужденій и ограничиваетъ этотъ кругъ одними резонированными выборками изъ академическихъ изданій и мемуаровъ. Взглядъ этотъ высказанъ былъ Ломоносовымъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Въ 1754 г., въ одномъ лейпцигскомъ журналѣ (*Commentaria de rebus in scientia naturali et medicina gestis*) по-

явилась очень злая рецензія на ученныя работы нашего знаменитаго академика, особенно нападавшая на его новыя теоріи о теплотѣ и стужѣ, о химическихъ растворахъ и объ упругости воздуха. Рецензія эта принадлежала, кажется, лейпцигскому профессору Кестнеру, извѣстному въ то время математику и сатирику, который, по выраженію Эйлера—«не умѣлъ держать въ уздѣ своего сатирическаго духа», и своими колкими насмѣшками возстановилъ противъ себя почти всѣхъ своихъ ученыхъ современниковъ. Ломоносовъ,—крайне самолюбивый и всегда раздражительный, если дѣло касалось его ученой дѣятельности, — не оставилъ, конечно, безъ возраженія помянутую рецензію и отвѣтилъ противъ нея цѣлою диссертациею, въ которой для насъ интересны: какъ предисловіе, заключающее въ себѣ разсужденіе «о должности журналистовъ» такъ и конечные выводы или совѣты автора *).

«Всякій знаетъ—говоритъ Ломоносовъ въ началѣ своего разсужденія—какъ стали значительны и быстры успѣхи наукъ съ тѣхъ поръ, какъ было сброшено иго рабства, и мѣсто его заступила свобода сужденія. Но нельзя не знать также, что злоупотребленіе этой свободы было причиною весьма ощутительныхъ золъ, число которыхъ однакожь далеко не было бы такъ велико, еслибъ бѣольшая часть пишущихъ не смотрѣли на свое авторство, какъ на ремесло и на средство къ пропитанію, вмѣсто того, что-

*) Диссертация эта, написанная на латинскомъ языкѣ, была, по хотѣтайству Эйлера, переведена Формеемъ на французскій языкъ для журнала: «Bibliothèque Germanique» и тамъ напечатана въ 1755 г. Мы пользуемся русскимъ переводомъ ея, сдѣланнымъ г. Куникомъ въ «Сборникъ матеріаловъ для исторіи имп. академіи наукъ въ XVIII вѣкѣ». (Спб. 1865 г.).

бы имѣть въ виду точное и основательное изслѣдованіе истины. Оттого-то происходитъ столько излишне-смѣлыхъ выводовъ, столько странныхъ системъ, столько противорѣчивыхъ мнѣній, столько заблужденій и нелѣпостей, что науки были бы давно подавлены этою грудю хлама, еслибы учення общества не старались соединенными силами противодѣйствовать такому бѣдствію. Только что люди замѣтили, что въ потокѣ литературы смѣшаны истина съ ложью, вѣрное съ невѣрнымъ, и что наука подвергается опасности лишиться всякаго дѣйствія, если она не будетъ выведена изъ этого положенія, — образовались общества ученыхъ и учреждены были какъ бы литературныя судилища для оцѣнки сочиненій, съ тѣмъ, чтобы отдавать каждому автору справедливость на основаніи самыхъ точныхъ началъ естественнаго права. Таково (въ равной мѣрѣ) происхожденіе академій и обществъ, завѣдывающихъ изданіемъ журналовъ. Первыя наблюдаютъ, чтобы! до выхода въ свѣтъ, сочиненія ихъ членовъ подвергались строгому разсмотрѣнію, которое не допускало бы примѣси заблужденія къ истинѣ, не позволяло бы выдавать однѣхъ гипотезъ за достовѣрныя положенія и стараго за новое. Что касается до журналовъ, то они обязаны представлять самыя точныя и вѣрныя сокращенія появляющихся сочиненій съ присоединеніемъ къ нимъ иногда справедливаго сужденія либо о самомъ содержаніи, либо о какихъ нибудь обстоятельствахъ, относящихся къ выполненію. Цѣль и польза такихъ извлеченій состоитъ въ томъ, чтобы быстрѣе распространять въ ученомъ мірѣ знакомство съ новыми книгами».

Сблизивъ и даже отождествивъ такимъ образомъ задачи ученыхъ обществъ и журналистики, Ломоносовъ замѣчаетъ далѣе, что «излишне было бы указывать: сколько услугъ академіи оказали наукамъ своими прилежными трудами и учеными мемуарами, какъ усилился и распространился свѣтъ истины съ тѣхъ поръ, какъ возникли эти полезныя учрежденія.» Но гораздо менѣе доволенъ онъ результатами быстрого развитія журналистики. «Журналы—по его мнѣнію—также могли бы много способствовать къ приращенію человѣческихъ знаній, еслибъ издатели были въ состояніи точно выполнить задачу, которую на себя приняли, и оставались въ настоящихъ предѣлахъ, предписываемыхъ имъ этой задачей. Способность и воля—вотъ чего отъ нихъ требуютъ. Способность нужна для того, чтобы основательно и съ знаніемъ дѣла обсуждать ту массу разнородныхъ предметовъ, которая входитъ въ ихъ планъ; воля, — чтобы, не имѣя въ виду ничего иного, кромѣ истины, нисколько не поддаваться предразсудкамъ и страстямъ. Тѣ, которые присвоили себѣ званіе журналистовъ безъ такого дарованія и расположенія, не сдѣлали бы этого, еслибъ,—какъ было ужъ замѣчено,—ихъ не подстрекнулъ къ тому голодъ и не заставилъ ихъ судить и рядить о томъ, чего они не разумѣютъ. Дѣло дошло до того, что нѣтъ столь дурнаго сочиненія, котораго бы не расхвалилъ и не превознесъ какой нибудь журналъ, и наоборотъ, какъ бы превосходенъ ни былъ трудъ, его непремѣнно очернить и растерзаетъ какой нибудь ничего не знающій или несправедливый критикъ. Послѣ того, количество журналовъ такъ умножилось, что уже некогда было бы читать книги

полезныя и нужныя или самому думать и трудиться, еслибъ кто захотѣлъ собирать у себя и только перелистывать Эфемериды, Ученныя газеты, Литературныя записки, Библіотеки, Комментаріи и другія періодическія изданія этого рода. Потому разсудительные читатели и держатся только такихъ журналовъ, которые признаны за лучшіе, и оставляютъ въ сторонѣ жалкія компіляціи, которыя только переписываютъ или искажаютъ сказанное другими, и которыхъ вся заслуга въ томъ, что онѣ, не стѣсняясь ничѣмъ, расточаютъ желчь и ядъ. Журналистъ свѣдущій, проницательный, справедливый и скромный сдѣлался чѣмъ то въ родѣ феникса».

Выразивъ далѣе сожалѣніе о томъ, что журнальная критика «вредитъ репутаціи ученыхъ, уничтожаетъ истину» и угрожаетъ «погубить совершенно свободу разсужденія» (?)—Ломоносовъ, въ заключеніе своей диссертациі, находитъ необходимымъ «предписать такимъ критикамъ точныя границы, въ которыхъ имъ слѣдуетъ оставаться», и тутъ же указываетъ эти границы въ семи пунктахъ, совѣтуя «затвердить ихъ хорошенько» какъ лейпцигскому журналисту, такъ и всѣмъ его собратьямъ:

«1. Кто беретса сообщать публикѣ содержаніе новыхъ сочиненій, долженъ напередъ взвѣсить свои силы, ибо онъ предпринимаетъ трудъ тяжелый и весьма сложный, котораго цѣль не въ томъ, чтобы передавать вещи извѣстныя и истины общія; но чтобъ умѣть схватить новое и существенное въ сочиненіяхъ, принадлежащихъ иногда людямъ самымъ гениальнымъ (кажется, скромный намекъ на самого автора диссертациі). Говорить о нихъ невѣрно и неразсудительно, значитъ подвергать себя презрѣнію и по-

смѣянію, значить уподобляться карлу, который захотѣлъ бы поднять на своихъ плечахъ горы».

«2. Чтобъ быть въ состояніи произнести приговоръ искренній и справедливый, надобно освободить свой умъ отъ всякаго предразсудка, отъ всякаго предубѣжденія, и не требовать, чтобъ авторы, которыхъ мы беремся судить, рабски подчинялись идеямъ, господствующимъ надъ нами (*soient servilement astreints aux idées qui nous dominent*), считая и безъ того этихъ писателей нашими истинными врагами, съ которыми мы призваны вести открытую войну».

«3. Сочиненія, о которыхъ отдается отчетъ, должны быть раздѣлены на два разряда: къ первому принадлежать сочиненія одного автора, писавшаго ихъ, какъ частное лицо; ко второму — труды, издаваемые цѣлыми корпорациями съ общаго согласія, по тщательномъ ихъ разсмотрѣніи. И тѣ, и другіе заслуживаютъ, конечно, всякаго вниманія и уваженія со стороны критики: нѣтъ такого сочиненія, которое не требовало бы соблюденія естественныхъ законовъ справедливости и приличія. Нельзя однакожь не согласиться, что нужно вдвое болѣе осторожности, когда дѣло идетъ о сочиненіяхъ, уже носящихъ на себѣ печать уважительнаго одобренія (*qui portent déjà le sceau d'une approbation respectable*), просмотрѣнныхъ и признанныхъ достойными изданія отъ лицъ, которыхъ совокупныя знанія естественно превосходятъ свѣдѣнія журналиста, и прежде, нежели онъ рѣшится указывать недостатки и осуждать, онъ долженъ неоднократно взвѣсить то, что намѣренъ сказать, для того чтобъ быть въ состояніи поддержать и оправдать свои слова, если въ томъ встрѣ-

тится надобность. Такъ какъ сочиненія этого рода бываютъ обыкновенно тщательно обработаны, и предметы въ нихъ рассматриваются систематически, то малѣйшіе пропуски или неточности могутъ подать поводъ къ опрометчивымъ сужденіямъ, которыя уже и сами по себѣ постыдны, но становятся такими еще болѣе, когда въ нихъ ясно высказываются небрежность, невѣжество, поспѣшность, духъ партій и недобросовѣстность».

«4. Журналистъ не долженъ торопиться порицать гипотезы. Онѣ позволительны въ предметахъ философскихъ, и это даже единственный путь, которымъ величайшіе люди успѣли открыть истины самыя важныя. Это какъ бы порывы, доставляющіе имъ возможность достигнуть знаній, до которыхъ умы низкіе и пресмыкающіеся въ пыли (*les esprits objects et rampants dans la poussière*) никогда добратся не могутъ».

«5. Особенно же пусть журналистъ запомнить, что всего безчестнѣе для него красть у кого либо изъ собратьевъ высказываемыя имъ мысли и сужденія и присвоивать ихъ себѣ, какъ будто бы онъ самъ придумалъ ихъ, тогда какъ ему извѣстны едва заглавія книгъ, которыя онъ уничтожаетъ. Такъ бываетъ часто съ наглымъ рецензентомъ, который отваживается дѣлать извлеченія изъ книгъ физическихъ и медицинскихъ».

«6. Журналисту позволяется опровергнуть то, что, по его мнѣнію, заслуживаетъ того въ новыхъ сочиненіяхъ, хотя это вовсе не настоящее его дѣло и не прямое его призваніе (*quoique ce ne soit pas son objet direct et sa vocation proprement dite*). Но кто уже разъ беретъ за

то, (тотъ) долженъ вполне ознакомиться съ мыслями автора, разобрать всѣ его доказательства и противопоставить имъ дѣйствительныя возраженія и основательные доводы, прежде нежели онъ присвоитъ себѣ право осуждать другого. Одни сомнѣнія и произвольные вопросы не даютъ этого права, ибо нѣтъ такого невѣжды, который не могъ бы предложить гораздо болѣе вопросовъ, нежели сколько самый свѣдущій человѣкъ въ состояніи рѣшить. Журналистъ не долженъ особенно воображать, что непонятное и необъяснимое для него—таково же и для автора, который могъ имѣть свои причины (?) къ тому, чтобы сократить или опустить нѣкоторыя обстоятельства».

«7. Наконецъ, онъ никогда не долженъ имѣть слишкомъ высокаго мнѣнія о своемъ превосходствѣ, о своемъ авторитетѣ и о достоинствахъ своихъ сужденій. Выполняемое имъ дѣло само по себѣ уже непріятно для самолюбія тѣхъ, кого онъ затрагиваетъ (*la fonction qu'il exerce étant déjà par elle-même désagréable à l'amour propre de ceux qui en sont objet*): было бы, съ его стороны, очень неблагоприятно оскорблять ихъ намеренно и вынуждать къ обнаруженію его безсилія (*désobliger volontairement et de les forcer à mettre au grand jour son insuffisance*)».

Нельзя не замѣтить, что, помимо добрыхъ совѣтовъ, полезныхъ въ равной мѣрѣ какъ для журналистовъ, такъ и для академиковъ (какъ напр. совѣтъ «не имѣть слишкомъ высокаго мнѣнія о своемъ превосходствѣ и авторитетѣ»),—диссертация эта больше выражаетъ собой негодованіе уязвленнаго автора, чѣмъ достаточное пониманіе той «должно-

сти журналиста», о которой взялся разсуждать онъ. Недобросовѣстные и невѣжественные люди, — берущіеся не за свое дѣло и вносящіе въ него элементы разложенія, — встрѣчаются, конечно, во всѣхъ сферахъ общественной дѣятельности; но едва ли основательно было со стороны Ломоносова видѣть ихъ почти исключительно въ журналистикѣ, гдѣ, будто бы, нельзя и найти «свѣдущаго, проницательнаго и справедливаго» человѣка. Прямое опроверженіе этому взгляду представилось сейчасъ же въ лицѣ того журналиста, который отнесся вполне уважительно къ претензіи Ломоносова и далъ ей возможность публично же высказаться, не смотря на то, что раздраженный ученый клеймилъ смаху все сословіе, къ которому принадлежалъ, между прочимъ, и этотъ «справедливый» журналистъ. Но, независимо отъ вопроса о бѣльшей или меньшей личной порядочности тогдашнихъ журнальных дѣятелей, — самый взглядъ Ломоносова на задачу и характеръ журнальнаго дѣла никакъ не можетъ быть признанъ правильнымъ, ибо въ немъ упущена цѣликомъ изъ виду вся общественно - политическая роль журналистики. Учебная книга, академическій мемуаръ дѣлаютъ излишнимъ, по этому взгляду, всякое періодическое изданіе, а взрослая публика трактуется авторомъ диссертациі, какъ учащееся юношество.

Ломоносовъ едва разрѣшаетъ журналисту «опровергать въ разбираемыхъ сочиненіяхъ то, что заслуживаетъ опроверженія,» и обязываетъ его только передавать ихъ содержаніе, съ соблюденіемъ особой почтительности, — равняющейся подобострастію, — къ коллективнымъ трудамъ ученыхъ

корпорацій. Насколько журналисты вѣтренны, необразованы и корыстны, настолько же члены «ученыхъ корпорацій» солидны, свѣдуши и руководимы только одними высшими научными интересами. Такимъ образомъ, патентованная ученость, которая и безъ того склонна застыть въ своемъ неподвижномъ величїи, являлась сама себѣ судьей и получала безраздѣльное право вязать и рѣшить всѣ научные и литературные вопросы. Совершенно аналогическая мысль, — только перенесенная въ область политики, — мысль о необходимости «особливыхъ собраній», соответствующихъ ученымъ корпораціямъ Ломоносова, была высказана и въ цитированномъ нами письмѣ амстердамскаго корреспондента С.-Петербургскихъ Вѣдомостей.

Успѣхъ «Примѣчаній» внушилъ Миллеру намѣреніе заняться изданіемъ ежемѣсячнаго учено-литературнаго журнала, съ цѣлью распространить въ русской публикѣ серьезныя научныя познанія, относящіяся главнымъ образомъ къ прошедшему и настоящему быту Россіи. Назначенный въ началѣ 1754 г. конференцъ-секретаремъ академіи, Миллеръ немедленно предложилъ ей приступить къ такому изданію, а вмѣстѣ съ тѣмъ составилъ подробную программу журнала и принялъ на себя его редакцію подъ наблюденіемъ особаго академическаго комитета. Изданіе появилось въ 1755 г. подъ именемъ «Ежемѣсячныхъ Сочиненій», но въ теченіе десятилѣтняго своего существованія оно три раза мѣняло это первоначальное названіе. На первомъ планѣ стояли здѣсь ученныя изысканія самого Миллера по русской исторіи; но въ журналъ были введены также и другого рода статьи, безъ раздѣленія ихъ на особыя рубрики (которыя появились, въ

первый разъ, въ карамзинскихъ журналахъ),—введены уже не для «пользы», а для «увеселенія» читателей. Въ предисловіи къ журналу говорилось: «Предлагаемы будутъ здѣсь всякія сочиненія, какія только обществу полезны быть могутъ: не одни только разсужденія о собственно такъ называемыхъ наукахъ, но и такія, которыя въ экономіи, въ купечествѣ, въ рудокопныхъ дѣлахъ и пр. къ поправленію чего нибудь поводъ подать могутъ... Для сохраненія благопристойности и для отвращенія противныхъ слѣдствій вносятся не будутъ сюда никакіе явные споры или чувствительныя возраженія на сочиненія другихъ, ни же иное что съ обидою написанное на кого бы то ни было... Мы равномерно желаемъ, чтобъ и стихотворцы сочиненія свои намъ сообщали, между которыми могутъ быть и забавныя; то мы надѣемся, что сочинители оныхъ ни до кого персонально касаться не будутъ». Такимъ образомъ, въ журналѣ печатались правоучительныя притчи, сны, повѣсти — оригинальныя и переводныя изъ англійскихъ и нѣмецкихъ журналовъ. Характеръ этихъ правоученій и сатиръ былъ еще не таковъ, какимъ онъ сталъ въ позднѣйшее время: Миллеръ очень опасался всякихъ «персональных указаній» и «противныхъ слѣдствій» полемики, потому и въ сатирахъ его журнала развивались только однѣ общія идеи, въ самой отвлеченной и безобидной формѣ. Форма аллегоріи считалась самой удобной для такого кроткаго исправленія нравовъ; нравственныя идеи, пересыпанныя нападками на общечеловѣческіе пороки, излагались въ видѣ сновъ, разговоровъ въ царствѣ мертвыхъ и т. п. Для пущаго обличенія зла, авторъ бралъ названіе какого

нибудь ходячаго порока и рассказывалъ его исторію, какъ-то: союзъ съ другими пороками и вражду съ добродѣтелью. Въ подобномъ родѣ есть, наримѣръ, одна «Аллегорія», въ которой рассказывается о гордости, что она «родилась отъ упрямства и презорства; ненависть и зависть были дѣдъ и бабка съ отцовской, а безуміе и самолюбіе—съ материнской стороны». Гордость вступаетъ потомъ въ бракъ съ честолюбіемъ, губить мужа и сама погибаетъ. Въ другихъ беллетристическихъ произведеніяхъ развивается мысль, что «благость и милосердіе потребны героямъ», что «монаршее имя любовью къ подданнымъ безсмертіе пріобрѣтаетъ» и т. п. По части серьезныхъ статей съ научнымъ характеромъ, Миллеръ переводилъ изслѣдованія Бюффона, Линнея, статьи медицинскаго содержанія и пр. и пр. Современныя извѣстія оставались въ окончательномъ пренебреженіи: они ограничивались, и то рѣдко, описаніемъ фейерверковъ, придворныхъ церемоній, пріема пословъ и т. п. Критика была еще въ зародышѣ и не считалась необходимой принадлежностью журнала. Поэтому «Ежемѣсячныя сочиненія» представили, за первыя 8 лѣтъ своего существованія, только двѣ критическія статьи, изъ которыхъ въ одной разбиралась трагедія Сумарокова: «Синавъ и Труворъ». Но за то съ 1763 г. появляется въ журналѣ постоянная библіографія русскихъ и иностранныхъ книгъ.

Съ 1756 г. стали выходить въ Москвѣ, при университетѣ, «Московскія Вѣдомости» (дважды въ недѣлю) по образцу Петербургскихъ, въ томъ видѣ, какъ онѣ издавались при Миллерѣ. Первыми редакторами ихъ были Поповскій и Барсовъ. Здѣсь такъ же, какъ и въ академическихъ вѣдомостяхъ,

печатались преимущественно иностранныя политическія извѣстія, безъ всякой тенденціи, а также новости собственно московскія: описаніе университетскихъ празднествъ, объявленія отъ университета и присутственныхъ мѣстъ.

Итакъ, кромѣ элементарно-поучительнаго характера, въ изданіяхъ Миллера впервые пробились и сатирическая струя, скованная первоначально своей аллегорической формой. Но этой слабой струѣ предстояло скоро разростись въ довольно широкій потокъ. Въ 1759 г. одинъ изъ сотрудниковъ «Ежемесячныхъ Сочиненій», сатирикъ и драматургъ Сумароковъ открылъ свой собственный журналъ, подъ названіемъ «Трудолюбивой Пчелы», въ которомъ сатирѣ отводилось уже болѣе мѣста и значенія, чѣмъ въ «Ежемесячныхъ Сочиненіяхъ». Сумароковъ осмѣивалъ не пороки вообще, а пороки русскаго общества въ частности. Еще полнѣе выразилось это сатирическое направленіе въ цѣломъ рядѣ журналовъ, возникшихъ при Екатеринѣ II. — Извѣстно, что въ первое время своего царствованія Екатерина II, торжественно осудивъ своего предшественника за «развращеніе всего того, что Петръ Великій въ Россіи установилъ», дала обѣщаніе заботиться единственно о благосостояніи своего государства, «дабы вывести усердныхъ сыновъ Россіи изъ унынія и оскорбленія». Императрица издала, одинъ за другимъ, нѣсколько указовъ, или облегчавшихъ народныя тягости, или осуждавшихъ, рѣзко и безпощадно, весь прежній порядокъ дѣлъ. Сюда относятся: указъ объ уничтоженіи ненавистой всѣмъ тайной канцеляріи и другой—о лихоимствѣ—гдѣ съ замѣчательной прямою было раскрыто все зло, господствовавшее въ то время въ нашихъ судахъ. Либеральное настроеніе

императрицы, желавшей прослыть «россійской Минервой», отразилось и въ тогдашней литературѣ. Понимая, подобно Петру I, значеніе печати для успѣшнаго проведенія въ общество извѣстныхъ взглядовъ, Екатерина сама прибѣгала къ литературнымъ средствамъ и охотно дозволяла другимъ пользоваться свободой слова,—поскольку это не противорѣчало ея государственнымъ видамъ и тѣмъ особеннымъ, полузависимымъ отношеніямъ, въ которыя историческая судьба поставила ее къ правящимъ классамъ русскаго народа.

Вслѣдствіе этого, положеніе тогдашнихъ журналовъ было не очень завидное; при всей своей невинности, они получали право нападать только на то, что было уже и безъ нихъ осуждено высшею властью. Писатели, которые пробовали распространить свои критическія наблюденія нѣсколько дальше обычной мѣрки, встрѣтились съ самыми затруднительными препятствіями, которыхъ, конечно, они не могли преодолѣть. Исторія притѣсненій, которымъ подверглись въ это время наши сатирическіе журналы, достаточно знакома публикѣ, и мы только напомнимъ ее въ главныхъ чертахъ. Въ 1769 г. появился еженедѣльный сатирическій листокъ «Всякая Всячина», въ изданіи котораго принимала непосредственное участіе сама императрица (см. «Матеріалы для исторіи журн. и литер. дѣятельности Екатерины II;» Зап. Ак. Н., прил. къ III т., № 6.) Направленіе этого листка было умѣренно-либеральное; въ немъ вліятельный кружокъ развивалъ инкогнито свои мысли по разнымъ вопросамъ, занимавшимъ тогда общественное мнѣніе. Примѣръ «Всякой Всячины» увлекъ на это поприще и другихъ писателей: вслѣдъ за ней появился въ томъ же году рядъ

новыхъ изданій: «И то, и се», «Ни то, ни се» (Рубана), «Поденшина» (Тузова), «Смѣсь», «Трутень» (Новикова) и «Адская почта» (Эмина). Кромѣ того, полгода выходило «Полезное съ Пріятнымъ». Но всѣ эти изданія прекратились въ концѣ года; только два изъ нихъ: «Барышокъ Всякія Всячины» (т. е. остатокъ прошлгоднихъ статей) и «Трутень» перешли на слѣдующій 1770 годъ. Самымъ смѣлымъ изъ этихъ журналовъ былъ, конечно, «Трутень» Новикова. Въ первыхъ же листкахъ своего еженедѣльнаго изданія смѣлый писатель напалъ съ такимъ ожесточеніемъ на взяточниковъ и ихъ покровителей, что осторожная «Всякая Всячина» сочла нужнымъ тогда же напечатать отповѣдь, въ которой вина неправосудія слагалась съ чиновниковъ на общество, давно привыкшее къ ябедѣ и сутяжничеству. При этомъ «Всякая Всячина» удостовѣряла, что «можетъ быть, никогда и нигдѣ какое бы то ни было правленіе не имѣло болѣе попеченія о своихъ подданныхъ, какъ нынѣ царствующая монархія», и что «ей, великой государынѣ, пріятно правосудіе, что она сама справедлива и желаетъ въ самомъ дѣлѣ видѣти справедливость и правосудіе въ дѣйствиіи во всей ея области». Вопросъ о взяточничествѣ ставился здѣсь такимъ образомъ, что излишняя горячность въ преслѣдованіи его могла быть растолкована, какъ обида для верховной власти. Подобная постановка вопроса повела къ тому, что въ началѣ 1770 г. «Трутень» всѣ свои нападки на взяточниковъ помѣчалъ заднимъ числомъ, т. е. относя ихъ къ неустройству прежняго управленія,—тогда какъ въ первый годъ изданія онъ смотрѣлъ далеко не такъ благодушно на процвѣтаніе правосудія въ нашемъ отечествѣ. «Скажи, пожа-

луй—спрашивалъ, во 2-мъ листѣ «Трутня», (1769 г.) взяточникъ-дядя своего племянника—для чего ты не хочешь идти въ приказную (службу)? Почему она тебѣ противна? Ежели ты думаешь, что она, по нынѣшнимъ указамъ, не наживна, такъ ты въ этомъ, другъ мой, ошибаешься. Правда, въ нынѣшнія времена противъ прежняго не придетъ и десятой доли; но со всѣмъ тѣмъ годовъ въ десятокъ можно нажить хорошую деревеньку». Только одни прокуроры (должность, только что учрежденная въ то время) мѣшаютъ воровству и, по пословицѣ: «новая метла чисто мететъ», стараются замѣнить закономъ—беззаконіе. «Нажилъ бы я еще и не то—сѣтуеть взяточникъ—ежели бы прокуроръ со мною былъ посогласнѣе; но за грѣхи мои наказалъ меня Господь такимъ несговорчивымъ, что, какъ его не уговаривай, только онъ, какъ козы рога, въ мѣхъ не лѣзетъ... Прокуроръ нашъ человекъ молодой и, сказываютъ, что ученый, только я этого не примѣтилъ. Развѣ потому, что онъ въ бытность его въ Петербургѣ, купилъ себѣ премножество книгъ, а пути нѣтъ ни въ одной. Я одинажды перебиралъ ихъ всѣ, только ни въ одной не нашелъ, котораго святаго въ тотъ день празднуется память,—такъ куда онѣ годятся? Я на всѣ его книги святцовъ своихъ не промѣняю». Но и эти неожиданные враги, по мнѣнію взяточника, ненадолго останавливать разгулъ корысти. «Научился (прокуроръ) дѣлать верши—иронически замѣчаетъ онъ—которыми думалъ насъ оплетать; только самъ онъ чаще попадается въ наши верши (т. е. сѣти). Мы его частехонько за носъ поворачиваемъ. Онъ думаетъ, что всѣ дѣла надлежитъ вершить по

наукамъ, а у насъ въ приказныхъ дѣлахъ какія науки? Это правъ, такъ тотъ и безъ наукъ правъ, лишь бы только была у него догадка, какъ приняться за дѣло, а судейская наука вся въ томъ состоитъ, чтобы умѣть искусненько пригибать указы по своему желанію, въ чемъ и секретари много намъ помогаютъ». Изъ этихъ словъ выходитъ уже, что прокурорскій надзоръ—несмотря на то, что онъ досаждалъ по временамъ судьямъ,—не въ силахъ былъ улучшить дѣла, имѣвшаго глубокіе органическіе недостатки: въ отсутствіи гласности, въ «гибкости» закона, въ общемъ невѣжествѣ и т. п. Еще больше утѣшаетъ взяточника та пріятная надежда, что его племянникъ, благодаря протекціи «знатныхъ господъ», можетъ и самъ попасть въ прокуроры, а затѣмъ стакнуться съ дядюшкой и вдвоемъ обирать народъ такъ искусно, что на нихъ «и просить нельзя будетъ». Но такіа зловѣщія пророчества, разумѣется, не нравились императрицѣ....

Еще рѣзче оборвали Новикова, когда онъ вздумалъ коснуться, въ прозрачныхъ обличеніяхъ, разныхъ высоко-поставленныхъ лицъ, или тѣхъ—по его словамъ—«большихъ бояръ, которые угнетаютъ истину, правосудіе, честь, добродѣтель и человѣчество, и съ которыми хуже имѣть дѣло, чѣмъ съ лютымъ тигромъ». Вслѣдъ за появленіемъ подобныхъ статей, издатель «Трутня» получилъ письмо отъ одного изъ своихъ доброжелательныхъ читателей, въ которомъ его предостерегали, что статьи такого содержанія дурно принимаются при дворѣ. Между прочимъ, авторъ письма приводитъ весьма выразительныя слова одного «придворнаго господчика», сказанныя имъ про издателя «Трутня»: «Не

въ свои-де этотъ авторъ садится сани. Онъ-де зачинаетъ писать сатиры на придворныхъ господъ, знатныхъ бояръ, дамъ («Трутенъ» помѣстилъ въ IV-мъ листѣ рассказъ о томъ, какъ одна знатная барыня украла изъ гостинаго двора два мотка золотыхъ и серебряныхъ сѣтокъ), на судей именитыхъ и на всѣхъ. Такая-де смѣлость ничто иное есть, какъ дерзновеніе. Полно-де его недавно отпряла «Всякая Всячина» очень хорошо; это еще ничего: въ старыя времена послали бы-де его потрудиться для пользы государственной описывать нравы какого ни на есть царства русскаго владѣнія (т. е. въ Сибирь, по объясненію г. Пекарскаго); но нынче-де дали волю писать и пересмѣхать знатныхъ, и за такія сатиры не наказываютъ. Вѣдь-де знатный господинъ—не простой дворянинъ, что на немъ тоже взыскивать, что и на простолюдинахъ. Кто-де не имѣетъ почтенія и подобострастія къ знатымъ особамъ, тотъ уже худой слуга. Знать, что-де онъ не слыхивалъ, что были на Руси сатирики и не въ его пору, но и тѣмъ рога посломали. («Трутенъ», въ изданіи П. А. Ефремова, л. VIII, стр. 51). Письмо оканчивается благимъ совѣтомъ—«не наводитъ зеркала на лица знатныхъ бояръ и боярынь».

Нападки на «Трутенъ» со стороны «Всякой Всячины»,— которыми такъ восхищается «придворный господчикъ»,— дѣйствительно заслуживаютъ вниманія по своему принципиальному характеру. Война возгорѣлась по поводу того, что наши сатирическіе журналы увлеклись, по мнѣнію «Всякой Всячины», своими обличительными стремленіями и начали слишкомъ явственно «цѣлить на особъ» вмѣсто того, чтобы имѣть въ виду одни лишь пороки. Словомъ, «Вся-

кая Всячина» выразила желаніе держаться въ предѣлахъ той отвлеченной, туманно-аллегорической сатиры, которую мы встрѣчаемъ въ «Ежемесячныхъ сочиненіяхъ» Миллера, и также опасалась всякихъ «персональных указаній» и «чувствительныхъ возраженій», несовмѣстимыхъ съ кроткимъ, безобиднымъ характеромъ подобной сатиры. Не раздѣляя обличительной строгости своего «плодовитаго потомства», бабушка русской сатиры (какъ называла себя «Всякая Всячина») выставила на видъ такую программу: 1) не называть слабостей пороками, 2) хвалить во всякомъ случаѣ человеколюбіе и 3) не думать, чтобъ кто могъ быть совершеннымъ. Но «Трутенъ» не рѣшился принять рекомендуемую программу и возразилъ на нее въ очень вѣской и сдержанной статьѣ. «Я самъ того мнѣнія—говоритъ Правдолюбовъ въ V-мъ листѣ «Трутеня» за 1769 г.—что слабости человѣческія сожалѣнія достойны, однакожь не похвалъ, и никогда того не подумаю, чтобъ на сей разъ не покривила своею мыслью и душою госпожа ваша прабабка, давъ знать, что похвальнѣе снисходить порокамъ, нежели исправлять оныя. Многіе, слабой совѣсти, люди никогда не упоминаютъ имя порока, не прибавивъ къ оному человеколюбія. Они говорятъ, что слабости человѣческія обыкновенны, и что должно оныя прикрывать человеколюбіемъ; следовательно, они порокамъ сшили изъ человеколюбія кафтанъ, но такихъ людей человеколюбіе приличнѣе называть пороколюбіемъ. По моему мнѣнію, больше человеколюбивъ тотъ, кто исправляетъ пороки, нежели тотъ, который онымъ снисходитъ или (сказать по русски) потакаетъ... Не понравилось мнѣ первое правило упомянутой гос-

пожи, то есть, чтобъ отнюдь не называть слабости порокомъ, будто Іоаннъ и Иванъ—не все одно. О слабости тѣла человѣческаго мы разсуждать не станемъ, ибо я не лѣкарь, а она не повивальная бабушка, но душа слабая и гибкая въ каждую сторону покривиться можетъ. Да и я не знаю, что, по мнѣнію сей госпожи, значить слабость. Нынѣ обыкновенно слабостью называется: въ кого нибудь по уши влюбиться, т. е: въ чужую жену или дочь; а изъ сей мнимой слабости выходить—обезчестить домъ, въ который мы ходимъ, и поссорить мужа съ женою или отца съ дѣтьми; и это будто не порокъ?.. Любить деньги есть также слабость, почему слабому человѣку простиительно брать взятки и набогащаться грабежами. Пьянствовать также слабость, или еще привычка; однако пьяному можно жену и дѣтей прибить до полусмерти и подраться съ вѣрнымъ своимъ другомъ. Словомъ сказать, я какъ въ слабости, такъ въ пороки не вижу ни добра, ни различія».

Возраженія эти крайне не понравились «Всякой Всячинѣ», и она, назвавъ ихъ несправедливо «ругательствами», обвинила «Трутеня» въ томъ, что онъ «исключаетъ снисхожденіе, истребляетъ милосердіе» и даже требуетъ будто бы «за все да про все кнутомъ сѣчь». Вообразивъ себѣ все это, «Всякая Всячина» не затруднилась уже дать «Трутню» человѣколюбивый совѣтъ полѣчиться,—«дабы черные пары и желчь не оказывались даже и на бумагѣ, до коей онъ дотрогивается». Правдолюбовъ, однако, не смолчалъ. «Госпожа «Всякая Всячина»—пишетъ онъ въ отвѣтъ на гнѣвную реплику—на насъ прогнѣвалась, и наши правдоучительныя разсужденія называетъ ругательствами. Но те-

перъ вижу, что она меньше виновата, нежели я думалъ. Вся ея вина состоитъ въ томъ, что на русскомъ языкѣ изъясняться не умѣетъ и русскихъ писаній обстоятельно разумѣть не можетъ... Въ пятомъ листѣ «Трутня» ничего не писано, какъ думаетъ госпожа «Всякая Всячина», ни противу милосердія, ни противу снисхожденія; и публика, на которую я ссылаюсь, то разобратъ можетъ. Ежели я написалъ, что больше человеколюбивъ тотъ, кто исправляетъ пороки, нежели тотъ, кто онымъ потакаетъ, то не знаю, какъ такимъ изъясненіемъ я могъ тронуть милосердіе? Видно, что госпожа «Всякая Всячина» такъ похвалами избалована, что теперь и то почитаетъ за преступленіе, если кто ее не похвалить. Не знаю, почему она мое письмо называетъ ругательствомъ? Ругательство есть брань, гнусными словами выраженная, но въ моемъ прежнемъ письмѣ, которое заскребло по сердцу сей пожилой дамы, нѣтъ ни кнутовъ, ни висѣлицъ, ни прочихъ слуху противныхъ рѣчей, которыя въ изданіи ея находятся... Она утверждаетъ, что я имѣю дурное сердце, потому что, по ея мнѣнію, исключая моими разсужденіями снисхожденіе и милосердіе. Кажется, я ясно написалъ, что слабости человѣческія сожалѣнія достойны, но что требуютъ исправленія, а не потачки; и такъ думаю, что сіе мое изреченіе знающему російскій языкъ и правду не покажется противнымъ ни справедливости, ни милосердію. Совѣтъ ея, чтобы мнѣ лѣчиться, не знаю—мнѣ ли больше приличенъ или сей госпожѣ? Она, сказавъ, что на пятый листъ «Трутня» отвѣтствовать не хочетъ, отвѣчала на оный всѣмъ своимъ сердцемъ и умомъ, и вся ея желчь въ ономъ письмѣ сдѣ-

жалась видна. Когда жъ она забывается и такъ мокротлива, что часто не туда плюетъ, куда надлежитъ, то, кажется, для очищенія ея мыслей и внутренности, небезполезно ей и полѣчиться».

Въ журнальной полемикѣ приняли участіе и другіе сатирическіе листки: «Смѣсь» и «Адская Почта» стали на сторону «Трутня»; журналъ «И то, и се» вступился за «Всякую Всячину» *). Съ особенной ѣдкостью отзывалась «Смѣсь» о литературныхъ претензіяхъ «Всякой Всячины» и отрешивалась отъ всякаго родства съ нею. «Я вижу въ городѣ—читаемъ мы въ этомъ журналѣ — такую бабушку, которая всѣхъ писателей журналовъ включаетъ въ свое племя и всегда ворчитъ на нихъ сквозъ зубы: изъ чего заключаю, что они не отъ нея происходятъ, а она сама на нихъ клеветъ. Но почто же называться роднею? Или она уже выжила изъ ума? Сомнѣніе мое часъ отъ часу умножается. Я разсматривалъ ея труды и послѣ сличалъ съ ея потомствомъ, однако не находилъ ни малыхъ слѣдовъ, чтобъ она была способна къ такому дѣтороженію, ибо послѣдніе ея внучата поразум-

*) «Адская Почта» издавалась ежемѣсячно Ѳ. А. Эминимъ во второй половинѣ 1769 г., а издателемъ «И то, и се» (еженедѣльн. журналъ) былъ М. Д. Чулковъ; что же касается до «Смѣси», выходившей еженедѣльно съ 1 апр. 1769 г., то имя ея издателя осталось, до сихъ поръ, неизвѣстнымъ. Приписывали это изданіе Новикову, — вѣроятно, основываясь на бойкости сатиры и солидарности его направленія съ «Трутнемъ», — но, по мнѣнію А. Н. Афанасьева, такое предположеніе «едва-ли справедливо». (См. «Русскіе сатирич. журналы», изслѣдов. Афанасьева, стр. 260—61). По прекращеніи журнала, издатель «Смѣси» обращался въ редакцію «Трутня» для объясненій съ своими прежними читателями. («Трутень» 1770 г. к. XI и XII).

и ъе бабушки; въ нихъ я не вижу такихъ противорѣчій, въ какихъ она запуталась. Бабушка въ добрый часъ намѣняется исправлять пороки, а въ блажной—даетъ имъ послабленіе. Она говоритъ, что подьячихъ искушаютъ, и для того они берутъ взятки, а это такъ на правду походить, какъ то, что чортъ искушаетъ людей и велитъ имъ дѣлать злое. Сія же старушка совѣтуетъ: чтобы не таскаться по приказнымъ крючкамъ, то должно мириться и раздѣливаться добровольно; всякій сіе знаетъ, и, конечно, по-пустому тягаться не сыщется охотниковъ. Вѣрно, еслибъ всѣ были совѣстны и наблюдали законы, то не надобно бы было и судовъ, и приказовъ, и подьячимъ бы не шло государево жалованье. Но когда сіе необходимо, то для чего ей защищать подьячихъ? Знать, что они-то истинное ея поклѣніе». Подтрунивая далѣе надъ самохвальствомъ «Всякой Всячины», остроумный противникъ ея говорилъ: «Знаете ли, почему она увѣнчана толикими похвалами, въ листкахъ ея видными? Я вамъ скажу. Во-первыхъ скажу, потому что многія похвалы сама себѣ сплетаетъ; потомъ по причинѣ той, что разгласила, будто въ ея собраніи многіе знатные господа находятся; и такъ нѣкоторые, можетъ статья, думая хваленіемъ ихъ сочиненій войти въ ихъ милость, засыпали похвалами «Всякую Всячину».

Былъ ли прямой, личный умыселъ въ нѣкоторыхъ колкостяхъ, приведенныхъ нами—трудно рѣшить, хотя участіе, принимаемое императрицею въ изданіи «Всякой Всячины» и могло быть извѣстно въ тогдашнемъ литературномъ кругу; но нельзя не замѣтить, что инныя изъ этихъ колкихъ острогъ

должны были показаться Екатеринѣ направленными прямо по ея адресу (какъ напр. плохое знаніе русскаго языка), и что это обстоятельство, въ придатокъ къ другимъ, также могло отразиться на судьбѣ русской журналистики. И дѣйствительно «Трутенъ», въ скоромъ времени, весьма понизилъ свой тонъ. Въ послѣдующихъ статьяхъ уже ясно видно, что перо сатирика удерживалось боязнью сказать больше, чѣмъ слѣдовало, попасть не въ тонъ вліятельнаго кружка и подвергнуться за то прямому или косвенному порицанію. Съ такою именно опасливостью затрогивался у Новикова крестьянскій вопросъ. Въ XIV листѣ «Трутня» за 1769 г. мы встрѣчаемъ характеристику помѣщика Безразсуда, который «боленъ мнѣніемъ, что крестьяне не суть человѣки, но крестьяне; а что такое крестьяне, о томъ знаетъ онъ только потому, что они крѣпостные его рабы». Безразсудъ думаетъ, что крестьяне «для того и сотворены, чтобы, претерпѣвая всякія нужды, и день и ночь работать и исполнять его волю исправнымъ платежемъ оброка»,—и этою крѣпостническою философіею вызываетъ слѣдующее внушеніе сатирика: «Вообрази рабовъ твоихъ состояніе; оно и безъ отягощенія тягостно; когда жъ ты гнушаешься тѣми, которые для удовольствованія страстей твоихъ трудятся почти безъ отдохновенія, они и не смѣютъ и мыслить, что они человѣки, но почитаютъ себя осужденными за грѣхи отецъ своихъ, видя, что прочая ихъ братія у помѣщиковъ отцовъ наслаждаются вождельнымъ спокойствіемъ, не завидуя никакому на свѣтѣ участію (?) ради того, что они въ своемъ званіи благополучны» и пр. Этому помѣщику, для излѣченія болѣзни, авторъ совѣтуетъ: «всякій день по два раза разсматривать кости господскія и

крестьянскія до тѣхъ поръ, пока найдетъ онъ различіе между господиномъ и крестьяниномъ». Очевидно, у автора была на умѣ мысль о несправедливости крѣпостныхъ отношеній, и эту мысль онъ выставилъ довольно прозрачно подъ видомъ сравненія помѣщичьихъ и крестьянскихъ костей; но логическаго вывода, прямаго отрицанія крѣпостнаго права и тутъ нѣтъ,—потому ли, что Екатерина не находила удобнымъ отнимать у многихъ вельможъ только что пожалованныхъ имъ крестьянъ, за содѣйствіе въ возведеніи ея на тронъ, или, можетъ быть, потому, что самъ Новиковъ стоялъ исключительно на филантропической точкѣ зрѣнія и, подобно многимъ образованнымъ людямъ того времени, хлопоталъ не объ уничтоженіи, а только о смягченіи крѣпостнаго ига. Тѣмъ не менѣе, и скромныя нападки на коренное зло тогдашней общественной жизни коробили ревностныхъ защитниковъ дворянскихъ правъ.

Вслѣдствіе внѣшняго давленія, «Трутенъ» постепенно падалъ въ 1770 г.; издатель боялся печатать самыя рѣзкія статьи, присылаемыя къ нему, или печаталъ ихъ съ уродливыми передѣлками; сотрудники и подписчики одинаково жаловались, что журналъ за этотъ годъ сталъ «нерадивѣе» прошлогодняго. По причинѣ вынужденныхъ редакторскихъ поправокъ, случалось, что

Въ смущеніи творецъ труды свои читалъ

И зря, что самъ писалъ, того не понималъ...

Въ оправданіе свое издатель говорилъ, что не знаетъ, какъ угодить публикѣ: что въ 1769 г. всѣ бранили «Трутенъ» за «ругательства и подлая мысли, печатаемыя въ немъ»; а въ 1770 г. снова бранятъ, уже за то, что въ журналѣ ни-

чего такого нѣтъ, и онъ сталъ тише воды, ниже травы. Новиковъ, конечно, понималъ, что бранили его изданіе не одни и тѣ же лица...

Въ томъ же году прекратился «Трутенъ», не вызвавъ, по словамъ Новикова, соболѣзнованія въ читателяхъ, уже давно недовольныхъ имъ.

Въ 1772 г. Новиковъ опять выступаетъ на журнальное поприще съ новымъ еженедѣльникомъ—«Живописецъ». Къ этой дѣятельности вызвало его появленіе комедіи: «О, время!» авторъ которой — сама императрица — осмѣивалъ довольно рѣзко ханжество, роскошь и невѣжество современнаго общества. Новиковъ сталъ подъ защиту этой комедіи и свой журналъ посвятилъ «неизвѣстному сочинителю» ея, въ такихъ восторженныхъ словахъ: «Вы первый сочинили комедію точно въ нашихъ нравахъ, вы первый съ такимъ искусствомъ и острою заставили слушать ѣдкость сатиры съ пріятностью и удовольствіемъ; вы первый съ такою благородною смѣлостью напали на пороки, въ Россіи господствовавшіе... Продолжайте, государь мой, къ славѣ Россіи, къ чести своего имени и къ великому удовольствію разумныхъ единоплеменцевъ вашихъ; продолжайте, говорю, прославлять себя вашими сочиненіями: перо ваше достойно равенства съ Мольеровымъ. Слѣдуйте его примѣру: взгляните безпристрастнымъ окомъ на пороки наши, закоренѣлые худые обычаи, злоупотребленія, и на всѣ развратныя наши поступки; вы найдете толпы людей, достойныхъ вашего осмѣянія, и вы увидите, какое еще пространное поле въ прославленію вашему осталось. Истребите изъ сердца своего всякое пристрастіе; не взирайте на лица: порочный человѣкъ во всякомъ званіи равно

достойнъ презрѣнія. Низкостепенный порочный чело-
вѣкъ, видя осмѣиваемаго себя купно съ превосходительнымъ,
не будетъ имѣть причины роптать, что пороки въ бѣдности
только одной перомъ вашимъ угнетаются. А превосходитель-
ство, удрученное пороками, въ первый разъ въ жизни своей
восчувствуетъ равенство съ низкостепенными. Вы первый
достойны показать, что дарованная вольность умамъ россій-
скимъ употребляется въ пользу отечества». Съ тѣмъ вмѣстѣ
Новиковъ сѣтовалъ, что авторъ комедіи скрываетъ свое имя,
«достойное всеобщей благодарности», и не видѣлъ никакой
достаточной къ тому причины. «Неужели—спрашивалъ онъ—
оскорбя столь жестоко пороки и вооружа противъ себя по-
рочныхъ, опасаетесь ихъ злословія? Нѣтъ, такая слабость
никогда не можетъ имѣть мѣста въ вашемъ сердцѣ. И мо-
жетъ ли какая благородная смѣлость опасаться угнетенія
въ то время, когда, ко счастію Россіи и ко благоденствію
человѣческаго рода, владычествуетъ нами премудрая Екате-
рина? Ея удовольствіе, оказанное въ представленіи вашей
комедіи, удостовѣряетъ о покровительствѣ ея
такимъ, какъ вы, писателямъ. Чего жъ осталось
вамъ страшиться?» Но восторженные похвалы не увлек-
ли собой автора комедіи, и онъ, разглядѣвъ въ нихъ
возбужденіе прежняго вопроса о преслѣдованіи порочныхъ
людей, скромнымъ отвѣтомъ своимъ далъ понять, что онъ
вовсе не стоитъ на одной точкѣ зрѣнія съ издателемъ «Живо-
писца». «Никогда не думалъ я—писалъ авторъ комедіи къ
своему хвалителю,—чтобъ сочиненная мною комедія: «О,
время»! таковой имѣла успѣхъ, каковымъ вы меня увѣряете,
а тѣмъ паче не воображалъ себѣ той чести, которую вы,

приписаніемъ еженедѣльныхъ вашихъ листовъ мнѣ сдѣлали... При сочиненіи оной не бралъ я находящихся въ ней умоначертаній ни откуда, кромѣ собственной моей семьи: слѣдовательно, не выходя изъ дому своего, нашелъ въ ономъ одномъ, къ составленію забавнаго позорища, довольно обширное поле для искуснѣйшаго пера, а не для такого, каковымъ я свое почитаю. Что до меня касается, я никакихъ ни требованій, ни желаній не имѣю. Пишу я для собственной своей забавы, и если малые сочиненія мои пріобрѣтутъ успѣхъ и принесутъ удовольствіе разумнымъ людямъ, то тѣмъ я весьма награжденъ буду. Напротивъ того, если услышу, что нѣтъ въ нихъ никому увеселенія, то хотя тѣмъ, ненавида прайдность, отъ писанія и не воздержуся, однако же выдавать ихъ болѣе не стану. Имени своего я не скрываю, но и не напишу его, дабы въ первый разъ не явилось оно въ свѣтѣ въ заглавіи комедіи, что для меня самого было бы комедіею, а прибыли въ томъ никому нѣтъ— Карпомъ ли, или Сидоромъ меня зовутъ». Такимъ образомъ, издатель «Живописца», видѣвшій въ появленіи комедіи новую эру для русскаго прогресса, новую, могущественную поддержку для смѣлой сатиры, долженъ былъ убѣдиться изъ отвѣта «сочинителя», что послѣдній далеко не раздѣляетъ его толкованій на свою пьесу, и что «собственная забава» и исканіе «увеселенія» отнюдь не совпадаютъ съ тѣми обличительными мотивами, которыхъ искалъ и желалъ найти Новиковъ въ замыслахъ автора. Но издатель «Живописца» не хотѣлъ замѣчать этого противорѣчія и продолжалъ въ своемъ журналѣ прежнія нападенія на «порочныхъ людей», прикрываясь, одна-

ко, очень часто льстивыми одами, какъ напимѣръ «на пріобрѣтеніе Бѣлоруссіи», «на день коронаванія» и т. п.

Въ V-мъ листѣ «Живописца» помѣщенъ замѣчательный «Отрывокъ изъ путешествія», въ которомъ мы снова встрѣчаемся съ картинами крѣпостнаго права.

«Бѣдность и рабство—пишетъ путешественникъ — повсюду встрѣчались со мною во образѣ крестьянъ. Непаханныя поля, худой урожай хлѣба возвѣщали мнѣ: какое помѣщики тѣхъ мѣстъ о земледѣліи прилагали раченіе. Маленькія, покрытыя соломой, хижины изъ тонкаго заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшія одонья хлѣба, весьма малое число лошадей и рогатаго скота подтверждали, сколь велики недостатки тѣхъ бѣдныхъ тварей, которыя богатство и величество цѣлаго государства составлять должны. Не пропускалъ я ни одного селенія, чтобы не разспрашивать о причинахъ бѣдности крестьянской. И слушая ихъ отвѣты, къ великому огорченію всегда находилъ, что помѣщики ихъ сами тому были виною». Затѣмъ слѣдуетъ весьма подробное описаніе деревни Раззореной, гдѣ самый зажиточный мужикъ имѣлъ только одну корову, а несчастныя дѣти до-того были застрашены именемъ барина, что боялись и подойти къ коляскѣ путешественника. Положеніе грудныхъ младенцевъ въ особенности растрогало автора. «Я вошелъ въ избу—пишетъ онъ—растворенными настежь дверями. Заразительный духъ отъ всякой нечистоты, чрезвычайный жаръ и жужжанье бесчисленнаго множества мухъ, оттуда меня выгоняли, а вопль трехъ оставленныхъ младенцевъ (деревня описывается въ лѣтнее время) удерживалъ въ оной. Я спѣшилъ подать по-

мощь симъ несчастнымъ тварямъ. Пришедъ къ лукошкамъ, прицѣпленнымъ веревками къ шестамъ, въ которыхъ лежали безъ всякаго призрѣнія оставленные младенцы, увидѣлъ я, что у одного упалъ сосокъ съ молокомъ; я его поправилъ, и онъ успокоился. Другого нашелъ, обернувшася лицомъ къ подушонкѣ изъ самой толстой холстины, набитой соломой; я тотчасъ его оборотилъ и увидѣлъ, что безъ скорой помощи лишился бы онъ жизни, ибо онъ не только что посинѣлъ, но, и почернѣвъ, былъ уже въ рукахъ смерти; скоро и этотъ успокоился. Подошедъ къ третьему, увидѣлъ, что онъ былъ распеленанъ, множество мухъ покрывали лицо его и тѣло, и немилосердно мучили сего ребенка; солома, на которой онъ лежалъ, также его колола, и онъ произносилъ пронзающій крикъ. Я оказалъ и этому услугу, согналъ всѣхъ мухъ, спеленалъ его другими, хотя нечистыми, но однакожь сухими пеленками, которыя въ избѣ тогда развѣшены были; поправилъ солому, которую онъ, барахтаясь, ногами взбилъ: замолчалъ и этотъ. Смотря на сихъ младенцевъ и входя въ бѣдность состоянія сихъ людей, вскричалъ я: жестокосердный тиранъ, отъемлющій у крестъянъ насущный хлѣбъ и послѣднее спокойство,—посмотри, чего требуютъ сіи младенцы? У одного связаны руки и ноги: приносить ли онъ о томъ жалобы? Нѣтъ, онъ спокойно взираетъ на свои оковы. Чего же требуетъ онъ? Необходимо—нужнаго только пропитанія. Другой произносилъ вопль о томъ, чтобы только не отнимали у него жизнь. Третій вопіялъ къ человѣчеству, чтобы его не мучили. Кричите, бѣдныя твари, сказалъ я, проливая слезы; произносите жалобы свои! наслаждай-

тесъ послѣднимъ симъ удовольствіемъ въ младенчествѣ: когда возмужаете, тогда и сего утѣшенія лишитесь. О, солнце!.. призри сихъ несчастныхъ!» *)

Но чтобы эта возмутительная картина не была слишкомъ обобщена и не подала повода къ новымъ нареканіямъ на журналъ, издатель «Живописца» счелъ необходимымъ, въ XIII-омъ листѣ, объяснить устами какого то «почтеннаго превосходительства», что подобныя описанія не имѣютъ въ виду оскорблять цѣлый «дворянскій корпусъ» и что они не только не «огорчаютъ дворянъ, украшенныхъ добродѣтелью и знающихъ человѣчество, но паче еще и превозносятъ ихъ». Тѣмъ не менѣе, «превосходительство» предупреждаетъ издателя, что онъ уже нажилъ себѣ враговъ помѣщеніемъ такой статьи: «Бранили васъ надменные дворянствомъ люди, которые думаютъ, что дворяне ничего не дѣлаютъ неблагороднаго, что подлости одной (низшему классу) свойственно утопать въ порокахъ, и что, наконецъ, хотя нѣкоторые дворяне и имѣютъ слабость забывать честь и человѣчество, однакожь, будто они, яко благородные люди, отъ порицанія всегда должны быть свободны. Сіи гордые люди утверждаютъ, что будто точно сказано о кре-

*) Не задолго до освобожденія крестьянъ, въ московскомъ журналѣ «Молва» появилось стихотвореніе, въ которомъ авторъ также соболѣзновалъ несчастнымъ младенцамъ, брошеннымъ на живыѣ въ страданный день. Но ожиданіе близкой реформы внушило уже и другое чувство автору:

Не плачьте горько такъ, невинные младенцы,

Юнѣйшіе земли роимой поселенцы:

Надъ вашей младостью не дремлетъ ночи тѣнь;

Вамъ брезжетъ вольный свѣтъ, вамъ всходитъ новый день!

стьянахъ: «накажу ихъ жезломъ беззаконія»—и подлинно они часто наказываются беззаконіемъ» *).

Подьячихъ и взяточниковъ-судей «Живописецъ» также не оставлялъ въ покоѣ, и на эту тему, въ V-мъ листѣ за 1772 г. (ч. II), помѣстилъ чрезвычайно-остроумное и ѣдкое письмо, будто бы полученное имъ отъ одного изъ такихъ лицъ:

«Слушай-ка, братъ Живописецъ! на шутку что ли я тебѣ достался! Не на такого ты наскочилъ. Развѣ ты не знаешь приказныхъ, такъ отвѣдай, потягайся. Вѣдомо тебѣ буди, что я передъ Владимірской поклонился, и снялъ ее матушку со стѣны въ томъ, что какъ скоро пріѣду я въ Петербургъ, то подамъ на тебя челобитье въ безчестѣ. Знаешь ли ты, молокососъ, что я имѣю патентъ, которымъ повелѣвается признавать меня и почитать за добраго, вѣрнаго и честнаго титулярнаго совѣтника; вѣдаешь ли ты, что и въ подлости есть пословица: не пойманъ, не воръ, не поднята, не..... А ты, забывъ законы духовные, воинскіе и гражданскіе, осмѣлился назвать меня якобы воромъ. Чѣмъ ты это докажешь? Я хотя и отрѣшенъ отъ дѣлъ, однакожь не за воровство, а за взятки; а взятки—ничто иное, какъ акциденція. Воръ тотъ, который грабитъ на проѣзжей дорогѣ, а я биралъ взятки у себя дома, а дѣла вершилъ въ судебномъ мѣстѣ: кто себѣ добра не захочетъ? А къ тому же я никого до смерти не убилъ: правда, согрѣшилъ передъ Богомъ и передъ государемъ, многихъ пустилъ по міру, да это дѣло постороннее, и тебѣ до него

*) Далѣе слѣдуетъ фраза, прерванная у автора двумя рядами точекъ. (Изд. П. А. Ефремова, стр. 81).

нужды нѣтъ. Какъ передъ Богомъ не согрѣшить? какъ царя не обмануть? какъ у него не украсть? Грѣшно украсть изъ кармана своего брата... Глупый человѣкъ, да это и указами за воровство не почитается, а называется «похищеніемъ казеннаго интереса». А похищеніе и воровство не одно: первое ничто иное, какъ утайка, а другое—преступленіе противъ законовъ и достойно кнута и висѣлицы. Правда, бывали и такіе примѣры, что и за утайку сѣкали кнутомъ... Но нынѣ, благодаря Бога, люди стали разсудительнѣе и за реченную утайку сѣкутъ только тѣхъ, которые малое число утаятъ: да это и дѣльно; не заводи дѣла изъ бездѣлицы. А прочихъ, которые приличаются въ утайкѣ большихъ суммъ, отпускаютъ жить въ свои деревни».

Никакая литературная тактика, никакіе приемы восхваленія сильныхъ не помогли однако «Живописцу», и онъ едва дотянулъ свое существованіе до половины 1773 г. Въ 1774 г. выходилъ только одинъ «Кошелекъ», издаваемый тѣмъ же Новиковымъ, а въ слѣдующемъ 1775 г. сатирическая журналистика совсѣмъ замолкла.

Спустя нѣсколько лѣтъ, принявшись за изданіе «Утренняго свѣта» (1777—1780 г.) Новиковъ и самъ уже, подъ вліяніемъ масонства, пришелъ къ убѣжденію, нѣкогда высказанному «Всякою Всячиной», что «бичемъ сатиры» слѣдуетъ поражать не самихъ порочныхъ субъектовъ, а только отвлеченныя понятія пороковъ. «Порокъ и человѣкъ—говорить онъ въ «предувѣдомленіи» къ I-ой части изданія—подобны двумъ параллельнымъ линіямъ, которыя вѣчно одна другой прикоснуться не могутъ.» Нападки Новикова, въ это

время, направлялись исключительно на «французскую моду», подъ которой онъ сталъ подразумѣвать все цивилизующее вліяніе западно-европейской науки и общественной жизни, а взамѣнъ яркихъ указаній на наше домашнее зло, читатели «Утренняго свѣта» приглашались довольствоваться астрологическими соображеніями о вліяніи планетъ на землю, въ такомъ напр. родѣ: «Венера умѣренно холодна и влажна, а по своей натурѣ благопріятна»; «Сатурнъ холоденъ и влаженъ; вліяніе его почитается недобрымъ» и пр., и пр.

Сатирическое направленіе проявилось впоследствии въ «Собесѣдникѣ любителей россійскаго слова» (1783—1784 г.), въ которомъ главное участіе принадлежало княгинѣ Дашковой; но уже близко было время полицейскихъ преслѣдованій за неправившееся императрицѣ «свободоязычіе». Въ 1785 г. наряжено было слѣдствіе надъ Новиковымъ за напечатаніе книгъ, «наполненныхъ странными мудрствованіями». По поводу этихъ изданій императрица сама написала письмо московскому митрополиту Платону: «призовите помянутаго Новикова въ себѣ и прикажите испытать его въ законѣ (Божьемъ), равно и книги его типографіи освидѣтельствовать: не скрывается ли въ нихъ умствованій, несходныхъ съ простыми и чистыми правилами вѣры нашей». И митрополитъ Платонъ, дѣйствительно, произвелъ Новикову экзаменъ изъ православнаго катихизиса. Въ 1790 г., сентября 4, данъ былъ указъ о ссылкѣ въ Сибирь Радищева «за изданіе книги (Путешествіе изъ Петербурга въ Москву), наполненной самыми вредными умствованіями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное къ властямъ уваженіе, стремя-

щимися къ тому, чтобы произвести въ народѣ негодованіе противу начальниковъ и начальства, и наконецъ оскорбительными и неистовыми израженіями противу сана и власти царской».

Замѣчательно, что въ томъ же году проф. Сохацкій началъ издавать въ Москвѣ «Политическій журналъ съ показаніемъ ученыхъ и другихъ вещей», въ которомъ описывались подробно всѣ политическія событія во Франціи и даже печатались рѣчи тогдашнихъ ораторовъ. Въ первомъ номерѣ этого журнала (1790 г.) говорилось: «Въ 1789 г. весь свѣтъ потрясенъ былъ столь сильно, что вездѣ открылись чрезвычайныя движенія, и произошло въ Европѣ начало новой эпохи человѣческаго рода. (Курсивъ въ подлинникѣ). Послѣ многихъ столѣтій, 1789 годъ есть самый достопамятный. Со временъ крестовыхъ походовъ никогда еще не было такой эпохи, какъ сія, въ которой бы политическое мнѣніе распространилось и промчалось чрезъ всю Европу съ толикою живостью и соучаствованіемъ. Духъ свободы учинился воинственнымъ при концѣ XVIII, такъ какъ духъ религіи при концѣ XI вѣка. Тогда вооруженною рукою возвращали святую землю, нынѣ святую свободу. Тогда ратовали противъ Саладиновъ, нынѣ противъ своихъ собственныхъ государей. Французы брали тогда крѣпости у невѣрныхъ королей, нынѣ брали они ихъ у христіаннѣйшаго. Какъ тогда, такъ и теперь энтузіазмъ превратился, во многихъ головахъ, въ круженіе и фанатизмъ. Отсѣкали людямъ головы, грабительствовали и разрушали дома и крѣпости, дабы показать права человѣчества... Но при сильныхъ превращеніяхъ невозможно избѣгнуть буйныхъ из-

лишествъ». Затѣмъ, исчисливъ всѣ политическія реформы въ разныхъ странахъ Европы, авторъ статьи продолжаетъ: «При всѣхъ оныхъ безпокойныхъ народныхъ движеніяхъ произошло, какъ выше замѣчено, начало новой эпохи человѣческаго рода, — эпоха поправленія судьбы такъ называемыхъ низкихъ состояній, — угнетеніе самопроизвольной власти, ограниченіе министерскаго и подминистерскаго деспотизма, владычества аристократовъ, или вельможъ, возлѣ престоловъ». Журналъ этотъ переводился съ нѣмецкаго и, вѣроятно, по малому числу подписчиковъ, не обратилъ на себя вниманія литературныхъ аргусовъ. Хотя въ немъ проводились взгляды умѣренной конституціонной партіи, но такая умѣренность у насъ принимала видъ непростительнаго вольнодумства, за которымъ, въ эту именно пору, уже начинали зорко смотрѣть.

Въ 1793 г. разразилась гроза надъ... прахомъ Княжнина за трагедію «Вадимъ Новгородскій», при чемъ даровитый авторъ только по случаю своей смерти не попалъ въ руки надежнаго сыщика Шешковскаго, — замѣтившаго въ «тайной экспедиціи» прежнихъ дѣятелей упраздненной «тайной канцеляріи». Наконецъ въ 1796 г. послѣдовалъ именной указъ сенату «объ ограниченіи свободы книгопечатанія и ввоза иностранныхъ книгъ, объ учрежденіи на сей конецъ цензуръ и объ упраздненіи частныхъ типографій». Постановленія о предварительной цензурѣ были развиты и организованы въ царствованіе Павла I, сдѣлавшаго, между прочимъ, слѣдующее распоряженіе: «Такъ какъ чрезъ ввозимыя изъ-за границы разныя книги наносится развратъ вѣры, гражданскаго закона и благонравія, то отнынѣ, впредь до указа, повелѣва-

емъ запретить впускъ изъ-за границы всякаго рода книгъ, на какомъ бы языкѣ оныя ни были, безъ изъятія, въ государство наше, равно жѣрно и музыку.» Музыкальныя ноты подвергались остракизму изъ опасенія революціонныхъ напѣвовъ, которые могли бы проникнуть къ намъ этимъ путемъ. (Полн. Собр. Зак. Т. XXVI, № 19,387).

Это распоряженіе было отмѣнено Александромъ I, ко времени котораго мы и переходимъ.

III.

Зависимое положеніе русской журналистики вообще. Характеръ первой половины царствованія Александра I-го. Мѣры и предположенія правительства. Comité du salut public. Взглядъ Новосильцева на свободу книгопечатанія. Цензурный уставъ 1804 г. Проектъ правительственнаго журнала, отвергнутый Завадовскимъ.

Мы видѣли, что происхожденіе русской журналистики относится къ тому времени, когда государственная власть, реформируя внутренній бытъ страны,—далеко отставшей въ своемъ развитіи отъ другихъ европейскихъ державъ,—прибѣгнула къ прессѣ, какъ къ удобному орудію для политической пропаганды въ извѣстномъ смыслѣ. Петръ Великій, суровый преобразователь Россіи, былъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, ея первымъ журналистомъ: подъ его непосредственнымъ наблюденіемъ издавался въ Москвѣ, а потомъ въ Петербургѣ, первый газетный листокъ, предназначенный возбуждать политическое любопытство русскихъ грамотѣевъ. Такое происхожденіе нашей журналистики обусловило, въ значитель-

ной степени, и всю ея дальнѣйшую судьбу: мѣнялась власть, заправлявшая такъ или иначе политическимъ бытомъ страны, мало того, мѣнялись только приемы и отношенія этой власти къ разнымъ общественнымъ вопросамъ, какъ уже вся журналистика подчинялась волей-неволей новому камертону, выходившему изъ правительственныхъ сферъ. Такъ напр. въ началѣ царствованія Екаторины II-й журналистика наша, отражая на себѣ взгляды самой императрицы, настроилась было въ очень гуманномъ тонѣ; но даже и въ это цвѣтущее время предѣлы литературнаго вліянія строго ограничивались правительственными видами, и новиковскій журналъ («Трутенъ»), перешагнувшій эти предѣлы, долженъ былъ замолчать на другой годъ своего существованія. «Не въ свои-де этотъ авторъ садится сани; онъ-де зачинаетъ писать сатиры на придворныхъ господъ, бояръ, дамъ; такая-де смѣлость ничто иное есть, какъ дерзновеніе»:—вотъ приговоръ, высказанный вліятельнымъ кружкомъ о журнальной дѣятельности Новикова. Въ слѣдующее затѣмъ царствованіе, при существованіи указа о невывозѣ «изъ-за границы всякаго рода книгъ, на какомъ бы языкѣ оныя ни были», дѣятельность журналиста въ Россіи оказалась еще болѣе затруднительной. Обстоятельства снова измѣнились при восшествіи на престолъ Александра I-го. Юный монархъ получилъ весьма тщательное и раціональное воспитаніе подъ руководствомъ швейцарскаго гражданина Лагарпа, нимало не скрывавшаго свой либеральный образъ мыслей; въ его доброй, впечатлительной душѣ были возбуждены смолоду и благородныя чувства, и великодушныя стремленія. Находясь, по обязанностямъ своего сана, при самомъ, такъ сказать, источ-

никъ правительственныхъ системъ, молодой внукъ Екатерины II-й не раздѣлялъ тревожныхъ опасеній, выразившихся въ цѣломъ рядѣ репрессивныхъ мѣръ; задушевныя симпатіи влекли его на сторону прогресса и истинно-человѣческаго развитія. Еще меньше онъ могъ быть доволенъ тѣми личностями, которыя выдвинулись впередъ въ концѣ царствованія Екатерины II-й. Это недовольство, какъ системой администраціи, такъ и личностями, приводившими ее въ исполненіе, долго накоплялось въ душѣ Александра и приводило его, по временамъ, къ тяжкому разочарованію, къ сознанію своего безсилія — исправить все зло, допущенное прежними блюстителями закона. «Мое положеніе—писалъ онъ, въ одинъ изъ такихъ тяжелыхъ моментовъ, князю Кочубею—меня вовсе не удовлетворяетъ. Оно слишкомъ блистательно для моего характера, которому нравятся исключительно тишина и спокойствіе. Придворная жизнь не для меня создана... Я каждый разъ страдаю, когда долженъ являться на придворную сцену, и кровь портится во мнѣ при видѣ низостей, совершаемыхъ другими на каждомъ шагу для полученія внѣшнихъ отличій, не стоящихъ въ моихъ глазахъ мѣднаго гроша. Я чувствую себя несчастнымъ въ обществѣ такихъ людей, которыхъ не желалъ бы имѣть у себя лакеями... Въ нашихъ дѣлахъ господствуетъ неимовѣрный безпорядокъ; грабятъ со всѣхъ сторонъ; всѣ части управляются дурно; порядокъ, кажется, изгнанъ отовсюду, а имперія, не смотря на то, стремится лишь къ расширенію своихъ предѣловъ. При такомъ ходѣ вещей возможно ли одному человѣку управлять государствомъ, а тѣмъ болѣе исправить укоренившіяся въ немъ злоупотребленія: это выше силъ не

только человѣка, одареннаго, подобно мнѣ, обыкновенными способностями, но даже и генія, а я постоянно держался правила, что лучше совсѣмъ не браться за дѣло, чѣмъ исполнять его дурно. Слѣдуя этому правилу, я и принялъ то рѣшеніе, о которомъ сказалъ вамъ. Мой планъ состоитъ въ томъ, чтобы, по отреченіи отъ этого труднаго поприща, поселиться съ женою на берегахъ Рейна, гдѣ буду жить спокойно, частнымъ человѣкомъ, полагая мое счастье въ обществѣ друзей и въ изученіи природы». (См. Восшествіе на престолъ имп. Николая I, соч. барона Корфа). Идиллическое намѣреніе отказаться отъ власти не устояло, конечно, предъ обаяніями новаго блистательнаго поприща, и Александръ I-й вступилъ на престолъ къ радости всѣхъ мыслящихъ и образованныхъ людей того времени. Впечатленіе, произведенное этимъ событіемъ, было громадно, въ особенности благодаря тому контрасту, который представляла молва между характеромъ ближайшаго царствованія и направленіемъ новаго государя. «Для Россіи — говоритъ г. Ковалевскій — воцареніе императора Александра I-го было зарею пробужденія. Трудно представить себѣ государя и человѣка, такъ щедро одареннаго природой и съ такимъ блестящимъ образованіемъ, какъ Александръ I. Современники свидѣтельствуютъ, что при извѣстіи о его воцареніи, на улицахъ, люди, незнакомые между собою, другъ друга обнимали и поздравляли. Въ манифестѣ своемъ онъ объявилъ, что будетъ править Богомъ врученнымъ ему народомъ по законамъ и по сердцу премудрой бабки своей Еватерины II-й, и первымъ дѣйствіемъ его было освобожденіе всѣхъ содержащихся по дѣламъ тайной экспедиціи въ крѣпостяхъ, и со-

сланныхъ въ Сибирь или въ отдаленные города и деревни Россіи подъ надзоръ мѣстныхъ властей, и уничтоженіе самой тайной экспедиціи. Разсказываютъ, будто Алексѣй Петровичъ Ермоловъ, выходя изъ Петропавловской крѣпости, написалъ на стѣнѣ: «свободна отъ постоя», а государь, узнавши объ этомъ, сказалъ: «желаю, чтобъ навсегда». Во время коронаціи, по словамъ того же автора: «въ лицѣ государя было болѣе задумчивости, робости, чѣмъ смѣлости; онъ какъ бы чувствовалъ всю важность, всю тягость царской власти, которую принялъ; не съ самонадѣянностью и гордымъ величіемъ шелъ онъ, не страхъ внушали его взгляды вроткіе, привѣтливые... Каждый мысленно ободрялъ его: «смѣлѣе, смѣлѣе! вѣрь, что господство дикой власти менѣе надежно, чѣмъ господство разума, что проявленіе благотворнаго добра въ нравственной жизни народа также необходимо, какъ проявленіе солнечной теплоты въ царствѣ растительномъ» *).

Около престола группируются люди, извѣстные своей склонностью къ конституціоннымъ учрежденіямъ Англіи — Чарторижскій, Новосильцевъ, Строгановъ; — учреждаются министерства, которыя должны были впоследствии привести къ отвѣтственности исполнительной власти; открыты новые университеты въ Казани, Харьковѣ и Петербургѣ, заведены гимназіи и уѣздныя училища, съ цѣлью положить прочныя основы просвѣщенію страны. «Александръ I-й, по справедливому замѣчанію одного иностраннаго историка, зналъ другое честолюбіе, кромѣ военнаго, другое величіе, кромѣ величія воина. попирающаго трупы разбитой арміи; жизнь солдата не имѣла для него никакой прелести; въ противоположность своимъ

*) См. Графъ Блудовъ и его время, стр. 23—24.

предшественникамъ, онъ даже предпочиталъ простой гражданскій костюмъ блеску военного мундира». Въ публичной рѣчи, при открытіи харьковскаго университета, графъ Северинъ—Потоцкій прямо выразился, что это высшее учебное заведеніе основано «для совершеннѣйшаго образованія благородныхъ молодыхъ людей, приготовляющихся занимать нѣкогда первыя государственныя мѣста, на подобіе оксфордскаго и кембриджскаго университетовъ, въ кои сыны первыхъ англійскихъ лордовъ пріѣзжаютъ научиться защищать въ парламентѣ права своей страны». Почти въ то же время, въ засѣданіи академіи наукъ, президентъ ея, Н. Н. Новосильцевъ сказалъ: «чуждый пагубнаго мнѣнія, которое къ стыду прежнихъ временъ, заставляя мрачное невѣжество предпочитать успѣхамъ наукъ и художествъ, заграждало пути къ распространенію оныхъ, и увѣренъ будучи, что познаніе истинъ въ естественномъ ихъ порядкѣ и въ надлежащемъ между собою отношеніи, предметъ всѣхъ наукъ составляющее, обогащаетъ и украшаетъ разумъ, возвышаетъ духъ чувствованія и добродѣтели человека, и убѣжденіемъ въ собственной пользѣ побуждаетъ чтить законы, любить отечество, быть вѣрнымъ подданнымъ и добрымъ гражданиномъ—мудрый монархъ начерталъ правила народнаго просвѣщенія». (Сѣверн. Вѣстникъ 1804 г. № 1 и 10).

Но въ то время, когда развитые люди встрѣчали съ такимъ сочувствіемъ воцареніе новаго императора и первые шаги его на державномъ поприщѣ,—кружокъ отсталыхъ личностей, съ меньшейю горячностью, хотя и не такъ открыто, занимаіся порицаніемъ его привычекъ и образа мыслей

Г. Богдановичъ сообщаетъ въ своихъ любопытныхъ матеріалахъ, что нѣкоторыя похвальныя качества государя, включая сюда его отвращеніе отъ всякаго этикета и внѣшняго блеска, подвергались самымъ превратнымъ толкамъ. Говорили, что русскій дворъ утратилъ все достодолжное величіе свое, что одна лишь вдовствующая императрица умѣетъ поддерживать старинныя дворцовыя преданія. Любители «форменныхъ отличекъ» находили предосудительнымъ, что государь ничѣмъ не отличался отъ своихъ подданныхъ въ одеждѣ и образѣ жизни, что не приглашалъ дипломатическій корпусъ на большіе церемоніальныя обѣды и пр. Осуждали также императора за то, что, въ одномъ изъ манифестовъ, онъ изъявилъ благодарность своимъ подданнымъ за услуги, оказанныя родинѣ, назвавъ ихъ сынами отечества и повторивъ нѣсколько разъ слово: «отечество». Удивлялись также пристрастію самодержавнаго владыки къ американцамъ, гражданамъ республики. Жозефъ де - Местръ, проповѣдовавшій молодому государю свою реакціонную мудрость, вначалѣ принятую очень холодно, удивлялся, что Александръ былъ ласковъ къ бостонскому негоціанту, Пуансё, который «не смѣлъ бы показаться ни въ какомъ изъ домовъ высшаго туринскаго общества». Графиня Шуазель-Гуфье отзывалась объ Александрѣ тономъ ироніи: «Въ немъ замѣтна преувеличенная простота обхожденія; выказывающая его отвращеніе къ державному церемоніалу; можно сказать, что въ этомъ отношеніи онъ хочетъ быть императоромъ какъ можно менѣе. Это придворный, какъ будто лишній при дворѣ». *).

*) Первая эпоха преобразованій имп. Александра I. Вѣстн. Евр. 1856 г., т. I.

Сочувствіе мыслящихъ людей, негодование ретроградовъ, своихъ и иноземныхъ, все предвѣщало прекрасный путь новому царствованію, и еслибы молодой монархъ отличался столько же энергіей и настойчивостью въ исполненіи своихъ мыслей, сколько благородствомъ своихъ намѣреній, то во внутреннемъ быту нашего отечества произошелъ бы, безъ всякаго сомнѣнія, крутой и полезный переворотъ. Къ сожалѣнію, недостатокъ энергіи и, кромѣ того, нѣкоторая шаткость и неопредѣленность преобразовательныхъ плановъ,—слѣдствіе плохаго знакомства съ государственной практикой,—произвели то, что на первыхъ же порахъ, въ ближайшемъ, интимномъ совѣтѣ государя, слышались весьма серьезные разногласія по вопросамъ самой капитальной важности, и Александръ часто оставался въ нерѣшимости: чью сторону взять въ данномъ случаѣ? Интимный совѣтъ государя, прозванный имъ въ шутку *Comité du salut public*, состоялъ, какъ извѣстно, изъ четырехъ лицъ: кн. Чарторижскаго, Кочубея, Новосильцева и Строганова, и между ними-то обсуждались всѣ важнѣйшія внутреннія реформы. Изъ рукописныхъ протоколовъ этого комитета, (веденныхъ гр. Строгановымъ *), видно, что на разсмотрѣніе его вносились такіе крупные вопросы, какъ напр. о преобразованіи сената въ законодательный корпусъ, объ уничтоженіи крѣпостнаго права, о введеніи *habeas corpus* и т. п. Разсуждая о дворянской грамотѣ, государь выразился, что онъ подписываетъ эту грамоту противъ своей воли, «вслѣдствіе исключительности ея правъ, которая ему была всегда противна». При этомъ Александръ отвергалъ однако всѣ мѣры, которыя мог-

*) См. статьи г. Богдановича, стр. 172 — 194.

ли бы сразу покончить съ признаннымъ уже зломъ, и охотѣе избиралъ паллятивныя средства, ведущія къ цѣли окольной дорогою. Такъ было въ комитетѣ съ крестьянскимъ вопросомъ. Напрасно энергическій Строгановъ убѣждалъ государя не слушать преувеличенныхъ опасеній, выходившихъ изъ противоположнаго лагеря и приступить къ немедленному освобожденію крестьянъ; дѣло кончилось тѣмъ, что запрещена была личная продажа крѣпостныхъ людей (безъ земли), а мѣщанамъ и казеннымъ крестьянамъ дозволено приобрѣтать недвижимую собственность. Доводы графа Строганова заслуживаютъ особеннаго вниманія; они были, повидимому, довольно распространены въ лучшей части тогдашняго общества и выражались прямо или косвенно въ печати.

Изъ историческаго факта крестьянскаго движенія во времена Стеньки Разина и Пугачева, гр. Строгановъ выводилъ заключеніе, что если съ чьей стороны опасно неудовольствіе, и затѣмъ вооруженное возстаніе, то, по всѣмъ вѣроятіямъ, со стороны крестьянъ, а не дворянъ. Александръ Павловичъ не согласился, какъ уже сказано, съ этими доводами, но личное чувство всегда внушало ему отвращеніе къ рабству и, въ теченіи своего продолжительнаго царствованія, онъ не закрѣпостилъ, по крайней мѣрѣ, ни одного вольнаго человѣка, опередивъ въ этомъ случаѣ свою знаменитую бабу. На письмо одного государственнаго сановника, желавшаго получить въ награду населенное имѣніе, государь отвѣчалъ: «Русскіе крестьяне, бѣльшею частію, принадлежатъ помѣщикамъ; считаю излишнимъ доказывать униженіе и бѣдствіе такого состоянія. И потому я далъ обѣтъ не увеличивать числа этихъ несчастныхъ, и принялъ

за правило не давать никому въ собственность крестьянъ. Имѣніе, о которомъ вы просите, будетъ пожаловано въ аренду вамъ и вашимъ наследникамъ; слѣдовательно, вы получите желаемое, но только съ тѣмъ, чтобы крестьяне не могли быть продаваемы, подобно безсловеснымъ животнымъ». Не довольствуясь этимъ, Александръ поощрялъ добровольное освобожденіе крестьянъ помѣщиками, и нѣкоторые знатныя лица, стоявшія близко ко двору, спѣшили исполнить задуманное желаніе императора. Такимъ образомъ появился у насъ новый разрядъ крестьянъ, названныхъ «свободными хлебопашцами».

Между разными вопросами, обсуждавшимися въ первую половину царствованія Александра Павловича, ближайшее отношеніе къ нашему предмету имѣетъ вопросъ о свободномъ книгопечатаніи. Заботясь, — подобно Евтерійѣ, въ эпоху ея дружбы съ французскими энциклопедистами, — объ успѣхахъ умственного развитія, молодой государь пожелалъ освободить литературную дѣятельность въ Россіи отъ тяжелыхъ оковъ, наложенныхъ на нее вслѣдствіе невѣжества и безразсудной боязливости, неоправдываемой никакими политическими соображеніями. Какъ только зашла рѣчь объ этой свободѣ, то на видъ представился выборъ между цензурою предупредительною и личной отвѣтственностью авторовъ за напечатанныя ими сочиненія. Одинъ изъ членовъ интимнаго комитета, а именно Н. Н. Новосильцевъ, плѣнился датскимъ уставомъ свободнаго книгопечатанія и предложилъ ввести его въ Россію съ нѣкоторыми передѣлками, соотвѣтствующими нашему законодательству. Уставъ, на который ссылался Новосильцевъ, возникъ при знаменательныхъ

событіяхъ. Датскій король, Христіанъ VII (1766—1808), вступилъ на престолъ семнадцатилѣтнимъ юношей и въ первое время, подъ вліяніемъ графа Струэнзе, защитника либеральныхъ идей, уничтожилъ цензуру, находя ее «въ высшей степени вредной для безпристрастнаго изслѣдованія истины и открытія закоренѣлыхъ предрассудковъ и заблужденій». Съ паденіемъ Струэнзе, оклеветаннаго врагами, обнаружился поворотъ въ регрессивномъ смыслѣ—и результатомъ его было изгнаніе изъ государства многихъ писателей. Датское правительство пыталось даже возобновить предупредительную цензуру, забывъ прекрасные стихи Вольтера, обращенные нѣкогда къ королю Христіану:

Hélas! dans un état l'art de l'imprimerie

Ne fut en aucun temps fatal à la patrie...

Les romans de Scarron n'ont pas troublé le monde;

Chapelain ne fit point la guerre de la fronde...

Non, lorsqu'aux factions un peuple entier se livre,

Quand nous nous égorgeons, ce n'est pas pour un livre *).

Но свобода печатнаго слова настолько вошла уже въ привычки народа, что замѣнить ее прямо прежнимъ порядкомъ сочли неудобнымъ сами противники прессы. По этой причинѣ, не возстановляя цензуры, датское правительство ограничилося изданіемъ очень строгаго устава книгопечатанія, по которому, за инныя важныя преступленія, назначалась даже смертная казнь. Новосильцевъ находилъ полезнымъ сдѣлать въ датскомъ уставѣ нѣкоторыя измѣненія въ смыслѣ благопріятномъ для литературы. Такъ напр. онъ намѣревался предо-

*) Т. е. «книгопечатаніе никогда не было гибельно для отечества. Романы Скаррона не взволновали свѣта, и Шапленъ не былъ виновникомъ фронды... Когда народъ поднимаетъ мятежъ, и люди душатъ другъ друга—не книга бываетъ тому причиною».

ставить въ Россіи право конфискаціи подозрительныхъ книгъ не полиціи, а университетамъ и академіямъ, съ тѣмъ, чтобы они, увѣдомивъ мѣстное начальство, представляли мнѣнія свои, вмѣстѣ съ экземпляромъ книги, въ главное правленіе училищъ. Кромѣ того, обвиняемый въ изданіи предосудительной книги, долженъ былъ судиться не обыкновеннымъ судомъ, но особымъ трибуналомъ, составленнымъ изъ лицъ образованныхъ и пользующихся уваженіемъ въ обществѣ. Требованіе датскаго правительства—печатать непременно на книгѣ имя автора или переводчика—было также отмѣнено Новосильцевымъ изъ уваженія къ «скромности литераторовъ, впервые выступающихъ на поприще словесности». Постановленіе о свободномъ книгопечатаніи не должно было, впрочемъ, касаться цензуры книгъ духовныхъ, которая оставалась вполнѣ въ рукахъ св. синода. Въ то время, какъ въ главномъ правленіи училищъ шло обсужденіе столь близкаго для литературы вопроса, изъ среды общества раздавались голоса въ пользу полного простора для слова и мысли. Въ главное правленіе прислана была анонимнымъ авторомъ любопытная записка, доказывавшая необходимость скорѣйшаго освобожденія печати *).

Но наши первые цензурные законодатели были искренно убѣждены, что полная свобода печати, въ соединеніи съ строгой отвѣтственностью по суду, убьетъ русскую литературу въ самомъ зародышѣ, и многія личности совсѣмъ не рискнуть выйти на литературную арену подъ такими тяжелыми, грозящими условіями. Проектъ доклада о цензурѣ,

*) См. «Матер. для исторіи просвѣщенія,» стр. 18—19.

написанный рукой самого Фуса, показывает ясно, что этот почтенный академик не отвергалъ въ принципѣ свободной прессы, понималъ вредъ цензурныхъ стѣсненій, и только по особымъ обстоятельствамъ нашего литературнаго развитія рѣшился замѣнить правомѣрную строгость закона измѣнчивой опекой «либеральныхъ» цензоровъ.

Сдѣлавъ, въ своихъ заключеніяхъ, переходъ къ необходимости и пользѣ предварительной цензуры, Фусъ заканчиваетъ свой проектъ слѣдующими словами: «Утверждая новый порядокъ цензуры, мы (т. е. верховная власть) желаемъ устранить отъ этой мѣры все то, что могло бы препятствовать невинному пользованію правомъ мыслить и писать. Мы объявляемъ, что только злоупотребленія свободной печати, возможныя со стороны писателей злонамѣренныхъ, безнравственныхъ и безобразныхъ, (?) будутъ нами предупреждаемы».

Послѣ всѣхъ толковъ и предположеній, частію одобренныхъ, частію отвергнутыхъ высшимъ правительствомъ, составленъ, наконецъ, цензурный уставъ 1804 г. Либеральный характеръ времени коснулся, въ значительной степени, этого законодательнаго акта: первый цензурный уставъ немногословенъ, и въ немъ незамѣтно желанія уловить и предупредить всякій порывъ свободной мысли; напротивъ того, нѣкоторые пункты его даютъ довольно простора для литературной критики. Послѣдствія показали однако, что самыя широкія и льготныя цензурныя правила легко суживаются и даже совсѣмъ видоизмѣняются подъ вліяніемъ случайныхъ обстоятельствъ: политическаго переворота въ западной Европѣ, личнаго взгляда главы министерства, претензій и жалобъ

частныхъ лицъ. — Въ то время, когда составлялся цензурный уставъ и нѣсколько лѣтъ спустя по введеніи его въ дѣйствіе, правительство молодого государя не только не опасалось свободной мысли, но вызывало ее на обсужденіе разныхъ государственныхъ вопросовъ; задумывая рядъ послѣдовательныхъ политическихъ преобразованій, оно нуждалось въ сочувствіи и поддержкѣ мыслящихъ людей, которые могли бы растолковать обществу, путемъ печатнаго слова, все значеніе мѣръ, предпринимаемыхъ для обновленія внутренней жизни Россіи. Подъ защитой такого настроенія легко было развиваться литературѣ; реформаціонные планы зарождались сами собою въ пытливыхъ головахъ, увлеченныхъ общимъ движеніемъ, и если не могли появиться въ печати, то представляемы были, въ видѣ проектовъ, правительству. Въ одномъ изъ такихъ проектовъ проводится любопытная мысль о необходимости обширнаго періодическаго изданія, которое предполагалось назвать «Правительственнымъ журналомъ».

«Въ семъ «Правительственномъ журналѣ» — писалъ авторъ проекта, Баккаревичъ, — помѣщаются будутъ всѣ государственные акты и бумаги, каковыя только благоразуміе правительства почтетъ за благо обнародовать, какъ-то: высочайшіе манифесты, рескрипты, журналы всѣхъ высочайшихъ путешествій, бывшихъ или имѣющихъ быть; всѣ новыя узаконенія и уставы, если они не слишкомъ обширны; реляціи министровъ и полководцевъ, описанія военныхъ экспедицій, сраженій и побѣдъ, и разные трактаты съ иностранными дворами; примѣчательнѣйшія письма къ Имп. Величеству или къ знаменитымъ государственнымъ особамъ: голоса и

мнѣнія какъ г.г. сенаторовъ, такъ и другихъ верховныхъ чиновниковъ относительно къ важнымъ дѣламъ; примѣчательнѣйшія тяжбы, достопамятнѣйшія уголовныя дѣла, рѣшенныя или въ правительствующемъ сенатѣ, или въ палатахъ, или въ другихъ присутственныхъ мѣстахъ, съ показаніемъ ихъ теченія и производства. Далѣе помѣщаются будутъ краткія описанія жизни и дѣяній великихъ русскіхъ патріотовъ и героевъ, прославившихъ или спасшихъ отечество. Помѣщаются будутъ всѣ новые одобренные проекты, писанные яснымъ и чистымъ слогомъ; всѣ новыя полезныя открытія, въ какомъ бы то родѣ ни было, всѣ основательныя разсужденія, относящіяся къ общественной пользѣ: о законодательствѣ напр., о земледѣліи, торговлѣ, пчеловодствѣ (?), о воспитаніи юношества; также всякія патріотическія мысли, всякія характеристическія черты русскаго народа, всякіе примѣры добродѣтели; словомъ, это будетъ хранилище всѣхъ домашнихъ, такъ сказать, важнѣйшихъ государственныхъ происшествій».

По мнѣнію Баккаревича, такое изданіе должно было сдѣлаться архивомъ необходимыхъ для отечественной исторіи матеріаловъ. «Родится—патетически восклицалъ онъ — русскій Тацитъ, русскій Робертсонъ и найдетъ въ семъ обширномъ хранилищѣ богатый запасъ драгоцѣнныхъ матеріаловъ, недостатокъ которыхъ и составляетъ существенную причину невозможности написать исторію Россіи». На этомъ основаніи авторъ проекта полагалъ предоставить редактору «Правительственнаго журнала» званіе исторіографа русскаго имперіи. Всѣ матеріалы, предна-

значенные для этого журнала, обязывались сообщать въ редакцію министры и главноуправляющіе отдѣльными вѣдомствами. Баккаревичъ представилъ свой проэктъ министру народнаго просвѣщенія чрезъ Н. Н. Новосельцова, подъ наблюденіемъ котораго должно было выходить въ свѣтъ новое изданіе.

Но графъ Завадовскій (министръ народнаго просвѣщенія) смотрѣлъ иначе, чѣмъ Новосильцевъ, на потребность гласности въ правительственныхъ дѣйствіяхъ и не особенно заботился о томъ, чтобы доставить «россійскимъ Робертсонамъ» должное количество историческихъ матеріаловъ. Онъ представилъ государю, что въ замышляемое изданіе войдутъ такія статьи, которыя «едва ли можно позволить издавать въ свѣтъ частному человѣку,» каковы манифесты, рескрипты и прочіе документы, которые, будучи напечатаны несправно, могутъ подать поводъ къ недоразумѣніямъ. Кромѣ того, министръ полагалъ, что слишкомъ трудно найти людей, довольно способныхъ и просвѣщенныхъ для составленія редакціи подобнаго изданія и что, наконецъ, еслибъ такіе люди и нашлись, то потребовали бы слишкомъ большаго вознагражденія за свой трудъ, а потому и самое изданіе едва ли могло бы окупиться. Эти причины, открыто приведенныя гр. Завадовскимъ противъ проэкта Баккаревича, очевидно несущественны и позволяютъ догадываться, что имъ же были представлены въ свое время другія, болѣе уважительныя, секретныя соображенія, рѣшившія дѣло не въ пользу проэктируемаго изданія. Повидимому, мысль о допущеніи гласности въ правительственныхъ дѣлахъ встрѣчала сильное противодѣйствіе со стороны многихъ, заинтересованныхъ въ

томъ, правительственныхъ лицъ: новое доказательство, какъ мало было единодушія и твердой, опредѣленной системы взглядовъ въ высшихъ сферахъ тогдашней администраціи. (См. «Историч. свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи,» стр. 12). Предположеніе о правительственномъ журналѣ осуществилось нѣсколько позже, и только отчасти, въ изданіи «Сѣверной почты», которая стала выходить съ 3-го ноября 1809 г. (два раза въ недѣлю) при почтовомъ департаментѣ, принадлежавшемъ тогда къ министерству внутреннихъ дѣлъ. Газета издавалась подъ руководствомъ товарища министра (впослѣдствіи министра) внутреннихъ дѣлъ О. П. Козодавлева; въ ней печатались корреспонденціи изъ самыхъ отдаленныхъ провинціальныхъ городовъ, политическія извѣстія, литературныя и общественныя слухи, и цѣлыя разсужденія, посвященныя преимущественно торговымъ и промышленнымъ вопросамъ. Были также статьи историческаго и этнографическаго содержанія, какъ напр. объ устройствѣ почтъ, объ историческомъ прошломъ г. Феодосіи, о рыбной ловлѣ на Уралѣ и пр. Время отъ времени, здѣсь сообщались, на особыхъ таблицахъ, продажныя цѣны на хлѣбъ во всѣхъ губернскихъ городахъ. Общественныя новости, сообщаемыя въ газетѣ, вызывали иногда въ публикѣ дополненія и опроверженія, которыя печатались въ самой газетѣ. Въ одномъ изъ нумеровъ «Сѣв. Почты» за 1810 г. есть интересное извѣстіе, что министерство внутреннихъ дѣлъ послало въ Липецкъ для пользы публики, гостившей на водахъ, библіотеку, составленную изъ тысячи томовъ разныхъ авторовъ: такъ заботливо относилось это вѣдомство къ интересамъ образованія.

Въ первое время, по введеніи устава, цензурные

комитеты дѣйствовали вообще въ либеральномъ духѣ и примѣняли часто къ литературѣ снисходительные пункты устава; но тогда уже обнаруживалось, насколько условно бываетъ, между разными лицами, пониманіе «свободы печати, возвышающей успѣхи просвѣщенія». Неопредѣленность правительственной программы въ цензурномъ вопросѣ, постоянное столкновеніе между требованіями правительственной опеки и свободой общественнаго развитія, уже заявлявшего свои права; наконецъ неизбѣжное свойство предварительной цензуры, легко видоизмѣняющейся, при неблагоприятныхъ обстоятельствахъ, въ стѣснительную преграду для свободы мысли—все это сказалось полно и наглядно въ прискорбномъ случаѣ съ книгой И. П. Пнина.

Мы расскажем, по возможности подробно, этотъ замѣчательный случай.

IV.

И. П. Пнинъ, какъ писатель и журнальный дѣятель. Его книга «Опытъ о просвѣщеніи». Печальная судьба этой книги. Общее настроеніе цензуры. Взглядъ Россійской Академіи на свободу мысли и слова. Мнѣніе Каченовскаго о новомъ цензурномъ уставѣ.

Иванъ Петровичъ Пнинъ (1773—1805 г.) принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ журнальных дѣятелей конца XVIII-го и начала XIX вѣка. Его имя не блещетъ въ ряду славныхъ именъ, знакомыхъ намъ съ дѣтства изъ различныхъ хрестоматій и безцвѣтныхъ курсовъ русской литературы; его благородная дѣятельность на пользу просвѣщенія

и общественнаго развитія не влечетъ къ себѣ присяжныхъ панегиристовъ всяческаго успѣха... Но все это показываетъ только, что мы до сихъ поръ, въ оцѣнѣ литературной дѣятельности, неидемъ дальше гуртовыхъ увлеченій массы, раздающей свои вѣнцы, всего чаще, за рутинность мысли и за «художественность» формы, т. е. за гладкую прилизанность рифмованныхъ и нерифмованныхъ строчекъ.—Біографическія свѣдѣнія объ этой выдающейся личности весьма неполны, такъ что мы, при всемъ желаніи сообщить объ ней больше нашимъ читателямъ, должны ограничиться лишь простымъ перечнемъ фактовъ.

И. П. Пнинъ обучался первоначально въ благородномъ пансіонѣ московскаго университета, а потомъ въ кадетскомъ корпусѣ. Во время шведской войны онъ былъ офицеромъ артиллеріи и служилъ во флотиліи. Въ 1801 г. вступилъ въ канцелярію вновь учрежденнаго государственнаго совѣта, а въ 1802 г., при основаніи министерствъ, опредѣленъ экспедиторомъ въ департаментъ министерства народнаго просвѣщенія, директоромъ котораго былъ назначенъ, въ то же время, другой извѣстный журналистъ—И. И. Мартыновъ. *) Въ 1805 г., вслѣдствіе сильной простуды, онъ заболѣлъ чахоткой, которая быстро изнурила его силы и заставила выйти въ отставку съ пенсіей и чиномъ коллежскаго совѣтника. 17 сентября того же года онъ уже скончался на рукахъ многихъ

*) Свѣдѣнія эти мы заимствуемъ изъ похвальнаго слова въ честь Пнина, произнесеннаго въ Обществѣ любителей наукъ и словесности другомъ его Брусиловымъ, издателемъ Журнала Россійск. Словесности (1805 г. № 10). Въ похвальной рѣчи сказано, что Пнинъ «умеръ, едва достигнувъ тридцатилѣтняго возраста»; но въ Матеріалахъ для исторіи просвѣщенія г. Сухомлинова находится болѣе точное указаніе его лѣтъ.

друзей,—членовъ «вольнаго общества любителей наукъ, словесности и художествъ,» которые собрали подписку на сооруженіе ему надгробнаго памятника. На этомъ памятникѣ, по предложенію Востокова, была вырѣзана краткая надпись: «Друзья—Пнину».

Вотъ все, что знаемъ мы о жизни Пнина.

Литературная дѣятельность его была непродолжительна, но зато отмѣчена характеромъ безупречной честности и послѣдовательности въ проведеніи своихъ мыслей. Онъ былъ сторонникомъ человеколюбивой философіи XVIII-го вѣка, служилъ ей искренно, преданно, и притомъ не только въ литературѣ, но и въ жизни. «Будучи весьма небогатъ — говоритъ его біографъ—онъ любилъ помогать несчастнымъ. Съ жаромъ друга человечества, всякую скорбь угнетеннаго людьми или судьбою человека бралъ онъ близко къ сердцу своему и не щадилъ ни трудовъ, ни покоя, ни изживенія для облегченія судьбы несчастныхъ». Въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ, въ оригинальныхъ статьяхъ, въ переводахъ, даже въ стихахъ — Пнинъ высказывалъ занимавшія его мысли о наилучшемъ политическомъ устройствѣ и, насколько позволяли внѣшнія препятствія, дѣлалъ болѣе или менѣе прозрачныя намеки на современное ему положеніе Россіи. Въ періодическомъ изданіи Пнина, выходившемъ въ 1798 г., подъ названіемъ «Петербургскаго журнала,» печатались, вмѣстѣ со стихами и баснями, статьи политическаго и экономическаго содержанія, какъ напр. отрывки изъ Монтескье съ замѣчаніями на *L'esprit des lois*, извлеченіе изъ книги графа Верри, сотрудника Беккаріи: объ умноженіи и уменьшеніи государственнаго богатства, о глав-

ныхъ побужденіяхъ торговли и первоначальныхъ основаніяхъ цѣнъ, о купеческихъ и художническихъ обществахъ; подробное изложеніе «политической экономіи» Жака Стюарта и т. п. На смерть Радищева Пнинъ написалъ очень трогательное и задумчивое стихотвореніе, которое не будетъ лишнимъ привести цѣликомъ:

Итакъ Радищева не стало!
Мой другъ, уже во гробъ онъ...
То сердце, что добромъ дышало,
Постигъ ничтожества законъ.
Уста, что истину вѣщали,
Уста на вѣки замолчали,
И пламенникъ ума погасъ...
Кто къ счастью велъ путемъ свободы
Навѣкъ, навѣкъ оставилъ насъ.
Оставилъ—и прешелъ къ покою...
Благословимъ его мы прахъ.
Кто столько жертвовалъ собою
Не для своихъ, но общихъ благъ,
Кто былъ отечеству сынъ вѣрный,
Былъ гражданинъ, отецъ примѣрный,
И смѣло правду говорилъ,
Кто ни предъ кѣмъ не изгибался,
До гроба лестію гнушался—
Я чаю, тотъ довольно жилъ!

Немногіе изъ русскихъ литераторовъ того времени относились такъ сочувственно къ несчастному страдальцу; извѣстно, что корифей тогдашней поэзіи, столь прославленный «потомокъ Багрима», не нашелъ для Радищева иныхъ словъ поощренія, кромѣ слѣдующаго четверостишія:

Взда твоя въ Москву со истинною сходна,
Некстати лишь смѣла, дерзка и сумасбродна;
Я слышу, на коней ямщикъ кричитъ: «вирь, вирь»!
Знать, русскій Мирабо, поѣхалъ ты въ Сибирь *).

*) См. Русск. Вѣстникъ 1858 г., 28. «Александръ Никол. Радищевъ», по воспоминаніямъ сына.

Весьма понятно, что съ восшествіемъ на престолъ Александра I, всѣ личности, подобныя Пнину, неутратившія въ тяжелую годину ни силы мысли, ни достоинства характера, должны были почувствовать себя какъ бы окрыленными и отдаться, со всѣмъ пыломъ неостывшей энергіи, на служеніе либеральнымъ идеямъ, моментально получившимъ у насъ достаточно широкое право гражданства. Дѣйствительно, Пнинъ оживился духомъ въ это счастливое время, и мы видимъ его въ самомъ разгарѣ литературной производительности. Онъ предполагаетъ издавать по очень обширной программѣ новый журналъ: «Народный Вѣстникъ», пишетъ «Опытъ о просвѣщеніи», «Вопль невинности, отвергаемой закономъ», «О возбужденіи патріотизма», оканчиваетъ первое дѣйствіе исторической драмы «Велизарій» и задумываетъ собрать свои стихотворенія подъ названіемъ: «Моя лира». Ранняя смерть его не дала осуществиться всѣмъ этимъ предпріятіямъ: планъ журнала остался невыполненнымъ, драма не кончена, стихотворенія не собраны. Но «склонясь на просьбы журналистовъ» (по выраженію Брусилова), печаталъ онъ свои стихи въ ихъ журналахъ: такъ напр. нѣсколько его стихотвореній помѣщено въ «Журналѣ Россійской Словесности». Избранный президентомъ Общества любителей наукъ и словесности, 15 іюля 1805 г., онъ намѣревался произвести въ немъ какія-то реформы «для чести общества и для пользы словесности»; но и это не удалось ему.

Изъ сочиненій Пнина, перечисленныхъ выше, одно,—а именно: «Опытъ о просвѣщеніи»—надѣлало много шума и послужило поводомъ къ преслѣдованію со стороны вновь

образовавшагося петербургскаго цензурнаго комитета. Книга эта вышла въ свѣтъ въ 1804 г., по дозволенію петербургскаго гражданскаго губернатора (цензурные комитеты не начинали еще тогда своего дѣйствія), съ двумя эпиграфами; одинъ на первой страницѣ — *«l'instruction doit être modifiée selon la nature du gouvernement qui régit le peuple»* ¹⁾, а другой на оборотѣ: «блаженны тѣ государи и тѣ страны, гдѣ гражданинъ, имѣя свободу мыслить, можетъ безбоязненно сообщать истины, заключающія въ себѣ благо общественное». Изъ этихъ эпиграфовъ, которыми авторъ прикрывалъ, какъ щитомъ, свое разсужденіе, видно уже, что онъ не только не думалъ переступать границъ дозволенной закономъ свободы слова, «возвышающей успѣхи просвѣщенія», но еще надѣялся принести пользу обществу, высказывая печатно свои мысли, не противорѣчившія ни основному характеру правленія, ни гласно заявленнымъ желаніямъ верховной власти. Руководствуясь отчасти «предварительными правилами народнаго просвѣщенія», опубликованными во всеобщее свѣдѣніе самимъ правительствомъ, Пнинъ изложилъ свои взгляды на то: въ чемъ должно состоять просвѣщеніе, что можетъ наиболѣе ему способствовать, и въ одинаковой ли степени оно должно быть распространяемо между всѣми слоями русскаго общества. ²⁾ Признавая тѣснѣйшую связь просвѣщенія народа съ его политическимъ состояніемъ (какъ это можно усмотрѣть изъ перваго эпиграфа къ

¹⁾ Т. е. «просвѣщеніе должно сообразоваться съ характеромъ власти, господствующей въ народѣ».

²⁾ См. «Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ царствованіе Александра I». Журн. Мин. Нар. Просв. 1866 г.

книгѣ) авторъ полагаетъ, что успѣхи образованности нельзя измѣрять числомъ ученыхъ и литераторовъ: — по его понятію, истинное просвѣщеніе состоитъ въ равновѣсіи общественныхъ силъ, въ непреложномъ исполненіи долга, лежащаго на каждомъ членѣ государственнаго организма. Но какъ ни различны законы, управляющіе государствомъ, они должны стремиться къ одной цѣли—охраненію правъ собственности и личной безопасности гражданъ. Гдѣ нѣтъ собственности, тамъ всѣ законы существуютъ только на бумагѣ. «Собственность—говоритъ авторъ—священное право, душа общежитія, источникъ законовъ! Гдѣ ты уважаена, гдѣ ты неприкосновенна, тамъ только спокойствіе и благополучіе гражданъ. Но ты бѣжишь отъ звука цѣпей, ты чуждаешься невольниковъ. Права твои не могутъ существовать ни въ рабствѣ, ни въ безначаліи: ты обитаешь только въ царствѣ законовъ». Право собственности даетъ твердую опору законамъ; законы же произошли отъ гражданскихъ обществъ, а общества явились вслѣдствіе неравенства силъ чловѣческихъ. Этимъ неравенствомъ опредѣляется различіе сословій и различіе потребностей каждаго изъ сословій. Допуская законность и неизбежность такого раздѣленія общества, авторъ предлагаетъ свой планъ образованія для четырехъ сословій: земледѣльческаго, мѣщанскаго, дворянскаго и духовнаго. Въ этомъ планѣ исчислены подробно всѣ науки, которыя могутъ быть достояніемъ извѣстнаго класса общества: земледѣльцевъ надлежитъ обучать только чтенію, письму, первымъ дѣйствіямъ ариметики, сельской механикѣ (?), скотоводству, обработкѣ полей и проч. Мѣщане могутъ уже взять въ толкъ грамматику, географію, введеніе во всеобщую исторію и главныя

эпохи русской исторіи, геометрію и даже тригонометрію, естественную исторію, технологію, физику и практическія знанія, полезныя для промышленности. Въ купеческомъ сословіи, къ этимъ предметамъ присоединяются нѣкоторые другіе, какъ напримѣръ, англійскій языкъ, алгебра, простая и двойная бухгалтерія, исторія коммерціи, товаровѣдѣніе и проч., но вся роскошь познанія приберегается для дворянскаго класса, которому, сверхъ многихъ названныхъ предметовъ, дозвоительно изощрять свои умственные способности изученіемъ юридическихъ наукъ. Читатель видитъ, что въ этомъ случаѣ Пнинъ отдалъ полную дань сословнымъ предразсудкамъ своего времени и остался позади правительства, которое и не думало дѣлать такого спеціальнаго различія, въ приобрѣтеніи познаній, между мѣщаниномъ, купцомъ и дворяниномъ, отворяя для всѣхъ одинаково двери общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній. Но въ одномъ пунктѣ авторъ высказался энергичнѣе и послѣдовательнѣе правительства, не дожидаясь, покуда оно, смущенное разнорѣчивыми взглядами либераловъ и злобѣщими запугиваньями консерваторовъ, рѣшится, наконецъ, дѣйствовать въ какомъ нибудь опредѣленномъ смыслѣ. Этотъ пунктъ — фатальный крестьянскій вопросъ, разрѣшеніе котораго представлялось столь сложнымъ и затрагивающимъ основныя вопросы государственнаго устройства, что Александръ І-й, не смотря на свою хорошо извѣстную антипатію къ рабству, недоумѣвалъ и колебался вырвать это зло съ корнемъ.

Назвавъ русскія сословія, Пнинъ замѣчаетъ, что одно изъ нихъ, именно земледѣльческое, находится въ страдательномъ состояніи, будучи отдано во власть рабовладѣльцевъ,

поступающихъ съ подвластными людьми хуже, чѣмъ со скотомъ. Важнѣйшая забота законодателя должна состоять, по его мнѣнію, въ огражденіи правъ собственности земледѣльческаго класса: только этимъ путемъ можно распространить истинное просвѣщеніе въ народѣ. Рисуя печальную картину крестьянскаго быта, авторъ порицаетъ многія явленія въ жизни другихъ сословій, не щадитъ и системы управленія во всѣхъ ея отрасляхъ. О купцахъ говорится, что они не поддерживаютъ другъ друга въ несчастныхъ случаяхъ: богатый купецъ, видя неудачу и гибель своего собрата, не только не подаетъ ему руку помощи, но еще спѣшитъ притѣснить его, чтобы воспользоваться его несчастіемъ. Въ службу гражданскую, по словамъ автора, опредѣляютъ безъ всякаго разбора; чины и мѣста раздаютъ людямъ, едва умѣющимъ читать и подписывать свое имя; люди же достойные избѣгаютъ службы, опасаясь попасть подъ начальство господъ, заслуживающихъ не почета, а презрѣнія и т. д.

Книга Пнина, изданная въ 1804 г., имѣла такой успѣхъ въ публикѣ, что въ томъ же году понадобилось новое ея изданіе, и она была представлена въ цензурный комитетъ съ рукописными дополненіями, сдѣланными,—какъ объясняетъ авторъ,—по волѣ монарха. Но не всѣ читатели прочли «Опытъ о просвѣщеніи» съ одинаковымъ удовольствіемъ: нашелся между ними одинъ благонамѣренный гражданинъ, который, предвидя отъ этой книги ущербъ для славы отечества, донесъ на нее, какъ на крайне вредную и исполненную разрушительныхъ правилъ *). Аmaterъ-доносчикъ

*) См Русск. Вѣстн. 1858 г. № 23.

былъ нѣкто Гавріилъ Гераковъ, извѣстный уже въ то время своими патріотическими произведеніями въ родѣ: «Герои русскіе за 400 лѣтъ», «Твердость духа нѣкоторыхъ Россіянъ» и т. п., и еще болѣе прославившійся впоследствии изданіемъ «Россійскихъ историческихъ отрывковъ», не принятыхъ ни Жуковскимъ, ни Каченовскимъ въ «Вѣстникъ Европы» *). На этого же Геракова написана была Мариннымъ слѣдующая эпиграмма:

Будешь, будешь сочинитель
И читателей тиранъ,
Будешь корпусный учитель,
Будешь вѣчный канцелярь.
Будешь—такъ судьбы гласилъ—
Ростомъ двухъ аршинъ съ вершкомъ,
Будешь, греки подтвердили,
Будешь вѣкъ ходить пѣшкомъ.

Въ объясненіе предпоследняго стиха нужно замѣтить, что Гераковъ былъ родомъ грекъ и проникнулся русскимъ патріотизмомъ, подобно Булгарину, въ чаяніи поправить нѣсколько свои запутанныя дѣлишки. Доносъ жалкаго писаки былъ услышанъ цензурными властями: новое изданіе книги не было разрѣшено, а экземпляры перваго изданія, еще оставшіеся въ продажѣ, предписано отобрать изъ книжныхъ лавокъ. вмѣстѣ съ книгою были отвергнуты цензурнымъ комитетомъ и рукописныя къ ней дополненія, причемъ комитетъ постарался мотивировать свой отказъ. Приведя слова автора: «насилъство и невѣжество, составляя характеръ правленія Турціи, не имѣя ничего для себя священнаго, губятъ взаимно гражданъ, не разбирая жертвъ», цензоръ прибавляетъ отъ себя: «хочу вѣрить, что эту мрачную

*) См. по каталогу Смирдина №№ 2709, 2943 и 2924.

картину списалъ авторъ съ Турціи, а не съ Россіи, какъ то иному легко показаться можетъ; но и для турецкаго правленія это язвительная клевета, будто народъ сей не имѣетъ для себя ничего священнаго и губить себя взаимно, не разбирая жертвъ». Главный доводъ, приводимый противъ книги Пнина, заключается въ томъ, что «авторъ съ жаромъ и энтузіазмомъ жалуется на злосчастное состояніе русскихъ крестьянъ, коихъ собственность, свобода и даже самая жизнь, по мнѣнію его, находится въ рукахъ какого нибудь капризнаго паши.» «Хотя бы то и справедливо было, рассуждаетъ офиціаль- ный рецензентъ, что русскіе крестьяне не имѣютъ собственности, ни гражданской свободы, однако зло сіе есть зло, вѣками укоренившееся, и требуетъ осторожнаго и повременнаго исправленія. Мудрые наши монархи усмотрѣли его давно; но зная, что сильный переломъ всегда разрушаетъ машину правленія, не хотѣли вдругъ искоренить сіе зло, дабы не навлечь чрезъ то еще большаго бѣдствія. Правительство дѣйствуетъ въ семъ случаѣ подобно искусному врачу; мѣры его кротки и медленны, но тѣмъ не менѣе безопасны и спасительны. Если- бы сочинитель нашелъ или думалъ найти какое нибудь новое средство, дабы достигнуть скорѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ безопаснѣе предполагаемой имъ цѣли, т. е. истребленія рабства въ Россіи, то приличнѣе было бы предложить оное проектомъ правительству. А разгорячать умы, воспалять страсти въ сердцахъ такого класса людей, каковы наши крестьяне, это значить въ самомъ дѣлѣ собирать надъ Россіей черную губительную тучу». Приговоръ цензуры вызвалъ протестъ со стороны автора. Въ объясненіи своемъ, пред-

ставленномъ въ главное правленіе училищъ, Пнинъ говоритъ: «Всякій писатель, пишущій о предметахъ государственныхъ, никогда не долженъ терять изъ виду будущее. Ибо цѣль народъ никогда не умираетъ, ибо государство, какимъ бы оно ни было подвержено сильнымъ потрясеніямъ, перемѣняетъ только видъ свой, но вовсе никогда не истребляется. И потому сочинитель обязанъ истинны, имъ предусматриваемыя, представлять такъ, какъ онъ находитъ ихъ. Онъ долженъ въ семъ случаѣ послѣдовать искусному живописцу, коего картина тѣмъ совершеннѣе бываетъ, чѣмъ краски, имъ употребляемыя, соотвѣтственнѣе предметамъ, имъ изображаемымъ. Впрочемъ все сказанное мною о необходимости крестьянской собственности, всѣ истинны, къ сему предмету относящіяся, почерпнулъ я изъ премудраго наказа Великія Екатерины. Она внушила мнѣ оныя. Она возбудила во мнѣ тотъ жаръ и энтузіазмъ, который цензоръ ставитъ мнѣ въ преступленіе. Рукописное дополненіе, сдѣланное мною по волѣ монарха, заключаетъ въ себѣ опредѣленіе крестьянской собственности, примѣненное мною къ настоящему положенію вещей».

Изъ этого столкновенія видно уже, какъ тѣсны оказались цензурныя рамки для начинавшагося развитія свободной мысли. Пнинъ выставляетъ на видъ идеалъ европейскаго писателя; онъ отстаиваетъ право свободного мыслителя касаться всѣхъ «государственныхъ предметовъ», отъ которыхъ зависитъ будущее страны; онъ пробуетъ также прижнуть къ либеральному направленію, поскольку проявлялось оно въ дѣйствіяхъ самого правительства, и на все это получаетъ одинъ холодный отвѣтъ, что «хотя крестьянской

собственности нѣтъ, однако зло сіе вѣками укоренено» (какъ будто въ этой фразѣ есть какая нибудь логика, и зло долговременное перестаетъ уже быть зломъ), что свободная мысль можетъ быть полезна государству, но не въ печати, не гласно высказанная, а въ формѣ проекта, поданнаго куда слѣдуетъ. Либеральная цензура сочувствуетъ даже «истребленію рабства въ Россіи»; но выразить это сочувствіе пропускомъ статьи не рѣшается, потому что правительство, сознавая зло въ принципѣ, начало дѣйствовать противъ него «мѣрами кроткими и медленными». Мы не хотимъ сказать, чтобы судъ надъ печатью, организованный въ прежнее время, отнесся снисходительнѣе къ свободной мысли; ничего нѣтъ мудренаго, что этотъ судъ, составленный изъ лицъ, столько же зависимыхъ по своему положенію, какъ были зависимы и чиновники-цензоры, присудилъ бы книгу къ запрещенію, а сочинителя, кромѣ того, къ уголовному заточенію, и вторая бѣда была бы горше первой: — трудно утверждать что нибудь въ пользу тогдашняго суда, т. е. иной системы наблюденія за печатью; — но намъ необходимо указать ту границу, которая, даже въ самый либеральный моментъ, была поставлена неумѣреннымъ порывамъ критической мысли.

Случай, рассказанный нами, объясняетъ, въ какую сторону могло измѣниться направленіе предварительной цензуры. Осуждая книгу Пнина, цензоръ говоритъ, что не желалъ бы узнавать Россію подъ именемъ Турціи; конечно, онъ руководствовался при этомъ снисходительнымъ пунктомъ устава, по которому «мѣсто, подверженное сомнѣнію и имѣющее двоякій смыслъ, лучше истолковать выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели

его преслѣдовать». Но съ теченіемъ времени произволъ цензуры въ толкованіи этихъ сомнительныхъ мѣстъ расширялся все болѣе и болѣе, такъ что въ 1825 году, при министрѣ народнаго просвѣщенія, Шишковѣ, запрещено было выставлять въ печатныхъ книгахъ таинственныя точки, подъ которыми многіе проницательные читатели усматривали прерванную мысль заманчиваго свойства. Съ тѣмъ вмѣстѣ служивалось пониманіе второго, пятнадцатаго и осьмнадцатаго параграфовъ устава, изъ которыхъ—въ первомъ требовалось удалять книги и сочиненія, не ведущія къ истинному просвѣщенію ума и образованію нравовъ, а двумя другими запрещались произведенія «противныя правительству (т. е. политическому устройству страны), нравственности, благопристойности, закону Божію и личной чести гражданъ». При боязливомъ примѣненіи этихъ послѣднихъ пунктовъ оказалось возможнымъ запретить даже такую невинную вещь, какъ «Смальгольмскій баронъ» Вальтеръ-Скотта въ переводѣ Жуковскаго.

Тѣмъ не менѣе, общее настроеніе правительства, отъ котораго такъ много зависитъ характеръ предварительной цензуры,—было, въ то время, благопріятнѣе, чѣмъ когда либо, для успѣшнаго развитія литературы.

Если въ высшемъ правительствѣ встрѣчались лица (большею частію завѣщанныя новому времени прежнимъ поколѣніемъ государственныхъ дѣятелей), которыя косо смотрѣли на свободу прессы, то въ немъ же находимъ мы и другихъ людей, нежелавшихъ стѣснять успѣхи русскаго просвѣщенія. Самъ государь часто держалъ сторону своихъ молодыхъ и либеральныхъ совѣтниковъ, и его личныя симпатіи отража-

лись выгоднымъ образомъ на дѣйствіяхъ предварительной цензуры. Такъ напр., еще до учрежденія цензурныхъ комитетовъ, московскій военный генералъ-губернаторъ, гр. Салтыковъ, опечаталъ сочиненіе «Кумъ Матвѣй», переведенное съ французскаго и дозволенное для продажи московскимъ гражданскимъ губернаторомъ, а книгопродавцевъ, у которыхъ оно продавалось, арестовалъ. Это распоряженіе слишкомъ ревностнаго начальника не было одобрено въ Петербургѣ; арестованныхъ книгопродавцевъ государь приказалъ освободить, а министръ внутреннихъ дѣлъ, графъ Кочубей, увѣдомилъ о томъ одного изъ нихъ вѣжливымъ письмомъ; вполнѣдствіи и убытки, понесенные частными лицами отъ распоряженія графа Салтыкова, были вознаграждены изъ суммъ кабинета. Въ то же время, по ходатайству Н. Н. Новосильцева, печаталось сочиненіе объ англійской конституціи. Вообще цензурныхъ дѣлъ за періодъ времени отъ 1804 — 1811 г. сохранилось немного, и тѣ, которыя сохранились, почти исключительно касаются конфискаціи политическихъ книгъ, переведенныхъ съ иностраннаго языка. Въ сентябрѣ 1807 г. было отобрано болѣе 5000 экземпляровъ сочиненія: «Тайная исторія новаго французскаго двора», переведеннаго съ нѣмецкаго, съ дозволенія петербургскаго цензурнаго комитета. Все изданіе было «истреблено огнемъ» по предписанію петербургскаго военнаго генералъ-губернатора, князя Лобанова-Ростовскаго, но издатель былъ удовлетворенъ за убытки, и притомъ крупною суммою въ 6500 р., изъ кабинета его величества *). Общій духъ

*) «Историч. свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи», стр. 13—19.

перваго цензурнаго устава почти не стѣснялъ литературной дѣятельности, какъ можно судить по количеству и по содержанію книгъ, вышедшихъ въ это время; исполнителями же устава выбирались люди просвѣщенные и, насколько возможно, либеральныя. Дѣла по книгопечатанію, до своего окончательнаго рѣшенія, переходили три инстанціи, и рѣдко случалось, чтобы сочиненіе или переводъ отвергаемы были всѣми тремя степенями цензурнаго вѣдомства, т. е. цензоромъ, читавшимъ рукопись, цензурнымъ комитетомъ и наконецъ главнымъ правленіемъ училищъ. «Обыкновенно бывало,—говоритъ г. Сухомлиновъ, имѣвшій возможность пересмотрѣть много старыхъ цензурныхъ дѣлъ — что или сами цензоры давали ходъ книгѣ на основаніи благопріятныхъ для литературы постановленій устава, или же цензурные комитеты, и еще чаще главное управленіе училищъ, разрѣшали сомнѣнія цензуры въ смыслѣ наиболѣе выгодномъ для авторовъ и переводчиковъ». Что цензоры далеко не всегда относились придирчиво къ свободной мысли, но напротивъ больше склонялись дѣйствовать въ либеральномъ духѣ — можно доказать двумя, очень разительными примѣрами. Въ 1807 г. была переведена на русскій языкъ книга: «De la souveraineté ou connaissance des vrais principes du gouvernement des peuples» которую многіе осуждали за новыя правила, противныя основаніямъ доброй нравственности, вѣры и политики. Но вотъ резолюція цензурнаго комитета: «Въ книгѣ хотя и содержатся многія смѣлыя и оригинальныя мысли, которыя, будучи взяты въ отдѣльности, могутъ показаться предосудительными; но соображая ихъ съ общимъ духомъ книги, нельзя не признать, что авторъ, разру-

шая, повидимому, общепринятая мнѣнія о добродѣтели, нравственности, религіи и правахъ человѣчества, тѣмъ не менѣе утверждаетъ ихъ на новомъ основаніи. Въ такомъ вѣкѣ, когда потрясены всѣ древнія опоры алтарей и троновъ, бесполезно противопоставить опытъ Макіавелева ученія, смятеннаго и приноровленнаго къ духу настоящаго времени. Будучи наполнена отвлеченными и глубокомысленными изысканіями, книга «De la souveraineté» обратитъ на себя вниманіе только людей ученыхъ и просвѣщенныхъ, которые, безъ сомнѣнія, прочтутъ ее съ пользою, и если не согласятся съ мнѣніемъ автора, то, по крайней мѣрѣ, доведены будутъ до разысканія многихъ полезныхъ истинъ, хотя бы то было и къ опроверженію самого автора. Что же касается до читателей недалъновидныхъ, для которыхъ книга эта могла бы послужить соблазномъ, то, кажется, утвердительно можно сказать, что они не захотятъ принять на себя трудъ входить въ лабиринтъ глубокомысленныхъ изслѣдованій автора».

Мотивы, приведенные здѣсь, не мѣшаютъ свободной критикѣ обращаться на самые важные вопросы человѣческаго общежитія: польза, которая проистекаетъ изъ этого, превосходитъ, по мнѣнію цензурнаго комитета, случайный соблазнъ и недоразумѣнія «недалъновидныхъ» читателей. Такую-же просвѣщенную терпимость къ мнѣніямъ писателей обнаружилъ въ 1819 г. цензоръ Яценковъ (онъ же редакторъ «Духа журналовъ»), допуская къ печати, въ «Журналѣ древней и новой словесности», извѣстное письмо Ломоносова: «О размноженіи

и сохраненіи русскаго народа». Письмо это не понравилось однако двумъ министрамъ (народнаго просвѣщенія и внутреннихъ дѣлъ), которые нашли въ немъ «мысли предосудительныя, несправедливыя, противныя православной церкви и оскорбляющія честь нашего духовенства». Отъ цензора потребовали объясненіи, и онъ не замедлилъ его представить. «Не входя въ изслѣдованіе о томъ — пишетъ Яценковъ — справедливы-ли разсужденія Ломоносова, въ письмѣ семъ изображенныя, осмѣливаюсь объяснить только слѣдующее. Статья сія имѣетъ совсѣмъ другую цѣну и должна быть разсматриваема совсѣмъ съ другой стороны. Она есть ни богословская:—ибо кто станетъ искать въ Ломоносовѣ разрѣшенія богословскихъ вопросовъ? — ни медицинская, ниже политико-экономическая, хотя въ семъ дѣлѣ всѣ лучшіе врачи и многіе государственные мужи отдадутъ Ломоносову справедливость. Она есть ничто иное, какъ новая черта къ портрету Ломоносова, дополненіе къ исторіи жизни и многочисленнымъ ученымъ занятіямъ сего великаго мужа. До сихъ поръ мы знали и почитали Ломоносова, какъ неподражаемаго поэта, какъ великаго математика, физика, астронома, химика; отнынѣ будемъ знать и почитать его еще и какъ глубокомысленнаго государственнаго мужа, какъ ревностнѣйшаго споспѣшника народной силы, богатства и величія нашего отечества. Онъ могъ ошибаться въ мнѣніяхъ своихъ предметахъ богословскихъ и политико-экономическихъ; но одно усердіе его къ споспѣшествованію общей пользѣ даетъ уже ему право на всеобщую признательность. Будущій историкъ жизни Ломоносова не пропуститъ

и сей черты, вмѣстѣ со многими другими, изображающими величественный образъ сего необыкновеннаго человѣка. И сія есть одна истинная точка, съ которой цензоръ считалъ себя въ обязанности разсматривать статью сію. Запретивши оную, онъ бы выкинулъ одну изъ любопытнѣйшихъ страницъ въ похвальномъ словѣ Ломоносову». Взглядъ многихъ цензоровъ на свободу мнѣній оказывался даже гораздо просвѣщеннѣе и дѣльнѣе, чѣмъ взглядъ на тотъ же предметъ Россійской Академіи. По поводу рецензіи на академическую грамматику, напечатанную въ «Сынѣ Отечества» въ 1819 г., эта почтенная академія пришла въ такой азартъ, что ходатайствовала особою запиской о преслѣдованіи цензора и автора. Въ засѣданіи академіи былъ поднятъ вопросъ: «имѣютъ ли журналисты право объ издаваемыхъ академіею книгахъ извѣщать публику съ своими о нихъ сужденіями и оцѣнкою»,—и академики отвѣчали на него отрицательно. «Цѣлая академія—говорится въ академической жалобѣ—не можетъ быть безграмотною; журналистъ легко можетъ быть безграмотенъ, ибо всякій можетъ быть журналистомъ. Въ цѣлой академіи предполагается болѣе знаній, нежели въ одномъ журналистѣ. Академія можетъ погрѣшати, но журналистъ еще больше. И такъ, по здравому разсудку (!!) нѣтъ никакой пользы ни для нравовъ, ни для просвѣщенія и словесности, чтобы изданныя отъ академіи и слѣдовательно оцѣненныя уже ею сочиненія, были вновь переоцѣниваемы журналистами. Въ государственныхъ постановленіяхъ также нигдѣ не сказано, что журналисты могутъ публиковать и оцѣнивать академическія книги, какъ

нимъ угодно. Посему ясно (?), что издатель журнала, подъ названіемъ «Сынъ Отечества», присвоилъ самъ себѣ это право. Поступокъ его не подлежитъ суду академіи, но суду правительства». Жалобы академіи и претензія ея на авторитетъ папской непогрѣшимости не были уважены главнымъ правленіемъ училищъ, которое нашло, что «дѣлѣ замѣчаній на всякую издаваемую книгу, а тѣмъ болѣе и грамматику, не можетъ быть никому возбранено, и, въ случаѣ неосновательности замѣчаній, критикъ подвергнется стыду передъ публикою и опроверженію своихъ мыслей тѣмъ же способомъ, какимъ доведены они до всеобщаго свѣдѣнія»; но самая возможность появленія такой жалобы составляетъ уже грустный и назидательный фактъ: отсюда ясно, какъ мало наклонны были даже ученые собранія, прикрытыя хоть кончикомъ офиціального плаща, подвергать свои дѣйствія суду публики, и какъ ревниво отстаивали они свои чрезмѣрные притязанія....

Желаніе полной свободы печати, высказанное немногими передовыми личностями александровскаго времени, далеко обгоняло развитіе русскаго общества, непривыкшаго видѣть въ литературномъ мнѣніи самостоятельную, независимую силу; большинство же образованныхъ людей, не исключая литераторовъ и журналистовъ, вполне удовольствовалось тою долей свободы, какую предоставлялъ русской литературѣ новый цензурный уставъ. Это мнѣніе большинства было выражено Каченовскимъ въ «Вѣстникѣ Европы», вскорѣ по выходѣ устава. Мы приведемъ его цѣликомъ, — тѣмъ болѣе, что оно, по своей краткости, не утомитъ нашихъ читателей. «Критика ученая и безпристрастная — и

шетъ Каченовскій въ статьѣ подъ названіемъ: «О книжной цензурѣ въ Россіи»--выставляя погрѣшности сочиненій,—удерживаетъ неопытныхъ людей отъ смѣлыхъ предпріятій; цензура, налагая узду на дерзость и буйство, искореняетъ зло при самомъ его началѣ. Истинный талантъ не боится критики; писатель благонамѣренный уважаетъ постановленія мудраго правительства и благоговѣетъ въ душѣ своей предъ спасительными узаконеніями, которыми нима-ло не стѣсняется свобода мыслить и писать (курсивъ въ подлинникѣ) и которыя суть ничто иное, какъ только необходимыя мѣры, принятыя противъ злоупотребленій сей свободы. Для чего нужны книги? Умъ и дарованія образуются подъ руководствомъ содержащихся въ нихъ полезныхъ правилъ и наставленій; сынъ церкви и отечества почерпаетъ изъ книгъ понятія о своихъ обязанностяхъ; гражданинъ узнаетъ изъ нихъ права свои; человѣкъ онѣ научаютъ чувствовать цѣну его достоинства и иногда, въ часы свободные, доставляютъ ему пріятное занятіе. Но всякая ли книга соотвѣтствуетъ симъ важнымъ назначеніямъ? Вольтеръ хотѣлъ, чтобы дозволено было писать все безъ изъятія, утверждая, что благо и спокойствіе общества не зависятъ отъ напечатанной книги. Постыдный для человѣчества примѣръ неистовыхъ революцій доказалъ неосновательность Вольтерова мнѣнія. Появленіе дерзкихъ сочиненій, сопровождаемое всеобщимъ одобреніемъ, означаетъ послѣднюю степень развращенія и необузданности, до которой государство достигаетъ. Еслибъ всѣ верховныя власти заблаговременно пеклись о доставленіи обществу книгъ, способствующихъ къ истинному

просвѣщенію ума и къ образованію нравовъ, еслибъ онѣ удаляли сочиненія противныя сему намѣренію, то французы не посрамили бы своего имени предъ лицомъ свѣта и потомства, не обагрили бы рукъ своихъ кровію законнаго своего государя, не пресмыкались бы у ногъ хитраго чужестранца. Нынѣшніе законодатели французскаго Парнасса (аббаты Жоффруа, издатели французскаго Меркурія и пр.), устрашенные плачевными слѣдствіями легкомыслія своихъ соотечественниковъ, принимаютъ крайнія мѣры, совершенно противоположныя первымъ, т. е. выбравшись изъ одной пропасти, низвергаются въ другую; они теперь выхваляютъ блаженное состояніе невѣжества и скорыми шагами обратно отступаютъ къ четырнадцатому вѣку. Южная Германія и всѣ итальянскія государства, по долгу зависимости отъ Франціи и соображаясь съ модою лицемерной набожности, господствующей при дворѣ Наполеономъ, шествуютъ по слѣдамъ своей путеводительницы. Въ Испаніи пламенники святой инквизиціи истребляютъ творенія великихъ геніевъ, писанныя для безсмертія, для пользы и славы человѣческаго рода. Въ Австріи запрещенъ ввозъ всѣхъ иностранныхъ сочиненій. Въ то время, когда въ южной Европѣ воздвигаютъ алтари невѣжеству, въ любезномъ отечествѣ нашемъ законы всячески ободряютъ успѣхи просвѣщенія, охраняя вѣру, святость власти, нравственность и личную честь гражданина. И кто не чувствуетъ, сколь драгоцѣнны сіи залоговѣ благоденствія общественнаго и частнаго? Какой здравомыслящій гражданинъ предпочтетъ имъ произведенія ума буйнаго и строitivaго, прикрашеннаго ложнымъ блескомъ мнимаго

краснорѣчія, мгновенно исчезающимъ при свѣтильникѣ здравой логики?»

«Никогда не были взяты мѣры лучшія и надежнѣйшія для успѣховъ народнаго просвѣщенія; никогда правительство столько не пеклось о томъ, чтобы волю свою сдѣлать известною всѣмъ гражданамъ. «Цензура въ запрещеніи печатанія или пропуска книгъ руководствуется благоразумнымъ снисхожденіемъ, удаляясь всякаго пристрастнаго толкованія сочиненій или мѣстъ въ оныхъ, которыя, по какимъ либо мнимымъ причинамъ, кажутся подлежащими запрещенію. Когда мѣсто, подверженное сомнѣнію, имѣетъ двойкій смыслъ, въ такомъ случаѣ лучше истолковать оное выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели его преслѣдовать». Какое поощреніе для зрѣющаго таланта! какая твердая подпора для писателя опытнаго, который предпринимаетъ подвигъ отважный и многотрудный! Екатерина Великая начертала вѣрное средство осчастливить людей. Если хотите сдѣлать народъ благополучнымъ, говоритъ безсмертная законодательница къ органамъ народа, распространите просвѣщеніе въ государствѣ. Человѣколюбивый Александръ, довершающій великія предпріятія своей прародительницы, желаетъ и требуетъ, чтобы скромное и благоразумное изслѣдованіе всякой истины, относящейся до вѣры, человѣчества, гражданскаго состоянія, законоположенія, управленія государственнаго или какой бы то ни было отрасли правленія, «не только не подлежало и самой умѣренной строгости цензуры, но пользовалось бы совершенною свободою тисненія, возвышающей успѣхи просвѣщенія». Если всѣ члены общества будутъ исполнять съ та-

кою правотою и ревностью священный долгъ свой, съ какою мудростью августѣйшій обладатель сѣвера предписываетъ сносительныя средства для истиннаго счастья своего народа; то еще нѣсколько лѣтъ—и поле російской словесности обогатится памятниками изящнаго вкуса и учености». (См. Вѣстн. Евр. 1805 г. № 3).

На этой благоразумной серединѣ примирялись всѣ, кто не желалъ «дерзостей» и излишествъ печати, осуждалъ «умныя буйныя и строптивыя», но вмѣстѣ съ тѣмъ находилъ вредными крайнія репрессивныя мѣры, отодвигающія общество «къ четырнадцатому столѣтію».

V.

Отличительный характеръ русскаго масонства и вліяніе его на Карамзина. — Освобожденіе Карамзина отъ этого вліянія. — Изданіе «Московского Журнала» и литературныхъ сборниковъ. — Политическіе взгляды и симпатіи Карамзина. — Отдѣлъ критики въ «Московскомъ Журналѣ»

Поворотъ въ нашей государственной жизни отразился благопріятно на журналистикѣ. Первымъ представителемъ этого новаго движенія въ нашей литературѣ, по всей справедливости, считается Карамзинъ. Но такъ какъ дѣятельность этого писателя началась еще въ концѣ царствованія Екатерины II-й, то мы должны будемъ обратиться нѣсколько назадъ.

Въ философскомъ движеніи XVIII-го вѣка опредѣлились довольно ясно двѣ струи, два различныя міровоззрѣнія: — раціо-

нально-дейстическое и собственно матеріалистическое, или сенсуализмъ. Первое примыкало къ англійской школѣ Локка, другое нашло своихъ представителей во французскихъ энциклопедистахъ. М а с о н с т в о, зашедшее въ XVIII в. и къ намъ, приближалось въ основныхъ началахъ своихъ къ школѣ дейстическихъ философовъ, т. е. масоны старались перенести въ практическую жизнь ту «религію разума», или «естественную религію», которая требовала отъ человѣка высокой нравственности, полезной дѣятельности, отвергая всякій догматизмъ и фанатическую нетерпимость. Скоро оно вступило въ борьбу съ распространявшимся атеизмомъ. Въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи въ Европѣ, масонство соприкасалось одной своей стороной—съ политической сектой иллюминатовъ, другой—съ мистической теософіей Бема, Штилинга и др. Въ русскомъ масонствѣ не было политическаго оппозиціоннаго отгѣнка, который встрѣчался въ западныхъ масонскихъ ложахъ; все лучшее, что было въ немъ, уходило только на филантропическую дѣятельность, чуждую какого бы то ни было политическаго новаторства. Лопухинъ, одинъ изъ лучшихъ людей «Дружескаго общества», говоря о различіи между западнымъ и русскимъ масонствомъ, чистосердечно признается: «нашего общества предметъ былъ — добродѣтель и стараніе, исправляя себя, достигать ея совершенства при сердечномъ убѣжденіи о совершенномъ ея въ насъ недостаткѣ; а система наша, что Христосъ—начало и конецъ всякаго блаженства». Тайныя же политическія общества, по мнѣнію Лопухина, основаны на томъ, «чтобы отвергать Христа, а общество оныхъ предметъ: заговоръ буйства, побуждаемаго глупымъ стремленіемъ къ необузданности и неестественному равенству». Въ сво-

емъ масонскою катихизисъ Лопухинъ прямо говоритъ, что «масонъ долженъ царя чтить и во всякомъ страхѣ повиноваться ему, не только добродушному и кроткому, но и строптивому». Впослѣдствіи, подъ вліяніемъ Лабзина, масонство утратило и свой филантропическій характеръ, обратившись въ одно отвлеченное, мистико-религіозное созерцаніе. Карамзинъ, какъ извѣстно, вышелъ изъ масонскаго кружка и сохранилъ на себѣ отпечатокъ его вліянія *). Уваженіе къ человѣческой личности, независимо отъ ея общественнаго положенія и вѣса, отсутствіе религіознаго фанатизма — вотъ хорошія черты этого вліянія; но были также и дурныя. Живя въ Москвѣ, Карамзинъ занимался переводами книгъ въ мистическомъ духѣ для новиковскихъ изданій, мечталъ о потерянномъ золотомъ вѣкѣ и, несовсѣмъ отрезвившись отъ этого настроенія, отправился путешествовать по Европѣ. Возвратясь изъ путешествія, Карамзинъ принялся за изданіе ежемѣсячнаго «Московского Журнала» (1791—1792 г.). Появленіе этого журнала было очень важно для своего времени: послѣ сатирическихъ листковъ Новикова, это было первое живое слово въ тогдашнемъ литературномъ затишьѣ. Въ предувѣдомленіи къ журналу Карамзинъ говорилъ: «Вотъ начало. Издатель упортебитъ всѣ силы свои, чтобъ продолженіе было лучше и лучше. Журналъ издавать не шутка—я это знаю,—однако жъ чего не дѣлаетъ охота и прилежность? Множество иностранныхъ журналовъ лежитъ у меня передъ глазами; ни одного изъ нихъ не возьму я за точный образецъ, но всѣми буду пользоваться». И въ самомъ дѣлѣ издатель искусно выби-

*) Объ этомъ вліяніи см. въ 1-мъ томѣ, въ статьѣ: «Русскіе классики въ характеристикахъ г. Галахова», стр. 205—218.

ралъ статьи для своей публики: тутъ были «Письма русскаго путешественника», знакомившія, хотя поверхностно, съ умственною жизнью Европы, съ личностями ея знаменитыхъ мыслителей, свѣдѣнія объ иностранныхъ и русскихъ книгахъ, переводныя и оригинальныя повѣсти, и статьи о театрахъ. Строгаго, опредѣленнаго направленія здѣсь не было, да его и не могло быть въ то время; публикѣ нужны были хоть какія нибудь, не то чтобы систематическія познанія, хоть какое нибудь чтеніе, которое бы приучало ее размышлять объ окружающемъ, видѣть въ книгѣ пріятнаго собесѣдника, а не кошмаръ, созданный для устрашенія школьниковъ. Успѣху журнала немало способствовалъ и легкій литературный языкъ, которымъ писалъ Карамзинъ; доступность его изложенія значительно раздвинула кругъ дѣйствія періодической печати. Утомившись изданіемъ журнала, который приходилось вести почти одному (последняя книжка «Московскаго Журнала» сильно запоздала, а въ 1791 г., вслѣдствіе двукратной отлучки издателя изъ Москвы, даже нѣсколько номеровъ журнала вышли не въ свое время), Карамзинъ предпочелъ дѣйствовать на публику посредствомъ литературныхъ сборниковъ: *Аглая* (1794 г., двѣ книжки) и *Аониды* (1796 — 1799 г., три книжки). По своему составу «Аглая» есть какъ бы продолженіе «Московскаго Журнала»; «Аониды» же представляютъ сборникъ стихотвореній самого Карамзина и другихъ современныхъ поэтовъ. Мы не будемъ распространяться о значеніи сентиментальности, впервые внесенной въ намъ карамзинскою беллетристикой; скажемъ только, что, по сравненію съ ходульными произведеніями прежнихъ поэтовъ, воспѣвавшихъ битвы, барскія

милости, иллюминаціи и фейерверки, переходъ къ простымъ сюжетамъ, заимствованнымъ изъ близкой и всѣмъ знакомой жизни, былъ самъ по себѣ признакомъ развитія литературы. «Поэзія,—говорилъ Карамзинъ въ предисловіи ко 2-й книжкѣ «Аонидъ» (1797 г.),—состоитъ не въ надutomъ описаніи ужасныхъ сценъ природы, но въ живости мыслей и чувствъ. Если стихотворецъ пишетъ не о томъ, что подлинно занимаетъ его душу, если онъ не рабъ, а тиранъ своего воображенія, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, несвойственными ему идеями... то въ произведеніяхъ его не будетъ никогда живости, истины. Не надобно думать, что одни великіе предметы могутъ воспламенять стихотворца и служить доказательствомъ дарованій его: напротивъ истинный поэтъ находитъ въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ поэтическую сторону». Намъ больше интересуется взглядъ Карамзина на общественный и политическій строй Европы, его отношеніе къ различнымъ философскимъ системамъ, господствующій характеръ его изданій.

Въ «Московскомъ Журналѣ» еще очень замѣтно соединялись отголоски прежняго масонскаго вліянія и новыя впечатлѣнія, навѣянные на Карамзина путешествіемъ по Европѣ. Филантропическое благодушіе сказывается во многихъ мѣстахъ знаменитыхъ «Писемъ»; но оно далеко отъ того, чтобы рѣзко осуждать несовмѣстный съ гуманизмомъ порядокъ вещей. «Я вездѣ видѣлъ—пишетъ Карамзинъ изъ Мейссена—благоденствіе, счастье и миръ. Птички, которыя порхали и плавали по чистому воздуху надъ головою моею, казались мнѣ блаженными тварями.... въ каждомъ поселянинѣ, идущемъ по лугу, видѣлъ я благополучнаго смерт-

наго, имѣющаго съ избыткомъ все то, что потребно чело-
вѣку. Онъ здоровъ трудами, думалъ я, веселъ и счастливъ
въ часъ отдохновенія, будучи окруженъ мирнымъ своимъ
семействомъ, сидя подлѣ вѣрной своей жены и смотря на
играющихъ дѣтей своихъ». Но радуясь этому благоденствію,
Карамзинъ не забывалъ сѣтовать, что «въ Лифляндіи или
въ Эстляндіи мужикъ приноситъ господину вчетверо болѣе
нашего казанскаго или симбирскаго». Лопухинъ, какъ из-
вѣстно, тоже отстаивалъ въ принципѣ крѣпостное право,
нужное, по его мнѣнію, «для обузданія народа», хотя и
желалъ видѣть крестьянъ благоденствующими. Мечты о зо-
лотомъ вѣкѣ, оставшемся назади, — соединеніе Руссо съ
Юнгомъ Штиллингомъ, — также замѣтны въ «Письмахъ».
«Ахъ, милые друзья мои! восклицалъ нашъ путешествен-
никъ, выпивая воду, поданную ему пастухомъ,—для чего
не родились мы въ тѣ времена, когда всѣ люди были па-
стухами и братьями? Я съ радостью отказался бы отъ мно-
гихъ удобностей жизни, которыми обязаны мы просвѣще-
нію дней нашихъ, чтобъ возвратиться въ первобытное со-
стояніе челоѣка». Сюда же относятся идиллическія поже-
ланія автора: «построить себѣ хижину, на голубой Юрѣ» и
удалиться отъ суетнаго челоѣческаго общества. На вопросъ
Виланда, къ которому нашъ туристъ ворвался почти насиль-
но и былъ встрѣченъ сначала весьма сухо,—на вопросъ этого
поэта: «скажите, потому что я начинаю вами интересоваться,
что у васъ въ виду?» Карамзинъ отвѣчалъ: «тихая жизнь!»
Но рядомъ съ остатками піетистическаго взгляда на вещи,
мы замѣчаемъ въ Карамзинѣ и новыя стремленія, уже не
укладывавшіяся въ рамки масонскихъ требованій. Любовь

къ европейскому просвѣщенію, вѣра въ мысль и почти страстное ея обожаніе въ лицѣ тогдашнихъ представителей науки и поэтического творчества—это черта новая, которую Карамзинъ не могъ заимствовать изъ общества масоновъ, невѣжественно отвергавшихъ всѣ новѣйшія открытія въ химіи и астрономіи. Съ точен зрѣнія масона было бы предосудительно хвалить переводъ естественной исторіи Бюффона и рекомендовать вообще строгое изученіе законовъ природы, какъ это дѣлалъ Карамзинъ въ своемъ журналѣ. Правда, что въ то же время онъ печаталъ статьи изъ «Психологическаго магазина» Морица въ родѣ «Чуднаго Сна» и т. п., но эта непоследовательность показываетъ только, что человѣку не легко отказаться отъ прежнихъ убѣжденій, привитыхъ въ молодости. Скоро послѣ того Карамзинъ отрекся и отъ своей утопіи о золотомъ вѣкѣ, который обходился, будто бы, безъ науки и развитой общественной жизни. Противъ религіознаго фанатизма Карамзинъ высказываетъ мысль, что главная заслуга Вольтера въ томъ и состоитъ, что «онъ распространилъ взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ, и наиболѣе посрамилъ гнусное лжевѣріе, которому еще въ началѣ XVIII-го вѣка приносились кровавыя жертвы въ Европѣ». Но въ политическихъ вопросахъ Карамзинъ мало отошелъ отъ мнѣній масонскаго кружка, хотя и тутъ прорывались у него новыя взгляды или, лучше сказать, новыя симпатіи, весьма отличныя отъ прежнихъ.

Когда въ «Московскомъ Журналѣ» приходилось высказывать прямыя политическія мнѣнія, то издатель, не задумываясь, предпочиталъ всему абсолютную форму правленія, какъ

это видно изъ разбора повѣсти Хераскова: «Кадмъ и Гармонія» (№1). Въ этой повѣсти замѣчательна въ политическомъ отношеніи рѣчь Кадма къ ѳессалійскому народу о лучшемъ образѣ правленія. Кадмъ одинаково осуждаетъ и аристократію, и демократію въ управленіи государствомъ: «Вы предприимете,—говоритъ онъ,—составить единый ликъ царя изъ разныхъ членовъ нашего общества; уничтожая царя, — царскую силу и мощь изъ разныхъ частицъ слѣпить покушаетесь: трудное и едва ли возможное предпріятіе. Сліяніе разныхъ веществъ въ единую груду рѣдко твердымъ и прочнымъ тѣломъ бываетъ... Вы многихъ мучителей, а не единодушныхъ отцовъ и защитниковъ народныхъ устройте»... Ежели не-многое число избранныхъ вельможей вашихъ, о ѳессалійцы, отечеству вредно, то какимъ злосчастіемъ угрожается ваше царство, всѣмъ народомъ управляемое... Кто ваше благоденствіе устраивать будетъ? Вы сами! Какому суду поработиться чаете? Собственному своему! Кто вами будетъ начальствовать и кто начальникамъ вашимъ покоряться? Вы сами и начальниками, и повинующимися быть должныствуете! Странный образъ правительства. Но я изъясню мои мысли простыми ради васъ изреченіями. Вообразите, ежели бы земля наша, отвергнувъ солнечное сіяніе, сама себя освѣщать восхотѣла: въ какой бы мракъ она погрузилась? Еслибы члены наши, отрекшись отъ назначеннаго природой имъ долга, всѣ купно господствовать восхотѣли: долго ли бы тѣло наше въ цѣлости пребыть могло? Скоро бы оно разрушилось, а съ нимъ и члены его купно бы погибли. Каждое царство есть цѣлое тѣло, главу для управленія и прочіе члены для служенія имѣть долженствующее... Сія-то глава есть царь, са-

модержавствующій подданными. О, Θεσσαλίцы! почто не избираете царя самодержавнаго?» Къ этой тирадѣ рецензентомъ сдѣлано примѣчаніе: «кто не почувствуетъ убѣдительности сихъ разсужденій?» Но въ другихъ случаяхъ Карамзинъ увлекался юношескою впечатлительностью и нѣсколько бравировалъ установившіяся у насъ понятія о политической жизни. Къ Швейцаріи онъ чувствовалъ особенное пристрастіе. «Счастливые швейцары! — восклицалъ онъ торжественно—всякій ли день, всякій ли часъ благодарите вы небо за свое счастье? При всякомъ ли біеніи пульса благословляете вы свою долю, живя въ объятіяхъ прелестной натуры, подъ благодѣтельными законами братскаго союза, въ простотѣ нравовъ, и предъ однимъ Богомъ наклоняя гордую выю свою? Вся жизнь ваша есть пріятное сновидѣніе, и самая роковая стрѣла (т. е. стрѣла смерти) должна кротко влетать въ грудь вашу, не возмущаемую тиранскими стремленіями *). Къ числу либеральныхъ бутадъ принадлежитъ и слѣдующая эпитафія «Истинѣ», напечатанная въ № 5 «Московск. Журнала» за 1791 г. «Здѣсь лежитъ истина, дочь царя царей, суевѣріемъ, соблазномъ и чувственностью, злоупотребленіемъ власти, лѣнностью жрецовъ и хитростью политиковъ, легкомысліемъ историковъ, педантствомъ ученыхъ и глупостью народа умерщвленная, и здѣсь, въ нечистотѣ лжей, погребенная». Мы называемъ это бутадами, потому что платоническая любовь къ свободѣ, выраженная здѣсь, скоро улечути-

*; Впослѣдствіи, при отдѣльномъ изданіи своихъ сочиненій, Карамзинъ замѣнилъ эту фразу другою, болѣе мягкою: «роковая стрѣла должна кротко влетать въ грудь вашу, не возмущаемую свирѣпыми страстями».

лась въ авторѣ, да и въ самое это время не простиралась далѣе словъ. Нельзя забыть, что на глазахъ Карамзина разыгрывалась во Франціи революціонная драма; онъ видѣлъ даже участниковъ этой драмы, но нисколько не понималъ ея основныхъ мотивовъ. Въ одномъ и томъ же письмѣ (изъ Франкфурта, 29 іюля) онъ выхвалялъ республиканскій героизмъ Фіаски, главнаго дѣйствующаго лица въ трагедіи Шиллера, и отзывался съ пренебреженіемъ о «парижскихъ сценахъ». Сущность переворота: недовольство народа, порывъ къ свободѣ цивилизованныхъ классовъ были непонятны для любознательнаго путешественника, который о бархатной шапочкѣ Лафатера говорилъ съ бѣльшею охотой и подробностью, чѣмъ о событіи міровой важности, совершавшемся, такъ сказать, у него на глазахъ. «Вездѣ въ Эльзасѣ, пишетъ Карамзинъ, примѣтно волненіе. Цѣлыя деревни вооружаются, и поселяне пришиваютъ кокарды къ шляпамъ. Почтмейстеры, почтальоны, бабы говорятъ о революціи. А въ Стразбургѣ начинается новый бунтъ. Весь здѣшній гарнизонъ взволновался. Солдаты не слушаются офицеровъ, пьютъ въ трактирахъ даромъ, бѣгаютъ съ шумомъ по улицамъ, ругаютъ своихъ начальниковъ и пр. Въ глазахъ моихъ толпа пьяныхъ солдатъ остановила ѣхавшаго въ каретѣ прелата и принудила его пить пиво изъ одной кружки съ его кучеромъ за здоровье націи. Прелатъ поблѣднѣлъ отъ страха и трепещущимъ голосомъ повторялъ: *mes amis, mes amis!* — *Oui, nous sommes vos amis*, кричали солдаты: пей же съ нами! Крикъ на улицахъ продолжается почти непрерывно. Но жители затыкаютъ уши и спокойно отправляютъ свои дѣла». Однажды случилось ему наткнуться на одного

эмигранта, кавалера св. Людовика, выгнаннаго изъ помѣстья «бунтующими поселянами»;—не заботясь составить себѣ понятіе о цѣломъ ходѣ событій и о томъ, что такое были тогда французскіе «поселяне», онъ находитъ здѣсь только случай для сантиментальныхъ изліяній о «кавалерѣ»... Но проѣзжая изъ Берна въ Лозанну, недалеко отъ городка Муртена, Карамзинъ увидѣлъ памятникъ побѣды швейцарцевъ надъ Карломъ Смѣлымъ. Сочувствуя угнетеннымъ, онъ рассказываетъ историческое событіе, какъ «кровожаждущій тиранъ вознамѣрился покорить жителей Гельвеціи и гордость независимыхъ смирить желѣзнымъ скипетромъ тиранства», и выражаетъ сожалѣніе лишь о томъ, что трофей побѣды такъ дорого обошелся человечеству *). «Сокройте, сокройте, говорилъ нашъ туристъ, сей памятникъ варварства! Гордись именемъ швейцара, не забывайте благороднѣйшаго своего имени—имени человѣка».

Человѣческое достоинство, независимо отъ случайностей происхожденія, общественнаго положенія, даже національности, само по себѣ имѣло цѣну для Карамзина; создавъ себѣ космополитическій идеалъ человѣка, просвѣщеннаго единою, общею всѣмъ наукою, онъ оправдывалъ европеизмъ петровской реформы и написалъ даже слѣдующую замѣчательную филиппику противъ невѣжества древней Руси: «Мы не таковы, какъ брадатые предки наши—тѣмъ лучше. Грубость наружная и внутренняя, праздность, скука были ихъ долею и въ самомъ высшемъ состояніи: для насъ открыты всѣ пути къ утонченію разума и къ благороднымъ душевнымъ удовольствіямъ. Все народное ничто предъ че-

*) Этотъ памятникъ состоялъ изъ костей убитыхъ воиновъ, обнесенныхъ желѣзною рѣшеткою.

ловѣческимъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ, и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ». Извѣстно, какъ далеко Карамзинъ отступилъ отъ этого взгляда въ послѣдствіи, въ своей статьѣ: «О древней и новой Россіи», и какъ строго осудилъ онъ Петра за крутость реформы, будто бы лишившей Россію самобытности національнаго развитія.

Отдѣлъ критики, хотя онъ и былъ въ «Московскомъ Журналѣ», и въ немъ попадались статьи, рѣзко выдѣлявшіяся своимъ здравымъ взглядомъ на искусство (какъ напр. статья о драмѣ Лессинга: «Эмилія Галотти»), въ сущности не имѣлъ однако того значенія, какое онъ приобрѣлъ позднѣе, при болѣе послѣдовательныхъ и выдержанныхъ направленіяхъ журналистики. Самое существованіе такого отдѣла было до нѣкоторой степени контрабандою, ибо, по взгляду того времени, критическія статьи «по правиламъ чести (!) должны быть сообщаемы писателямъ прежде изданія въ свѣтъ ихъ сочиненій, а не тогда уже, когда правительство терпитъ ихъ печатаніе» (см. проектъ Богдановича о «заведеніи общества руссійскихъ писателей»). Занимательное столкновеніе произошло по поводу разбора книги О. Туманскаго: «Палефатовы сказанія». Этотъ Туманскій, самъ писатель и журналистъ (въ 1792 г. онъ издавалъ «Россійскій магазинъ», а прежде того «Зеркало свѣта» и «Лѣкарство отъ скуки и заботъ»), перевелъ Палефатовы комментаріи къ мифамъ классической древности и присовокупилъ къ нимъ свои собственныя примѣчанія въ такомъ родѣ: «волокита Юпитеръ, онъ же и божекъ, прошелъ сквозь пото-

ложъ золотымъ дождемъ — ай деньги! не божеской ли вы крови?» и т. п. Безтолковыя прибавки, тяжелый слогъ, испещренный славянскими словами, были ему указаны рецензентомъ, скрывшимся подъ буквами В. П. (кажется, Подшиваловъ). Туманскій обидѣлся этою рецензіей и въ своей антикритикѣ говорить: «Судей есть два рода: отъ властей опредѣляемые или избираемые (авторъ былъ избранъ депутатомъ отъ петербургскаго дворянства при составленіи родословной книги). Не принадлежащіе къ симъ двумъ суть самозванцы. Не судите, да не судими будете. Въ разсужденіи выдаваемыхъ сочиненій и переводовъ, въ разныхъ государствахъ нѣкоторыя ученые общества согласились объявлять публикѣ свои мнѣнія. Собраніе ученыхъ, конечно, здравѣе судить можетъ, нежели одинъ человѣкъ, обуреваемый страстію гордости, самомнѣнія, зависти и пр. Но и самыя сія общества весьма часто ошибаются въ ихъ сужденіяхъ, какъ то опытъ разныхъ вѣковъ доказалъ. Частныхъ людей сужденія, въ газетахъ, журналахъ и пр. сообщаемыя, никогда отъ людей умныхъ уважаемы не были; извѣстно, что они за подарки и стощеваютъ хвалы; по пристрастію, самолюбію, личной ссорѣ или зависти выискиваютъ всѣ способы унижить труды чуждые... Умные, не для самолюбія, но для пользы наукъ трудящіеся (люди) чтутъ сотрудниковъ товарищами и стараются ихъ погрѣшности исправлять или сообщеніемъ своихъ примѣчаній въ письмахъ, или въ сочиненіяхъ печатныхъ, о которыхъ они увѣрены, что будутъ въ рукахъ того, чьего они желаютъ исправленія, или съ кѣмъ въ недоумѣніяхъ объясниться хотятъ, и все сіе дѣлаютъ съ наблюденіемъ учтивости». Съ мнѣніемъ Туманскаго, —

которое сильно напоминает мнѣніе Ломоносова «о должности журналистовъ», — Карамзинъ, конечно, не согласился, и въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ къ этой антикритикѣ доказываетъ, что не всѣ же рецензенты «за подарки истощеваютъ хвалы», что Лессингъ и Мендельсонъ, бесспорно замѣчательные люди, честно судили о книгахъ, что критика много содѣйствовала развитію нѣмецкой литературы, что, наконецъ, никакой неучтивости нѣтъ въ рецензіи «Московского Журнала». Но всѣ эти доводы врядъ ли убѣдили раздраженнаго переводчика, осуждавшаго съ такимъ апломбомъ самую возможность литературной критики.

VI.

Карамзинъ, какъ издатель «Вѣстника Европы». — Политическіе взгляды этого журнала: осужденіе французской революціи, похвалы Бонапарту и т. п. — Отношеніе Карамзина къ Швейцаріи, Англіи и Америкѣ. — Оцѣнка внутреннихъ событій. — Взглядъ на обязанности критики. — Значеніе «Вѣстника Европы» въ исторіи русской журналистики.

Издавъ послѣднюю книжку «Аонидъ», Карамзинъ оставался нѣкоторое время въ бездѣйствіи, пока измѣнившіяся обстоятельства не расширили опять въ Россіи круга литературной дѣятельности. Мудрено было бы ему, въ самомъ дѣлѣ, издавать журналъ или даже литературный сборникъ въ то время, когда дѣйствовалъ указъ 18 апрѣля 1800 г. о невывозѣ изъ-за границы не только книгъ, но даже и нотъ. Но въ 1802 г. Карамзинъ увлекся потокомъ новыхъ событій, давшихъ сильный толчокъ русской мысли, и снова вступилъ

на журнальное поприще съ «Вѣстникомъ Европы» (выход. въ Москвѣ 2 раза въ мѣсяцъ). Въ этомъ журналѣ появился впервые правильный «политическій отдѣлъ», въ которомъ издатель рассказывалъ связно и подъ извѣстнымъ угломъ зрѣнія внѣшнія политическія событія, а также иногда касался, въ подробныхъ статьяхъ, происходившихъ внутри государства перемѣнъ. Кромѣ политическаго отдѣла, въ журналѣ помѣщались беллетристическія произведенія съ врезаннымъ сантиментальнымъ оттѣнкомъ, къ которому примѣшивается частица назидательности (какъ напр. въ повѣсти: «Вольнодумство и набожность»), разные анекдоты, почерпнутые изъ иностранныхъ журналовъ, преимущественно политическаго содержанія, біографическія статьи о Вольтерѣ, Дидро и пр. Чтобы уяснить себѣ политическіе взгляды «Вѣстника Европы», припомнимъ нѣсколько строй европейскихъ событій того времени. Франція, подчинившись игу военного деспотизма, начала понемногу и въ другой формѣ воскрешать то, что было убито въ ней широко развившейся революціонною пропагандой: возстановленіе католической религіи, пожизненное консульство Бонапарта и новая конституція, о которой Неккеръ въ своей брошюрѣ сказалъ, что она скоро замѣнится другою, новѣйшей; стѣсненіе свободной печати, начинавшаяся полицейская карьера Фуше—вотъ новыя факты, внесенныя въ европейскій политическій міръ возникавшимъ господствомъ Наполеона. Политическія событія внѣ Франціи, о которыхъ приходилось говорить Карамзину, были очень разнообразны: устройство цизальпинской республики, междоусобія швейцарскихъ кантоновъ, возстаніе Туссенъ-Лувертюра въ Сень-Доминго (по этому случаю рассказана біографія знаме-

нутаго негра), паденіе Венеціанской республики и пр. и пр. На всѣ эти событія Карамзинъ проводитъ взглядъ, который можно резюмировать слѣдующимъ образомъ: издатель «Вѣстника Европы» цѣнилъ выше всего сохраненіе *statu quo*, покорную преданность закону и власти; онъ допускаетъ общественный прогрессъ, развитіе мысли, только въ этихъ опредѣленныхъ рамкахъ, не одобряя никакихъ радикальныхъ перемѣнъ. «Революція—говоритъ Карамзинъ въ статьѣ «Пріятные виды, надежды и желанія нынѣшняго времени» — объяснила идеи: мы увидѣли, что гражданскій порядокъ священъ даже въ самыхъ мѣстныхъ или случайныхъ недостаткахъ своихъ; что власть его есть для народовъ не тиранство, а защита отъ тиранства; что, разбивая сію благодѣтельную эгиду, народъ дѣлается жертвою ужасныхъ бѣдствій, которыя несравненно злѣе всѣхъ обыкновенныхъ злоупотребленій власти... Съ половины XVIII вѣка всѣ необыкновенные умы страстно желали великихъ перемѣнъ и новостей въ учрежденіи обществъ; всѣ они были въ нѣкоторомъ смыслѣ врагами настоящаго, теряясь въ лестныхъ мечтахъ воображенія. Вездѣ обнаруживалось какое-то внутреннее неудовольствіе; люди скучали и жаловались отъ скуки; видѣли одно зло и не чувствовали цѣны блага. Проницательные наблюдатели ожидали бури; Руссо и другіе предсказали ее съ разительною точностью; громъ грянулъ изъ Франціи... мы видѣли издали ужасы пожара, и всякій изъ насъ возвратился домой благодарить небо за цѣлость крова нашего и быть разсудительнымъ. Теперь всѣ лучшіе умы стоятъ подъ знаменами властителей и готовы только способствовать успѣхамъ настоящаго порядка вещей, не думая о новостяхъ. Никогда со-

гласіе ихъ не бывало столь явнымъ, искреннимъ и надежнымъ. Съ другой стороны правительства чувствуютъ важность сего союза и общаго мнѣнія, нужду въ любви народной, необходимость истребить злоупотребленія. Почти на всѣхъ тронахъ Европы видимъ юныхъ государей, дѣятельныхъ и ревностныхъ къ общему благу. Революція была злословіемъ свободы; правительства, не хвалясь именемъ, дозволяютъ гражданамъ пользоваться всѣми ея выгодами, согласными съ основаніемъ и порядкомъ общества. Революція обѣщала равенство состояній; государи, вмѣсто сей химеры, стараются, чтобы гражданинъ во всякомъ состояніи былъ доволенъ, чтобы ни которое не было презрительнымъ или угнетеннымъ. Будемъ справедливы: гдѣ теперь добрый человѣкъ не можетъ наслаждаться безопасностью? Свирѣпствуетъ ли гдѣ нибудь тиранство въ Европѣ, если исключимъ Турцію? Не вездѣ ли обѣщаютъ наукамъ покровительство? Не вездѣ ли начальства желаютъ способствовать успѣхамъ воспитанія и просвѣщенія, которое есть не только источникъ многихъ удовольствій въ жизни, но и самой благородной нравственности, которое образуетъ мудрыхъ министровъ, достойныхъ орудій правосудія, сыновъ отечества въ семействахъ, рождая чувства патріотизма, чести, народной гордости, и безъ котораго люди служатъ только одному идолу подлой корысти. Государи, вмѣсто того, чтобы осуждать разсудокъ на безмолвіе, склоняютъ его на свою сторону». Въ другой статьѣ читаемъ: «Уже прошли тѣ блаженные и вѣчной памяти достойныя времена, когда чтеніе книгъ было исключительнымъ правомъ нѣкоторыхъ людей; уже дѣятельный разумъ во всѣхъ состояніяхъ, во всѣхъ земляхъ чувствуетъ нужду въ позна-

ніяхъ и требуетъ новыхъ, лучшихъ идей; уже всѣ монархи въ Европѣ считаютъ за долгъ и славу быть покровителями ученія. Министры стараются слогомъ своимъ угождать вкусу просвѣщенныхъ людей. Придворный хочетъ слыть любителемъ литературы; судья читаетъ и стыдится прежняго непонятнаго языка Оемиды; молодой свѣтскій человекъ желаетъ имѣть знанія, чтобы говорить съ пріятностью въ обществѣ и даже при случаѣ философствовать» («Письмо къ издателю», № 1). Тутъ Карамзинъ, съ одной стороны, осуждаетъ революцію, а съ другой—признаетъ косвенную пользу отъ нея въ созданіи того «общаго мнѣнія», которому подчиняются даже государи, въ выработкѣ тѣхъ «новыхъ, лучшихъ идей», которыя пущены ею въ общественный оборотъ. Но эта косвенная польза признается имъ неохотно и болѣе вытекаетъ изъ его словъ по соображенію упомянутыхъ обстоятельствъ, нежели выставляется имъ на видъ; въ прямыхъ же выраженіяхъ Карамзинъ только осуждаетъ, и притомъ очень строго, всѣ рѣзкія общественныя движенія и слишкомъ уже преувеличиваетъ достоинства «порядка», каковъ бы онъ ни былъ. «Бонапарте—говоритъ онъ напр.—заслуживаетъ признательность французовъ и почтеніе всѣхъ людей, умѣющихъ цѣнить чрезвычайныя дѣйствія геройства и разума. Его внѣшняя политика и внутреннее управленіе достойны удивленія не менѣе маренгской побѣды. Франція, осыпанная дарами щедрой природы, земля столь многолюдная и богатая промышленностью своихъ жителей, конечно, скоро загладитъ бѣдственныя слѣды революціи, наслаждаясь тишиною подъ эгидою дѣятельнаго и благоразумнаго правленія, которое печется о мудрой системѣ гражданскихъ за-

коновъ, о воспитаніи, объ успѣхѣ наукъ, художествъ, торговли, слѣдовательно о важнѣйшихъ частяхъ государственнаго благополучія. Французы хотѣли прежде мечтательнаго равенства, которое дѣлало ихъ всѣхъ равно несчастливими; теперь, разрушивъ мечты, возстановивъ религію, столь нужную для сердца въ мірѣ превратностей, не менѣе нужную и для благоденствія государствъ, отличивъ достойнѣйшихъ гражданъ важнымъ правомъ избранія въ республиканскія должности (*par les listes de notabilité*) и чрезъ то уничтоживъ вредную для Франціи демократію, монархъ-консулъ оправдываетъ дѣло судьбы, которая возвела его изъ праха на такую степень величія».

Въ первой же книжкѣ «Вѣстника Европы» напечатаны были, съ цѣлью порицанія народныхъ движеній и восхваленія порядка, — двѣ переводныя статьи: «Письмо Алькивиада въ Периклу» и «Исторія французской революціи, избранная изъ латинскихъ писателей». Въ первой статьѣ Алкивиадъ, въ письмѣ въ своему родственнику Периклу, описываетъ свой сонъ: «Дорога раздѣлилась... Тамъ нѣсколько человѣкъ съ великимъ трудомъ всходили на крутую гору; тутъ безчисленное множество людей бѣжало по гладкому и широкому пути. «Куда»? спросилъ я у заднихъ. «Не знаемъ», отвѣчали они: «мы бѣжимъ за передними; другіе побѣгутъ за нами». Какое-то тайное движеніе сердца заставило меня идти вслѣдъ за ними. Вдругъ раздался голосъ: «здѣсь путь истины и свѣта!» Я бросился въ ту сторону; но неизвѣстный человѣкъ схватилъ меня за руку, сказалъ повелительнымъ голосомъ: «поди за мною!» и мы очутились въ дремучемъ лѣсу. Дорога исчезла. На каждомъ шагу встрѣчались намъ бѣдныя

странники, подобно намъ незнающіе пути. У нихъ также были вожатые, которые, не зная куда вести, съ горя дрались между собою. Изъ ихъ факеловъ сыпались искры; но онѣ болѣе ослѣпляли, нежели освѣщали насъ. Я слѣдовалъ то за однимъ, то за другимъ, и всякимъ былъ обманутъ. Одинъ говорилъ: «нашъ путь ведетъ къ безсмертію!» и мы, черезъ минуту, оба падали въ яму. Другой кричалъ: «со мной пройдешь всюду», и мы ударялись лбомъ въ мѣдную стѣну. Одинъ безпрестанно славилъ мнѣ пріятности златаго вѣка и совершеннаго равенства между людьми въ то самое время, когда я умиралъ отъ усталости, жажды и голода. Другой восклицалъ: «какъ блаженна независимость!» и требовалъ отъ меня слѣпаго повиновенія. Я лишился терпѣнія, отчаяніе овладѣло мною... Но Сократъ явился, и душа моя воскресла. «Ты видѣлъ часть нашихъ софистовъ», сказалъ онъ мнѣ съ улыбкою: «они не любятъ меня, ибо я люблю правду». Затѣмъ слѣдуетъ объясненіе различій между софистами и философами: «Имѣя умъ ограниченный, софисты говорятъ, что безконечное есть одна мечта. Не разумѣя тайнствъ природы, дерзостно отвергаютъ бытіе творца ея. Родясь въ недостаткѣ и бѣдности, проповѣдуютъ общественность имѣній... Философъ любитъ человѣчество и добродѣтель. Софистъ только хвалитъ добродѣтель и человѣчество. Философъ полагаетъ счастье въ томъ, чтобы служить отечеству, друзьямъ и родственникамъ; софистъ жертвуетъ родственниками, друзьями и отечествомъ для утвержденія имѣній своихъ. Философъ думаетъ, что религіи благотѣльны и что въ Индіи должно обожать Брамму, въ Эк-

батанѣ—Оромацеса, въ Финикіи—Адоная, въ Греціи—Зевса; софистъ говоритъ, что религіи вредны, и забывая, въ чемъ онѣ состоятъ, доказываетъ только вредъ грубаго суевѣрія. Философъ думаетъ, что быть хорошимъ гражданиномъ есть быть хорошимъ отцомъ, супругомъ, сыномъ. Софистъ утверждаетъ, что патріотизмъ долженъ истребить всѣ природныя склонности. Часто кричатъ софисты: «погибни міръ, но торжествуй система!» Философъ говоритъ: «еслибы всѣ истины были у меня въ рукѣ, то я побоялся бы разжать ее.» Надобно угождать народу, безпрестанно твердятъ софисты; надобно сдѣлать его благополучнымъ—говорятъ философы. Послушай софистовъ: Периклъ—тиранъ своего отечества. Послушай философовъ: Периклъ есть герой-благодѣтель народа своего. Послушай софистовъ: нѣтъ вольности безъ демократіи; послушай философовъ: нѣтъ демократіи безъ смятеній». Сократъ предупреждаетъ своего ученика, что слѣдуетъ «отличать людей отъ словъ ихъ, а софистовъ отъ философовъ, дабы возвратить философіи ту честь и славу, которую ложные мудрецы хотѣли у нея навѣкъ похитить». Въ «Исторіи французской революціи», написанной нѣсколькими французскими учеными, событія французской революціи описывались фразами, заимствованными изъ Тита Ливія, Патеркула и другихъ латинскихъ писателей. Въ этой странной мозаикѣ событія представлены въ самомъ мрачномъ и отталкивающемъ видѣ. Приступъ народа къ Тюльери описывается слѣдующимъ образомъ: «Всѣ ознаменованные безчестіемъ и стыдомъ; всѣ расточители отцовскаго наслѣдія; всѣ, выгнанные за гнусные пороки изъ отечества, стекались въ безпокойную столицу. Они произвели

мятежъ и, не имѣя начальника, устремились ко дворцу монарха. Вездѣ слышны были угрозы и стукъ оружія. Мятежники ворвались во дворецъ и умертвили внѣшнюю стражу. Между тѣмъ другіе хотятъ защитить царское жилище и съ новою ревностью сражаются; хотятъ подкрѣпить слабыхъ числомъ, но сильныхъ мужествомъ. Народъ остается свидѣтелемъ битвы и, какъ будто веселясь театральнымъ позорищемъ, ободряетъ то однихъ, то другихъ своими восклицаніями. Видя побѣжденныхъ, онъ съ великимъ крикомъ требовалъ, чтобы бѣгущіе преданы были смерти, и присвоивалъ себѣ добычу, оставляемую воинами, которые съ яростью занимались убійствомъ. Столица представляла ужасное зрѣлище» и т. д.

Въ своихъ взглядахъ на политическое значеніе французскаго переворота Карамзинъ видѣлъ не дальше другихъ рутинныхъ политиковъ своего времени. Подобные же взгляды высказывались въ то время и въ «Политическомъ журналѣ» Сохацкаго и Гаврилова. Тонъ этого изданія значительно измѣнился противъ первыхъ книжекъ 1790 года: прежде революція разсматривалась, какъ «крестовый походъ за свободу», теперь говорилось (1802 г. № 1): «Защитники французскаго переворота, при самомъ началѣ мнимой республики, обѣщались распространить свои анархическія правила по всѣмъ государствамъ. Ихъ приверженцы наводнили цѣлый свѣтъ, даже до Индіи, новымъ фанатизмомъ и магическими словами: вольность и равенство. Противъ сей пагубы рода человѣческаго вооружились европейскія державы, и не прежде заключенъ первый миръ, какъ по ниспроверженіи чудовища» и т. д. Статьи этого рода заимствовались преи-

мущественно, какъ въ «Вѣстникѣ Европы», такъ и въ «Политическомъ журналѣ»,—изъ Архенгольцовой Минервы.

Восхваляя Наполеона за рѣшительность, съ которой онъ подавилъ зачатки народной свободы, Вѣстникъ Европы не благоволилъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, ни къ свободной Америкѣ, ни къ Швейцаріи и Англіи. «Гордые британцы, въ чувствѣ своего величія, употребляютъ во зло превосходство своихъ силъ»; «сей деспотизмъ оскорблялъ всѣ народы въ теченіи послѣдней войны»—такія фразы часто мелькаютъ въ политическихъ приговорахъ объ Англіи. Въ № 15 Вѣстника Европы 1802 г., къ статьѣ: «Выборъ парламентскихъ членовъ въ Лондонѣ», сдѣлано примѣчаніе, что она «даетъ идею о порядкѣ избранія и забавныхъ сценахъ, которыя бывають при семъ случаѣ». Забавность состояла въ томъ, что у лорда Гарднера и Фокса оказался соперникомъ на выборахъ въ Вестминстерѣ—обойщикъ Граамъ. Этотъ Граамъ произнесъ очень неглупую рѣчь, надъ которой и насмѣялись вдоволь приверженцы Фокса. При описаніи швейцарскихъ смутъ, возникшихъ изъ нежеланія мелкихъ кантоновъ подчиниться конституціи, предписанной Наполеономъ, сказано: «Сія несчастная земля представляетъ теперь всѣ ужасы междоусобной войны, которая есть дѣйствіе личныхъ страстей, злобнаго и безумнаго эгоизма. Такъ исчезаютъ народныя добродѣтели! Онѣ, подобно людямъ, отживають свой вѣкъ въ государствахъ, а безъ высокой народной добродѣтели республика стоять не можетъ. Вотъ почему монархическое правленіе гораздо счастливѣе и надежнѣе; оно не требуетъ отъ гражданъ чрезвычайностей и можетъ возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падаютъ». Упадокъ Швей-

рія об'ясняется двумя причинами: 1) швейцарцы стали за деньги служить другимъ державамъ; 2) духъ торговли истощилъ въ нихъ гордую, исключительную любовь къ независимости. Въ № 24 (1802 г.) «Вѣстникъ» отчасти вступился за свободу Швейцаріи по поводу ареста Рединга, президента швейцарскаго сейма, но и при этомъ онъ отстаивалъ право Бонапарта ввести войско въ гельветическую республику «для сохраненія порядка и обузданія черни». Что касается американцевъ, то «Вѣстникъ Европы» упрекаетъ ихъ за духъ торговли (уже погубившій, по его мнѣнію, швейцарскую свободу), за страсть къ наживательству, за обманчивыя ласки, эгоистически оказываемыя полезнымъ людямъ, и еще за неумѣніе вести жизнь пріятно и весело. «Главное удовольствіе американцевъ—читаемъ здѣсь (1802 г. № 24)—есть сидѣть долго за столомъ по англійскому обычаю, ѣсть и не говорить ни слова до самой той минуты, какъ принесутъ на столъ бутылки. Женщины удаляются, и важные республиканцы, краснѣя отъ вина, дѣлаются краснорѣчивыми». О Вашингтонѣ говорится, что онъ «не умѣлъ (будучи президентомъ) пріятнымъ образомъ занимать людей, былъ сухъ и холоденъ, и походилъ своею важностью на какого нибудь азіатскаго царя». Въ повѣсти «Марѳа Посадница» (1803 г. № 1) Карамзинъ задумалъ опозитизировать судьбу новгородцевъ, но и тутъ остановился на полъ-дорогѣ, придѣлавъ къ повѣсти,—(кромѣ знаменитой рѣчи князя Холмскаго, въ которой говорится, что «народы дикіе любятъ необузданность, народы образованные—порядокъ»),—еще и такое предисловіе: «Мудрый Іоаннъ долженъ былъ для славы и силы отечества присоединить область новгородскую къ своей дер-

жавъ: хвала ему! Однакожь сопротивленіе новгородцевъ не есть бунтъ: они сражались за древніе свои уставы и права, данныя имъ отчасти самими великими князьями, напр. Ярославомъ, утвердителемъ ихъ вольности. Они поступили только безразсудно: имъ должно было предвидѣть, что сопротивленіе обратится въ гибель Новгороду, и благоразуміе требовало отъ нихъ охотной жертвы». Такой оговоркой авторъ отнялъ у своей повѣсти всякій оппозиціонный оттѣнокъ и обратилъ ее въ идиллическое мечтаніе о свободѣ, — совершенно пустое и безсодержательное.

Событія изъ внутренней жизни Россіи Карамзинъ разсматривалъ съ точки зрѣнія патріотической, выдвигая на видъ наиболѣе утѣшительныя изъ нихъ и стусневывая или совсѣмъ опуская изъ виду тѣ, которыя могли бы дать менѣе розовыя понятія о дѣйствительности. «Наши гражданскія учрежденія — читаемъ въ статьѣ: «о любви къ отечеству и народной гордости» (1802 г. № 4) — мудростью своею равняются учрежденіямъ другихъ государствъ, которыя нѣсколько вѣковъ просвѣщаются. Наша людскость, тонъ общества, вкусъ въ жизни удивляютъ иностранцевъ». «Россія сильна въ политическомъ отношеніи, писалъ Карамзинъ въ другой статьѣ (№ 11); ея внутреннее состояніе тоже удовлетворительно. Свѣтъ ума болѣе и болѣе стѣсняетъ темную область невѣжества въ Россіи; благородныя, истинно-человѣческія идеи болѣе и болѣе дѣйствуютъ въ умахъ; разумъ утверждаетъ права свои, и духъ россіянъ возвышается. Не только въ столицахъ, но и въ самыхъ отдаленныхъ губерніяхъ находимъ между благородными (т. е. между дворянами) достойныхъ членовъ государства, знающихъ его

потребности, судящихъ справедливо о людяхъ и дѣйствіяхъ. Наше среднее состояніе успѣваетъ не только въ искусствѣ торговли; но многіе изъ купцовъ спорятъ съ дворянами и въ самыхъ общественныхъ свѣдѣніяхъ. Кто изъ насъ не имѣлъ случая удивляться ихъ любопытству, здравому разсудку и патріотическимъ идеямъ». Переходя къ положенію крестьянскаго класса, Карамзинъ, не запинаясь, говоритъ: «Сельское трудолюбіе награждается нынѣ щедрѣе прежняго въ Россіи, и чужестранные писатели, которые безпрестанно кричатъ, что земледѣльцы у насъ несчастливы, удивились бы, еслибъ они могли видѣть такъ называемыхъ рабовъ, входящихъ въ самыя торговныя предпріятія, имѣющихъ довѣренность купечества и свято исполняющихъ свои коммерческія обязательства! Просвѣщеніе истребляетъ злоупотребленіе господской власти, которая и по самымъ нашимъ законамъ не есть тиранская и неограниченная. Россійскій дворянинъ даетъ нужную землю крестьянамъ своимъ, бываетъ ихъ защитникомъ въ гражданскихъ отношеніяхъ, помощникомъ въ бѣдствіяхъ случая и природы: вотъ его обязанности! За то онъ требуетъ отъ нихъ половины рабочихъ дней въ недѣлѣ! вотъ его права!» Далѣе Карамзинъ, чтобы не заслужить, по его собственнымъ словамъ, упрека въ преувеличиваніи хорошаго, указываетъ и на то, что должно еще сдѣлать мудрое правительство: 1) издать полное, методическое собраніе гражданскихъ законовъ; 2) позаботиться о воспитаніи юношества. То и другое было уже въ виду у правительства, и «Вѣстникъ Европы» съ восторженнымъ чувствомъ встрѣтилъ указъ о заведеніи гимназій и народныхъ училищъ. Восхваляя новый уставъ народнаго об-

разованія, Карамзинъ высказывалъ, между прочимъ, вѣрную мысль, что учрежденіе сельскихъ школъ для низшаго класса народа несравненно полезнѣе всѣхъ лицеевъ и послужить «истиннымъ основаніемъ государственнаго просвѣщенія». При этомъ онъ забывалъ только или не хотѣлъ понять, въ какомъ противорѣчій находится столь желаемое имъ просвѣщеніе народа съ принципомъ крѣпостнаго права. По случаю заведенія благородныхъ пансіоновъ въ Россіи, въ «Вѣстникѣ Европы» (1802 г. № 8) напечатано было письмо изъ Т., въ которомъ говорилось: «Душа правленія нигдѣ такъ быстро не дѣйствуетъ, нигдѣ благотворныя его намѣренія такъ скоро не исполняются, какъ въ монархіяхъ. Едва Александръ I объявилъ желаніе, достойное прекрасной души его, желаніе способствовать просвѣщенію въ Россіи и спасительнымъ успѣхамъ воспитанія, — уже во всѣхъ главныхъ городахъ нашихъ видимъ заводимыя благородныя училища съ тою ревностью, которая всегда отличала счастливыхъ подданныхъ добродѣтельнаго государя». Здѣсь же разсказывается характерный случай, какъ бѣдная мать-дворянка, одѣтая въ крестьянское платье, явилась къ губернатору, прося принять въ училище двухъ дѣтей ея. Губернаторъ «плакалъ отъ чувствительности», и мальчѣки были приняты. Затѣмъ «благородныя дѣти (которыя до открытія училища жили у губернатора) окружили своихъ новыхъ товарищей и смотрѣли на нихъ дико; но услышавъ, что они, подобно имъ, дворяне, и несчастливы своею бѣдностію, бросились цаловать ихъ и непременно хотѣли раздѣлить съ ними все, что имѣли». Въ этой же статьѣ изыскиваются мѣры, какъ бы замѣнить иностранныхъ учителей мѣщанскими дѣтьми,

воспитанными (по плану Екатерины II) въ кадетскихъ корпусахъ, ибо порядочныхъ иностранцевъ совсѣмъ нѣтъ, за исключеніемъ тѣхъ легитимистовъ, которые «выброшены въ намъ волнами революціи»; всѣ же остальные—предатели и, уѣхавъ изъ Россіи, бранятъ ее. Авторъ хотѣлъ было даже сдѣлать выписку изъ одного сочиненія, въ которомъ русскіе обруганы заѣзжимъ иностранцемъ; но вспомнивъ вѣроятно, что чтеніе запрещенныхъ книгъ недозволительно само по себѣ, добавляетъ: «мнѣ совѣстно, что я имѣлъ любопытство читать такую книгу, и не хочу въ нее снова заглядывать».

Манифестъ объ образованіи министерствъ и указъ «о правахъ и должностяхъ сената» были встрѣчены въ «Вѣстникѣ» съ неменьшимъ сочувствіемъ. «Кто не увѣренъ—говорилось при этомъ — въ патріотической ревности сихъ достойныхъ мужей, возвеличенныхъ именемъ министровъ Россіи, державы, которая никогда не была столь близка къ исключительному первенству въ цѣломъ свѣтѣ, какъ нынѣ?.. Славный путь дѣятельности открывается для всякаго изъ нихъ! Способствовать утвержденію мудрой политической системы въ Европѣ, торжеству святаго правосудія внутри имперіи, благоустройству во всѣхъ частяхъ ея, мирнымъ искусствамъ гражданственности и народному просвѣщенію, котораго одно имя столь любезно душѣ благородной и безъ котораго нѣтъ ни славы, ни величія, ни морали въ государствахъ—какія обязанности! Не одна Франція должна вѣчно хвалиться Сюліями и Кольбертами, не одна Данія должна прославлять своихъ Бернсдорфовъ — министровъ, которые считали свои кабинеты за преддверіе храма славы и, подписывая бумаги, думали, что они подписываютъ обществен-

ный приговоръ въ судилищѣ исторіи: ибо мудрые и ревностные министры раздѣляютъ безсмертіе съ великими государями. Здѣсь любовь и почтеніе согражданъ, а тамъ славное имя. Уже прошло то время въ Россіи, когда одна милость государева, одна мирная совѣсть могли быть наградою добродѣтельнаго министра въ теченіе его жизни: умы созрѣли въ счастливый вѣкъ Екатерины II, и россияне чувствуютъ достоинство знаменитыхъ патріотовъ, цѣну ихъ усердія къ отечеству и монарху, цѣну чистой добродѣтели; теперь лестно и славно заслужить, вмѣстѣ съ милостью государя, и любовь просвѣщенныхъ россиянь. Читая указъ о правахъ и должностяхъ сената, россиянинъ благоговѣтъ въ душѣ своей предъ симъ верховнымъ мѣстомъ имперіи, которое никакому правительству въ мірѣ не можетъ завидовать въ величіи, будучи храмомъ вышняго правосудія и блюстителемъ законовъ, столь священныхъ нынѣ въ Россіи. Сей указъ напоминаетъ намъ славное начало сената, когда первый императоръ Россіи, побѣдивъ Швецію и приготовляясь къ новой, не менѣе опасной войнѣ, основалъ его, какъ спасительный колоссъ власти въ столицѣ государства, и съ торжественными обрядами самъ повелъ сенаторовъ къ алтарю Всевышняго клясться предъ лицомъ Россіи, что они будутъ вѣрными государю и государству, правдѣ и совѣсти «до послѣдняго издыханія силы, памятуя будущій престолъ и на немъ сидящаго въ день страшнаго испытанія»:—клятва великая и святая, которою сенаторъ навсегда обрекается быть живымъ органомъ государственной добродѣтели и дѣлается въ глазахъ каждаго россиянина истинно-знаменитымъ сыномъ

отечества, ибо великія обязанности дѣлають человека знаменитымъ, предполагая въ немъ особенную силу или добродѣтель для ихъ выполненія».

Вѣроятно не безъ задней мысли, черезъ нѣсколько книжекъ по напечатаніи статьи о министерствахъ, появилась въ «Вѣстникѣ Европы» слѣдующая басенка (И. И. Дмитріева). Одинъ царь размышлялъ о трудности правленія, о препятствіяхъ, отовсюду поставляемыхъ его благимъ цѣлямъ:

Нѣтъ хуже нашего, онъ мыслилъ, ремесла!

Желалъ бы дѣлать то, а дѣлаешь другое:

Я всей душой хочу, чтобъ у меня цвѣла
Торговля, чтобъ народъ мой ликовалъ въ покоѣ —
А принужденъ вести войну,
Чтобъ защищать мою страну.

Я поданныхъ люблю (свидѣтели въ томъ боги!)

А долженъ прибавлять еще на нихъ налоги;

Хочу знать правду — всѣ мнѣ лгутъ!
Бояре лишь чины берутъ,
Народъ мой стонетъ, я страдаю,
Совѣтуюсь, тружусь — никакъ не успѣваю!

Полсвѣта властелинъ, не веселюсь ничѣмъ!

Въ такихъ размышленіяхъ встрѣчаетъ онъ пастуха, который выбивается изъ силъ, чтобы охранить свое стадо отъ волковъ, тогда какъ сытые псы спокойно лежатъ подъ тѣнью.

Вотъ точный образъ мой! сказалъ самовластитель.

Итакъ, и смиреннѣйшихъ животныхъ охранитель

Такими жъ, какъ и мы, напастями окруженъ,
И онъ, какъ царь, порабощенъ.

Увидавъ другое стадо, охраняемое вѣрными собаками, царь спрашиваетъ у пастуха: какъ могъ онъ уберечь свое стадо, когда лѣса полны волковъ? и получаетъ въ отвѣтъ: «тутъ хитрости не надо:—я выбралъ добрыхъ псовъ» (Вѣстн. Евр. 1802 г., № 23).

Сочувствуя уничтоженію «тайной экспедиціи», прославлен-

ной подвигами Шешковскаго, Карамзинъ напечаталъ,—тоже не безъ умысла,—въ № 6 «Вѣстника Европы» 1803 г. статью о тайной канцеляріи, въ которой опровергается мнѣніе Татищева и Шлецера, что такая канцелярія (въ смыслѣ инквизиціонномъ) была впервые устроена при Алексѣѣ Михайловичѣ. Секретная канцелярія дѣйствительно существовала но это была частная (privée) канцелярія, управлявшая имѣньями царя. При этомъ авторъ доказываетъ, что Алексѣй Михайловичъ и не нуждался въ инквизиціи: «Какъ! царь Алексѣй Михайловичъ, добрый и челоуѣколюбивый, основалъ страшное судилище? и для чего? какія чрезвычайныя опасности и заговоры могли оправдать сіе учрежденіе? Въ царствованіе славное и кроткое подняло голову чудовище? при государѣ, котораго бояре русскіе окружали съ любовью и почтеніемъ, ибо онъ не казнилъ и не душилъ ихъ, подобно Ивану Васильевичу, не боялся ихъ, подобно Годунову?» По мнѣнію автора, тайная канцелярія, какъ пыточный застѣнокъ, устроена была Петромъ I, котораго «жестокія обстоятельства (именно противодѣйствіе заговорщиковъ) заставили прибѣгнуть къ жестокому средству». «Я видѣлъ, продолжаетъ авторъ, глубокія ямы, гдѣ сидѣли несчастные; видѣлъ желѣзныя рѣшетки въ маленькихъ окнахъ, сквозь которыя проходилъ свѣтъ и воздухъ для сихъ государственныхъ преступниковъ. Воспоминаніе, конечно, горестное; но въ ту же самую минуту вы произносите имя Александра, и сердце ваше отдыхаетъ! Еслибы кто нибудь въ царствованіе Александра могъ быть еще недоволенъ (но мы для одной риторической фигуры предполагаемъ сію возможность),—то я желалъ бы въ лѣтній вечеръ сводить его въ Преображенское».

Критическаго отдѣла совсѣмъ не было въ «Вѣстникъ Европы»: кажется, что, наученный опытомъ «Московского Журнала», Карамзинъ исключилъ рецензіи, какъ слишкомъ хлопотливое и неблагодарное дѣло. Кромѣ того, онъ могъ имѣть въ виду, что отсутствіе подобныхъ статей не будетъ потерей для большинства читателей, смотрѣвшихъ на критику, какъ на пустое пересмѣиванье и зубоскальство. Въ «Письмѣ къ издателю» (№ 1) и въ статьѣ «О книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи» (№ 9) проводится даже мысль, что нечего осуждать и плохую книгу при ограниченномъ количествѣ всѣхъ выходящихъ книгъ, что бездарная книга—ничтожное зло, и что нужно поощрять у насъ литературную дѣятельность, а не запугивать писателей жесткими приговорами. «Кто плѣняется Никаноромъ, злосчастнымъ дворяниномъ,—говорится во второй изъ этихъ статей,—тотъ на лѣстницѣ умственнаго и моральнаго образованія стоитъ еще ниже его автора и хорошо дѣлаетъ, что читаетъ сей романъ, ибо, безъ всякаго сомнѣнія, чему нибудь научится или въ мысляхъ, или въ ихъ выраженіи. Какъ скоро между авторомъ и читателемъ великое разстояніе, то первый не можетъ сильно дѣйствовать на послѣдняго, какъ бы онъ уменъ ни былъ. Надобно всякому что нибудь поближе: одному Ж. Ж. Руссо, другому — Никанора. Какъ вкусъ физическій увѣдомляетъ о согласіи пищи съ нашею потребностью, такъ вкусъ моральный открываетъ человѣку аналогію предмета съ его душою».

Журналы Карамзина, преимущественно «Вѣстникъ Европы», играли важную роль въ исторіи русской журналистики.

Объ этой роли нельзя судить съ точки зрѣнія настоящаго: тѣ непослѣдовательности и невѣрные взгляды, которые такъ бросаются намъ теперь въ глаза, не были признаны и отжиты; многое, что теперь кажется уже отсталостью, полвѣка тому назадъ было значительнымъ прогрессомъ. До Карамзина у насъ, вмѣсто настоящей журналистики, въ принятомъ смыслѣ этого слова, были: оффиціальныя изданія, академическіе сборники, имѣвшіе характеръ скорѣе учебниковъ, чѣмъ общественныхъ органовъ; наконецъ, болѣе или менѣе выдающіеся сатирическіе листы, возстававшіе, — и то случайно и мелко, — на отдѣльные недостатки русской жизни. Карамзинъ же былъ первымъ журналистомъ, подводившимъ какъ русскія, такъ и иностранныя событія подъ мѣрило одного общаго воззрѣнія, первымъ частнымъ человекомъ, который пріобрѣлъ этимъ путемъ извѣстное вліяніе на публику, безъ оффиціальной поддержки и какаго бы то ни было казеннаго штемпеля. Собираясь писать русскую исторію, Карамзинъ съ твердостью указывалъ на свои журнальныя заслуги тогдашнему товарищу министра народнаго просвѣщенія, и изъ цифры его годоваго дохода (6 тысячъ рублей) видно, что публика оказывала ему не только нравственную, но и матеріальную поддержку — вопросъ тоже немаловажный въ исторіи развитія журналистики *). Нѣтъ спора, что взгляды Карамзина были довольно дюжинные, а его отзывы гораздо скромнѣе иныхъ рѣзкихъ обличеній литературы екатерининскаго періода; но не надо забывать,

*) Въ первый годъ «Московского Журнала» у него было только 300 подписчиковъ, и врядъ ли даже онъ приносилъ барышъ издателю. У «Вѣстника Европы» подписчиковъ было уже гораздо больше.

что эти взгляды ближе подходили къ умственному уровню публики. Его піэтизмъ былъ несравненно искреннѣе того задорнаго, но пустаго кощунства, образчикъ котораго мы находимъ въ разсказѣ Фонъ-Визина о двухъ унтеръ-офицерахъ гвардіи, спорившихъ въ гостинномъ дворѣ о бытіи Божіемъ (см. «Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ моихъ и помышленіяхъ»). Можно прямо сказать, что въ журналахъ Карамзина тогдашніе образованные люди находили не только тѣ факты, которые ихъ интересовали, но и тѣ воззрѣнія, которыя были имъ всего больше по вкусу. Все это излагалось притомъ легкимъ, простымъ языкомъ, понятнымъ для каждаго безъ особенныхъ усилій. Эта доступность воззрѣній Карамзина, эта золотая умѣренность, при всѣхъ своихъ теоретическихъ недостаткахъ, способствовала тому, что всѣ читатели невольно мирились на его журналъ, и ни одного изъ нихъ не отталкивалъ онъ отъ себя суровымъ словомъ или крайнимъ, строго выработаннымъ міросозерцаніемъ. «Какъ скоро между авторомъ и читателемъ—справедливо говорится въ статьѣ о книжной торговлѣ—великое разстояніе, то первый не можетъ сильно дѣйствовать на послѣдняго». Между Карамзинымъ и его читателями не было такой разъединяющей пропасти, а потому его изданія пошли хорошо и повлекли за собою цѣлую плеяду журналовъ съ различными направленіями и оттѣнками. Мнѣнія Карамзина, добавимъ это, не были крайнія и рѣзкія, но ихъ далеко нельзя было назвать въ ту пору ретроградными: по своей эластичности они не становились еще въ разрѣзъ съ умственнымъ движеніемъ эпохи, даже, наоборотъ, способствовали этому движенію, поддерживая любовь къ наукѣ и уваженіе

къ человѣческой личности. Хотя и уклончиво, но издатель «Вѣстника» осмѣливался высказывать «свое сужденіе» о вопросахъ, занимавшихъ публику, о важнѣйшихъ правительственныхъ мѣрахъ, и тѣмъ способствовалъ развитію общественнаго мнѣнія. Уваженіе къ наукѣ и къ правамъ личности, всегда выражаемое Карамзинымъ, сильно не нравилось литературнымъ его врагамъ, во главѣ которыхъ стоялъ извѣстный адмиралъ Шишковъ, написавшій книгу: «О старомъ и новомъ слоgѣ русскаго языка». Въ возникшей отсюда полемикѣ, между Шишковымъ и карамзинской школой, филологическій интересъ былъ далеко не главнымъ: къ нему замѣтно примѣшивалась борьба разнородныхъ политическихъ тенденцій, различныхъ нравственныхъ идеаловъ. Шишкову съ союзниками столько же не нравилось примѣшиванье французскихъ словъ къ нашему языку, сколько и примѣшиваніе французскихъ понятій: посредствомъ стараго слога имъ хотѣлось вернуть общество и къ старымъ понятіямъ. Объ этомъ противодѣйствіи новымъ идеямъ со стороны закоренѣлыхъ ретроградовъ мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ. Теперь же поговоримъ о вліяніи карамзинскихъ журналовъ на печать.

VII.

Довѣрчивое отношеніе писателей къ видамъ правительства.—Развитіе журналистики подъ вліяніемъ «Вѣстника Европы». — «Патріотическій журналъ» В. Измайлова.— Взглядъ его на значеніе воспитанія.— Плеяда сантиментальныхъ журналовъ.— Служеніе женщинъ въ «Московскомъ Меркуріи». — Эротическія шалости «Журнала для милыхъ». — Жалоба дворянина на «чудную перемену» въ мысляхъ.— Упадокъ сатиры.

Не одинъ Карамзинъ находилъ, что «теперь всѣ лучшіе умы стоятъ подъ знаменами властителей и готовы только способствовать успѣхамъ настоящаго порядка вещей». Вся наша литература, всѣ журналы наперерывъ, одинъ за другимъ, воздавали хвалу правительству за льготы, оказываемыя имъ печатному слову, и не отставали въ этомъ случаѣ отъ изданій официальныхъ. «Мы не имѣемъ нужды — говорится въ «Новостяхъ русской литературы» за 1804 г. — читать похвалу нашего монарха во всѣхъ иностранныхъ журналахъ, чтобы чувствовать цѣну его благотворительности и своего счастья. Александръ даетъ умамъ свободу, необходимо нужную для просвѣщенія и моральнаго достоинства человека. Скоро откроется величіе русскихъ къ радости патріотовъ; скоро поле учености не будетъ горестною пустынею, мертвымъ уединеніемъ, но оживится соревнованіемъ блестящихъ талантовъ. Слава и хвала распространителю просвѣщенія!.. Падемъ на колѣна съ сердечнымъ умиленіемъ, возблагодаримъ управляющаго судьбою царей и народовъ» и пр. и пр. Въ томъ же журналѣ (изд. въ Москвѣ съ 1802 г. по іюль 1805 г.) неизвѣстный пѣтъ восклицаетъ:

Что взоръ мой восхищенный зрѣть? —
Тамъ зрю изъ праха вознесенный
Градовъ и селъ несчетный рядъ,
Разцвѣтшій, вновь обогащенный
Наукъ священный вертоградъ...
Вездѣ мнѣ зрится совершенство,
Все веселитъ собою духъ;
Всякъ чувствуетъ свое блаженство —
Вельможа, воинъ и пастухъ.
Но передъ кѣмъ все оживаетъ?
Кто общей радости виной?
Чье имя всякъ благословляетъ?
Кто вѣкъ даритъ всѣмъ золотой? —
Се ты, о Александръ нашъ славный!
Се ты, краса земныхъ царей! и пр.

Почти тѣже похвалы, но съ бѣльшимъ тактомъ и умѣренностью, высказывались въ «Періодическомъ изданіи объ уснѣхахъ народнаго просвѣщенія», — журналъ, издававшемся при главномъ правленіи училищъ, съ 1803 по 1818 г., подъ редакціей Озерецковскаго и Фуса. «Ты сопрягаешь съ самодержавною властью — читаемъ мы здѣсь, въ латинскомъ гимнѣ императору — скромный образъ добраго гражданина, и съ царскимъ вѣнцомъ сближаешь гражданскія обязанности. Ктожь паче возлюбитъ благомыслящихъ гражданъ? Кто болѣе можетъ защищать градскія права, промышленность и художества? Кто? кромѣ самого тебя, монархъ-патріотъ? Кто жь, неправо судящій о простомъ народѣ, презрѣть земледѣльца, къ которому ты обращаешь кроткій взоръ, котораго ты, монархъ, одобряешь своимъ привѣтствіемъ? Обременяемый жестокостью рока, истаявающій отъ глада въ болѣзни, въ нищетѣ — побуждаютъ тебя неусыпно бдѣть о содѣланіи ихъ благополучными» (1803 г. № 3). Словомъ, надеждамъ и ликованіямъ не было конца...

Любовь къ наукамъ появилась чрезвычайная. «Благоденствіе государствъ — восклицалъ директоръ Захарьинъ при открытіи пензенской гимназіи — зависитъ отъ просвѣщенія. По мѣрѣ распространенія наукъ возрастаетъ общественное благо; торговля цвѣтетъ, а съ нею и богатства льются рѣкою; художества и рукодѣлія приходятъ въ совершенство; истина открывается и образуетъ законы; добродѣтель, воцаряясь въ сердцахъ, сѣетъ благонравіе и подавляетъ пороки. Сколько заблужденій представляетъ намъ исторія тѣхъ мрачныхъ временъ, въ которыя невѣжество владычествовало надъ умомъ и сердцемъ человѣка! Нелѣпныя мнѣнія, производя предразсужденія, были пріемлемы за истину; зло почиталось благомъ, человѣкъ обманывалъ самого себя; словомъ, смертные были сами себѣ врагами» (См. Періодич. изд. 1804 г. № 4). Даже гимназисты, въ той же гимназіи, распѣвали такіе, не очень складные, канты:

Кто какъ грубымъ ни родится,
Мракъ исчезнетъ, будетъ свѣтъ:
Въ храмъ наукъ лишь водворится,
Чувства, разумъ разцвѣтетъ и пр.

Понятно, что, въ соотвѣтствіе такому довѣрчивому настроенію общества и благимъ намѣреніямъ власти, наиболѣе развитые люди охотно выступали на литературное поприще, надѣясь этимъ путемъ содѣйствовать «преуспѣянію» отечества. Вслѣдъ за появленіемъ «Вѣстника Европы», — впервые указавшаго на новый, заманчивый путь, — русская журналистика стала быстро развиваться, и въ ней обнаруживаются тѣ же литературныя свойства, какими отличались изданія Карамзина: — и его преувеличенная сентиментальность, и ревнивый патріотизмъ, и попытки, или по крайней

мѣрѣ поползновенія къ европейскому взгляду на вещи. Выѣстъ съ тѣмъ находить себѣ приверженцевъ и заступниковъ старый псевдоклассицизмъ, съ которымъ соединилось впоследствии и всякое другое старовѣрство. Къ журналамъ, особенно отличавшимся сентиментальнымъ характеромъ, принадлежать: «Московскій Меркурій» (1803 г.), «Журналъ для милыхъ» (1804 г.), «Московскій Зритель» (1806 г.) «Журналъ для сердца и ума» (1810 г.) и др.—«Русскій Вѣстникъ» (1808 г.), «Сынъ Отечества» (1812 г.), «Пантеонъ славныхъ русскіихъ мужей» (1816 г.) и др. были извѣстны своими особенно патріотическими наклонностями, о которыхъ свидѣльствовали самыя заглавія этихъ изданій. Другіе, наиболѣе извѣстные журналы того времени,—между прочимъ, защитники псевдо-классической теоріи,—были: «Сѣверный Вѣстникъ» (1804 г.), «Цвѣтникъ» (1809 г.), «Амфіонъ» (1815 г.) и «Вѣстникъ Европы» подъ редакціею Каченовскаго. Въ сторонѣ отъ этихъ главныхъ изданій стояли: «Патріотъ», В. Измайлова, возникшій изъ педагогическихъ тенденцій «Вѣстника Европы», и «Сатирическій театръ» (1808 г.)—бездарное продолженіе литературныхъ пріемовъ временъ Елизаветы. «Патріотъ» Измайлова (бывшаго сотрудника «Вѣстника Европы») выходилъ въ Москвѣ ежемѣсячно и раздѣлялся на три отдѣла: первый, для воспитателей, заключалъ въ себѣ общія правила воспитанія и практическіе способы преподаванія разныхъ предметовъ; во второмъ печатались дѣтскія повѣсти и рассказы; третій отдѣлъ, предназначенный для взрослыхъ молодыхъ людей, состоялъ изъ общепонятнаго изложенія моральныхъ и философскихъ вопросовъ въ примѣненіи къ общественной жизни (см.

«Патріотъ» 1804 г. № 1). Журналъ стремился — основать воспитаніе на началахъ «раціональной философіи», и для этого переводилъ статьи изъ Ж. Ж. Руссо; Песталоцци, Бернардена де-Сенъ-Пьера и неизбѣжной г-жи Жанлисъ. О Карамзинѣ, по выходѣ его сочиненій, «Патріотъ» отзывался, какъ объ «авторѣ съ отличнымъ талантомъ, обогащенномъ геніемъ науки и вкусомъ свѣта». Взглядъ Измайлова на воспитаніе вообще, насколько онъ высказывается въ выборѣ переводныхъ статей для журнала, отличался значительной по тому времени широтою и смѣлостью. «Многіе—говорилось въ одной статьѣ «Патріота»—обвиняютъ новую методу (воспитанія) въ томъ, что она образуетъ младенца, во первыхъ, для состоянія человѣка, а потомъ для состоянія гражданина. Сіе обвиненіе есть лучшая похвала нашего педагогическаго вѣка. Гораздо опаснѣе были покушенія нѣкоторыхъ деспотовъ, завоевателей, понтифовъ, даже философовъ отнять у одной части людей ихъ естественныя права. Чрезъ то самое видѣли мы человѣчество, иногда погруженное въ бездну варварства, иногда доведенное притѣсненіемъ до крайности отчаянія, котораго жертвою сдѣлалась тьма невинныхъ. Итакъ, когда воспитаніе дастъ почувствовать истинное равенство людей, вселивъ въ состоянія вышнія уваженіе къ человѣчеству, а въ нижніе классы чувство ихъ благороднаго существа: тогда не только просвѣщеніе распространится, но всѣ правительства сдѣлаются гораздо кротче, и всѣ состоянія гораздо счастливѣе» (№ 10). Воспитаніе дѣлится на умственное, эстетическое и нравственное, и для каждой стороны въ воспита-

ніи сообщаются особыя правила. Въ первомъ возрастѣ воспитаніе принадлежитъ матерямъ. «Нѣтъ и не будетъ надежды къ счастію нравовъ—говорится въ I № «Патріота»—пока женщины не возвратятся къ домашней жизни, пока не позволятъ имъ слѣдовать сердцу въ выборѣ друга. Какъ много ни писали сатиръ на ихъ счетъ, онѣ не такъ виноваты, какъ мы. Ихъ пороки произошли отъ насъ... Женщины! спасите человѣчество, обративъ насъ къ добронравію! Цѣлое общество людей возвратится къ должностямъ своимъ, если вы возвратите одного человѣка къ порядку естественному».

Самымъ замѣтнымъ журналомъ сентиментальнаго стиля былъ «Московскій Меркурій» П. Макарова, выходившій ежемѣсячно, съ модами. Журналъ этотъ возникъ подъ прямымъ вліяніемъ варамзинскихъ изданій, но ближе подходилъ къ «Московскому Журналу», чѣмъ къ «Вѣстнику Европы». Его цѣль—развитіе гуманныхъ идей въ духѣ первоначальной дѣятельности Карамзина, безъ той приторной чувствительности, какой прославился извѣстный князь Шаликовъ. Критическій отдѣлъ въ журналѣ былъ веденъ хорошо; въ особенности бездарныя книжонки «въ Радклифѣномъ вкусѣ», съ убійствами, пытками, похищеніями и пр., наводнявшія нашу литературу, предавались тутъ посмѣянію *).

*) Какъ строгій критикъ, Макаровъ былъ такъ страшенъ авторамъ, что, на эту тему, въ «Московскомъ Зрителѣ» была напечатана (№ 1) слѣдующая эпиграмма:

Когда услышалъ нашъ Бездаровъ,

Что умеръ журналистъ Макаровъ,

«Ну, слава Богу, онъ сказалъ:

Могу печатать все, что прежде ни писалъ!»!

ронникъ реформы въ языкѣ, произведенной Карамзинымъ, «Московскій Меркурій» защищалъ новый слогъ отъ нападе- ній Шишкова (№ 12) и при разборѣ книгъ, написанныхъ тяжелымъ полу-славянскимъ, полурусскимъ нарѣчіемъ, глу- мился надъ литературнымъ старовѣрствомъ. Но въ противо- положность Карамзину, въ юный періодъ его дѣятельности, Макаровъ не увлекался мечтами Руссо, что «лучше ски- таться нагому по лѣсамъ и горамъ во всякую дурную по- году, нежели сидѣть зимою въ теплой, а лѣтомъ — въ про- хладной комнатѣ съ добрыми пріятелями, и что лучше жить одному, въ безпрестанномъ страхѣ быть умерщвлену пер- вымъ, кто посильнѣе, нежели находиться подъ защитою об- щества, котораго единственная цѣль состоитъ въ томъ, чтобы успокоить, обезопасить всякаго члена своего» (№ 8). Въ «Московскомъ Меркуріи» была одна сторона, которая придавала ему отчасти своеобразный характеръ—это именно служеніе женщинамъ, которое потомъ было доведено до крайняго комизма въ «Журналѣ для милыхъ». Въ пере- довой статьѣ своего журнала (№ 1) Макаровъ высказываетъ свой взглядъ на общественное значеніе женщины и требу- етъ отъ нея ума, познаній и благодѣтельного вліянія на мужчину. Желая сдѣлать знанія «необходимой потребностью въ обществѣ» авторъ припоминаетъ, что во Франціи сало- ны дамъ привлекали къ себѣ первоклассныхъ ученыхъ и служили лучшими школами просвѣщенія. «Еслибы, продол- жаетъ онъ, наши дамы вздумали подражать сему при- мѣру, то нѣтъ сомнѣнія, онѣ заставили бы всякаго учиться. Сколько предметовъ открылось бы для ихъ честолюбія! Сколько пищи для желанія блистать! Мы знаемъ жен-

щинъ: умѣренность не ихъ порокъ; чего онѣ захотятъ, къ тому онѣ стремятся всѣми силами. Овладевъ однажды полемъ литературы, онѣ пошли бы самыми скорыми шагами, повлекли бы всѣхъ за собою и въ короткое время сдѣлались бы нашими учительницами. Перенеся тронъ философіи въ свои будуары, создавъ себѣ новое удовольствіе, украсясь новыми пріятностями, употребляя науку на пользу забавъ, а забавы на пользу наукъ, онѣ пріобрѣли бы для себя очень много; а соотечественникамъ оказали бы истинное благодѣяніе. Тогда-то доподлинно воздвигли бы имъ алтари, тогда-то слово обожать получило бы естественный свой смыслъ и, можетъ быть, къ счастію человѣчества, возвратились бы на землю тѣ золотые вѣка, когда одинъ взглядъ, одинъ поцалуй руки награждалъ десятилѣтніе подвиги героевъ... Кто не желаетъ женщинамъ просвѣщенія, тотъ врагъ ихъ, эгоистъ—любовникъ ли онъ или мужъ,—тотъ хочетъ удержать себѣ право сказать нѣкогда женѣ своей (въ которой онъ искалъ ключницу или няньку): я тебя умнѣе! Имперія красоты не шибетъ предѣловъ: но красота скоро вянетъ, молодость летитъ, и когда хладная рука времени обезобразитъ ангельскія, милыя черты: что будетъ съ женщиной, привыкшей видѣть все у ногъ своихъ, если она заблаговременно не поселитъ пріятностей въ каждой морщинкѣ лица своего, если не заготовитъ себѣ утѣшеній на старость? И почему бы ей не быть столько же ученою, сколько и мужчиной... Что подумать о людяхъ, которые дѣйствительно увѣрены, что женщина не иначе пріобрѣтаетъ знанія, какъ те-

рая всѣ пріятности пола своего, и которые, вслѣдствіе такого мнѣнія, желаютъ, чтобы цѣлая (и лучшая) половина рода человѣческаго ничему не училась? Читали ли они когданибудь исторію? помнятъ ли имена великихъ женщинъ, которыми древняя Греція почти столько же гордилась, сколько и Сократами, Платонами» и пр. и пр. Дальше говорится о значеніи женщинъ въ эпоху рыцарства и въ новѣйшія времена, когда «блистають имена Ментенонъ, Гортензіи, Манчини и единственной Нинонъ Ланкло (?) съ которою ни одна женщина не сравняется любезностью, но которую правила ея, нѣсколько свободныя, дѣлають опаснымъ образцомъ для подражанія». Въ Меркуріи помѣщена была и біографія Ланкло. Печатавъ разборъ книги Сегюра о женщинахъ, Макаровъ дѣлаетъ между прочимъ такое примѣчаніе: «прекрасная женщина видитъ міръ у ногъ своихъ! мужчина всегда будетъ рабомъ ея! и тотъ не знаетъ полного блаженства, кто не понимаетъ сладости жить подъ властію столь милою»!

Какъ лицо человѣческое отражается въ кривомъ зеркалѣ, такъ карамзинскій сентиментализмъ и макаровское «служеніе женщинамъ» отразились въ изданіи другого Макарова (М. Н.): «Журналъ для милыхъ». Журналъ этотъ издавался въ Москвѣ въ 1804 г. ежемѣсячно, съ эпиграфомъ: «преlestи нашихъ милыхъ читательницъ защитятъ (насъ) отъ злыхъ насмѣшекъ критики» и съ шарадами въ такомъ родѣ: «jour et nuit je pense à vous», «въ разлукѣ сердце стонетъ» и т. п. Шарады эти сопровождались рисунками. Милыми назывались собственно дамы, читательницы журнала; ихъ желанія были закономъ для издателя; такъ письмо од-

ной дамы (№ 4) оканчивается словами: «Помѣстите, милостивый государь мой, это письмо мое. Я женщина, ваша читательница,—и вы обязаны мнѣ повиноваться». Иногда стихи, ради галломаніи милыхъ, печатались на французскомъ языкѣ. Сентиментальность, введенная въ моду Карамзинымъ, развилась въ «Журналѣ для милыхъ» до уродливости: имя Лизы сдѣлалось нарицательнымъ и упоминается на каждомъ шагу; къ этому имени писались и стихи, и прозаическіе ди-оирамбы. Стихи писались даже къ цвѣточку, который авторъ видѣлъ въ покоѣ Лизы (№ 3). «Чувствованія» выражались только по поводу мотылька, розы, пѣночки, ключика къ сердцу милой и т. п. Въ № 7 журнала напечатаны стихи къ г-жѣ А. Х., «пославши ей букашку изъ сургуча». Посылка сдѣлана съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы букашка

... тебѣ въ ушко всегда жужжала,
Что я люблю, горю, томлюсь,
Чтобъ ты черезъ нее узнала
То—самъ сказать чего боюсь.

Не всегда впрочемъ сентиментальные авторы были такъ скромны въ своихъ сюжетахъ. Такъ напр. въ одномъ стихотвореніи читаемъ:

Однажды я Лизету,
Зефирами раздѣту,
Забвенну сномъ, зрѣлъ здѣсь.
На ту красу взиралъ,
Я таялъ, обмирая,
И....—еслибы не честь....

Рядъ точекъ прерывалъ эротическія изліянія стихоплета.

Въ томъ же журналѣ напечатана была сельская повѣсть «Аннушка», въ которой дочь довольно богатаго дворянина, «тринадцатилѣтняя, но уже полногрудая милушка», начитавшись Фоблаза и др. книгъ, бывшихъ въ библіотекѣ ея отца,

прельстилась шестнадцатилѣтнимъ юношей, Англантиномъ, «зараженнымъ моднымъ воздухомъ и испытавшимъ важнѣйшее въ свѣтѣ блаженство». Разъ Аннушка, взявъ въ руки Philosophie de Thérèse, сидѣла на берегу Москвы рѣки (дѣйствіе происходитъ въ подмосковной деревнѣ) и увидѣла купающагося бога-амура. «Онъ купался, плавалъ, нырялъ и не видалъ Аннушки, которая при семъ случаѣ легла въ густую траву и свѣрjala со вниманіемъ его прелести съ написанными въ книжкѣ. Нашла въ натурѣ ихъ лучше, восхитительнѣй, такъ что у бѣдной дѣвушки хотѣло вылетѣть сердце. Молодой чело-вѣкъ вышелъ на ея берегъ, и дѣвушка познала въ немъ истиннаго Англантина. Онъ въ восхищеніи сказалъ: «Ахъ, кабы мнѣ теперь представилась моя любезная Аннушка!» Невинная дѣвушка не дышала; молодой купидонъ вспрыгнулъ, повернулся, хотѣлъ плыть, броситься въ рѣку; но нечаянно зацѣпился за дѣвушку и упалъ: «Фи! что за диковинка... Это Психея. Это вы, сударыня?» «Я... я... отвѣчала дѣвушка: вы давно были для меня милы, а нынѣ я удостоилась видѣть». «Такъ, мой ангелъ, не угоднo ли закрѣпить явною печатью наше сверхъестественное свиданіе?» «Воля ваша!» сказала поблѣднѣвшая дѣвушка, и.... рѣзвый Адонисъ и несравненная Венера скинули съ себя одежду, закрывающую прелести отъ глазъ смертныхъ. Они купались въ струистой рѣчкѣ, ныряли, плескались; можетъ быть, что и еще происходило; но романисты закрываютъ такія приключенія на пять минутъ тонкою дымкою и молчатъ *)... Аннушка одѣ-

*) У Карамзина, въ повѣсти «Рыцарь нашего времени» («Вѣстн. Евр.» 1803 г. № 14) описывается подобное же приключеніе, а именно: Леонъ подсматриваетъ у него купающуюся графиню Эмилию, но сдержанный

лась, сердце въ ней сильно билось, щеки пламенѣли, и дѣвушка говорила: «милый Англантинъ! какъ несправедливы люди, что находятъ различіе между двумя полами; оба они созданы на то, чтобы совершенствовать взаимно себя». «Такъ, это правда!» отвѣтствовалъ онъ, далъ ей пламенный поцалуй и скрылся. Аннушка повлялась имѣть подобныя свиданія, благословляла свою любезную книжку и не могла ее оцѣнить». Хотя повѣсть кончается законнымъ бракомъ, потому что Англантинъ боялся «худой славы»; но выписанный эпизодъ очень не понравился многимъ, и «Сѣверный Вѣстникъ» отозвался такъ: «Мы не совѣтуемъ брать этотъ журналъ милымъ, ибо онъ оскорбляетъ ихъ стыдливость, первое украшеніе милыхъ... Его не надо брать, потому что въ немъ напечатаны: «Побѣда надъ нимфами *)», «Аннушка» — повѣсти неблагопристойныя». Оправдываясь отъ этихъ обвиненій (особ. прибавл. къ № 12), издатель говоритъ: «Кажется, при такомъ благоустройствѣ, каковое сохраняется въ нынѣшнія времена въ нашей имперіи, неблагопристойность совсѣмъ истреблена, особливо въ литературѣ: на это учреждена въ Москвѣ цензура, которая строго разсматриваетъ все и вѣрно въ публику ничего неблагопристойнаго не выпустить. P. S. Аннушка можетъ быть хорошимъ примѣромъ.

писатель не входилъ въ такія пикантныя подробности. «Читатель — говоритъ онъ — ожидаетъ отъ меня картины во вкусѣ золотого вѣка: ошибается! лѣта научаютъ скромности; пусть одни молодые авторы сказываютъ публикѣ за новостъ, что у женщинъ есть руки и ноги. Мы, старики, все знаемъ, что можно видѣть, но должны молчать».

*) Въ «Побѣдѣ надъ нимфами» рассказываются на чистоту, подъ микологическими образами, всѣ подробности любви. Подобныя произведенія показываютъ, сколько дряблага, старческаго саслослюбія скрывалось иногда за приличными сантиментальностями.

Читая слѣдствія развратности, видя сущность оныхъ злую, — не есть ли это лучшая картина для молодыхъ людей? Вѣрно никто не будетъ Аннушкой, прочитавъ «Аннушку», но постарается избѣгать порока ея».

Не лучше «Журнала для милыхъ» былъ и «Московскій Зритель» (1806 г.) князя Шаликова. Въ «Письмѣ къ издателю журнала», помѣщенномъ въ первой книжкѣ (выход. ежемѣсячно), говорится: «Мнѣ хотѣлось бы видѣть въ вашемъ журналѣ болѣе подлинниковъ, чѣмъ переводовъ, болѣе мѣстнаго; хотѣлось бы, чтобъ издатель его, какъ ревностный патріотъ, съ пламеннымъ сердцемъ и смѣлою рукой принялся за перо — единственно для пользы земляковъ своихъ... Вы живете въ столицѣ, гдѣ болѣе разнообразія, болѣе игры страстей, болѣе условныхъ законовъ, болѣе предубѣжденій и слѣдственно болѣе случаевъ къ замѣчаніямъ. Здѣсь одно слово старика или молодой женщины подадутъ поводъ къ сочиненію цѣлаго моральнаго трактата. Часто разговоры двухъ простолюдиновъ на улицѣ откроютъ наблюдателю черту народнаго характера или степень нынѣшней нравственности. Пускай журналъ вашъ будетъ хранилищемъ таковыхъ наблюденій. Дайте знать молодымъ умникамъ, что гражданинъ отнюдь не предосудительно, какъ они думаютъ, носить знакъ отличія, полученный за службу; что пріятнѣе щеголять имъ, нежели шелковымъ черезъ плечо шнуркомъ съ прицѣпленнымъ къ нему лорнетомъ... скажите вашу мысль и о новыхъ русскихъ эмигрантахъ: я говорю о тѣхъ, которые отъѣзжаютъ на житье въ чужіе края подъ предлогомъ, что тамъ жить дешевле... Можете иногда сказать слова два и о состояніи въ отечествѣ

нашемъ художествѣ. Статья эта была бы не бесполезна: сколько мы видимъ здѣсь колоннъ, которыя ничего не подпираютъ, или полукруглыхъ оконъ и въ верхнемъ, и въ нижнемъ жильѣ, или разрисованныхъ деревянныхъ домовъ и заборовъ!.. Что скажетъ просвѣщенный иностранецъ о нашемъ вкусѣ?.. Я желаю, чтобы критика была непременно въ вашемъ журналѣ: старайтесь только быть истиннымъ критикомъ, будьте судьей безпристрастнымъ».

Этой программѣ Шаликовъ былъ вѣренъ: патріотизмъ, весьма мелкій, и чувствительность были отличительными чертами его журнала. Патріотизмъ выражался напр. въ описаніи торжественнаго обѣда въ московскомъ клубѣ, и драки двухъ простолюдиновъ-атлетовъ, которые, поколотивъ другъ друга, поцаловались: доказательство славянскаго добродушія. Чувствительность—преобладающее свойство журнала—господствовала въ беллетристикѣ, гдѣ такъ же, какъ и въ «Журналѣ для милыхъ», печатались стишки къ Лизетамъ, Эльвирамъ, къ резедѣ, голубку и ошейнику эльвириной собачки. Эротическій элементъ свирѣпствовалъ здѣсь меньше, чѣмъ въ «Журналѣ для милыхъ», а стихи къ женщинамъ и къ амуру были уже гораздо сдержаннѣе и скромнѣе. Въ «Зрителѣ» напротивъ, есть даже повѣсть: «Злоупотребленіе свободы въ молодости» (№ 5), въ которой рассказывается, какъ «сластолюбіе сдѣлалось цѣлью юноши, и истощеніе силъ послѣдовало за расточеніемъ жизненныхъ соковъ». Истощеніе было такъ велико, что юношѣ пришлось пользоваться кавказскими водами. Воспитаніе также занимало кн. Шаликова: въ статьѣ объ этомъ предметѣ (№ 11) говорится, что родители должны наставлять смолоду дѣтей своихъ въ

добродѣтели и притомъ въ національномъ духѣ, не допуская «наемщиковъ-чужестранцевъ внушать имъ презрѣніе къ русскому языку и къ русской націи». Слѣдя за успѣхами воспитанія, Шаликовъ восхвалялъ московскій екатерининскій институтъ (№ 7), гдѣ воспитываются «любезнѣйшія существа природы»—и притомъ воспитываются прекрасно. Все плѣняло князя: и рѣчь, сказанная священникомъ, «наставляющая воспитанницъ въ законѣ и добродѣтеляхъ», и здоровая пища въ столовой, и порядокъ и чистота въ дортуарахъ.

Любопытно во многихъ отношеніяхъ «Письмо сельскаго дворянина къ издателю» (№ 4). «Удостоите выслушать—пишетъ этотъ огорченный дворянинъ — отъ отца жалобу, которую нельзя принести ни въ какомъ присутственномъ мѣстѣ, и будьте посредникомъ между мною и обществомъ, единственнымъ судьей въ подобныхъ случаяхъ. Съ нѣкотораго времени у дворянъ нашей губерніи произошла чудная переменѣна въ мысляхъ и правилахъ. Многіе молодые люди и пожилые вдовцы женятся на бывшихъ своихъ челядинкахъ и наемницахъ. Одинъ вводитъ крестьянку въ сообщество благовоспитанныхъ сестеръ своихъ; другой заставляетъ дѣтей цаловать руки у рабыни покойной ихъ матери. Тутъ слезы дочери, тамъ упреки сына—и гремитъ отцовское проклятiе! Раздоры въ семействахъ, ссоры и тяжбы между родственниками, соблазнъ и пересуды въ бесѣдахъ, и грусть, тяжкая грусть нашему брату, привязанному еще къ дворянскимъ предразсудкамъ своего дѣда. Къ чему я теперь буду воспитывать дочь мою, если крестьянская или горничная дѣвка предпоч-

т е т с я е й? Чѣмъ вознаградятся попеченія мои объ украшеніи ума ея и сердца, ежели она должна остаться навсегда въ одиночествѣ? Не щадя ничего на образованіе моей дочери, я думалъ, что готовлю ее для мужа, который будетъ цѣнить ея достоинства, составитъ счастье жены и ея родителей: отправляя на службу отечества сына, я думалъ, что зять мой заступитъ мѣсто его; будетъ опорой старости моей и утѣшеніемъ семейства; думалъ, что существо мое возобновится въ малыхъ внучатахъ, которые возрастутъ на моихъ болѣняхъ и примутъ послѣдній вздохъ мой. Такія пріятныя мысли, такія утѣшительныя надежды служатъ истинною наградою за труды и жертвы родительскія. Ахъ, не горестно ли обмануться въ счастливѣйшей предувѣренности? Не имѣетъ ли права сердце отцовское жаловаться на то, что лишаетъ его лучшихъ радостей въ жизни. Не терзаетъ ли душу нѣжной матери взоръ на унылые дни ея дочери? Съ другой стороны, не прискорбно ли отцу, матери, брату и сестрѣ благовоспитаннымъ видѣть въ семействѣ своемъ грубую, необразованную крестьянку или смѣшную обезьяну бывшей госпожи своей,—то есть горничную дѣву?» и т. д.

Изъ этого письма видно, что чувствительные авторы, плакавшіе о судьбѣ бѣдной Лизы, сильно поразили *mésalliance*, когда эти Лизы выходили замужъ за своихъ соблазнительей. Замѣчательно также сопоставленіе журнала съ присутственнымъ мѣстомъ: оно показываетъ, что журналистика расширилась въ такой степени, что разстроенные граждане, въ родѣ сейчасъ упомянутаго, считали уже книжку журнала удобнымъ средствомъ выражать свои печали и на-

дѣялись даже этимъ путемъ—оказать сопротивленіе «чудной переменѣ въ мысляхъ» у другихъ согражданъ.

Сантиментальное настроеніе господствуетъ и въ «Журналѣ для сердца и ума», издававшемся ежемѣсячно въ Петербургѣ И. Шелеховымъ (1810 г.), и выражалось опять посланіями къ Лилѣ, Нинѣ, Лаурѣ и т. п.

При томъ направленіи, какое распространилось въ журналистикѣ подъ вліяніемъ Карамзина, весьма понятенъ упадокъ сатиры, которая всего менѣе должна была сходиться съ сантиментально-патріотическимъ настроеніемъ умовъ. Конечно, находились еще сатирики, переводившіе Геллерта, Рабенера и т. п., «находя въ оныхъ истину, во всемъ ея величествѣ созерцаемую», но едва ли въ этой истинѣ могло таиться много смысла для русскихъ читателей. Переводы перелагались впрочемъ и на русскіе нравы, и въ переводную сатиру вставлялись обличенія пьянства помѣщиковъ и псовой охоты; но сатира становилась оттого еще нелѣпѣе; она не повторила съ прежней силой даже сатирическихъ мотивовъ екатерининскаго времени.

Въ «Демокритѣ» (1815 г.) характеръ этой сатиры становится даже довольно гнуснымъ, какъ это напр. обнаруживается въ «пѣснѣ Демокрита». Смѣяться надъ всѣмъ: надъ трудомъ ученаго, потому что это «сухая матерія», надъ суетливой дѣятельностью другихъ людей, надъ кровавыми битвами—вотъ девизъ Демокрита. Но что всего лучше:

Пусть несчастные томятся,
Коль судьба для нихъ строга;
Моя участь—лишь смѣяться:
Ха-ха-ха! ха-ха-ха! (№ 2).

Въ другомъ стихотвореніи (№ 4) осмѣивается поэтъ,

мерзнуцій въ своей комнатѣ и «бьюцій тактъ зубами». Этотъ поэтъ жалуется на своего сосѣда, «вагдайскаго боярина», который открываетъ заслонку въ печкѣ и выпускаетъ все тепло, благо у него есть и тулупъ, и шуба. Однажды сатирикъ заикнулся было о неправедныхъ судіяхъ (№ 4); но тутъ же остановился, сказавъ самому себѣ: «не все ври, что знаешь».

VIII.

«Другъ просвѣщенія» и его сбивчивый тонъ. — «Журналъ Россійской словесности». — Либеральныя оды И. П. Пнина. — Бесѣда «сочинителя съ цензоромъ». — «Островъ подлецовъ». — «Сѣверный Вѣстникъ». — Вопросъ о развитіи просвѣщенія и о свободѣ преподаванія. — Политическія и общественныя идеи въ «Сѣв. Вѣстникѣ». — Проектъ преобразованія на англійскій ладъ. — Литературная критика въ «Сѣв. Вѣстникѣ» и «Лицеѣ».

Изъ новыхъ журналовъ, возникшихъ вслѣдъ за «Вѣстникомъ Европы» Карамзина, наибольшаго вниманія заслуживаютъ петербургскіе журналы, наименьшаго — московскіе, которые разработывали только одну сантиментально-патріотическую сторону своего первообраза. Политическая струйка зашла, впрочемъ, и въ нихъ изъ «Вѣстника Европы». Такъ напр. въ «Другѣ просвѣщенія» (1801 — 1806 г.) мы находимъ «Письмо Людовика XVI-го къ одному аббату и нѣсколько мыслей, писанныхъ имъ собственноручно». Въ этомъ письмѣ французскій король говоритъ о воспитаніи дофина въ духѣ кротости, религіи и любви къ народу; онъ не желаетъ, чтобы воинская слава кружила ему голову, а ласкательство при-

дворныхъ производило въ немъ своеправіе. «Первый долгъ государя, говоритъ король, есть тотъ, чтобы сдѣлать народъ счастливымъ. Законы суть столпы трона: если государь ихъ нарушитъ, то и народъ сочтетъ себя свободнымъ отъ ихъ обязательствъ». Изъ мыслей Людовика, набросанныхъ имъ собственноручно, замѣчательны слѣдующія: «Королю, царствующему правосудіемъ, вся земля служитъ храмомъ. Дѣлать добро и терпѣливо слушать злословіе о себѣ — вотъ добродѣтели царскія. Сочиненіе, написанное безъ свободы, должно быть посредственно и худо» и пр. Все это могло имѣть нѣкоторое примѣненіе къ тогдашней русской жизни. Въ стихотвореніи П. Кутузова: «Ода на правосудіе» также высказывается надежда, что на престолѣ русскомъ вмѣстѣ съ Александромъ «возсядутъ милость и правый, нелицепріятный судъ *)». Но рядомъ съ блѣднымъ отраженіемъ новыхъ идей, въ этомъ невыдержанномъ изданіи печатались вирши на старый ладъ, въ родѣ «Колесницы» Державина и стиховъ А. С. Шишкова. Въ «Колесницѣ», написанной по поводу французской революціи, авторъ рекомендуетъ правительству ежовыя рукавицы въ политикѣ, чтобы «раздраженные буцефалы», воспользовавшись дремотою властей, не столкнули ихъ въ ровъ. Обращаясь къ Франціи, Державинъ говоритъ:

Отъ философовъ просвѣщенья,
Отъ лишней царской доброты,
Ты пала въ хаосъ развращенья
И въ бездну вѣчной срамоты.

Къ счастью, эти поклонники ежовыхъ рукавицъ не могли

*) Эта надежда не мѣшала, однако, Кутузову писать негласные доносы на Карамзина и въ нихъ совѣтовать — запретить его куда-то безъ суда и слѣдствія (См. I томъ, стр. 194).

остановить развитіа новыхъ идей, покуда лица повыше ихъ, не смущаясь прямыми и косвенными намеками «на излишнюю доброту», сами способствовали прогрессу своимъ сочувствіемъ и поддержкою.

Гораздо замѣчательнѣе были петербургскіе журналы, въ которыхъ либеральное направленіе нашло себѣ усердныхъ проводниковъ и защитниковъ. Сюда относится «Журналъ Россійской Словесности», изданный Н. Брусиловымъ (1805 г.) при участіи И. П. Пнина. Въ первой же книжкѣ своего изданія Брусиловъ напечаталъ оду Пнина: «Человѣкъ» — довольно смѣлый гимнъ свободѣ, въ отпоръ унижительнымъ взглядамъ на права мыслящей личности. Авторъ говоритъ, обращаясь къ человѣку:

Какой умъ слабый, униженный
Тебѣ дать имъ червя смѣль?
То рабъ несчастный, заключенный,
Который чувства не имѣлъ;
Въ оковахъ тяжкихъ пресмыкался,
И съ червемъ пошленно равнялся,
Давимый сильною рукой,
Сначала въ горести признался,
Потомъ въ сихъ мысляхъ вѣкъ остался,
Что человѣкъ есть червь земной.
Прочь мысль презрѣнная! ты сродна
Душамъ преподлыхъ лишь рабовъ,
У коихъ вѣкъ мысль благородна
Не озаряла мракъ умовъ.
.
Въ какомъ пространствѣ зрю ужасномъ
Рабѣ отъ человѣка я:
Одинъ, какъ солнце въ небѣ ясномъ,
Другой такъ мраченъ, какъ земля.
Одинъ есть все. другой — ничтожность.
Когда бъ позналъ свою рабъ должность,
Спросилъ природу, разсмотрѣлъ:

Кто бѣдствій всѣхъ его виною?

Тогда бы тою же рукою

Сорвалъ онъ цѣпи, что надѣлъ.

Желая, повидимому, ограничить эту свободу, — чтобы она не переходила въ анархію и открытое возстаніе, пугавшія умы, — издатель, вслѣдъ затѣмъ (№ 2 и 4), напечаталъ оду: «На безначаліе» и басню: «Зябликъ», въ которыхъ представляются въ дурномъ свѣтѣ своеволие и крайнее вольнодумство. Это вольнодумство ведетъ къ тому, что народъ (французскій), низвергну царя, создаетъ себѣ другого — «изъ праха», а зябликъ попадаетъ въ когти къ коршуну. Вообще беллетристическія произведенія, — если исключить изъ нихъ сантиментальныя, служившія прямой связью журнала съ карамзинскими изданіями, — выбирались Брусиловымъ не безъ цѣли, и каждое изъ нихъ служило какъ бы дополченіемъ и разъясненіемъ къ другому. Въ баснѣ: «Истина во дворцѣ» (соч. А. Измайлова) рассказывается, какъ истина вошла во дворецъ и была приговорена къ ссылке въ рудники; но потомъ, перерядившись въ вымыселъ, сказала шуткою все, что было нужно, и ее выслушали съ благоклонностью. Конецъ басни таковъ:

Счастлива та страна, въ которой кроткій царь

Правдиво говоритъ себѣ не запрещаетъ!

Счастливей мы стократъ: нашъ ангелъ-государь

Не только истину въ чертогъ къ себѣ впускаетъ,

Но даже ищетъ самъ ее.

Въ № 5-омъ помѣщена также басня, въ которой хозяинъ, за вѣрную службу дворняшки, даритъ ей ошейникъ, и ничего больше; въ № 7 другая — «Царь и придворный», гдѣ проводится мысль, что «блескъ царскаго величія» ничто безъ поддержки народа. Въ повѣстяхъ изъ восточной жизни

(эти повѣсти часто попадаются въ тогдашнихъ журналахъ), какъ напр. «Истина» и «Перстень», доказывается, что правда, хотя она и не нравится придворнымъ щеголямъ, щеголяхамъ, судьямъ и пр., должна быть не только терпима въ государствѣ, но и поставлена выше «угожденія царю». Въ первой изъ этихъ повѣстей багдадскій кади «въ ярости разбиваетъ чубукомъ зеркало истины», и вотъ на всемъ пространствѣ багдадскихъ владѣній царедворцы льстятъ, кади грабятъ, слезы несчастныхъ льются рѣкою; во второй — мудрый персидскій шахъ рѣшаетъ, что истина всего нужнѣе ему, и Персія при немъ «была счастлива и наслаждалась тишиною». Далѣе Пнинъ воспѣвалъ «правосудіе» (№ 10), которое одинаково караетъ «рабовъ и вельможъ».

Гдѣ ты — тамъ вопль не раздается
Несчастныхъ, брошенныхъ сиротъ:
Всѣмъ нужна помощь подается,
Не раболовствуетъ народъ.
Тамъ земледѣлецъ не страшится,
Чтобы насильствомъ могъ лишиться
Имъ въ потѣ собранныхъ плодовъ;
Любуется, смотря на ниву.
Въ ней видя жизнь свою счастливую,
Благословляетъ твой покровъ...
Гдѣ ты — тамъ геній просвѣщенья,
Лучами мудростей своей,
Открывъ зловредны заблужденья,
Седетъ на путь прямой людей.
Науки храмы тамъ имѣютъ,
Художества, искусства зрѣютъ,
Торговля богатитъ народъ,
Тамъ духъ зиждительной свободы,
Проникнувъ тайнства природы,
Сторичный собираетъ плодъ.

.

Гдѣ нѣтъ тебя - тамъ всѣ несчастны,
Отъ земледѣльца до царя;
Законы дремлютъ и безгласны,
Тамъ всякъ живетъ лишь для себя.
Нѣтъ ни родства, союза, вѣры;
Тамъ видны лишь злодѣйствъ примѣры;
Шипятъ пороки и азвять;
Тамъ выгодъ нѣтъ быть добрымъ, честнымъ,
Быть другомъ искреннимъ, нечестнымъ,
Тамъ чашу смерти пьетъ Сократъ и пр.

Между разными общественными явленіями, препятствующими строгому дѣйствию правосудія, Пнинъ указывалъ, по горькому опыту, и предварительную цензуру, въ которой произволъ административнаго лица могъ лишить человека его собственности и его нравственныхъ правъ. Эту мысль Пнинъ выразилъ въ видѣ сцены между сочинителемъ и цензоромъ, сцены, будто бы переведенной съ манчжурскаго языка. Мы приведемъ ее цѣликомъ для ознакомленія читателей съ тою формою, въ которую приходилось, уже и тогда, облекать подобныя идеи.

Сочинитель и цензоръ.

(Переводъ съ манчжурскаго).

Сочинитель. Я имѣю, государь мой, сочиненіе, которое желаю напечатать.

Цензоръ. Его должно напередъ разсмотрѣть. А подъ какимъ оно названіемъ?

Сочинитель. Истина, государь мой.

Цензоръ. Истина? о! ее должно разсмотрѣть и строго разсмотрѣть.

Сочинитель. Вы, мнѣ кажется, излишній берете на себя трудъ. Разсматривать истину? что это значитъ? Я вамъ

скажу, государь мой, что она не моя и что она существует уже нѣсколько тысячъ лѣтъ. Божественный Кунъ (Конфуцій) начерталъ оную въ премудрыхъ своихъ законахъ. Такъ говоритъ онъ: «смертные! любите другъ друга, не отнимайте ничего другъ у друга, просвѣщайте другъ друга, храните справедливость другъ къ другу, ибо она есть основаніе общежитія, душа порядка и, слѣдовательно, необходима для вашего благополучія». Вотъ содержаніе сего сочиненія.

Цензоръ. «Не отнимайте ничего другъ у друга, просвѣщайте другъ друга, храните справедливость другъ къ другу!»... Государь мой, сочиненіе ваше непременно разсмотрѣть должно. (Съ живостью.) Покажите мнѣ его скорѣе.

Сочинитель. Вотъ оно.

Цензоръ. (Развертывая тетрадь и пробѣгая глазами листы.) Да... ну... это еще можно... и это позволить можно... но этого никакъ пропустить нельзя (указывая на мѣсто въ книгѣ).

Сочинитель. Для чего же, смѣю спросить.

Цензоръ. Для того, что я не позволяю—и, слѣдовательно, это непозволительно.

Сочинитель. Да развѣ вы больше, г. цензоръ, имѣете права не позволить печатать мою «Истину», нежели я предлагать оную?

Цензоръ. Конечно, потому что я отвѣчаю за нее.

Сочинитель. Какъ? Вы должны отвѣчать за мою книгу? А я развѣ самъ не могу отвѣчать за мою «Истину». Вы присвоиваете себѣ, государь мой, совсѣмъ не принадлежащее вамъ право. Вы не можете отвѣчать ни за образъ

мыслей моихъ, ни за дѣла мои. Я уже не дитя и не имѣю нужды въ дядькѣ.

Цензоръ. Но вы можете заблуждаться.

Сочинитель. А вы, г. цензоръ, не можете заблуждаться?

Цензоръ. Нѣтъ, ибо я знаю, что должно и чего не должно позволить.

Сочинитель. А намъ развѣ знать это запрещается? Развѣ это какая нибудь тайна? Я очень хорошо знаю, что я дѣлаю.

Цензоръ. Если вы согласитесь (показывая на книгу) выбросить сіи мѣста, то вы можете книгу вашу издать въ свѣтъ.

Сочинитель. Вы, отнимая душу у моей «Истины», лишая всѣхъ ея красотъ, хотите, чтобы я согласился въ угожденіе вамъ обезобразить ее, сдѣлать ее нелѣпою? Нѣтъ, г. цензоръ, ваше требованіе безчеловѣчно; виновать ли я, что истина моя вамъ не нравится, и вы не понимаете ее?

Цензоръ. Не всякая истина должна быть напечатана.

Сочинитель. Почему же? Познаніе истины ведетъ къ благополучію. Лишать человѣка сего познанія, значитъ, препятствовать ему въ его благополучіи, значитъ, лишать его способовъ сдѣлаться счастливымъ. Если можно не позволить одну истину, то должно уже не позволять никакой, ибо истины между собою составляютъ непрерывную цѣпь. Исключить изъ нихъ одну, значитъ отнять изъ цѣпи звено и ее разрушить. Притомъ же истинно великій мужъ не опасается слушать истину, не требуетъ, чтобъ ему слѣпо вѣрили, но желаетъ, чтобъ его понимали.

Цензоръ. Я вамъ говорю, государь мой, что книга ваша, безъ моего засвидѣтельствванія, есть и будетъ ничто, потому что безъ онаго не можетъ она быть напечатана.

Сочинитель. Г. цензоръ! позвольте сказать вамъ, что истина моя стоила мнѣ величайшихъ трудовъ; я не щадилъ для нея моего здоровья, просиживалъ для нея дни и ночи: словомъ, книга моя есть моя собственность. А стѣснять собственность, какъ говоритъ премудрый Кунъ, никогда не должно, ибо чрезъ сіе нарушается справедливость и порядокъ. Впрочемъ, вѣрнѣе, засвидѣтельствваніе ваше можно назвать ничего не значущимъ, ибо опытъ показываетъ, что оно нисколько не обезпечиваетъ ни книги, ни сочинителя. Притомъ, г. цензоръ, вы изъясняетесь слишкомъ непозволительно.

Цензоръ (гордо). Я говорю съ вами, какъ цензоръ съ сочинителемъ.

Сочинитель (съ благороднымъ чувствомъ). А я говорю съ вами, какъ гражданинъ съ гражданиномъ.

Цензоръ. Какая дерзость!

Сочинитель. О Кунъ, благодѣтельный Кунъ! Если бы ты слышалъ разговоръ сей, если бы ты видѣлъ, какъ исполняютъ твои законы; если бы ты видѣлъ, какъ наблюдаютъ справедливость, если бы ты видѣлъ, какъ споспѣшествуютъ въ твоихъ божественныхъ намѣреніяхъ, тогда бы... тогда бы справедливый гнѣвъ твой... Но прощайте, г. цензоръ, я такъ съ вами заговорился, что потерялъ уже охоту печатать свою книгу. Знайте однакожь, что «Истина» моя пребудетъ неизмѣнно въ сердцѣ моемъ, исполненномъ любви

къ человѣчеству, и которое не имѣетъ нужды ни въ какихъ свидѣтельствахъ, кромѣ собственной моей совѣсти. «(См. Журн. Рос. Сл. № 12).

Отстаивая истину, право и свободу мысли отъ покушеній на нихъ со стороны судей, придворныхъ и цензоровъ, Брусиловъ осмѣивалъ не безъ ѣдкости,—хотя, по старому преданію, въ аллегорической формѣ,—враждебный ему лагерь, бравшій подъ свою защиту всѣ ненормальныя условія общественной жизни. Въ образчикъ подобнаго осмѣянія, мы возьмемъ отрывокъ изъ «Путешествія на островъ подлецовъ», принадлежащаго перу самого издателя журнала. Авторъ рассказываетъ, что будто онъ, возвращаясь изъ Америки, попалъ совсѣмъ въ другую сторону, по причинѣ бури, и очутился недалеко отъ острова подлецовъ. Любопытство видѣть эту неизвѣстную страну побудило его отпроситься у капитана, въ шлюпкѣ, на островъ, съ условіемъ вернуться вечеромъ же на корабль. «Островъ подлецовъ есть наибогатѣйшій въ мірѣ. Онъ лежитъ подъ самымъ почти полюсомъ и окруженъ океаномъ коварства, весьма опаснымъ для мореплавателей. Земля неплодородна и производитъ только плоды хитрости и пронырства, весьма вкусные для жителей, но впрочемъ горькіе для всякаго честнаго человѣка. Я спѣшилъ скорѣе въ главный городъ сего острова. Онъ называется Лестъ, весьма пріятенъ по своему мѣстоположенію и стоитъ на рѣкѣ низкихъ поклоновъ, которая течетъ иногда тихо, иногда быстро, смотря по обстоятельствамъ. Жителей на семъ островѣ много, и сказываютъ, что въ годъ рождается въ десять разъ болѣе, нежели умираетъ. Жители всѣ блѣдны, худы, но въ богатыхъ кафтанахъ, и живутъ хорошо, ибо мно-

го добываютъ чрезъ подлость. Они столь низки духомъ, что даже и въ дурную погоду ходятъ по улицамъ безъ шляпъ и кланяются всякому богачу, а особливо путешественникамъ, отъ которыхъ надѣются поживиться. Передъ тѣми же, кто мало значить въ свѣтѣ или бѣденъ, честенъ и добръ—передъ тѣми они горды, и вотъ одинъ только случай, когда они надѣваютъ шляпы... Я остановился въ лучшемъ трактирѣ. Трактирщикъ выбѣжалъ ко мнѣ и сказалъ, что онъ уже нѣсколько дней меня ожидалъ и очистилъ для меня лучшіе покои. «Мой другъ, сказалъ я съ удивленіемъ,—я пріѣхалъ сюда нечаянно и не думаю, чтобъ ты могъ знать прежде о моемъ пріѣздѣ». — «Милостивый государь, отвѣчалъ онъ, мы люди малые и единственнымъ счастіемъ нашимъ поставляемъ предупреждать намѣренія и волю людей вашихъ достоинствъ». Въ самое время нашего разговора подошелъ къ нему бѣднякъ и просилъ дать уголокъ въ его домѣ; но трактирщикъ оттолкнулъ его съ гордостью и, показавъ всю мѣру презрѣнія богатаго гордеца къ бѣдному, велѣлъ ему удалиться. Я удивился такой скорой переменѣ. «Милостивый государь! сказалъ трактирщикъ, принявъ опять униженный видъ; чтожь было бы въ нашей жизни, еслибъ, ползая весь вѣкъ передъ богачами, не имѣли мы удовольствія гордиться предъ бѣдными.» Тутъ узналъ я великую истину, что подлецъ есть самое горделивое твореніе въ мірѣ. Не успѣлъ я отдохнуть послѣ трудной дороги, какъ вдругъ явилась ко мнѣ толпа жителей сей страны. Всякій кланялся мнѣ въ поясъ; иной называлъ меня своимъ благодѣтелемъ, хотя я отъ роду въ первый разъ его видѣлъ, иной подносилъ

мнѣ стихи на день моего рожденія; иной—эпиграмѣ на мой приѣздъ. Въ сихъ стихахъ уподобляли меня Сенека въ мудрости, Эмистоклу въ храбрости, Лукуллу въ благотворительности; иной просилъ позволенія списать мой портретъ и поставить его рядомъ съ Адонисомъ; иной говорилъ, что добродѣтель Аристида ничто передъ моею; иной, узнавъ, что я люблю словесность, увѣрялъ меня, что Платонъ, Виргилій, Демосеенъ не могутъ равняться со мной въ краснорѣчїи; тотъ читалъ мнѣ съ восхищеніемъ наизусть оду, которой я отъ роду не писывалъ; иной, повалясь мнѣ въ ноги, лизалъ пыль съ моихъ сапоговъ; словомъ, всѣ прилагали стараніе выманить у меня по нѣскольку копѣекъ, — обыкновенное желаніе подлыхъ душъ! Послѣ сихъ учтивостей пошелъ я обѣдать. За столомъ сидѣло человѣкъ пятьдесятъ. Всѣ они сидѣли смирно, говорили шепотомъ и, браня тѣхъ, предъ которыми за четверть часа предъ тѣмъ ползали и которыхъ, превознося до небесъ, называли своими благодѣтелями,—поминутно оглядывались то на ту, то на другую сторону, боясь, чтобы ихъ не подслушали. Въ сей залѣ нашелъ я одного англичанина, который въ городѣ Лестерѣ живетъ уже нѣсколько недѣль. «Я приѣхалъ сюда, сказалъ мнѣ прямодушный британецъ, нарочно за тѣмъ, чтобы увидѣть разницу между человѣкомъ и подлецомъ». Онъ мнѣ много рассказывалъ о семъ чудномъ островѣ. «Здѣсь деньги есть всемогущій металлъ, говорилъ онъ, и человѣкъ безъ денегъ есть жалкая тварь. Здѣсь почти ежедневно бываютъ тому слишкомъ ясныя доказательства».

Еще замѣчательнѣе были журналы И. И. Мартынова —

одного изъ честнѣйшихъ официальныхъ дѣтелей первой половины царствованія Александра Павловича *). Въ 1791 г. Мартыновъ издавалъ литературный журналъ «Муза» и по преobraщеніи его (въ томъ же году) занимался переводами и преподаваніемъ исторіи и словесности въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ 1802 г. вышелъ указъ о министерствахъ, и незначительный чиновникъ, уже пріобрѣтшій извѣстность въ литературномъ мірѣ, сдѣлался сразу, благодаря ей, директоромъ департамента народнаго просвѣщенія. Небольшой чинъ его не послужилъ, какъ видно, препятствіемъ къ занятію важнаго административнаго поста. Въ 1804—5 г.г. Мартыновъ, управляя департаментомъ, находилъ время и для изданія журнала «Сѣверный Вѣстникъ» (выход. помѣсячно), при ежегодномъ пособіи отъ казны въ три тысячи рублей. Прекративъ изданіе «Сѣв. Вѣстника», онъ въ 1806 г. началъ издавать «Лицей» почти по той же программѣ и въ томъ же духѣ, какъ предъидущій журналъ. Въ обояхъ этихъ изданіяхъ Мартыновъ высказывалъ тѣ мысли, которыя были въ ходу въ нашихъ вліятельныхъ сферахъ, и разрабатывалъ вопросы, занимавшіе всѣ лучшіе умы, не только не тормозя при этомъ общественнаго сознанія, но во многомъ даже опережая его. Такимъ образомъ, интересъ его журналовъ увеличивается по связи ихъ съ идеями самого правительства, довѣрчиво относившагося къ развитію народнаго смысла. Хотя «Сѣверный Вѣстникъ» не имѣлъ собственно—полити-

*) Служба Мартынова продолжалась и позже, но его успѣхи въ ней относятся именно къ началу царствованія Александра I. Въ 1817 г. онъ уже сошелъ съ видной сцены, оставаясь впрочемъ до самой смерти (въ 1833 г.) членомъ главнаго правленія училищъ. (См. о немъ статью въ Современникъ 1856 г. №№ 3 и 4).

ческой рубрики, но въ отдѣлѣ науки и критики онъ часто затрогивалъ политическіе вопросы и рѣшалъ ихъ въ смыслѣ достаточно свободномъ для своего времени. Онъ защищалъ не только новый слогъ противъ нападеній Шишкова, но и новыя понятія о наукѣ, воспитаніи и государственномъ устройствѣ.

Двѣ главныя задачи выставлялись на видъ «Сѣвернымъ Вѣстникомъ»: 1) усовершенствованіе воспитанія и 2) начертаніе новаго уложенія законовъ. По первому вопросу Мартыновъ сходился съ Пнинымъ, т. е. требовалъ, чтобы воспитаніе и обученіе сообразовались съ потребностями различныхъ классовъ народа. Крестьянину, по его мнѣнію, нужно было давать въ общественныхъ училищахъ только такія познанія, которыя сопряжены съ его отношеніями и нуждами его состоянія: «поправить соху, употребить простое механическое средство къ уменьшенію числа рукъ въ работѣ есть для него неоцѣненное приобрѣтеніе». «Но — продолжаетъ авторъ — поселянинъ долженъ пользоваться только практическимъ приведеніемъ въ дѣйствіе и выгодною изобрѣтенія: изученіе же ведущихъ къ тому математическихъ истинъ, сопряженное съ многочисленными предварительными свѣдѣніями, не должно лишать его времени, столь нужнаго для воздѣлыванія земли. Вообще, всякій человѣкъ, снискивающій себѣ пропитаніе тяжелой работой, выходитъ изъ своего состоянія, если возбуждается въ немъ наклонность къ умственнымъ упражненіямъ». «Сѣверный Вѣстникъ» хвалилъ книгу Гельмана, въ которой границы народнаго образованія опредѣлялись слѣдующимъ образомъ: «Не всѣ состоянія народа должны получать одинаковое просвѣщеніе. Науки, такъ называемыя, свободныя художества и всѣ тѣ наставленія, кото-

рыя составляютъ воспитаніе челоѣка государственнаго, со-
всѣмъ неприличны для черни и даже вредны въ отношеніи
въ общественному благоденствію. Сохрани насъ Богъ, если
весь народъ будетъ состоять изъ ученыхъ, діалектиковъ, за-
мысловатыхъ головъ. Но крайне несправедливо было бы от-
казать народу въ пособіяхъ начального образованія». Чита-
тель спросить, можетъ быть, съ недоумѣніемъ: въ чемъ же
заключается заслуга Мартынова, отстаивавшаго подобныя
мысли о народномъ просвѣщеніи? Чтобы понять и эту за-
слугу, и относительный либерализмъ «Сѣвернаго Вѣстника»,
нужно вспомнить, что говорила въ то время противная сто-
рона; иначе, по сравненію съ современнымъ взглядомъ на
тотъ же предметъ, идеи Мартынова покажутся чистѣйшимъ
обскурантизмомъ. Самъ Гельманъ говоритъ, что не всѣ пи-
сатели согласны съ его мнѣніями, и что многіе изъ нихъ
«смотрятъ на просвѣщеніе, какъ на опасное
орудіе въ рукахъ народа». Эти злонамѣренныя пи-
сатели (какъ напр. Жозефъ де Местръ и др.) нападали
на первый базисъ науки—на тотъ скептицизмъ и критиче-
ское отношеніе къ дѣйствительности, отъ которыхъ рождаются,
по ихъ словамъ, гордость и само мнѣніе въ челоѣкѣ, и
стремятся «вредить обществу», т. е. сословнымъ приви-
легіямъ, религіознымъ предразсудкамъ, политическому застою.
Обскуранты предлагали держать, что называется, въ чер-
номъ тѣлѣ не только рабочій, трудящійся классъ народа,
но и все среднее сословіе: не давать имъ ни одной крупинки
просвѣщенія, какъ бы ни была эта крупинка мала и ничтож-
на сама по себѣ. Важно то, что, разъ выступивъ на эту
дорогу, дозволивъ народу отвѣдать «древа познанія», пра-

вительство, по ихъ мнѣнію, не будетъ уже въ силахъ остановиться, когда захочетъ, и естественное стремленіе освобожденныхъ умовъ повлечетъ его дальше и дальше. Политическая реакція въ Европѣ составила настоящій заговоръ противъ успѣховъ человѣческаго ума и не отступала ни передъ какими гнусными и іезуитскими средствами къ достиженію своей цѣли. На революцію указывали, какъ на неизбѣжный результатъ умственного развитія народа; чтобы избѣжать ея, совѣтовали, прежде всего, видѣть въ народѣ естественнаго врага своихъ правительствъ. Для правителя, слѣдовательно, сочинялась такая дилемма: или будь обскурантомъ и наслаждайся мирно всѣми выгодами своего положенія, или заботься о просвѣщеніи, но сиди на вулканѣ. Подобные взгляды проникали уже къ намъ раньше и, безъ отпора со стороны самого безгласнаго общества, гнули и тѣснили его по произволу, приписывая ему такіе вредные, революціонные замыслы, о которыхъ оно и помыслить не смѣло. Вспомнимъ, какой переполохъ произвели у насъ весьма невинныя по мысли масонскія изданія Новикова; вспомнимъ, что Радищевъ уподоблялся, по своей вредности, Пугачеву... Александра І также запугивали перспективой разврата, разливающегося изъ заведенныхъ имъ университетовъ и гимназій. Въ приведенныхъ нами стихахъ Державинъ говорилъ, что просвѣщеніе и лишняя доброта царя повели во Франціи къ взрыву буйныхъ страстей; Шишковъ, въ свою очередь, напиралъ на упадокъ нравственности и религіознаго благочестія, какъ на слѣдствіе школьнаго обученія и вредныхъ книгъ. Рядомъ съ этими мнѣніями поставимъ другое, нашедшее себѣ пріюти и защиту въ журналѣ Мартынова: «Привыкли уже

мы слышать нареканіе, что просвѣщеніе въ наши времена произвело на западѣ страшныя неустройства. Не оно, а невниманіе къ нему. Сто лѣтъ уже, какъ оно, развиваясь естественно въ народахъ, просило тамъ правителей пожалѣть о человѣчествѣ и примѣняться постепенно къ духу вѣка своего; оно просило, ему не внимали, его презирали, тѣснили, терзали; симъ самымъ оно укрѣпилось, сорвало личину съ предразсудковъ, злоупотребленій и лести, и умоляло; но неправды и своенравіе въ закоренѣлости своей торжествовали надъ народомъ безпечно и безстыдно. Оно издали предвѣщало громовыя тучи и нимало уже не виновно въ томъ злѣ, которое учинено буйствомъ ожесточеннымъ. Но какъ можно любить науки? всякій захочетъ быть умнѣе и съ достоинствами, и чѣмъ избранные только отличались, то будетъ не въ рѣдкости; онѣ не позволяютъ обманывать и обольщать людей: обманъ легко вскроется; не дають обидѣть сосѣда: сосѣдъ умѣетъ защитить свое право! мѣшаютъ жить на счетъ общаго добра: всѣ за него вступятся! Онѣ смѣлы и страшны, преслѣдуютъ злодѣя въ самую его душу—какъ можно не сердиться на нихъ? Онѣ обличаютъ ту неядца празднаго, который жнетъ, гдѣ не сѣетъ,—и смѣются, если величается родомъ отъ знатныхъ предковъ и пустотою поведенія, и богатствомъ, которое скоро разсыплется. Жестокія, онѣ такъ язвительно смѣются и такъ самонадежны и довольны! Подлинно, въ самолюбіи человѣческомъ столь много есть причинъ, побуждающихъ чуждаться наукъ, не признавать добра, отъ нихъ получаемого, и не желать ихъ распространенія. Однако, просвѣщенія ни-

какою силою остановить невозможно, когда оно воспріяло ходъ свой; оно, какъ Протей, въ разныхъ видахъ повсюду возникаетъ. Остается за благо временно усматривать необходимость и важность ученія по мѣрѣ надобностей вѣка: дабы правительство не оставалось позади успѣховъ народнаго смысла и всегда имѣло достаточное число людей всякаго званія для своихъ дѣйствій во благо народа». (См. Сѣв. Вѣстн. 1805 г. № XII; рѣчь при открытіи гимназій въ землѣ Войска Донскаго).

Сблизивъ между собою два эти мнѣнія, мы поймемъ безъ труда заслугу Мартынова. Рядомъ съ защитою просвѣщенія, въ первыхъ же номерахъ «Сѣвернаго Вѣстника» за 1804 г. открылась горячая полемика между двумя противоположными взглядами на систему школьнаго обученія. Враги умственнаго развитія народа, примиряясь съ наукой, какъ съ необходимымъ зломъ, желали обезсилить ее, по крайней мѣрѣ, учебною формалистикой, строгою регламентаціей, которая не допустила бы въ школу ни одной свободной мысли, неподходящей подъ рубрики установленной программы.

Съ этою мыслью нѣкто Б. С. прислалъ въ редакцію «Сѣвернаго Вѣстника» свой проектъ школьнаго преподаванія, въ которомъ важны и любопытны слѣдующіе пункты: «1) Для очищенія всякаго рода ученія, тѣмъ болѣе нравоучительнаго, отъ злоупотребленій, для достиженія надежнѣйшихъ успѣховъ въ ученіи — предложить награжденія за сочиненіе на разныхъ языкахъ плановъ, заключающихъ въ себѣ удобнѣйшій порядокъ обученія всякой той наукѣ, которой можно обучать единообразно, и всякому языку, сколько то возможно, съ раздѣленіемъ ученія на ежедневные уроки; 2)

полученныя пособія, разсмотрѣнныя ученѣйшими и искуснѣйшими (людьми), кому поручено будетъ отъ главнаго правленія училищъ, и представленныя съ мнѣніями о каждомъ, подали бы случай одобрить и удостойть награжденія только одинъ (?) для всякаго ученія лучшій. 3) Какъ удивляютъ всѣхъ зрителей скорые и хорошіе успѣхи въ военныхъ эвзерциціяхъ отъ того, что всякому обучающемуся солдату предписана единообразная и непремѣнная метода, такъ равномерно можно ожидать скорыхъ и хорошихъ успѣховъ въ наукахъ и языкахъ, единообразно преподаваемыхъ. 4) Надзираніе за учителями потребнѣе, нежели за учениками, дабы они не теряли времени, на обученіе опредѣленнаго. Для надежнѣйшихъ успѣховъ потребно еженедѣльное испытаніе учениковъ чрезъ опредѣленнаго на то посторонняго воспитателя. 5) Посредствомъ печатныхъ методъ всякій отецъ или воспитатель и всякій посторонній можетъ испытывать всякаго ученика: знаетъ ли то, что долженъ узнать. 6) Сей способъ удобнѣе можетъ избавить Россію нетовмо отъ ненужнаго и безполезнаго ученія разныхъ предметовъ, на которые теряютъ драгоцѣнное время, но и отъ многоразличныхъ въ наукахъ заблужденій, коими зараженные въ разныхъ государствахъ отъ обучающихъ по своей волѣ, вовлекаемы сами, и другихъ вовлекаютъ въ развратнѣйшія мысли и дѣянія, даже въ самоубійство. Во многихъ сочиненіяхъ славнѣйшихъ древнихъ и новыхъ учителей можно найти опасныя заблужденія, которыя весьма нужно предупреждать предписанными методами и ученіями, дабы не было въ Россіи такого постыднаго

въ наукахъ разномыслія, каковое посрамля-
етъ ученѣйшихъ въ другихъ европейскихъ
областяхъ, гдѣ позволено учить отроковъ и юношей
какъ кто хочетъ. 7) Споры между учеными происходятъ отъ
несогласія съ одинакою для всѣхъ правдою. 8) Отчего въ
англійскомъ парламентѣ бѣольшая часть узаконеній всегда
почти бываетъ оспариваема? Отчего между судьями объ одномъ
дѣлѣ и по однимъ законамъ бываютъ разныя мнѣнія? Отчего
между учеными объ одной наукѣ разныя утвержденія? Главная
сему причина—недостатокъ единообразнаго обу-
ченія отъ разномысленныхъ учителей». — Пе-
чатая этотъ скалозубовскій проэктъ, предлагавшій, задолго
до Грибоѣдова, «фельдфебеля въ Вольтеры», —издатель, въ при-
мѣчаніи къ нему, оставилъ за собой право сдѣлать на него воз-
раженія. Возраженія появились въ слѣдующей книжкѣ. (См.
№ 2 Сѣв. Вѣст. 1804 г.). Здѣсь отдается честь автору за
его «желаніе быть полезнымъ отечеству», но самый проэктъ
рѣшительно отвергается. Издатель говоритъ, что, въ силу
этого проэкта, «умы людей должны дѣйствовать не иначе,
какъ по флигельману», и вооружается противъ него мнѣні-
емъ Шапталя, высказаннымъ по поводу однороднаго пред-
ложенія — завести во Франціи учебники, обязательные для
всѣхъ профессоровъ и учителей. «Свобода въ способахъ уче-
нія—говоритъ Шапталъ,—столько же естественна и полезна,
какъ и свобода самаго ученія. Ограничить оное общими ме-
тодами и заключить въ предѣлахъ, предписанныхъ властью,
значило бы истребить наилучшее свойство онаго—независи-
мость. Когда хотятъ все предвидѣть, все предписывать уста-
вами, то препятствуютъ тѣмъ счастливымъ развитіямъ, тѣмъ

неисчерпаемымъ пособіямъ, которыя служатъ плодомъ воображенія и отличныхъ талантовъ, свободныхъ отъ всякаго принужденія.... Способъ обученія долженъ перемѣняться не только по разнымъ способностямъ учителей, но и учениковъ. Назначить каждому учителю родъ науки, которой онъ долженъ обучать, опредѣлить ему время для преподаванія оной есть долгъ правительства; но предписать ходъ идеямъ, положить предѣлы мысли и средствамъ къ раскрытію оной есть самый неносимѣйшій родъ тиранства».

Взглядъ на политику и государственное устройство выражается, въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», въ тенденціозныхъ переводахъ изъ Тацита, Гиббона, Монтескье, Гольбаха и др. писателей. Изъ Тацита брались обыкновенно рѣзкія филиппики противъ тирановъ; изъ Гольбаха переведена почти цѣликомъ «La politique naturelle». Цѣль этой книги — поставить политическія науки на здравыя начала, откинувъ «отвлеченныя и метафизическія понятія». Источникомъ общественной жизни полагается въ ней чувство общежитія, свойственное каждому человѣку, укрѣпляемое привычкою и совершенствуемое разумомъ. Изъ чувства общежитія возникаетъ любовь къ обществу. «Для собственныхъ своихъ выгодъ люди вступаютъ въ общество, и общество обязано доставить человѣку благосостояніе или содержать таковой порядокъ, чтобъ каждый членъ общества пользовался всѣми выгодами, какія совместны съ намѣреніемъ общежитія». Человѣкъ даромъ, безъ замѣны, никогда не налагаетъ на себя яга зависимости. Когда же общество, или управляющіе имъ, вмѣсто того, чтобы доставить членамъ его всѣ

возможныя блага, угнетаютъ ихъ волю, принуждаютъ дѣлать «безполезныя и горестныя пожертвованія», стѣсняютъ ихъ трудолюбіе и промышленность, не доставляя даже простой безопасности — тогда человѣкъ не имѣетъ никакой нужды въ обществѣ; онъ бѣжитъ отъ него: привязанность его къ обществу умираетъ. Онъ отдѣляется отъ общества, дѣлается ему врагомъ и ищетъ своего благополучія средствами, вредными его сочленамъ. Въ обществѣ, худо управляемомъ, почти всѣ люди бываютъ другъ другу врагами. Тогда человѣкъ для человѣка дѣлается звѣремъ. Нормальная власть основывается единственно на своей способности творить добро, покровительствовать, руководствовать и доставлять благополучіе. Неравенство же природныхъ способностей не можетъ быть причиною зла; оно, напротивъ, есть истинное основаніе благополучія. Каждый приносить обществу свою долю пользы, смотря по силамъ, и то, чего недостаетъ ему, требуетъ и получаетъ отъ другихъ. Изъ этихъ коренныхъ понятій Гольбахъ выводилъ всѣ дальнѣйшія политическія функціи. Такъ какъ потребности общества измѣняются, смотря по степени его развитія, то отсюда слѣдуетъ, что «законы гражданственныя», примененные къ обстоятельствамъ и нуждамъ общества, должны измѣняться вмѣстѣ съ ними. «Общества человѣческія, подобно тѣламъ естественнымъ, подвержены переменамъ; слѣдовательно, одни и тѣ же законы не могутъ приличествовать имъ въ разныхъ обстоятельствахъ». Но законы гражданскіе не слѣдуетъ смѣшивать съ «законами естественными», т. е. съ естественнымъ правомъ человѣка на свободу и благополучіе, которое не можетъ быть отмѣнено никакими законами

и, по существу своему, должно оставаться неизмѣннымъ. Тому же естественному регулятиву подчиняются и права человѣческихъ массъ, т. е. народовъ; ихъ взаимными отношеніями также долженъ руководить принципъ пользы, извлекаемой изъ мирнаго общежитія. Тѣмъ не менѣе цѣлому народу дозволяется, по ошибочному взгляду, грубое насиліе, потому что «одна сила рѣшаетъ всѣ ихъ распри: самовольныя ихъ дѣянія смѣшали съ правомъ и изъ того заключили, что существа, которымъ ничто не можетъ противиться, должны имѣть особое произвольное уложеніе».

Объ этихъ военныхъ расправахъ народовъ, рѣшаемыхъ силой, говорится въ разборѣ книги: «Разсужденіе о мирѣ и войнѣ», вышедшей въ Петербургѣ въ 1803 г. и составленной по сочиненію Б. Сень-Пьера: «Projet de paix regrettuelle». Рецензентъ «Сѣвернаго Вѣстника» начинаетъ свой разборъ сожалѣніемъ, что у насъ «очень рѣдко заглядываютъ въ такія книги; предубѣжденіе, или собственно недоразумѣніе, причиною того, что всякій навѣрно полагаетъ: если книга философическая, то она скучна и къ тому же невнятно и тяжелымъ слогомъ писана». Рецензентъ дѣлаетъ изъ этой книги пространныя извлеченія и добавляетъ къ нимъ свои собственные примѣчанія, по большей части, въ хвалебномъ тонѣ. Но иногда онъ рѣшается и возражать.

Такъ напр. авторъ «Разсужденія» говоритъ: «Привычка дѣлаетъ насъ ко всему равнодушными. Ослѣплены оною, мы не чувствуемъ всей лютости войны... Время намъ оставить сіе заблужденіе и истребить зло, подкрѣпленное всего болѣе невѣжествомъ». «Если мы къ чему нибудь привыкли, — замѣчаетъ рецензентъ, — то отъ онаго можемъ современемъ

отвыкнуть. Привыкли мы къ войнѣ отъ невѣжества, отвыкнуть отъ нея должны съ истиннымъ просвѣщеніемъ».

Затѣмъ авторъ книги опровергаетъ разные доводы въ пользу войны и исчисляетъ происходящія отъ нея бѣдствія. Его рѣзкія осужденія всѣ выписаны рецензентомъ. «Войны, говорится въ книгѣ, начались въ тѣ несчастныя времена, когда родъ человѣческій сталъ развращенъ, когда люди оставили природную невинность, когда они пришли въ то несчастнѣйшее природы состояніе, въ коемъ, не довольствуясь малымъ, захотѣли имѣть всего и не знали другого права, кромѣ права гибельнѣйшаго,—права, лишающаго человека всѣхъ правъ — права разбойниковъ и грабителей... Праздныя толпы монаховъ, коихъ благоденствіе зависѣло отъ невѣжества народовъ, питали оное, и большая часть людей воздавали нелѣпое почтеніе тѣмъ роскошнѣйшимъ и богатѣйшимъ монахамъ (т. е. папамъ), которые сдѣлали бога мира богомъ войны и обратили священный его законъ въ орудіе своихъ страстей». Что касается бѣдствій войны, то авторъ обращаетъ особенное вниманіе на экономическую ихъ сторону: «Правленія думаютъ, что довольно для бѣдныхъ завести милостинныя учрежденія, но онѣ суть слабыя вспомошествованія умножающейся бѣдности. Сіи учрежденія сдѣланы для нищихъ; но не одни тѣ нищіе, которые просятъ; цѣлыя провинціи и знатная часть жителей большихъ городовъ страдаютъ отъ бѣдности... Если люди преданы пьянству, если они грабятъ и убиваютъ, то не поношенія, а сожалѣнія и слезы они достойны; крайность ихъ побуждаетъ къ злодѣйству, бѣдность и нужда приводятъ ихъ въ отчаяніе и искореняютъ въ нихъ человѣколюбіе и стыдъ».

Но отъ такого радикализма отказывается уже, однако, и самъ рецензентъ, которому почудилась, на этотъ разъ, чуть ли не пропаганда разбоя и грабежа. Онъ наставительно замѣчаетъ: «однако же, не взирая на сожалѣніе и слезы сострадающихъ о такихъ людяхъ, они должны, для спокойствія общественнаго, быть наказываемы или удержаны въ своихъ распутствахъ попеченіемъ правительства; вотъ что слѣдовало бы г. сочинителю тутъ прибавить». Впрочемъ, вся книга, въ главныхъ своихъ чертахъ, признана въ высшей степени полезною для русской публики, которая, на самомъ дѣлѣ, была очень склонна увлекаться подвигами «екатеринскихъ орловъ» и считать военный успѣхъ—верхомъ государственнаго величія.

Свобода печати была также предметомъ симпатіи «Сѣвернаго Вѣстника».

Въ № 8-мъ 1804 г. напечатано, съ одобрительною замѣткою, «Мнѣніе короля шведскаго Густава III-го». Король говорилъ: «Чтобы не попасть опять въ прежнія, ужасныя времена, должно, чтобъ подкрѣпляемая и покровительствуемая свобода книгопечатанія употреблена была для показанія всему обществу истиннаго его блага и для открытія государю мнѣнія народа. Еслибы таковая свобода позволена была въ предъидущихъ вѣкахъ, чтобъ дать познать государю истинныя его пользы, находящіяся въ благосостояніи его подданныхъ, то король Карлъ XI вѣроятно не издалъ бы повелѣній насчетъ всеобщаго благосостоянія. Сіи указы привели въ омерзѣніе королевскую власть и приготовили слѣды къ тому раздору, который похитилъ у королевства

области въ царствованіе Карла XII-го,—къ раздору, коего горькими плодами были всѣ недавно прекращенные безпорядки. Еслибы свобода книгопечатанія могла научить Карла XII, въ чемъ состояла его истинная слава, то сей великодушный государь предпочелъ бы управлять счастливымъ народомъ и не пожелалъ бы царствовать въ пространномъ, но безлюдномъ государствѣ. Въ Англіи свобода книгопечатанія запрещена была, когда Карлъ I былъ обезглавленъ, и когда укрывающійся Яковъ II оставилъ престолъ предковъ своему любочестивому зятю. Сей народъ законно пользовался такимъ правомъ при концѣ царствованія Вильгельма III, или въ началѣ царствованія ганноверскаго дома, который владѣетъ теперь англійскимъ престоломъ съ бѣльшею славою и безопасностью, нежели всѣ предшествовавшіе ему. Хотя Вильгельмъ и произвелъ нѣкоторыя мятежныя движенія, но ихъ должно приписать болѣе неблагоразумному вниманію, оказанному правительствомъ его твореніямъ, нежели происшедшему отъ нихъ минутному чувствованію, которое оставило впечатлѣніе непродолжительнѣе того, которое оставляютъ и другія сего рода сочиненія... Знаніе всего производства дѣлъ въ присутственныхъ мѣстахъ, всѣхъ приговоровъ и того, что относится вообще къ судьямъ, должно быть неотъемлемо позволено публикѣ».

Эту рѣчь шведскаго короля, произнесенную въ засѣданіи сената (18 апрѣля 1774 г.), переводчикъ называетъ «достопримѣчательною» (*). Насчетъ печатанія судебныхъ рѣшеній

*) Бѣльшая часть переводовъ и важнѣйшія изъ оригинальныхъ

переводчикъ говоритъ въ выносѣ, что и у насъ положено тому начало указомъ 8 сентября 1802 г., повелѣвшимъ, чтобы въ вѣдомостяхъ кратко объявлялись рѣшенныя въ Сенатѣ дѣла. Но онъ находитъ это недостаточнымъ и предлагаетъ печатать всѣ судебныя приговоры; а такъ какъ для этого не нашлось бы мѣста въ вѣдомостяхъ, то переводчикъ проектируетъ особое изданіе подъ именемъ: «Памятникъ русскаго правосудія».

«Судья—говоритъ онъ,—подписывающій рѣшеніе судьбы равнаго, а часто высшаго его степенью согражданина, подвергнувшагося суду, съ трепетомъ и съ чистою совѣстью принимался бы за перо, зная, что дѣло его, вмѣсто того, чтобы быть въ забвеніи въ архивѣ, извѣстно будетъ свѣту и потомству».

Къ Великобританіи и ея государственному устройству «Сѣверный Вѣстникъ» чувствовалъ гораздо больше уваженія, чѣмъ «Вѣстникъ Европы». Онъ даже напечаталъ проектъ преобразованія (присланный въ редакцію постороннимъ лицомъ), по которому на русскую почву могли быть пересажены англійскія общественныя учрежденія. «Никакой народъ—говоритъ авторъ проекта—въ наше время не заслуживаетъ большаго вниманія, какъ народъ великобританскій. Въ составъ правленія его введены всѣ благотворныя слѣдствія замѣчаній тысячи вѣковъ: введено положительное знаніе о человѣкѣ. Великобританія есть монархія, но не видимъ мы въ ней вредныхъ неудобствъ статей въ журналѣ принадлежатъ, вѣроятно, самому Мартынову: въ то время, въ редакціяхъ было мало постоянныхъ сотрудниковъ, и редакторъ (онъ же, обыкновенно, издатель) былъ заваленъ работою, часто не по силамъ. На эту тяжесть журнальнаго труда печатно указывалъ Карамзинъ.

власти цесарей; Великобританія есть аристократія, но не видимъ мы въ ней угнетательной гордости патриціевъ; Великобританія есть въ то же время и демократія, но не потрясается она буйствомъ наибольшаго отдѣленія народа». Патріотизмъ возвысилъ, по мнѣнію автора, эту страну на высокую степень развитія — патріотизмъ, который проистекаетъ изъ любви къ свободнымъ учреждениямъ, гарантирующимъ человѣку его естественныя права.

«Британецъ привязанъ къ государю своему, потому что онъ участвуетъ съ нимъ въ постановленіи законовъ... Британецъ любитъ своихъ перовъ, или преимущественныхъ главъ дворянскихъ семействъ, потому что они раздѣляютъ съ нимъ трудъ въ народныхъ постановленіяхъ, потому что существуетъ одинъ законъ для всѣхъ состояній, и потому что перъ благороднымъ своимъ имуществомъ отлично роскошествуетъ въ ободреніи ремеслъ и, слѣдовательно, питаетъ многихъ полезныхъ согражданъ». Но если патріотизмъ такъ силенъ и плодотворенъ въ Англіи, то отчего же не приноситъ ему подобной же пользы и въ Россіи?

Для этого авторъ проекта даетъ совѣтъ: «Чтобъ какое либо государство могло возвести себя на нѣкоторую степень сравненія съ Великобританіей, — правленію надлежитъ принимать не робкія, но дальновидныя и великодушныя мѣры; преимущественно дворянское отдѣленіе народа да содѣлается имущимъ и чрезъ то значащимъ и могущимъ заслуживать уваженіе всѣхъ прочихъ состояній. Для сего правленіе должно положить преграды пагубному размноженію дворянства... Постановивъ дворянское до-

стоинство наградою за самую отличную или весьма долго-временную службу отечеству, положится нѣкоторая преграда размноженію дворянства; я сказалъ бы, что необходимо нужно и далѣе положить преграды размноженію дворянъ даже въ самыхъ семействахъ ихъ (подразумѣвается маіоратъ), ежели бы не видѣлъ чрезвычайныхъ, для приведенія сего вдругъ въ дѣйство, трудностей. Между симъ постановленіемъ и первымъ требуется нѣкоторое пространство времени. Черезъ таковое учрежденіе государство увеличитъ свое среднее состояніе людей, усиленно клонящееся къ принятію какого нибудь постояннаго ремесла... Дѣти всякаго чиновника, не имѣя права напыщаться дворянскимъ сословіемъ, не нашли бы другого средства отличить себя отъ простолюдиновъ, какъ чрезъ науки, изящныя искусства и художества... Дворянство само, чрезъ бѣольшую исключительность правъ своихъ, начало бы уважать свое состояніе и пещись рачительнѣе о собственности семействъ своихъ. Слѣдовательно невѣжливая (sic) роскошь уменьшилась бы: благородныя имущества остепенились бы» и пр. и пр. И такъ первая мѣра должна коснуться дворянства, постепенно вводя его въ рамки англійской аристократіи. Далѣе, авторъ проэкта требуетъ законовъ, равныхъ для всѣхъ сословій... Объ уничтоженіи крѣпостнаго права говорится намекомъ: «рогатый скотъ, овцы, лошади и прочіе (курсивъ въ подлинникѣ), находясь въ чьемъ либо исключительномъ владѣніи, препятствуютъ свободному употребленію и развитію произведеній». Чтобы уничтожить эти препятствія къ развитію народнаго богатства, но вмѣстѣ съ тѣмъ не нарушить привилегій, «злоупотребленіемъ постановленныхъ,

временемъ утвержденныхъ», авторъ предлагаетъ вознагра-
дить за потерю ихъ казенными землями, которыя остаются
необработанными и не приносятъ никому пользы.

«Пусть правленіе—говоритъ онъ—по справедливости со-
блюдая сокровища государственныя, щедро раздаетъ тѣ без-
полезныя ему земли въ промѣнъ за вышеупомянутые пред-
меты (выше упоминаются привилегированные торги, заводы и
крѣпостные люди), которые оно, пріобрѣвъ, по свойству
каждаго изъ нихъ, или присвоить въ особенности себѣ (здѣсь
разумѣются крестьяне), или снабдить оными прилежныхъ,
но скудныхъ землевладѣльцевъ». (См. Сѣв. Вѣстн. 1805 г.
№ 2 и 3).

Во всемъ этомъ проектъ ярко выразилось то самое либераль-
ное направленіе съ англomanскимъ оттѣнкомъ, котораго дер-
жался Новосильцевъ и другіе приближенные молодаго импера-
тора; можно думать даже, что проектъ и былъ написанъ кѣмъ
нибудь изъ вліятельныхъ лицъ. На это указываетъ, между
прочимъ, поползновеніе къ аристократизму, желаніе учредить
на Руси нѣчто въ родѣ англійскаго пэрства, которому при-
писывалась волшебная сила—создавать разомъ политическую
свободу въ странѣ. Стоитъ только завести пэровъ—и «дво-
рянскія имущества остепенятся», среднее сословіе устремит-
ся къ наукѣ, патріотизмъ разовьется въ Россіи; словомъ,
господняя весь слетитъ на землю. Несмотря на свою яв-
ную несостоятельность и противорѣчіе основному духу рус-
ской исторіи, подобная попытка пересадить къ намъ типич-
ческую форму англійскаго быта гнѣздилась долго въ из-
вѣстныхъ кружкахъ и до сихъ поръ составляетъ предметъ
тайныхъ воздыханій нѣкоторыхъ нашихъ крѣпостниковъ.

Но въ оны дни это англоманство вязалось еще со многими хорошими стремленіями и не противорѣчило въ такой степени, какъ нынѣ, общественному развитію.

Впрочемъ, не всѣ литературные дѣятели—какъ мы увидимъ ниже—раздѣляли эту мысль о совершенномъ изолированіи дворянства, о вознесеніи его надъ всѣми остальными классами народа.

По части литературной критики, «Сѣверный Вѣстникъ» ввелъ окончательно въ моду ссылки на Франсуа-Лагарпа, съ которымъ русская публика познакомилась, кажется, впервые изъ «Вѣстника Европы» (См. Вѣстн. Евр. 1803 г. № 3 и 6). Въ то время, къ сожалѣнію, не привилась въ Россіи другая, стройно-созданная критическая система—Лессинга,—и Мартыновъ, какъ въ своемъ журналѣ, такъ и въ профессорскихъ лекціяхъ въ педагогическомъ институтѣ, руководствовался правилами тщедушной эстетики, возросшей во французскомъ псевдо-классицизмѣ. Впрочемъ въ его рукахъ псевдоклассическая теорія не сдѣлалась еще орудіемъ литературнаго застоя: не каждую мысль Лагарпа *) бралъ онъ съ безусловною вѣрою, а въ своемъ «Лицеѣ» даже прямо напалъ на него за безцеремонное обращеніе съ литературой XVIII-го столѣтія. «Смерть—сказано въ этомъ журналѣ—воспрепятствовала Лагарпу обругать Вольтера, Ж. Ж. Руссо и Кондорсе, а любопытно было бы видѣть, какъ бы онъ сталъ управ-

*) Этого Лагарпа (1754—1803), драматическаго писателя и представителя ложно—классической теоріи, не слѣдуетъ смѣшивать съ Фредерикомъ—Сезаромъ Лагарпомъ (1754—1838), воспитателемъ имп. Александра Павловича.

ляться на поединкѣ съ сими тремя колоссами. Въ томъ, что время дозволило ему докончить, онъ весьма часто говоритъ объ нихъ; это рядъ сшибокъ передъ большимъ сраженіемъ. По легкимъ войскамъ, впередъ имъ высланнымъ, можно заключить, каковъ бы былъ главный корпусъ: одни кривыя толкованія, недоразумѣнія и оскорбленія». Возраженія противъ Гельвеція слѣдовало писать, по мнѣнію «Лицея», другимъ слогомъ, т. е. съ бѣльшимъ уваженіемъ къ философской мысли; насчетъ же пріемовъ Лагарпа въ восхваленіи Кондильяка рецензентъ выражается такъ: «метода Лагарпа состоитъ въ томъ, чтобы пользоваться Локкомъ для удержанія Кондильяка всякій разъ, когда онъ пойдетъ далѣе его, и Кондильякомъ для удержанія философовъ, его учениковъ и продолжателей его открытій, какъ скоро они, хотя на шагъ, пойдутъ далѣе своего учителя. Сомнительно, чтобы сія система была очень благопріятна для успѣховъ ума человѣческаго». Намъ извѣстно также, что и позднѣе, при болѣе живомъ направленіи русской поэзіи, Мартыновъ не становился ему поперекъ дороги и сочувствовалъ дѣятельности Пушкина. При этомъ онъ говорилъ, что не принадлежитъ къ тѣмъ «сухимъ педантамъ», которые «въ смѣлыхъ порывахъ зрятъ дерзкое стремленіе», и которымъ «новый блескъ» омрачаетъ глаза. Это не то, что Каченовскій, нападавшій до изступленія на пушкинскаго «Руслана» за его литературный либерализмъ.—Въ программѣ «Лицея» 1806 г. мы видимъ новый отдѣлъ—политику, которая ограничивалась впрочемъ краткимъ перечнемъ текущихъ событій.

IX.

«Періодическое изданіе Общества любителей словесности». — Теорія общественнаго воспитанія, изложенная въ немъ. — Политическія статьи въ «Геніи времени». — Переписка въ отзывахъ русской прессы о Наполеонѣ. — «С.-Петербургскій Вѣстникъ». — Толки объ освобожденіи крестьянъ въ правительственныхъ сферахъ и въ печати. — Осужденіе трансцендентальной философіи. — Воинственный отголосокъ 1812 года. —

Англоманская попытка обособить дворянство въ средѣ другихъ сословій, снабдивъ его новыми привилегіями, представляла только извѣстную струю, но не господствующее направленіе въ русской журналистикѣ. Одновременно съ нею мы встрѣчаемъ другое, болѣе рациональное стремленіе — объединить, путемъ воспитанія, интересы различныхъ классовъ народа, уничтожить вредный эгоизмъ, семейный или сословный, идущій въ разрѣзъ съ требованіями общенародной пользы. Въ такомъ духѣ написана статья В. Попова, занимающая видное мѣсто въ «Періодическомъ изданіи общества любителей словесности» на 1804 годъ. Статья состоитъ изъ пяти главъ, подъ особыми названіями, въ которыхъ говорится о политическомъ развитіи вообще, о необходимости политическаго воспитанія и объ «ученыхъ предметахъ», могущихъ служить къ развитію общественнаго духа въ воспитанникахъ. Авторъ, прежде всего, отстаиваетъ общественное воспитаніе въ противоположность семейному. «Правда — говоритъ онъ — общественное воспитаніе, въ дѣтствѣ, сколько выѣдряетъ въ сердце наше изящныхъ добро-

дѣтелей, сколько способствуетъ къ развитію силъ душевныхъ и тѣлесныхъ, столько часто,—если пренебреженъ будетъ строгій присмотръ за нравами,—даетъ сильно распространяться порокамъ, кои, подобно пламени, находящему богатую пищу между дѣтьми юными и пылкими, вдругъ пожираютъ множество поколѣній и распространяютъ оное еще на многія. Сія точка есть одна изъ важнѣйшихъ, гдѣ око законодателя и его исполнителей должно быть наиболѣе предвидящее. Добрые нравы въ гражданахъ необходимѣе самого просвѣщенія, но безъ просвѣщенія добрые нравы рѣдки; по крайней мѣрѣ, оныя не имѣютъ полезнаго направленія. Многіе утверждаютъ, что семейственное воспитаніе сохраняетъ чистоту нравовъ и непорочность юныхъ сердець: — нѣтъ ничего истиннѣе, но токмо тогда, когда дѣти имѣютъ добродѣтельныхъ, просвѣщенныхъ родителей, а сіе столь рѣдко, что когда дѣло идетъ о цѣлости народа (т. е. о цѣломъ народѣ)—въ основное положеніе не прие́м-летсѣ. Но положимъ, еслибъ сему было и противное, то самыя семейственныя предубѣжденія достаточны исказить самую благоразумную нравственность. Даже и тогда, когда бы просвѣщеніе было удѣломъ цѣлости народовъ, семейственное воспитаніе можетъ научить токмо людей быть добрыми отцами, супругами, родственниками, но никогда совершенными гражданами. Эгоизмъ, удѣлъ всѣхъ людей, и, можетъ, не токмо необходимый, но и полезный въ пѣкоторыхъ отношеніяхъ, будетъ ихъ всегда отдалять отъ чувства общности. Ибо люди, воспитанные въ семействахъ, почитаютъ себя обществу ничѣмъ не одолжен-

ными; привычка къ выгодамъ общественнымъ дѣлаетъ имъ непримѣтнымъ благо, неощущенной связью гражданскихъ выгодъ на нихъ изливаемое; они видятъ во всемъ одни условія *) и нимало не думаютъ: сколько вѣбровъ и сколь напряженія геніевъ стоило природѣ, дабы образовать связь благодѣтельную сообщества и потому, какимъ пожертвованіемъ сіе каждого обязываетъ къ пользѣ онаго. Одно общественное воспитаніе, одно такое воспитаніе, направленное къ моральной цѣли, даетъ гражданину чувствовать, съ самаго его младенчества, что государственное общество печется о его благѣ, что оно ему не менѣе благодѣтельствуетъ, но еще болѣе, какъ самые родители, ибо первые показываютъ ему токмо выгоды семейственныя, кои сами оснуются на выгодахъ общественныхъ,—въ то время, когда такое воспитаніе показываетъ ему все назначеніе, коимъ онъ обязанъ къ согражданамъ за тѣ блага, кои соединеніе ихъ (т. е. гражданъ) на него изливаютъ». Это общественное воспитаніе, кромѣ элемента моральнаго, требуетъ еще направленія политическаго, которое состоитъ въ томъ, чтобы объяснить каждому воспитаннику причину его обязанностей къ обществу, указать благо, соединенное съ исполненіемъ этихъ обязанностей, и научить средствамъ служить обществу съ наибольшею выгодною для гражданъ и себя самого. Такое направленіе можетъ существовать, по понятію автора, только въ томъ случаѣ, когда государство возьметъ на себя обязанность просвѣтить весь народъ, безъ различія, въ духѣ одинаковыхъ правилъ общежитія. Про-

*) Т. е. условія, уже данныя временемъ, въ которое они живутъ.

тивъ односторонности воспитанія, приноровленнаго исключительно къ потребностямъ высшаго класса, авторъ возстаетъ очень сильно и призываетъ себѣ на помѣщь наказъ Екатерины II. «Сіе влечетъ за собою—говорится во второй главѣ статьи—предубѣжденіе знатности, гордость породы и презрѣніе къ низшимъ классамъ. Оныя образуютъ духъ дворянства и сѣютъ въ гражданскихъ классахъ взаимную, такъ сказать, антипатію. Во Франціи, въ старомъ правленіи, презрѣніе дворянства къ простолюдинамъ возросло до удивительной степени; дворянинъ почиталъ за самый великій стыдъ не токмо входить въ какія либо связи съ простымъ гражданиномъ, но даже быть въ одномъ мѣстѣ; въ Германіи, во время Іосифа II, дворянство требовало имѣть даже особые гульбища отъ народа. Въ Англіи одинъ знаменитый писатель находилъ, что бессмертный авторскій талантъ и его творенія были предосудительны его знатности. Великая Екатерина, вмѣстѣ съ Петромъ Великимъ, столько содѣйствовавшая къ утвержденію въ Россіи смѣшаннаго монархическаго правленія, мудро предвидѣла и долженствующее необходимо укорениться въ ономъ раздѣленіе состоянія гражданъ, на основаніи бессмертнаго Монтескье необходимаго; предвидѣла и предубѣжденія, впоследствии содѣйствовавшія къ разрушенію сильной монархіи Бурбоновъ и предупредила то: бессмертный законъ,—лишающій дворянина всѣхъ правъ на почтеніе и даже голоса въ дворянскомъ обществѣ, если онъ не заслужилъ дворянское состояніе въ государственной гражданской или военной службѣ,—направилъ умы дворянства

не къ чести породы, но къ службѣ отечеству; а какъ сей путь не загражденъ ни которому состоянію, то дворянство, научась уважать службу, научилось уважать вмѣстѣ и достоинства во всѣхъ состояніяхъ. Нынѣ уже не спрашиваютъ, въ обществахъ нашихъ, дворянинъ ли онъ, простираются ли его предки до праотца Ноя и проч., но спрашиваютъ, какимъ достоинствомъ уважило отечество его заслуги. Одни провинціалы наши, въ своихъ степныхъ изгородахъ, гордятся своимъ дворянствомъ передъ крестьянами. Всѣ образованные, достойные дворяне стыдятся это одно поставить себѣ въ достоинство. Слава Екатерины, безсмертіе ея имени... (Тутъ въ подлинникѣ стоятъ въ нѣсколько рядовъ точки, означающія, вѣроятно, руку цензора). Итакъ, когда столь счастливое вліяніе геній Екатерины имѣлъ на наши нравы мудрыми своими уставами, монархи, ея наслѣдники, сохраняютъ ея законы и особенно тотъ, о коемъ говорится, какъ святыню. Но гдѣ средства храненію?—Въ общественномъ воспитаніи. Правда, невозможно всѣхъ воспитать въ такой обширной имперіи въ единомъ обществѣ и особенно содержать; ибо положимъ, что просвѣщеніе дворянства, нынѣ столь распространившееся, попустить, чтобъ благородное юношество обучалось вмѣстѣ съ мѣщанскимъ, но богачъ никогда не согласится, чтобъ сынъ его довольствовался тою же умѣренной пищею, которою довольствуется сынъ обыкновеннаго гражданина, а государство для всѣхъ иногда дать не можетъ; но есть предубѣжденія въ народахъ и классахъ оныхъ, которыя законодателямъ уважать должно, особенно тогда, когда оныя

такого рода, что нарушение оныхъ можетъ имѣть худыя слѣдствія, а оставленіе не влечетъ за собою примѣтнаго вреда. Сіе послѣднее есть одно изъ подобныхъ. Слѣдственно, не коснувшись онаго, верховная власть мудро сдѣлаетъ, если, учинивъ просвѣщеніе необходимымъ, заставитъ всѣхъ гражданъ жить, какъ имъ угодно, но просвѣщаться въ однихъ, правленіемъ признанныхъ и утвержденныхъ, мѣстахъ».

Авторъ считаетъ необходимой строгую постепенность въ учебныхъ курсахъ казенныхъ училищъ—высшихъ и низшихъ—но эта постепенность опредѣляется у него не сословными соображеніями, а степенью развитія и потребностями самихъ воспитанниковъ; онъ очень заботится о томъ, чтобы «умы чрезвычайные», которые могутъ встрѣтиться во всякомъ сословіи, на всякой ступени общественной лѣстницы, имѣли свободный доступъ къ высокимъ гражданскимъ должностямъ. «Несчастіе—воскликаетъ онъ—если государство, отечество сихъ геніевъ, стоитъ на такой ногѣ, что кругъ ихъ дѣйствій (на пользу общества) опредѣленъ состояніями, и гдѣ чрезвычайный умъ, со всѣмъ своимъ напряженіемъ, дѣлаетъ тщетныя усилія, дабы взойти на мѣсто, ему самою природою предназначенное; тогда самый порывъ сей, самый чрезвычайный умъ сей совращается съ пути, ему назначеннаго, и внушаетъ ему желаніе опроверженія того, что препятствуетъ ему въ ходѣ. Если оный таковъ, что силы его достаточны и обстоятельства благоуспѣшны, то онъ побѣждаетъ препоны и преобразуетъ погрѣшности. Но если противное, то тщетныя покушенія возбуждаютъ мятежъ и безпокойства въ государствѣ, и служатъ къ гибели или перваго, или послѣдняго». На этомъ

основаніи, чтобы не закрывать ни для кого дороги къ государственной дѣятельности, авторъ считаетъ нужнымъ ввести во всѣ училища преподаваніе исторіи и законовѣдѣнія. «Надлежитъ—по его мнѣнію—чтобы курсъ законовъ, къ степени училища и нуждѣ обучающихся приноровленный, былъ важнѣйшимъ предметомъ, поелику каждому гражданину необходимо знать свои права въ гражданскомъ кругу. Тамъ, гдѣ сіе покрыто неизвѣстностью, гражданинъ не можетъ наслаждаться гражданской свободою и спокойствіемъ, не зная: гдѣ, когда и какъ надлежитъ ему дѣйствовать. Онъ живетъ всегда между страхомъ и надеждою, и потому состояніе его есть состояніе мучительное; онъ всегда трепещетъ, когда дѣйствуетъ, не зная, сообразны ли дѣйствія его съ волею законовъ. Самое имя законовъ, которое во всякомъ благоустроенномъ обществѣ должно быть произнесимо гражданами съ сердечнымъ умиленіемъ и гордостью, дѣлается ему ужасно и произносится имъ съ внутреннимъ содроганіемъ, будучи для него покрыто таинственною завѣсою неизвѣстности. Самыя мѣста правительства, коимъ поручается храненіе законовъ, дѣлаются для него мѣстомъ, въ которое онъ вступаетъ всегда неохотно и робкимъ шагомъ, ибо ему представляется мысль, что, можетъ быть, въ невѣдѣніи онъ преступилъ законы, за кои въ оныхъ готовится ему наказаніе. Тогда граждане въ правленіи не видятъ болѣе благодѣательства, но строгаго судью, котораго мечъ всегда обнаженъ и разитъ прибѣгнувшихъ къ его справедливости неожиданно и прежде, нежели ему извѣстна причина. Въ такомъ гражданскомъ кругу, между такими гражданами, судья, если къ несчастію сіе мѣсто занято будетъ злодѣемъ, легко

можетъ свирѣпствовать и угнетать согражданъ, легко можетъ содѣлать самое правосудіе продажнымъ, и въ то время—гдѣ искать гражданскаго благосостоянія и безопасности? Въ благоустроенномъ правленіи надлежитъ, чтобъ законы всѣмъ извѣстны были, чтобъ всякій гражданинъ, впадая въ преступленіе, зналъ, противу какого закона онъ преступилъ, прежде нежели то возвѣстится ему судьей; чтобъ дѣло судьи было ему доказать, что онъ преступилъ законъ, уже ему извѣстный, и чтобъ самая сентенція виновному гражданину была извѣстна прежде, нежели онъ услышитъ гласъ исполнителя законовъ, его осуждающаго».

Преподаваніе исторіи должно быть ведено наиболѣе развивающимъ способомъ, и историческіе факты должны быть сгруппированы такъ, чтобы по нимъ можно было прослѣдить постепенное созрѣваніе общественной мысли и измѣненіе къ лучшему политическихъ формъ. «Исторія—такъ развиваетъ авторъ свою мысль—написанная въ философическомъ духѣ и не какъ лѣтописи, кои показываютъ только рядъ происшествій и поколѣній, но предлагающая не токмо чрезвычайные случаи и измѣненія народовъ, но вмѣстѣ причины всѣхъ, примѣчанія заслуживающихъ, происшествій и побужденія, заставляющія стремиться необыкновенныхъ мужей къ цѣли ихъ дѣйствій—есть истинно наука, долженствующая въ общественномъ воспитаніи, во всѣхъ онаго отдѣленіяхъ, быть необходимою: не для того, чтобы она дѣйствительно была необходима всѣмъ гражданамъ. Нѣтъ! если брать вообще, то она полезна для гражданъ единою нравственностью, кою всегда лучше, съ нарочно извлеченными правилами, преподавать особенно (?). Гражданину, который не назна-

чаетъ себя служить въ правленіи отечеству, оная ненужна: обыкновенный человѣкъ всегда входитъ въ кругъ, уже предуготовленный, онъ никогда не думаетъ объ измѣненіи онаго, онъ пользуется только его выгодами, дабы посредствомъ оныхъ обезпечить свое состояніе и доставить то дѣтямъ. Но оная нужна людямъ чрезвычайнымъ, дабы умирить безпокойный порывъ ихъ, за предѣлъ возможнаго дѣйствія стремящійся, который часто губитъ или ихъ самихъ, или народъ, между которымъ они родились, дабы показать имъ примѣрами самаго дѣла, что одинъ великій умъ всего совершить не можетъ, что весь родъ человѣческій шествуетъ по однимъ законамъ къ извѣстной точкѣ, и что все, что природою отъ него требуется, есть давать общему дѣйствию природы извѣстное, нужное напряженіе. Оная научить его терпѣливости съ Фабіемъ, мудрой дѣятельности и вмѣстѣ покоренію необходимости съ Сократомъ и Катонъ, пожертвованію благу общему съ Деціемъ и проч. Вотъ для кого нужна и даже необходима исторія; но поелику ученію посвящаются лѣта дѣтства—то время, когда самые геніи весьма мало отъ обыкновенныхъ людей отличаются, — то требуется необходимо, чтобы сіи пренебрежены не были, содѣлать науку сію общею всѣмъ гражданамъ». Переходя къ вопросу о томъ, какъ слѣдуетъ писать подобные учебники, пригодные для политическаго развитія юношей, авторъ говоритъ, что къ исторіи не относятся пышныя генеалогіи, обычай дворовъ и придворныя сплетни, безпрерывные ряды государственныхъ наслѣдованій и пр. и пр., но исторія должна показать: почему и какимъ образомъ процвѣтали государства, какъ дѣйствовали правительства и

законы на благо общественное, какіе именно законы и какое правительство устроивали благоденствіе людей, какъ распространялось въ государствахъ просвѣщеніе, какое направленіе давало оно народу и само получало подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій? «Обыкновенный образъ писать исторію—прибавляетъ онъ—весьма недостаточенъ и для преподаванія въ общественныхъ училищахъ совсѣмъ неспособенъ. Всѣ наши исторіи или писаны весьма обширно, или весьма вратко; въ нихъ много выпущено чертъ сильныхъ, много есть такого, что къ воспитанію нимаю не служитъ, и, наконецъ, много даже такого, что можетъ дать юношеству или худой примѣръ, или совратить съ истиннаго пути. Исторія требуетъ для начертанія пера великаго, а, можетъ быть, и героя. Надобно непременно, чтобъ историкъ чувствовалъ совершенно всю цѣну великаго дѣла, надобно, чтобъ перо его пылало сердечнымъ жаромъ, когда онъ описываетъ то, что служило къ возвышенію благоденствія народовъ, чтобъ онъ проливалъ слезы, описывая бѣдствія человѣческія. Нѣсколько образцовъ для исторіи видимъ мы, въ концѣ древнихъ народовъ, у Тацита и у нѣкоторыхъ изъ греческихъ писателей. Изъ новѣйшихъ писателей можетъ быть упомянуть едва-ли не одинъ Гиббонъ». Курсъ исторіи долженъ сообразоваться съ тѣмъ родомъ занятій, которому намѣрены посвятить себя ученики, но во всякомъ такомъ курсѣ, по словамъ автора, «не должно быть забыто общее очертаніе всей цѣлости исторіи, ибо легко можетъ случиться, что тотъ, кто назначаетъ себя быть купцомъ, впоследствии дѣлается воиномъ, министромъ, что тотъ, кто назначаетъ себя воиномъ, вступаетъ впоследствии въ состояніе ку-

пца, и для сего воспитаніе должно его ко всему приготовить».

Не смотря на свой запутанный слогъ и нѣсколько странную аргументацію (какъ напр., «изученіе исторіи полезно для гражданъ единою нравственностью» и притомъ полезно только для «умовъ чрезвычайныхъ»), не смотря даже на шаткость надеждъ, возложенныхъ на изученіе законодательства въ томъ видѣ, въ какомъ оно дѣйствовало въ нашей странѣ, статья эта, по своей основной идеѣ—сдѣлать политическое развитіе общимъ достояніемъ всѣхъ классовъ народа, — заслуживаетъ особеннаго вниманія и выгодно отличается не только отъ англоманскихъ затѣй русскихъ реформаторовъ, но даже и отъ книги Пнина, въ которой авторъ удѣляетъ политическое образованіе одному высшему сословію въ государствѣ.

Нерасположеніе къ рабству выражается въ «Періодическомъ изданіи» косвеннымъ образомъ—въ переводномъ очеркѣ того же В. Попугаева подъ названіемъ: «Негръ». Здѣсь авторъ обращается къ торгашамъ-неграмъ съ такимъ увѣщаніемъ: «Что дѣлаете вы, продавая собратій вашихъ? увы! сіе путь къ вашему уничтоженію. Скоро загремятъ оковы во всемъ отечествѣ вашемъ, въ сей славной обители праотцевъ вашихъ, въ землѣ независимости... Кто позволилъ вамъ дѣлать невольниками собратій вашихъ? Негръ не можетъ принадлежать бѣлому ни по какимъ правамъ. Воля не есть продажная; цѣна золота всего свѣта не въ силахъ оной заплатить, и никакой тиранъ ея располагать не долженъ». Замѣчательно также стихотвореніе А. Измайлова: «Сонетъ одного Ирокойца» (т. е. ирокеза), въ которомъ, подъ ви-

домъ Канады, представлена, очевидно, другая, болѣе знакомая намъ сторона.

Чтобы усилить намекъ, авторъ (назвавшій себя переводчикомъ съ прокезскаго) придѣлалъ къ своимъ стихамъ пояснительное примѣчаніе: «Можетъ быть, карточная игра «бостонъ» получила свое названіе отъ города сего же имени, который находится въ сѣверной Америкѣ, гдѣ и Канада; такъ мудрено-ли, что она тамъ имѣетъ великое уваженіе, когда и здѣсь безъ нея жить не могутъ».

Почтеніе къ наукѣ, двинутой впередъ трудами Галилея, Ньютона, Лавуазье и др., высказано въ стихотвореніи Востокова: «Къ строителямъ храма познаній», въ которомъ благодарный писатель относился весьма патетически къ успѣхамъ просвѣщенія въ Россіи и воодушевлялъ нашихъ научныхъ дѣятелей, рисуя имъ въ заманчивой картинѣ результаты ихъ добросовѣстныхъ трудовъ:

Вы, коихъ дивный умъ, художнически руки

Полезнымъ на землѣ посвящены трудамъ,

Чтобъ оный воздвигать великолѣпный храмъ,

Который начали отцы, достроять внуки.

До половины днесъ уже воздвигнутъ онъ,

Обширенъ и богатъ, и свѣтъ со всѣхъ сторонъ.

И вы взираете веселыми очами

На то, что удалось къ концу вамъ привести;

Основа твердая положена подъ вами,

Вершину зданія осталось лишь взвести.

О сколь счастливы тѣ, которы довершенный,

И преукрашенный святить сей будутъ храмъ!

И мы, живущи днесъ, и мы стократъ блаженны,

Что столько удалось столповъ поставить намъ;

Въ два вѣка столько въ немъ переработать камней,

Всему удобную, простую форму дать! и пр.

Политическое направленіе господствовало, какъ мы ска-

сказали, въ тогдашней журналистикѣ и пробивалось во всѣхъ наиболѣе замѣчательныхъ журнальныхъ статьяхъ, хотя бы онѣ помѣщены были подъ рубриками науки, критики или беллетристики. Но многіе журналы занимались, кромѣ того, и текущей политикой. Въ 1807 г. основалась въ Петербургѣ исключительно-политическая частная газета: «Геній времени», выходившая два раза въ недѣлю, сначала подъ редакціей Ѳ. Шредера и Ив. Делаacroa, а въ 1808 и 1809 г. г. подъ редакціей того же Шредера и Н. Греча, впервые выступившаго на журнальное поприще. Въ этой газетѣ печатались связныя политическія обзоры и сообщались разныя историческія свѣдѣнія о тѣхъ странахъ, которыя выдвигались, по ходу дѣлъ, въ политическомъ отношеніи и, слѣдовательно, могли возбуждать интересъ—какъ прошлымъ, такъ и настоящимъ своимъ государственнымъ устройствомъ. Стоитъ замѣтить первое политическое обзорѣніе въ «Геніи времени», въ которомъ доказывается, что французскій королевскій домъ пагъ оттого, что не умѣлъ согласовать своихъ законодательныхъ мѣръ съ духомъ времени, съ требованіями общества. «Вся конституція французскаго королевства — разсуждаетъ авторъ — состояла, наконецъ, изъ такихъ узаконеній, которыя почитались священными и ненарушимыми, но которыя, бывъ изданы для предковъ, угнетали потомство. Человѣколюбивый и благодѣтельный король Людовигъ XVI старался сіе зло отвратить, ибо онъ въ самомъ дѣлѣ желалъ блаженства своему народу; но, поддерживая одну сторону, онъ оскорблялъ чрезъ то чувствительнѣйшимъ образомъ другую». Возникаетъ затѣмъ революція, произведенная нѣкоторыми злодѣями; изъ нея рождается власть Наполеона,

который, «поработивъ народъ, сдѣлался самовластнымъ его деспотомъ» и устремилъ силы Франціи на завоеваніе разныхъ государствъ. Успѣху его завоеваній способствовала застарѣлость учрежденій, которою страдали сосѣднія державы. «Ни одно министерство оныхъ не было одушевлено дѣятельностью или, такъ сказать, новою жизнью; ни одна изъ сихъ державъ не старалась преобразовать свое правленіе сообразно духу столѣтія... Лава революціи, далѣе и далѣе разливаясь, срѣтала на пути своемъ токмо ветхія стѣны, повсюду сокрушала оныя, но вдругъ достигла она подошвы того истаго гранитнаго утеса, на которомъ покоится орелъ Россіи; здѣсь она, огустѣвъ, превратилась въ мертвую окалину. Если кто желаетъ на сіе доказательствъ, тотъ пусть обратитъ взоръ свой на поступки, сдѣланные Наполеономъ. Въ Швейцаріи возмущилъ онъ поселянъ Цюриха возстать противъ гражданъ, ихъ угнетавшихъ, онъ напомнилъ имъ давно уже забытыя распри нѣкоторыхъ кантоновъ; въ Германіи старался онъ возбудить мятежъ въ мелкихъ княжествахъ, обольщая ихъ тѣмъ, что собственная ихъ выгода требуетъ противостать своимъ сосѣдямъ; онъ приказалъ объявить себя мессіею жидовъ, дабы повсюду имѣть своихъ лазутчиковъ; онъ возмущилъ въ южной Пруссіи поляковъ, а чтобы въ Берлинѣ возжечь пагубный пламенный междуусобія и представить жителямъ сей столицы правосуднаго и человеколюбиваго ихъ монарха въ ненавистномъ видѣ, онъ составилъ изъ мѣщанъ сего города національную гвардію и чрезъ то внушилъ имъ, что они до сего времени лишены были способовъ къ пріобрѣтенію военныхъ чиновъ. Такимъ обра-

зомъ, онъ обращаетъ въ свою пользу малые и большіе недостатки государственныхъ постановленій, чтобы разсѣять повсюду сѣмена раздора и возмутить мирныхъ подданныхъ противъ законныхъ своихъ монарховъ. Наконецъ, встрѣченъ онъ былъ такимъ народомъ, который славится духомъ національнаго единомыслія, который, воодушевляясь твердымъ и геройскимъ мужествомъ, начинаетъ шествовать на вышнюю степень совершенства и, слѣдовательно, не томится еще зломъ, происходящимъ отъ застарѣлости». Высказывая мысль, что законы государствъ должны видоизмѣняться съ развитіемъ политической жизни и не доходить до застарѣлости, — авторъ приближался ко взгляду Гольбаха, уже приведенному нами.

Что касается личности Наполеона и отношенія къ ней русской прессы, то мы замѣтимъ кстати, что тонъ нашихъ печатныхъ отзывовъ о знаменитомъ императорѣ часто измѣнялся, смотря потому, находилась ли Россія въ дружбѣ или во враждѣ съ Франціей. Въ «Вѣстникѣ Европы» 1805 г. (№ 3), въ отдѣлѣ политики, высказывалась мысль, что «власть Наполеона не утверждена на прочномъ основаніи, и низверженіе его многія государства сочли бы однимъ изъ счастливѣйшихъ происшествій». Въ томъ же журналѣ, и въ томъ же году (№ 5), рѣчь французскаго министра внутреннихъ дѣлъ, произнесенная въ законодательномъ корпусѣ, удостоилась въ выноскѣ слѣдующаго примѣчанія: «Рѣчь сія, конечно, никого не введетъ въ заблужденіе: опыты доказали, благоденствуетъ ли государство, управляемое одними солдатами. У кого виситъ

надъ головою обнаженный мечъ, къ волоску привязанный, тотъ не можетъ искренно радоваться.» Въ № 7 «Генія времени» 1807 года напечатана даже цѣлая статья: «Тамерланъ и Бонапарте,» въ которой Тамерланъ, по своему человеколюбію, ставится выше Наполеона. Похвалы Наполеону считались даже, въ то время, предосудительными въ цензурномъ смыслѣ. Такъ, напримѣръ, въ началѣ 1807 года, во время войны съ Франціей, запрещена была цензурнымъ комитетомъ книга: «Histoire de Bonaparte», и запрещена именно за то, что «сочинитель ея отъ начала до конца превозноситъ Бонапарте, какъ нѣкое божество, расточаетъ ему самыя подлыя ласкательства, представляетъ его властолюбивыя дѣянія въ самомъ благовидномъ видѣ и вообще обнаруживаетъ себя попеременно то почитателемъ революціи и всѣхъ ея ужасовъ, то подлымъ обожателемъ хищниковъ трона». Кажется, мудро было энергичнѣе заклеить всякую попытку восхваленія Бонапарта. Тѣмъ не менѣе, вскорѣ по заключеніи тильзитскаго мира, отъ нашей печати потребовалось полнѣйшее уваженіе къ особѣ Наполеона, и журналы, не догадавшіеся своевременно измѣнить сердитый тонъ на другой, прямо противоположный, немедленно получали внушеніе отъ цензурнаго комитета. Въ мартовской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» 1808 г. сказано было: «Впродолженіе прошедшаго похода, Наполеонъ всегда былъ близокъ къ гибели, и чѣмъ далѣе заходилъ, тѣмъ опасность его становилась ужаснѣе, неизбѣжнѣе... Еслибы миролюбивый Александръ не пожертвовалъ невѣрною союзницей благоденствію своей имперіи, то по сихъ поръ Богъ знаетъ, гдѣ бы былъ непобѣдимый Наполеонъ и великая ар-

мія великой націи... Теперь поднялась завѣса, и всѣ узнали, что прусскимъ кабинетомъ управлялъ Талейранъ, что прусскими силами располагалъ Талейранъ, что онъ нарочно посорилъ сіе королевство со всѣми державами: съ Австріей, Россіей, Швеціей, Англіей; такъ усыпилъ Фридриха Вильгельма надеждою на миръ, что онъ вступилъ въ сраженіе въ твердомъ увѣреніи, что все кончится дружески. Теперь извѣстно, что измѣна генераловъ и комендантовъ, — чего, благодаря Бога, въ Россіи еще не случалось и долго не случится, — не менѣе геройскаго мужества и быстроты Наполеона способствовала завоеванію Пруссіи». Этотъ отзывъ вызвалъ со стороны министерства просвѣщенія рѣзкое замѣчаніе: «Таковыя выраженія неприличны и предосудительны настоящему положенію, въ какомъ находится Россія съ Франціей. Почему строжайшимъ образомъ предписать цензурному комитету, дабы воздержался позволять въ періодическихъ и другихъ сочиненіяхъ оскорбительныя разсужденія и проходилъ бы изданія съ наибольшою строгостью по матеріямъ политическимъ, которыхъ близковидѣть не могутъ сочинители, и, увлекаясь одною мечтою своихъ воображеній, пишутъ всякую всячину въ терминахъ неприличныхъ». Всѣмъ учебнымъ округамъ предписано было, чтобы цензура не пропускала «никакихъ артикуловъ, содержащихъ извѣстія и разсужденія политическія».

Журналисты не заставили долго ждать своего исправленія: подъ вліяніемъ «обстоятельствъ, отъ редакцій независящихъ», они мгновенно убѣдились въ величіи Наполеона и запѣли ему самыя трогательныя дивирамбы. Въ 1809 г., мы

читаемъ уже въ «Геніи временъ» такой отзывъ о Франціи: «Исполинскими шагами приближается сіе государство къ неожиданной степени величія и силы. Руководимая благо-разуміемъ великаго мужа, имѣющаго во власти своей судьбу многихъ милліоновъ людей, она перерождается и вводитъ совершенно новый порядокъ вещей» и пр. и пр.— Въ числѣ журналовъ либеральнаго направленія не послѣд-нее мѣсто занимаетъ «С.-Петербургскій Вѣстникъ», издан-ный на 1812 г. Обществомъ любителей словесности. Жур-налъ этотъ состоялъ изъ трехъ отдѣловъ: 1) словесность, 2) наука и художество и 3) критика. Литературный отдѣлъ не отличается въ немъ нисколько преднамѣренною группи-ровкой статей, но въ отдѣлахъ науки и критики замѣтенъ однообразный подборъ предметовъ и мнѣній. За текущей политикой «Санктпетербургскій Вѣстникъ» не слѣдилъ во-все, но въ статьяхъ историческихъ, которыхъ было доволь-но много, онъ высказывалъ стремленіе къ свободѣ и къ расширенію народныхъ правъ. Въ № 4 этого журнала по-мѣщенъ отрывокъ изъ «Историческихъ уроковъ Кондильяка герцогу пармскому», въ которыхъ проводится взглядъ на исторію, какъ на хранительницу полезныхъ уроковъ, какъ на политическій кодексъ, откуда мыслящій человѣкъ мо-жетъ почерпнуть для себя мудрыя правила и образцы для подражанія. Замѣчателенъ совѣтъ, данный Кондиль-якомъ своему царственному ученику: «Читайте чаще плутарховы житія великихъ людей. Плутарховы герои бы-ли большею частію простые граждане; но и самые силь-ные государи тогда только велики предъ судомъ ис-тины и разума, когда они имѣли для себя образцами сихъ

гражданъ. Изберите себѣ и вы кого нибудь изъ нихъ для подражанія». Кондильякъ совѣтовалъ также правителямъ не стѣснять народной свободы, дабы не вызвать революціи, которая «не должна быть почитаема игрою слѣпнаго случая». Въ той же книжкѣ «Спб. Вѣстника» приведена глава изъ книги Лабрюйера (*Les caractères*): «О личномъ достоинствѣ», гдѣ много говорится о правахъ личности, независимо отъ богатства и знатности, которыя часто достаются въ удѣлъ лишь негоднымъ и мелкимъ людямъ. Въ статьѣ о римскомъ краснорѣчїи (№ 6) доказывается, что краснорѣчіе процвѣтаетъ только въ свободныхъ странахъ, и что оно упало въ Римѣ при водворенїи деспотизма. Римляне были сначала—«вмѣстѣ подданные и великіе правители; они повиновались начальникамъ и судили ихъ, или лучше: они были природные судьи правителей и повиновались только законамъ...» Какъ бы въ дополненіе къ этой статьѣ, появилась въ слѣдующей книжкѣ другая — о Юліи Цезарѣ, гдѣ мы находимъ такую мысль: «онъ погибъ и заслужилъ погибель; въ правленїи свободномъ тотъ есть величайшій изъ злодѣевъ, кто покушается даже на остатки свободы». Подобныя мысли объ отношенїяхъ правителей къ народамъ не казались тогдашней цензурѣ особенно рѣзкими или зловредными; безъ сомнѣнїя, онѣ не показались бы такими, еслибы стали извѣстны самому императору Александру I. Въ юности своей государь привыкъ слышать отъ Лагарпа весьма строгую оцѣнку своихъ общественныхъ обязанностей. «Весьма было бы желательно для Рима» — писалъ великій князь въ одной учебной тетради, подъ диктовку своего учителя, — «чтобы Помпей отличался столько же гражданскими добле-

стями, сколько въ качествѣ великаго полководца и правителя. Объяснимъ подробнѣе нами сказанное. Хорошій гражданинъ уважаетъ законы и управленіе своей страны... чѣмъ болѣе онъ преисполняется чувствами обязанностей, связывающихъ его съ родною страной, тѣмъ болѣе онъ достоинъ уваженія. Простительно дикому, неимѣющему никакой пищи, кромѣ гнилой рыбы, выброшенной волнами на ужасные берега, имъ обитаемые, равнодушіе къ своей родинѣ и къ своимъ соплеменникамъ; но тотъ, кто имѣлъ счастье родиться въ средѣ образованнаго народа, чье дѣтство сопровождалось заботами его близкихъ, у кого подъ рукою были всѣ средства образованіи умъ, усовершенствовать разсудокъ, тотъ, кого судьба покровительствуетъ законами и гражданскими учрежденіями, тотъ, кто осыпанъ дарами фортуны, не будетъ ли неблагодарнѣйшимъ изъ людей, если не возлюбитъ страны, давшей ему всѣ эти блага? Но недовольно того, чтобы любить свою страну; недовольно того, чтобы предпочитать ее всякой другой: необходимо дать тому доказательства. Хорошій гражданинъ не щадитъ ни своего времени, ни своихъ трудовъ, чтобы сдѣлаться полезнымъ сыномъ отечеству. То самое чувство, повинувшись которому великодушный человѣкъ жертвуетъ всѣмъ для спасенія уважаемой, любимой имъ особы, то самое чувство побуждаетъ патріота жертвовать охотно имуществомъ, жизнью и даже самолюбіемъ, какъ только идетъ дѣло о спасеніи его родины, либо о благѣ человѣчества. Какъ цѣлью всякаго добраго гражданина должно быть благоденствіе общества, къ которому онъ принадлежитъ, то люди себялюбивы.

вые, малодушные, либо увлекаемые тщеславіемъ за предѣлы
благоразумія, никогда не могутъ ее достигнуть. Себялюб-
цемъ называютъ того, кто любить одного себя, кто счита-
етъ всѣхъ прочихъ людей созданными для него одного, кто
смотреть равнодушно на счастье и несчастье другихъ лю-
дей. Желательно было бы для образумленія себялюбцевъ,
чтобы общество лишило ихъ своего покровительства; тогда
они вполнѣ почувствовали бы необходимость трудиться въ
его пользу; тогда выраженіе: отечество, обществен-
ное благо для нихъ уже не были бы пустыми словами.
Малодушіе, не менѣе себялюбія, противно любви къ отече-
ству. Малодушный не можетъ ни на что рѣшиться, ни что
либо привести въ исполненіе. Такой человѣкъ не посмѣетъ,
предпочитая общую пользу своей собственной, рѣшиться на
поступокъ, указываемый ему долгомъ и честью, какъ толь-
ко это угрожаетъ ему гибелью; не онъ осмѣлится сказать
истину своему государю, либо министрамъ его; не онъ под-
вергнетъ опасности свою жизнь, подобно Горацію Коклесу,
въ защиту отечества; не онъ уклонится отъ участія въ без-
законіи и скажетъ кровожадному тирану то, что сказалъ
Папиніанъ Каракаллъ: «гораздо легче совершить братоубій-
ство, нежели оправдать его». Малодушный пожертвуетъ своей
безопасности всѣмъ: истиною, долгомъ, справедливостью,
честью, отечествомъ и—прежде всего—своимъ государемъ,
какъ только онъ можетъ это сдѣлать безнаказанно. И по-
тому остерегайтесь себялюбцевъ и малодуш-
ныхъ, которые будутъ окружать васъ. Они
вамъ могутъ сказать, что государи имѣютъ
происхожденіе, отличное отъ другихъ людей,

что вы свободны отъ обязанностей, лежащихъ на каждомъ изъ людей въ отношеніи къ челоѣчеству и къ родинѣ, и если вы поддадитесь такимъ внушеніямъ, то станете избѣгать труда столько же охотно, сколько теперь находите удовольствіа въ часы вашего отдыха». Въ другой тетради, куда вносились, подъ диктовку Лагарпа, и переписывались по нѣскольку разъ самимъ великимъ княземъ замѣтки на счетъ его прилежанія и поведенія, попадаетъ такая выразительная страница: «Я лѣннвецъ» — писалъ самъ о себѣ великій князь — «преданный безпечности, неспособный думать, говорить, дѣйствовать. Каждый день на меня жалуются; каждый день я обѣщаю исправиться и нарушаю данное мною слово. Какъ во мнѣ нѣтъ соревнованія и усердія, ни доброй воли, — то изъ меня едва-ли можно что либо сдѣлать. Я ничтоженъ (*je suis nul*), и еслибъ можно было спуститься ниже нуля, то я послужилъ бы тому примѣромъ. Впрочемъ зачѣмъ же мнѣ трудиться? Зачѣмъ беспокоиться? Зачѣмъ выходить изъ блаженной лѣни, которая мнѣ такъ нравится? Готтентоты проводятъ цѣлые дни, сидя на мѣстѣ; почему же и мнѣ не дѣлать того же, и въ особенности будучи принцемъ? Зачѣмъ мнѣ отличаться отъ множества подобныхъ мнѣ? Я никогда не буду терпѣть недостатка ни въ чемъ; у меня будутъ великолѣпные экипажи, много денегъ и толпа наушниковъ (*flagorneurs*), которые ежеминутно станутъ повторять мнѣ, какъ я достоинъ любви, какъ я выше всѣхъ прочихъ людей. И кто посмѣетъ сомнѣваться въ томъ? Какая мнѣ нужда въ общемъ мнѣніи? Я сдѣлаю, какъ страусъ, который, какъ говорятъ, спрятавъ свою голову, считаетъ себя совершенно

безопаснымъ отъ преслѣдующаго его охотника» *). Этою безпощадною строгостью въ сужденіи о нравственныхъ качествахъ великаго князя Лагарпъ хотѣлъ внушить ему, что и онъ, не смотря на свое высокое общественное положеніе, долженъ носить въ своей душѣ сознаніе гражданского долга и моральной отвѣтственности передъ судомъ современниковъ и потомства. И Александръ цѣнилъ и понималъ заботливость честнаго воспитателя: прекрасныя мысли, усвоенныя имъ смолodu, долго служили для него теоретическимъ критеріемъ государственной дѣятельности, и хотя заглушались нашею практикою, но никогда не пропадали окончательно подъ наплывомъ противоположныхъ вліяній.

О нашихъ внутреннихъ вопросахъ «С.-Петербургскій Вѣстникъ» не говорилъ прямо, но въ 7 № есть большое извлеченіе изъ книги англичанина Вильсона, рекомендованной редакціи А. Н. Оленинымъ: «Краткія замѣчанія о свойствѣхъ и составѣ русской арміи». Въ этой книгѣ авторъ защищаетъ русское правительство отъ обвиненій въ деспотизмѣ и удостовѣряетъ, что оно «далеко отъ того, чтобы налагать новыя цѣпи рабства; но что, напротивъ того, оно всѣми мѣрами старается распространить благоразумную свободу». О русской арміи сказано, что офицеры «обходятся съ солдатами весьма ласково и не такъ, какъ съ машинами, а какъ съ разумными существами», что солдаты «хотя родились въ рабствѣ, но духъ ихъ не униженъ». Самое рабство (т. е. крѣпостное

*) См. Сборникъ русскаго историческаго общества. Т. I, ст. г. Богдановича: «Учебныя книги и тетради в. к. Александра Павловича».

право), по мнѣнію автора, можно было бы и уничтожить, но только съ соблюденіемъ нѣкоторой осторожной постепенности. «Съ чувствами и съ правилами, совсѣмъ противными продавцу невольниковъ,—пишетъ онъ—я утверждаю, что самое большое несчастье, могущее постигнуть Россію (!) было бы в н е з а п н о е и о б щ е е истребленіе крѣпостнаго права; никакое предпріятіе не могло бы возродить равныхъ бѣдствій и столь великаго негодованія. Что бы сдѣлалось съ хворыми и престарѣлыми, еслибъ они вдругъ лишились прокормленія (п р и м ѣ ч. п е р е в о д ч и к а: прокормленія, которое имъ нынѣ обязаны давать помѣщики)? Что бы сдѣлалось съ дворовымъ, который, не имѣя никакой собственности, нигдѣ въ скоромъ времени не нашелъ бы мѣста для своего промысла? Защитники революціи не утрушатся всѣхъ сихъ затрудненій; но человекъ государственный, добрый гражданинъ, рассматривая оныя, уважить послѣдствія прежде, нежели приметъ всѣ сіи умствованія. Отъ многихъ знатныхъ особъ въ Россіи можно удостовѣриться, сколько людей, отпущенныхъ на волю и пришедшихъ въ старость, просятъ убѣжища у ихъ прежнихъ помѣщиковъ».

Подобныя возраженія противъ окончательной и быстрой развязки крестьянскаго вопроса часто приводились въ то время—и притомъ не только людьми, завѣдомо враждебными всѣмъ либеральнымъ реформамъ, но даже ближайшими совѣтниками государя, которые раздѣляли, повидимому, его образъ мыслей и выражали готовность работать въ указанномъ имъ направленіи. Въ числѣ препятствій къ скорѣйшему освобожденію крестьянъ особенно выставлялись на видъ: во-первыхъ, опасность революціи, которую могутъ

произвести злонамѣренныя люди, пользуясь всеобщимъ возбужденіемъ умовъ; во-вторыхъ, неудобство при выкупѣ дворовыхъ людей, которые, по общему мнѣнію, никакъ не могли даромъ получить свои отпускныя свидѣтельства, а въ казнѣ не находилось достаточныхъ средствъ для такой огромной финансовой операціи. Возраженія эти раздавались въ «интимномъ комитетѣ» 1801 г. и добросовѣстно записаны гр. Строгановымъ въ недавно опубликованныхъ протоколахъ. Но въ томъ же комитетѣ, нашлись люди, не желавшіе откладывать дѣла въ долгій ящикъ, и такимъ образомъ, въ нашемъ образованномъ обществѣ, возникла интересная борьба мнѣній, изъ которой только слабые отголоски попадали въ печать. Мы воспользуемся этимъ случаемъ, чтобы познакомить читателей съ главными аргументами обѣихъ сторонъ.

«Съ нѣкотораго времени» — сообщаетъ гр. Строгановъ въ своихъ запискахъ — «многія лица, и въ особенности гг. Лагарпъ и Мордвиновъ, а особенно послѣдній, говорили императору о необходимости сдѣлать что нибудь въ пользу крестьянъ, которые были доведены до самаго плачевнаго состоянія, не имѣя никакого гражданскаго существованія. Все это не могло быть сдѣлано иначе, какъ постепенно, нечувствительно, и первый шагъ, который предлагалъ Мордвиновъ, состоялъ въ томъ, чтобы позволить тѣмъ, которые не были крѣпостными, покупать земли. Императоръ былъ согласенъ съ ними, но онъ желалъ, чтобы эти люди, которые будутъ имѣть право покупать только однѣ земли, могли бы въ тоже время покупать и крестьянъ; и крестьяне, которыми будутъ владѣть не-дворяне, могутъ подчиняться правиламъ, болѣе умѣреннымъ, и не считаться ихъ рабами

(esclaves), какъ у дворянъ:—все это будетъ первымъ шагомъ къ ихъ благоденствію. Такимъ образомъ, императоръ опережалъ (?) г. Мордвинова, позволяя также мѣщанамъ покупать крестьянъ. Вотъ какія замѣчанія сдѣлали мы ему на все это. Прежде всего намъ казалось, что нововведеніе будетъ слишкомъ велико—позволить вдругъ покупать и земли, и крестьянъ; съ другой стороны, крестьяне, купленные мѣщанами съ меньшею властью надъ ними, для новыхъ покупателей представлятъ естественно меньше выгодъ, и потому такія продажи будутъ рѣдки, особенно со стороны продавцовъ: послѣдніе не захотятъ никогда продавать по пониженной цѣнѣ, когда у нихъ будетъ надежда продать крестьянъ полноправнымъ лицамъ (т. е. дворянамъ) за лучшую цѣну, а потому вся эта мѣра останется призрачною. Мало этого, масса людей, сдѣлавшихъ поземельными собственниками безъ населенія, увеличитъ цѣну на землю и направитъ дѣятельность свою такимъ образомъ, что будетъ стараться извлекать выгоды изъ земли независимо отъ крѣпостныхъ, что будетъ очень хорошо для промышленности и возвыситъ много цѣну на землю. Повидимому, его величество довольно сочувствовалъ этимъ соображеніямъ; заговорили затѣмъ о личной продажѣ и о предстоящей необходимости уничтожить этотъ варварскій обычай. Императоръ обратился къ проекту Зубова по этому предмету и прочелъ его въ цѣлости. Въ этомъ проектѣ Зубовъ отличаетъ дворовыхъ отъ настоящихъ крестьянъ и запрещаетъ продавать крестьянъ безъ земли (дворовыхъ онъ предлагалъ записать въ гильдіи и сдѣлать имъ расчисленіе); онъ предлагалъ, если собственникамъ угодно, чтобы казна выкупила

ихъ (т. е. дворовыхъ), опредѣлять цѣну выкупа и способъ, которому должно слѣдовать при раздачѣ наслѣдства, чтобы не раздѣлять членовъ одной и той же семьи. Казалось, что для выкупа Зубовъ указалъ не слишкомъ достаточныя средства; такія средства потребовали бы со стороны казны огромнаго расхода, котораго она не могла бы сдѣлать безъ большаго стѣсненія для себя. Мѣра приписки въ гильдію показала намъ столь же неудобною и несогласною съ духомъ народа, который вслѣдствіе того получилъ бы слишкомъ ложныя идеи о повиновеніи, которымъ они обязаны своимъ господамъ; подумаютъ, что они ничѣмъ не обязаны, и это повлечетъ за собою, съ одной стороны, весьма опасныя крайности, а въ собственникахъ — слишкомъ большое неудовольствіе для перваго раза. Тѣмъ не менѣе, его величество принялъ начало запрещенія личной продажи и дозволенія мѣщанамъ и казеннымъ крестьянамъ покупать недвижимую собственность. Вообще онъ приказалъ графу Кочубею, на основаніи принциповъ проекта Зубова, за исключеніемъ неудобствъ, представляемыхъ имъ, составить проектъ указа на тѣ два предмета». Слѣдующее засѣданіе комитета было посвящено вопросу о выкупѣ дворовыхъ. Пренія сосредоточивались на одномъ пунктѣ: что дѣлать съ выкупленными дворовыми людьми, если даже дѣло не остановится за деньгами? не увеличатъ ли они толпы бродягъ? На предложеніе выселить ихъ отвѣчали: «такое переселеніе требуетъ слишкомъ большихъ средствъ, а, какъ извѣстно, въ нашей имперіи переселенія совершаются весьма дурно по причинѣ худыхъ чиновниковъ, которымъ вынуждены повѣрять такого рода предпріятія». Выслушавъ эти

замѣчанія, государь выразилъ желаніе, чтобы Новосильцевъ посовѣтовался съ Лагарпомъ и Мордвиновымъ: слѣдуетъ ли объявить разомъ двѣ эти мѣры—выкупъ крестьянъ и дозволеніе мѣщанамъ приобрѣтать земли—или раздѣлить ихъ приличнымъ промежуткомъ времени? Лагарпъ и Мордвиновъ—оба нашли необходимымъ отдѣлить эти двѣ мѣры и послѣднюю выполнить сейчасъ же, а выкупъ крестьянъ отложить на неопредѣленное время во избѣжаніе неудовольствій дворянства и слишкомъ большихъ надеждъ со стороны крестьянъ. Императоръ согласился на это, но графъ Кочубей, Чарторижскій и Строгановъ были противоположнаго мнѣнія. Первый изъ нихъ доказывалъ, что было бы несправедливо и неблагоразумно дать новыя права свободнымъ людямъ и казеннымъ крестьянамъ, и ничего не сдѣлать въ пользу крѣпостныхъ, которые живутъ бокъ о бокъ съ государственными крестьянами и, видя новыя преимущества сосѣдей, еще болѣе почувствуютъ тягость своего положенія. «Дворяне, говорилъ Кочубей, будутъ также недовольны; убѣдившись, что всѣ отдѣльныя мѣры клонятся къ освобожденію крестьянъ, они будутъ находиться въ постоянномъ опасеніи новыхъ мѣръ, а потому лучше рѣшить этотъ вопросъ однимъ разомъ». Князь Чарторижскій замѣтилъ только, что право помѣщиковъ на крестьянъ такъ ужасно (*si horrible*), что не должно ничего опасаться при нарушеніи его. Горячѣе всѣхъ отстаивалъ свое мнѣніе графъ Павелъ Александровичъ Строгановъ, ревностный почитатель Мирабо, защитникъ конституціонныхъ началъ, назначенный, по учрежденіи министерствъ, товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ. Доводы графа Строга-

нова противъ медленности и нерѣшительности преобразованія распадались на двѣ части: сначала онъ опровергалъ возможность опасныхъ волненій со стороны дворянства, потомъ перешелъ къ крестьянамъ и охарактеризовалъ ихъ отношенія къ правительству:

«Что можетъ причинить опасное волненіе?» спрашивалъ онъ:—или партіи, или недовольныя лица. Какіе у насъ къ тому элементы? Народъ и дворянство. Что такое это дворянство, изъ какихъ элементовъ оно составлено, каковъ его духъ? Дворянство составилось у насъ изъ множества людей, которые сдѣлались дворянами только по службѣ, которые не получили никакого воспитанія... ни право, ни законъ, ничто не можетъ породить въ нихъ идеи о самалѣйшемъ сопротивленіи; это классъ самый невѣжественный, самый ничтожный и въ своемъ духѣ болѣе всего неподвижный—вотъ приблизительная картина дворянства, населяющаго деревни. Получившіе воспитаніе, нѣсколько болѣе тщательное—во первыхъ, они въ весьма небольшомъ числѣ и по большей части проникнуты духомъ, который ни малѣйше не склоненъ противодѣйствовать ни одной мѣрѣ правительства. Тѣ же изъ дворянъ, которые имѣютъ настоящую идею о справедливости, должны рукоплескать подобной мѣрѣ; прочіе же, хотя они и въ большинствѣ, не подумаютъ ни о чемъ другомъ, какъ только поболтаютъ. Большая часть дворянства, состоящаго на службѣ, настроена въ одну сторону, и къ несчастью настроена такъ, чтобы видѣть въ исполненіи распоряженій прави-

тельства свои личныя выгоды... Вотъ приблизительно-
ная картина нашего дворянства: одна часть
живетъ по деревнямъ и пребываетъ въ не-
проницаемомъ невѣжествѣ; а другая—на служ-
бѣ и проникнута духомъ вовсе неопаснымъ.
Значительныхъ собственниковъ нечего бояться». Устра-
нивъ первое возраженіе насчетъ опасныхъ элементовъ,
таящихся будто бы въ русскомъ дворянствѣ, графъ Стро-
гановъ изслѣдуетъ дальше и другую сторону вопроса.

«Эта другая сторона—по его мнѣнію—можетъ быть пред-
полагаема въ числѣ девяти милліоновъ людей, размѣщен-
ныхъ въ разныхъ концахъ имперіи. По необходимости они
слѣдуютъ различнымъ обычаямъ и проникнуты въ различ-
ныхъ мѣстахъ различнымъ духомъ. А потому нельзя сказать,
чтобы преобладающій духъ этого класса людей былъ повсю-
ду одинъ и тотъ же. Тѣмъ не менѣе, они повсюду и
одинаково чувствуютъ тяжесть своего раб-
ства; повсюду мысль объ отсутствіи собственности давитъ
ихъ способности и производитъ то, что промышленная дѣя-
тельность этихъ 9 милліоновъ равняется, для народнаго
благоденствія, нулю. Различіе одно: — въ нѣкоторыхъ мѣ-
стностяхъ эти люди болѣе мягки, въ другихъ болѣе грубы,
менѣе чувствуютъ потребности къ промышленности; въ
иныхъ дѣятельность ихъ духа не позволяетъ имъ остано-
виться, но имъ приходится на каждомъ шагу встрѣчать
препятствія, и ихъ способности не получаютъ того разви-
тія, къ какому они рождены; они остаются подавленными
и тѣмъ болѣе чувствуютъ свое положеніе. Всѣ они облада-
ютъ здравымъ смысломъ, который поражаетъ тѣхъ, которые

видѣли ихъ вблизи. Они рано исполняются величайшею ненавистью къ классу помѣщиковъ, своихъ притѣснителей; между этими классами господствуетъ ненависть. Народъ всегда склоненъ къ правительству, ибо онъ вѣритъ, что императоръ постоянно стремится къ его защитѣ, такъ что, если является стѣснительная мѣра, ее никогда не приписываютъ императору, но его министрамъ, которые, по словамъ народа, злоупотребляютъ волею государя, потому что они изъ дворянъ и тянутъ въ пользу ихъ личныхъ интересовъ. Еслибы кто вздумалъ сдѣлать малѣйшее покушеніе на преимущества императорской власти, то они первые станутъ за нее, ибо видятъ въ этомъ увеличеніе власти, противной ихъ естественнымъ врагамъ. Во всѣ времена у насъ именно классъ крестьянъ принималъ участіе во всѣхъ волненіяхъ, и никогда дворянство». Изъ послѣдняго факта графъ Строгановъ дѣлалъ правильный выводъ, что если можно бояться чьего нибудь неудовольствія, а затѣмъ возстанія, то, конечно, со стороны крестьянъ, а не дворянъ; что же касается до опасенія, что могутъ найтись предприимчивые люди, которые злоупотребятъ милостями правительства и будутъ подталкивать народъ, чтобы произвести смуты, то ораторъ сослался на ближайшее время, которое доказало, что нѣтъ возможности вооружить народъ противъ правительства. Рѣчь гр. Строганова заключилась обстоятельнымъ развитіемъ мысли,—прямо противоположной его оппонентамъ (т. е. Новосильцеву, Лагарпу и Мордвинову),—что если во всемъ этомъ вопросѣ есть опасность, то она заключается никакъ не въ освобожденіи крестьянъ, а въ удержаніи крѣпостнаго состоянія. «Таково было мое мнѣ-

ніе»—кончаетъ гр. Строгановъ. «Но тѣмъ не менѣе всѣ господа остались при своемъ и, послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, перешли къ другому предмету: мнѣ показалось, что императоръ уже рѣшился раздѣлить тѣ двѣ мѣры» *). Доводы гр. Строганова, основательно соображенные и горячо высказанные, разбились о боязливость партіи, къ которой примыкали даже личности, передовыя во многихъ другихъ отношеніяхъ. Это осторожное мнѣніе тогдашнихъ умѣренныхъ либераловъ выражено мимоходомъ и въ «С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ».

Въ критическомъ отдѣлѣ «С.-Петербургскій Вѣстникъ» отстаивалъ реальный взглядъ на вещи и преслѣдовалъ «трансцендентальнаго богослова» Эккартсгаузена, котораго сочиненія и, главнымъ образомъ, «Ключъ къ тайнствамъ природы» считались, по словамъ рецензента (№ 8), какимъ то оракуломъ просвѣщенія. За этотъ «ключъ», отпирившій двери развѣ только въ сумасшедшій домъ, охотники платили даже по сту рублей. «Истинно жаль— скорбятъ по этому случаю рецензентъ,—что сей писатель, по какому-то непонятному предубѣжденію, уважается многими соотечественниками нашими, не смотря на нелѣпости и даже на вредъ вздорныхъ сочиненій его, которыя, вмѣсто того, чтобы служить къ просвѣщенію читателей, подъ маскою какого-то таинственнаго откровенія, водятъ только отъ заблужденія къ заблужденію и совращаютъ съ пути истины умъ, нетвердый въ критикѣ». «С.-Петербургскій Вѣстникъ» не одобрялъ вообще умозрительнаго метода въ философіи, хотя бы этотъ

*) Вѣстн. Европы. 1866 г. Т. I; ст. г. Богдановича.

методъ и не приводилъ къ такимъ очевиднымъ недѣлостямъ, какъ болтовня Эккертсгаузена. Разбирая книгу Велланскаго: «Біологическое изслѣдованіе природы», написанное по умозрительной философской системѣ Шеллинга, рецензентъ замѣчаетъ: «Мы посовѣтуемъ нѣкоторымъ молодымъ людямъ, обыкновенно плѣняющимся умозрѣніями, никогда и ни для кого не отвергать правилъ здоровой логики, всегда помнить способъ приобрѣтенія познаній, чтобы умѣть отличить правильное умозрѣніе отъ пустыхъ мечтаній. Посовѣтуемъ имъ читать и знать исторію наукъ, особливо исторію философіи. Тамъ увидятъ они, что умозрительная философія не въ первый уже разъ является на земномъ шарѣ, что науки и самыя искусства, сколько получили они отъ наукъ, обязаны нынѣшнимъ состояніемъ ихъ способу опыта. Предположенія, пустяки умозрѣнія, вода умъ человѣческій, чрезъ нѣсколько вѣковъ, отъ однихъ заблужденій къ другимъ, не привели его ни къ одной истинѣ. Они, если принесли какую пользу, то развѣ только ту, что умъ человѣческій, предавшись имъ, узналъ, кажется, всѣ пути заблужденія. Это несчастная дань, какъ говоритъ одинъ философъ, которую предки наши невольно платили за драгоцѣнную истину». Но роль умозрительной философіи, несмотря на эти нападки, уже начиналась въ русской литературѣ, и подъ ея знаменемъ пришлось стоять не одному мыслящему человѣку въ Россіи. Вспомнимъ Веневитинова, Станкевича, Бѣлинскаго, которые сумѣли примѣнить эту философію къ потребностямъ нашей умственной жизни и извлечь изъ нея всю ту пользу, какую могла принести она, приучая людей къ систематическому мышленію и къ кри-

тикѣ фактовъ подѣ однимъ опредѣленнымъ угломъ зрѣнія. Самый матеріализмъ, какъ отрицаніе прежнихъ умозрительныхъ приѣмовъ философствованія, занесенъ къ намъ, такъ называемой, лѣвой фракціей гегелевской школы. Гегелевская діалектика обратилась, наконецъ, на себя самоё и разрушила величавое зданіе, построенное на воздухѣ....

Въ томъ же журналѣ мы встрѣчаемъ одинъ изъ первыхъ воинственныхъ отголосковъ 1812 г. По поводу высочайшаго манифѣста о повсемѣстномъ вооруженіи противъ французовъ въ «С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ» напечатано было стихотвореніе Милонова «Къ патріотамъ», въ которомъ авторъ восклицаетъ:

Цари въ плѣну, въ цѣпяхъ народы!
Часъ рабства, гибели приспѣлъ!
Гдѣ вы, гдѣ вы, сыны свободы?
Иль нѣтъ мечей и острыхъ стрѣлъ?
.
Воспрянь, героевъ русскихъ сила!
Кого и гдѣ, въ какихъ бояхъ,
Твоя десница не разила?
Днесъ ратуешь въ родныхъ краяхъ *) и пр.

*) С.-Петерб. Вѣстникъ, 1812 г. №№ 4 и 6.

Х.

Противодѣйствіе либеральнымъ идеямъ. — Шишковъ, какъ представитель реакціи подъ видомъ «старого слога» и любви къ отечеству. — Насмѣшки «Демокрита» надъ «философическими системами» новаго времени. — «Русскій Вѣстникъ» и его борьба за старинные русскіе идеалы. — Характеристика С. Глинки. — «Пантеонъ славныхъ россійскихъ мужей». — «Синъ Отечества» и его усердіе въ преслѣдованіи французскихъ идей. — Насмѣшки надъ Наполеономъ. — Русско-польскій патріотизмъ. —

Мы представили читателямъ, въ подробномъ очеркѣ, характеристику либеральнаго движенія, овладѣвшаго русской прессой въ первую половину александровскаго царствованія. Нетрудно замѣтить, что этотъ либерализмъ былъ весьма легальный и благонамѣренный: ничего похожего на серьезную, организованную оппозицію не пробивалось въ немъ, и если надежды тогдашнихъ либераловъ превышали иногда мѣру правительственныхъ обѣщаній, то онѣ, во всякомъ случаѣ, были очень скромны и опирались единственно на благія побужденія самого правительства. Ни къ какой другой поддержкѣ не взывали наши либералы, никакихъ опасныхъ и неосуществимыхъ замысловъ не питали они. Уничтоженіе цензуры, освобожденіе крестьянъ со всѣми гарантіями порядка и общественнаго спокойствія, гласный судъ съ печатаніемъ судебныхъ рѣшеній, наконецъ, желаніе регулировать по-европейски отправленія административной власти: — вотъ все, что высказывали и къ чему стремились наши передовые писатели въ сферѣ политической жизни. Большинство же образованныхъ людей довольствовалось и менѣе существенными реформами. Въ

своихъ философскихъ взглядахъ журналисты наши тоже не доходили до крайнихъ предѣловъ логическаго развитія мысли, и, относясь съ уваженіемъ къ французскимъ писателямъ XVIII-го столѣтія, постоянно съуживали и умѣряли ихъ воззрѣнія. Тотъ же «Сѣверный Вѣстникъ», который печаталъ цѣликомъ «*La politique naturelle*,» обличалъ по временамъ «заблужденія» Кондорсе, писателя одной школы съ Гольбахомъ, и находилъ непристойнымъ высокоуміе Дельфины,—героини романа г-жи Сталь,—проникнутой матеріалистическими понятіями французской философіи. Въ одномъ изъ номеровъ этого журнала за 1805 г. (№ 4) помѣщено даже стихотвореніе Н. Арцыбашева противъ матеріализма, гдѣ авторъ энергически вопрошаетъ: «ужель я тварь слѣпаго рока? уже ли случая я сынъ?» Другіе журналы (какъ это, безъ сомнѣнія, замѣтили наши читатели) еще чаще ограничивали свои воззрѣнія и робко оговаривались даже при самыхъ невинныхъ размышленіяхъ. Но и этотъ сдержанный либерализмъ не нравился нашимъ близорукимъ консерваторамъ, которые, по своему всегдашнему обычаю, не погнушались ни косвенными намеками, ни прямыми доносами на политическую неблагонадежность своихъ литературныхъ противниковъ. Въ числѣ первыхъ лицъ, возставшихъ противъ новаго духа времени, мы находимъ знаменитаго поэта Державина, который, по словамъ барона Корфа, «очевидно увлекался старыми повѣрьями и идеями, ненавидѣлъ новизну и ея вводителѣй, и нерѣдко, со всею суровостью и строптивостью человѣка, избалованнаго почестями и славою, совершенно несправедливо клеймилъ тѣхъ, которые имѣли несчастіе затронуть его самолюбіе». (Жизнь гр. Сперанскаго,

т. I, стр. 103). Видя въ каждой новой мысли отраженіе ненавистнаго ему «польскаго и французскаго конституціоннаго духа» (Ibid стр. 93), пѣвецъ Фелицы и словесно, и письменно предостерегалъ начальство отъ ужасныхъ послѣдствій либеральнаго направленія. Но начальство долгое время пребывало глухо къ печатнымъ и устнымъ внушеніямъ сановнаго лирика, растерявшаго, въ хвалебныхъ потугахъ, весь свой замѣчательный литературный талантъ. Въ этой же фалангѣ стоялъ и другой вліятельный литераторъ Шишковъ.

Прежде всего, полемика противъ новыхъ нравственныхъ и политическихъ взглядовъ завязалась въ формѣ спора о языкѣ. Что полемика Шишкова имѣла преимущественно этотъ смыслъ и только пряталась подъ личину филологическихъ разсужденій—это видно изъ рѣзкихъ выходокъ, разбросанныхъ въ его отвѣтъ на критическія статьи «Сѣвернаго Вѣстника» и «Московскаго Меркурія». (См. Прибавленіе къ сочиненію: «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ», 1804 г.) Шишковъ называетъ своихъ враговъ шайкою писателей, составившихъ заговоръ противъ славянскихъ книгъ въ пользу французскихъ, въ которыхъ можно, какъ «въ преисполненномъ опасностью морѣ, чистоту нравовъ преткнуть о камень». Онъ злобно нападаетъ на «развратные нравы, которыми новѣйшіе философы обучили родъ человѣческій, и которыхъ пагубные плоды, послѣ толикаго проліянія крови, и понынѣ еще во Франціи гнѣздятся». По его мнѣнію, «первая искра стихотворческаго огня загорѣлась въ душѣ Ломоносова отъ чтенія псалтыри», и если онъ не утверждаетъ прямо, что бібліотека нравственнаго человѣка должна состоять только изъ псалтыря и четвъ — минеи, то весьма

близко подходит къ этой мысли. О повѣсти Карамзина: «Наталя, боярская дочь» Шишковъ говоритъ, что онъ «вырвалъ бы ее изъ рукъ своей дочери, ибо тлѣть обычаи благи бесѣды злы». «Московскій Меркурій» замѣтилъ Шишкову: «Неужели сочинитель, для удобнѣйшаго возстановленія стариннаго языка, хочетъ возвратитъ насъ къ обычаямъ и понятіямъ стариннымъ? Мы не смѣемъ остановиться на сей мысли...» Но Шишковъ отвѣчаетъ на это съ полнѣйшей откровенностью: «Государь мой! Если вы не смѣете, такъ я смѣю остановиться здѣсь и разсмотрѣть вашу мысль. Почему обычаи и понятія предковъ нашихъ кажутся вамъ достойными такого презрѣнія, что вы не можете подуматъ объ нихъ безъ крайняго отвращенія? Мы видимъ въ предкахъ нашихъ примѣры многихъ добродѣтелей: они любили отечество свое, тверды были въ вѣрѣ, почитали царей и законы (при этомъ подразумѣвалось, само собою, что защитники новаго слога не тверды въ вѣрѣ и не «почитаютъ» царей и законовъ); свидѣлствуютъ въ томъ Гермогены, Филареты, Пожарскіе, Трубецкіе и пр. и пр. Храбрость, твердость духа, терпѣливое повиновеніе законной власти, любовь къ ближнему, родственная связь, вѣрность, гостепріимство и инныя многія достоинства ихъ украшали». Тѣ же мысли, но еще съ бѣльшею опредѣлительностью высказываетъ Шишковъ въ своей рѣчи: «О любви къ отечеству». Вѣра, воспитаніе въ реакціонномъ духѣ, славянскій языкъ — вотъ, по его словамъ, самыя сильныя средства для возбужденія любви къ отечеству. Тутъ не говорится ни о научной сторонѣ воспитанія, какъ напр. въ журналѣ В. Измайлова «Патріотъ», ни о томъ преобразованіи оте-

чественныхъ учрежденій въ духѣ времени, которое могло бы, по мнѣнію «Сѣвернаго Вѣстника», вдохнуть въ русскихъ сознательный и честный патріотизмъ. О политическомъ значеніи языка Шишковъ говоритъ: «Языкъ есть душа народа, зеркало нравовъ, вѣрный показатель просвѣщенія, неумолчный проповѣдникъ дѣлъ. Возвышается народъ, возвышается языкъ; благонравенъ народъ, благонравенъ и языкъ. Никогда безбожникъ не можетъ говорить языкомъ Давида: слава небесъ не открывается ползающему въ землѣ червю. Никогда развратный не можетъ говорить языкомъ Соломона; свѣтъ мудрости не озаряетъ утопающаго въ страстяхъ и порокахъ... Гдѣ нѣтъ въ сердцахъ вѣры, тамъ нѣтъ въ языкѣ благочестія; гдѣ нѣтъ любви къ отечеству, тамъ языкъ не изъясняетъ чувствъ отечественныхъ. Гдѣ ученіе основано на мракѣ лжеумствованія, тамъ въ языкѣ не возсіетъ истина; тамъ въ наглыхъ и невѣжественныхъ писаніяхъ господствуетъ одинъ только развратъ и ложь. Однимъ словомъ, языкъ есть мѣрило ума, души и свойствъ народныхъ». Съ трудомъ вѣрится нынѣ, что все это нелѣпое, злобное разглагольствованіе о чувствахъ отечественныхъ, объ упадкѣ вѣры, о развратѣ и лжи новой литературы, — расточалось по поводу «Бѣдной Лизы», «Натальи, боярской дочери» и другихъ произведеній сантиментальной школы. Что касается нравственного и политическаго состоянія Россіи того времени, то Шишковъ считалъ вредными въ немъ какія бы то ни было измѣненія. «Эпоха послѣднихъ двадцати пяти лѣтъ» — говоритъ онъ — «слишкомъ ясно насъ вразумляетъ, что Франція въ тысячу разъ болѣе имѣетъ надобности въ нравственныхъ лекціяхъ, нежели мы, русскіе,

всегда готовы отдать отчетъ въ сердечныхъ чувствованіяхъ Богу, вселюбезнѣйшему нашему государю и великой отчизнѣ. Правда, есть у насъ и свои слабости; но въ послѣдніе два года россіяне доказали, что самый модный русскій повѣса, даже никогда не бывшій въ военной службѣ, точно съ тѣмъ же духомъ маршируетъ на бранномъ полѣ, съ какимъ, за три передъ тѣмъ дня, вальсировалъ въ бальной залѣ. Мышца его столь же крѣпка и ужасна для враговъ, сколько объятія его пріятны и обольстительны для женщины! Не стыдно ли вамъ не чувствовать высокихъ вашихъ достоинствъ? Взгляните на торжествующую нынѣ Европу; благородный гласъ ея взываетъ къ вамъ: «Спасители наши, русскіе! Вамъ ли, обезьянствуя, подражать французамъ, которыхъ низложила рука ваша; вамъ ли, которые во всѣхъ вѣкахъ и между всѣми народами славились добродѣтью вашею нравственностью? На французскомъ ли языкѣ должно вспоминать и славить великіе ваши подвиги? Пусть бульварные повѣсы, вѣтренныя головы Лансамъ своимъ гнущатъ на французскомъ языкѣ комплименты, но вы, именитые юноши, которыхъ природа почтила высокими именами благородства, а заслуги обязали общество питать къ вамъ уваженіе, не мѣняйте русское слово: здравствуй, братъ! на французское: бонъ-журъ, монсье! не унижайте природнаго вашего языка, на которомъ потомство будетъ славить дѣла ваши». Наивный старецъ полагалъ, что стоитъ только внушить именитымъ юношамъ всю зазорность употребленія французскаго языка, какъ русская литература внезапно процвѣтетъ, и всѣ кинутся читать «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ». Увы! не однимъ

обезьянствомъ объяснялось, въ тѣ дни, господство иностранныхъ языковъ и литературъ, — а сравнительной бѣдностью нашей собственной литературы и несовершенствомъ нашего книжнаго языка. Обезьянство, безъ сомнѣнія, существовало, какъ мода, какъ повѣтріе: но самая-то мода возникла потому, что, со временъ Петра I, изъ западной Европы шли къ намъ всѣ новыя, лучшія идеи. Чтобы уничтожить это господство, намъ нужно было обработать нашъ книжный языкъ, приблизивъ его къ разговорному (что и сдѣлалъ Карамзинъ) и выразить на немъ все богатство западныхъ идей, — о чемъ хлопотали умные и честные журналисты. Но противъ той и другой половины этой задачи всего болѣе возставалъ Шишковъ съ компаніей, совершенно не понимая, къ какому противоположному результату направляется ихъ quasi-патріотическая дѣятельность... Чтобы докончить характеристику этой консервативно-филологической партіи, мы прибавимъ, что журналъ, взявшій подъ свою особенную защиту разсужденіе Шишкова: «О любви къ отечеству», отличался самъ всѣми качествами ретрограднаго изданія. Этотъ журналъ—Демокритъ (1815 г.), о которомъ намъ случалось уже упоминать. Патріотизмъ этого журнала выражался единственно въ брани на Европу и въ особенности на французовъ; его беззубая сатира, между разными пустяками, пробовала осмѣивать и всѣ либеральныя идеи, заносимыя къ намъ съ запада. Разсужденіе Шишкова «Демокритъ» считалъ «твореніемъ, увѣковѣчивающимъ имя сочинителя, поселяющимъ въ душѣ нашей тѣ же благороднѣйшія чувствованія, каковыми вдохновенъ великій геній его творца»; онъ нападалъ на всѣхъ «старыхъ и молодыхъ повѣсь,

въ очкахъ и безъ очковъ, въ парикахъ и безъ париковъ», которые не читають этого творенія, а гнусятъ по французски и наслаждаются французскими книгами. Взамѣнъ всѣхъ иностранныхъ бредней, «Демокритъ» рекомендовалъ своимъ читателямъ, — въ статьѣ подъ названіемъ: «Надгробная рѣчь моей собакѣ, Балабай» (Демокр. № 2), — слѣдующій, такъ сказать, домашній кодексъ понятій:

«Итакъ, я лишился тебя, вѣрный другъ мой Балабай! Завистливый рокъ, ревнуя маленькому моему утѣшенію, похитилъ тебя навсегда. Смѣйтесь, мудрецы прѣсвѣщеннаго и вмѣстѣ развратнаго вѣка, порицайте привязанность мою къ собакѣ. Тщетно въ философіи вашей, блестящей мишурнымъ слогомъ, искалъ я истины; давно, съ душевною грустью, среди толпы безчувственныхъ людей, скитаюсь одинъ. О вѣрный Балабай! сколько разъ ласки твои — знаки сердечной привязанности — давали мнѣ чувствовать превосходство твое передъ разумными, такъ называемыми, существами, стремящимися ежечасно на пагубу ближняго! Ты, въ воспитаніи котораго ни одинъ университетъ не принималъ никакого участія, — понятія твои машинально образовала мать всещедрая природа. Ты, который никогда не читалъ ни влюбленнаго Петрарка, ни отчаяннаго Вертера, ни сентиментальнаго р—го Стерна (т. е. русскаго Стерна—Карамзина), ни политическаго журнала—ты, безъ всѣхъ сихъ, столь необходимыхъ познаній, умѣлъ чувствовать мое къ тебѣ расположеніе и платить истинною, чистою, непритворною признательностью. Ты, при врожденной тихости и умѣренности въ желаніяхъ твоихъ, никогда не хотѣлъ быть ни эгоистомъ, ни софи-

стомъ, ни якобинцемъ: слѣдствіе модной философіи. Ты любилъ душевно грязное твое отечество — Винницу. Ты ложными софизмами никогда не нарушалъ всеобщаго спокойствія. Ты зналъ, что власть единственная есть неоцѣненное благо, съ небесъ Всевышнимъ намъ ниспосланное. Мечтательное умствование твое никогда не дерзало судить законовъ, начертанныхъ мудрою рукою царей. Ты зналъ, что законы сіи суть цѣпь, связующая всеобщій порядокъ, гармонія, согласующая чувства единоплеменныхъ. Ты гнушался знакомства тѣхъ собакъ, которыя, бывъ назначены судьбою пресмыкаться у воротъ, хотѣли, противоборствуя неисповѣдимымъ предначертаніямъ, водвориться въ счастливыя спальни и знатные кабинеты. Ты вѣдалъ, что состояніе посредственное есть источникъ, изъ котораго можно почерпнуть душевное спокойствіе. Ты, въ цѣлый твой вѣкъ, не растерзалъ ни одной индѣйки, какъ дѣлаетъ нерѣдко товарищъ твой Орелка; худые примѣры его никогда не имѣли вліянія на безмятежную твою душу. Сіе гнусное революціонное право сильнаго (намекъ на Францію) было противно нѣжной твоей характеристикѣ... Ты не открылъ ни одного созвѣздія; ты не имѣлъ переписки ни съ одной академіей; ты не былъ знакомъ съ де-Лаландомъ; ты не издавалъ журнала; ты не вояжировалъ; грязная Винница была твоимъ отечествомъ; предѣлы оной были предѣлами твоихъ познаній... Ты не придерживался ни одной философической системы: Лейбницъ, Спиноза, Сенека—всѣ для тебя были равны. Ты слѣдовалъ влеченію твоего инстин-

кта; но врожденный инстинктъ сей никогда не увлекалъ тебя за предѣлы predetermined тебѣ участи. Ты не обогащалъ умъ твой политическими познаніями, единственно для того, чтобъ судить кабинеты и дѣла министровъ, не понимая истинной ихъ цѣли и дѣйствія... Ты не читалъ Вольтера... Ты отъ роду не зналъ, что такое Сократъ, Платонъ, Діогенъ, Аристиппъ... Ты не имѣлъ понятія о древнемъ ареопагѣ, чтобъ подъ часъ, въ модномъ обществѣ полу-просвѣщенныхъ повѣсь, блеснуть своими познаніями. Ахъ, любезный Балабай! Я съ прискорбіемъ предчувствую, что парящая слава не дотащитъ драгоценной памяти твоей до позднѣйшихъ потомковъ. Утѣшся, дражайшая тѣнь! Стоны друга твоего на зарѣ утренней смѣшаются съ хоромъ пернатыхъ, витающихъ надъ мирною твоею могилою. Сребристая луна, свидѣтель горести моей, застанетъ меня бдящаго надъ прахомъ твоимъ». — Очевидно, что этотъ Балабай жилъ вполне согласно съ совѣтами защитниковъ стараго русскаго слога, и что его «грязная Винница» (несовсѣмъ-то лестный эпитетъ!), въ прообразовательномъ смыслѣ, указывала на всю Россію. Можно бы даже принять эту похвалу за самую злую иронию (такъ похвалены качества, приписанныя Балабаю), еслибы тому не препятствовали всѣ другія статьи журнала...

Заговоривъ о патріотическомъ направленіи, на которое претендовали сторонники шишковскаго слога, мы должны указать на журналы, выступившіе прямо подъ этимъ знаменемъ на борьбу съ новымъ направленіемъ умовъ, не маскируясь уже никакой филологіей. Первымъ журналомъ, который, во имя патріотизма, проповѣдовалъ возвращеніе къ

умственной жизни нашихъ предковъ, былъ «Русскій Вѣстникъ», выходившій ежемѣсячно въ Москвѣ съ 1808 г. Правда, патриотическій оттѣнокъ, въ томъ же смыслѣ, замѣтенъ былъ и въ «Московскомъ Зрителѣ» вн. Шаликова, но тамъ онъ былъ еще очень мягокъ и уступчивъ, и не входилъ въ открытую борьбу съ новымъ европейскимъ вліяніемъ. — Вотъ какъ объяснялъ издатель «Русскаго Вѣстника», С. Н. Глинка, цѣль изданія своего журнала: «Издавая Русскій Вѣстникъ, намѣренъ я предлагать читателямъ все то, что непосредственно относится къ русскимъ. Всѣ наши упражненія, дѣянія, чувства и мысли должны имѣть цѣлью отечество; на семъ единодушномъ стремленіи основано общее благо. Подражая иноземнымъ модамъ и обыкновеніямъ, для чего не перенимать у нихъ полезнаго и похвальнаго... Истинная добродѣтель не требуетъ похвалъ; но нужно напоминать о ней въ наставленіе другимъ. Издатель и участвующіе въ «Вѣстникѣ» его весьма будутъ признательны за извѣстія о благодѣяніяхъ, полезныхъ заведеніяхъ, словомъ, о всемъ томъ, что можетъ улаждать сердца русскія; увѣдомленія сіи составятъ новую отечественную исторію: исторію о добродѣтельныхъ дѣяніяхъ и благотворныхъ заведеніяхъ. Отцы и матери, напечатлѣвая въ сердцахъ дѣтей своихъ сохраненныя въ ней преданія, будутъ одушевлять ихъ рвеніемъ къ добродѣтели и къ общему благу. Въ сихъ листахъ найдутъ многія статьи о древнихъ временахъ Россіи. Бесѣда съ праотцами, бесѣда съ героями и друзьями отечества питаетъ душу и, сближая прошедшее съ настоящимъ, умножаетъ бытіе наше; настоящее объясняется прошедшимъ, будущее настоящимъ. Но быстрота мыслей человѣческихъ рѣдко на одной вещи останавливается; и

такъ отъ древности будемъ возвращаться къ нашимъ временамъ... Одинъ иностранный писатель, обозрѣвая европейскія государства, говоритъ: «въ Австріи мнѣнія противорѣчатъ законамъ, въ Пруссіи чувства и мысли народныя не согласны съ чувствами и мыслями правительства, въ Россіи лучшіе умы заняты новизною или нововведеніями». Не объяснивъ, какую онъ примѣтилъ въ Россіи новизну, можно ли укорять (?) лучшіе умы?.. Философы XVIII столѣтія никогда не заботились о доказательствахъ: они писали политическіе, историческіе, нравоучительные, метафизическіе, физическіе (?) романы; порицали все, все опровергали, обѣщали безпредѣльное просвѣщеніе, неограниченную свободу (курсивъ въ подлин.), не говоря, что такое-то и другое, не показывая къ нимъ никакого слѣда; словомъ, они желали преобразить все по своему. Мы видѣли, къ чему привели сіи романы, сія мечты воспаленнаго и тщеславнаго воображенія! Итакъ, замѣчая нынѣшніе нравы, воспитаніе, обычаи, моды и проч., мы будемъ противопоставлять имъ—не вымыслы романическіе, но нравы и добродѣтели праотцевъ нашихъ... Богъ поможетъ русскимъ! Все истинно полезное, пріобрѣтенное ими въ теченіи цѣлаго столѣтія, присовокупятъ они къ полезнымъ и похвальнымъ качествамъ предковъ, и не чужимъ, не заимствованнымъ, но своимъ роднымъ добромъ будутъ богаты... Въ нѣкоторыхъ статьяхъ «Русскаго Вѣстника» добрые и попечительные отцы семействъ найдутъ способы ученія для семейственнаго воспитанія, основанные на опытѣ и утвержденные друзьями блага общаго» (№ 1). Выполняя свою программу, Глинка печаталъ статьи по русской исторіи: о бояринѣ Матвѣевѣ, Александрѣ

Невскомъ, Сусанинъ и друг. (иногда съ приложеніемъ портретовъ), приводилъ мнѣнія русскихъ и иностранныхъ писателей о воспитаніи, и ревностно защищалъ Россію отъ обидныхъ отзывовъ европейской литературы. Воспитаніемъ въ патриотическомъ духѣ Глинка особенно дорожилъ, и въ 1816 г.,—удовлетворяя разомъ какъ этой потребности, такъ и желанію своихъ читателей слѣдить за политическими новостями,—открылъ въ своемъ журналѣ два постоянные отдѣла: 1) «Русскій Вѣстникъ», или отечественныя вѣдомости о достопамятныхъ европейскихъ происшествіяхъ и 2) «Русскій Вѣстникъ» въ пользу семейственнаго воспитанія. Случаи изъ современной жизни, долженствовавшіе составить, по мнѣнію Глинки, «исторію о добродѣтельныхъ дѣяніяхъ», были въ такомъ родѣ: «рѣшительность Россіянъ», «наслѣдственное мужество русскихъ», «братская любовь» и пр. За нравственностью издатель наблюдалъ строго и сдѣлалъ замѣчаніе Москвѣ за то, что въ ней умножается число кабаковъ. Охотно помѣщалъ онъ рассказы о военной храбрости, и къ одному изъ нихъ добавилъ примѣчаніе: «мечта о вѣчномъ мирѣ всегда будетъ мечтой, ибо страсти человѣческія всегда одинаково дѣйствуютъ» (1809 г. № 7). Журналъ съ такимъ направленіемъ встрѣтилъ много препятствій во вкусахъ и настроеніи тогдашней образованной публики; но у «Русскаго Вѣстника» нашлись съ перваго же разу и сторонники, которые поддерживали его своимъ сочувствіемъ и давали различные совѣты. Одинъ изъ этихъ сторонниковъ *) писалъ къ издателю: «Хотя я ниѣмъ, и самъ, человѣкъ съ десятокъ заморскихъ учителей, зѣваю

*) Подъ именемъ этого сторонника скрывался извѣстный гр. О. В. Ростовчинъ.

на чужой землѣ и говорю на нѣсколькихъ иностранныхъ языкахъ, но со всѣмъ тѣмъ Богъ охранилъ меня отъ заразы. И я, узнавъ свою отчизну, помня примѣры предковъ, поученія священника Петра и слова мамы Герасимовны, остался до сихъ поръ совершенно русскимъ... Увидѣлъ я обнародованіе ваше о Россійскомъ Вѣстникѣ: хвалю столько же благое намѣреніе, сколько дивлюся смѣлости духа вашего. Вы имѣете въ виду единственно пользу общую и хотите издавать одну русскую старину, ожидая отъ нея исцѣленія слѣпыхъ, глухихъ и сумасшедшихъ; позабыли, что неизмѣнное дѣйствіе истины есть—колотъ глаза и приводитъ въ изступленіе. Конечно, васъ читать будутъ многіе: всѣ благомыслящіе и любящіе законы, отечество и государя, отдадутъ справедливость подвигу вашему. Но для сихъ прошедшее не нужно; ибо они сами настоящимъ служатъ примѣромъ. А какъ заставить любить по русски отечество тѣхъ, кои его презираютъ, не знаютъ своего языка и по необходимости русскіе? Какъ привлечь вниманіе вольноопредѣляющихся въ иностранные? Какъ сдѣлаться терпимымъ у разодѣтыхъ по модѣ барынь и барышень? Упрашивайте, убѣждайте, стыдите—ничто не подѣйствуетъ. Для сихъ, отпадшихъ отъ своихъ, вы будете проповѣдникомъ, какъ посреди дикаго народа въ Африкѣ. До сего одви лишь иностранные, за наше гостепріимство, терпѣніе и деньги, ругали насъ безъ пощады, а нынѣ уже и русскіе къ нимъ пристають. Я не удивлюсь, если со временемъ найдется какой-нибудь безстыдный враль, который станетъ намъ доказывать, что мы не люди, и что Богъ создалъ одно наше тѣло, а души вкладываются иностранными (т. е. иностран-

цами) по ихъ благоусмотрѣнію... Мы съ перваго раза утверживаемъ имя всякаго иностраннаго и с к и д к а (sic), а они до сихъ поръ не могутъ правильно писать: Суворовъ, а что еще лучше, что симъ великимъ именемъ называютъ въ Лондонѣ бѣлаго медвѣдя; а въ Парижѣ, въ 1785 г., показывали за деньги француза, одѣтаго въ звѣриную кожу, подъ вывѣской: «здѣсь можно видѣть страшное чудовище, которое говоритъ природнымъ своимъ московскимъ языкомъ». Принимая живое участіе въ успѣхѣ вашего сочиненія (т. е. изданія), совѣтую приучать слегка къ забытой русской былинѣхъ изъ соотчичей нашихъ, кои тѣломъ на Руси, а духомъ за-границей; совѣтую называть подлинныя сочиненія наши переводами, разжаловать всѣхъ нашихъ именитыхъ людей въ иностранныхъ, украсить каждую книжку французскимъ и англійскимъ эпиграфомъ и картинкой, представляющей невинную въ новомъ вкусѣ насмѣшку. Напримѣръ: представьте парикмахера, стригущаго русскаго съ надписью: подстриженный сѣверный Самсонъ; или обезьяну, которая учитъ медвѣдя танцовать, съ надписью: сержусь, но поклонюсь; или бѣса, раздѣвающаго русскаго съ надписью: облегчится и просвѣтитъ (курсивъ въ подлин.). Вотъ совѣты, кои русскій старикъ почитаетъ нужными для васъ». Другой поклонникъ сообщалъ Глинкѣ изъ Казани, что его журналъ читается многими съ большимъ удовольствіемъ. «Старики русскіе»—говоритъ онъ—«благодарятъ васъ, да и раскольники русскіе хвалятъ... только нѣкоторые молодые повѣсы читаютъ его со скукою, не находя картинокъ заграничныхъ модъ, маленькаго пустаго романа, для траты имъ несноснаго времени, и острыхъ эпи-

граммъ и эпитафій для насмѣшекъ... Недавно съ чрезвычайнымъ удовольствіемъ видѣлъ я, какъ одинъ старинный русскій маіоръ, читая о бояринѣ Матвѣевѣ (Р. В. № 1), омочилъ слезами страницы «Русскаго Вѣстника»; я самъ плакалъ съ нимъ. Не повѣрите, какъ онъ благодаритъ васъ! Слава Богу, говорилъ онъ, что еще вспоминаютъ старину, а то дѣти съ французскимъ воспитаніемъ стали умнѣе отцовъ». Дѣти бранятъ отцовъ по французски, а батюшки, зѣвая на нихъ, удивляются; дѣти пренебрегаютъ родителей, кои не смѣютъ сказать имъ слова. Ахъ! смѣлъ ли бы сперва сынъ не послушаться родителя? смѣлъ ли быть его мудрѣе? Тогда во всемъ домѣ былъ порядокъ (по Домострою?) и во всемъ царствѣ. Царь былъ всѣхъ мудрѣе; а нынѣ молокососы не успѣютъ выучиться подписывать свое имя, то, зная уже давно болтать по французски и читать Вольтера, думаютъ быть мудрѣе... Нѣтъ, все пошло вверхъ дномъ съ заморскими учителями».

Но издатель «Русскаго Вѣстника», какъ человѣкъ честный, образованный и даже увлекавшійся сочиненіями Руссо,—по педагогической системѣ котораго онъ самъ былъ воспитанъ въ сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ,—неспособенъ былъ къ назойливому, мелочному гоненію противъ всякой свѣжей мысли; у него замѣчалась нерѣдко склонность къ оппозиціи, и произволъ, господствовавшій въ нашей жизни, находилъ въ немъ подъ часъ несговорчиваго и горячаго противника. Въ древней русской исторіи онъ видѣлъ скорѣе идиллическую картину, чѣмъ суровый, дисциплинарный бытъ, и стремился, отчасти, примирить требованія старины съ новыми европейскими понятіями. Только эти новыя понятія перепуты-

вались у него самымъ курьезнымъ и оригинальнымъ образомъ съ неподвижными догматами, усвоенными по преданію, принятыми на вѣру. Вслѣдствіе этого, статьи его пестрятъ всевозможными цитатами: изъ Кормчей книги и изъ сочиненій Кондильяка; изъ поученія Владиміра Мономаха и изъ натуральной исторіи Бюффона. Такъ, напримѣръ, защищая допетровскую старину, Глинка приводитъ мнѣніе боярина Матвѣева о душѣ: «душа есть существо живущее, простое и безплотное, тѣлесными очами по свойственному естеству недвижное, бессмертное, словесное и умное» и прибавляетъ къ этому: «бояринъ Матвѣевъ точно также (!) умствовалъ о душѣ, какъ Локъ и Кондильякъ, хотя онъ не могъ читать ни того, ни другого». Защищая Кормчую книгу (1808 г. № 8) противъ «умствованій, устремившихся къ осмѣянію сего хранилища божественныхъ и нравственныхъ преданій», Глинка сопоставляетъ правила этой книги съ мнѣніями Солона, Шатобріана, Монтескье и г-жи Жанлисъ. «Простирая вниманіе свое» — говоритъ издатель «Русскаго Вѣстника» — «на бѣдныхъ и неимущихъ, добродѣтельные наставники убѣждаютъ (въ Кормчей книгѣ), чтобы не мѣняли челоуѣколюбія и милосердія на лихоимство и постыдный прибытокъ, и правило сіе относятъ не только къ единоплеменнымъ, но ко всѣмъ людямъ вообще: «ибо, вѣщаютъ они, сребролюбіе есть недугъ душевный». Въ древнемъ Римѣ, во времена язычества, Катоны, Бруты и прочіе прославляемые герои брали неограниченные проценты, заключали должниковъ своихъ въ темницы и пр. Итакъ, сколь отличествуетъ милосердіе евангелія отъ правоученія языческаго. Одинъ иноплеменный писатель (Шатобріанъ) очень справедливо сказалъ: «простая

нравственность пресмыкается; добродѣтели христіанскія парятъ на крыліяхъ любви и надежды». — Въ концѣ концовъ, Глинка утверждаетъ въ мысли, что «всѣ правила, содержащіяся въ Коричей книгѣ, согласны съ разсужденіемъ всѣхъ знаменитыхъ просвѣтителей всѣхъ странъ и всѣхъ вѣковъ». Эта способность Глинки—связывать между собою самыя разнообразныя и даже прямо противоположныя понятія и приурочивать ихъ къ русской старинѣ—ловко подмѣчена Воейковымъ въ его «Сумасшедшемъ домѣ»:

..... на лежанкѣ
Истый Глинка възсѣдитъ.

.
Книга Коричая отверста
И уста отворены,
Сложены десной два перста,
Очи вверхъ устремлены!
О Расинъ! Откуда слава?
Я тебя, дружокъ, поймалъ:
Изъ російскаго Стоглава
Ты Гофолію укралъ.
Чувствъ возвышенныхъ сіянье,
Выраженій красота
Въ Андромахѣ — подражанье
Погребенію кота!

Честный, но смѣшной чудакъ, — Глинка хотѣлъ облагородить и реставрировать древнерусскіе идеалы; въ бояринѣ Матвѣевѣ ему грезился чуть ли не самъ маркизъ Поза; Наталья Кирилловна напоминала добродѣтельную мать Марка-Аврелія; какой нибудь малограмотный книжникъ равнялся по глубинѣ мыслей всѣмъ семи греческимъ мудрецамъ. Всю жизнь свою онъ мечталъ о безкорыстномъ служеніи родинѣ, о широкой дѣятельности общественной, изобличалъ лжецовъ, ссорился съ начальниками (см. въ его запискахъ объясненіе

съ кн. Ливеномъ),—и за все это получилъ только прозваніе и репутацію крайне «безпокойнаго» человѣка... Сподвижники же Глинки, дѣйствовавшіе по одной съ нимъ, узко-патріотической программѣ, не увлекались никакими мечтаніями, хотѣли прежде всего дисциплины; — и достоинство старины полагали не въ сходствѣ (хотя бы случайномъ и внѣшнемъ), но въ противорѣчіи со всѣми новѣйшими умствованіями. Таковъ былъ «Пантеонъ славныхъ російскихъ мужей», издававшійся въ 1816—18 г.г. Въ этомъ «Пантеонѣ» доказывается съ неменьшею убѣдительностью, чѣмъ въ филологической полемикѣ Шишкова, что «высокая мораль французской философіи была первою причиною двадцатипятилѣтняго во всемъ мірѣ кровопролитія». Издателемъ «Пантеона» былъ тотъ же А. Кропотовъ, который издавалъ «Демокрита».

Особеннымъ усердіемъ въ преслѣдованіи французскихъ идей отличался «Сынъ Отечества» — еженедѣльный журналъ, возникшій, по инициативѣ г. Греча, въ эпоху грозной войны 1812 г. *) Воинственно-патріотическій тонъ этого журнала объясняется обстоятельствами. «Въ то время» — говорится въ первомъ номерѣ — «когда злобный разрушитель царствъ и престоловъ занесъ дерзкую ногу въ предѣлы благословенной земли русской и тлетворнымъ дыханіемъ своимъ распространяетъ повсюду ужасъ, боязнь и недоумѣніе, каждый россиянинъ долженъ употреблять всѣ силы и способности свои для вящаго одобренія мужественныхъ, для возстановленія малодушныхъ, для изобличенія безстыднаго хищника во лжахъ и кощунствахъ его». Противъ Наполеона печатались филиппики въ такомъ родѣ: «Предчувствуй безсмертіе, тебя достойное!

*) Съ 1825 г. въ немъ принялъ участіе О. В. Булгаринъ.

предчувствуй, какъ и когда потомки будутъ влясться твоимъ именемъ! Ты возсѣдишь на престолѣ своемъ посреди блеска и пламени, какъ сатана въ средоточіи ада, препоясанъ смертью, опустошеніемъ, яростью и пламенемъ»... «Трепещи! трепещи и блѣднѣй, да сокрушится желѣзное сердце твое, да изнеможетъ ужасная твоя душа. Трепещи! возстаютъ отъ гробовъ древнія, почившія фуріи, приближаются къ тебѣ стопами медленными; озираются грозными, дальновидными очами своими страшныя богини ада, мстительницы и карательницы всякаго злаго дѣла, всякаго мрачнаго преступленія, возстаютъ, устрашаютъ, преслѣдуютъ, смущаютъ тебя, доколѣ не погибнешь, доколѣ не исчезнешь съ лица земли!» Сподвижники Наполеона называются «подлыми и малодушными», войска его—«разбойниками», самъ предводитель ихъ «гнуснымъ тираномъ и убійцею». Сила этихъ выраженій соотвѣтствовала тогда общему гнѣвному энтузіазму. Извѣстно, что самая наружность Наполеона подвергалась въ народныхъ листкахъ осмѣянію нашихъ патріотовъ. Въ одномъ изъ этихъ листовъ (1814 г.),—который мы видѣли у П. А. Ефремова,—французскій императоръ живописуется, напр., такими красками:

«Представьте себѣ человѣка при маломъ ростѣ (въ 5 ф. и 2 дюйма), имѣющаго лицо большое, скуловатое, мрачное, цвѣта изжелта-оливковаго, съ навислымъ лбомъ, съ маленькими глазами, изъ подлобья коварно-злымъ огнемъ сверкающими, съ сухими, подъ длинно-помятымъ носомъ, втиснутыми губами, извительно сжатыми и для улыбки вѣчно мертвыми, съ выдавшимся впередъ и вверху поднявшимся шарообразнымъ подбородкомъ, съ черными, подобно смолѣ, на головѣ и на бровяхъ волосами, безъ бакенбартовъ... Это

будетъ настоящій подлинникъ малорослаго рыцаря, точный отпечатокъ великой головы, славной по великимъ своимъ злодѣяніямъ — это будетъ истинный портретъ Наполеона. И французы этого не примѣчаютъ...

Зла фурія его смятенно сердце гложетъ:
Злодѣйская душа спокойна быть не можетъ.» —

Для возбужденія воинственнаго духа примѣромъ народовъ, «противоборствовавшихъ безпредѣльной власти и несмѣтнымъ силамъ своихъ враговъ», помѣщены были въ журналъ: отрывокъ изъ исторіи освобожденія Нидерландовъ (Шиллера) и «Осада Сарагоссы» (№№ 3 и 7). Помѣщались также анекдоты о храбрости русскихъ солдатъ и вооруженныхъ крестьянъ. Дѣятельность Наполеона разбиралась по всѣмъ суставчикамъ: ему отказывали не только въ искусствѣ управленія, но даже въ искусствѣ вести войну («Сужденіе о Бонапартѣ», перев. съ англ.). Его упрекали въ томъ, что, укротивъ революцію, онъ не посадилъ на тронъ законнаго царя; въ томъ (№ 2), что онъ «сдѣлалъ самого себя государемъ, націей, народнымъ собраніемъ, войскомъ и полководцемъ», что онъ «приказываетъ министру своему читать передъ нимъ донесеніе, которое самъ диктовалъ ему и, по окончаніи обряда, объявляетъ, что онъ доволенъ своимъ сочиненіемъ». Въ № 1-мъ рассказывается, какъ главнокомандующій въ Каталоніи, Лас-си, приказалъ палачамъ носить ордена почетнаго легіона и желѣзной короны, но палачи отказались, находя это для себя позорнымъ и прося, чтобы впредь этими знаками «украшали ведомыхъ на казнь преступниковъ». «Намъ безчестно» — говорили они — «носить знаки, которыми Бонапарте награждаетъ людей, наиболее отличающихся злодѣяніями... Па-

лать лишаетъ жизни только преступниковъ, изобличенныхъ въ порочныхъ дѣлахъ законнымъ судомъ, а французы воруютъ, бьютъ, умерщвляютъ и съ торжествомъ показываютъ одежду свою, обогренную кровью невинныхъ жертвъ». Замѣчательно, что все это печаталось въ журналѣ г. Греча, который въ 1809 г., въ «Геніи временъ», называлъ Наполеона великимъ мужемъ, водворившимъ порядокъ въ странѣ «ужаснаго безначалія». Къ подкупленнымъ воплямъ Коцебу присоединялся въ «Сынѣ Отечества» и честный голосъ А. Куницына (№ 6), говорившаго о тираниіи Наполеона, о его рабовладѣльческихъ замыслахъ на Россію. Словомъ, все было въ ажитаціи. Ненависть къ французскому войску, имѣвшая законное оправданіе, скоро перешла въ ненависть къ французскимъ принципамъ—т. е. къ знакомымъ намъ принципамъ освободительной философіи XVIII-го вѣка, хотя эта философія была виновата не больше самого Н. И. Греча въ походѣ Наполеона на Россію. Но опытный журналистъ не дремалъ и старался подмѣнить одно чувство другимъ. «Сынъ Отечества», рядомъ съ воззваніемъ къ оружію, печаталъ и разные политическіе афоризмы, въ которыхъ ополчался на брань (въ смыслѣ ругательства) съ самой идеей свободы. Изъ этихъ афоризмовъ замѣчательны слѣдующіе: 1) «Платонъ говоритъ: легче построить городъ на воздухѣ, нежели основать гражданство безъ религіи. Французская революція оправдала сію истину: якобинцы, положившіе разрушить правительство, начали тѣмъ, что изгнали религію. 2) Религія и добрая нравственность свойственны человѣку: нетлѣнный корень ихъ насажденъ въ сердцахъ людей отъ самого Творца. Но мудрованіе философіи приличествуетъ

только высокомѣрнымъ безумцамъ, основавшимъ оное на зыбкихъ пескахъ людскаго мнѣнія. 3) Правительства принимаютъ самыя строгія мѣры предосторожности въ разсужденіи продажныхъ ядовъ; а развратныя правила, сей ядъ душевный, даютъ намъ свободно глотать изъ книгъ, разговоровъ и школьнаго обученія. 4) Указываютъ на Англію, что тамъ свобода книгопечатанія не развращаетъ нравовъ и умовъ. Быть можетъ; и это верхъ похвалы для характера англичанъ. Но всѣ другіе народы, въ сравненіи съ ними, суть еще дѣти, отъ которыхъ сіе вредоносное орудіе удалять должно. Тотъ вѣкъ, въ который свобода мыслить и писать почиталась своевољствомъ, произвелъ Фенелоновъ, Боскюэтовъ, Корнелей, Расиновъ и другихъ свѣтилъ ума человѣческаго; но послѣдующій за нимъ, столь неправильно названный вѣкомъ просвѣщенія, покрылъ вселенную мракомъ ложной философіи, въ которомъ Вольтеры, Руссо, Монтескье, Дидероты блистали на подобіе всепожирающихъ молній. 6. Французскую революцію можно сравнить съ звѣринцемъ, въ которомъ дикіе звѣри съ цѣпей спущены: — человѣческія страсти лютѣ самихъ кровожадныхъ звѣрей; горе, ежели съ нихъ узду снимешь. 7. Правители народовъ! удаляйте отъ простолюдиновъ зрѣлище трагедій, выводящихъ на сцену смерть тирановъ и великіе перевороты государствъ: вы изощряете кинжалы противъ васъ самихъ». За свой воинственный азартъ «Сынъ Отечества» подвергнулся даже разъ непріятности отъ правительства, нашедшаго, вѣроятно, что нечего подливать масла въ огонь, когда онъ и безъ того горитъ очень сильно. Въ № 1-мъ «Сына Отечества» была напечатана, между прочимъ, «Солдатская пѣсня», за кото-

рую цензоръ Тимковскій поплатился выговоромъ, по представленію князя Адама Чарторижскаго, обидѣвшагося за своихъ соплеменниковъ-поляковъ. Приведемъ эту пѣсню (соч. Ив. Кованько)—для характеристики тогдашняго настроенія умовъ, исполненнаго гнѣва и мстительности:

Хоть Москва въ рукахъ французовъ,
Это, право, не бѣда!—
Нашъ фельдмаршалъ, князь Кутузовъ,
Ихъ на смерть впустилъ туда!
Вспомнимъ братцы, что поляки
Встарь бывали также въ ней;
Но не жирны кулебяки—
Бли кошекъ и мышей.
Напоследокъ мертвечину—
Земляковъ пришлоось имъ жрать;
А потомъ предъ русскимъ сплнѣ
Въ крѣкъ по-польски выгибать.
Свѣту цѣлому извѣстно,
Какъ платили мы долги:
И теперь получаютъ честно
За Москву платежъ враги.
Побывать въ столицѣ—слава!
Но умѣемъ мы отмщать:
Знаетъ крѣпко то Варшава,
И Парижъ то будетъ знать!

Здѣсь встаетъ будетъ замѣтить, что, въ отпоръ этому враждебному чувству, въ 1816—17 г.г., издавался журналъ: «Другъ россіянъ и ихъ единоплеменниковъ обою пола», съ спеціальною цѣлью примиренія русскихъ съ поляками. (Онъ издавался старшимъ учителемъ Орловской гимназіи Фердинандомъ Орля-Ошменьцемъ, но печатался въ Москвѣ въ университетской типографіи). Рядомъ съ возвеличеніемъ Александра, въ этомъ журналѣ печаталась похвала Яну Собѣсскому, рядомъ съ характеристиками знаменитыхъ русскихъ писателей—характеристика писателей польскихъ. Задачу своего изданія самъ издатель опредѣлялъ такимъ об-

разомъ: «стараться утвердить въ вѣчномъ союзѣ непоколебимаго дружества умы и сердца славяно-россійскихъ и польскихъ народовъ чрезъ посредство ихъ просвѣщенія и добродѣтели». Восхваляя Александра за восстановление политическаго существованія Польши, онъ выражалъ желаніе: «да восчувствуютъ русское и польское племя счастливую нынѣ свою судьбу и Божіе благословеніе»! Въ подвигахъ Александра, Орля-Ошменьцъ выдвигалъ на первый планъ: низверженіе тирана—Наполеона и восстановление законной власти; а въ его личности признавалъ наиболѣе симпатичными чертами: «быть человѣкомъ на самомъ неограниченномъ тронѣ... отвергать рабство и убѣгать собственной своей славы».

Вслѣдъ за изгнаннымъ Наполеономъ полетѣли насмѣшки и глумленія прессы. Даже солидная «Сѣверная Почта» допустила на своихъ столбцахъ юмористическую замѣтку такого содержанія: «Въ рѣчахъ и представленіяхъ отъ разныхъ департаментовъ императору, съ одной стороны, изъясняется вынужденное отступленіе арміи, столь же непобѣдимой, какъ и ея вождь, съ другой—радуются чудесному спасенію сего самаго непобѣдимаго вождя, что онъ столь искусно унесъ свою единую особу отъ ужасныхъ бѣдъ, его окружавшихъ... Французскіе маршалы и генералы, одинъ за другимъ, скачутъ къ Рейну; кажется, у нихъ швейцарская болѣзнь: они, тоскуя по своей землѣ, опрометью туда кинулись». (См. «Сѣв. Почта» 1813 г.)

Вскорѣ послѣ того измѣнилось у насъ настроеніе высшаго правительства, и русская журналистика была поставлена въ новыя, менѣе выгодныя условія.

XI.

Характеристика второй половины царствования Александра Павловича.—
Перемена въ личномъ направленіи государя.—Причины этой перемены.—
Лагарпъ и Н. И. Салтыковъ. Участіе Радищева въ законодательной
комиссіи и столкновение его съ Завадовскимъ.—Тильзитское свиданіе.—
Вліяніе г-жи Кридверъ.—Распространеніе мистицизма.—Инструкція уче-
ному комитету.—Дѣйствія этого учрежденія.—Гоненіе на университеты.—
Протестъ Уварова и Паррота противъ обскурантизма. —

Мы рассказали исторію русской журналистики въ первую
половину царствования Александра Павловича. Это было
время упоеній и надеждъ, болѣе или менѣе основательныхъ,
болѣе или менѣе осуществлявшихся въ дѣйствительной
жизни,—время едва ли не самое благопріятное для развитія
русской мысли. Либеральные журналы, не только съ дозво-
ленія правительства, но даже при денежномъ пособіи отъ
него (какъ напр. «Сѣверный Вѣстникъ») проводили въ пуб-
лику новыя идеи о политическомъ устройствѣ, о свободѣ
личности, о высокомъ значеніи науки и литературы. Снисхо-
дительная цензура, — созданная не для стѣсненія, но для
покровительства и защиты мысли, по первоначальному смыслу
устава, — не считала нужнымъ накладывать свою руку на
всякое проявленіе того образа мыслей, который позже былъ
охарактеризованъ именемъ «вольнодумства»: не препятствуя
обсужденію въ печати основныхъ государственныхъ вопро-
совъ, она позволяла даже относиться критически къ самому
принципу своего существованія. Мы видѣли, напр., что

Пнинъ нападалъ въ «Журналъ Россійской Словесности» на предварительную цензуру вообще, и предлагалъ, въ замѣнъ ея, личную отвѣтственность авторовъ за напечатанныя ими произведенія. Правда, нерѣшительность и двойственность цензуры, колебавшейся то въ ту, то въ другую сторону, проявлялись уже въ то время довольно рѣзкими примѣрами; видно было уже, что цензурный либерализмъ—очень плохая порука за самостоятельность и свободу печати; но общее настроеніе власти, наблюдавшей за литературою, далеко не имѣло характера прижимокъ, мелкаго давленія и систематической, организованной вражды къ смѣлому печатному слову. Реакція противъ либерализма обнаруживалась покуда въ нѣкоторыхъ слояхъ общества, въ извѣстныхъ органахъ самой журналистики, но еще не восходила въ высшія сферы правительства и не дѣлалась ихъ руководящею мыслью. Обстоятельства, въ скоромъ времени, сложились иначе, и журналистика должна была испытать на себѣ чувствительную разницу въ свойствахъ и пріемахъ цензурнаго надзора.

Чѣмъ объяснить такую рѣзкую перемену въ направленіи Александра I-го? Почему государь, начавшій свою политическую жизнь открытымъ сочувствіемъ прогрессу, литературѣ, всѣмъ свободнымъ идеямъ,—окончилъ ее въ совершенно другомъ, прямо противоположномъ духѣ: военными поселеніями, дружбой Аракчеева и репрессивными мѣрами противъ литературы и науки? Причинъ этому было довольно много, но ближайшая причина кроется, конечно, въ первоначальномъ воспитаніи и въ обстановкѣ великаго князя, когда онъ еще только готовился занять русскій престолъ. Не одинъ Лагарпъ имѣлъ вліяніе на своего питомца; ря-

домъ съ умнымъ и просвѣщеннымъ швейцарцемъ, стоялъ, возлѣ великаго князя, графъ Н. И. Салтыковъ—человѣкъ, искушенный въ придворныхъ интригахъ и богатый тою житейскою опытностью особаго рода, которая издревле выражаетъ претензію величать себя истинной, непреложной человеческой мудростью. Мы не имѣемъ положительныхъ указаній на то, чтобы гр. Салтыковъ старался парализировать вліяніе пылкаго иностранца-педагога; но что онъ не раздѣлялъ всѣхъ мнѣній, высказываемыхъ Лагарпомъ, и чувствовалъ потребность ограничивать ихъ силу и вѣсъ въ глазахъ великаго князя—въ этомъ, вѣроятно, врядъ ли, возможно сомнѣваться. Дѣло Салтыкова доканчивала вся обстановка, въ которой приходилось развиваться внуку Екатерины II-й. Идеи Лагарпа, проходя черезъ этотъ неизбежный холодильникъ, естественно утрачивали свое живое, практически-реальное значеніе, и получали характеръ какихъ-то отвлеченныхъ, недостижимыхъ идеаловъ, которымъ противорѣчила вся дѣйствительная жизнь. Въ этомъ видѣ онѣ сильно раздражали фантазію юноши, представляя ему возможность иной, лучшей жизни; но онѣ не становились прочнымъ, сознательно-выработаннымъ, достояніемъ его ума и — чуждыя практическаго осуществленія—не укрѣпляли слабой воли... Вступивъ на престолъ, Александръ вздумалъ исполнить, хотя отчасти, нѣкоторыя изъ своихъ благородныхъ юношескихъ мечтаній. Но тутъ явилась другая бѣда: молодые сотрудники государя питали такую же, какъ и онъ, платоническую любовь къ свободѣ; они, подобно ему, не знали, какъ приняться за практическое дѣло, смущались всякими возраженіями и безнадежно терялись, опускаая руки при первой неудачѣ въ

осуществленіи своихъ идеальныхъ замысловъ. Къ молодымъ государственнымъ дѣателямъ, нерѣшительнымъ и мало-опытнымъ въ дѣлахъ высшаго управленія, сейчасъ же прикомандировались услужливые и опытные старики, возросшіе въ другихъ понятіяхъ и смотрѣвшіе совершенно иначе на потребности русской жизни. Они еще болѣе вредили всѣмъ новымъ преобразованіямъ, именно потому, что стояли въ самомъ центрѣ дѣйствующей силы, считались ея союзниками, агентами и, такимъ образомъ, имѣли полную возможность, подъ прикрытіемъ своего оффиціального положенія, тормозить и искажать намѣренія власти. Такъ напр. изъ всей законодательной коммисіи, собиравшейся подъ предсѣдательствомъ «опытнаго старца» Завадовскаго, только одинъ Радищевъ зналъ, дѣйствительно, отъ какихъ бѣдъ и золъ страдаетъ Россія и могъ представить зрѣлую, практически-годную программу для обновленія нашего государственнаго строя; но проектъ Радищева, заключавшій въ себѣ указаніе на необходимыя реформы, которыми только и можно было гарантировать осуществленіе политическаго идеала, столь любезнаго сердцу тогдашнихъ либеральныхъ идеалистовъ. — этотъ злосчастный проектъ, уже выполненный нынѣ въ главныхъ своихъ частяхъ, показался Завадовскому такой необузданной, демагогической мечтою, что онъ счелъ своимъ долгомъ отечески напомнить Радищеву объ Илимскомъ острогѣ, откуда послѣдній только что возвратился по милости государя. Самъ государь, безъ сомнѣнія, взглянулъ бы иначе на радищевскій проектъ, еслибы онъ былъ ему представленъ во время и безъ всякихъ псевдо-благонамѣренныхъ прелюдій; узнавъ, что перепуганный Радищевъ принялъ яду, Александръ былъ взволнованъ,

огорченъ; онъ надѣялся еще сохранить для Россіи эту дорогую ей жизнь и послалъ къ больному своего лейбъ-медика. Но было уже поздно: умное и честное слово страдальца-гражданина не раздавалось больше въ законодательной комиссіи; ни у кого не хватило на столько логики и смѣлости, чтобы принять и защитить программу, твердо выставившую свои основныя начала, безъ всякой утайки и недобросовѣстныхъ уступокъ *). Между тѣмъ время шло; неудачныя попытки молодыхъ реформаторовъ, не добираясь до корня зла, не привели ни къ чему путному; старые рутинеры съ удовольствіемъ указывали на эти промахи, какъ на доказательство безсилія и неприменимости самыхъ идей; наконецъ, государь утратилъ довѣріе къ своимъ прежнимъ любимцамъ и понемногу сталъ поддаваться другимъ вліяніямъ. Тутъ подоспѣло тильзитское свиданіе. «Ежедневныя бесѣды съ Наполеономъ, съ глазу на глазъ, продолжавшіяся далеко за полночь—говорить г. Ковалевскій—не остались безъ дѣйствія на впечатлительную душу Александра. Правда, онѣ расширили кругъ его воззрѣнія; представили съ другой точки предметы и людей, но за то окончательно подорвали вѣру въ людей и поколебали то уваженіе къ личности и законности, которое такъ рѣзко отличало его въ началѣ царствованія. Мы думаемъ,

*) Вотъ главныя основанія проекта Радищева: 1) равенство передъ закономъ всѣхъ состояній и отміна тѣлеснаго наказанія, 2) уничтоженіе табели о рангахъ, 3) отміна въ уголовныхъ дѣлахъ пристрастныхъ допросовъ и введеніе гласнаго судопроизводства и суда присяжныхъ, 4) разрѣшеніе полной вѣротерпимости и устраненіе всего, что стѣсняетъ свободу совѣсти, 5) введеніе свободы книгопечатанія съ извѣстными ограниченіями и ясными постановленіями о степени отвѣтственности, 6) освобожденіе крѣпостныхъ крестьянъ и прекращеніе продажи людей въ рекруты, 7) введеніе поземельной подати вмѣсто подушной.

что безъ наполеоновскаго подготовленія Александръ I никогда не рѣшился бы осудить Сперанскаго однимъ своимъ лицомъ, въ стѣнахъ своего кабинета. Незадолго до того писалъ онъ къ княгинѣ Голицыной, просившей его о какомъ-то дѣлѣ. что онъ «въ цѣломъ мірѣ признаетъ только одну власть, — это ту, которая нисходитъ изъ закона», — и потому устраняетъ себя отъ участія въ рѣшеніи дѣла». Не забудемъ, что новое ученіе всемірнаго деспота гармонировало вполне съ тѣми преданіями, которыя сохранились въ памяти Александра отъ дней его юности; оно поддерживалось и тѣми недалъновидными патріотами, которые рукоплескали ссылке Сперанскаго, какъ мнимому освобожденію государя изъ подъ «французскаго вліянія». Война 1812 года, окончившаяся такъ неожиданно-счастливо, и въ особенности знакомство съ баронессой Криднеръ, извѣстной прозелиткой и фанатичкой мистицизма, развили въ характерѣ Александра новую черту: трезвость мысли замѣнилась въ немъ мистическими иллюзіями, посредствомъ которыхъ онъ сталъ объяснять себѣ всѣ явленія какъ своей частной, такъ и обще-европейской политической жизни. Случай способствовалъ успѣху г-жи Криднеръ. Появившись неожиданно въ Гейдельбергѣ, среди глубокой ночи, въ минуту, когда государь съ трепетомъ размышлялъ о новой борьбѣ съ Наполеономъ, только что возвратившимся во Францію изъ своего краткаго изгнанія, — экзальтированная баронесса успѣла убѣдить Александра, что она предвидѣла это роковое событіе и, овладѣвъ вполне направленіемъ его мыслей, успѣла доказать ему, что возвращеніе Наполеона есть тяжкое искупительное наказаніе, постигшее Европу за упадокъ въ ней истинно-христіанскаго религіознаго чувства.

«Криднеръ—разсказывалъ въ послѣдствіи самъ государь—подняла передо мною завѣсу прошедшаго и представила жизнь мою со всѣми заблужденіями тщеславія и суетной гордости; она доказала, что минутное пробужденіе совѣсти, сознаніе своихъ слабостей и временное раскаяніе не есть полное искупленіе грѣховъ; говорила, что сама она была великая грѣшница (баронесса, какъ видно, не пощадила себя и сказала на этотъ разъ совершенную правду: она, дѣйствительно, очень шумно провела свою молодость, а потомъ, какъ всегда бываетъ, вдалась въ противоположную крайность), но что у подножія креста она выстрадала себѣ прощеніе молитвою и горькими слезами». Баронесса Криднеръ навела Александра на мысль—основать въ Европѣ такой политическій союзъ, который согласовался бы вполне съ началами евангелія и служилъ для нихъ убѣжищемъ и защитой. Братъ прусской королевы, знакомый хорошо со всѣми секретами придворной жизни, утверждалъ положительно, что священный союзъ долженъ считаться созданіемъ г-жи Криднеръ; думаютъ даже, что самое названіе «священный союзъ» дано ею и заимствовано изъ какой-то книги пророка Даніила. Въ самомъ дѣлѣ, если сопоставить вышеприведенныя слова Криднеръ, изъ ея гейдельбергской проповѣди, съ тѣми фразами трактата, которыя опредѣляютъ цѣль учрежденія священнаго союза, то нетрудно замѣтить въ нихъ полнѣйшее тожество: кажется, что они вышли изъ одной и той же головы, произнесены одними и тѣми же устами. Криднеръ хлопотала о повсемѣстномъ водвореніи евангельскихъ истинъ, а европейскіе государи, подписавшіе знаменитый трактатъ, обязывались—«какъ въ управленіи собственными подданными, такъ

и въ политическихъ отношеніяхъ къ другимъ правительствамъ, руководиться заповѣдями св. евангелія, которыя, не ограничиваясь приложеніемъ своимъ къ одной частной жизни, должны непосредственно управлять волею царей и ихъ дѣяніями». Приобрѣтя личное вліяніе на государя, Криднеръ скоро завербовала въ число своихъ послѣдователей князя А. Н. Голицына, сдѣлавшагося въ 1817 г. министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія; ея друзья и родственники заняли видныя мѣста въ центральномъ управленіи училищъ. Настало время библейскихъ обществъ, масонскихъ ложъ и ревностнаго распространенія евангелія на всѣхъ возможныхъ языкахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ начали развиваться мистическія секты самаго безобразнаго свойства и направленія, а наука, которая могла бы поставить границы не въ мѣру экзальтированному чувству, подверглась различнымъ преслѣдованіямъ во всѣхъ своихъ отрасляхъ. Евангельскія начала, лишеныя своего внутренняго живительнаго смысла, скоро сдѣлались, въ рукахъ фанатиковъ и интригановъ, удобнымъ орудіемъ для подавленія мысли; выбирая съ предвзятою цѣлью священныя тексты, подтасовывая ихъ, какъ шулера подтасовываютъ карты, враги умственнаго развитія желали остановить успѣхи просвѣщенія и съ апломбомъ невѣжества отрицали всѣ лучшія приобрѣтенія современной науки. Уже при самомъ основаніи библейскаго общества замѣтно было, какую узкую дорогу отводить оно для пытливости человѣческаго ума; дальнѣйшія событія показали, что и этотъ тѣсный путь могъ считаться еще очень широкимъ, — и вотъ его, въ видахъ мнимаго благочестія, стали суживать болѣе и болѣе, закидывать камнями, усѣивать терніемъ. Инструкція ученому

комитету, вновь образованному при министерствѣ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, дышетъ уже такимъ откровеннымъ обскурантизмомъ, что отсюда — до дѣятельности Магницкаго и Руничя оставался только одинъ небольшой шагъ. Комитету предписывалось одобрять только тѣ учебныя книги, въ которыхъ факты были избраны и изложены соотвѣтственно съ ретрограднымъ духомъ, господствовавшимъ въ то время. Историческія книги должны были, сколько возможно, «возвѣщать о единствѣ исторіи, столь поучительномъ для ума и сердца учащихся; частое указаніе на дивный и постепенный ходъ богопознанія въ человѣческомъ родѣ и вѣрная синхронистика съ священнымъ бытописаніемъ и эпохами церкви должны напоминать учащимся высокое значеніе и спасительную цѣль науки». Въ преподаваніи естественныхъ наукъ отстраняются «всѣ суетныя догадки о происхожденіи и переворотахъ земнаго шара». Физическія и химическія книги должны распространять полезныя свѣдѣнія «безъ всякой примѣси надменныхъ умствованій, порожденныхъ во вредъ истинамъ, не подлежащимъ опыту и раздробленію». Кроме того, комитетъ обязанъ былъ наблюдать, чтобы въ руководства по физиологіи, патологіи и сравнительной анатоміи «не вкрадывалось ученіе, низвергающее санъ человѣка, внутреннюю его свободу» и пр. и пр. Во всѣхъ этихъ наставленіяхъ наука явно приносится въ жертву постороннимъ для нея цѣлямъ. Что значитъ — «возвѣщать о единствѣ исторіи»; къ чему обязываетъ «частое указаніе на дивный и постепенный ходъ богопознанія»; что это за «надменное умствованіе» и что за «истины, не подлежащія опыту» въ естественныхъ наукахъ? Всѣ эти фра-

зы такъ зловѣщи и такъ эластичны, что, при нѣкоторомъ усердіи исполнителей, можно не пропустить въ свѣтъ ни одной печатной книги, сколько нибудъ удовлетворяющей научнымъ требованіямъ; благодаря имъ, политическая исторія утрачиваетъ всякое самостоятельное значеніе и обращается въ излишній придатокъ къ исторіи церкви; естественныя же науки подрубаются въ самомъ корнѣ, такъ какъ изъ нихъ тщательно удалены сомнѣніе и омытъ. Можно было предвидѣть, къ какимъ послѣдствіямъ придутъ члены ученаго комитета, взявъ подобную инструкцію за точку своего отправленія. И дѣйствительно, тутъ нечего было думать о томъ, чтобы въ исторіи группировались только тѣ факты, по которымъ можно прослѣдить развитіе общественной мысли и измѣненіе къ лучшему политическихъ формъ (о чемъ заботился В. Попугаевъ въ приведенной нами статьѣ); нечего было стараться вывести естественныя науки на путь строго-логическихъ заключеній, безъ всякой примѣси метафизики (какъ мы видѣли это въ «С.-Петербург. Вѣстникѣ»); опасно было основывать на требованіяхъ природы и указаніяхъ исторіи ту особенную науку—естественное право—которая не пугала умы и не возмущала ничьей совѣсти только въ тѣ счастливые дни, когда «La politique naturelle» Гольбаха могла появиться въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» почти въ буквальномъ переводѣ. Отъ согласованія исторіи съ «постепеннымъ ходомъ богопознанія», отъ враждебныхъ и рѣзкихъ выходовъ противъ чело-вѣческаго мышленія вообще—легко уже было дойти до полного отверженія всѣхъ наукъ, которыя не могли примкнуть тѣснѣйшимъ образомъ къ церковной исторіи или къ догматическому богословію. И потому нельзя удивляться, что во

времена Магницкаго проф. Никольскій, желая спасти математику отъ грознаго остракизма, навязывалъ ей чисто-богословскія цѣли. «Математику — писалъ этотъ перепуганный и слабоумный профессоръ—обвиняютъ (хорошо это выраженіе: обвиняютъ) въ томъ, что она, требуя на все доказательствъ самыхъ строгихъ, располагаетъ духъ человѣческій къ недовѣрчивости и пытливости... Причиною вольнодумства не математика, а господствующій духъ времени. Въ математикѣ содержатся превосходныя подобія священныхъ истинъ, христіанскою вѣрою возвышаемыхъ. Напр., какъ числа безъ единицы быть не можетъ, такъ и вселенная, яко множество, безъ единого владыки существовать не можетъ. Начальная аксіома въ математикѣ: всякая величина равна самой себѣ. Главный пунктъ вѣры состоитъ въ томъ, что Единный въ первоначальномъ словѣ своего всемогущества (?) равенъ самому себѣ! Въ геометріи треугольникъ есть первый самый простѣйшій видъ; святая церковь издревле употребляетъ треугольникъ символомъ Господа, яко верховнаго геометра. Двѣ линіи, крестообразно пересѣкающіяся подъ прямыми углами, могутъ быть прекраснѣйшимъ іероглифомъ любви и правосудія. Гипотенуза въ прямоугольномъ треугольникѣ есть символъ срътенія правды и мира, правосудія и любви чрезъ Ходатая Бога и человѣковъ, соединившаго горнее съ дольнымъ, небесное съ земнымъ». Въ то время, какъ проф. Никольскій обращалъ чистую математику въ «прекраснѣйшіе іероглифы» или, лучше сказать, въ богословско-мистическое празднословіе, другой профессоръ—анатоміи — съ сокрушеннымъ сердцемъ говорилъ, что «превращеніе труповъ въ скелеты есть необходимость для

науки, весьма жестокая въ отношеніи почтенія нашего къ умершимъ; но сія жестокость должна смягчаться въ благоустроенныхъ заведеніяхъ скрытнымъ производствомъ и благочестивымъ погребеніемъ частей тѣла, отъ костей отпадшихъ». («Матер. для истор. образованія въ Россіи» Сухомлинова, ч. II, стр. 60 и 64).

Если Магницкій водворилъ съ такимъ успѣхомъ новыя начала между профессорами казанскаго университета, — то члены ученаго комитета не меньше преуспѣвали въ сортировкѣ вредныхъ и полезныхъ учебныхъ книгъ. Въ особенности отличались по этой части камеръ-юнкеръ Стурдза и Руничъ (впослѣдствіи попечитель петербургскаго учебнаго округа). Члены комитета осудили даже многія учебныя прописи за помѣщенные въ нихъ нравственно-философскіе примѣры. Для новаго изданія прописей извлекались примѣры изъ книги: «О подражаніи Христу» и изъ «Чтенія четырехъ евангелистовъ»; изреченій же нравственно-философскихъ комитетъ не допускалъ вовсе, желая и въ прописяхъ ознакомить учащихся съ «единою на потребу, истинною нравственностью христіанскою». Вмеѣстѣ съ нравственно-философскими прописями подверглись изгнанію и всѣ философскія книги, неподходящія подъ требованія инструкціи. Въ число этихъ книгъ попали: «Логическія наставленія» профессора петербургскаго университета Лодія, книга подъ названіемъ: «Всеобщая мораль или должности человека, основанная на его природѣ», «Естественное право» Куницына; даже сочиненіе, приписываемое Екатеринѣ II-й: «О должностяхъ гражданина и человека» найдено неудобнымъ для народныхъ училищъ (для которыхъ оно и было издано въ 1783 г.), такъ какъ въ немъ обя-

занности человѣка основывались на его отношеніяхъ къ обществу. Въ учебникѣ исторіи Кайданова отмѣчены два «сомнительныя мѣста» а именно: «отъ одной пары, Богомъ сотворенной, люди размножились» и вовторыхъ: «гоненіе на христіанъ, бывшее въ Трояново время, должно, кажется, приписать болѣе тому, что послѣдователи ученія христова были смѣшиваемы тогда съ іудеями, производившими вездѣ возмущенія». При осужденіи «Всеобщей морали» и «Естественнаго права» Руничъ высказалъ замѣчательныя мнѣнія. О «Всеобщей морали» онъ говорилъ, что она составлена изъ мнѣній языческихъ и новѣйшихъ философовъ, и цѣль ея состоитъ въ томъ, чтобы научать мнимой добродѣтели, не признавая единственнаго ея источника и, обѣщая блаженство, вести къ заблужденію». О книгѣ Куницына тотъ же неумолимый рецензентъ выразился еще рѣзче: «Она есть ничто иное, какъ сборъ пагубныхъ лжеумствованій, которыя, къ несчастью, довольно извѣстный Руссо ввелъ въ моду и которыя волновали и еще волнуютъ горячія головы поборниковъ правъ человѣка и гражданина, ибо, сличивъ послѣдствія сего философізма во Франціи съ наукою, изложенною Куницынымъ, увидимъ только раскрытіе ея и приложеніе къ гражданскому порядку. Марать былъ ничто иное, какъ искренній и практическій послѣдователь сей науки. Книга Куницына должна быть изъята изъ употребленія по всѣмъ учебнымъ заведеніямъ, ибо публичное преподаваніе наукъ по безбожнымъ системамъ (самъ Куницынъ былъ профессоромъ александровскаго лицея и, при открытіи его, получилъ награду, лично отъ государя, за свою рѣчь) не можетъ имѣть мѣста въ царствованіе государя, давшего тор-

жественный обѣтъ предъ лицомъ всего человѣчества (намекъ на священный союзъ) управлять врученнымъ ему отъ Бога народомъ по духу слова Божія». Съ особеннымъ удовольствіемъ отвергалъ ученый комитетъ тѣ книги, которыя были уже одобрены къ употребленію прежнимъ министерствомъ. Это желаніе отличиться своею бдительностью и благонамѣренностью, сравнительно съ прежнимъ управленіемъ, было такъ велико въ ученомъ комитетѣ, что не только отдѣльныя изданія бывшаго главнаго правленія училищъ, но и его officialный органъ (съ которымъ отчасти знакомы наши читатели), выходявшій въ теченіи многихъ лѣтъ подъ названіемъ: «Періодическое сочиненіе о успѣхахъ народнаго просвѣщенія», предложено вывести изъ употребленія, какъ книгу «опасную по нѣкоторымъ ея мѣстамъ», и замѣнить ее собраніемъ законовъ и правилъ учебнаго управленія, изданныхъ по плану *Almanach de l'université de France*. Новое изданіе однако не состоялось, а въ прежнемъ не сочли нужнымъ уничтожать опасныя мѣста, находя, что они, по давности напечатанія и неважности своей, никѣмъ уже не читаются и, слѣдовательно, не могутъ внушить вольнодумныхъ мыслей юношеству. Стурдза, въ отпоръ зловернымъ ученіямъ, въ родѣ тѣхъ, которыя были изложены въ учебномъ курсѣ Куницына, начерталъ свою собственную программу для преподаванія естественнаго права, такъ сказать, наизуворотъ. По этому начертанію, учебная книга естественнаго права раздѣлялась на двѣ части: обличительную и изложительную. Въ обличительную часть входили слѣдующія главы: 1) о первобытномъ состояніи человѣка, будто бы естественномъ; 2) свидѣтельства историческія,

отвергающія эту гипотезу; 3) доводы умственные въ опроверженіе догадки о первобытномъ состояніи и пр. и пр., а въ заключеніе: «доказательства о томъ, что право естественное, по принятому о немъ понятію, недостаточно къ открытію всѣхъ общественныхъ истинъ и законовъ». Часть изложительную составляли, между прочимъ, слѣдующія главы: 1) о первобытномъ состояніи человѣка по свидѣтельству откровенія и бытописанія древнѣйшихъ народовъ; 2) о несомнѣнности грѣхопаденія; 3) семейство и государство, установленныя самимъ Богомъ чрезъ посредство власти отеческой и т. д. Изъ всѣхъ членовъ ученаго комитета только одинъ Фусъ, извѣстный составитель цензурнаго устава, сохранялъ еще старыя хорошія преданія и пробовалъ возставать, хотя въ робкой, перѣшительной формѣ, противъ новаго ханжества и мракобѣсія, такъ напр., онъ одобрилъ книгу Куницына и даже призналъ ее достойною поднесенія государю; но голосъ Фуса былъ слабъ, одинокъ и заглушался дружнымъ хоромъ противоположныхъ голосовъ. Вскорѣ началось у насъ и систематическое гоненіе на университеты.

Въ это время баронессы Криднеръ уже не было въ Петербургѣ: какъ ревностная сторонница греческаго возстанія, вспыхнувшаго въ 1821 г., она возбудила противъ себя подозрѣнія Австріи и, въ угоду всесильному тогда Меттерниху, была выслана изъ Петербурга. Съ этой минуты Александръ подчинился безраздѣльно совѣтамъ австрійскаго министра, и подчиненіе это было такъ сильно, что, вопреки собственному внутреннему чувству, склонявшему его на сторону грековъ, вопреки представленіямъ своего друга Ка-

подистріи, русскій государь рѣшился оставить безъ всякой помощи «мятежный» народъ, возставшій противъ своего «законнаго» властелина—турецкаго султана. Въ университетскомъ вопросѣ, а по связи съ нимъ, и въ положеніи науки и литературы въ Россіи, сказалось особенно вредно вліяніе Меттерниха.—Было время (въ началѣ царствованія Александра), когда русское правительство признавало свободу ученаго изслѣдованія необходимымъ условіемъ не только для развитія просвѣщенія, но и для поднятія народной нравственности. М. Н. Муравьевъ, первый «попечитель» московскаго округа и товарищъ министра народнаго просвѣщенія, объяснялъ свободой научнаго мнѣнія умственное превосходство протестантской Германіи въ сравненіи съ католическою. «Протестантскія земли,—писалъ онъ—гдѣ царствуетъ разумная свобода въ разбирательствѣ мнѣній, отличаются общимъ распространеніемъ просвѣщенія и благонравія. Въ сихъ послѣднихъ родились великіе писатели, которые возвысили нѣмецкій языкъ до соперничества съ французскимъ и англійскимъ. Австрія и Баварія не могутъ ничего противоположить славнымъ именамъ Лессинга, Виланда и Клопштока». Но съ перемѣной политическихъ условій, австрійскіе порядки, усовершенствованные Меттернихомъ, стали приниматься у насъ, какъ образецъ для подражанія.

Австрійское министерство обрушилось на университеты всею тяжестью различныхъ ограниченій, тайнаго и явнаго соглядатайства, послѣ извѣстнаго вартбургскаго праздника и послѣдовавшаго затѣмъ убійства Коцебу. На карлсбадскихъ конференціяхъ, созванныхъ въ виду всеобщаго потрясенія умовъ въ Германіи, нѣмецкія правительства, подъ ру-

ководствомъ Меттерниха, обратили особенное вниманіе на свободу университетскаго обученія, считая ее чуть ли не главнымъ источникомъ враждебнаго духа, который обнаружился, съ значительной силою, во всѣхъ образованныхъ слояхъ нѣмецкаго общества. На самомъ же дѣлѣ, конечно, не эта свобода была причиною антиправительственныхъ демонстрацій, а неисполненіе обѣщаній, торжественно данныхъ народу нѣмецкими государями въ эпоху, трудную для ихъ правительствъ. «Четыре года протекло со времени лейпцигской битвы — говорили прямо вартбургскіе патріоты, — въ продолженіи которыхъ нѣмецкій народъ жилъ самыми свѣтлыми надеждами, но всѣ онѣ оказались напрасными: многое пошло иначе, нежели мы ожидали; намѣренія великія и прекрасныя остались безъ исполненія; благородныя, святыя чувства попораны, осмѣяны, опозорены; обѣщанія, данныя въ минуту горя, не сдержаны». Тѣмъ не менѣе, университеты признаны во всемъ виновными, и противъ профессоровъ приняты мѣры, какъ противъ государственныхъ преступниковъ. Малѣйшій оппозиціонный оттѣнокъ въ преподаваніи лишалъ профессора его кафедры; изгнанный изъ одного университета преподаватель не могъ уже занимать кафедры ни въ какомъ изъ союзныхъ государствъ. Карлсбадскія конференціи, подозрительность и осторожность нѣмецкихъ властей подѣйствовали и на Россію. И у насъ, при всемъ затишьѣ академической жизни, нашлись охотники утверждать, что университеты суть главные очаги революціи, которая уже готовится и не замедлитъ вспыхнуть, если государственные люди не предупредятъ ее своевременными «мѣропріятіями». Александра старались увѣрить, что ему угро-

жасть такая же опасность, какъ и нѣмецкимъ государямъ. Стурдза открыто выражалъ мнѣніе, что въ университетахъ «необузданная» молодежь отвергаетъ спасительную власть закона и предается всякаго рода крайностямъ и безнравственнымъ порывамъ; профессоры хлопочутъ только о популярности и враждуютъ съ религіей; медицина «думаетъ своимъ анатомическимъ ножомъ проникнуть въ святилище души», а юридическія науки проповѣдуютъ революцію и право сильнаго. «Доволѣ по окровавленной Европѣ — вопилъ союзникъ Стурдзы, Магницкій—какъ орды дикихъ, устремлялись народы просвѣщенные одинъ на другого; доволѣ лилась кровь рѣками, и адская политика прикрывала именемъ мира только отдыхъ свой для новыхъ жесточайшихъ разрушеній,—духъ злобы оставался со всѣхъ другихъ сторонъ покойнымъ. Но когда водворился общій миръ, когда миръ сей запечатлѣнъ именемъ Іисуса, когда государи европейскіе сами поставили себя въ невозможность его нарушить, взоновались университеты, являются изступленные безумцы, требующіе смерти, труповъ, ада! Что значитъ неслыханное сіе въ исторіи явленіе?.. Самъ князь тьмы видимо подступилъ къ намъ; рѣдѣть завѣса, его окружающая... Слово человеческое есть проводникъ адской силы, книгопечатаніе—орудіе его; профессоры безбожныхъ университетовъ передаютъ юношеству тонкій ядъ невѣрія и ненависти къ законнымъ властямъ, а тисненіе разливаетъ его по всей Европѣ». Такія подозрительныя замѣчанія, такіе тяжкіе извѣты на науку случалось и прежде слышать русскому государю. При обсужденіи проекта александровскаго лица,

Жозефъ де Местръ, бывшій тогда сардинскимъ посланникомъ при русскомъ дворѣ, опасливо предупреждалъ русское правительство, что оно напрасно вводитъ въ новоучреждаемомъ заведеніи преподаваніе естественныхъ и политическихъ наукъ. Сильно вооружался онъ противъ ученія о физическомъ образованіи земли. «Библия—писалъ де-Местръ—совершенно достаточно, чтобы знать, какимъ образомъ произошла вселенная: подъ предлогомъ же различныхъ теорій о происхожденіи міра будутъ наполнять молодыя головы космогоническими бреднями новѣйшаго издѣлія». Отрицая пользу изученія правъ, де-Местръ утверждалъ, что въ первой юности надо знать только три вещи касательно общественнаго устройства: первое,—что Богъ сотворилъ человѣка для общества, второе,—что для общества необходимо правительство,—третье, что каждый обязанъ повиноваться властямъ и быть готовымъ запечатлѣть смертью вѣрность и преданность своему государю. Опасенія де-Местра не были, къ счастью, услышаны, и въ программѣ лицейскаго курса мы находимъ какъ различныя теоріи о происхожденіи земли, такъ и естественное право, столь пугавшее сердобольнаго сардинскаго мудреца. Но тѣ же мысли, высказанныя въ другое время кн. Голицынымъ, Магницкимъ, Стурдзою и Руничемъ, произвели совершенно другой эффектъ,—и необходимость научнаго преподаванія, даже польза существованія университетовъ, какъ центровъ высшаго образованія, были подвергнуты тягостному сомнѣнію. Магницкій, открывъ бездну провинностей въ казанскомъ университетѣ, приговорилъ его къ «публичному разрушенію»; также строго осужденъ былъ Руничемъ петербургскій университетъ. Правда, не всѣ честные

люди молчали при видѣ убійственныхъ ампутацій, совершаемыхъ надъ русскимъ просвѣщеніемъ:—Уваровъ, попечитель петербургскаго университета, обвиненный косвенно въ по­творствѣ вреднымъ ученіямъ, Парротъ, профессоръ дерптскаго университета, пользовавшійся личной дружбой импера­тора, старались разъяснить правительству настоящее зна­ченіе всѣхъ принимаемыхъ мѣръ и указать гибельные ихъ результаты. Уваровъ говорилъ, что—«друзья мрака присвои­ваютъ себѣ самыя священныя имена, чтобы захватить власть и подкопать порядокъ въ самомъ основаніи; они утвержда­ютъ, что защищаютъ троны и алтари противъ нападеній не­существующихъ и въ то же время набрасываютъ подозрѣніе на истинныя опоры алтаря и трона... они—искусные актеры, надѣвające всевозможныя маски, чтобы смутить всѣ совѣ­сти, встревожить всѣ умы». Парротъ выражался еще энер­гичнѣе въ своей запискѣ (*Coup d'oeil moral sur les princi­pes actuels de l'instruction publique*) о неизбѣжныхъ послѣд­ствіяхъ тѣхъ реформъ, которыя готовились казанскому уни­верситету: «по внѣшности—писалъ онъ государю—универси­тетъ сохранить нѣкоторый порядокъ, но внутри это бу­детъ клоака всякой безнравственности до тѣхъ поръ, пока наконецъ начальство не обратитъ на нее внима­нія». При этомъ онъ припоминалъ Александру его собствен­ныя слова («Я не хочу—говорилъ прежде государь—чтобы общественное воспитаніе лишало молодежь энергіи, точно также, какъ я не хочу имѣть слабодушныхъ въ государствен­ной службѣ») и доказывалъ, что люди, прикрывающіеся рели­гіей, поставили себѣ задачею сдѣлать русскихъ рабами—ра­бами въ правленіе государя, который всегда желалъ царство­

вать «надъ людьми, а не надъ истуканами». Александръ выслушивалъ все это, пытался сбросить съ себя тяжелое иго, наложенное на него мнимо-преданными слугами, пробовалъ ограничить ихъ самозванное усердіе; но скоро ослабѣвалъ въ этой внутренней борьбѣ, впадалъ снова въ уныніе, настраиваясь на мистическія мысли,—и дѣло шло своимъ прежнимъ чередомъ...

XII.

Постепенное стѣсненіе правъ журналистики.—Роль министерства полиціи.— Обсужденіе вопроса о крѣпостномъ правѣ.— Столкновение Карамзина и Жуковского съ цензурою.— Литературныя поподзновенія цензоровъ.— Цензоръ Красовскій, исправляющій слогъ кн. Вяземскому.— Критическія замѣчанія его на стихотвореніе Олѣна.— Недоволеніе журнала Александру Бестужеву.— Преслѣдованіе и запрещеніе «Духа Журналовъ».—

Всѣ обстоятельства, изложенныя нами, касались ближайшимъ образомъ судьбы прессы, какъ самаго чуткаго нерва въ общественномъ организмѣ. Настроеніе правительства выражалось всего опредѣленнѣе въ дѣятельности министерства народнаго просвѣщенія; гоненіе на университеты было, вмѣстѣ съ тѣмъ, гоненіемъ на литературу вообще — на книги и на журналы — такъ какъ цензура сосредоточивалась въ университетахъ и подчинялась, въ высшей инстанціи, главному правленію училищъ. Составъ профессоровъ, которые были обыкновенно—хотя и не исключительно—цензорами; духъ, господствовавшій въ главномъ правленіи училищъ, между высшими судьями цензурнаго вѣдомства—всѣ

эти вопросы были весьма существенны для развитія журналистики, которая, не имѣя за собой поддержки сильнаго общественнаго мнѣнія, была совершенно беззащитна предъ лицомъ строгой и придирчивой власти.

Первой попыткой стѣснить права журналистики — слѣдуетъ считать подчиненіе ея высшему надзору министерства полиціи *). Это министерство, учрежденное въ 1811 г., съ генераломъ Балашовымъ во главѣ, имѣло, между прочимъ, своею цѣлью «цензурную ревизію», которая и была отнесена къ обязанностямъ канцеляріи министерства полиціи. Министерство полиціи наблюдало за тѣмъ, чтобы не обращались въ публичѣ книги и журналы безъ правительственнаго дозволенія; оно разрѣшало къ напечатанію всѣ «афиши и объявленія» (подъ этотъ пунктъ подошли и объявленія объ изданіи журналовъ); кромѣ того, ему предоставлялся, до извѣстной степени, контроль надъ самой цензурою, и главный начальникъ полиціи, «усмотрѣвъ въ книгахъ, уже пропущенныхъ цензурою, поводъ къ превратнымъ толкованіямъ, общему порядку и спокойствію противнымъ», могъ сноситься объ этомъ съ министерствомъ народнаго просвѣщенія или же представлять все дѣло непосредственно на высочайшее усмотрѣніе.

Подчиненіе цензуры министерству полиціи вызвало, съ перваго же разу, недоразумѣнія между нимъ и министерствомъ народнаго просвѣщенія. Приступивъ къ организаціи новаго министерства, генераль Балашовъ задумалъ основать при своей канцеляріи особый комитетъ для «цензурной ревизіи». Предположеніе это было внесено въ комитетъ минист-

*; Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи, стр. 21—28.

стровъ, который отнесся къ нему вполне одобительно. Но графъ Разумовскій, министр^ъ народного просвѣщенія, почему-то не присутствовавшій въ этомъ засѣданіи комитета министровъ, сдѣлалъ письменныя замѣчанія на сообщенный ему проектъ полицейскаго цензурнаго комитета. Разумовскій не усматривалъ въ наказѣ министерству полиціи достаточнаго повода для подобнаго учрежденія. «По предложенію генерала Балашова—писалъ онъ въ своей оффиціальной запискѣ—возлагается на комитетъ обязанность просматривать вновь всѣ выходящія на руссійскомъ языкѣ книги и сочиненія, хотя бы они и были одобрены цензурою. Сею статьею, состоящею въ вѣдѣніи министерства народного просвѣщенія, цензурные комитеты совершенно лишаются сдѣланной имъ уставомъ о цензурѣ довѣренности, и дѣйствіе ихъ становится излишнимъ. Слова 2-й ст. § 84 высочайше утвержденнаго учрежденія министерства полиціи: «если министръ полиціи усмотритъ» и пр., не могли содержать въ себѣ ту мысль, чтобы всѣ сочиненія были вновь разсматриваемы въ министерствѣ полиціи, и означаютъ, по моему мнѣнію, только: «если дойдетъ до свѣдѣнія министра полиціи» и проч. Но всѣ эти «пререканія», всѣ заботы министерства народного просвѣщенія спасти свою самостоятельность по части цензирования и пропуска книгъ, не повели ни къ чему; замѣчанія Разумовскаго были даже доложены государю статсъ-секретаремъ Молчановымъ не ранѣе, какъ черезъ три мѣсяца. Генералъ Балашовъ былъ тогда въ большой силѣ, и министерство полиціи начало такъ цензуровать самихъ цензоровъ. Въ судьбѣ «Духа журналовъ», съ которой мы намѣрены познакомить нашихъ читателей, министерство полиціи играло не-

маловажную роль. Подобное усиленіе цензурной бдительности показывало уже, что правительство начинает колебаться въ своемъ сочувствіи къ литературѣ и перестаетъ раздѣлять нѣкогда высказанную имъ мысль: «строгость цензуры всегда влечетъ за собой пагубныя послѣдствія, истребляетъ искренность, подавляетъ умы и, погашая священный огонь любви къ истинѣ, задерживаетъ развитіе просвѣщенія». Съ теченіемъ времени, правительство все дальше и дальше отходило отъ этой мысли, и количество цензурныхъ дѣлъ увеличивалось въ соотвѣтственной степени. При этомъ возникала нерѣдко полемика между цензурнымъ комитетомъ и авторами, нежелавшими подвергаться безапелляціонно цензурнымъ строгостямъ; цензоры, обвиняемые въ либерализмѣ за пропускъ нѣкоторыхъ статей, тоже не отмалчивались, а старались оправдать свои дѣйствія, ссылаясь на либеральныя мѣры самого правительства и растолковывая цензурный уставъ въ выгодномъ для литературы смыслѣ. Приносить эти оправданія было тѣмъ удобнѣе, что правительство не отличалось послѣдовательностью, и, давая одною рукою либеральныя реформы (какъ напримѣръ конституцію въ Польшѣ), другою рукою задерживало послѣдствія, естественно изъ нихъ вытекающія. Въ самомъ государѣ, какъ сказали мы, постоянно жили и боролись два противоположныя начала: преданія юности, мысли, внушенныя Лагарпомъ, и позднѣйшія вліянія, новые опыты государственной жизни. Сталкиваясь въ его душѣ, эти различныя теченія мыслей попеременно брали верхъ, но никогда не подавляли, не изглаживали окончательно одно другое. Шишковъ,—стоявшій близко къ государю со времени назначенія своего государственнымъ

секретаремъ и еще болѣе забравшій силу послѣ паденія министерства Голицына, когда предусмотрительный Аракчеевъ вручилъ ему вакантный министерскій портфель,—этотъ неуклюжій, но сметливый интриганъ замѣчалъ внутреннія боренія государя и старался оклеветать въ его глазахъ либеральныя идеи, называя ихъ прямо, на своемъ странномъ жаргонѣ, «порожденіями ада». Революція въ Испаніи и въ Неаполѣ (въ 20-хъ годахъ), казалось, помогала Шишкову дѣйствовать въ духѣ обскурантизма, и Александръ, по его словамъ, «пересталъ помышлять о дарованіи вольности народу, о соединеніи всѣхъ вѣръ, о новой философіи, подъ именемъ высокихъ таинствъ, разрушавшей всѣ связи обществъ, и другихъ подобныхъ сему мечтаніяхъ; случай, подавшій поводъ къ перемѣнѣ министерства народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, казалось, открылъ ему злонамѣренность тѣхъ правилъ, которыми доселѣ послѣдовалъ онъ съ такою ревностью». Но и тутъ надежды Шишкова оказались преувеличенными. «Привязанность—говоритъ онъ съ грустью обманутыхъ упованій—или какъ бы нѣкая страсть государя къ прежнимъ своимъ дѣланіямъ и образу мыслей, не взирая на силу опытовъ и убѣжденій, не могла въ немъ истребиться, такъ что, казалось, онъ, самъ съ собою борясь, увлекался попеременно то тѣми, то другими мыслями. Очевидность (?) доказательствъ и сильныя мои настоянія принуждали его соглашаться на предпріемлемыя мною мѣры, но онъ разрушалъ ихъ тайнымъ образомъ. По дѣлу пастора Госнера, отдавъ Попова (директора департамента народнаго просвѣщенія) подъ судъ, уговаривалъ Милорадовича, чтобы онъ старался оправдать его». (См. Зап. Шишкова, стр. 110—11). Только

этою непослѣдовательностью, этими колебаніями правительства, объясняется тотъ поразительный фактъ, что либеральныя идеи, гонимыя въ одномъ журналѣ, спокойно пересекаются въ другой, высказываются устами высокопоставленныхъ лицъ, переходятъ даже въ офіціальные акты... Въ то время, какъ двойственная цензура—министерства народнаго просвѣщенія и министерства полиціи—угнетаетъ «Духъ журналовъ» за его конституціонное направленіе, Александръ въ Варшавѣ говоритъ польскимъ депутатамъ: «законно-свободныя постановленія, коихъ священныя начала смѣшиваютъ съ разрушительнымъ ученіемъ, угрожающимъ въ наше время бѣдственнымъ паденіемъ общественному устройству, не суть мечта опасная; напротивъ, таковыя постановленія, когда приводятся въ исполненіе по правотѣ сердца и направляются съ чистымъ намѣреніемъ къ достиженію полезной и спасительной для человѣчества цѣли, то совершенно согласуются съ порядкомъ, и общимъ содѣйствіемъ утверждаютъ истинное благоденствіе народовъ». (См. Сынъ Отеч. 1818 г. № 18). Въ томъ же году графъ Уваровъ, президентъ академіи наукъ и попечитель петербургскаго учебнаго округа, въ торжественномъ собраніи главнаго педагогическаго института, произноситъ рѣчь, въ которой называетъ политическую свободу «послѣднимъ и прекраснѣйшимъ даромъ Бога»; опасности и бури, сопровождающія эту свободу, не должны, по мнѣнію оратора, устрашать людей: великій даръ природы «сопряженъ съ большими жертвами и съ большими утратами», онъ пріобрѣтается медленно и сохраняется лишь неусыпною твердостью. Но тотъ же графъ Уваровъ, заботившійся о развитіи у насъ политической жизни, предписы-

валъ цензурному комитету' «обратить вниманіе на выписки изъ листовъ (т. е. изъ иностранныхъ газетъ) и на рѣчи членовъ оппозиціи въ англійскомъ парламентѣ», помѣщаемыя въ нашихъ журналахъ,—между тѣмъ какъ эти выписки были для массы читателей единственнымъ средствомъ ознакомиться, хоть сколько нибудь, съ движеніемъ политическихъ идей въ Западной Европѣ. Быть можетъ, графъ Уваровъ повиновался въ этомъ случаѣ какому нибудь постороннему внушенію; но можно также полагать, что онъ и самъ не замѣчалъ противорѣчій между своими словами и дѣйствіями. Такія противорѣчія встрѣчались ежеминутно, и если, въ началѣ царствованія, они помѣшали полному торжеству «либеральнаго направленія», то, съ переменною обстоятельствомъ, они же спасли хоть частицу его отъ окончательнаго изгнанія изъ литературы и общества...

Вопросъ о крѣпостномъ правѣ былъ всегда подводнымъ камнемъ для нашихъ авторовъ и цензоровъ. Слухъ о личномъ нерасположеніи государя къ крѣпостной зависимости крестьянъ не могъ не распространиться въ публикѣ; нѣкоторыя мѣры правительства, очевидно, подтверждали этотъ слухъ—и болѣе рѣшительные писатели, увлекаясь желаніемъ содѣйствовать хорошему намѣренію высшихъ властей, пытались затрогивать, въ той или другой формѣ, отживающій и уже осужденный принципъ. Но въ правительствѣ и въ цензурѣ мнѣнія на этотъ счетъ далеко не сходились, и то, что казалось одному цензору «благоразумнымъ изслѣдованіемъ» истины, то самое представлялось другому «неприличнымъ и неумѣстнымъ разсужденіемъ». Мы видѣли уже, что книга Пнина, осуждавшая въ прямыхъ выраженіяхъ

крѣпостное право, была признана цензурою за опасную попытку «разгорячить умы и воспалить страсти». Подобная же судьба постигла и книгу Валеріана Стройновскаго: «Объ условіяхъ помѣщиковъ съ крестьянами», изданную въ 1780 г. въ Вильнѣ и переведенную Анастасевичемъ съ польскаго на русскій языкъ. Авторъ этой книги нападаетъ на поляковъ, своихъ соотечественниковъ, за то, что они отвергнули въ 1780 г. проектъ уничтоженія крѣпостнаго права и даже теперь, т. е. въ годъ изданія книги, не хотятъ согласиться съ простою мыслью, что человѣкъ не можетъ быть собственностью другого человѣка, какъ быкъ или лошадь; но не смотря на это, Стройновскій, убѣжденный въ томъ, что помѣщики поймутъ рано или поздно необходимость освободить своихъ крестьянъ, рассматриваетъ условія, которыми должны будутъ опредѣлиться новыя поземельныя отношенія. Къ переводу этой книги Анастасевичъ присоединилъ свое предисловіе, въ которомъ, вслѣдъ за историческими примѣрами, почерпнутыми изъ «Древней россійской Библіотеки», было, между прочимъ, сказано: «знающій отечественную исторію удобно припомнить, что желаніе свободы крестьянамъ, еслибы оно когда либо исполнилось, было бы только возвращеніе имъ того блага, которымъ они наслаждались не въ слишкомъ давнія времена, т. е. менѣе двухсотъ лѣтъ». Книга эта не понравилась многимъ защитникамъ стараго порядка, и толки о ней сдѣлались такъ громки и такъ внушительны, что Сперанскій, который самъ не сочувствовалъ крѣпостному праву, приказалъ однако Анастасевичу, служившему подъ его начальствомъ въ комиссіи составленія законовъ, подать просьбу объ отставкѣ; только внезапная

ссылка Сперанскаго помѣшала увольненію Анастасевича. Между тѣмъ правительство продолжало высказываться въ пользу уничтоженія безчеловѣчнаго права. Въ 1816 году утверждено было новое положеніе для эстляндскихъ крестьянъ, которое вскорѣ было принято и въ Курляндіи. Черезъ два года новая мѣра была введена въ Лифляндіи и, по этому случаю, государь сказалъ лифляндскому дворянству: «Радуюсь, что вы оправдали мои желанія; вашъ примѣръ достоинъ подражанія. Вы дѣйствовали въ духъ времени и поняли, что либеральныя начала одни могутъ служить основою счастья народовъ». Присоединеніе Псковской губерніи къ Остзейскому краю показало еще разъ, что государь не отказывался отъ своей любимой мысли—упразднить крѣпостное право въ русскихъ губерніяхъ — и хотѣлъ уже, повидимому, начать первый опытъ. Несмотря на все это, ближайшія къ литературѣ власти не одобряли печатнаго обсужденія щекотливаго вопроса и пользовались всякимъ случаемъ стѣснить его или устранить совсѣмъ. Удобный случай представился. Кочубей продалъ крестьянъ помѣщику Кирьякову, который перевелъ ихъ изъ Полтавской губерніи въ Херсонскую. Крестьяне не хотѣли повиноваться и не покорились даже и тогда, когда покушникъ отъ нихъ отказался, и они остались за прежнимъ помѣщикомъ. Предписано было наказать виновныхъ при собраніи сосѣднихъ помѣщичьихъ крестьянъ. Но всѣ увѣщанія чиновниковъ, представлявшихъ крестьянамъ пагубныя послѣдствія своевольства, всѣ угрозы лицъ, совершавшихъ наказаніе, не произвели никакого дѣйствія: крестьяне сохраняли совершенное спокойствіе, но не соглашались признать помѣ-

щичью власть, и не приняли даже хлѣба и другихъ вспомо-
моществованій, присланныхъ имъ отъ имени помѣщика. Изъ
этого поступка крестьянъ, въ самомъ дѣлѣ довольно зна-
чительнаго, крѣпостники сочинили цѣлое пугало: сейчасъ
же были отправлены циркуляры къ попечителямъ округовъ,
чтобы цензура не пропускала, ни подъ какимъ видомъ, со-
чиненій, трактующихъ о состояніи крѣпостныхъ крестьянъ
въ Россіи. Самое возмущеніе крестьянъ приписывалось мѣ-
стнымъ губернаторомъ вліянію одной статьи (!) помѣщен-
ной въ «Историческомъ, географическомъ и статистическомъ
журналѣ», выходившемъ въ Москвѣ, хотя книжка спеціаль-
наго, мало читаемаго журнала могла развѣ чудомъ какимъ
попасть въ хаты полтавскихъ крестьянъ, да и попавши
туда, по такому чрезвычайному случаю, врядъ ли могла бы
произвести то впечатлѣніе, на которое, совершенно бездо-
казательно, указывалъ губернаторъ. Дѣло въ томъ, что
статья эта, переведенная съ нѣмецкаго и носящая назва-
ніе: «Взглядъ на успѣхи земледѣлія и благосостоянія въ
Россійскомъ государствѣ» («Истор. журналъ» на 1820 г. ч. 2,
кн. 1, стр. 18—32) представляетъ сама по себѣ очень
скромное и сдержанное разсужденіе на тему «постепенной»
отмѣны рабства въ Россіи. Статьи такого характера про-
скальзывали не разъ въ русскихъ журналахъ и никогда не
отражались, внезапно и непосредственно, на умственномъ
настроеніи поголовно-безграмотныхъ людей; онѣ читались
развѣ нѣкоторыми помѣщиками (тоже не отличавшимися
особенной страстью къ литературному чтенію), читались съ
злостью или неудовольствіемъ, и затѣмъ, какъ водится, пря-
тались подалѣе отъ прислуги. Даже прочтенныя двумя-

трем грамотными крестьянами (а такие крестьяне составляли, конечно, редкое исключение), статьи эти, по своему умеренному характеру, никак не могли бы воспламенить слишком пылких и преувеличенных надежд. «Прочным залогом благосостояния России—такъ рассуждает авторъ помянутаго «Взгляда»,—слѣдуетъ считать открытіе училищъ. Въ царствованіе императора Александра учреждено пять университетовъ, пятьдесятъ восемь гимназій и сто уѣздныхъ училищъ, кромѣ множества народныхъ школъ». Все это способствуетъ возведенію России на высшую степень благосостоянія; но, вмѣстѣ съ открытіемъ училищъ, правительство также подумало и о томъ, чтобы «доставить крестьянамъ большую гражданскую свободу и даровать въ полной мѣрѣ права и преимущества, приличныя имъ, какъ существамъ разумнымъ». Многіе крѣпостные получили уже свободу, съ согласія своихъ господъ, за денежное вознагражденіе; государь «позволилъ имъ покупать свою свободу»; кромѣ того, «постепенное уничтоженіе крѣпостнаго права начато административными мѣрами на окраинахъ государства, откуда исподоволь можетъ распространиться и во внутреннія области России». За эту скромную статью,—которая только указывала на значеніе правительственной мѣры, уже принятой въ остзейскомъ краю и нигдѣ не взбунтовавшей крестьянъ,—профессоръ Черепановъ былъ удаленъ отъ званія цензора, а такъ какъ, по уставу, оно соединялось съ должностію декана, то запрещено было выбирать Черепанова и въ деканы.

Область литературнаго обсужденія стѣснялась мало-помалу, и изъ нея произвольно исключались то тѣ, то другіе

предметы, такъ что журналистамъ становилось, наконецъ, невообразимо трудно выбирать безобидныя матеріи для своихъ бесѣдъ съ публикою. Въ нѣкоторыхъ журналахъ печатались напр. театральныя рецензіи. Но въ 1815 г. гр. Разумовскій, по поводу этихъ статей, далъ отзывъ, что «сужденія о театрахъ и актерахъ позволительны только тогда, когда бы оныя зависѣли отъ частнаго содержателя, но сужденія объ императорскихъ театрахъ и актерахъ, находящихся въ службѣ его величества, онъ почитаетъ неумѣстными». Такимъ образомъ, актеры поставлены были на одну доску со всѣми боронными чиновниками, о дѣйствіяхъ которыхъ не допускалось никакихъ литературныхъ толковъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, т. е. при оцѣнкѣ дѣйствій различныхъ должностныхъ лицъ, цензура была особенно бдительна и видѣла непозволительную дерзость даже въ самыхъ невинныхъ замѣчаніяхъ литературы. Въ 1817 г. въ «Казанскихъ извѣстіяхъ», издававшихся при тамошнемъ университетѣ, помѣщены были слѣдующія строки о бывшемъ вице-губернаторѣ Гурьевѣ: «Ревностнымъ исправленіемъ трудныхъ обязанностей онъ снискалъ любовь и почтеніе людей благомыслящихъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ навлекъ на себя недоброжелателей по естественному ходу вещей. Гдѣ достоинство, тамъ и зависть». Этотъ глухой намекъ на недоброжелателей вызвалъ неудовольствіе со стороны министра полиціи, который сообщилъ министру просвѣщенія, что онъ находитъ «неприличнымъ, чтобы въ вѣдомостяхъ помѣщаемы были сужденія о служащихъ или уволенныхъ отъ службы чиновникахъ». Два слова о недоброжелателяхъ, о достоинствѣ и зависти, изъ которыхъ даже и понять-то ничего нельзя было,

признаны сужденіемъ, и притомъ «неприличнымъ». Журналы наши, въ первую половину царствованія Александра, помѣщали иногда извлеченія изъ тяжбныхъ и вообще судебныхъ дѣлъ; но въ началѣ 1817 г. возбуждено сомнѣніе: вправѣ ли печать касаться этихъ вопросовъ, и гр. Разумовскій, положилъ, по поводу его, такую резолюцію: «по уставу о цензурѣ, въ числѣ представляемыхъ къ разсмотрѣнію цензурнаго комитета книгъ и сочиненій, не упоминается нигдѣ о подобныхъ запискахъ по частнымъ дѣламъ», почему министръ просвѣщенія заключилъ, что «писать объ этихъ предметахъ не дозволено» — и заключилъ такъ вопреки основному юридическому правилу, что всё, незапрещенное положительнымъ закономъ, дозволено имъ. Приказаніе, своевольно отданное гр. Разумовскимъ, было неоднократно подтверждаемо кн. Голицынымъ и сдѣлалось, наконецъ, руководящимъ постановленіемъ для цензуры. Исключеніе изъ этого правила, составляли западныя губерніи, въ которыхъ судопроизводство совершалось на основаніи литовскаго статута, допускавшаго адвокатуру и опубликованіе процессовъ. Но по поводу одного дѣла, распубликованнаго въ журналахъ въ 1818 г., два министра—полиціи и просвѣщенія—дѣйствуя сообща, потребовали объясненія отъ попечителя виленскаго округа, кн. Чарторижскаго. Послѣдній отвѣтилъ Голицыну, что запрещеніе печатать адвокатскія мнѣнія было бы противно дѣйствующему въ краѣ законодательству, а подчиненіе ихъ предварительной цензурѣ невозможно, потому что мнѣнія эти «должны быть предаваемы тисненію немедленно; часто ихъ печатаютъ въ то время, когда на нихъ въ судѣ дѣлается возраженіе со стороны противной

партій, и измѣненіе такого порядка, съ цѣлью подвергать ихъ предварительному просмотру цензуры, произвело бы неблагопріятное впечатлѣніе». «Голоса адвокатовъ—писалъ Чарторижскій — уважаются, какъ офіціальныя письма, за кои адвокаты отвѣтствуютъ передъ тѣмъ же судомъ, передъ коимъ ихъ читаютъ». Объясненіе виленскаго попечителя было сообщено министру юстиціи, кн. Лобанову, который отозвался, что, по его мнѣнію, «нѣтъ достаточнаго основанія возбранять въ присоединенныхъ губерніяхъ печатаніе записокъ адвокатовъ». Впрочемъ право это, какъ несовмѣстное съ тогдашнимъ ходомъ дѣлъ, продержалось недолго: въ 1825 году, по представленію в. к. Константина Павловича, оно было уничтожено. Кромѣ того, во время управленія министерствомъ кн. Голицына, въ цензурной практикѣ возникла мысль о предварительномъ просмотрѣ статей тѣми вѣдомствами, до которыхъ онѣ касались. По поводу одной статьи *) объ откупахъ, помѣщенной въ «Духъ журналовъ» 1817 г., кн. Голицынъ предписалъ цензурнымъ комитетамъ—«не пропускать ничего, относящагося до правительства, не испросивъ прежде на то согласія отъ министерства, о предметѣ котораго въ книгѣ разсуждается». Это распоряженіе повторялось потомъ неоднократно и породило, независимо отъ общей цензуры, множество спеці-

*) Въ статьѣ этой (№ 3) предлагалось, для сохраненія милліоновъ, похищаемыхъ указами откупщиками, замѣнить откупъ налогомъ на винокурение. «Можетъ быть, покажется—говоритъ авторъ—что не поставлено въ семъ начертаніи никакой преграды чрезмѣрному размноженію винокурения. На сіе имѣю честь представить, что чѣмъ невидимѣе стражъ, тѣмъ сильнѣе его дѣйствіе, а этотъ стражъ есть интересъ и наблюденіе своихъ выгодъ, ибо, еслибы винокурение умножилось сверхъ нужной пропорціи на расходъ, то вино останется непроданнымъ..

альныхъ цензуръ по разнымъ вѣдомствамъ: каждое государственное управленіе пожелало воспользоваться этимъ важнымъ правомъ, и цензурное дѣло подчинилось еще большому количеству постороннихъ вліяній. Но несмотря на всѣ предосторожности, принятыя противъ литературы, правительственныя лица постоянно находили, что журнальныя статьи все еще недостаточно выправляются бдительною рукою цензоровъ. Маркизъ Паулуччи, бывшій въ двадцатыхъ годахъ рижскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ, представлялъ самому государю, что «публичныя листы и вѣдомости, присвоивъ себѣ право судить о политическихъ отношеніяхъ и пользуясь большимъ числомъ читателей во всѣхъ сословіяхъ, имѣютъ величайшее вліяніе на мысли и сужденія, и производятъ заблужденія, которыя весьма трудно истребить изъ общаго мнѣнія». Записка маркиза была читана въ комитетѣ министровъ и заслужила всеобщее одобреніе.

Невыгодное положеніе печатнаго слова вообще—отражалось даже на литературной дѣятельности такихъ лицъ, которыхъ, повидимому, трудно было бы заподозрить въ политической неблагонадежности. Карамзину, какъ извѣстно, было высочайше разрѣшено печатать свою исторію безъ цензуры, и она печаталась такимъ порядкомъ въ военной типографіи. Но въ 1816 г. дежурный генералъ А. А. Закревскій пріостановилъ печатаніе, требуя цензурнаго дозволенія. Карамзинъ жаловался на это министру народнаго просвѣщенія. «Академики и профессоры, писалъ онъ, не отдають своихъ сочиненій въ публичную цензуру; государственный исторіографъ имѣетъ, кажется, право на такое же милостивое отличіе. Онъ долженъ разумѣть, что и какъ писать; надѣюсь, что въ моей

книгѣ нѣтъ ничего противъ вѣры, государя и нравственности; но быть можетъ, что цензоры не позволятъ мнѣ, напр., говорить свободно о жестокости царя Іоанна Васильевича. Въ такомъ случаѣ, что будетъ исторія?»

Карамзинъ очень вѣрно предвидѣлъ пунктъ сомнѣнія для цензуры... Желаніе его было однако удовлетворено, и «Исторія государства російскаго» вышла въ свѣтъ только съ тѣми небольшими измѣненіями, которыя предложены были автору самимъ государемъ.

Новое, еще болѣе любопытное столкновеніе съ цензурою произошло у Жуковскаго въ 1822 году. Жуковскій отдалъ для напечатанія въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» къ «Русскому Инвалиду» свой переводъ баллады Вальтеръ-Скотта: «Ивановъ вечеръ». Содержаніе этой баллады извѣстно: смальгольмскій баронъ, увѣривъ свою жену, что онъ ѣдетъ сражаться съ врагами Шотландіи, на самомъ дѣлѣ преслѣдуетъ другую цѣль и, подстерегши любовника своей жены, рыцаря Кольдингама, нападаетъ на него измѣннически и убиваетъ. Похоронивъ убитаго, баронъ возвращается домой, но къ удивленію своему узнаетъ отъ молодаго пажа, что Кольдингамъ, во время его отсутствія, уже погребенный и отпѣтый, имѣлъ свиданіе съ его женою на отдаленныхъ скалахъ у маяка. Въ послѣдній разъ Кольдингамъ является къ своей любовницѣ ночью передъ Ивановымъ днемъ, въ самой ея спальнѣ, при спящемъ подлѣ нея мужѣ, рассказываетъ ей о своей смерти и на прощаніи жметъ руку, при чемъ обжигаетъ ей пальцы своимъ пламеннымъ прикосновеніемъ. Вся эта фантастическая исторія оканчивается стихами, которые наши дѣды заучивали наизусть:

Есть монахиня въ древнихъ драйбургскихъ стѣнахъ—

И грустна, и на свѣтъ не глядитъ:

Есть въ мельрозской обители мрачный монахъ—

И дичится людей, и молчитъ.

Сей монахъ молчаливый и мрачный—кто онъ?

Та монахиня—кто же она?

То—убійца, суровый смальгольмскій баронъ,

То—его молодая жена.

Порокъ, какъ видно изъ этой развязки, наказывается добровольнымъ поступленіемъ въ монастырь обоихъ виновныхъ; но цензурѣ показалось этого мало, и она запретила цѣликомъ всю балладу. Тогда авторъ, приведенный въ негодованіе, написалъ письмо къ министру народнаго просвѣщенія. «Сія баллада—объяснялъ онъ по этому случаю—давно извѣстна; содержаніе оной заимствовано изъ древняго шотландскаго преданія; она переведена стихами и прозою на многіе языки, и до сихъ поръ ни въ Англіи, — гдѣ всѣ уважаютъ и нравственный характеръ В. Скотта, и цѣль, всегда моральную, его сочиненій,—ни въ остальной Европѣ, никому не приходило на мысль почитать его балладу нравственною или почему нибудь вредною для читателя. Нынѣ я узнаю съ удивленіемъ, что мой переводъ, въ коемъ соблюдена вся возможная вѣрность, не можетъ быть напечатанъ: слѣдовательно, цензура находитъ сіе стихотвореніе или нравственнымъ, или противнымъ религіи, или оскорбительнымъ для правительства (?!). Нужно ли увѣрять, что для меня ничего не стоитъ отказаться отъ напечатанія нѣсколькихъ стиховъ; очень равнодушно соглашаюсь признать эту балладу незаслуживающею вниманія бездѣлкою; но слышать, что ее не печатаютъ потому, что она можетъ быть вредна для читателей—это совсѣмъ иное! Съ такимъ грозно-не-

справедливымъ приговоромъ я не могу и не долженъ соглашаться. Я не въ состояніи даже вообразить, на чемъ гг. цензоры основываютъ свое мнѣніе; но слышалъ, что ихъ, между прочимъ, въ слѣдующемъ стихѣ:

И ужасное знаменье въ столѣ возжено!

пугаетъ слово знаменье; должно ли замѣчать, что слова: знаменье и знакъ одно и то же, и что ни въ томъ, ни въ другомъ нѣтъ ничего предосудительнаго? Если же цензоры думаютъ, что слово знаменье исключительно принадлежитъ предметамъ священнымъ и не должно выражать ничего обыкновеннаго, то они ошибаются, и надобно отказаться отъ знанія русскаго языка, чтобы въ этомъ случаѣ съ ними согласиться». Далѣе разобиженный Жуковскій, отвѣчая на упрекъ цензурѣ, что онъ своимъ описаніемъ роняетъ значеніе богослужебныхъ обрядовъ, пишетъ слѣдующее: «Смѣю думать, что я не менѣе цензоровъ знаю, сколь предосудительно представлять обряды церкви въ неприличномъ видѣ или съ намѣреніемъ ихъ унижить, сдѣлать смѣшными. Но есть ли что нибудь подобное въ переведенной мною балладѣ Вальтеръ-Скотта? Я позволяю себѣ утверждать, что цѣль оной правоучительная, и что въ рассказѣ и описаніяхъ соблюдено строгое уваженіе не только къ вѣрѣ и нравамъ, но и къ малѣйшимъ приличіямъ». — Перчатка была брошена, и цензурному комитету пришлось, волей-неволей, поднять ее. Онъ, дѣйствительно, не отказался отъ полемики — и въ своемъ объясненіи или, лучше сказать, въ своемъ критическомъ разборѣ на балладу Жуковскаго, выставилъ шесть обвинительныхъ пунктовъ, по которымъ баллада эта признана неудобною для печати.

Во-первыхъ. по мнѣнію комитета, — «самое названіе стихотворенія: И в а н о в ъ в е ч е р ъ можетъ показаться страннымъ по содержанію шотландской баллады, совершенно противоположному тому почтенію, какое сны господствующей здѣсь греко-россійской церкви обыкли хранить къ дню сего праздника, между тѣмъ какъ читателямъ предлагается чтеніе о соблазнительныхъ дѣлахъ».

Во вторыхъ — «описаніе соблазнительныхъ дѣйствій убитаго рыцаря Кольдингама принадлежитъ къ числу суевѣрныхъ повѣстей и можетъ болѣе разгорачать и пугать воображеніе, нежели наставлять простыхъ или малопросвѣщенныхъ читателей, особливо молодыхъ людей и женщинъ».

Въ третьихъ — цензурный комитетъ находилъ, что подобныя баллады нельзя переводить безъ историческихъ примѣчаній, которыя дали бы возможность отличать достовѣрную часть стихотворенія отъ вымысловъ и прикрасъ автора.

Въ четвертыхъ — «для многихъ читателей покажется удивительнымъ и даже неприличнымъ то, что въ шотландской простонародной пѣснѣ, въ суевѣрномъ разсказѣ о явленіи мертвеца, въ соблазнительномъ разговорѣ съ нимъ невѣрной жены, дѣлаются весьма некстати обращенія къ Творцу, кресту, великому Иванову дню; представляются священникъ, монахи, панихида, поминки, часовня, съ такою малою разборчивостью, что русскій читатель, находя въ шотландской сказкѣ часовню, панихиду и чернецовъ, невольно подумаетъ, что ему хотятъ представить рассказываемое про ишествіе случившимся или, по крайней мѣрѣ, могущимъ случиться и въ Россіи. У католиковъ, а тѣмъ менѣе у протестантовъ, нѣтъ ни часовень, ни панихидъ: названіе же

иноковъ чернецами, т. е. употребляющими черную одежду, исключаетъ монаховъ, носящихъ бѣлую одежду, которіе есть въ нѣкоторыхъ орденахъ римской церкви, но которыхъ вовсе нѣтъ въ греко-россійской».

Въ пятихъ, цензурный комитетъ, сличивъ переводъ съ англійскимъ оригиналомъ, нашелъ, что переводчикъ во многомъ отступилъ отъ подлинника и при этомъ «затемнилъ намѣреніе автора: касаться съ большею разборчивостью предметовъ, равно почитаемыхъ католиками и протестантами, и говорить, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, съ большею осторожностью и скромностью о непозволенной любви».

Но главное возраженіе приберегалось къ концу. «Въ шестыхъ—гласила эта пуританская рецензія — развязка всей пьесы не имѣетъ той силы, какую хотѣлъ бы найти въ ней читатель и какой дѣйствительно требуетъ великость пороковъ и преступленій, описываемыхъ здѣсь съ такою подробностью. Послѣ впечатлѣній, сдѣланныхъ на читателя представленною ему картиною соблазнительной жизни трехъ лицъ, выбранныхъ изъ людей высшаго состоянія (вѣроятно, намекъ на униженіе высшихъ классовъ), читатель не видитъ сокрушенія преступной жены, сдѣлавшей несчастными и своего мужа, и любовника, и себя; не находитъ сильнаго раскаянія въ мужѣ, который отъ ревности и свирѣпства сдѣлался убійцею одного врага и желалъ открыть другихъ подобныхъ враговъ. Изъ одного того, что баронъ и его молодая жена скрылись другъ отъ друга и отъ свѣта въ уединеніи монастырскомъ и, надѣвши монашеское платье, показывались: одинъ — мрачнымъ и дичащимся людей, а другая — грустною и не обращающей глазъ

на свѣтъ, читатель еще не увѣрится о сокрушеніи ихъ сердце и примиреніи ихъ съ Богомъ и между собою посредствомъ истиннаго покаянія. Притомъ о состояніи ихъ въ монастырскихъ стѣнахъ упомянуто холодно, съ равнодушіемъ, даже съ нѣкоторымъ видомъ неуваженія къ сей перемѣнѣ, между тѣмъ какъ здѣсь-то особливо надлежало бы показать живое участіе христіанскаго человѣколюбія, чего имѣли право требовать если не несчастливцы, можетъ быть, вымысленные, то, по крайней мѣрѣ, читатели, желающіе увидѣть въ заключеніи наставительную развязку всей повѣсти».

Въ разсказанномъ нами случаѣ цензурный комитетъ, очевидно, выходилъ изъ круга своихъ прямыхъ обязанностей и, не ограничиваясь придирчивымъ указаніемъ на безнравственныя и антирелигіозныя мѣста, пускался въ совсѣмъ непринадлежащую ему оцѣнку литературной стороны произведенія, сличалъ переводъ съ подлинникомъ, требовалъ историческихъ примѣчаній, осуждалъ суевѣрный характеръ повѣсти, способный «разгорячать и пугать воображеніе». Все это не относилось нисколько къ чисто репрессивной дѣятельности, предоставленной цензурѣ; кромѣ того, въ самомъ цензурованіи пьесы, усиливаясь найти и перетолковать въ худую сторону всѣ неясныя и двусмысленныя мѣста, сближая для этой цѣли различныя части стихотворенія, комитетъ явно нарушалъ сохранявшійся еще въ цензурномъ уставѣ либеральный пунктъ: «когда мѣсто, подверженное сомнѣнію, имѣетъ двойкій смыслъ, въ такомъ случаѣ лучше истолковать оное выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели его преслѣдовать.» Либеральный духъ, внушившій эти строки, давно исчезъ — и гибкій

смыслъ цензурныхъ постановленій подался въ сторону, наименѣе благопріятную для литературы. Цензурная бдительность распространялась съ неимовѣрною быстротою: не довольствуясь вычеркиваніемъ сомнительныхъ мѣстъ, цензора скоро стали выправлять самый слогъ авторовъ, дѣлать свои собственныя вставки и писать критическія замѣчанія на цензируемыя ими сочиненія. Этими литературными стремленіями въ особенности отличался цензоръ Красовскій, прославленный эпиграммами Пушкина. Въ 1823 г. князь Вяземскій приносилъ жалобу на Красовскаго за то, что этотъ послѣдній «принимаетъ обязанность рецензента и съ учительской заботливостію наставляетъ искусству писать по своему, замѣняя одни слова другими и выкидывая выраженія, по мнѣнію его, некрасивыя или неправильныя». Такъ напр., въ одной строкѣ, вмѣсто задѣваетъ, Красовскій поставилъ: упрекаетъ; въ другомъ мѣстѣ не позволилъ сказать, что Карамзинъ слѣдовалъ благоразумію; въ третьемъ, наконецъ, къ словамъ автора: строгимъ приговоромъ, прибавилъ: строгимъ, но справедливымъ и т. п. Нѣсколько позже Красовскій, по поводу одного ничтожнаго стихотворенія Олина, написалъ множество критическихъ примѣчаній въ самомъ курьезномъ родѣ. Олинъ пишетъ, напримѣръ:

Улыбку устъ твоихъ небесную ловить,

А Красовскій съ ехидствомъ замѣчаетъ: «Слишкомъ сильно сказано; женщина недостойна, чтобъ улыбку ея называть небесною». Стихъ Олина: «И на груди моей главу твою поконть» комментировался фразою: «стихъ чрезвычайно сладострастный»! Желаніе Олина, выраженное въ словахъ:

О какъ бы я желалъ пустынныхъ странъ въ тиши,
Безвѣстный. близъ тебя къ блаженству приучаться,—

это невинное желаніе привело Красовскаго окончательно въ гнѣвъ. «Это значитъ — пишетъ онъ въ примѣчаніи — что авторъ не хочетъ продолжать службы государю для того только, чтобъ быть всегда съ своей любовницей; сверхъ сего, къ блаженству можно только приучаться близъ евангелія, а не близъ женщины», и т. д.

Подобные «проницательные читатели», вооруженные притомъ красными чернилами, безъ сомнѣнія, мало способствовали развитію общественной мысли... Немудрено, что, послѣ продолжительнаго тяготѣнія ихъ надъ русской журналистикой, она попала наконецъ всецѣло въ руки Булгарина и компаніи.

Въ одно время съ развитіемъ литературныхъ поползновеній цензоровъ, появляется желаніе ограничить, подъ разными предлогами, количество вновь разрѣшаемыхъ журналовъ. Однимъ изъ этихъ предлоговъ было, между прочимъ, требованіе, чтобы издатель журнала принадлежалъ къ «словію ученыхъ» и приобрѣлъ себѣ извѣстность въ «ученой публикѣ». Такой взглядъ примѣненъ былъ къ Александру Бестужеву (Марлинскому), который ходатайствовалъ о разрѣшеніи издавать съ 1819 г. журналъ, подъ названіемъ: «Зимцерла», но получилъ отказъ, пространно мотивированный цензурнымъ комитетомъ въ пяти параграфахъ: «1) По содержанію программы, кругъ журнала, предполагаемаго Бестужевымъ, чрезвычайно обширенъ, заключаая въ себѣ не только всѣ части отечественной и иностранной словесности, но также критику и всѣ отрасли военныхъ и гражданскихъ наукъ. Къ выполненію такого обширнаго плана потребны и

обширныя по всѣмъ частямъ свѣдѣнія, а также практическая опытность для правильнаго сужденія о предметахъ, относящихся до государственнаго управленія, чего въ Бестужевѣ, по его слишкомъ молодымъ лѣтамъ, нельзя ни предполагать, ни отрицать: ему всего двадцать лѣтъ отъ роду. 2) Хотя въ послужномъ спискѣ Бестужева значится, что онъ обучался многимъ языкамъ и наукамъ, однако въ написанной имъ программѣ комитетъ не безъ удивленія замѣтилъ въ десяти, не болѣе, строкахъ, три ошибки противъ правописанія, что доказываетъ, по меньшей мѣрѣ, его невнимательность и небрежность. 3) Помѣщенные въ «Сынъ Отечества» переводы Бестужева, на которые онъ ссылагается, именно «Духъ бури», стихами, изъ Лагарпа, и о состояніи эстонскихъ и ливонскихъ крестьянъ, похвалены только потому, что свидѣтельствуютъ объ охотѣ его къ полезнымъ упражненіямъ. Впрочемъ, переводъ въ прозѣ о состояніи эстонскихъ и ливонскихъ крестьянъ не отличается ни чистотою слога, ни правильностію языка. 4) Для исправности въ изданіи періодическихъ сочиненій, издателю необходимо имѣть, кромѣ познаній, величайшее терпѣніе, непрерывную внимательность и навыкъ къ трудамъ. А какъ Бестужевъ въ прошеніи своемъ изъясняетъ, что онъ, будучи занятъ по службѣ, могъ быть извѣстенъ публикѣ только двумя названными статьями, то комитетъ имѣетъ причину думать, что самый родъ его службы будетъ часто отвлекать его отъ многотрудныхъ занятій журналиста, при чемъ должно опасаться либо совершенной остановки, либо неисправности въ изданіи журнала. 5) Комитетъ неоднократно имѣлъ случай замѣтить,

что многіе, особливо изъ молодыхъ людей, не принадлежащихъ къ сословію ученыхъ, предпринявъ изданіе какого либо журнала, прекращали его, отъ чего не только публика оставалась обманутою, ибо деньги собраны впередъ, но и цензура нѣкоторымъ образомъ терпѣла нареканіе». Мнѣніе цензурнаго комитета было принято и въ главномъ правленіи училищъ, несмотря на то, что попечитель учебнаго округа (онъ же и предсѣдатель комитета) увидѣлъ въ такомъ запрещеньѣ — «стѣсненіе охоты къ ученымъ и полезнымъ для общества занятіямъ». Еще меньшею основательностью отличался отказъ въ изданіи «Тульскихъ Вѣдомостей», недозволенныхъ, между прочимъ, потому, что «академія наукъ и московскій университетъ, издающіе газеты въ Петербургѣ и Москвѣ, могутъ признать изданіе «Тульскихъ Вѣдомостей» подрывомъ и нарушеніемъ своихъ правъ».

При такихъ-то неблагоприятныхъ условіяхъ пришлось дѣйствовать «Духу Журналовъ», одному изъ лучшихъ періодическихъ изданій того времени, испытавшему на себѣ весь гнетъ двойственной цензуры—министерства полиціи и министерства народнаго просвѣщенія.

Главнымъ издателемъ «Духа Журналовъ»,—по собственному его заявленію, *)—былъ Григорій Максимовичъ Яценковъ; но въ изданіи участвовали, какъ видно, и другія лица, и притомъ участвовали не только матеріальными

*) См. «Духъ журн.» 1815 г., № 42, стат. «Заговоръ противъ «Духа Журналовъ». Въ этой статьѣ говорится, между прочимъ: «Главный издатель хотѣлъ было молчать, какъ онъ и прежде дѣлалъ, на всѣ критики. Но онъ въ семь изданій не одинъ: общій голосъ перевѣсилъ его»... и пр. и пр.

средствами, но и литературнымъ своимъ содѣйствіемъ. Яценковъ получилъ образованіе въ Московскомъ университетѣ и былъ сначала учителемъ латинскаго и греческаго языковъ, а потомъ адъюнктомъ «философіи и свободныхъ наукъ» въ московскомъ университетѣ. Въ 1804 г. онъ былъ опредѣленъ цензоромъ въ Петербургскій цензурный комитетъ и, продолжая занимать это мѣсто, началъ издавать съ 1815 г. свой журналъ, при чемъ самъ же и пропускалъ въ печать многія статьи. Оставивъ, наконецъ, цензурную службу, Яценковъ, — какъ сообщалъ мнѣ покойный П. П. Пекарскій, — перешелъ на видную должность въ почтовомъ вѣдомствѣ.

Первое столкновеніе Яценкова съ цензурой министерства полиціи произошло еще при самомъ представленіи имъ программы журнала. Найдя въ этой программѣ отдѣлъ «внутреннихъ обозрѣній», въ которомъ издатель предполагалъ изслѣдовать «великіе способы Россіи и выгоды, нѣкоторые недостатки и злоупотребленія», министръ полиціи, генералъ С. К. Вязмитиновъ, писалъ министру народнаго просвѣщенія: «Нахожу сію статью совершенно неприличною, ибо упоминаемые въ ней предметы относятся до попеченія самаго правительства и отнюдь не могутъ подлежать сужденію частныхъ лицъ публично». По этому случаю Яценковъ получилъ первый выговоръ, но изданіе было ему все таки разрѣшено.

«Духъ Журналовъ» выходилъ еженедѣльно (каждая книжка въ 50 страницъ и болѣе) и въ своей программѣ, «очищенной» министерствомъ полиціи, заключалъ 8 отдѣловъ, между которыми на первомъ мѣстѣ стояли: исторія и политика, государственное хозяйство и литература. Особый отдѣлъ составляли мысли и сужденія императрицы Екате-

рины II-ой о разныхъ частяхъ государственнаго управленія, и матеріалы для этого отдѣла доставляла въ журналъ какая-то «особа, въ кругу тогдашняго времени обращавшаяся». Эта же особа, вѣроятно, была центромъ того вліятельнаго общества «знатныхъ господъ», которое удостоивало «Духъ Журналовъ», по словамъ издателя, своимъ вниманіемъ и покровительствомъ. «Никогда не унижится «Духъ журналовъ» — писалъ Яценковъ въ одной полемической замѣткѣ, направленной противъ «Сына Отечества», — «до малѣйшей нескромности. Онъ ни на одну минуту не упуститъ изъ виду, что почтеннѣйшія особы удостоили его своимъ вниманіемъ. Издатели не иначе выпускаютъ въ свѣтъ каждую книжку своего журнала, какъ будто самъ п предстаютъ предъ тѣхъ почтенныхъ особъ» *).

Въ первой же книжкѣ «Духа Журналовъ» опредѣляется и цѣль этого изданія. Разсказавъ анекдотъ о томъ, какъ Фонъ-Визинъ предложилъ князю Потемкину поручить умнымъ и ученымъ людямъ дѣлать, для его развлеченія, интереснѣйшія выписки изъ журналовъ, издатель выражаетъ намѣреніе: соединить въ своемъ журналѣ все, что есть лучшаго и любопытнѣйшаго во всѣхъ журналахъ, и предоста- вить читателямъ «съ самыми малыми издержками» то же удобство, которое дорого обходилось Потемкину. Но чтобы журналъ, задавшійся такою цѣлью, не былъ обвиненъ въ простой перепечаткѣ и похищеніяхъ, авторъ статьи прибавляетъ: «Духъ журналовъ» не есть сборъ журналовъ; онъ не коснется ничьей собственности, но подобно

*) «Духъ Журн.» 1815 г. № 8, статья: «къ читателямъ».

пчелѣ, извлекающей ароматные соки изъ тысячи цвѣтовъ, которые отъ того не теряютъ ни свѣжести, ни красоты своей,—онъ будетъ извлекать изъ всѣхъ цвѣтовъ литературы силу и, такъ сказать, душу ихъ;—или, подобно живописцу, рисуящему прелестные виды картинныхъ мѣстоположеній, «Духъ журналовъ» представить читателямъ панораму лучшихъ періодическихъ изданій, указывая только на тѣ въ нихъ точки, которыя болѣе другихъ достойны замѣчанія». Это прибавленіе уже обязывало «Духъ журналовъ» нѣсколько систематизировать свои извлеченія изъ другихъ изданій и установить свой масштабъ для оцѣнки большей или меньшей значительности разнообразныхъ фактовъ и взглядовъ, излагаемыхъ въ европейской прессѣ.

Издатель исполнилъ свое обѣщаніе—группировать съ толкомъ сообщаемыя свѣдѣнія, — и «ароматные соки», извлеченные имъ изъ «тысячи цвѣтовъ», обладали, дѣйствительно, такимъ сильнымъ букетомъ, что сразу поразили обоняніе цензурныхъ властей.

Прежде всего, цензура вооружилась на «Духъ Журналовъ» за его политическій либерализмъ, который высказывался весьма опредѣленно на первомъ году существованія журнала и въ особенности въ первыхъ номерахъ его за 1815 годъ. Не только официальные наблюдатели, но и сотоварищи Яценкова по журналистикѣ, скоро заримѣтили въ его изданіи эту черту и, можетъ быть, по убѣжденію, а вѣрнѣе изъ видовъ конкуренціи, — которая начинала уже свое дѣло при распространившемся кругѣ читателей, — принялись кивать на его «правила, неприличныя русскому», на «какой-то тонъ, вовсе непристойный русско-

м у журналу и приносящій мало чести у людей благомыслящихъ *)). Въ первомъ политическомъ обзорѣннѣ «Духа Журналовъ» (подъ названіемъ: «Эпоха обновленія европейскихъ государствъ») мы встрѣчаемъ уже восторженные отзывы о конституціонныхъ стремленіяхъ того времени, въ которыхъ авторъ статьи видѣлъ какъ бы новую эру политическаго развитія Европы. «Потрясенія утихли, потухъ вулканъ, закрылось страшное жерло, изрыгавшее смерть и опустошеніе, и грозный Энцеладъ (т. е. Наполеонъ); подавляемый горою проклятій, прикованъ къ желѣзнымъ столбамъ острова Эльбы; недвижимъ и только въ безсильной ярости изрыгаетъ искры злобы, погасающія въ воздухѣ... Уже изъ пепла поднимаются города; на опустошенныхъ поляхъ умножаются селенія; со всѣхъ сторонъ стекаются жители; нужда научаетъ отыскивать новые способы; промышленность напрягаетъ силы; заблужденія отцовъ служатъ урокомъ для сыновъ и внуковъ; народы подаютъ другъ другу руку помощи; цари и народы обнимаются, какъ братья, и заря будущаго блаженства занялась на горизонтѣ Европы. Наступаетъ новый порядокъ вещей; видъ государствъ обновляется... Отъ сей точки пойдутъ народы совершать путь бытія своего». Далѣе, переходя къ французскимъ дѣламъ, авторъ говоритъ: «Людовикъ далъ Франціи новый залогъ своего отеческаго о ней попеченія—свободную конституцію. Не присвоая себѣ иныхъ правъ, кромѣ тѣхъ, которыя съ достоинствомъ сана царскаго неразлучны, онъ добровольно ограничилъ власть свою и призвалъ избраннѣй-

*) См. «Духъ Журн.» 1815 г. № 42 и «Вѣстн. Евр.» того же года № 22.

шихъ. изъ гражданъ себѣ въ совѣтники и въ соправители». Въ слѣдующихъ затѣмъ политическихъ обзорѣніяхъ, «Духъ Журналовъ» оцѣнивалъ весьма внимательно, съ одной опредѣленной точки зрѣнія, всѣ крупнѣйшія событія въ Европѣ, всѣ перемѣны въ политическомъ составѣ государствъ, и, по прежнему, выражалъ сочувствіе къ свободному правленію, осуждая, въ то же время, реакціонныя попытки, — въ родѣ дѣйствій короля испанскаго, — которыя «распространяютъ ужасъ между всѣми состояніями народа, умножаютъ взаимныя раздоры, изгоняютъ подданныхъ изъ отечества и угрожаютъ опасностью внутреннихъ смутеній» (№ 8). Конституціи Англіи и Америки, какъ обезпечивающія народамъ наиболѣе правъ и «законной свободы», вызывали къ себѣ особенное почтеніе со стороны «Духа Журналовъ». Въ «Письмѣ одного нѣмца изъ Филадельфіи» (№ 31) государственный бытъ Америки описывается подробно и притомъ въ самыхъ привлекательныхъ краскахъ. «Подлинно — пишетъ этотъ нѣмецъ — какое-то особенное чувство проникаетъ тебя, когда подумаешь, что ступилъ на землю свободы, гдѣ, какъ свободный человѣкъ, между свободными людьми жить будешь. Какъ будто здѣсь свободнѣе дышешь, нежели въ иной землѣ; всѣ наслажденія жизни кажутся болѣе пріятны, всѣ общественныя удовольствія болѣе благородны... Здѣсь не увидишь гордаго барона, который измѣряетъ собственныя свои заслуги длиннымъ рядомъ предковъ, основывая на томъ права на высшія государственныя должности, не увидишь подлаго раба деспотовъ, который изъ своекорыстія ласкаетъ страстямъ государя, жертвуя благосостояніемъ отечества. Здѣсь нѣтъ ни титуловъ, ни чиновъ, ни орденовъ, и однако все идетъ

своимъ ходомъ, въ величайшемъ порядкѣ и благоустройствѣ... Конституція американской республики Соединенныхъ Штатовъ имѣетъ всѣ преимущества англійской конституціи, не имѣя однако ея недостатковъ. Къ симъ преимуществамъ принадлежитъ, безъ сомнѣнія, неограниченная свобода мыслить, говорить и писать. Нигдѣ въ свѣтѣ такъ свободно не говорятъ, не судятъ и не пишутъ, какъ въ Великобританіи и въ Америкѣ. Всякій, не боясь никого, говоритъ публично свое мнѣніе, даже о важнѣйшихъ государственныхъ дѣлахъ, хвалитъ и осуждаетъ все по своей волѣ, не щадя даже тѣхъ, кои сидятъ у кормила правленія... Журналы и газеты, коихъ здѣсь великое множество и въ которыхъ каждый можетъ свободно изъяснять свои мысли, много пособствуютъ тому, чтобы знать общественное мнѣніе и голосъ народа». Сравнивая издержки на государственное управленіе, въ Америкѣ и европейскихъ монархіяхъ, авторъ письма отдавалъ громадное преимущество первой, въ томъ отношеніи, что ей не приходится тратиться ни на придворный штатъ, ни на «стоячее (постоянное) войско — главнѣйшее препятствіе возвышенію народнаго благосостоянія», — ни на толпу чиновниковъ, которые привыкли думать въ Европѣ, что «безъ нихъ не могла бы двигаться государственная машина». Похваливъ далѣе гласный судъ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей и поставивъ высоко право каждого арестованнаго требовать допроса не позже, какъ чрезъ три дня по взятіи подъ стражу, вопреки европейскому порядку, при которомъ «часто заключенный въ тюрьму по одному подозрѣнію, еще недоказанному, пьетъ горькую чашу», — авторъ, въ концѣ

своей характеристики, говорить: «Американцы могут о себѣ похвалиться: «у насъ царствуетъ свобода и просвѣщеніе; деспотизмъ и своеволие не могутъ здѣсь укорениться; налоги маловажны и ни для кого не стѣснительны; намъ не нужно держать многочисленныхъ командъ для охраненія внутренней безопасности и тишины; арміи наши всѣмъ снабжены, всѣмъ довольны; онѣ съ гражданами неразрывны: солдаты суть граждане, а граждане — солдаты, и никогда арміи наши не будутъ орудіями властолюбія какого-нибудь тирана; тюрьмы наши пусты; на улицахъ не увидишь нищихъ, въ лѣсахъ нѣтъ разбойниковъ» и пр. (№ 37). Защищая права народовъ на вольность и участіе въ правленіи, «Духъ Журналовъ» относился скептически къ клерикальнымъ фантазіямъ извѣстнаго Бональда, мечтавшаго о созданіи въ Европѣ христіанской республики подъ сѣнію «святѣйшаго престола», и осуждалъ дѣятельность не менѣе извѣстнаго реакціонера и доносчика Коцебу. «Политика Бональда — говорится въ разборѣ его книги: *Reflections sur l'intérêt général de l'Europe* — основана болѣе на великихъ воспоминаніяхъ прошедшихъ вѣковъ, нежели на приличіяхъ и потребностяхъ настоящаго времени. Онъ гремитъ именами Карла Великаго, Генриха IV, Боссюэта, Лейбница, и хочетъ приписать планамъ ихъ и предположеніямъ то безсмертіе, которое принадлежитъ именамъ ихъ... Пожалѣемъ о христіанской республикѣ, но не оснуемъ на семъ сожалѣніи надеждъ нашихъ. Сіе стремленіе къ равенству, замѣчаемое Бональдомъ въ разныхъ религіяхъ, дѣйствительно ли обѣщаетъ намъ единство и не ведетъ ли оно, — чего не дай Богъ, — къ ничтожеству? (курсивъ въ подлин-

никѣ). Сей свѣтъ, исшедшій отъ святаго престола и сей порядокъ и устройство, долженствующіе прійти оттуда же, не есть ли мечта воображенія? Всѣ сіи понятія такъ ли чисты, опредѣлительны, вѣрны и съ здоровою политикою согласны, а—что всего болѣе—приспособлены ли они къ настоящимъ обстоятельствамъ?» (№ 5).

Когда «новый Энцеладъ», или Наполеонъ, убѣждалъ съ острова Эльбы и, враждуя съ европейскими государями, началъ воскрешать въ своихъ рѣчахъ и дѣйствіяхъ идеи французской революціи, имъ же прежде подавленные, то «Духъ Журналовъ» предостерегалъ своихъ читателей отъ этого ловкаго превращенія, не впадая впрочемъ—подобно другимъ изданіямъ того времени — въ ругательный тонъ, сопровождаемый множествомъ восклицательныхъ и вопросительныхъ знаковъ. Онъ нападалъ даже на иностранныхъ (преимущественно нѣмецкихъ) писателей, которые своею неистовою бранью раздражали 25-ти-милліонную націю, проповѣдая противъ нея «самую убійственную и опустошительную войну», имѣвшую своею конечною цѣлью—«разрушеніе Парижа» для блага, будто бы, всего свѣта *). Увлечшись политическими событіями, дѣйствительно представлявшими тогда громаднѣйшій, всеобщій интересъ, издатель «Духа Журналовъ» призналъ за лучшее: «остановить на нѣкоторое время другія статьи, а статью «политика и исторія», какъ самую важную въ настоящее время, сдѣлать сколько возможно полною», при чемъ онъ «поставилъ себѣ непремѣннымъ долгомъ—всѣ официальные иностранные акты сооб-

*) См. «Духъ Журн.» 1815 г. № № 17, 18, 19 и 41.

щать съ величайшею точностью (т. е. безъ пропусковъ и искаженій) въ переводѣ» ¹⁾).

Политическія тенденціи «Духа Журналовъ» не замедлили навлечь на него нареканіе со стороны министра народнаго просвѣщенія (А. К. Разумовскаго), который сообщилъ попечителю с.-петербургскаго учебнаго округа (Уварову),—недостаточно бдительному въ этомъ отношеніи,—что въ «Духѣ Журналовъ» печатаются «разныя неприличности» и «многія политическія статьи не въ духѣ нашего правительства». Какъ ни старался потомъ Яценковъ загладить дурное впечатлѣніе въ цензурѣ, помѣщая статьи въ родѣ: «Не въ конституціяхъ благо народа» или: «И конституціи бываютъ иногда гибельны народамъ» (№№ 46 и 50), раскаяніе его, повидимому, не признавалось искреннимъ, тѣмъ болѣе, что, забывая свои оговорки и отступленія, онъ, при первомъ же удобномъ случаѣ, снова начиналъ толковать о конституціи, какъ о «драгоцѣннѣйшемъ залогѣ отеческой попечительности правительства» (1817 г. № 1), какъ о «благотворной планетѣ, имѣющей свой путь теченія, указанный самимъ Создателемъ» (1820 г. № 3). Превосходный случай для выраженія своихъ конституціонныхъ симпатій нашелъ «Духъ Журналовъ» въ рѣчи императора Александра, произнесенной въ 1818 г., въ Варшавѣ ²⁾. Но всѣ эти новыя провинности опять ставились на видъ журналу, и довели его, наконецъ, до такой боязливой предусмотрительности,

¹⁾ См. «Духъ Журн.» 1815 г. № 24.

²⁾ О статьяхъ «Духа Журналовъ» по этому поводу, а также о полемикѣ его съ «Сыномъ Отечества» по крестьянскому вопросу, см. въ 1 томѣ, стр. 226—232.

что въ 1820 г., возвращаясь къ описанію Сѣверной Америки, издатель, «для предупрежденія кривыхъ толковъ», счелъ необходимымъ присовокупить отъ себя примѣчаніе, что онъ помѣщаетъ эту статью «безъ всякаго сужденія объ оной и безъ приноровленія къ другимъ государствамъ».

Еще менѣе удачи имѣлъ «Духъ Журналовъ» въ обсужденіи нашихъ внутреннихъ, домашнихъ дѣлъ. Въ этой сферѣ,—на которую всегда устремлялось особенное вниманіе цензуры,—«Духъ Журналовъ» затронулъ въ 1815 г. (№ 16) вопросъ о дешевизнѣ жизненныхъ потребностей, вѣроятно, не безъ связи съ современными ему интересами большинства населенія. Статья начиналась изложеніемъ взглядовъ Екатерины II-й, которая, по словамъ автора, «всегда прилагала величайшее попеченіе о дешевизнѣ жизненныхъ припасовъ, особливо въ столицахъ... тщательно развѣдывала, какими способами удобнѣе водворить дешевизну... и была совершенно увѣрена, что въ такой обширной и хлѣбородной губерніи (sic), какова Россія, при той свободѣ, какую даровала она внутренней торговлѣ и промышленности, чрезвычайное возвышеніе цѣнъ на первыя потребности жизни не могло произойти ни отъ чего иного, какъ только отъ непомѣрной алчности къ прибытку и злоупотребленія власти». «Въ то время—проникчески замѣчаетъ авторъ—еще неизвѣстно было правило финансовъ, будто дороговизна жизненныхъ припасовъ служить признакомъ умножающагося благосостоянія народнаго». Далѣе приводятся два письма Екатерины къ графу Я. А. Брюсу, въ которыхъ императрица выражаетъ желаніе, чтобы хлѣбный торгъ, въ отвращеніе дороговизны, былъ извлеченъ изъ рукъ нѣсколькихъ пере-

купщиковъ, «кои суть изъ плутовъ не послѣдніе»; а вслѣдъ за этими письмами авторъ приходитъ къ такому заключенію:

«Изъ сихъ писемъ усмотрѣть можно, какъ хорошо знала государыня духъ низкаго купечества и его козни. Извѣстно было ея величеству, что торгъ нѣкоторыхъ товаровъ бываетъ нерѣдко въ рукахъ малаго числа перекупщиковъ, которые легко могутъ сговориться поднять цѣну на товаръ по своему произволу. Для отвращенія сего злоупотребленія, она старалась открыть свободу торговли наибольшему числу купечествующихъ, дабы тѣмъ болѣе было соискателей, а чрезъ то истребилась бы монополія, которую государыня ни въ чемъ не терпѣла. Сими же правилами свободы руководствовалась монархиня и въ биржевой внѣшней торговлѣ, всегда имѣя въ предметъ облегченіе народное, отъ дешевизны всѣхъ вещей произтекающее. А посему, въ царствованіе ея величества не могло того случиться, чтобъ одинъ или двое богатыхъ купцовъ первой гильдіи, согласясь между собою, скупили въ свои руки весь какой либо товаръ—положимъ, апельсинны—и наложили бы на оный какую захотѣли цѣну. Государыня, давая полную свободу торговлѣ, не терпѣла стѣсненія народнаго ради набогащенія частныхъ корыстолюбцевъ, и такіе перекупщики скоро угодили бы въ Сибирь. Подобно сему, дѣйствительно, случилось въ Москвѣ. Одинъ немаловажный откупщикъ скупилъ весь скотъ, который гнали въ ту столицу, и послѣ продавалъ его такъ дорого, что говядина вдругъ поднялась съ 2-хъ или 3-хъ коп. до 15 коп. за фунтъ. Нынѣ это не удивить, но тогда не

то было. Дошло сіе до свѣдѣнія императрицы, и ея величество повелѣла главнокомандующему въ Москвѣ объявить тому безчестному перекупщику, что если онъ не уймется, то она пошлетъ его въ Сибирь—скупать быковъ».

Статья эта, заключавшая въ себѣ не болѣе, какъ скромные намеки на современныя экономическія условія, вызвала цѣлую бурю со стороны министерства полиціи, и разсужденія ея названы «не только самыми глупыми, бессмысленными, но и непозволительными, дерзкими, могущими имѣть вліяніе вредное на мнѣніе народное». «Какъ дерзнуть—восклицалъ генераль Вязмитиновъ—человѣку, не имѣющему (что все сплетеніе нелѣпныхъ его разсужденій доказуетъ) ни малѣйшаго понятія о первыхъ началахъ науки, дѣлать примѣненія и сравненія относительно мѣръ, принятыхъ или пріемлемыхъ правительствомъ въ разныя времена по части государственнаго хозяйства?» Графъ Разумовскій, которому жаловался генераль Вязмитиновъ на статью «Духа Журналовъ», съ своей стороны, нашелъ ее неумѣстною и сдѣлалъ выговоръ петербургскому цензурному комитету, объяснивъ однакожь, что подобныя разсужденія могли бы имѣть мѣсто только въ сочиненіи серьезнаго, ученаго содержанія, а не въ изданіи, доступномъ читателямъ различной степени образованія.

Затѣмъ «Духъ Журналовъ» подвергался осужденію за «статьи, содержащія въ себѣ разсужденіе о вольности и рабствѣ крестьянъ», хотя въ этихъ статьяхъ нѣкто Правдинъ (вѣроятно, изъ числа «знатныхъ господъ», которыхъ покровительства искалъ «Духъ Журналовъ») доказывалъ не-

нужность освобожденія русскихъ крестьянъ, на томъ основаніи, что они, имѣя земельную собственность, «живутъ, какъ у Христа за пазухой», невпримѣръ счастливѣе западно-европейскихъ пролетаріевъ или арендаторовъ чужихъ земель. Въ противномъ случаѣ, Правдинъ рисовалъ ужасную картину:

«Но въ угодность любителей преобразованій сдѣлаемъ предположеніе, что наши крестьяне могли бы быть (освобождены) на томъ же основаніи, какъ иностранцы, и посмотримъ: какія будутъ изъ того послѣдствія? Во первыхъ, существующая нынѣ, можно сказать, семейная связь между помѣщиками и крестьянами совершенно пресѣчется; эгоизмъ помѣщиковъ возрастетъ до такой же высшей степени, какъ въ чужихъ краяхъ, и истребитъ старинную русскую хлѣбъ-соль. Первое и величайшее притѣсненіе, которое помѣщикъ можетъ сдѣлать мужикамъ, будетъ то, чтобы потребовать съ нихъ несоразмѣрную цѣну за наемъ земель его, и въ этомъ ему воспрепятствовать нельзя: ибо въ своемъ добрѣ всякъ воленъ. Ежели мужикъ не согласится на требуемую цѣну, то стоитъ только угрожать ему, что выгонять его изъ села. Куда же онъ, бѣдненькій, дѣнется съ семействомъ, домомъ и всѣмъ заведеніемъ? Перевозка чего будетъ стоить! Онъ же не привыкъ къ цыганской жизни; а ежели еще въ добавокъ согласятся (помѣщики) между собою въ цѣнѣ, то совершенно мужику некуда дѣваться; тогда онъ принужденъ согласиться на все, хотя бы и увѣренъ былъ, что не въ силахъ будетъ, безъ крайняго раззоренія, выполнить свое обязательство. Придетъ время платежа, и онъ долженъ все

продать, хотя за безцѣнокъ, дабы удовлетворить помѣщика за нанимаемую у него землю, чтобы еще хоть годокъ на одномъ мѣстѣ пожить. Во вторыхъ, помѣщикъ захочетъ уже одинъ пользоваться всѣми выгодами, какія ему доставляетъ мѣстное положеніе его вотчины; прежде онъ безмездно раздѣлялъ ихъ съ своими крестьянами, почитая ихъ своими дѣтьми; но теперь онъ съ нихъ, какъ ему чуждыхъ, требуетъ за всякую бездѣлицу немалую плату, зная, что имъ безъ того обойтись нельзя. Придетъ ли время внести казенныя повинности—кто велитъ помѣщику помогать въ томъ мужикамъ? Кто пособитъ имъ въ нуждахъ ихъ? Кто защититъ ихъ отъ постороннихъ обидъ? И гдѣ правительство ихъ найдетъ, ежели они будутъ въ разбродѣ.—Конечно, можетъ быть, помѣщики въ томъ своихъ выгодъ не потеряютъ, хотя это весьма еще подлежитъ сомнѣнію; но мужики навѣрно будутъ раззорены, какой бы оборотъ ни былъ въ этомъ дѣлѣ».

Авторъ статьи, какъ видно, и не предугадывалъ такого «оборота дѣла», по которому крестьянинъ пріобрѣталъ бы въ собственность обрабатываемую имъ землю, съ выкупомъ отъ казны; но объ этомъ исходѣ думали, въ то время, только немногія личности, въ родѣ Н. И. Тургенева.

Въ отвѣтъ на замѣчанія и выговоры, объявляемые Яценкову, энергическій цензоръ-издатель ссылался на цензурный уставъ, позволяющій «скромное и благоразумное изслѣдованіе предметовъ управленія государственнаго», а въ доказательство пользы свободнаго книгопечатанія указывалъ на «многократныя повторенія о томъ» въ официальной «Сѣверной Почтѣ», издаваемой подъ руководствомъ самого ми-

истра народного просвѣщенія (А. Н. Голицына), который дѣйствительно, исправлялъ въ 1817 г., въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, должность министра внутреннихъ дѣлъ, и слѣдовательно долженъ былъ отвѣчать, на ту пору, за направленіе «Сѣверной Почты».

Цензура, однако, продолжала бодрствовать надъ либеральнымъ журналомъ, и въ 1819 г., за статью о сохранныхъ кассахъ,—въ которой усмотрѣно было возбужденіе низшихъ сословій противъ высшихъ,—Яценковъ получилъ приказаніе закрыть свой журналъ*). Но онъ и тутъ сумѣлъ какъ-то дотянуть свое изданіе до 1820 г., когда оно было окончательно запрещено.

Исторія «Духа Журналовъ» показываетъ, какъ нельзя ясно, ту разногласицу понятій, которая существовала въ самомъ цензурномъ управленіи, касательно правъ печати и общественной пользы, приносимой ею. Борьба одного цензора противъ цѣлаго вѣдомства цензуры представляетъ, съ этой точки зрѣнія, много поучительнаго...

*) Статья эта представляетъ, въ сущности, весьма невинныя замечанія о томъ, что «свободный работникъ», не обезпеченный въ своемъ существованіи ни поземельною собственностью, ни капиталомъ,—«истинный рабъ системы наемничества, которая, какъ зараза, распространяется во всей Европѣ», — только въ правильномъ и повсемѣстномъ устройствѣ сохранныхъ банковъ можетъ найти для себя поддержку, выгодно помѣщая тамъ свои маленькія сбереженія. Но отъ этой частной темъ авторъ дѣлаетъ отступленіе къ общему характеру нашихъ гражданскихъ уставовъ и говоритъ съ сожалѣніемъ: «Какъ часто мы винимъ людей въ томъ, въ чемъ виновны гражданскія наши учрежденія! Спрашивается, есть ли возможность ремесленнику или работнику быть бережливымъ?... Подлинно, когда подумаешь, что богатый, положивши въ банкъ тысячи или сотни тысячъ, легкимъ трудомъ пріобрѣтенныя, получаетъ на оныя безъ всякой заботы знатные проценты, а бѣднякъ не имѣетъ мѣста положить сохранно свою копѣйку, потомъ и кровью нажитую,—подлинно, говорю, нельзя не пожалѣть о нашихъ гражданскихъ учрежденіяхъ, кото-

ЖУРНАЛЬНЫЙ ТРИУМВИРАТЪ.

(Очеркъ изъ исторіи русской журналистики тридцатыхъ годовъ).

I.

Въ исторіи русской журналистики, до сихъ поръ весьма мало разработанной, есть нѣсколько періодовъ, на которыхъ преимущественно должно остановиться вниманіе изслѣдователей. Мы говоримъ: нѣсколько періодовъ, потому что, при нашемъ порывистомъ общественномъ развитіи, исторія журналистики, какъ вѣрнаго отраженія умственной жизни общества, — не представляетъ цѣльной, во всѣхъ своихъ частяхъ одинаково занимательной картины. Наши журналы, какъ и вся общественная жизнь, ихъ породившая, шли бѣльшею частію кое-какъ, и, только въ немногіе моменты, или внезапно оживали подъ вліяніемъ сильной и талантливой личности, въ родѣ Новикова, Карамзина и Полеваго (до его переѣзда въ Петербургъ), или же мгновенно упали до самой низкой степени подъ давленіемъ обстоятельствъ. Словомъ, журналистика слишкомъ зависѣла отъ случайной даровитости одного какого нибудь редактора, почти безраздѣльно несшаго на своихъ плечахъ всю тяжесть журнальнаго дѣла, а также отъ разныхъ постороннихъ условій, прихотливо измѣнявшихъ ея теченіе... Но въ обоихъ

ряя наиболѣе благопріятствуютъ тѣмъ, кои и безъ того уже судьбою облагодѣтельствованы! У богатаго тысячи и милліоны растутъ сами собою, а у бѣднаго малая лепта пропадаетъ, какъ зѣрна, падшія на камень или на распутіи». («Духъ Журн.», 1819 г. № 2). Эти то строки и возбуждали негодованіе цензуры.

случаяхъ—крайняго упадка и высшаго процвѣтанія—исторія журналистики становится дѣйствительно интересной: по этимъ выдающимся точкамъ можно смѣло судить о цѣлыхъ періодахъ нашего общественнаго развитія. Однимъ изъ такихъ интересныхъ эпизодовъ было время между 1835—40 годами, когда вся русская литература находилась подъ гнетомъ трехъ предприимчивыхъ журналистовъ: Булгарина, Греча и Сенковского. Эти годы были особенно счастливы для «Сѣверной Пчелы», «Сына Отечества» и «Библіотеки для Чтенія» —трехъ дружныхъ органовъ, солидарныхъ между собой въ главныхъ чертахъ своей дѣятельности и вліянія на публику. Возставать противъ такого деспотическаго господства было въ то время весьма неудобно; въ особенности сильна была «Сѣверная Пчела». Говорить о монополіи этой газеты на политическія новости и ежедневный выходъ считалось дѣломъ самымъ предосудительнымъ; ниже мы представимъ образчикъ подобнаго намека, не попавшаго, по этому самому, въ печать. Ни цензоры, ни издатели не рѣшались допустить такой нападки: въ обществѣ говорили даже (справедливо или нѣтъ), что эта привилегія «Сѣверной Пчелы» была закрѣплена за ней канцелярскимъ порядкомъ.*) Самъ авторъ враждебной «Пчелѣ» статьи не могъ считать себя безопаснымъ отъ разныхъ непріятностей, потому что Булгаринъ (какъ это видно изъ одного документа, приведеннаго въ концѣ III-ей главы) имѣлъ обыкновеніе сопровождать свои печатныя статьи кое-

*) Такое мнѣніе высказывалъ мнѣ покойный кн. Вл. Оед. Одоевскій, много воевавшій на своемъ вѣку противъ этой журнальной клики. Онъ же передалъ мнѣ и нѣкоторыя другія свѣдѣнія объ этой интересной эпохѣ.

такими письменными жалобами и вѣзками. Воскурятъ имъ сильнымъ людямъ, «Сѣверная Пчела» въ то же время бросала грязью на людей въ опалѣ—за нихъ вѣдь некому было вступить!—и творила это дѣло безнаказанно; ея критическія статьи вырѣзаны были почти всѣ по одной мѣркѣ: начинались толкованіями о безкорыстіи, безпристрастіи, слѣпой преданности и другихъ добродѣтеляхъ, и въ эту рамку вставлялись самыя зазорныя обвиненія противъ нелюбимыхъ авторомъ личностей. Обвиненія казались какъ бы естественнымъ выводомъ изъ теоретическаго изложенія о добродѣтели; одно проходило въ печать по милости другого, и читатель волей-неволей попадался въ эту грубо обтесанную, но хитро придуманную ловушку. Разоблачать эти проделки было трудно при тогдашнихъ условіяхъ, да и мало находилось охотниковъ брать на себя эту неблагодарную обязанность. Три названные журнала, братски соединенные между собою, помогали другъ другу держать въ блокадѣ все, что имъ не потворствовало, и всякое изданіе, осмѣливавшееся не принадлежать къ этой фалангѣ, систематически сживали со свѣту. Бѣдность и безсиліе остальной журналистики способствовали усиленію ихъ власти: «Прибавленія къ Инвалиду», въ которыхъ проскальзывали иногда протесты противъ «Сѣверной Пчелы», читались мало; «Московскія Вѣдомости» и не развертывались въ Петербургѣ (онѣ далеко не имѣли того значенія, какое пріобрѣли въ послѣднее время); «Телеграфъ» прекратился (въ 1833 г.), вскорѣ послѣ него палъ и «Телескопъ» (въ 1836 г.); «Современникъ» же, возникшій въ 1836 г. по инициативѣ Пушкина, не былъ журналомъ въ строгомъ смыслѣ этого слова. Вообще оппозиція противъ

литературнаго тріумвірата была слаба, и борьба выходила неровная, ибо, — какъ мы сказали уже, — тогда считалось приѣмомъ позволительнымъ: наводить на противника подозрѣніе въ неблагонамѣренности, безвѣріи, вольнодумствѣ и тому подобныхъ вещахъ. Публика была въ то время довольно равнодушна ко всему, происходившему въ русской литературѣ; статьи противъ Пушкина, правда, возбуждали иногда негодованіе; но вообще ихъ вульгарное остроуміе приходилось какъ разъ по плечу большинству читателей. Такъ называемый высшій кругъ, имѣвшій прямое и непосредственное вліяніе на судьбы нашего просвѣщенія, и не зналъ, чтó творится въ русской литературѣ: — для него Булгаринъ и Александръ Анфимовичъ Орловъ были такими же литераторами, какъ Пушкинъ и Грибоѣдовъ. «Сѣверная Пчела», какъ единственная ежедневная газета, доходила иногда и до гостинныхъ, и съ ней справлялись на высотѣ салоннаго величія, когда заговаривали о русской литературѣ.

Если «Сѣверная Пчела» проникала порой въ высшее общество, то «Библіотека для Чтенія» жадно читалась въ среднемъ кругу. «Сынъ Отечества», журналъ менѣе значительный, былъ всегда покорнымъ сателлитомъ своихъ сильнѣйшихъ собратьевъ. Вредъ, наносимый и литературѣ, и русскому просвѣщенію стачкою журналистовъ, этотъ параличъ, наложенный ихъ тріумвиратомъ не на ту или другую мысль, но на самую способность мышленія, на всякое независимое понятіе, не принадлежавшее къ извѣстному приходу, — все это представлялось для салоновъ въ видѣ взаимной зависти между литераторами, которые непристойно бранятся и которыхъ слѣдовало бы унять. Руководящая мысль, высказанная тог-

да: «Je veux, que la censure ne soit qu'un garde-fou» (цензура должна быть лишь перилами *) узко понималась низшими исполнителями, и перила частенько обращались въ прямую преграду для всякаго живаго и свѣжаго слова. Люди съ высшими соображеніями толковали, что гораздо проще и удобнѣе имѣть одинъ или два журнала, и притомъ такихъ, съ которыми при случаѣ нечего церемониться, нежели возиться со многими и притомъ непокорными; одинъ изъ такихъ господъ даже громогласно говорилъ: «Vaut mieux le monopole, que des journaux». Таковъ былъ духъ времени.

II.

Начнемъ съ «Сѣверной Пчелы». Изданіе это возникло въ 1825 г. подъ редакціей гг. Греча и Булгарина. Въ то время, имя Булгарина еще не было синонимомъ тѣхъ журнальных качествъ и приемовъ, какіе сопряжены съ нимъ теперь, благодаря преимущественно остроумнымъ памфлетамъ Теофилакта Косичкина и желчнымъ нападеамъ В. Г. Бѣлинскаго. Булгаринъ, въ это время, сильно либеральничалъ, ухаживалъ за Рылѣвымъ и выхвалялъ его «Думи»; Рылѣвъ, въ свою очередь, посвящалъ ему свои произведенія. Журнальная дѣятельность была для Булгарина пробнымъ камнемъ, на которомъ онъ и высказался окончательно. Съ переменой вѣтра, измѣнилось мгновенно и литературное

*) Выраженія эти приписывались самому императору Николаю Павловичу.

его направленіе, такъ что въ періодъ времени, разсматриваемый нами, Булгаринъ создагъ себѣ очень опредѣленную литературную физіономію, въ которой ни одна черта не напоминала его, нѣсколько «скромпрометированное», прошлое. Во всѣхъ отдѣлахъ своей газеты Булгаринъ проводилъ, если не всегда умно и послѣдовательно, то задорно и настойчиво, извѣстную мысль, извѣстную тенденцію. Сохраненіе *status quo* во всей его неприкосновенности и противодѣйствіе реформаторскимъ идеямъ, заносимымъ къ намъ съ Запада, составляли его задачу. Этому направленію соотвѣтствовали, прежде всего, политическій и внутренній отдѣлы «Сѣверной Пчелы». Мы полагаемъ, что читателямъ будетъ небезынтересно узнать какъ объемъ политическихъ вопросовъ, доступныхъ въ то время журнальному обсужденію, такъ и самый способъ обсуждать ихъ. Въ 1836 г., въ февралѣ мѣсяцѣ, отрядъ австрійскихъ войскъ, подъ начальствомъ генералъ-маіора Кауфмана, занялъ вольный городъ Краковъ. Незадолго же до этого событія, три державы, подписавшія актъ раздѣленія Польши, представляли сенату краковской области строгій ультиматумъ, въ которомъ требовалось: «удалить всѣхъ польскихъ выходцевъ въ теченіи 8 дней, а равно и подданныхъ иностранныхъ государствъ, на которыхъ три державы укажутъ, какъ на лица подозрительныя». Неисполненіе этого требованія и было официальнымъ предлогомъ къ занятію области. Генералъ Кауфманъ, вступивъ въ область, издалъ прокламацію, въ которой говорилъ, что «высокіе покровители вольнаго города Кракова нашлись вынужденными рѣшиться на исполненіе, собственными средствами, мѣры, признанной ими необходимою (это называлось

на дипломатическомъ языкѣ «очищеніемъ предѣловъ области») для возвращенія мирнымъ жителямъ спокойствія и безопасности, коими они наслаждались до сего времени». При этомъ Кауфманъ обѣщалъ, что «по освобожденіи города отъ опасныхъ людей, войска выйдутъ изъ предѣловъ республики». Фактъ занятія Кракова былъ сообщенъ со всею подробностью въ 46—48 №№ «Сѣверной Пчелы», но своего мнѣнія газета не высказала,—такой роскоши въ то время не полагалось,—ограничившись только перепечаткою передовой статьи изъ австрійскаго «Наблюдателя». Тонъ этой статьи былъ вполне враждебенъ краковской независимости и уже давалъ возможность предвидѣть извѣстный всѣмъ, дальнѣйшій исходъ этого дѣла. Вообще «Сѣверная Пчела» сильно благоволила къ Австріи. Въ «Очеркахъ Австріи» (С. Пч. 1837 г., №№ 29—30), Тироль, Штирія, Иллирія и др. австрійскія земли являются чуть не земнымъ эльдорадо. «Штирія славится радушіемъ и гостепріимствомъ»; «Иллирія—прекраснѣйшая страна Европы, значительная въ торговомъ отношеніи» и т. д. Словомъ, довольство, счастье и невозмутимый покой господствуютъ въ этомъ углу Европы. Менѣе снисходителенъ становится нашъ публицистъ, когда рѣчь заходитъ объ Англіи и конституціонной Франціи. Тутъ онъ является неумолимымъ къ народу, присвоившему себѣ представительныя права, и къ власти, допустившей такое вмѣшательство въ свои дѣйствія. Разсуждая о заговорѣ Фіэски на жизнь французскаго короля, «Сѣверная Пчела» присовокупляетъ къ этому строгіе упреки своеволію французской націи и слабости власти. Самый процессъ Фіэски описывается весьма курьезно: «Получившій или купившій билетъ

обуздать малое число изступленных сумасбродовъ, наводящихъ безпокойство на всю Европу. Слава Богу, что уже въ самой Франціи ихъ презираютъ. Имъ осталось одно орудіе—книгопечатаніе.—Своеволіе, недостатокъ воспитанія, гордость, бѣдность, лѣнь образуютъ злодѣевъ, которыхъ можно было бы сдѣлать людьми полезными при сильныхъ мѣрахъ правительства. Воля ваша, но Алжиръ и вѣчная война съ бедуинами необходимы для Франціи. Куда дѣвать этихъ сумасбродовъ?» Здѣсь Булгаринъ съ насмѣшкой цитируетъ слова одного политическаго заговорщика, произнесенныя имъ передъ судомъ, въ которыхъ виновный жалуется на то, что, будучи сыномъ пролетарія, онъ не могъ получить порядочнаго образованія, такъ какъ за это образованіе некому было платить. Вопросъ о пролетаріатѣ, возникшій въ то время во Франціи, былъ непонятенъ для нашего публициста. Говоря о республиканцахъ, Булгаринъ называетъ ихъ не иначе, какъ сумасбродами, и формулируетъ ихъ желанія такимъ образомъ: «чтобъ никто не платилъ податей, никто не бралъ жалованья, чтобъ никто не повелѣвалъ и никто не повиновался». Но изобразивъ мрачными красками положеніе дѣлъ во Франціи, Булгаринъ вооружается еще болѣе, когда рѣчь заходитъ объ Англіи и ея политической прессѣ. «Не взирая на нашихъ англомановъ, — злобствуетъ онъ, — мы говоримъ откровенно, что ни въ одной странѣ нѣтъ такого своеволія книгопечатанія, какъ въ Англіи. Въ Англіи противники литературной или политической партіи нападаютъ на своихъ враговъ не однимъ орудіемъ насмѣшки, но и самой гнусной клеветой, самой пошлой бранью. Въ англійскихъ журналахъ напа-

[

прессъ Гречъ и Булгаринъ отзываются съ полнымъ единодушіемъ. «Личная выгода—пишетъ г. Гречъ въ той же главѣ—и тщеславіе суть главные двигатели всѣхъ здѣшнихъ дѣйствій. Общая польза, благо отечества влетаютъ въ рѣчи только для округленія періодовъ. Въ палатѣ члены раздѣляются на 20 различныхъ партій, движимыхъ противными выгодами и личными отношеніями. Бѣдствіямъ и терзаніямъ конституціонной Франціи значительно содѣйствуетъ свобода тисненія. Журналы и газеты, издаваемые людьми жадными, безсовѣстными и развратными, сдѣлались орудіемъ и отголоскомъ лжи, клеветы, обмана и всѣхъ гнусныхъ страстей. Всѣ, безъ исключенія, всѣ порядочные люди предають проклятію эту бѣдственную свободу, всѣ предсказываютъ, что она повергнетъ Францію въ новую пучину зомъ. Говоря объ этомъ съ почтеннымъ Карломъ Нодье, я спросилъ у него: развѣ нѣтъ средствъ основать журналъ, въ которомъ говорили бы истину, излагали бы правила правды, чести, любви къ отечеству и религіознаго благочестія?—«Нѣсколько разъ пытались, отвѣчалъ онъ. Честные люди составляли на то общества и капиталы, начинали изданіе, но оно скоро упадало. Люди благонамѣренныя обращаются къ разсудку и къ совѣсти читателей, негодяи потворствуютъ ихъ страстямъ. Толпа отвращается отъ лѣкарства и прибѣгаетъ къ напиткамъ, ошумляющимъ чувства.»—«И въ Англіи—продолжаетъ г. Гречъ—(Сѣверная Пчела 1837 г. № 156) господствуетъ свобода тисненія; но какъ пользуются тамъ этимъ правомъ? Благоговѣя предъ религіей, уважая права престола, окружая царей любовью, почтеніемъ и довѣренностью. Форма правле-

похваливъ новыи таможенный уставъ за сбавку пошлинъ съ нѣкоторыхъ предметовъ заграничной торговли и даже назвавъ снисходительно «поэтической мечтою» принципъ свободной торговли,—«Сѣверная Пчела» настаивала на самой стѣснительной регламентаціи во всѣхъ другихъ отрасляхъ общественной жизни. Эти маневры и уклоненія въ сущности ничего не значили, никого не обманывали и нисколько не нарушали основной тенденціи «Сѣверной Пчелы». Въ самомъ противорѣчии этой газеты объ англійской журналистикѣ виденъ все-таки одинъ и тотъ же масштабъ для оцѣнки прессы, хотя, по оплошности редакціи, выводы оказались несогласными между собою.

Призывая громы на всю иностранную политическую прессу за ея неблагонамѣренное направленіе, Булгаринъ не оставлялъ безъ порицанія и беллетристику того времени, преимущественно произведенія Жоржъ-Занда, Виктора Гюго и др. французскихъ авторовъ, которые, естественно, не нравились Булгарину,—такъ, какъ они возставали противъ многихъ соціальныхъ явленій и облекали свои протесты въ живое, энергическое, сильно дѣйствующее слово. Между тѣмъ самая идея подобнаго протеста не допускалась «Сѣвровою Пчелою». «Безвкусіе, неистовство и наглость французской школы—говорится въ № 182 «Сѣверной Пчелы» 1836 года—по справедливости обратилъ на себя негодованіе литераторовъ благонамѣренныхъ, благонравныхъ и добросовѣстныхъ. Особенное вниманіе обратила на себя, въ этомъ отношеніи, женщина, одаренная необыкновенными талантами, Аврора Дюдеванъ, издающая свои творенія подъ именемъ Жоржъ-Занда. Всѣ ея сочиненія написаны очень смѣло, безъ

всякаго закрытія, отнюдь не женскою кистью; особенно отличается цинизмомъ, безстыдствомъ и безнравственностью одинъ изъ ея романовъ—«Лелія».

Нападки Булгарина были, на этотъ разъ, вполне послѣдовательны съ его точки зрѣнія: всякая умственная тревога, всякое недовольство настоящимъ, разумно оправданное, весьма заразительны и, по самой силѣ вещей, легко сообщаются отъ одного человѣка къ другому, отъ писателя къ цѣлому обществу. Русскому же обществу, по понятію «Сѣверной Пчелы», нечего было желать въ данную минуту. Вотъ какими красками описывались постоянно въ «Сѣверной Пчелѣ» наша общественная жизнь и отношенія между сословіями въ Россіи: «Гдѣ на Руси, благоденствующей подъ сѣнью мира, отъ довольства и простора въ быту, не хлопотлива широкая масляница, съ незапамятныхъ временъ обратившаяся въ народный праздникъ! Въ сіи разгульные дни и знать, и простолюдины спѣшатъ допить чашу земныхъ наслажденій; но веселости дѣлаются свѣтлы и берутъ нравственный характеръ, когда тѣ, коимъ судьба предоставила въ удѣлъ обиліе, не забываютъ, что есть и такіе, для которыхъ дорогъ кусокъ насущнаго хлѣба. Костромское общество дворянъ, изстари руководимое симъ возвышеннымъ чувствомъ, 7-го февраля назначило благородный спектакль въ пользу самыхъ бѣднѣйшихъ семействъ. Въ первый день наступленія поста, въ 33 хижинахъ, благодарными слезами убогихъ матерей оросились нежданная подаянія». («Сѣверная Пчела» 1836 г. № 48).

Подобныя же извѣстія, вырѣзанныя какъ бы по одной мѣркѣ, доставлялись корреспондентами изъ Москвы, Книжи-

нева, Екатеринославля и другихъ городовъ. Словомъ, всѣ эти благоухающія, безобидныя корреспонденціи еще не давали никакой возможности предвидѣть появленіе «литераторовъ-обывателей» съ ихъ обличительными замыслами. Если состояніе нашего общества, построеннаго тогда на вѣрноподданномъ правѣ, вполне удовлетворяло требованіямъ Булгарина, то онъ, конечно, оставался доволенъ и дѣятельностью нашихъ учебныхъ заведеній. Воспитаніемъ того времени «Пчела» не могла нахвалиться. «Въ Россіи—гласить письмо изъ Воронежа («Сѣверная Пчела» 1837 г. № 234)—издревле предупреждались нужды народныя. Мало того, что Петербургъ усѣянъ учебными заведеніями, мало того, что въ Москвѣ они годъ отъ году умножаются, несмотря на то, что на краяхъ имперіи, въ Тифлисѣ, Одессѣ, Варшавѣ, заведенія сіи процвѣтають, несмотря на все это, почти въ каждомъ губернскомъ городѣ воздвигаются учебныя заведенія, и въ нашемъ счастливомъ Воронежѣ предназначено быть кадетскому корпусу на четыреста воспитанниковъ».

Защищая со всѣхъ сторонъ нашъ общественный бытъ того времени, «Сѣверная Пчела» весьма интересовалась дурными слухами, распускаемыми про насъ за границею въ печатныхъ книгахъ и брошюрахъ, и подвергала строгому нареканію всѣхъ авторовъ подобныхъ произведеній. Ея бдительность въ этомъ отношеніи заслуживаетъ замѣчанія. «Въ Берлинѣ—пишетъ заграничный корреспондентъ «Сѣверной Пчелы» (Сѣверная Пчела 1836 г. №№ 1 и 2),—имѣли мы случай читать неукротимыя статьи иностранныхъ газетъ, въ которыхъ, на перехватъ, старались въ неблагопріятномъ видѣ представлять все, что происходило въ Калишѣ, въ

граничныя владѣнія (какъ-то: Финляндію, Польшу, Крымъ и др.), и «сосредоточиться на меньшемъ пространствѣ, гдѣ благосостояніе ея увеличится». Предлагалъ же онъ это, приводя въ примѣръ частнаго человѣка, который «охотно уступаетъ часть своего имѣнія, если не почитаетъ себя въ силахъ сносить трудность управленія имъ». Корреспондентъ «Сѣверной Пчелы» энергически возсталъ противъ этихъ, болѣе фантастическихъ, нежели сепаратистскихъ стремленій, и изъявилъ основательную надежду, что «никто изъ русскихъ не увлечется злоцѣльными умствованіями такихъ книгъ, наполненныхъ парадоксами и софизмами». Въ другой разъ, въ статьѣ подъ названіемъ: «Опять вздоры объ Россіи» (1836 г. № 55), «Сѣверная Пчела» напала на какого-то нѣмца, напечатавшаго въ журналѣ Ausland статью, оскорбительную для Россіи. Оскорбленія эти состояли, между прочимъ, въ томъ, что въ «Россіи, по словамъ нѣмецкаго автора, строятъ безобразныя печи», тогда какъ, по увѣренію нашей газеты, «русскіе мастера дѣлаютъ прелестныя печи», и еще въ томъ, что нѣмцу не понравились русскія сани и войлочные сапоги, употребляемые крестьянами.

Принципы и сочувствія «Сѣверной Пчелы» отражались, съ нѣкоторыми уклоненіями, въ ея критическомъ и библиографическомъ отдѣлѣ, и изъ новыхъ книгъ похвалялись обыкновенно только тѣ, которыя, по своему направленію, подходили вполне подъ общій тонъ газеты. Ея отзывы о подобныхъ книгахъ имѣли, болѣею частію, такой стереотипный характеръ: «любовь къ отечеству, коей проникнуть этотъ романъ, даетъ ему право на вниманіе русскихъ» или: «это прелюбопытная памятная книжка для всякаго, преи-

мущественно для война» и т. п. Объ известномъ учебникѣ русской исторіи г. Устрялова «Сѣверная Пчела» говоритъ: «Читайте введеніе г. Устрялова въ его исторію, статью о норманнахъ, о христіанской вѣрѣ и проч., читайте, однимъ словомъ, всю книгу: она доставитъ вамъ обильную пищу къ размышленію. Слогъ автора, какъ и всегда, отличается правильностью, ясностью и легкостью.» (Литературный слогъ «Сѣверная Пчела» разсматривала съ точки зрѣнія старинныхъ риторикъ и дѣлила его на низкій, средній и высокій). Во всей русской исторіи Булгаринъ видѣлъ только любовь къ спокойствію: этого качества онъ и искалъ въ ея событіяхъ, отзываясь съ пренебреженіемъ или злобою обо всемъ, что не подходило подъ его мѣрку. Объ исторіи среднихъ вѣковъ г. И. Шульгина говорится: «не утѣшительно ли на скуд-

ный интересъ, потому что здѣсь замѣшивалась *jalousie du métier*, журнальная конкуренція съ «Современникомъ». Извѣстіе объ изданіи Пушкинымъ своего журнала (который и затѣвался-то въ отпоръ литературнымъ монополистамъ) было встрѣчено «Пчелою» хладнокровно, и она даже вступилась за «Современникъ» послѣ рьяныхъ нападокъ на него «Библіотеки для Чтенія» (Сѣверная Пчела 1836 г. № 86); но вскорѣ умѣренность была забыта, и «Пчела» стала съ умысломъ пошатывать литературную знаменитость Пушкина. Немного времени спустя, по поводу изданія «Полтавы» на малороссійскомъ языкѣ, «Сѣверная Пчела» (1836 г. № 162) обратилась къ Пушкину съ слѣдующею элегическою рѣчью: «Но отчего же муза поэта умолкла? Ужели поэтическія дарованія старѣютъ такъ рано? и пр. Видно, что такъ, потому что поэтъ сдѣлался журналистомъ. Печальная переменѣна! Какъ не пожалѣть о ней! Поэтъ промѣнялъ золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста, князь мысли сталъ рабомъ толпы, орелъ спустился съ облаковъ. И для чего же онъ промѣнялъ свою блестящую, завидную судьбу на долю труженика? Для того, чтобы имѣть удовольствіе высказать нѣсколько горькихъ упрековъ своимъ врагамъ, т. е. людямъ, которые были несогласны съ нимъ въ литературныхъ мнѣніяхъ, которые требовали отъ его дремлющаго таланта новыхъ, совершеннѣйшихъ созданій, угрожая въ противномъ случаѣ свести съ престола (*détrôner*) его значительность». Противъ этой-то полемической выходки возсталъ кн. Одоев-

скими инсинуаціями встрѣчено было у насъ новое направленіе, давшее могучій толчекъ всей русской литературѣ.

скій въ особой статьѣ: «О нападкахъ петербургскихъ журналовъ на Пушкина», и въ ней коснулся, между прочимъ, привилегіи «Сѣверной Пчелы» на ежедневный выходъ,— привилегіи, которая, при отсутствіи равносильной конкуренціи, придавала большой вѣсъ въ обществѣ своекорыстными стремленіямъ этой газеты, такъ какъ, благодаря ей, «Сѣверная Пчела» имѣла (по словамъ Шевырева въ «Московскомъ Наблюдателѣ») до 10,000 подписчиковъ ¹⁾. Еслибы кн. Одоевскій заговорилъ объ одномъ Пушкинѣ, не дѣлая прямыхъ и косвенныхъ нападокъ на монополистовъ-издателей, то его статья навѣрно нашла бы себѣ пріютъ въ какомъ нибудь изъ тогдашнихъ журналовъ. Но въ своемъ настоящемъ видѣ, исполненная насмѣшекъ и справедливого негодованія противъ литературнаго торгашества, она оказалась вполне неудобною для печати ²⁾... Выходка «Сѣверной Пчелы» такъ и прошла безъ отвѣта. Несравненно болѣе расположенія, чѣмъ къ Пушкину, оказывала «Сѣверная Пчела» къ барону Брамбеусу (Сенковскому) и къ его журналу. Въ произведеніяхъ Брамбеуса «Пчела» усматривала необыкновенный умъ и талантъ, и предсказывала ему такое высокое мѣсто въ литературѣ, что «до него не достигнутъ ни московскія, ни петербургскія критическія стрѣлы». Дружескія отношенія «Пчелы» къ «Библіотекѣ для Чтенія» никогда не нарушались, и споры, иногда возникавшіе между ними, не приобретали характера важной и продолжительной размолвки. «Библіотека для Чтенія», богатая подписчиками

¹⁾ По другимъ свидѣніямъ, число это простиралось только до 5,000.

²⁾ Статья эта, вмѣстѣ съ прочими бумагами кн. Одоевскаго, замечена въ № 7—8 «Русскаго Архива» за 1864 г.

— говорилось въ «Сѣверной Пчелѣ» — никогда не бранила Булгарина. Стало быть, брань журналистовъ, бѣдныхъ подписчиками, падаетъ не на Булгарина, а прямо на число его подписчиковъ».

Говорить ли, наконецъ, о знаменитомъ самовосхваленіи Булгарина? Приведемъ на выдержку нѣсколько строкъ о выходѣ въ свѣтъ первыхъ томовъ сочиненій Булгарина (изданія Лисенкова): «Мы увѣрены, что публику съ обыкновенною своею благосклонностію приметъ новую книгу своего любимаго писателя, и говоримъ это не потому только, что О. В. Булгаринъ — участникъ въ изданіи «Сѣверной Пчелы»; но потому что онъ, Булгаринъ, писатель съ умомъ наблюдательнымъ и острымъ, съ благородными правилами (sic), обладающій живымъ, бойкимъ и чистымъ слогомъ, говорящимъ уму и чувству ¹⁾». О самой себѣ «Сѣверная Пчела» выражалась такимъ образомъ: «безъ Пчелы ни одинъ порядочный человѣкъ не можетъ выпить утромъ чашки чаю». Своихъ литературныхъ противниковъ, между которыми главнѣйшую роль играли московскіе журналы, «Пчела» называла напередъ погибшими. Въ самомъ дѣлѣ, она прочнѣе другихъ изданій опиралась на массу тогдашней публики и на поддержку администраціи. Московскіе журналы, составлявшіе оппозицію, вносили, по увѣренію «Сѣверной Пчелы», духъ буйства и разврата въ нашу литературу: въ особенности не нравился этой газетѣ критическій отдѣлъ «Молвы», въ которомъ (съ 1834 г.) уже принималъ участіе Бѣлинскій. «На литературу—говорилось въ «Сѣверной Пчелѣ»²⁾

¹⁾ «Сѣверная Пчела» 1836 г. № 220.

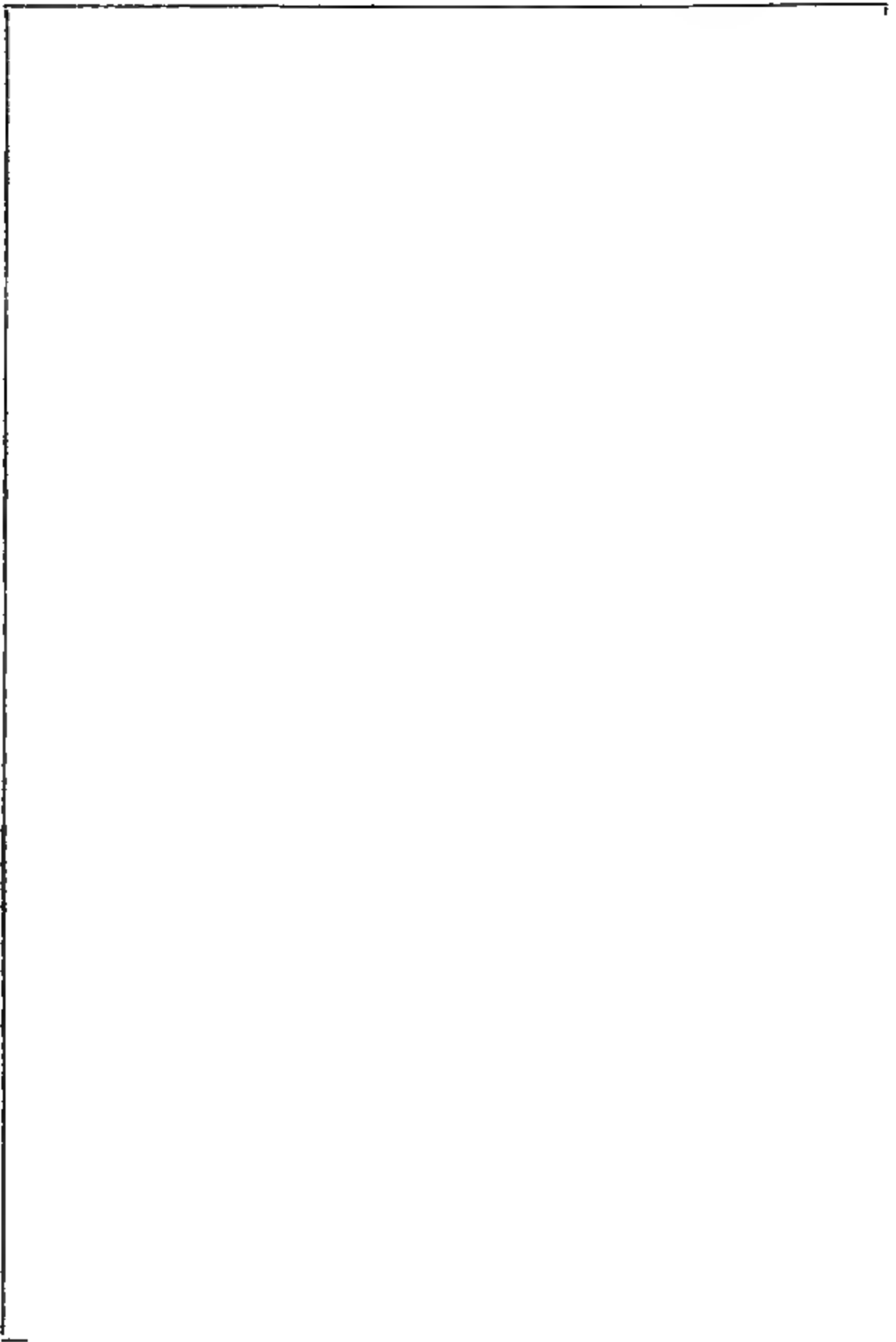
²⁾ «Сѣверная Пчела» 1837 г. № 5

теперь указывать менѣе пространно на солидарность съ «Пчелою» другихъ органовъ той же категоріи.

«Сынъ Отечества» (основанный въ 1812 году г. Гречемъ) шелъ, въ описываемое время, совершенно по одной дорогѣ съ «Сѣвѣрною Пчелою» и былъ одинаково друженъ съ «Библиотекою для Чтенія». Въ первыхъ же книжкахъ этого журнала за 1836 г. помѣщены три большія статьи («Русская критика въ 1835 г.»), въ которыхъ имѣлось въ виду защитить «Библиотеку для Чтенія» отъ нападковъ на нее московскихъ журналовъ. Приведемъ самые интересные отрывки изъ этихъ руководящихъ статей: «Съ нѣкотораго времени у насъ вошло въ моду жалѣть о нашей литературѣ, говорить объ ея несчастномъ состояніи. Никогда не было жалобъ болѣе несправедливыхъ и неосновательныхъ. Неужели намъ не достаетъ поощренія? Неужели намъ мало, что литераторы и художники награждаются пенсіями, чинами, крестами, подарками? Вспомните Карамзина и Гнѣдича; посмотрите на Крылова и Жуковскаго, на Брюллова, Тона и проч. Если литература и искусство не представляютъ замѣчательныхъ произведеній, то въ этомъ виновенъ не недостатокъ поощренія; виновны, можетъ быть, сами литераторы, сами художники. Теперь работаютъ не для науки, не для искусства, а для кармана. Критика занимается подкапываніемъ чужихъ репутацій. «Московскій Наблюдатель» основался съ одной цѣлью—подкопать репутацію барона Брамбеуса; «Телескопъ» и «Молва» подкапываютъ всѣ возможные репутаціи. Критика «Литературныхъ Прибавленій» къ «Инвалиду» также имѣетъ свое благородное призваніе—хулить барона Брамбеуса». О Сенков-

скомъ въ этой статьѣ высказывалось самое лестное мнѣніе: «Брамбеусъ безспорно литературная знаменитость; онъ убьетъ кого угодно однимъ словомъ; сами его завистники и порочители изранены его неподдѣльнымъ остроуміемъ, его тонкою, язвительною сатирою, его пронзительнымъ, ядовитымъ сарказмомъ». Правда, критика упрекаетъ Брамбеуса въ излишнемъ эгоизмѣ и злоупотребленіи своимъ остроуміемъ, доходящемъ даже до неприличныхъ выходовъ: «Брамбеусъ бьетъ авторовъ (въ своихъ рецензіяхъ) палками въ лобъ, жгутами по спинѣ, отдаетъ книги на разсмотрѣніе своему Ванькѣ—вѣроятно, кучеру или швобнику. Онъ, улыбаясь, го-

о вновь выходящихъ книгахъ. О
пристрастностью, и ее можно то.
добротѣ: она печатаетъ слишкомъ
нѣ Отечества» были напечатаны
(на исторію Пугачевского бунта
которымъ. по своей умѣренности



неучи и шарлатаны кричали у насъ
 («Сѣверная Пчела» 1836 г. № 1
 указаніе на то, что надо регламент
 тія, отдать ихъ въ руки ограничен
 командировать къ нимъ ограничен
 хорошо извѣстныхъ этимъ хозяев
 дѣйствовалъ (съ 1825 года), въ
 Булгаринъ, также какъ въ «Свѣ
 тенденціи обоихъ журналовъ бы
 Сюда заносилъ Булгаринъ и св
 Такъ напр., отрывъ подписку
 въ историческомъ, статистическомъ
 Булгаринъ говоритъ, что «если
 писчиковъ, то онъ издастъ свой
 и что ему «предлагають это съ
 Политическія воззрѣнія «Сина (
 взглядъ на нашу внутреннюю ж
 съ таковыми же воззрѣніями «Сѣ
 скія обозрѣнія» въ «Сынѣ Отечес
 тремъ, самымъ благонамѣреннымъ
 То и тѣмъ недовольство дѣлаютъ .

**С
Д
Н
е
П
и
с
с
е
н
с
т
в
а
е
п
и
с
л
о
д
у**

рячая голова, энтузіастъ, но теперь намъ сходиться не для чего-съ. Я здѣсь уже совсѣмъ не тотъ-съ. Я вотъ долженъ хвалить романы какого нибудь Штевена, а вѣдь эти романы галиматья-съ».

«— Да кто жъ васъ заставляетъ ихъ хвалить?» спросилъ я съ удивленіемъ.

«— Нельзя-съ, помилуйте, вѣдь онъ частный представъ. (!!!)»

«— Что жъ такое? Что вамъ за дѣло до этого?»

«— Какъ что за дѣло-съ! Разбери я его, какъ слѣдуетъ, — онъ, пожалуй, подкинетъ ко мнѣ въ сарай какую нибудь вещь, да и обвинитъ меня въ кражѣ. Меня и поведутъ по улицамъ на веревкѣ-съ, а вѣдь я—отецъ семейства!» (Соврем. 1860 г., № 1, «Воспоминаніе о Бѣлинскомъ»).

Не мѣшаетъ припомнить, что Полевой, какъ купецъ 3-й гильдіи, могъ даже подвергнуться, по приговору суда, тѣлесному наказанію. Что мудренаго, еслибъ это и сдѣлали для «вещающаго вразумленія» непокорнаго либерала? Въ словахъ Полеваго заключается горькій, отчаянный, но совершенно правдивый смыслъ...

Въ 1839 г., печатавъ свои критическіе «Очерки», куда вошли многія статьи изъ «Библіотеки для Чтенія», Полевой

образна въ прошедшемъ 1837 году и не могла не быть такою, заключаая въ себѣ почти всю нашу журналистику. Какъ тяжелая колесница, катилась она по тѣсному полю русской литературы, безжалостно давила встрѣчныхъ и брызгала грязью съ широкихъ колесъ своихъ. Какъ тяжкій млатъ, каждый мѣсяцъ упадала она толстою книгою на головы читателей и разсыпалась стихами, прозою, науками и пр. Съ самаго почти начала «Библиотеки» въ русской литературѣ, завелась мода — у читателей покупать ее, у журналистовъ бранить, у издателей не отвѣчать на брань. Такъ шло дѣло и въ прошломъ году. Мы покажемъ первый примѣръ — не станемъ бранить «Библиотеки». Въ самомъ дѣлѣ, за что бранить ее?

Кротость духа, навѣянная Петербургомъ на Полеваго, отразилась и въ этомъ приговорѣ.

Внутренняя и внѣшняя жизнь Россіи продолжали, — и съ переменной редакціи, — внушать къ себѣ благоговѣніе въ «Сынѣ Отечества». «Исторію новую съ 1812 г. — говорилось въ I-мъ томѣ «Сына Отечества» за 1838 г., въ отдѣлѣ «Современной Исторіи» — не должно ли назвать исторіею возвеличенія, возвышенія Россіи, спасительницы Европы, умирительницы чуждыхъ народовъ? — И въ минувшемъ (1837 г.) первую ступень важности исторической являла Россія, твердая постоянствомъ политической системы своей. Какъ съ неизблемой скалы, спокойно смотрѣли мы, русскіе, на порывы бури, колеблющей другіе народы, и укрѣплялись познаніями, трудами промышленности, богатствами торговли, устройствомъ различныхъ частей государственнаго управленія».

Въ заключеніе приведемъ, для характеристики тогдаш-

нихъ литературныхъ отношеній, жалобу Булгарина, выраженную имъ въ формѣ письма къ извѣстному генералу Дубельту. Жалоба эта возникла по очень забавному поводу. Въ «Вѣдомостяхъ С.-Петербургской городской полиціи», находившихся тогда подъ редакціей г. Межевича, въ отдѣлѣ «Смѣси» появилось извѣстіе: «Говорятъ, что А. А. Орловъ издаетъ полное собраніе своихъ сочиненій въ 2-хъ компактныхъ томахъ, въ большую осьмую долю листа, въ два столбца. Въ первомъ томѣ будутъ помѣщены: «Погребеніе Ивана Выжигина», «Родословная Ивана Выжигина, сына Ва'ньки Каина» и прочія напечатанныя нѣсколькими изданіями сочиненія и давно уже раскупленные многочисленными читателями и почитателями А. А. Орлова. Во 2-мъ томѣ будутъ напечатаны нѣкоторыя новыя произведенія знаменитаго романиста и между прочими: «Безпристрастное сужденіе автора о самомъ себѣ». Къ этому присоединится портретъ автора, гравированный на стали въ Лондонѣ. Изданіе будетъ богатое и дешевое («Вѣдомости городской полиціи» 1839 г. № 22). Нечего прибавлять, что извѣстіе было ироническое и имѣло цѣлью поддѣлаться подъ общій тонъ болгаринскихъ рекламъ. Въ томъ же номерѣ газеты помѣщено было и частное объявленіе книгопродавца Лисенкова, гласившее такъ: «издатель сочиненій Булгарина считаетъ обязанностью объявить, что замедленіе выхода 5-й части произошло вовсе не отъ него, а отъ самого автора, который по сіе время медленно доставляетъ рукописи; нынѣ же начальство обязываетъ автора, давшего контрактъ, окончить свое сочиненіе, какъ можно скорѣе, и потому нѣтъ сомнѣнія, что остальная часть скоро выйдетъ въ свѣтъ».

Напечатаніе рядомъ этихъ двухъ извѣстій крайне раздра-
жило Булгарина, — и онъ, нимало не медля, настрочилъ цѣлый
доносъ.

«А
разси
въ сіе
напро
и при
турны
въ Аг
бода
мъ
отнои
будуч
царст
обрат
предв
юнош
тельс
чать
газет
ніями
газет
Нигд
друг
внча,
ваше
права
видѣ.

енію, а я имѣю еще болѣе. Наша должна производить. До окончательнаго рѣшенія не можетъ принудить насъ, а, и въ цѣломъ мірѣ не можетъ наступать. Здѣсь, со стороны новъ! Что же касается до изданій моихъ сочиненій, то и уваженіе къ нравственнымъ бы воспретить печатаніе оной газетѣ, а во вторыхъ, изданіемъ моего сочиненія—естественна. Цензурнымъ уставомъ изданіямъ заглавія, уже вышедша, а всѣмъ извѣстно, что я сидѣлъ на гауптвахтѣ, что напечаталъ самую умную, на романъ Загоскина. Знаю надъ лицомъ автора, мнѣ оскорбленіемъ! Неужели вся строка въ меня все позволено? На ранней, наполняютъ эти идеи и идеями и оскорбленіями, то есть пасквиль, то есть книга, допущена въ продажу въ отъ службъ за напечатаніе Россіи, тогда какъ Мельгуновъ

ніяхъ» въ «Русскому Инвалиду» и въ «Полицейской газетѣ»,
а я не могу нигдѣ найти суда и расправы.
Что это значить, я не понимаю, а знаю только, что акціо-

IV.

Мы переходимъ къ «Библіотечательной личности ея редактора «воположныхъ мнѣній *)».

Журнальная дѣятельность Сен-симона въ Петербургѣ съ 18: раньше того, а именно въ коні увѣренію Савельева) принималъ журналъ «Уличныя Вѣдомости», подѣ редакціей профессора Сняд кому году относится разсужденію хожденіи польской шляхты», гдѣ польское дворянство—лехи—суть владычествовавшихъ надъ славянами которыхъ сохранилось на лезги, лезгинны. Что побудило авшюру—обычная ли парадоксальная благовидная цѣль—рѣшить доволі брошюра эта была рѣзко осуждена произвела окончательный разрывъ польскою патріотической партіей.

*) При составленіи этой главы мы вельева: «О жизни и трудахъ О. И. гг. Дудыкина («Отеч. Зап.» 1859 г., Чт.» 1859 г., № 1).

вниманіе на это обстоятельство, потому что въ послѣднее вре-

онъ «наблюдалъ въ «Библіотекѣ» за исправностію слога и чистотой языка статей, присылаемыхъ сотрудниками часто въ видѣ самомъ неблагообразномъ» (Сѣв. Пч., 1836 г. № 44); но такъ какъ, по удостовѣренію самого Сенковского, «рукописи никогда не сообщались прежнимъ редакторамъ», то дѣятельность г. Греча касалась, вѣроятно, только до разстановки знаковъ и соблюденія прочихъ правилъ его грамматики въ корректурныхъ листахъ. Однимъ словомъ, духъ и содержаніе «Библіотеки для Чтенія» того времени зависѣли вполне отъ Сенковского и ни отъ кого другого. Какою же является намъ «Библіотека» въ этотъ блистательный, золотой вѣкъ своего существованія? Справедливость требуетъ сказать, что, не смотря на свой неоспоримый публицистическій талантъ, на свой оригинальный умъ и разностороннія свѣдѣнія, между прочимъ по естественнымъ наукамъ, Сенковский не поднялся выше уровня болгаринской клики, и въ своихъ политическихъ и общественныхъ тенденціяхъ тянулъ въ одну сторону съ «Сѣверной Пчелою» и «Сыномъ Отечества». Было тутъ, конечно, различіе, зависѣвшее именно отъ бѣльшей даровитости Сенковского: въ дѣятельности этого журналиста была и полезная сторона, на которую мы укажемъ въ своемъ мѣстѣ; но солидарность въ направленіи съ двумя названными изданіями слишкомъ явно бросается въ глаза. «Что «Сѣверная Пчела» между газетами, то «Библіотека» между журналами», говорилось въ «Сынѣ Отечества»; «Библіотека для Чтенія», богатая подписчиками, никогда не бранила Булгарина», утверждала сама «Сѣверная Пчела»; кромѣ того, и «Сынъ Отечества» осыпался, при случаѣ, похвалами отъ Сенковского («Библ. для

Чт.» 1836 г., т. XIX, см. отзывъ о первыхъ трехъ книжкахъ «Сына Отечества» за тотъ же годъ). «Записки Чухина» (романъ Ѳ. Булгарина) удостоились отъ «Библіотеки для Чтенія» чуть ли не большихъ похвалъ, чѣмъ отъ самой «Сѣверной Пчелы». «Романы Булгарина—сказано въ рецензіи—всегда чрезвычайно пріятная находка въ нашей словесности. Клеветать на нихъ можно, потому что клевета есть самое легкое и вѣрное средство отщепенія таланту за свою посредственность» («Библи. для Чт.» 1836 г., т. XIV).

Сходство воззрѣній всѣхъ трехъ журналовъ немудрено прослѣдить въ частности. Къ русской беллетристикѣ Сенковский относился съ такимъ же забавнымъ непониманіемъ, какъ и критикъ «Сѣверной Пчелы»: онъ хвалилъ Бенедиктова, Подолинскаго, Кузольникова, Тимофеева, а съ другой стороны порицалъ Гоголя за цинизмъ и осуждалъ Грибоѣдова, котораго щадила даже и «Сѣверная Пчела» *). Проповѣдуя реализмъ и утилитаризмъ въ жизни, онъ бранилъ его наплевательски при первой встрѣчѣ съ нимъ въ литературѣ. Реализмъ Сенковского приводилъ его только къ грубому филистерству и сытому довольству самимъ собою; этотъ реализмъ вовсе не былъ прогрессивнымъ началомъ въ жизни и нисколько не способствовалъ демократизаціи мысли. Напротивъ, неумный и грязный народъ, такъ реально выведенный у Гоголя,—«народъ, утирающій носъ полою своего балахона и жестоко пахнущій дегтемъ», возмущалъ благопристойный эпикуреизмъ нашего критика, и онъ не могъ выносить его присутствія даже въ

*) Полевой, въ своихъ критическихъ «Очеркахъ», жаловался на то, что Сенковский, переписывая его статьи, вставлялъ въ нихъ брань на Гоголя и Грибоѣдова.

романъ... Съ такой же злобой, и Сенковскій къ В. Гюго, Ж. Заносило на себѣ слѣды «безнравственной софіи»,—и сильно похвалялъ (и умѣренную и воздержную, литей французскихъ писателей Сенков промахи и эксцентричность, но и донныя ихъ неоспоримую заслугу «Библіотекъ» — поучаетъ богатаго комъ съ бѣднымъ, стращаетъ его гнѣвомъ нищихъ. Лучше бы г. Гидиться, быть дѣятельнымъ и прочивніе передъ бѣднымъ, передъ его въ большой модѣ у извѣстнаго и телей: они всѣ добродѣтели зашибліотека для Чтенія» 37 г., т. X говорится: «Во всемъ, что найдется ни одной честной, мысли. Грѣхъ—его муза, ужасдовищъ служатъ ему оригиналами» 1836 г., т. XIV, смѣсь). Въ что противъ знатныхъ и богатыхъ писатели, которыхъ «знать не п («Библіотека для Чтенія» 1837 г

Въ своемъ утилитарно-буржуа обвѣянномъ запахомъ естественн: видимому, расходился съ Булга «раціонализмъ и грубую полезно все ли равно богатому классу: и

женіемъ, преднамѣренно унижая его выгоды въ глазахъ нищей братіи (какъ это дѣлалъ Булгаринъ), или поражать, наоборотъ, эту нищую братію упреками въ бездѣльничествѣ, плутовствѣ и прочихъ качествахъ, которыя дѣлають бѣдняковъ недостойными общества зажиточныхъ людей? Тутъ разница только въ пріемахъ, въ развитіи мысли.

Жоржъ-Зандъ была предметомъ постоянныхъ и ожесточенныхъ нападокъ «Библіотеки», и нападки эти, не въ мѣру утрированныя, вызвали даже разъ заступничество «Сѣверной Пчелы» (1836 г.). «Библіотека для Чтенія» просто-на-просто искажала слова Ж. Зандъ и приписывала ей, напримѣръ, такую мысль: «une fille de joie est un être adorable». Противъ той же писательницы направлена слѣдующая, мало-опрятная насмѣшка: «У нея есть дѣти, обреченныя тащиться въ грязи убитыхъ дорогъ, окруженныя образами мыслей, противными ея понятіямъ, наущаемыя на каждомъ шагу тѣми, которые на нее нападаютъ, не вѣрять ея грезамъ,—свидѣтели ея страданій средь этой вѣчной борьбы, ея растерзаннаго сердца, ея колѣнь, разбитыхъ о преграды дѣйствительной жизни,—однимъ словомъ, пара несчастныхъ дѣтокъ, которымъ она не знаетъ: какое дать воспитаніе. Воспитывать ихъ такъ, какъ воспитываютъ всѣхъ дѣтей? Тогда они будутъ ходить, какъ скоты, въ ярмѣ предрасудковъ и приличій, и дочь ея, какъ дура, возьметъ себѣ мужа, обвиняется съ какимъ нибудь толстымъ предрасудкомъ, наплодитъ кучу маленькихъ предрасудковъ и, чего добраго, будетъ даже вѣрна своему деспоту» и т. д. и т. д. Одинъ изъ романовъ Жоржъ-Зандъ (Лелія) названъ просто гнуснымъ, и тутъ же сказано съ претензіей на остроуміе: «Одинъ изъ

дѣйскій мудрецъ говорить: женщ
независима; въ дѣтствѣ она дол
молодости отъ мужа, а въ старо
дѣйскій мудрецъ не читалъ ни
зака». Было бы скучно и беспо
ходки Сенковского противъ нелю
цузской «безнравственной школы
ныя праности, во вкусѣ приведе

Что составляло главную журна
Чтенія» и ея привлекательность д
это рецензіи о вновь выходящихъ и
ныя статьи, въ которыхъ безраз
лись всѣ научныя изысканія и
мы показали уже образчикъ т
истощалъ баронъ Брамбеусъ
чательное остроуміе, и бездарн
денегъ или изъ тщеславія, част
женному позору. Разбирая съ э
годы писательства, Сенковскій
(которые, по его расчету, могъ пол
писатель) можно нанимать премиле
бургской сторонѣ, водить жену в
безпереводно бутылку пива и ка
ва, пить себѣ каждый годъ фрак
Какъ не печатать того, что пише
нія» 1836 г. т. XIX, литературы
дѣтской книжонкѣ краткѣ отозв
написана въ пользу воспитаніи
основательно предпочитаетъ нрав

вописанію и грамматикѣ русскаго языка, въ пользу которыхъ онъ, кажется, ничего не намѣренъ дѣлать. «Въ прекрасный майскій день маленькій Николенька прогуливался въ прекрасномъ зеленѣющемъ лугу, принадлежащемъ къ дачѣ отца его». Такъ начинается статья, которую авторъ называлъ «Эхо», и она была бы недурна, еслибъ можно было знать: кому собственно принадлежала дача — отцу-ли прекраснаго зеленѣющаго луга, или отцу прекраснаго майскаго дня? Въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что она не принадлежала отцу Николенькину» и т. д. («Библіотека для Чтенія» 1836 г. т. XIV). Подобные ироническіе разборы, вмѣстѣ съ повѣстями Брамбеуса, очень нравились въ свое время публикѣ. «Начальники отдѣленій и директоры департаментовъ — писали Гоголь по поводу выхода въ свѣтъ I-й книжки «Библіотеки» за 1834 г. — читають (Сенковскаго) и надрываютъ бока отъ смѣха. Офицеры читають и говорятъ: какъ хорошо пишетъ! Помѣщики покупають, подписываются и вѣрно читать будутъ». Эти разборы приносили, пожалуй, и свою долю пользы, выметая за порогъ разный соръ російской словесности; но въ сожалѣнію, Сенковскій былъ только лежачихъ, которые никого не ввели бы въ заблужденіе; литературный же бурьянъ, въ родѣ произведеній Кукольника и др., не только не вырывался имъ съ корнемъ, но пользовался вниманіемъ и заботливымъ уходомъ. Въ одной статьѣ Сенковскій называлъ даже Кукольника великимъ писателемъ и увѣрялъ, что «самъ Пушкинъ завидовалъ его славѣ». Серьезныхъ мыслей не западало въ голову отъ чтенія шутливыхъ и бойкихъ рецензій Сенковскаго; серьезныхъ мыслей и не могъ дать этотъ писатель — по той простой причинѣ, что

онъ самъ не имѣлъ ихъ. Его :
малоосновательный, распростра
меты, на всѣ теоріи и убѣж
нимъ въ олимпъ* постоянный хаосъ

отвратительный, съ вкляоченными волосами, съ однимъ вы-
долбленнымъ глазомъ, съ однимъ сломаннымъ рогомъ, съ
когтиами, какъ у гіены, съ зубами безъ губъ, какъ у трупа,
и съ болшими плавниками и прѣдплечными лопатъ плавника

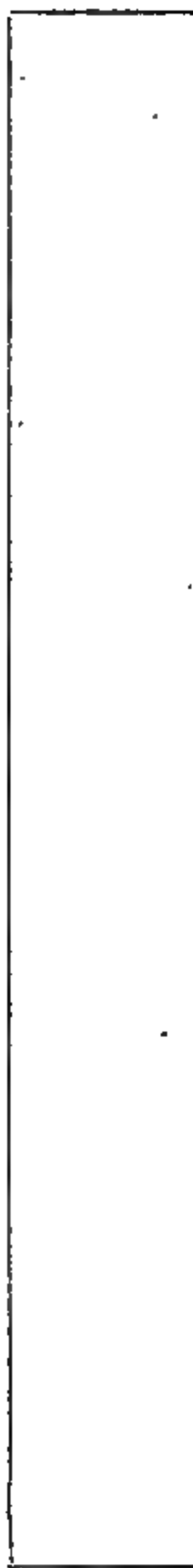
миѣ (т. е. Валери), что имѣ прѣ
бода въ чтеніи науки. Что ка
не знаю ни одной страны, гдѣ
Нищенство превращено, устроено
работою, прививанье коровьей
всѣми классами («Библи. для Чт
пр. и пр. Коснувшись дѣятели
Мендисавала, подъ рубрикою «З
«Библіотека для Чтенія» воскли
бѣдная Европа! сынъ Израил
своему произволѣнію, мятежи и
съ престоловъ, перемѣняетъ дни
дочь донъ Педра на португальс
кашу въ Испаніи и самъ же те
Альфонса и Изабеллы». (Ниже
жидкомъ»). Послѣ разсказа о томъ
этотъ израильянинъ учреждалъ
волюціонныя юнты» и какъ затѣ
стры, авторъ заключаетъ свою
«впрочемъ, это исторія всѣхъ либе
для Чт.» 1836 г., т. XIV, смѣс

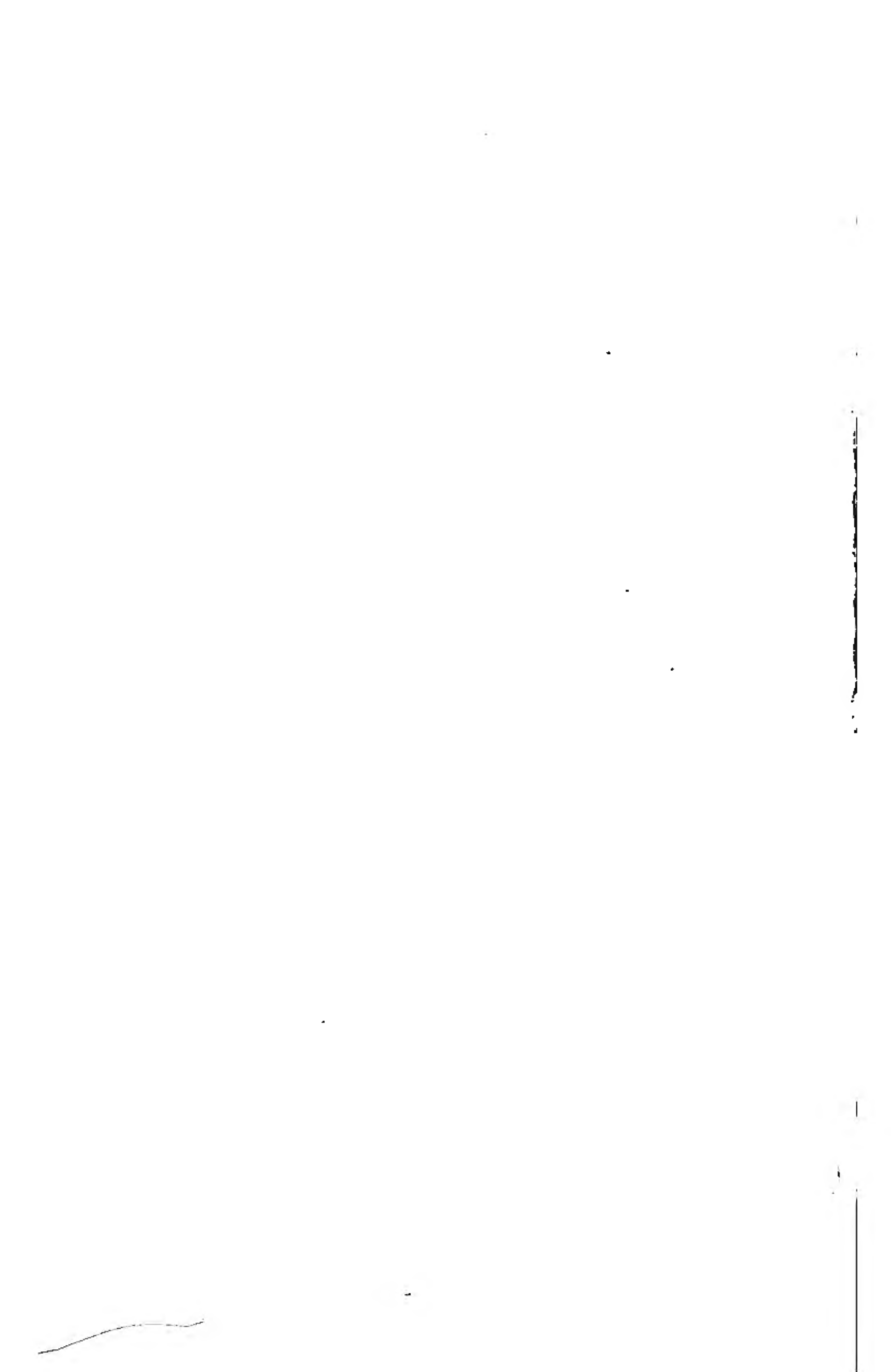
расляхъ общественно
же дорогѣ, сражаясь
домашними зачатками
талантъ Сенковскаго
городной роли, и мы
злобу, которую пяти
своего журнальнаго
нечно, можно было
Булгарина, и недюжи
вреднѣе самой вреде

Тѣмъ не менѣе,
отнять одной важной
страстно оцѣнена въ
ма изложенія, д
альной статьѣ Сенко
тора «Библіотеки», и
для публики, а это
ствовать сближенію
перестали, мало по
галомъ и невольно в
прежде считались оч

Важитѣйшія опечатки, замѣчен

страниц.	строка.	на
82	10 см.	и
79	8-4 св.	Северя
116	7 см.	уп
—	2 см., въ прим.	«
121	12 св.	уст
122	10 см.	стрел
265	1 св.	обра
196	4 см. въ прим.	1
284	4 св.	въ





This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine of five cents a day is incurred
by retaining it beyond the specified
time.

Please return promptly.

~~APR 1 - 1906~~

FEB 1 - 1907